



Библиотека
всемирной литературы

Серия вторая **

Литература XIX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бээкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

В. АЛЕКСАНДРИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

•

М. ЭМИНЕСКУ

СТИХОТВОРЕНИЯ

•

Дж. КОШБУК

СТИХОТВОРЕНИЯ

•

И.-Л. КАРАДЖАЛЕ

ПОТЕРЯННОЕ ПИСЬМО. РАССКАЗЫ

•

И. СЛАВИЧ

СЧАСТЛИВАЯ МЕЛЬНИЦА

ПЕРЕВОД С РУМЫНСКОГО



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1975

Составление, вступительная статья и примечания
А. Садецкого

И(Рум)
А 46

А $\frac{70500-174}{028(01)-75}$ подписное

© Издательство «Художественная литература», 1975 г.

ЭПОХА ВЕЛИКИХ КЛАССИКОВ

Творчество пяти писателей, представленное в настоящем томе «Библиотеки всемирной литературы», замечательно не только тем, что венчает собой внушительную цепь величайших вершин румынского литературного пейзажа второй половины XIX века, но и тем, что все дальнейшее развитие этой литературы, вплоть до наших дней, зиждется на стихах, повестях, рассказах и пьесах этих авторов, читаемых и сегодня не только в Румынии, но и в других странах. Эпохой великих классиков назвали румынские литературоведы период, в который творили эти пять писателей, период, в основном совпадающий с годами создания и формирования румынского национального государства, освобождения от турецкой зависимости, превращения двух небольших Дунайских княжеств — Молдовы и Мунтении (или Валахии) в единую страну — Румынию.

Для сегодняшней Социалистической Республики Румынии, как и для многих других стран юго-востока Европы — Болгарии, Югославии, Греции, Венгрии,— XIX век неразрывно связан с борьбой народа за сохранение своего национального самобытного облика, за обретение государственной независимости и за социальные преобразования. В этой борьбе зачастую самоотверженно участвовали передовые деятели культуры. Нередко писатели были в то же время передовыми общественными и политическими деятелями, просветителями, публицистами, учеными, возглавлявшими народное движение и отдавшими свободе даже собственные жизни. Таковы были венгр Шандор Петефи, румын Николае Бэлческу, болгарин Христо Ботев.

На территории нынешней Румынии, то есть в обоих Дунайских княжествах и в Трансильвании, населенной в основном румынами, но входившей в состав Австро-Венгерской империи, светская литература, зародившаяся еще совсем недавно, переживала тогда важнейший этап своего становления. Следует учесть, что вплоть до начала XIX века в румынской литературе основное место занимал фольклор либо стихотворный — лирические песни любви и тоски (так называемые «дойны»), гайдуцкие и разбойничьи баллады, исторические или фантастические легенды, либо прозаический — волшебные и бытовые сказки, шутливые рассказы и притчи. К литературе же письмен-

ной, в частности светской, весьма малораспространенной, можно отнести отечественные, оригинальные летописи, переводы и пересказы античных или средневековых, восточных или западных рыцарских романов и книг («Александрия», «Варлаам и Иоасааф», «Аргир и Анадон», «Басни Эзопа», «Синдипа», «История Эротокрита» и другие), а также первые переложения анакреонтических стихов. Эта малораспространенность светской письменной литературы на румынском языке объяснялась, в частности, тем, что в течение всего XVIII века и первых двух десятилетий XIX Дунайскими княжествами правили константинопольские греки, назначенные оттоманскими властями, вследствие чего «избранное» общество, владевшее грамотой, относилось к румынскому языку с пренебрежением, считая его языком невежественной черни, и приобщалось к литературе, главным образом, посредством греческого или турецкого языков.

Румынская современная литература фактически дала знать о себе только на стыке XVIII и XIX веков, когда с неоанакреонтическими стихами выступили первые поэты — представители просвещенной семьи Вэкэреску, а ученые-просветители из так называемой «Трансильванской школы» заявили во всеуслышание о существовании единого национального духа, следовательно, о единстве языка и культуры и о необходимости борьбы за их утверждение. После восстания 1821 года, руководимого Тудором Владимиреску, в истории Дунайских княжеств произошли определенные сдвиги. Хотя зависимость от Оттоманской Порты все еще продолжалась, а национальный и социальный гнет не стал легче, все-таки княжествами правили уже не иноземцы, а назначенные теми же турками представители местных аристократических родов. Это обстоятельство не замедлило сказаться: новые правители, несмотря на свою оторванность от народа, не смогли противостоять напору передовых идей эпохи и были вынуждены пойти в национальном вопросе на ряд уступок, вследствие чего греческий и турецкий языки постепенно уступили место румынскому. Начинается период сближения с общеевропейской культурой, роста народного образования, создания и деятельности всевозможных румынских культурных обществ и органов печати, открывших широкие перспективы для развития национальной культуры и литературы. В этом отношении значительную роль сыграла деятельность двух журналов, начавших выходить в 1829 году: «Куриерул ромынеск» («Румынский курьер»), издаваемый в столице Мунтении — Бухаресте поэтом и просветителем Ионом Элиаде-Рэдулеску (1802—1872), и «Албина ромыняскэ» («Румынская пчела»), который выпускал в столице Молдовы — Яссах писатель, ученый и просветитель Георге Асаки (1788—1869). Издателей этих двух журналов можно считать основоположниками всей современной румынской культуры, так как именно они заложили основы светской школы, в частности высшего образования, печати, национального театра. В те же годы литературу представляли Антон Панн (1796—1854), выдающийся писатель, фольклорист и композитор, автор вакхических и любовных песен, а также зарифмованных шуточных пересказов всевозможных историй, бытующих в балканском и

румынском фольклоре, и безвременно умерший поэт-преромантик Василе Кырлова (1809—1831), ранее других воспевший в румынской литературе историческое прошлое народа и первые, еще робкие, шаги к государственному становлению. К началу XIX века следует отнести появление первых произведений самых разных литературных жанров, как героико-комической поэмы «Цыганиада», созданной трансильванским ученым и писателем Ионом Будай-Деляну (1763—1820), аллегорической повести, принадлежавшей перу Иона Барака, зарифмованной хроники боярина Христаке, путевых заметок Динику Голеску, сатирической комедии Иордаке Голеску и других.

Выход в свет в 1840 году в Яссах журнала «Дачия литерарэ» («Литературная Дакия») ознаменовал новый важный этап в поступательном движении румынской культуры. Основатель журнала, писатель и прогрессивный общественный деятель Михаил Когэлничану (1817—1891) провозгласил в программной статье необходимость публиковать только высокохудожественные литературные произведения, проникнутые прогрессивными идеями и созданные авторами, проживающими как на территории княжеств, так и в Трансильвании. Плодотворная деятельность журналов «Дачия литерарэ», «Пропэширя» («Процветание», 1844) и «Ромыния литерарэ» («Литературная Румыния», 1855) обусловила зарождение «национально-народного течения». В литературе это течение, весьма близкое по духу и содержанию к романтизму более развитых стран, но в своеобразном синтезе с преромантизмом и классицизмом, стремилось противопоставить далекое историческое прошлое (зачастую приукрашенное и идеализированное) убожеству сегодняшнего дня, широко популяризировало устное поэтическое творчество народа, ратовало за приближение лишь формирующегося литературного языка к народному, не чураясь, однако, неизбежных неологизмов, защищало передовые, патриотические идеи эпохи.

Румынский романтизм возник отнюдь не как реакция против классицизма по той причине, что в литературе Дунайских княжеств подлинный классицизм, в чистом виде, и не существовал. Более того, румынский романтизм вобрал в себя некоторые жанровые и стилистические элементы классицизма. В сороковых — пятидесятых годах XIX века в румынской литературе зарождаются басенный и эпистолярные жанры, появляются первые поэтические размышления, патриотические гимны и марши, пасторали, элегии, всевозможные поэмы в стихах и прозе — философские или героические, сатиры, исторические новеллы. В те же годы можно обнаружить и первые зачатки реализма: в некоторых, еще довольно неумелых романах встречаются явные отзвуки социальных проблем того времени. В эту бурную историческую эпоху молодая румынская литература, выражая чаяния передовых слоев общества, участвовала в борьбе за государственное объединение Дунайских княжеств и за социальное раскрепощение народа. В связи с этим стоит напомнить, что большинство крестьян Молдовы и Валахии были тогда крепостными, а почти все цыгане все еще оставались рабами крупных помещиков-бояр или монастырей, владевших несметными состояниями.

Именно тогда выступил в литературе известный в будущем поэт, драматург и прозаик Василе Александри, сыгравший выдающуюся роль и в политической жизни страны. Александри родился в 1821 году в молдавском городе Бакэу. Годы учебы во Франции (1834—1839) приобщили юношу к демократическим идеям эпохи и сблизили его с романтиками. Свою первую новеллу «Флорентийская цветочница» он опубликовал в 1840 году, когда вместе с М. Когэлничану и новеллистом Костаке Негруцци (1808—1868) был назначен одним из руководителей театра в Яссах. Здесь, для создания оригинального, злободневного репертуара, Александри написал несколько невзыскательных комедий, в которых высмеивал нравы уходящей эпохи.

С 1842 года он начал, по существу первым в Молдове, собирать, записывать и обрабатывать фольклорную поэзию, в частности исторические баллады, легенды и дойны. Обладая большим поэтическим даром, хорошим вкусом и прекрасно понимая неоценимое значение обнаруженных им поэтических сокровищ, Александри, готовя их к печати, не поддался соблазну внести в них какие-либо существенные «улучшения», а подверг лишь самой тактичной поэтической обработке, представив их читателям во всем первозданном очаровании.

Под непосредственным влиянием фольклора Александри написал в сороковых годах свои собственные баллады, дойны и песни, проникнутые подлинно народным духом и любовью к родным краям, призывающие к борьбе за осуществление национальных и социальных идеалов тех лет. Это подлинные шедевры, благородное содержание которых облечено в совершенную поэтическую форму, предвосхищали те литературные вершины, которых достигли лишь спустя несколько десятков лет М. Эминеску и Дж. Кошбук.

Как один из наиболее активных членов Ясского революционного комитета, Александри непосредственно участвовал в событиях 1848 года в Молдове. После подавления турками революции он какое-то время находился в эмиграции, скрываясь в трансильванском городе Брашове, где, вместе с другими беглецами, опубликовал «Протест от имени Молдовы, Человечества и Бога» и составил политическую программу патриотов, озаглавленную «Наши принципы во имя преобразования родины». Программа подчеркивала необходимость экспроприации крупных помещиков, наделения крестьян землей, объединения княжеств и предоставления новосозданному государству независимости. В 1849 году, по возвращении в Яссы, Александри, для которого театр был трибуной борьбы, опубликовал ряд новых комедий и театрализованных комических песенок, стремясь приобщить тогдашнюю, еще малоискушенную театральную публику к азам культуры и убедить ее в правоте провозглашаемых им идей. В своих комедиях он высмеивал обстановку и нравы эпохи, и в частности дремучее невежество старых бояр и чиновников, отвергавших малейший прогресс («Фармазон из Хырлэу»), легкомысленность и никчемность «золотой молодежи» («Иоргу из Садагуры»), эгоистическую меркантильность («Камень в доме»), либеральную демагогию («Клеветичь — ультрадемагог»), тупой консерватизм («Санду Нэполлэ — ульт-

раретроград»), патологический страх мещан перед реформами и революцией. Те же идеи, но на более высоком художественном уровне, он развил и в комедиях о Кирице, румынской госпоже Простаковой тех лет («Кирица в Яссах», 1850 и «Кирица в провинции», 1852).

В 1852 году увидело свет первое издание поэтического фольклора — «Баллады и старинные песни, собранные и обработанные В. Александри». Вскоре он выпустил том собственных стихов «Дойны и ландыши» (1853) и довольно любопытные путевые заметки «Поездка в Африку» (1854). Через год Александри стал издавать журнал «Ромыния литерарэ», в котором, вместе с другими представителями передовой интеллигенции, энергично выступал в статьях и стихах за объединение княжеств. Поэт принимал горячее участие в избрании в 1859 году Александру Иона Кузы князем-правителем обоих Дунайских княжеств, что обусловило фактическое их объединение, а затем, будучи назначенным министром иностранных дел, развил бурную и плодотворную деятельность, убеждая правительства крупных держав официально признать новосозданное государство.

После 1860 года Александри отошел от политической деятельности и смог уделить больше времени и сил литературе. Тогда он опубликовал несколько новых комических пьес и сборник стихов «Маргаритки» (1863). В 1867 году он был избран членом недавно созданной румынской Академии. После свержения реакционными партиями А.-И. Кузы с престола в 1866 году Александри жил почти безвыездно в своем поместье Мирчешти, где в 1867—1868 годах написал свою лучшую стихотворную книгу «Пастели», между 1872—1876 годами — поэтический цикл «Легенды», а в 1878 году — сборник «Наши бойцы».

В подавляющем большинстве своих стихов Александри воспевал, главным образом, радости любви, очарование родной природы, героическое прошлое народа, его борьбу за лучшее будущее. Изложив в одном из первых стихотворений «Дойна» (1842) свое поэтическое, нравственное и политическое кредо, он остался ему верен всю жизнь — в его творчестве всегда слышны отзвуки революции 1848 года. Патриотическая лирика поэта представляет несомненный интерес и сейчас, хотя события, к которым она относится, давно стали достоянием истории. Горячим сочувствием к русским революционерам, гонимым царским правительством, проникнуто его стихотворение «Поход в Сибирь», а русско-румынскому братству по оружию посвящена не менее известная поэма «Сержант» из цикла «Наши бойцы», отображавшего героические и трагические эпизоды русско-турецкой войны 1877 года, когда против турок, плечом к плечу с русской армией, успешно воевала и румынская. Негодующим социальным протестом проникнуты другие его стихи, как, например, «Герои Плевны», «Отчизна», «Проклятый плуг». С картинами выдающегося румынского художника XIX века Николае Григореску перекликаются стихотворения Александри, вошедшие в его известный цикл «Пастели», в котором он воспел сельскую жизнь и смену времен года, создав чарующие картины природы и слившихся с ней людей. Несколько устарела

сегодня его любовная лирика. Сказались некоторая поверхностность содержания и досадные слабости формы — злоупотребление уменьшительными словами, повторами и красивостями, иногда легковесной рифмой.

В последние годы жизни Александри создал свои основные пьесы, сюжеты которых черпал либо из прошлого своего народа, как историко-романтическая драма в стихах «Воевода Деспот» (1879), явно навеянная творчеством Виктора Гюго, либо из античности, как «Источник Бландузии» (1884) или «Овидий» (1885). Тогда же, по фольклорным мотивам, он написал весьма сценичную, насыщенную искрящейся фантазией и юмором, поэтическую феерию-сказку «Сынзяна и Пепеля». Определенный интерес представляет по сей день и проза Александри, состоящая из путевых заметок, немногочисленных новелл, правдиво отображавших быт и нравы эпохи («История одного золотого», «Василе Порожан»), и страстной публицистики. В 1885—1889 годах Александри вернулся к дипломатической деятельности и представлял Румынию в Париже. Скончался он в августе 1890 года.

Василе Александри, которого Михай Эминеску назвал «Королем поэзии», был первым, по времени, великим национальным поэтом своей страны. Он внес огромную лепту в процесс преобразования еще малооригинальной и подражательной литературы в литературу современную, приобщив ее к чистому роднику устного поэтического творчества, открытого им, и сыграв огромную, решающую роль не только в формировании литературного языка, но и в создании и развитии целых литературных жанровых форм, до того времени в Румынии не существовавших.

В первые годы после объединения княжеств, для развития культурной и общественной жизни страны, имели немалое значение журналы «Ревиста ромынэ пентру штиинце, литере ши арте» («Румынский журнал для науки, литературы и искусства»), издаваемый с 1861 года писателем и ученым Александру Одобеску (1834—1895), «Ревиста ноуэ» («Новый журнал»), выпускаемый просветителем, поэтом, прозаиком, драматургом и филологом Богданом Петричейку Хашдеу (1838—1907), выходцем из России. В журнале «Ревиста ромынэ» был опубликован в 1863 году первый румынский современный роман «Старые и новые мироеды», принадлежавший перу Николае Филимона (1819—1865).

Двадцатилетие (1863—1883) прошло в культурной жизни страны в основном под знаком литературной группировки «Жунимя» («Молодость»), в журнале которой «Конворбирь литераре» («Литературные беседы»), руководимого ее теоретиком Титу Майореску (1840—1917), сделали первые шаги такие крупнейшие писатели, как М. Эминеску, И.-Л. Караджале, И. Славич и другие. Несмотря на спорность и ошибочность некоторых установок, главным образом политического и философского характера, идеи Т. Майореску предопределили положительные сдвиги в румынской литературе, так как он энергично выступал за высокий художественный уровень и чи-

стоту языка против псевдопатриотической демагогии, поверхностности, невежества, формализма и неестественности и на первых порах требовал от искусства жизненной правды. Однако позднее в «Жунимя» победили тенденции чисто эстетские, что толкало писателей именно к отрыву от «правды жизни». Совсем не случайно все перечисленные авторы, да и многие другие, спустя какое-то время порвали с «Жунимей».

Крупнейший румынский и молдавский поэт Михай Эминеску (настоящая фамилия Эминович) родился в январе 1850 года. О точном месте его рождения до сих пор идут споры — некоторые литературоведы считают, что это молдавское село Ипотешти, другие — что это город Ботошани. Не закончив среднего образования, он с семнадцатилетнего возраста нанялся в разъездной театр, где был суфлером, переписчиком ролей, переводчиком, рабочим сцены. В 1866 году журнал «Фамилия» («Семья») из Пешта опубликовал первое его произведение «Имел бы я...», написанное под явным воздействием поэтического фольклора и лирики Александри. В 1868 году Эминеску служил в бухарестском театре и одновременно был членом литературного и фольклорного кружка «Ориентул» («Восток»), для которого собрал и записал немало народных песен. К этому периоду относится одна из его первых программных поэм «Растленные юноши», в которой, откликаясь на освободительную борьбу итальянского народа под руководством Гарибальди и Мадзини, он бичевал равнодушие румынской молодежи к судьбе своей родины.

Вскоре Эминеску вновь принялся колесить с актерами по Румынии, но с 1869 года, покорившись настояниям отца, поступил вольнослушателем в Венский университет, где около трех лет посещал лекции по философии, филологии и юриспруденции. К 1869—1870 годам относится его работа над многими стихами и незавершенным романом «Опустошенный гений», содержавшим немало критических замечаний по адресу современного ему общества и написанным значительно интереснее и ярче почти всех румынских романов, вышедших до той поры. В Вене Эминеску подружился с будущим прозаиком Иоаном Славичем и оказал ему неоценимую помощь, стилистически выправив его первые произведения. Тогда же он начал сотрудничать в журнале «Конворбирь литераре»; присланное им стихотворение «Венера и Мадонна» сразу же обратило на еще никому не известного поэта внимание Майореску. Затем последовало опубликование поэтической сказки «Фэт-Фрумос—дитя слезинки», романтической новеллы «Бедный Дионис» и одной из лучших поэм «Эпигоны» — подлинного поэтического и политического манифеста искусства и жизни, поставленных на службу народу. С осени 1872 года Эминеску на стипендию «Жунимя» прожил два года в Берлине, где прослушал в университете цикл лекций, проявив большой интерес не только к философии, но и к политической экономии и произведениям теоретиков социализма.

К годам, проведенным в Берлине, относится создание такого шедевра, как «Ангел и демон» и поэмы «Император и пролетарий», где в яркой романтической манере изображено столкновение двух антагонистических мировоззрений — веры в живительную силу борьбы и революции и шопенгауэровской идеи навечно застывших форм жизни. Хотя в конце поэмы Эминеску пришел к пессимистическому выводу о тщетности борьбы, все-таки он безоговорочно подчеркнул нравственную правоту парижских коммунаров, недвусмысленно выразил свое безграничное восхищение их героизмом и создал в духе Делакруа впечатляющие картины подготовки восстания и самого революционного взрыва, заняв тем самым почетное место среди первых певцов Коммуны. По возвращении, в сентябре 1874 года, в Румынию, чтобы заработать на жизнь (за публикации в «Конворбирь литераре» он ничего не получал), Эминеску вынужден был долгие годы подвизаться на всевозможных мелких должностях, мизерно оплачиваемых, но требующих огромной затраты физических и нравственных сил. Правда, недолгое время он служил директором Центральной библиотеки города Яссы, но после очередной смены правительства оказался уволенным. Столь же кратковременным было и пребывание на должности уездного школьного ревизора. Затем удалось устроиться выпускающим убогой провинциальной газетки, но и оттуда вскоре пришлось уйти из-за отказа восхвалять городского голову за несуществующие успехи в градостроительстве. Бедность поэта доходила до того, что ему нечем было оплачивать жалкую каморку, которую он снимал на чердаке, и приходилось ночевать где попало. Непосильный труд, материальные лишения, граничащие с нищетой, нравственные унижения, постоянная неуверенность в завтрашнем дне не могли не оставить отпечатка на его творчестве тех лет, когда, наряду со стихами, славившими жизнь во всех ее проявлениях (как «Добрый молодец — липовый цвет», «Кэлин», «Сказочная королева», «Озеро», «Желание»), то и дело встречаются и стихи, проникнутые беспросветным отчаянием.

К концу 1877 года Эминеску перебрался в Бухарест и получил место редактора консервативной газеты «Тимпул» («Время»), где сперва тянул лямку вместе с И.-Л. Караджале и И. Славичем, а затем остался один. Стоит отметить, что, выступая в газете со статьями на стороне партии консерваторов, в своих стихах он был к ней столь же беспощаден, как и к ее политическому противнику — партии либералов. Изнуряющая работа в течение шести лет, почти не оставлявшая времени и сил для поэзии, бедность, слабое здоровье, а главное, духовная неудовлетворенность — все это привело поэта к катастрофической депрессии, а затем в июне 1883 года — к душевному заболеванию, от которого, по существу, он полностью никогда не оправился.

И все-таки, несмотря на каторжную работу в газете, Эминеску нашел в себе силы завершить в 1881 году социально-философские «Послания», в которых, храня верность своим идеалам глубокого сочувствия к страданиям народа, саркастически высмеял и огненными строками заклеймил никчемность и низость вершителей судеб современного ему общества,

в котором революционные завоевания середины века оказались постепенно утраченными, а помещики, бояре и буржуазия внедрили капиталистическую эксплуатацию. Не видя, однако, исторической перспективы, поэт противопоставлял ненавистному миру наживы безвозвратно ушедшее феодальное прошлое, казавшееся ему эпохой народного единства, будто бы свободной от социальных конфликтов. Та же политическая близорукость обусловила и шовинизм некоторых других стихотворений поэта. Опасаясь, что Румынии, едва освободившейся от турецкого ярма, грозит опасность попасть под владычество других держав, он не делал различия между народами этих стран и их правителями. И все-таки «Послания» навсегда останутся блестящим поэтическим синтезом политического мышления Эминеску благодаря изумительным по красоте, музыкальности и пластичности картинам и образам, стилистическому богатству, совершенному соответствию между разоблачительным, идейным пафосом и художественными средствами.

В те же годы Эминеску завершил свое величайшее произведение, над которым трудился более восьми лет,— поэму «Лучафэр», где с высоким мастерством показал пропасть, зияющую между гениальным художником и тупой ограниченностью обывателя, приводил читателя к мысли о неминуемой гибели творческой личности в болоте продажного мира, основанного на лицемерии, коварстве, фальши и лжи, подчинившего себе все, даже любовь, ставшую товаром. Единственная прижизненная книга его стихов, да и то неполная, увидела свет лишь к концу 1883 года.

Имя Эминеску сразу завоевало широкое признание, но ему это уже было почти безразлично. Периоды пребывания в лечебницах для душевнобольных теперь чередовались с редкими месяцами частичного просветления, когда он ненадолго мог возвращаться к творчеству. Жалкой пенсии еле хватало на то, чтобы не умереть с голоду, и даже в эти страшные годы приходилось, ради пропитания, работать через силу. 15 июня 1889 года Михая Эминеску не стало — он умер в одной из бухарестских лечебниц. В рукописях, найденных после его смерти, было обнаружено огромное количество, еще никому не известных стихов, приумноживших славу поэта.

Лирика Эминеску, музыкальная и гармоничная, сплавила воедино элементы народной поэзии с изощренным мастерством; радость любви — с болезненной тоской по ней; восхищение родной природой и любовь к родине — с презрением и ненавистью к власть имущим, причиняющим народу столько страданий; призывы к борьбе — с ощущением полной безнадежности и обреченности.

В своем творчестве он значительно превзошел всех своих предшественников, включая таких выдающихся, как В. Александри, Гр. Александреску или Д. Болинтиняну, не только тем, что трактовал глубокие общечеловеческие проблемы, одолев провинциальную ограниченность и не допуская пустого многословия, но и тем, что осуществил это с непревзойденным до тех пор поэтическим мастерством. В румынской литературе Эминеску первым сумел отобразить всю гамму величайших радостей и горестей жизни и слож-

нейшую философскую проблематику в великолепных образах, созданных с помощью им же значительно обновленного и обогащенного языка.

Эминеску ввел в румынскую поэзию масштабную, необыкновенно насыщенную метафору, что придало его стиху огромную выразительность. В его поэзии поражает все — красота языка, глубина мысли, страстность убеждений, искренность чувств, яркость образов. В своих лучших произведениях поэт сам же убедительно опровергал пессимистические утверждения о тщетности борьбы против зла, воспевал подлинную красоту жизни и любовь к людям и призывал к ненависти против врагов этой красоты, к их уничтожению в борьбе.

С творчеством Михая Эминеску поэзия его страны достигла высот до тех пор небывалых; он заслуженно считается величайшим поэтом Румынии и Молдавии, о чем, в частности, свидетельствуют не только постоянные переиздания его стихотворений на многих языках мира, но и то, что поэту посвящено более трех тысяч книг и статей.

Одновременно с Эминеску заявил о себе как о писателе величайший румынский сатирик Караджале.

Ион Лука Караджале родился 30 января 1852 года в деревне Хайманале уезда Прахова. Четыре класса гимназии закончил в Плоешти, а затем недолго учился в Бухарестской консерватории, надеясь стать актером, по примеру своих дядей — Костаке и Иоргу Караджале, видных театральных деятелей тех лет. Вскоре он отказался от этой мысли и, так как с восемнадцатилетнего возраста, после смерти отца, ему пришлось содержать мать и сестру, нанялся суфлером и переписчиком ролей в театре. С 1873 года Караджале стал сотрудничать в юмористическом журнале «Гимпеле» («Колючка»), где опубликовал свои первые стихи, очерки и зарисовки, а в 1877 году даже начал издавать собственный сатирический журнал «Клапонул» («Каплун») и приложение к нему «Календарул клапонулуй» («Календарь каплуна»), в которых появилось множество его первых, еще неприхотливых юморесок, сатирических сцен и рассказов.

Журнал скоро прекратил свое существование, и Караджале перешел в редакцию газеты «Тимпул», где подружился с Эминеску. Удачный перевод французской пьесы обратил на него внимание членов «Жуними», и начинающего писателя пригласили участвовать в чтениях, организованных литературной группировкой. Близость эта оказалось недолговечной — вскоре Караджале резко разошелся с «Жунимей» во взглядах и позже часто против нее выступал. Начиная с 1877 года он опубликовал ряд статей по вопросам драматургии и стал работать над своими собственными пьесами. 1878—1890 годы можно с полным основанием считать эпохой создания его крупных драматургических произведений. Имя Караджале стало широко известно, когда бухарестский Национальный театр, после долгих колебаний и отказов, в январе 1879 года поставил его

первую пьесу — комедию в двух действиях «Бурная ночь». Отобразив в ней повседневный быт и нравы типичной мещанской семьи, автор остроумно высмеял корыстность и беспредельную тупость румынского обывателя, озабоченного лишь обогащением и, следовательно, вознесением по социальной лестнице. Заодно он мастерски показал ту общественную и политическую почву, на которой этот мещанин процветает. Пьесу, освистанную находящимися в зале и узнавшими себя «добропорядочными негоциантами и домовладельцами», после двух представлений сняли со сцены, тем более что строптивый автор отказался внести изменения, предложенные дирекцией театра. Уже в этой, первой по времени, своей комедии Караджале создал целую галерею выхваченных из повседневной жизни, неимоверно смешных типов, которые будут действовать и в последующих его произведениях — полуграмотные, косноязычные, но самоуверенные и преуспевающие торговцы и чиновники, столь же малограмотные и косноязычные, но циничные и болтливые журналисты, адвокаты, будущие сановники и политические заправилы. И зрителям и читателям было ясно, что выведенная на сцене семья и ее окружение, где все друг другу изменяют, считая это в порядке вещей, является правдивым отражением всего буржуазного общества.

В том же году Караджале написал одноактную комедию «Господин Леонида перед лицом реакции», в которой высмеял разительный контраст между пустопорожней «революционной» болтовней того же мещанина и трусливой косностью, являющейся подлинной его сутью. Герой комедии считает себя искушенным политиком, но в голове у него мешанина из беспредметных идей, перекликающихся с демагогическими лозунгами буржуазных политических партий. В конечном счете все его «благородные, революционные» замыслы сводятся лишь к одному: обеспечить собственное благосостояние. Для этого-то ему и нужна революция. Но правительство пока ее не разрешает, так как «реакция сопротивляется». Заслышав ночью на улице шум и ошибочно полагая, что и впрямь началась революция, о которой он столько болтает, «убежденный революционер», в действительности типичный филистер, смертельно пугается, не знает куда спрятаться и уповает лишь на спасительное вмешательство полиции.

В ноябре 1884 года была с успехом поставлена лучшая комедия Караджале — «Потерянное письмо», в настоящее время переведенная почти на все языки мира и идущая на десятках сцен Румынии и других стран. Если в первых двух комедиях автор выставлял на посмешище только отдельные грани буржуазного общества, то в «Потерянном письме» он подверг уничтожающей критике весь строй в целом в лице наиболее типичных его представителей. Хотя события комедии развертываются во время выборов и вокруг этого сугубо политического события, конфликт, в котором столь горячо участвуют все действующие лица, с государственными делами ничего общего не

имеет, а порожден лишь шкурными интересами персонажей, чьи имена в Румынии с тех пор стали нарицательными. Не случайно в последние годы жизни Караджале задумал комедию «Титиркэ, Сотиреску и компания», в которой должны были фигурировать те же отъявленные негодяи, что и в первых пьесах, но теперь уже преуспевшие, ставшие министрами, сенаторами, крупными сановниками, правящие не провинциальным городком, а всей страной. Однако писатель успел только наметить список действующих лиц и набросать канву пьесы. К 1885 году была написана последняя комедия Караджале — «Карнавал», из жизни обитателей городских окраин — героев большинства его рассказов и юморесок, не обладающих достаточной изворотливостью и подлостью, чтобы пробиться в избранное общество.

Психологическая драма «Напасть», поставленная в 1890 году, повествовала о тяжелой судьбе крестьянской семьи, глава которой, несправедливо осужденный, потерял рассудок на каторге, а жена посвятила жизнь одной цели — выявить и покарать подлинного виновника преступления.

Драматургия и проза Караджале — выставившие на всеобщее осмеяние общественные пороки, вызвали к автору острую неприязнь власть имущих со всеми вытекающими отсюда последствиями. Посыпались публичные обвинения в отсутствии патриотизма, в подшучивании над «священными чувствами» и даже в издевательстве над самым понятием «родина». Уместно напомнить, что клеветники не унялись даже и через много лет после смерти писателя, продолжая его «разоблачать» и всячески поносить. Из-за острого конфликта с консервативной партией Караджале еще в 1881 году ушел из редакции газеты «Тимпул» и, хотя продолжал много писать, отчаянно бедствовал. Как и другие крупнейшие румынские писатели тех лет, он был вынужден соглашаться на любые должности, наниматься в подчинение к малограмотным чиновникам. Он был школьным ревизором, регистратором в Управлении табачной монополии, преподавателем в частной гимназии, а одно время даже заведовал привокзальным рестораном города Бакэу, а затем — пивной в Бухаресте. Правда, в 1888 году Караджале неожиданно назначили директором бухарестского Национального театра, но сразу же, по закрытии сезона уволили, так как он пытался на практике, а не на словах, улучшить деятельность этого театра. Материальное положение писателя ничуть не облегчил выход в свет в 1892 году его психологических новелл «Грех» и «Пасхальная свеча».

В девяностых годах Караджале сблизился с молодым социалистическим движением. В 1893 году вместе с писателем — юмористом и журналистом Антоном Бакалбаша он начал выпускать сатирический журнал «Мофтул ромын» («Румынский вздор»), в котором опубликовал многие свои юмористические рассказы, вошедшие затем в сборники «Легкие очерки» (1896), «Очерки, заметки и литературные отрывки» (1897), «Моменты» (1901). Исключительно разнообразные по тематике, сюжетам и художественным средствам рассказы Караджале дополнили нарисованную в его комедиях сатирическую картину общества. Трудно перечислить все те пороки буржуазного

строя и его фауны, которые Караджале предал осмеянию в своих лаконичных, предельно выразительных рассказах. Тут и псевдодемократия, и демагогия политиканов, и злобный, узколобый шовинизм, и безнадежная отсталость школы и всей системы воспитания и образования, обуславливающие сохранение самодовольного невежества и продажность бездумной бульварной прессы, и нравственное разложение семьи, и духовное убожество обывателей, мнящих себя солью земли. Все эти рассказы, нелепо карикатурные герои которых изъясняются на типичном для них безграмотном, часто заштампованном языке и действуют в обстоятельствах тонко и верно подмеченных проницательным взором автора, сплавились в огромную мозаику, отражающую облик румынского мещанина-буржуа, возведшего беспринципность в единственный принцип жизни.

В 1894 году вместе с И. Славичем и Дж. Кошбуком Караджале участвовал в издании журнала «Ватра» («Очаг»), ставившего себе целью, пока им руководили эти три писателя, содействовать развитию литературы, близкой интересам народа. Верный себе, Караджале продолжал неустанно выступать с критикой самых разных аспектов общества в целом, и в частности с нападками на монархию и лично на короля. Не удивительно, что травля против него становилась все ожесточеннее и дошла до того, что в 1901—1902 годах писателя заведомо лживо обвинили в плагиате, для чего было даже выдумано произведение никогда не существовавшего венгерского автора. Суд, к которому сатирик обратился, не встал на его защиту, нанеся ему еще один тяжелый нравственный удар. Жизнь Караджале становилась все невыносимее, и в 1904 году, неожиданно получив наследство, он покинул страну и поселился в Берлине. Однако связь с Румынией оставалась нерасторжимой, и писатель продолжал принимать живейшее участие в общественной и литературной жизни своей родины. К сорокалетию монархии Гогенцоллернов он опубликовал целый ряд антимонархических и остро социальных стихов. Тогда же увидели свет и его новые рассказы «В харчевне Мынжоалы», «Кир Януля», «Чертова лошадь», навеянные фантастикой народных преданий и сказок. На крестьянское восстание 1907 года, потопленное в крови одиннадцати тысяч человек, он сразу же откликнулся страстным памфлетом «1907 год, от весны до осени». В 1910 году вышел его последний прижизненный сборник «Новые очерки». Спустя два года Караджале решительно отверг предложение возвратиться в Румынию, чтобы отметить там свое шестидесятилетие, а еще через пять месяцев — в июне 1912 года скоропостижно скончался.

Вечно живым остался, однако, целый мир, подмеченный зорким и проницательным наблюдателем социальной действительности, — мир, впервые возведенный в румынской литературе искуснейшим зодчим драматических и прозаических построений и населенный множеством нелепых, но предельно жизненных, персонажей, в первую очередь типичных филистеров с характерными для них малограмотным языком и самодовольным невежеством, персонажей, олицетворенных в собирательном образе «Митикэ».

Иоан Славич, талантливый и, по существу, первый бытописатель жизни своих современников, родился 18 февраля 1848 года в трансильванском селе Ширия. После окончания гимназии в Тимишоаре уехал в 1868 году в Будапешт, чтобы продолжать там образование, но, не имея средств, вынужден был вернуться домой и наняться писарем к сельскому нотариусу. Высшее образование он все же получил в Вене, где подружился с Эминеску и с его помощью сделал первые шаги в литературе (комедия «Дочка сельского старосты», 1871 и несколько сказок, близких к народным). В ноябре 1874 года после окончания университета Славич переехал в Яссы, а оттуда через два года — в Бухарест. Там, подобно другим писателям, выходцам из народа, он не гнушался никакой работой — переводил официальные документы с немецкого и венгерского, преподавал в гимназиях, редактировал стихи состоятельных графоманов, гнул спину вместе с Эминеску и Караджале в редакции «Тимпул», даже руководил в глухой провинции пансионом для девиц.

В период между 1871 и 1881 годами Славич написал ряд рассказов и повестей, завоевавших ему известность и вышедших в 1881 году отдельным сборником под названием «Новеллы из жизни народа». В следующем десятилетии к ним добавились другие рассказы. До этого румынская проза состояла, главным образом, из довольно далеких от современности исторических новелл и романтических повестей и романов. Актуальнее был лишь роман Н. Филимона — «Старые и новые мироеды» (1863), но и он отображал эпоху уже исчезнувшую. В рассказах же Славича читатели встретились со своими современниками. Тонкий психолог и знаток души, чувств и образа мыслей крестьянина, Славич, несмотря на некоторую назидательность и сентиментальность, первым в румынской литературе сумел в напряженных драматических конфликтах и достоверных жизненных коллизиях правдиво отобразить своеобразие жизни обитателей трансильванской провинции второй половины своего века — периода интенсивного развития капитализма и возникновения сельской буржуазии. Так, в рассказе «Поп Танда», повествующем о том, как крестьянам села Сэрэчени удалось избавиться от нищеты. Славич не затушевал картины классового расслоения деревни, все углубляющегося различия между бедняками и богачами. Жажда обогащения, зачастую за счет утраты основных человеческих достоинств, вот главное, что двигает людьми в таких его новеллах, как «Счастливая мельница» или «Клад». Реальные конфликты деревенской жизни с присущей ей безжалостной эксплуатацией бедняков сельскими богатеями мастерски показаны в новеллах «Покинутый очаг» и «Лесовичка».

В 1884 году Славич возвратился в Трансильванию, где в течение шести лет руководил в городе Сибиу изданием газеты «Трибуна». На ее страницах он ратовал за «народный реализм», подразумевая правдивое отображение жизни, и внедрение в литературу народного, всем понятного языка, вопреки доводам приверженцев так называемой «латинской школы», требовавших максимальной латинизации румынского языка, даже ценой его искажения. Славич выступал также за культурное сближение всех румын независимо

от того, где они проживают — в Трансильвании или в Румынии, и, главное, за то, чтобы писатели ставили перед собой высоконравственные цели, уделяли первоочередное внимание жизни народа, его насущным потребностям и наболевшим вопросам. Как ответственный редактор газеты «Трибуна» и секретарь руководящего комитета Румынской национальной партии в Трансильвании, он неоднократно вступал в конфликт с австро-венгерскими властями, а в 1888 году был осужден на годичное тюремное заключение.

По возвращении в 1890 году в Бухарест писатель неоправданно высказался против объединения Трансильвании с Румынией, где, по его убеждению, царили растленные «византийские» нравы, и продолжал выступать за необходимость лишь культурного сближения. В эти и последующие годы им создан ряд романов, в лучшем из которых «Мара» (1906) запечатлена жизнь небольшого трансильванского городка, в котором мирно сожительствуют румыны, венгры и немцы. Рыночная торговка Мара, оставшись вдовой, денно и нощно трудится как будто ради своих детей, но в действительности подчиняясь неуемной страсти к обогащению. Такой же целеустремленной растет ее дочь, но она идет на все жертвы не ради денег, а ради любви. В «Маре», одном из лучших романов о любви в румынской литературе, Славич в то же время правдиво и интересно отобразил, в характерной для него обстоятельной манере письма, своеобразный провинциальный быт тех лет.

В 1907 году Славич горячо откликнулся на крестьянское восстание, а в период первой мировой войны, вопреки официальной позиции румынского государства, высказался за союз с Германией и Австро-Венгрией, что стоило ему в 1919 году нового тюремного заключения (на этот раз в Румынии). В тюрьме он сблизился с социалистами и после выхода на свободу активно сотрудничал во многих передовых газетах и журналах. Тогда же были написаны его весьма интересные публицистические книги: «Мои тюрьмы» (1921), «Воспоминания» (1924) и «Мир, в котором я прожил» (два тома последнего сочинения увидели свет уже после смерти автора — в 1929 и 1930 годах), историческая драма «Гаспар Грациани» и несколько романов. 17 августа 1925 года Славич, первый в румынской литературе прозаик-реалист, достоверно отобразивший повседневную жизнь своих современников, скончался.

Подлинным продолжателем творчества Эминеску можно с полным основанием назвать Джеорджe Кошбука. Будущий поэт родился в сентябре 1866 года в трансильванской деревне Хордоу в семье священника, гимназию закончил в соседнем городке Нэсэуде, но высшего образования получить не смог — помешала бедность. Кошбук с самого юного возраста пристрастился к стихам, импровизировал песни и частушки на сельских праздниках и посиделках и уже к пятнадцати годам написал более ста пятидесяти стихотворений, из которых треть была помещена в школьном альманахе. Начиная с 1884 года его стихи стали регулярно появляться в газете «Трибуна», и через три года ее редактор И. Славич предложил ему скромную должность

в редакции. Хотя эти первые опубликованные стихи сводились зачастую к еще довольно непритязательным, зарифмованным историям, они все-таки сыграли определенную положительную роль, так как благодаря своей доходчивости помогли приобщить к чтению широкие слои сельского и городского населения. Впоследствии, в той же «Трибуне» и приложениях к ней, появились и некоторые шедевры поэта, как «Свадьба Замфиры» и «Дочь мельника».

Поэма «Свадьба Замфиры» вызвала восхищение Титу Майореску, который перепечатал ее в «Конворбирь литераре» и, следуя совету Славича, пригласил Кошбука в Бухарест. Поэт принял приглашение и в 1889 году переехал в столицу Румынии, но там не нашел общего языка с высокомерным руководством «Жуними», для которого он, как, впрочем, и Караджале, и другие писатели, выходцы из народа, был просто неотесанным, хотя и талантливым, мужланом. Кроме того, мучила бедность. Хотя вышедший в 1893 году первый сборник стихов «Баллады и идиллии» завоевал поэту большую известность, жизнь не стала легче. Долгие годы по утрам он реферировал и переписывал всевозможные бумаги в архитектурном отделе Министерства образования, а в послеобеденные часы корпел над выпуском развлекательного иллюстрированного журнала, не имевшего ничего общего с серьезной литературой. Не удивительно, что Кошбук мечтал тогда возвратиться в Трансильванию, а в редкие свободные часы писал стихи, многие из которых были насыщены страстной социальной критикой. Таковы поэмы «Ex ossibus ultor» («Из могилы поднимается мститель», 1894), «In opressores» («Против угнетателей», 1893), «Дойна» (1894) и «Мы хотим земли» (1894). Последняя поэма стала в буржуазной Румынии революционной, долгое время запрещенной песней. Когда она была опубликована впервые, руководители «Жуними» ее решительно отвергли, а через тринадцать лет, во время крестьянского восстания, жандармы энергично разыскивали автора-подстрекателя, чтобы примерно покарать его за посягательство на устои государства.

В «Балладах и идиллиях», как и в следующем сборнике — «Нити пряжи» (1896), Кошбук осуществил поэтическую монографию деревни, отобразил жизнь крестьянина во всех ее важнейших событиях — рождение, детство, любовь, свадьба, борьба за существование и смерть. Он даже попытался создать поэтическую национальную эпопею, но вскоре отказался от своего замысла, примирившись с мыслью, что время эпоса миновало. Однако многие поэмы, написанные как вехи задуманной эпопеи, например «Atque nos» («И мы»), «Свадьба Замфиры» или «Смерть Фулджера», навсегда останутся в румынской поэзии прекрасными поэтическими памятниками крестьянской жизни.

В 1901 году вместе с прогрессивным прозаиком и поэтом Александру Влахуцэ (1858—1919) Кошбук основал журнал «Сэмэнэторул» («Сеятель»), продолжавший демократическую линию журнала «Ватра» и выступавший за литературу, близкую народу. Однако вскоре оба основателя покинули редакцию, так как влиятельные круги требовали, чтобы журнал проповедовал классовое примирение и великорумынский шовинизм. Вскоре вышли

еще два сборника стихов Кошбука: «Дневник бездельника» (1902) и «Песни отваги» (1904); в последнем, отдавая дань своим обычным темам, он воспевал самоотверженность и героизм простых солдат в боях за независимость родины, но в то же время не скрывал трудностей и ужасов войны.

Поэт не остался равнодушен к трагическим событиям 1907 года. Его старые стихотворения «Мы хотим земли» и «За свободу» вновь зазвучали страстным призывом к бунту. Кроме того, он написал еще ряд новых антимонархических и революционных стихов, как «Притча сеятеля» или «Позабытая земля». Перу Кошбука принадлежат также прекрасные переводы классических творений мировой литературы, в частности «Сакунталы» Калидасы, «Одиссеи» Гомера, «Энеиды» Вергилия, «Мазепы» Байрона, «Дона Карлоса» Шиллера и лучшее переложение на румынский язык «Божественной Комедии» Данте. Последние годы жизни поэта были омрачены трагической смертью единственного сына, а затем — первой мировой войной, когда на него свалились новые нравственные и материальные испытания.

Умер Кошбук 9 мая 1918 года, оставшись в памяти читателей как наиболее значительный поэт румынского крестьянства, певец родной природы, любви, социального возмущения, мужества и борьбы. Неоценимой оказалась его роль для дальнейшего развития румынской литературы, так как из-за пагубной, но весьма интенсивной деятельности бесталанных подражателей Эминеску в поэзии Румынии царила упадническая атмосфера, проникнутая безнадежностью и лишенная какой-либо перспективы. По сути дела, Кошбук воскресил и вновь окрылил поэзию, вооружил новыми художественными ценностями, вдохнул в нее свежие силы, открыл перед ней бескрайние горизонты.

В последние два десятилетия XIX века главенствующее до тех пор влияние «Жуними» фактически себя изжило и стало мешать развитию литературы. Не удивительно, что эта литературная группировка подвергалась ожесточенным нападкам. Так, журнал «Литераторул» («Литератор»), издававшийся с 1880 по 1919 год поэтом Александру Мачедонским (1854—1920), энергично выступал за сближение румынской поэзии с французским символизмом. Однако румынский символизм, наиболее яркими представителями которого были тогда Димитрие Ангел (1872—1914) и Штефан Петикэ (1877—1904), так и не оформился в единое литературное движение, а остался конгломератом всевозможных течений и школ, выступавших в целом за обновление поэзии и очищение ее от штампов и казенщины.

Весьма значительную роль в дальнейшем движении вперед румынской культуры в целом, и литературы в частности, сыграл орган молодого социалистического движения Румынии — журнал «Контемпоранул» («Современник»), выходивший между 1881 и 1891 годами и противопоставивший эстетическим теориям «Жуними», берущим свои истоки в идеалистической немецкой философии, концепцию материалистическую, основанную на трудах

Маркса, Энгельса и русских революционных демократов. Теоретик румынского социалистического движения тех лет и его основной литературный критик Константин Доброджану-Геря (1855—1920), выходец из России, эмигрировавший в Румынию, в своих многочисленных статьях и книгах дал первые образцы марксистского анализа литературных произведений. Большой отклик и, главное, плодотворные последствия имела острая полемика между Доброджану-Геря и Майореску по вопросу о природе и миссии искусства, о его взаимоотношениях с социальной действительностью, полемике, в которой Майореску ратовал за «искусство для искусства», а Геря убедительно выступал за искусство общественно значимое и ставящее перед собой вполне определенные социальные цели.

Ознаменовав собой новый подход к литературным явлениям, молодая марксистская критика, делавшая тогда лишь первые шаги и впоследствии освободившаяся от узкого догматизма и вульгарного социологизма, предопределила дальнейший расцвет румынской литературы, основанной на творениях бессмертных классиков — Василе Александри, Михая Эминеску, Иона Луки Караджале, Иоана Славича и Джеордже Кошбука.

А. САДЕЦКИЙ

ВАСИЛЕ АЛЕКСАНДРИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ДОЙНА

Дойна, дойница!
Где ты, милая девица,
В золотых цветах косицы,
Губы — ярче заряницы?

Хорошо с такою милой,
С голубицей сизокрылой,
С сердцем, полным гордой силой!

С белокурой недотрогой,
Схожей с ланью быстроногой,
Нежной полною тревогой!

Соловей неутомимый,
Я в прохладе нелюдимой
Спел бы дойну о любимой!

*

Дойна, дойница!
Ружьецом бы мне разжиться
Да с топориком сродниться,
Не тужить — а веселиться!

Под седло б мне вороного,
Что черней греха людского,—
Горделивого и злого!

Семерых бы мне с мечами,
Братьев с гневными очами,
На конях, чье имя — пламя!

Мне б орлиный лет и зренье,
Пел бы яростно весь день я
Дойну гнева и отмщенья!

*

Дойна, дойница!
Слышишь, милая моя ты,
Всем клянусь, что сердцу свято,
Стать тебе роднее брата!

А коню наказ мой краток:
Ты лети быстрей касаток,
Бурей вдоль лесов косматых.

Братьям молвлю:— Вот что, братья,
Клятву дам пред вашей ратью
Басурманов убивать я!

Гей, пошло на битву братство,
Час настал освобождаться
От языческого рабства!

1842

СТАРАЯ КЛОАНЦА

В зарослях Клоанца бродит,
В небеса глядит она:
Там, печальна и бледна,
То за облако заходит,
То сияет вновь луна.

Нынче ночью полнолунье;
И подалее в кусты
Там, где заросли густы,
С прялкой прячется колдунья
И хрустят ее персты.

Шепчет бабка, нить свивая:
— Убирайся, дьявол, прочь,
Пусть тебя поглотит ночь!
Хочешь ты, проклятый, знаю,
Фэт-Фрумоса уволочь.

Пусть веретено кружится,
Пряжу тонкую прядет,
Пусть ушами конь прядет
И сюда летит, как птица;
Пусть мой Фэт-Фрумос придет!

Если ж не захочет милый
Тотчас полететь ко мне
На горячем скакуне,
Пусть он будет взят могилой,
В адском пусть горит огне!

Пусть в когтях нечистой силы
Корчится от страшных мук,
Пусть лишится ног и рук,
Пусть он будет вздет на вилы
Или на железный крюк!

Пусть Страшилищем Зеленым
Будет он всегда гоним
Иль чудовищем иным:
Храконитом разъяренным,
Кровососом — духом злым!

Бабка воет, бабка стонет,
И жужжит веретено,
Но невидимо оно:
Бледный месяц в тучах тонет,
Все вокруг черным-черно.

— Приходи же, мой желанный,
Хоровод оставь тотчас,
Берегись девичьих глаз:
Взгляд их, ласковый, обманный,
Порчу наведет как раз.

В холе б я тебя держала
И своею ворожбой

Отвела бы глаз дурной,
Отвела б гадюки жало
От тебя, любимый мой.

Летним вечером ты дойну,
Заблудившись, пел в лесу,
Увидав твою красу,
Шелк кудрей и стан твой стройный,
Горе в сердце я несу.

Ах, я чахну без надежды,
Я хочу тебя ласкать,
От себя не отпускать,
Царские хочу одежды
Для тебя, дружок, соткать!

Дни проходят и недели...
Как тебя приворожить?
Длинную свила я нить,
Мне остался клок кудели,
Мало мне осталось жить...

Ах, мне не снести страданий!
Ах, ему я не мила!
Вот к концу кудель пришла...—
Бабка издает стенанья,
Смотрит в сторону села,

А затем кричит визгливо,
На восток оборотясь:
— Слушай, тьмы и мрака князь,
Слушай, враг небес спесивый,
Ты, что мучаешь, ярясь,

Род людской и час мучений
Превращаешь в сотню лет;
Сеятель грехов и бед;
Ты, за несколько мгновений
Обходящий целый свет!

Я зову тебя, слабея,
Мне не жить теперь, не прясть,
На меня нашла напасть!
Помоги! Не зря тебе я
Душу отдала во власть!

И на вопль колдуньи сразу
Отозвался серный ад;
Опахнул старуху чад;
Два горящих красных глаза
На нее из тьмы глядят.

Говорит ей черт лохматый:
— Кончится твоя беда:
Приведу его сюда!
Повози за то меня ты
На себе вокруг пруда.

Бабка сладила с нечистым
Дело пополам с грехом.
Сатана на ней верхом
Едет с гиканьем и свистом,
Словно на коне лихом.

Хочет поскорей старуха
На себе юнца женить.
Размоталась пряжи нить,
Что есть силы, что есть духу
Стала бабка семенить.

Любострастница седая,
И ужасна и смешна,
Скачет бешено она;
На старухе восседая,
Хрипло воет Сатана.

И несется за Клоанцей
Призраков зловещих рой;
Все увлечены игрой
И кружатся в диком танце
Предрассветною порой...

Лес грохочет, сотрясенный
Страшным смехом Сатаны,
И до самой глубины
Растревожен омут сонный —
Царство вечной тишины.

Мчится бабка... Треплет ветер
Космы спутанных волос...
Вся она во власти грез,
Жаждет, чтоб попал к ней в сети
Недоступный Фэт-Фрумос.

— В холе я б его держала
И своею ворожбой
Отвела бы глаз дурной,
Отвела б гадюки жало,—
Только б стать ему женой!

Лес гудит, рябится омут,
Но вдали петух поет:
Черта оторопь берет...
Сатана и ведьма тонут
В глубине стоячих вод.

Волны пенятся и плещут.
По воде круги идут.
Взбаламучен тихий пруд,
Камыши вокруг трепещут,
Филины крылами бьют.

Постепенно затихает
Плеск спадающей волны...
Дремой заросли полны...
В просветлевшем небе тает
Серебристый диск луны.

Слышит путник одинокий,
Проходя в ночной тиши,
Стон мятущейся души:
— Что же медлишь ты, жестокий,
Мой желанный, поспеши!

В холе я б тебя держала
И своею ворожбой
Отвела бы глаз дурной,
Отвела б гадюки жало
От тебя, любимый мой...

1842

ПОСЛУШНИЦА И РАЗБОЙНИК

На пригорке, за высокой
Монастырскою стеною,
Голос девы одинокой
Слышится порой ночною:

— С самых ранних лет забыта
Я роднею бессердечной.
За глухой стеною скита
Буду я томиться вечно!

Перед кем я провинилась,
И за что со дня рожденья,
Я всех радостей лишилась
И терплю одни мученья!

С детства в келье, как в пустыне,
Я тоскую, увядая.
Ах, без ласки сердце стынет,
Угасает жизнь младая!

Хоть бы кончилось скорее
Нетерпимое томленье!
Смерть, приди! В слезах старея,
Жду тебя как избавленья!

— Эй, сестра, не плачь напрасно! —
Вдруг услышала монашка,—
Словно ландыш, ты прекрасна,
Грех тебе скорбеть так тяжко!

И тебе ль, такой красотке,
С жизнью в юности проститься?
Подыми же взор свой кроткий,
Осуши свои ресницы!

Хочешь, чтоб исчезли слезы,
Чтоб в глазах любовь горела,
И на щечках рдели розы,
И душа, как птица, пела?

К нам иди в наш лес разбойный,
Здесь мои друзья лихие
Слушать звуки грустной дойны
Любят в вечера глухие.

Здесь над недоступной кручей,
Над горами и долами
Ястреб вольный и могучий
Машет черными крылами.

Здесь богач с тугим карманом,
Мироед, толстяк спесивый,
Мне, лесному атаману,
В ноги кланяется льстиво.

У меня есть кони: ветру
Не догнать их в чистом поле,
Есть кинжал и пистолеты,
Семеро друзей и воля.

Под чешуйчатой кольчугой,
Как и ты, ношу я крестик...
Стань же мне навек подругой,
Будем счастливы мы вместе.

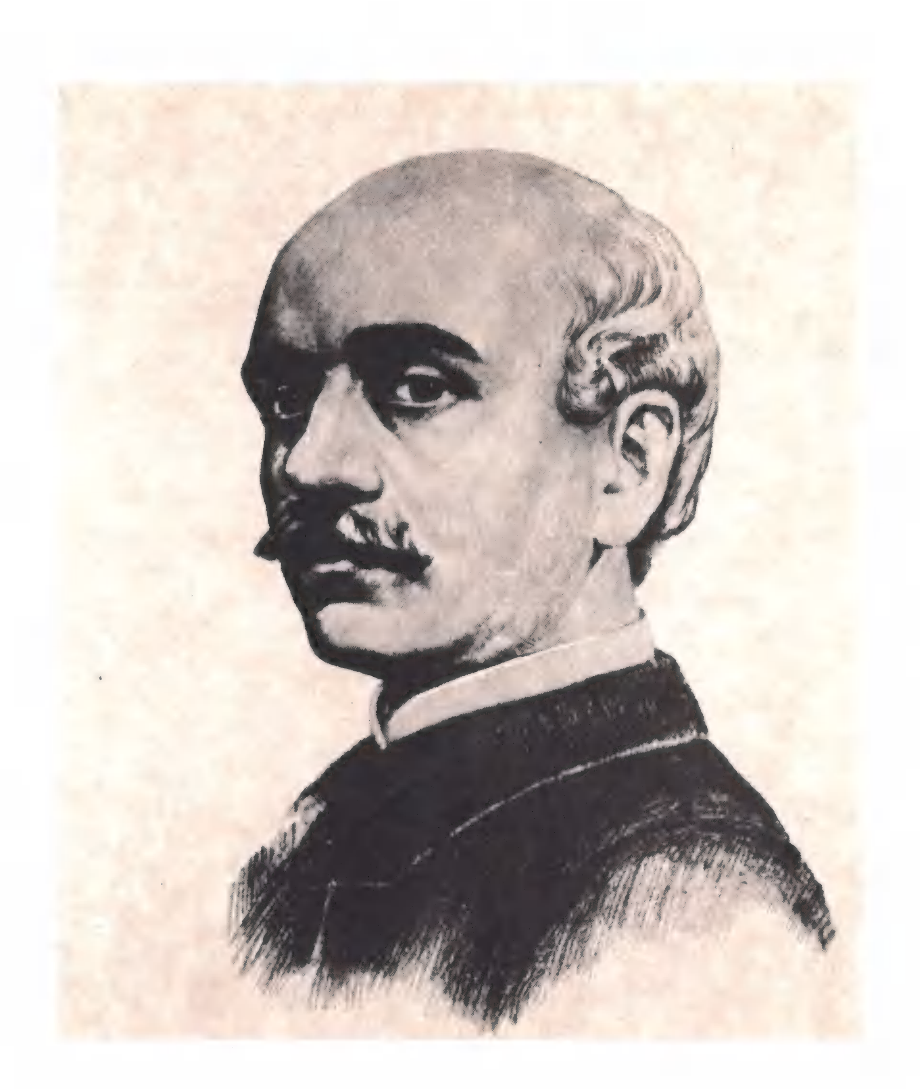
Яхонт есть; во мраке ночи
Он искрится и сверкает.
Так твои, красотка, очи
Светом счастья засияют.

Четки, рясу, власяницу
Брось скорее в мрачной келье!
Там — печаль сырой темницы,
Здесь — свобода и веселье.

Там посты да песнопенья,
Покаянья да молитвы,
Здесь — земных страстей кипенье:
Жар любви и ярость битвы!

Нам неведомо, ушла ли
Дева с ним тропой лесною,—
Только больше не слыхали
Плача за глухой стеною...

1842



Василе Александри

СТРУНГА

По-над Струнгой, в темной чаще,
Ждет народ — лихой, гулящий,
Под открытым небом спящий.

Люд бездомный, забубенный
Ночью дует в лист зеленый
Да стреляет в месяц сонный.

Если хочешь жив остаться,
С кошельком домой добраться,
Обходи их верст за двадцать!

Где-то спереди иль сзади
Ждут разбойнички в засаде,
Чтоб убить потехи ради!

Ты идешь тропой опасной,
Филин ухает ушастый,
В ближней роще свет неясный.

Восемь храбрых в полной силе
Рукава позасучили
Да винтовки зарядили.

Трое — крест святой лобзают,
Трое — силушку пытают,
Двое — тихо напевают:

— Гей, скажу я господину,
Не тревожь мою кручину,
Из ножон клинок я выну!

Гей, девчина молодая,
Весела тропа лесная,
Приходи к нам в лес, родная!

За кустом лежу с дубиной
Да с ружьем, с винтовкой длинной,
А душа полна кручиной!

Свиста ждать нам надоело,
Руки чешутся без дела,
Ретивое закипело!

Ружьецо ржавеет, братцы!
На коне хочу промчаться,
Дам гнедому поразмяться!

По-над Струнгой гомон птичий,
Да к чему ружье — без дичи,
Без стрельбы да без добычи?

1842

ГРÓЗА

Желтый, словно свечка, свечка восковая,
С тусклым огоньком,
На дворе тюремном, молча остывая,
Он лежал, объятый тяжким вечным сном.
И никто слезинки не пролил о нем.

Кто глядел печально, кто в оцепененье,
Полн немой тоской...
Кое-кто крестился... Многие в волненье,
Губы сжав, качали скорбно головой,
И шептались люди тихо меж собой:

— Разве это Гроза, кровью обагренный,
Неужели он?
Рыскавший повсюду зверем разъяренным,
Тот, кто в злодеянья вечно погружен,
Ада не боялся, преступал закон?

А старик угрюмый с длинной бородою
Ближе к трупу стал,
Вынул две монетки дрогнувшей рукою,
Бросил к изголовью, в лоб поцеловал
И, крестясь, сквозь слезы так другим сказал:

— Люди, дом мой вспыхнул, и в мороз суровый
Он сгорел дотла.
В чистом поле дети и жена без крова.
Ни краюшки хлеба... Ох, беда пришла!
Руки опустились, жизнь мне не мила.

Я не видел света, в горе изнывая,
Ждал лишь смерти дня.
Человек же этот — он достоин рая!
Белого, как вьюга, горяча коня,
На холме в то время повстречал меня.

«Не томи,— сказал он,— сердце ты слезою,
Твердым будь душой!
Дам тебе я денег, дом тебе отстрою».
Выручил меня он из беды большой.
С той поры нужды я не знавал с семьей!

Вновь поцеловал он руку мертвеца
И побрел с клюкою, не подняв лица.
А народ печальный зашептал в волненье:
— Даст всевышний Грозе всех грехов прощенье!

1843

ГАЙДУЦКАЯ ПЕСНЯ

К нам зима явилась в гости,
Лето красное ушло:
Холодно, как на погосте,
Жить зимою тяжело!

Трудно нам без солнца, право,
Жить, от холода дрожа,—
Ни червонца, ни дубравы,
Ни бояр для грабежа!

Ну-ка, ворон, вороненок,
Погляди да успокой:
Может, с торбою червонных
Путник шествует какой?!

Он шагает, оробелый,
Обвязав платком башку...
Я пущу винтовку в дело,
Нет проходу кошельку!

Лес, признайся, бога ради,
Где листвы зеленой сень?
Здесь я сиживал в засаде,
Если надо — целый день!

К нам зима приходит в гости,
Лето красное, прости!
Ветви наги, словно кости,
Да и мне уж не цвести!

Нужно спрятать пистолеты,
Потрудиться под ярмом
И до будущего лета
Жить, как все живут кругом.

Вот весне бы выйти в поле,
Землю вновь расцеловать!
Добрым молодцем на волю
Полетел бы я опять!

Снова набок шапку сдвину,
Снова кудри отпущу,
Щуря глаз, винтовку выну,
В лист зеленый засвищу!

На боку клинок заветный,
Сотоварищ мой стальной,—
Пять со мною пистолетов
И винтовка за спиной!

Вновь гнедому расчешу я
Гривы спутанной волну
И, затягивая сбрую,
На ушко ему шепну:

«Ты, как дума, мчись, как ветер,
Ты не цокай тяжело.
Славно жить на белом свете,
Наше времечко пришло!

В темный лес под ветром свежим
Нам скакать с тобой вдвоем:
Путь солдатам перережем
Да жирок с бояр стряхнем!»

1843

ФЭТ-ЛОГОФЭ́Т

— Юный Фэт-Логофэт,
Яркий солнечный свет
Твои кудри ласкает.
Ты постой, погоди,
На холме впереди
Черный змей поджидает.

— О девица-краса,
До колена коса,
Ожерелье на шее.
Не останусь с тобой,
Рвется палица в бой
И прикончит злодея.

— О мой витязь, тебя
Я хотела б, любя,
Уберечь от напасти.
Змей так зол и жесток,
Он собьет тебя с ног,
Растерзает на части.

— Золотая звезда,
Любоваться б всегда
Красотой неземною.
На расправу я лют,
Змеи в страхе бегут,
Им не сладить со мною.

— О мой славный орел,
Ты откуда пришел
С этой речью певучей?
Змей ногою одной
На земле, а другой
Достигает он тучи.

— Ты, как птичка, легка
И прекрасней цветка.
Не пугайся, девица,—
Чрез моря мой гнедой
Перескочит стрелой
И сквозь тучи промчится.

— Юный Фэт-Логофэт,
Ты очей моих свет,
Златокудрый, нежданный,
Подожди, я молю,
Ведь тебя я люблю,
Богатырь мой желанный.

— О девица-краса,
До колена коса,
Коль тебе я по нраву.
Я на битву пойду,
В честь тебя я найду
Или смерть, или славу.

1843

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЦЫГАН ОТ РАБСТВА

Прославлю день счастливый, долгожданный день свободы,
Свет надежды справедливой, озарившей все народы:
В наши души проникает гордый луч добра и братства
И людей освобождает от оков холодных рабства.

Жил цыган под тяжким игом гнета многовекового,
Но мечтал он, угнетенный, о собрате справедливом,
И румын рукою сильной смело рвет его оковы,
И цыган, отныне вольный, просыпается счастливым!

Нынче солнце светит ярче! Веселей людские лица!
Как душа моя ликует! Стала жизнь ясней и краше!
Пробуждается Молдова, вся поет и веселится,
Человечности призывы слышит вся Молдова наша!

Славься, милая Молдова! Славься, родина, вовеки:
Рабский ты ярем разбила, справедливость даровала!
Я в святой твоей заботе о согбенном человеке
Вижу вольности грядущей величавое начало!

1844

МЕЧТА РУМЫНКИ

Если б дал ты, добрый боже,
То, что мне всего дороже,—
С неба ангела послал,
На земле сыночка дал!

Дня и ночи было б мало —
Столько б я его ласкала,
Утешала как могла,
Целовала, берегла,

Берегла без дня, без срока,
Больше, чем зеницу ока,
Лишь бы петь порой ночной:
«Баю-баю, мальчик мой!»

Если б небо не скупилось
И послало эту милость,
Снизошло ко мне, даря
Мальчика, богатыря,—

Не было б его счастливей,
Не было б его красивей,
Обойдите целый свет —
Никого нежнее нет!

Пены личико белее,
Света ясного милее.
Пусть покажут, у кого
Глазки слаще, чем его!

Я бы маленькому пела,
Замолкая то и дело,
Замолкая, чтоб опять
Рот и глазки целовать.

Я б его заговорила,
Чтобы в нем взыграла сила
И светлее белый свет
Стал бы от его побед.

Я б к груди его прижала,
Приласкала, укачала,
Прогнала бы сон дурной...
«Баю-баю, мальчик мой!»

1845

РЫБАК С БОСФОРА

Пускай захочет Магомет,
Велит пророк святой,
Чтоб насладиться мог чуть свет
Я сбывшейся мечтой!
Чтоб Царь Морской, старик седой,
Владыка на волнах,
С челом, увенчанным звездой,
Повис в моих сетях.

Я беден, рыбу я ловлю,
Мала моя ладья,
А по ночам в Скутари сплю
В прибрежных травах я.
Я Абдуллах — меня сильней
Гребца не знал Босфор,
Качаюсь в лодочке моей,
Горит любовью взор!

Когда б царя во всей красе
В моих сетях нашли,
Я приобрел бы сразу все
Сокровища земли!
Куплю я множество обнов,
Индийские шелка,
Мисирских резвых скакунов,
Что легче ветерка.

Куплю эбеновый каяк
В узорах золотых,
Дам высечь на его краях
Корана мудрый стих.
Найму я тридцать молодцов,
Им весла в руки дам,
Чтоб влек меня отряд гребцов
По голубым волнам!

Пусть я не так уже богат,
Мне пышность не нужна,
Не нужен визирский халат
И пляска скакуна!

Мечи табесские остры —
Пусть их возьмет другой!
На исфаганские ковры
Я не ступлю ногой!

Я поклянусь тебе, аллах,
Морской твой талисман
Пусть нужен мне — но я не шах,
Не визирь, не султан!
Мне украшенья не под стать,
Кафтан не по плечу,
И в день байрама я ласкать
Красавиц не хочу!

Я превратил бы сердце в сеть,
Потоньше взял бы нить,
Ушел бы в море песни петь
И счастье в сеть ловить.
Топала дочь поймать смогу,
Красотку Бюльбюли:
Она поет на берегу
В зеленом Кандили!

1845

ПРОБУЖДЕНИЕ РУМЫНИИ

Люди, разве вы застыли в неподвижности, в дремоте,
Разве вам еще не слышен гордый голос торжества,
Что стремится к небосводу, всех будя в своем полете,—
Разве сердцем вы не пьете
Славы будущей слова?

Люди, люди, ощутите сердца вашего волненье,
Громкий голос возрожденья — он звенит у вас в груди,
Он могуч и непреложен, как земное притяженье,
Он как зов, как вдохновенье,
Он как знамя впереди!

Человечество, поднявшись из глубокой летаргии,
Семимильными шагами к цели радостной идет:
Пробуждайтесь и румыны — братья, братья дорогие!
Жизнь проснулась — и впервые
Сброшен сна столетний гнет!

Солнце чудное зажгла нам величавая свобода,
И теперь к нему стремятся все земные племена,—
По-орлиному стремятся к ясным высям небосвода,
Прямо к пламени восхода,—
Им победа суждена!

Разве ты, народ румынский, равнодушен к переменам?
Неужели ты навеки слепотою поражен?
Иль участвовать не хочешь в новом братстве вдохновенном?
В счастье мирном и нетленном
Славных будущих времен?

Долго ль мир клеймить вас будет, о страны румынской дети?
Или вольность не мила вам, не боитесь вы хулы?
Долго ль будете покорны вражьей злобе, черной плети,
Волочить возы столетий,
Как покорные волы?

Подымайся, брат мой кровный, и вперед — во имя жизни!
Ради вольности высокой — самой жизни не жалей!
Мир глядит на вас, румыны,— сладко все отдать отчизне,
Только б вызволить из плена
Мать-отчизну поскорей!

Счастлив тот, кто рвет оковы, попирает тиранию,
Счастлив воин, увидавший: вольность старая жива!
Счастлив, павший за отчизну за поля ее родные,—
Людям, павшим в дни такие,
На бессмертье все права!

1848

ПРОЩАНИЕ С МОЛДОВОЙ

О Молдова дорогая,
Милая сердцам горячим!
Край, чьи земли покидая,
Каждый горечью охвачен.
Жизнь сладка в твоих пределах,
Все цветет под солнцем вешним:
Для моих мечтаний смелых
Нет преград в просторе здешнем!

Больше в небе синеоком
Мне твоя не светит зорька,—
Сердце в трауре глубоком,
Ухожу, вздыхая горько!
Час разлук, путей опасных...
И дрожат мои колени,—
А в душе моей погасли
Все отрадные виденья!

Доведется ль мне счастливым
В край родной вернуться снова,
Чтоб к твоим приникнуть нивам,
Ненаглядная Молдова,
Вновь узреть твои долины,
Цепи гор твоих могучих,
Чьи надменные вершины
Затерялись в грозных тучах?

Вновь узреть твои дубравы
И мерцанье рек спокойных;
Про любовные забавы
Вновь услышать в нежных дойнах?
Небо самое смеется,
Улыбается, колдуя,—
Все здесь родиной зовется:
Здесь любим я, здесь люблю я!

Наступает час прощанья,
Горе в сердце мне струится,—
Все былое унованья
Оставляю на границе!
Вновь душа к пути готова,
Но Молдову не забуду,—
Так прощай, моя Молдова,—
Коль вернусь я, счастлив буду!

1848

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Скольжу над обрывами, страха не зная,
Угрюмых ворон на пути обгоняя.

Я в сани запряг молодого коня
И знаю — никто не обгонит меня!

С мечтою к небесным стремлюсь я пределам
По белым снегам за конем моим белым.

Сугробы мой конь прорезает, могуч,—
За ними пушистые марева туч.

Стремится мечта моя к зорьке высокой,
А сам я, изгнанник,— к отчизне далекой!

Стволы свои тщетно пытались согнуть
Деревья и снегом осыпать мой путь!

Напрасно и небом рожденные вьюги
Скрывали от взора поля и яруги.

Напрасно и волки в сторонке лесной
Хвостатою вьюгой бежали за мной,—

И волки и сонмы стволов онемелых
Терялись в туманах студеных и белых.

Мечта моя мчится к волшебной звезде,
А сам я — к отчизне — желанной везде!

Дороги отчизны цветами покрыты,
Стучите, стучите, стучите копыта!

На дальней звезде моя радость живет,
И к ней я мечты направляю полет!

Смеюсь я, к отчизне душой проникая,
Душа моя словно в преддверии рая!

Звезда голубая горит в вышине:
То ангел любви улыбается мне.

Развейтесь, туманы,— звезда надо мной!
Исчезни, чужбина,— вот край мой родной!

1849

УМИРАЮЩИЙ БЭЛЧЕСКУ

С каждым днем теряю силы,
Одинокий и больной.
Мне поля родные милы,
А томлюсь в стране чужой.
Вижу я: по небу птица
Мчится прямо на восток,
И туда же луч стремится,
Тучку гонит ветерок.

— Птичка, легкое созданье,
Я твой путь узнать хочу!
— Богом мне дано заданье —
Я в Румынию лечу.
Отнесу отчизне радость,
Глас гармонии святой,
Чтобы песенная сладость
К сердцу путь нашла прямой.

— Светлый луч, томясь в изгнанье,
Я твой путь узнать хочу!
— Богом мне дано заданье —
Я в Румынию лечу.
Поцелую осторожно
Я страны любимой грудь
И изгнаннику, возможно,
Облегчу тернистый путь.

— Тучка в солнечном сиянье,
Я твой путь узнать хочу!
— Богом мне дано заданье —
Я в Румынию лечу.
Напою луга и нивы
Освежающим дождем,
Распустились чтоб на диво
Все цветы в краю твоем.

Вдаль летите, луч и птичка,
Неба голубой тропой,
Утешенье отнесите
Вы отчизне дорогой.

Тучка, землю увлажняя,
Сделай так, чтобы в тиши,
В листьях лавра утопая,
Рос цветок моей души!

1852

ЗВЕЗДОЧКА

Любимая всем сердцем, звезда, душе родная,
Исчезнувшая рано во тьме небытия,
Ты жизнь мне согревала, лишь для меня сияя,
Когда на свете были мы вместе — ты и я.

О нежное сиянье, ласкающее очи,
Ищу тебя все время среди светил ночных,
Любовь моя стремится к тебе во мраке ночи
В безмолвный край бессмертья в просторах мировых.

Прошли в печали годы, еще пройдет немало,
С тех пор как в час несчастный я потерял тебя,
И вечности подобна печаль отныне стала,
И утешенья в горе не знаю я, скорбя.

Любви моей блаженство и все, что сердцу мило,
О будущем великом прекрасные мечты
В один вы миг погасли, как на небе светила,
Оставив за собою пустыню темноты.

Погасли вы, и жить мне отныне одиноким,
И в мире утешенья иного больше нет,
Чем страстною мечтою лететь к лучам далеким,
Искать за гранью жизни тебя, твой вечный свет.

О, как тебя любил я, всем сердцем, всей душою,
Нежнейшая услада, любовь, звезда моя,
И столько, столько счастья изведал я с тобою,
Когда на свете были мы вместе — ты и я!

Мой белоснежный ангел, мое очарованье,
Сон золотой, прекрасный в моей глухой судьбе,
Там, в небесах, исчезла, ушло цветка дыханье,
Одно воспоминанье оставив о себе.

Мои воспоминанья — в сокровищах бесценных
Свиданий, поцелуев, что жгут все горячей,
В неугасимом свете тех дней благословенных
И тех венецианских чарующих ночей!

Мои воспоминанья — тех дней венок прелестный,
Что сердцу утешенье несет всегда, всегда,
Сливаясь со звучаньем бессмертных арф небесных,
Когда в ночи тебе я молюсь, моя звезда.

Твоя любовь была мне, как дар, как пробужденье
Поэзии и счастья в моей душе, в крови,
Тебе в твой край далекий шлю ландышей цветенье,
Как нежный отзвук нашей всегда живой любви!

⟨1853⟩

ЗВЕЗДЫ

(Дойна)

Нет не годы и не версты —
Между нами только звезды!

А подумаешь, так просто
Это слезы, а не звезды,—

Что из глаз моих скатились,
В чистом небе засветились,

Как росинки в час рассвета
На цветах любого цвета.

Много слез я пролил в жизни
За судьбу моей отчизны!

За изгнанников, живущих
Лишь мечтой о милых пущах,

Сколько раз я плакал горько!
А счастливых слез восторга

Обронил лишь только две я —
Эти звезды всех светлее!

1853

В СЕВАСТОПОЛЕ

Под злобный грохот пушек, гремящих здесь и там,
Я прохожу печально по крымским берегам.
Могильною землею ступаю я повсюду:
Здесь каждый холмик прячет костей истлевших груду.

Взлетали с визгом бомбы в сырой осенней мгле
И рвались с тяжким громом, ударив по земле.
И почва вся разрыта — она перемешала
В себе обломки ружей с осколками металла.

Затопленные в бухте видны мне корабли.
Сожженный Севастополь в клубящейся пыли.
В дыму свои руины раскинул над холмами,
Окутан в белый саван тумана облаками.

Великая картина отсюда мне видна...
Теперь венками славы украшена она,
А сколько было крови, и ужаса, и страха,
И все это по воле тщеславного монарха!

Прошло ль землетрясенье, разрушив все кругом,
Иль с неба пало пламя, небесной кары гром?
Нет, не землетрясенье, не пламень божьей кары —
Следы людской здесь злобы и ненависти ярой.

Повсюду здесь остался на грустных берегах
След свежих разрушений, руин остывших прах.
И тут и там венчает безвестные могилы
Качаемый ветрами на взгорье крест унылый.

Когда, когда ж, о боже, пора настанет та,
В которой воплотится святой завет Христа,
Когда в печальном мире не станет зла и тени,
А человек не будет орудьем разрушений?

И день навек прекрасный, прославленный взойдет,
Когда любой властитель, что был он слеп, поймет
И воцарится в мире великих чувств богатство:
Свобода, справедливость, и равенство, и братство.

В те думы погруженный, перехожу овраг
И у одной могилы я замедляю шаг.
Она разбита бомбой, что с высоты упала,
И на земле остались осколки пьедестала.

Ядро лежит здесь рядом, расколото оно
И, словно чаша смерти, теперь росой полно,
А сквозь разбитый мрамор упрямо прорастая,
Свой вытянула стебель ромашка полевая.

Ядро — посланник смерти — превращено в сосуд
(О тайна провиденья!), откуда птицы пьют.
Из смерти жизнь родилась, из тьмы взошло светило,
И венчик на могиле ромашка распустила.

О, если б реки крови, что пролиты в боях
На этих бастионах, на выжженных холмах,
Плод добрый принесли нам — права на возрожденье
Страны моей родимой в век горький угнетенья!

1855

ЗАГОВОР

Солнце, взойди!
Братец, найди
Сорок четыре луча в груди.
Сорок тебе — жарко гори,
Четыре луча мне подари.
Два луча твои светло
Пусть ложатся на чело.
Два другие — не забудь —
Брось в глаза мне, брось на грудь!

Солнце, сокол золотой,
Солнце, вестник огневой,
Солнце, погоди, постой,—
Сделай, солнышко, меня
Ярче дня,
Светлей огня,
Чтобы милый полюбил,
Чтоб нас бог соединил!

⟨1863⟩

ВЕЧЕРА В МИРЧЕ́ШТИ

Опущенные шторы и лампы свет лучистый...
Я ласковому другу — огню в камине — рад.
Картины, глаз лаская отливом золотистым,
Таинственно и тихо из сумрака глядят.

А на дворе ненастье, а на дворе все то же:
Дождь, снег и в черном поле буран куда-то мчит,
А я мечтаю... фея сойдет ко мне, быть может,
И золотистый голос тихонько зажурчит.

И вот сижу, весь вечер пера не выпуская,—
То песню на лету я ловлю концом пера,
То вижу одалиску, что нежится, нагая,
На разноцветном поле узорного ковра.

Упругая округлость ее младого тела
И мраморные ноги... И грудь, волны нежней...
Вот так же Афродита над пеною белела,
Чтобы никто на свете не мог сравниться с ней!

А рядом поле боя. От края и до края —
Кровь черная и трупы... Нигде не слышен стон.
Вот юноша цветущий. Меч сломанный сжимая,
Не сводит глаз угасших со входа в вечность он!

Блуждает глаз повсюду — и в голубом просторе
Я вижу древний город, печальный и немой,—
Венеция, царица, глядящаяся в море,
Сиянья древней славы не видит над собой.

Увы! Но вот над пеной, что плещет и клубится,
Корвет несется быстрый — то легкий алкион,
И журавлей уныло промчались вереницы
Искать тепла и счастья среди чужих сторон.

Очарованье дали и вечных странствий сладость,
Мечта о нежных красках спокойной синевы,
Грусть тихая по свету, при виде солнца радость,—
От холода и мрака меня спасете вы!

А во дворе ненастье и буре нет пределов —
Повсюду снег смешался с промозглой темнотой,
Но вижу край, где полночь блестит луною белой,
Полив цветы прозрачной волною золотой.

О, сказочное море и страны без названья!
Озера изумрудны, прекрасны города,
И на рассвете теплом пугливых фей купанье,
И дикари, что бродят в густых лесах всегда...

Вот так сквозь кольца дыма я вижу поле брани,
Я слышу лязг оружья, героев голоса,
И сердцу дарят сладость томительных мечтаний
Таинственных гаремов Востока чудеса.

Но вот воображенье устало крылья сложит,
И все картины меркнут и тают в тишине...
О рой воспоминаний, что кружит и тревожит,
Портретом той, далекой, ты снова послан мне!

И улетает сердце туда, в иную пору...
Страданья стали счастьем, далеким, дорогим...
Тогда цветы и звезды, леса, моря и горы
Мне пели величавый, ласкавший сердце гимн.

И вот сижу один я, а во дворе ненастье,
И радуг переливы все манят мысль в полет,
Пока свеча не меркнет, огонь в печи не гаснет,
Пока моя собачка с колен не соскользнет.

1867

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

Постояльцы наших кровель в край далекий улетели,
Гнезда аистов, касаток — обветшали, опустели,
Журавлей неугомонных вдаль умчались косяки,
И напутствует их голос нашей дружбы и тоски.

Поле зеленью покрыто, увядающей и тощей,
Заморозками побиты, на заре ржавеют рощи;
Листья мечутся и вьются — наземь, наземь лечь спеша:
Так с мечтами расстается чья-то тихая душа.

Словно сказочные змеи, поднимаются высоко
Тучи, сумрачные тучи — с юга, севера, востока;
Запад солнце погребает — и с печалью похорон
Злое карканье сливает стая встрепанных ворон.

Меркнет день; седая стужа ветер северный седлает,—
Снежный ветер, страшный ветер в дымоходах завывает;
Вол мычит, собаки лают, рвет постромки рыжий конь,
К очагам теснятся люди, тихо смотрят на огонь.

1867

ЗИМА

Пали с неба тучи снега, зимний ветер полон злобы,
Громоздятся над полями странствующие сугробы,
Хлопья роем мотыльковым вьются в ледяной пыли,
Одевают снежной дрожью плечи матери-земли.

В полдень снег, метели ночью, поутру бушуют вьюги!
Хороша моя отчизна в среброкованой кольчуге;
Солнце зимнее печально, все бледней струится свет,
Словно юности мечтанья в непрестанной смене лет.

Все бело — холмы, поляны — и вблизи и в отдаленье,
Тополя уходят в дали — белые, как привиденья;
Зимний мир снегами устлан, бездорожен, нелюдим,—
Лишь над кровлями селений там и сям клубится дым.

Но благой конец приходит даже буйству снегопада:
Снег мерцающий на солнце — взора нашего отрада!
По серебряным долинам санки легкие скользят,
В зимнем воздухе студеном колокольчики звенят.

1868

МОРОЗ

Как мороз, жестокий, лютый, в ледяном своем объятье
Сжал долину, что застыла, цепенея, в черном платье.
Словно мертвую невесту, старику долину жаль,
На заре ее закутал в снежно-белую вуаль.

С гор мороз спешит спуститься, ледяной скользит дорожкой,
На огонь глядит веселый, задержавшись у окошка.
Лепестки цветов целуя, на стекло кладет мороз
Стебли белых, хрупких лилий и охапки снежных роз.

А затем одним дыханьем строит мост меж берегами,
С крыши вешает гирлянды, чтоб сверкали хрусталями.
Расцветают от мороза щечки нежные девчат,
Живо нам напоминая, как хорош цветущий сад.

Чуя крылья за спиною, мчатся взмыленные кони,
По равнине гладкой, белой их мороз нещадно гонит.
Моего коня гнедого подгони, мороз седой,
А куда меня примчит он, знаем только мы с тобой!

1868

МЕТЕЛЬ

Ветры северные воют, снег с холмов, с равнин сметая,
Тучи колкой снежной пыли прямо к небу поднимая,
И сугробом эти тучи оседают в низкий лог,
Как в пустыне африканской ветром вздыбленный песок.

Вьюга мир терзает; волки меж холмов, друг друга клича,
Пробираются сквозь вьюгу, ждет их верная добыча.
Стадо в страхе. Буйный ветер сносит в сторону ворон,
И к земле пригнулись ивы, издавая жалкий стон.

Вой и рев, рыданья, крики поднимает ужас древний.
Из лесов, объятых страхом, из притихнувшей деревни.
Раздается где-то ржанье на просторе снеговом.
Ночь спустилась, волки воют... Горе путнику с конем!

Счастлив тот, кто в ночь глухую в снежном бешеном круженье
Вдруг услышит лай собачий и увидит в изумленье
Огонек гостеприимный, что лучом прорезал тьму,—
Дом, где радостная встреча приготовлена ему!

1868

В РАЗГАР ЗИМЫ

Дуб трещит в лесу дремучем, холод лют, неумолим,
Звезды стынут от мороза, небо кажется стальным.
Под ногой скрипят упруго снега звонкие кристалл,—
Словно нива, вся в алмазах, с неба на землю упала.

В чистом воздухе недвижном дым из труб струится ввысь —
Словно там колонны храма прямо к звездам поднялись,—
И сияет свод небесный, опершись на те колонны,
И венчает крышу храма белый шар луны бессонной.

О волшебный храм небесный! Вижу, взор подняв туда,—
Как светильник негасимый, светит каждая звезда!
Алтари в том храме — горы, а леса — орган грядущий,
Где порою стонет ветер, ветер, с севера летящий.

Но сейчас здесь все безгласно, словно вымер белый свет,
Пусто белое пространство, на снегу — ни следа нет.
Чу! Мелькает в лунном свете темный призрак, тень ночная:
Это волк добычу гонит, смертный страх в нее вселяя...

1868

ПЕРЕД ПЕЧКОЙ

Сидя ночью перед печкой, в час когда бушует вьюга,
Только в пламени веселом нахожу себе я друга,
Я в огонь смотрю устало, и в глазах моих встает
Милых сказочных видений фантастический полет.

Вот чудесная жар-птица в небесах с драконом бьется;
Вот мостами золотыми со звездой олень несется;
Кони мчат быстрее мысли; бьет хвостом крылатый змей,
Что в волшебном подземелье держит царских дочерей.

Вот орлы, что в крепких клювах из-за гор, из дальней дали
Гордых витязей приносят, чтоб красавиц покоряли;
Вот на озере молочном феи плещутся в волнах,—
Возле них шутник Пепéля в майских спрятался цветах.

Что ж меня так привлекает, что еще там, погляди-ка:
То Иля́на-Косынзя́на, в волосах поет гвоздика,
И сижу я до рассвета, загляделся, загрустил —
Снова вспомнилось мне чудо, что когда-то я любил.

1868

КОНЕЦ ЗИМЫ

Страны моей просторы с сугробами расстались,
А бабьи дни и ночи бессонные — промчались,
Струится пар над пашней, и ростепель дорог
Подсушивает легкий весенний ветерок.

Лучи теплее стали и в сердце запросились,
Последние сугробы в оврагах притаились,
Журчит ручей, вздуваясь, сбегая напрямик,
И почки распуститься готовы каждый миг...

Вот бабочка — о боже! — мелькнула и исчезла!
Вот на поле былинка зеленая воскресла,
И, тяжестью своею клоня былинку вниз,
На ней жучок отважный, задумавшись, повис.

Лучом, жучком, былинкой и бабочкой беспечной,
Устав от зимней стужи и скуки бесконечной,
Как будто бы впервые душа изумлена
И тихим нежным светом опять озарена.

1868

ВЕСЕННИЕ ГОСТИ

Там на востоке, в небе, на синеве просторной,
Вдруг что-то показалось растущей точкой черной.
То аист, гость далекий, летит из глубины,—
Любимый всеми вестник чудесных дней весны.

Он кружит над селеньем, он вьется ниже, выше
И вдруг быстрее мысли летит к гнезду на крыше.
К нему бежит навстречу в восторге детвора:
«Привет тебе, наш аист! Давно домой пора!»

Вот жаворонки в небе, вот ласточки над хатой,
В лесу уже не молкнет на ветках хор пернатый,
Щебечет, согреваясь под ласковым лучом,
А чибисы все кружат над солнечным прудом.

Ах, все поля одеты в зеленые одежды,
Воскресли жизнь и радость, живут любовь, надежды,
Земля сливает с небом объятья горячей
В огне весенних песен и золоте лучей.

1868

ЖУРАВЛИ

Вновь несутся узким клином журавли из светлой дали,
На крылах своих широких солнца свет они примчали.
Вот летят они над нами, вот за тучу скрылись вмиг...
Впереди — журавль бывалый, их небесный проводник.

Нынче к нам они вернулись, ради севера покинув
Дальней Индии пределы, край таинственный браминов;
Там не счесть свирепых тигров, джунгли змеями полны,
Ходят ночью к водопою с длинным хоботом слоны.

О счастливые скитальцы! Мчась в заоблачные дали,
Сверху, с неба, эти птицы тайны Африки видали:
Горы лунные, пустыню, землю, странную как сон,
Где народом чернокожим Белый Нил обожествлен.

О скитальцы дорогие! Позади у них полмира:
Реки Азии, долины плодородного Кашмира;
И Цейлон оставлен ими, благодатный остров-рай,
И несут они на крыльях счастье в наш родимый край!

1868

ГРОМ

Там, над пшеничным полем, замедлив свой полет,
Скользят неторопливо кочующие тени,
Подобно горной речке, с высот несущей лед
И ширящей в долине разлив воды весенней.

То тень от легких тучек, летящих на простор,
Сверкающих под солнцем, как цепь далеких гор.
Они приходят в полдень, слегка ворча сначала,
Чтоб после звоном жизни гроза загрохотала.

И вот удары грома! Тем голосам в ответ
Природа, пробудившись, свои задела струны.
Ей весело подумать, что зимней стужи нет,
Ей чувствовать приятно себя, как прежде, юной.

Уже ликует запад, ликует и восток,
Полет орлов в лазури и волен и широк.
Они летят, чтоб слушать весенние фанфары
Грозы, несущей радость в леса, поля и яры.

1868

ВЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ

Злые вьюги отшумели
И явились к нам вдвоем —
Солнце с вербною неделей,
Верба с солнечным лучом.

Как от радостной капели
Все заискрилось кругом —
Солнце с вербною неделей,
Верба с солнечным лучом!

Жаворонки прилетели,
И пригнало ветерком
Солнце с вербною неделей,
Вербу с солнечным лучом.

Жаль прикованных к постели,
Ждет здоровых за окном —
Солнце с вербною неделей,
Верба с солнечным лучом.

Что тут думать в самом деле!
Девушка, со мной пойдем
К солнцу с вербною неделей,
К вербе с солнечным лучом.

Глянь, фиалки посинели!
Их пригрели за кустом
Солнце с вербною неделей,
Верба с солнечным лучом.

Поцелуемся у ели,
Пусть на нас глядят тайком
Солнце с вербною неделей,
Верба с солнечным лучом.

Ты сердита — неужели?
Не поверят нипочем
Солнце с вербною неделей,
Верба с солнечным лучом.

1868

ПЛУГИ

В добрый час! С рассветом в поле вышли пахари-румыны,
Шесть волов упряжку тянут, напряженно выгнув спины.
Парень жмет на рукояти — углубилась в землю сталь,
Длинной черной полосою борозда уходит вдаль.

От борозд широких поле — с каждым часом все чернее,
Батраков — парней безусых — голоса звучат слышнее.
И под солнцем сохнет нива, на ветру чуть-чуть дымясь.
Аисты в раздумье важно вдаль идут, не торопясь.

Вот и полдень. Тут же в поле отдыхать садятся люди,
Им еду несут подруги в узелках, в простой посуде.
Плуг лежит, а мальчик славный, черноглаз и чернобров,
Шумно гонит к водопою утомившихся волов.

Земледельца труд священный, труд, завещанный от века,
Братской дружбою с землею ты связуешь человека!..
...Но уже заходит солнце, и, свершив свой труд дневной,
Вместе с плугами крестьяне возвращаются домой.

1868

СЕЯТЕЛИ

Вдоль борозды крестьяне идут — пшеницу сеют.
Кругом луга и долы украсила весна,
Надежду земледельцы великую лелеют,
За горстью горсть бросая по ветру семена.

— Сам-тысячу нам снять бы! Мы лишь довольства просим!
— Хорошей бы погоды, удачи б мужику!
— Чтоб зернышки крупнее, чем воробей под осень!
— Чтоб каждый стебель ростом был равен тростнику!

— Пусть горлица отыщет приют в полях пшеницы,
Неслышно зреют зерна пускай в июньский зной!
— Пусть в день страды в пшеницу войдут жнецы и жницы,
Войдут — и будут скрыты янтарною волной!

А бороны неспешно идут четой колючей,
Разравнивая комья мужицкой борозды;
Весельем полнит душу весенний день певучий,
Придет к крестьянам осень наградой за труды.

1868

БЕРЕГ СЕРЕТА

Исчезает, словно призрак, дымка легкая ночная
Над прибрежной чуткой рощей — расточаясь, пропадая.
А река блестит, мерцает, как чешуйчатый дракон,
Что рассветными лучами пробужден и озарен.

И слежу я на рассвете там, на берегу зеленом,
За течением, что вьется ускользающим драконом:
Гальку моет, берег роет, дремлет в омутах река,
Хвост серебряный покоит за излуками песка.

Шорохи плакучей ивы на песчаном слышу склоне,
Вижу, как сверкнула щука за шальной осой в погоне,
Редко — крики диких уток оглашают вышину
И ложатся тени стаек на прозрачную волну.

А река бежит, струится, непривычная к покою,
Проплывают мимо мысли, уносимые рекою;
Отмель желтую покинув, радуясь приходу дня,
Ящерка-зеленошкурка зорко смотрит на меня...

1868

НА ПРУДУ

Воздух свежий и прозрачный, и его прикосновенье
Успокаивает душу и оттачивает зренье.
Пруд пока еще в тумане, и вода его тиха,
Ждет она восхода солнца, как невеста жениха.

На востоке заалело, воробьишки-замарашки
На скирде засвиристели и давай играть в пятнашки.
Начался концерт шумливый, пруд от гула задрожал,
Зашептался камышами, стайкой уток просвистал.

Челн охотничий лениво в камышах застыл прибрежных,
Гибких водорослей змеи обвились вкруг лилий нежных,
Утки-кряквы между кочек затаились и молчат,
Скрылись под воду лысухи, только чибисы кричат.

Наводя смертельный ужас, челн проходит по теченью,
То блеснет ружье на солнце, то широкой скрыто тенью.
Лишь у цапли длинноногой страха не было и нет,
Знай по бережку гуляет: «Ведь охотник-то поэт!»

1869

ЖАТВА

Вьются жаворонки в небе и, кружась, щебечут где-то,
К нам спускаясь из-под солнца легкой лестницею света.
Неподвижный знойный воздух, треск кузнечиков сухой,
Щебетанье перепелок там, в пшенице золотой.

Жать высокие колосья вышли люди пред зарею
В час, когда еще сверкало поле свежею росою,
И плывут в потоке желтом, что не знает берегов,
Девушки — все без косынок, парни — все без поясов.

Серп — звенящий полумесяц — так и режет колос колкий,
Дальше, птенчиков скликая, убегают перепелки.
Дальше поле отступает, вырастают без конца
Копны с тяжкими снопами за спиною у косца.

Парень с девушкою рядом. Хорошо идет работа.
Жнут и, прячась за копною, знай целуются без счета,
Песня жаворонка льется над простором нив родных:
«Сладок, сладок будет людям хлеб из зерен золотых!»

1869

СЕНОКОС

Над высокими холмами всходят утренние зори,
Светоносною рекою разливаясь на просторе.
С ветром в блеске трав росистых трудовой проходит день,
По земле простерли стебли шевелящуюся тень.

Косари, долину брея, вдаль уходят мерным шагом,
Зелена земля под нами, и блестит она, как влага;
Им во след идут другие, ловко сено вороша,
И вон там уж стог увенчан ровной связкой камыша.

А в дубраве при долине, где росистая поляна,
Где и тень зеленой стала, где цветами пахнет пряно,—
Косы звякают упруго, блеска влажного полны,
Скачет вспугнутая птица от копны и до копны.

Парень шел с косой сторонкой, где растут кусты сульчины,
Перед смятою травою замер он не без причины:
«Кто лежал тут,— зверь иль птица? — разобраться не могу!»
...Вдруг с улыбкой удивленной поднимает он серьгу!

1869

ПОХОД В СИБИРЬ

В седых заснеженных степях,
Под пологом свинцовым,
Толпа бредет за шагом шаг,
Привыкшая к оковам,
Лохмотья к небу вопиют,
А злобный холод лют.

Они по снежной целине
Бредут уже полгода,
По бездорожной стороне
Ведет их непогода.
Иной обмерз, уснул иной
Под хладной пеленой!

Им нет ни края, ни конца,
Нет ни конца, ни края,
Их хлещет снежная пыльца,
Поземка ледяная,—

Тела в крови, в крови уста,
Тяжел удар кнута!

Как много стражей — вон казак
На лошаденке дикой,—
Вон злобу затаил в глазах
Наездник с длинной пикой,—
Спешит эскорт сторожевой:
Как жуток волчий вой!

Звенит оковами беда,
Нет людям места в жизни,
Им, безыменным, никогда
Не жить в былой отчизне!
Надежды нет — есть снежный прах,
Смерть в ледяных степях.

Бредут в просторах снеговых,
А каждый жил когда-то,
О, как горел любой из них,
Любя отчизну свято!
Они в сугробах и крови
Во имя той любви!

Героев вольности не счесть,
Не всех в живых найду я,
Свела их яростная месть
В могилу ледяную.
За шагом шаг толпа бредет,
Сибирский крут поход!

Но вот смолкает скрип шагов,
Слышнее вьюги ропот,—
Из замерзающих рядов
Печальный слышен шепот,—
Страдальцы выстроились в ряд —
И стонут и дрожат.

Начальник палачу под стать,
Вкруг рыщет, словно ветер,
Погибших стал он отмечать
На рукояти плети;
Потом сурово приказал:
— Конвойные, привал!

И опустился жалкий строй
В сугробах на колени.
Окутаны морозной мглой
Вповалку люди-тени,
Друг к другу жмутся, жизнь кляня,
Без крова и огня.

Скорей на снег ничком упасть!
Страданье затихает,
Воспоминаний милых власть
Душой повелевает.
Цветущий мир, далекий край,
Теперь во сне вставай!

И одному приснилась мать,
Жена пришла к другому,
Их души начала ласкать
Любовь к родному дому.
Пусть хлынут слезы! Этих слез
Не истребит мороз.

Заснули! Рвется вихрь во мгле
Из ледяной утробы.
Страдальцы спят, а на земле
Растут-растут сугробы,—
Мерцает сквозь кристаллы льда
И слезы льет звезда.

И ветер саваном седым
Пустыню одевает,—
Снег беспределен, и под ним
Колонна исчезает;
Лежит равнина на заре
Вся в снежном серебре.

Снега, снега — и нет людей,
Им страшный выпал жребий,—
Все неотвязней, все слышней
Орлиный клекот в небе.
Выходит с воем волчья рать
Добычу в клочья рвать!

⟨1871⟩

МЕСТЬ СТАТУ-ПАЛМЭ

Близнецы и великаны — Стры́мбэ-Ле́мне, Сфа́рмэ-Пья́трэ
Видели потоп и плыли меж его взъяренных вод.
И с тех пор как у печурки сказки слушать вам приятно,
Проживает с ними карлик — Ста́ту-Па́лмэ-Ба́рбэ-Кот.

На своем наречье странном говорили исполины,
Лежа на лугу зеленом у подножия хребта,
И на лица их большие в травах солнечных долины
Вдруг нежданно набегала мрачной мысли чернота.

— Братец, знаешь ли Трестяну? — вопрошает Стрымбэ-Лемне.
— Знаю! — Сфармэ отвечает.— И сравню ее с виденьем,
Как Иляну-Косынзяну, я сравню ее с цветком,
С золотым осколком солнца, света яркого куском!

— Прав ты, братец Сфармэ-Пьятрэ, сомневаюсь я все время
(Хоть твердят — сосну большую малое рождает семя...),
Вправду ль карлик Стату-Палмэ этой девушке отец?
— Говорят, дружком на свадьбе был Пепеля-молодец!

Опершись на локти, громко рассмеялись исполины,
Горные орлы взлетели на скалистые вершины,
Заходили-загудели горы, нивы и леса,
Посмотреть им захотелось, где творятся чудеса.

И, задумавшись глубоко, снова молвил Сфармэ-Пьятрэ:
— Все бы отдал я, чем недра гор таинственных богаты,
Я б Трестяне милой отдал скалы, золото и медь,—
За меня ей только надо выйти замуж захотеть!

Отвечает Стрымбэ-Лемне: — Если бы моей Трестяна
Стать внезапно захотела, я б ей отдал все поляны,
Я б леса свои ей отдал, я б ей отдал зелень рощ,
Соколов, павлинов пестрых и орлов волшебных мощь,

Я б ей отдал львов, и ланей, и гепардов, и грифонов,
Отдал ей лесов прохладу, норы яростных драконов,
И оленей златорогих, и поющих соловьев,
Всю гармонию природы, сладость всех земных плодов!

— Нет, твоей она не будет! — Сфармэ-Пьятрэ взвился с места
И булыжник исполинский сильной лапой ухватил.
Грозно крикнул Стрымбэ-Лемне: — Нет, ей быть моей невестой,—
И над черной головою дуб могучий закрутил!

Вдруг до слуха их домчался дикий вопль тонкоголосый,
Обернулись великаны, бросив ратные труды:
Видят: старый Стату-Палмэ кувырком летит с откоса,
Ножки путаются в прядях знаменитой бороды!

Сфармэ-Пьятрэ злого карлу на ладонь свою поставил.
— Помогите, великаны! — Стату-Палмэ закричал.—
Перепутайте, сметите все дороги и заставы,
Сон пучины всколыхните, раздробите плечи скал!

Ставьте мощные заслоны от земли до небосвода...
Фэт-Фрумос украл Трестяну, дочь похитил у меня! —
Бросились искать злодея великаны-скороходы
В темные леса и скалы, похитителя кляня.

Ужасом земля объята, топчет горы Сфармэ-Пьятрэ,
Через пропасти шагает, переходит реки вброд,
Недра темные колышет быстроногий тучеход,
Властелин землетрясений, не идущий на попятный!

Он скалу, как лист табачный, растирает меж ладоней,
Камни сбрасывает в реки, те в речном сгрудились лоне,
Стопудовыми ногами глыбы грозные дробит,
И вода на тех порогах вся бурунами кипит!

Покидающие русла затопляют землю реки,
Долу клонятся вершины, брызжет пена на холмы,
Но подземный гул и гомон, но подспудный грохот некий
Не смущает так людские омраченные умы,

Как над миром потрясенным появленье исполина,
Челюстей могучих скрежет и огонь кровавых глаз;
Головой пронзая тучи, топчет горы и долины,
Сам живой горы подобье, поражает страхом нас!

Ну а братец Стрымбэ-Лемне ворвался в лесную гущу,
Голос вьюг в былом затишье громче яростной трубы,—
Тополя, как травы, клонит великан, в лесах бегущий,
На бегу корчует вязы, ломит буки и дубы.

Продирается сквозь дебри и шумит в прибрежных рощах,
Заскрипели ветви дико, лезет Стрымбэ напролом,
За его спиною бревна и обломки веток тощих,
За плечами черный хворост, искривленный бурелом!



Константин Розентал (1820—1851)
«Революционная Румыния»

Вдруг застыли исполины, кверху головы задрав,
Вдруг сверкающее солнце скрыло лик за мрачной тучей:
Фэт-Фрумоса и Трестяну ввысь уносит конь летучий,
Золотистыми крылами на прощанье помахав!

Прижимается Трестяна нежно к сердцу Фэт-Фрумоса,
Как звезда, ее улыбка блещет выше звездных стай,
И сокровище земное Фэт-Фрумос златоволосый
На коне везет крылатом в беспредельный звездный рай!

Проплывала эта пара, нежно слив уста с устами,
Всё друг другу в очи глядя, словно мчатся в чудном сне,—
Застонали великаны и затопали ногами:
Ярость гневная вскипела в их душевной глубине.

И взъярились великаны, словно дымные вулканы,
Рвут дубы, швыряют в небо камни, корни, валуны,
И летят деревья к солнцу, скалы мчатся сквозь туманы,
Камни рухнули — у братьев черепа размозжены!

Сказочники уверяют, что лукавый Стату-Палмэ,
Спрыгнув с тополя, на зайце поскакал, не чуя ног,—
И, приблизившись к убитым, произнес почти печально,
Что телегу пребольшую сковырнул с пути пенек!

1872

ПУТЬ РАБОВ

(Млечный Путь)

Река светил прекрасных сверкает в небе темном,
Из далей бесконечных к Молдове все течет;
В небесном океане, бездонном и огромном,
Сияют звезды ярко, как светоносный флот.

Порой, покинув выси, звезда с отливом синим
Срывается нежданно в небесную пустыню;
На черном поле неба бороздка серебрится,—
Что жизнь, коль рядом вечность? Она недолго длится...

К прекрасному Востоку по темени бескрайной
Простерлось это поле в мерцанье звезд ночных,
Оно напоминает о пустоте печальной,
Что в сердце остается по смерти дорогих...

И путникам заблудшим, как верною рукою,
Указан путь в Молдову светящейся рекою.
Буджяк — то поле света, в дни горя и печали
Истоптанное теми, что от татар бежали.

⟨1874⟩

ОСЕНЬ-ПРЯХА

«Работящая и тароватая»

Народная поговорка

Снова осень золотая
К нам явилась, рассыпая
Все дары щедрот своих, —
Листья на ветер швырнула,
А плоды полей вернула
Тем, кто трудится на них.

Лен — для рушников чудесных,
Воз початков полновесных,
Кукурузу нам дала,
Кисти виноградин длинных,
Чтоб на свадьбах и крестинах
Радость пенилась, светла!

Острым жалом кос блестящих
Трав раздолье шелестящих,
Тех, что в мае отцвели.
А краям восточным в просинь
Певчих птиц послала осень,
Следом — клином журавли!

Погрустнела золотая,
Стужу зимнюю встречая:
Как ей голою брести?
Все наглее вихрь летучий,
Снеговые мчатся тучи,
Чтоб сугробы намести.

Как ей жить в степной округе,
Как ей встретить ярость вьюги:
Дует ветер-лиходей, —
Он, не ведая покоя,
С верб над мертвою рекою
Листья снес в простор полей!

Нет, пока на свете тихо,
Осень, статная ткачиха,
В руки взяв веретено,
Загодя сготовит пряжу,
Чтоб укутать грудь лебяжью
В голубое полотно.

Пред зимой не зная страха,
Тихо бродит осень-пряха
По холодной борозде,—
Паучки, сюда бегите,
Вон — мерцающие нити
Блещут всюду и везде!

По полям и по долинам
Серебристым нитям длинным
И сплетаться и лететь.
Из одних — клочки кудели,
А другие — вниз осели,
Как таинственная сеть.

Осень их сбирает снова,
Приготовлена основа,
Нитей ткать не переткать,—
Будет шаль в узорах мелких,
Чтоб на сельских посиделках
До рассвета проплясать!

Вон она — в простой рубахе!
Черноглазой этой пряхе
Править пир в душе людской!
На груди бренчат мониста,
А зима ворчит завистно,
Злится ветер колдовской!

А румын сказал: — Не худо,
Чтоб еще свершилось чудо,
Чтобы девушка с утра
И в мою явилась хату:
Работяща, таровата,
Как осенняя пора!

1875

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Небосклон мутней опала,
Холод в воздухе седом,
Белой ночью засверкала
Влага, скованная льдом,—
Страх спешит в дубы вселиться,
Здесь хозяйкою сама
Смерти младшая сестрица,
Необъятная зима.

Стужа зимняя окрепла,
Лют мороз — белеют в нем
Пар из уст и горстка пепла
Под бушующим огнем.
Всех слепит морозный воздух,
Путник бродит как слепой,
Пляшет вихрь в вороньих гнездах
Над яичной скорлупой.

Поле спереди и сзади,
Чистых перлов целина,
И в серебряном окладе
Ясноликая луна,
Что в бескрайной и безбрежной
Высоте забылась сном,
Как корабль под ризой снежной
В океане ледяном.

Этой полночью унылой
Мир, в который мы пришли,
Скорбной кажется могилой,
Где упрятан труп земли,—
И, не ведая отрады,
В час ночной, что стужей лют,
Звезд бессмертных мириады
Над могилой слезы льют.

Тишь ночной поры нарушу,
Каблуками прозвеню.
Старую увижу грушу,
Где раздолье воронью.
Даже ветви помертвели.
Лед, безмолвье, голизна.
Что же? Значит, в самом деле
Смерть и солнцу суждена?

И ужель на свете белом
Только я один в живых,
Путник в мире помертвелом,
В бездорожьях ледяных?
Но вдали, быстрее пули,
Сквозь мороз и ветра вой
Санки легкие мелькнули
По дорожке световой.

Мчатся зимнею дорогой,
Полоз буковый хорош,—
Ну-ка, зайка хромоногий,
Ты куда же их везешь?
Кто ж глядит из тех салазок,
Может, ведьма? Ну так вот:
То герой известных сказок
Стату-Палмэ-Барбэ-Кот!

Правит зайцем хромоногим...
Небосвод мутней слюды,
На снегу лесной дороги
Зайки легкие следы.
На снегу серебристо-синем
Возле зайкина следа
Разлеглась хвостом павлиньим
Злого карлы борода.

Мчат вдоль берега речного
С оголенным ивняком,—
Вот старик с холма крутого
Полетел, как снежный ком.
Въехал в рощицу нагую.
Стужа, снега белизна.
В буковом стволе тоскуя,
Здесь их ждать должна весна!

Что за резвость у зайчонка:
Прянул вбок одним прыжком.
Бук высокий, там в сторонке,
По сказаньям нам знаком:
Карлик топором блестящим
Стукнул в звонкую кору:
— Милая, не прячься в чаще,
Я с собой тебя беру!

Из сугробов снежно-белых,
Из-за буков, из яруг
Прямо к свету сотни белок
Серым вихрем мчатся вдруг!
Погребен в заветном буке
И не вызволен пока,
Юный голос, полный муки,
Вопрошает старика:

— Кто стучит в мое жилище,
В дом мой, где царит мороз?
Брат Апрель сестрицу ищет,
Или витязь Фэт-Фрумос?
— Это я, твой Стату-Палмэ,
У меня мечта одна:
Из лесной опочивальни
Вызволить тебя, Весна!

— Старец, ты моей душою
Хочешь, видно, овладеть?
— Я дышу тобой одною,
Я хочу помолодеть! —
Старичок прошамкал тонко.
Голос девушки затих,
И деревья звонко-звонко
Засмеялись в тот же миг.

Бук волшебный в мелколесье
Ожил — и его рука
Подняла до поднебесья
Чародея старика,
Плачет Стату-Палмэ-Барбэ,
Но меж буковых ветвей
Провисит, неблагодарный,
До погожих летних дней!

Неустанный дует ветер,
Непрерывный слышен стон:
Карлик на морозной ветви
В зимний воздух вознесен.
Пешеход, крестясь в испуге,
Лишь качает головой:
— Верно, нечисть всей округи
Увязалась вслед за мной!

1875

ВЕТЕР С ЮГА

Ветер с юга, ветер с юга,
Разорвал он снежный полог,
Все убрал, что ночь и вьюга
Намели в горах и долах.
Ветер дует-завывает
Над подтаявшими льдами,
Стужа зимняя рыдает,
Плачет горькими слезами.

Прилетел он к нам, бродяга,
Из краев, подвластных зною,
Где скупа земная влага,
Дождь не брызжет над травою;
Солнца шар кроваво-алый
Жжет пески тропы верблюжьей,
Караван бредет усталый
Вереницей неуклюжей.

Южный ветер беспокоен:
Остудил он зноя крылья
Над пучиною морскою
Водяной лазурной пылью,—
Он к сугробам припадает,
Дальних мест посол чудесный,
Снегом голод утоляет,
Точно манною небесной!

Дует он, чело наморщив,
Чтобы вышла из-под снега
На клочке земли отмерзшем
Зелень юного побега.
А потом еще нежнее
Раскрывает ветер почки,
Где укрылись, зеленея,
Боязливые листочки!

Здравствуй, властвуй, ветер южный!
Новой силою богатый,
Ожил в норке — черный, дюжий —
Жук блестящий, жук рогатый!

Зародившись в дальних селах,
Мчатся, русл не зная торных,
Мириады рек веселых
В теплый дом с отрогов горных!

И уже над мокрой нивой
Начинают слышать люди
Гром настройки хлопотливой
Незаписанных прелюдий:
Скоро в синь вонзится прямо
Журавлиный клин крылатый,
Забарахтаются в травах
Тонкорунные ягнята!

Утомясь от перелета,
Ветер с юга утихает;
Он, подобно пешеходу,
На опушке отдыхает,—
Вдаль глядит он, ветер с юга;
Там зима полунагая
Посинела от испуга,
От пришельца убегая.

Ветер, сидя на опушке,
Слышит голос, полный муки,
Кто-то, как в темнице душной,
Заключен в могучем буке!
И другой он голос слышит
Над собой, в лазури вешней:
Кто-то стонет, злобой пышет,
Жизнь клянет в округе здешней!

Голос нежный и молящий
Повторяет тихо: — Кто же
Из темницы шелестящей
Вызволит меня, о боже?!
Витязь, видевший полсвета,
Даст мне волю — сердцем чую,—
А потом ему за это
Поцелуем отплачу я!

Ветер, встав на резвы ноги,
Заклинает и колдует,
И в отраде и в тревоге
На живые ветви дует.

Треснул ствол — и расступилась
Вмиг кора,— из кельи тесной
Дева чудная явилась
Краше звездочки небесной!

Вся — тепло и обаянье,
Вся — улыбка, нежность, нега,
Всех живущихünованье
К нам нисходит, словно с неба!
К ней стремятся с медом пчелы
Из непроходимой чащи,—
Ясен взор ее веселый,
Землю всю животворящий!

Блещет солнца круг желанный,
Снега нету и в помине,
Ясен лик весны румяной
И глаза прозрачно-сини!
На челе весны зеленый
Из травы сплетенный венчик,
Нежность розы озаренной
На ее ланитах вечных!

Осчастливлен, раскрывает
Ей объятья ветер с юга,
И, смеясь, в них упадает
Нежная его подруга;
Кроной полускрыт могучей,
Кто же там, в испуге диком,
Бьется жалкий, невезучий,
Жалобным исходит криком?

Он бы слез, коль не был стар бы!
Бьется он, как в путах птица.
То несчастный Стату-Барбэ —
Карле впору удавиться! —
Уподобился ледышке,
Как дрожат его колени!
Ах, в нем жизни только вспышки,
Ах, в нем чувства только тени!

Рукавом весна взмахнула,
Не дается ветер в руки,
От его порыва-гула
Дрогнула листва на буке!

Руки дерево роняет,
К деве клонится приветно,
И весна-краса снимает
Старика с угрюмой ветви!

Подчинился старый снова
Чарам вешней недотроги,—
Из-за кустика смешного
Вышел зайка хромоногий,—
И старик ему вещает
(Он пристыжен и встревожен):
«Пусть, как я, тот пострадает,
Кто, как я, безумен тоже!»

Подставляет спинку заяц,
Скачет карлик седоглавый:
Все вздыхает он, терзаясь
О красавице лукавой.
И скользит невеста ветра
С женихом — четой влюбленной,
Исчезая в миг рассветный
В роще юной и зеленой!

1876

АПРЕЛЬ И ДОЧЬ ЗИМЫ

I

Зиму высватал Мороз,
Молодым и горя мало!
Страсть крепчала, холод рос,
Все живое замерзало,
Застилала дали мгла,
Стыло солнце в дымке синей.
Смерть на свадьбу к ним пришла,
В кружевной одевшись иней.

Облачась в тяжелый мех,
Новобрачные глядели,
Как плясали без помех
Белогривые метели.

На полгода пир продлен,—
Голоса сплетают в хоре
Стаи черные ворон
И буран, несущий горе.

Скрежет яростный клыков,
Взоры, мутные от злости,—
Тьма медведей и волков
К молодым явилась в гости.
Ради мяса и костей
Убивали гости ланей
Не щадили и детей,
Заблудившихся в буране.

II

Дочь белее полотна
У Зимы родилась вскоре.
Недвижима, холодна,
В пышном сказочном уборе,
На щеках девичьих снег,
В косах лилии и иней,
А под сенью сонных век
Ледяные очи сини.

Прелесть смерти на лице.
Как под маской восковою,
Спит красавица в венце
Тьмы и вечного покоя.
Словно статуя она,
Без движенья, без ответа,
От рассвета до темна,
От темна и до рассвета.

Понапрасну тратит мать
Слезы, ласку и заботу,—
Дочка спит и будет спать,
Улыбаясь сквозь дремоту.
Тщетно солнце на заре
Шлет лучи, над ней вставая,—
Вся в снегу, как в серебре,
Спит жемчужина живая.

Царств за тридевять отсель
Об уснувшей деве снежной
Князь листвы и трав — Апрель —
Услыхал рассказ небрежный:
«Спит она, вокруг покой,
Да снега, да ветви ели...»
И любовною тоской
Сердце вспыхнуло в Апреле.

И Апрель пустился в путь,
Сквозь просторы ледяные,
Бился с бурей грудь о грудь,
Ветры с ног валил шальные;
Чтоб остаток зимних дней
Одолеть в одно мгновенье,
Он за стаей журавлей
Мчал на крыльях нетерпенья.

Долетел и в тот же миг,
Страстью огненной волнуем,
К снежной девушке приник
Вожделенным поцелуем.
Руки ласково сплелись,
Взор поднять она хотела,
Но растаяла... и ввысь
Легкой тучкой улетела.

1876

СЕРЖАНТ

В Васлуй брел тихо странник извилистой тропой,
И мучился-терзался он думою такой:
«Длинна моя дорога по родине желанной,
Летел бы я до дому, да наградили раной!»
Мрачнее черной тучи и смерти он бледней,
Рубаха в клочьях — тело виднеется под ней.
Хромая, по дороге шагал бедняк уныло,
Но слава лик усталый сияньем озарила,
И взор его — орлиный, глубокий и живой —
Хранил мерцанье славы, легенды боевой.
Он шел в постолах рваных, в косматой шапке драной,
Но лоб его лучился, как лаврами венчанный,
И на наряде нищем сверкали в ряд четой
«Георгий» русский рядом с румынскою звездой.

Румын шел одиноко, пылали солнцем дали,
Вдруг загремели трубы, мундиры засверкали:
То страннику навстречу, как на лихой парад,
Сверкая синей сталью, шел воинский отряд.
Три русских батальона идут с отвагой гневной,
Спеша сразиться храбро с врагом, с проклятой Плевной.
Их вел полковник бравый, их взглядом ободрял,
И пегий конь горячий под ним вовсю плясал.
Как сердце офицера горело и стучало,
Мечтой он чуял битвы грядущее начало.
И вдруг полковник видит: укрыт густой листвой,
Румын стоит под дубом — усталый, чуть живой.
Как поражен полковник, как он застыл в восторге:
Над сердцем ветерана сверкнул «Святой Георгий»!
Дав знак остановиться, сошел с коня: «Ну что ж,
Ответь мне, незнакомец, откуда ты идешь?»
«Иду из Плевны прямо».— «Ну, как там?» — «Да не худо!»
«А награжден за что ты? Награды-то откуда?»
«Наш государь и царь ваш за дело дали их!»
«За что же?» — «Сам не знаю... в один короткий миг
Флаг захватил я вражий, с турецкого редута,
И в ров свалился, ранен,— был вал насыпан круто!»
«Есть званье?» — «Доробанца...» Полковник руку жмет
Сержанту — и команду гвардейцам отдает:
Три бравых батальона застыли, салютуя
Румыну. Вновь тот ногу поволочил больную.

1877

ПАСТУХИ И ЗЕМЛЕПАШЦЫ

I

Поглядите — перед вами зелен мир лугов холмистых,
Все усеяно цветами там, на пастбищах душистых,
На стада вы поглядите, как, ведомы пастухами,
Щиплют мураву коровы, охраняемые псами.
Как неспешна перекличка звонких голосов пастушьих,
Отразился свод лазурный, как в ручье, в их чистых душах!
Слышите: поют свирели на высоких полонинах,—
Рог у пояса привешен, песня в голубых глубинах.
Вы, которые смеялись над собратьями своими,
Опустите нынче очи, преклонитесь перед ними;
Меч в куске руды провидя, что разит без укоризны,
В чабане сегодня каждом видим воина отчизны!

II

Поглядите — перед вами на родимых тучных нивах
Целый день кипит работа земляков трудолюбивых:
Солнце огненное в небе, солнце гневное ярится,
Но ясны глаза живые, добротой сияют лица.
А в руках — коса иль заступ, вожжи иль чепыги плуга,
И волы ступают тяжко под ярмом, давящим туго,—
Все вокруг: холмы, и рощи, и ручьев бегущих стая
Добротой сердец крестьянских, лаской их полны до края.
Вы, которые смеялись над собратьями своими,
Опустите очи долу, преклонитесь перед ними:
Меч отмщенья нами скован из оков неволи долгой,
В нас отвага доробанцев, доблесть их и чувство долга!

1877

ГЕРОИ ПЛЕВНЫ

I

По градам и по весям, по бездорожью тоже
Влачатся толпы в рваной и в нищенской одеже,
Не сыщешь их удела печальнее и хуже,
Их лютый ветер хлещет и леденит их стужа.
Идут полунагие, бредут по бездорожью,
И лихорадка бьет их, дрожат жестокой дрожью,—
Стоят перед прохожим с протянутой рукою...

Кто это? — люди спросят перед толпой такою.
Герои Плевны! Разве? Герои? Неужели?
С мгновеньем каждым верить нам этому тяжеле:
Румыны, что свершили великие деянья,
Живут в стране румынской и просят подаянья!

Вздымали эти люди страну рукой железной
И недруга отчизны поставили над бездной,
Их руки пусты... Ноги, что топчут первопуток,
Оставили в сраженье след славы на редутах.
На этих лбах должны бы гореть величья знаки,
Но нет и драной шапки на голове рубаки.
Разуты эти люди... Жестокость ненавижу,
Ищу вокруг героев, но только жертвы вижу.

Какое ж преступленье несчастные свершили?
Они дрались отважно и недруга сразили!
За самоотверженье, за силу героизма
Так их вознаградила Румыния, отчизна!..

II

А рядом, чуть поодаль, видна толпа другая,
Бураны гневно воют, их снегом посыпая,
Страдальцы-иноверцы от стужи поседели,
Изгнанники шагают сквозь злобный вихрь метели.
Бредут они, как стадо, бичуют их невзгоды,
Обречены на гибель, на милость непогоды,—
Их покарал вслепую закон несправедливый,
Румыны, разве легче судьбину обрели вы?!
Где победитель славный? Где жалкий побежденный?
Обоих уравняли страдания законы!

Но кто же мы такие? Где ищем мы защиты?
За что таким позором безжалостным покрыты?
Что видим? Как величье жестоко растоптали
И как святую доблесть к измене приравняли?

Как? После мглы столетий, отвагою объяты,
Отчизну воскресили румынские солдаты,
Чтоб солнце воскресенья, лучей великолепье
Заставило нас ясно увидеть их отрепья?
Как? Вами, князь и воин, отчизна и крестьянин,
Враг вековой повергнут, унижен, насмерть ранен,
Затем, чтоб войско наше, страны румынской сила,
Ужасной нищетою наш праздник омрачила?

Пусть подлецы иные проявят безразличье;
Узнав, что в униженье Румынии величье,—
Я не смолчу, как эти! Я говорить не стану:
«Презренье за отвагу! Позор за боль и рану!»
Я воспевал героев надежды и печали,
Я не хочу, чтоб совесть отчизны омрачали;
Я сохранить не в силах душевного покоя,
Узнав героя Плевны с протянутой рукою;
Лишился я покоя, увидев с омерзеньем,
Как храбрых унижаем, как доблесть низко ценим!

III

Отчизна дорогая! Мать исполинов новых!
Как смело ты сдержала злой натиск бурь суровых, —
Но, жалости не зная, судьба иль рок лукавый
Отчизну наградили позором, а не славой!
Преступною рукою, железною рукою
Исхлестано жестоко твое чело святое,
И ненависть слепая тебе восход затмила
И трауром кровавым лик солнца омрачила.

Детей отдать просили в дни злого униженья?
Ты отдала их гордо в миг самоотверженья;
Они прекрасны были, отвагою горели,
Свою страну готовы прославить в ратном деле.
Ты им сказала: «Славлю порыв ваш вдохновенный,
Коль смерть придется встретить — свершите долг
священный.
А к тем, кто возвратится, к бойцам счастливым самым,
Пусть даже лоб их будет украшен алым шрамом,
Придет краса, и статность, и юность, и отвага,
Герои, в бой спешите, вперед, назад ни шагу!»
И дети зашагали прадедовской стезею,
Вступив в единоборство с погибелью самою,
И в битве той суровой достойно победили,
И доблестное сердце в крови своей омыли!
Но вы — без сердца люди, без племени, без пыла,
Румынские министры — вы, змеи у кормила,
Вы, что не поспешили в огонь войны опасной,
Как вы детей вернули к груди страны несчастной?
На них взгляните только! Бредут полунагие,
Бредут они — и хлещут их вихри роковые,
Увечные влачатся — калеки спят в канавах,
Как их карает подлость правителей неправых!
Смотрите на увечных без слепоты душевной,
Узрите гекатомбы под обагренной Плевной,
Узрите всех убитых на грозном поле боя!

IV

Там рыщут волчьи стаи, округу беспокоя,
Выкапывает трупы седая волчья стая,
Встает толпа героев, могилы покидая,
То армия скелетов, ряды костей зловещих,

По остовам печальным морозный ветер хлещет,
Встают из гроба кости, в ряды живые строясь,
На Гривицу восходит геройской славы повесть.
О, как жестоко с вихрем сухие спорят руки,
Как безнадежны жесты, исполненные муки.
Последним своим взмахом в жестоком вихре этом
Они разоблачают господ пред целым светом,
Дрожите, содрогайтесь, холодные сердца,
Навеки заклеймит вас проклятье мертвеца!

1878

СЕСТРА-СЕСТРИЧКА

— Мариоара, лада,
Радость и услада!
Все, чем сам богат,
Дать тебе я рад;
Тишину и ласки,
Звезды, как из сказки,
Синий небосвод,
Лето круглый год!

— Будь слова пригожи,
На тебя похожи,
Я б давно, поверь,
Отворила дверь,
Милым называла,
В губы целовала!

— Жду я у дверей,
Отопри скорей.
Если мне поверишь,
Счастья не измеришь,
Дав на час ночлег,
Не отпустишь век.
Скажешь богу, лада:
«Рая нам не надо!
Позабудь про нас
В наш счастливый час!»

1882

РОДНИК

Ты ступила ножкой малой
В воду, милая моя,—
И душа затрепетала
Легкой струйкою ручья.

Ты лицо свое умыла,
И счастливая вода
В переливах сохранила
Эту свежесть навсегда.

Там у берега под ивой
Стало в сон тебя клонить,
И умолк ручей шумливый,
Чтоб тебя не разбудить.

Милый лик в ручье свободном
Отраженьем светлым лег,
И с тех пор на дне холодном
Встал алеющий цветок.

Ты — цветок, в душе растущий,
Ты — любви цветок живой,
А душа — родник бегущий,
Где струится образ твой.

⟨1883⟩

ОТЧИЗНА

Пусть чужеземный небосклон
Закрыт косматой тучей,
Я в край родимый возвращен
Своей мечтой летучей.

Жилище жизненных отрад,
Приют любви и страсти,
Зеленолистый вертоград,
Не ты ль обитель счастья?

Опять в душе пробуждены
Забытые порывы,
Вновь поэтические сны
Блаженно-шаловливы!

Простор отеческих полей,
Отчизны очертанья, —
Нет обаяния милей,
Полней очарованья!

Я вижу ясно даль и высь,
Предутренние дали;
Там слаще винограда кисть,
Сочнее листья стали!

Теплее солнышка лучи,
Небес яснее своды,
Прозрачней реки и ключи,
Чем в молодые годы!

Куда пестрей цветов семья,
Нежней девичьи песни,
Шальные трели соловья
Ночной порой чудесней!

Сказаниям былых времен,
Что шли по нашим землям,
Здесь гордый разум подчинен;
Здесь мы преданьям внемлем.

Здесь не забыты, не мертвы
Легенды о царицах,
Под небом вешней синевы
Здесь сказка-осень длится.

В стране отрады молодой
И грусти человечьей
Зачины сумеречных дойн
Выходят мне навстречу.

И ландыш здесь пионам рад,
Все вместе в пляс пустились;
Здесь из земли, но солнцу брат,
Подсолнух желтый вылез!

Молва о птицах волшебства
Живет на высях влажных,
Гордыня римская жива
В сердцах мужей отважных!

Вкусивши рая благодать
В ликующей отчизне,
Равно готов я смерть принять
И радость новой жизни!

Отчизна! Лишь тебя любя,
Я славлю вслух и немо!
С любовью смотрит на тебя
Сонм ангелов Эдема!

1886

ПРОКЛЯТЫЙ ПЛУГ

Мужицкие поля раскинула долина,
Межой отрезав их от вотчин властелина:
Был жаден государь и корыстолюбив,
Он позавидовал дарам крестьянских нив!
Прорехи мантии потертой, но богатой,
Он хочет подновить бедняцкою заплатой.
Но продавать земли крестьяне не хотят.
Любой клочок ее для них хорош и свят!
— Ах, неугодно им! — орет хозяин вотчин,—
Так я приструню чернь здесь на наделе отчем;
Ведь голоса подать они не смели встарь!
Пусть подчинятся мне — на то я государь!

На следующий день за пиками конвоя
Гарцует государь, округу беспокоя,—
Рабы, чтоб срыть межу, пригнали шесть волов,
Упряжка тянет плуг — грозу чужих лугов...
Ярка и зелена захваченная нива.
Но травы и цветы на ней дрожат ревниво,
Но замер в вышине и жаворонка звон,
Свинцовой тучею затянут небосклон.
Холодный барский плуг свою работу начал,
Как раной — бороздой злодейство обозначил,
И дрогнула душа истерзанной земли
От ран, которые ей плугом нанесли!
Так срезана межа двух близких нив на стыке,—
Идет проклятый плуг — и ненависти крики
Над свежей бороздой витают все смелей:
То вопль проклятия украденных полей!

Все дальше пахари незваные шагают,
Но вдруг румынка им дорогу преграждает —

Печальная краса! Сурова и статна,
С ребенком на руках не движется она...
Бестрепетно стоит она перед волами
И громко говорит, а очи мечут пламя:
— Ты всех нас, государь, ограбить захотел,
Присвоить пожелал наш нищенский надел?
Коль не трепещешь ты перед небесной карой,
Пусть сына моего задавит плуг твой ярый,
Чтоб целый мир тебя убийцею назвал! —
Кладет сокровище она. Плуг злобный стал,
А белые волы взирают на ребенка
С привычной кротостью — и тот смеется звонко.

Жестокий властелин кричит: — С дороги прочь! —
Уж хрипнуть грешник стал, орать ему невмочь;
Но руки на груди упрямо мать скрестила
И в гневе праведном опять заговорила:
— Нет, лучше уж ему дитятей умереть,
Чем в жалкой нищете расти, мужать, стареть!
Веди же плуг — и пусть о сыне я заплачу,—
Ты свой надменный нрав с ним закопай в придачу! —
Разгневан государь, взял бич и, в свой черед,
Волов строптивых сам бичом ужасным бьет.
Но паром своего дыхания, нежданно,
Недвижные волы прикрыли мальчугана.
И жаворонок песнь понес в лазурь опять,
И плакать начала растроганная мать.
Звереет государь, злодея душит злоба:
— Ну, так на борозде погибнете вы оба! —
Он бросился на мать... Уже бичом взмахнул...
Но у межи, в кустах, какой-то ропот, гул,
То ярость мщения, мужицкий клич могучий,
Покорность рухнула, гнев встал свинцовой тучей,
Толпа крестьянская шагает все быстрей —
Так приближается на крыльях ветра змей!
Шагают мужики... Захватчики, бегите!
За ваши все грехи сторицей заплатите!
Крестьяне вам за все готовятся воздать!
Впрягут в ярмо — и плуг вы повлечете вспять!

. . . .

Бегут грабители... Свет солнца с неба льется...
— Бегут! — ревет толпа, а мальчуган смеется.

1888

СВИРЕЛЬ

Я сказал свирели, что в траве лежала:
— Кем ты на лужайке брошена, свирель?
Ты молчишь, а прежде радостно звучала,
Нежно выводила ласковую трель.

Так, еще не согнут лет тяжелой ношей,
Нежным и влюбленным был и я, поэт,
Но теперь молчу я, молодостью брошен,
Как свирель, в которой песен больше нет.

— Что ж,— свирель сказала,— пробил час печали,
Пробил час заката, но не спорь с судьбой;
В молодости дойну славно мы играли —
Этого под старость хватит нам с тобой!

⟨1888⟩

МИХАЙ ЭМИНЕСКУ

СТИХОТВОРЕНИЯ

НА ЧУЖБИНЕ

Когда все расцветает и все вокруг ликует,
Когда все веселятся и светел ясный день,
Одно уныло сердце, страдает и тоскует
И рвется к дальним нивам родимых деревень.

Мое тоскует сердце в невыносимой боли,
Душа поет, страдая, исхода нет тоске,
Измученное сердце томится как в неволе,
Душа изнемогает в скитаньях, вдалеке.

Родимую долину хочу увидеть снова,
Услышать плеск хрустальный прозрачного ручья,
Бродить по лабиринту средь сумрака лесного,
Увидеть все, что в детстве любил так нежно я.

Хотел бы я, как прежде, в долине той укромной
Крестьянские хатенки приветствовать опять
И снова приобщиться к их жизни мирной, скромной,
Их радости простые и горести встречать.

Хотел бы я построить среди родной долины
Такой же деревенский уютный, тихий дом,
Я из окна смотрел бы на дальние вершины,
Где тучи громоздятся и громыхает гром.

Хотел бы я увидеть в цветах родное поле,
Что для меня соткало дни счастья и любви,
И слышало мой голос мальчишеский на воле,
И видело все игры, все шалости мои.

Там средь родного поля журчащей речки ропот,
Там певчих птиц концерты в лесной глухой тиши,
Ритмичный шелест листьев, как чей-то нежный шепот,
Будили томный отклик в мечтах моей души.

Да, был бы я счастливым, когда бы очутился
На родине любимой, к родной земле припал
И пламенною мыслью, как в юности, стремился
Осуществлять мечтаний высокий идеал.

И даже смерть, чей облик и страшное явленье
Пугает всех живущих, как воплощенье зла,
Меня б там усыпила легко, как сновиденье,
И к облакам и тучам в мечтах перенесла!

1866

ХОРИЯ

Над Трансильванией многострадальной,
В рабство попавшей,— месяц печальный.

Глянуть на бедную месяцу стыдно,
Спрятался в тучах, чтоб не было видно.

Хория гордо сидит на вершине,
Как на коне, на седом исполине.

А погребенные в тучах Карпаты
Мысль в громовые влагают раскаты.

— Сердцем велик я,— гром громыхает,—
Только душа его больше вмещает.

Слышится голос горы-великана:
Стал он владыкою горного стана.

— Тысячи лет я стою, величава,
Будет его долголетнее слава.

Вышла луна из-за туч, как царица...
Хории лоб под луной серебрится,

Словно венцом он увенчан прекрасным;
Свет отливает то желтым, то красным...

Кружат орлы над вождем ясколицым:
Зевсом он кажется царственным птицам.

В полночь, в сиянье лучистого нимба,
Мечущим молнии сверху, с Олимпа.

1867

РАСТЛЕННЫЕ ЮНОШИ

Чтоб изошли вы желчью, пишу вам эти строки!
Вас, жалкие ублюдки, погрязшие в пороке,
Клянет мое перо.
Пусть, как клеймят скотину железом раскаленным,
Разящий гнев мой выжжет стихом окровавленным
На вашем лбу тавро.

Хоть голос лиры гордой не будет понят вами,
Хотя ваш мозг отравлен позорными страстями
И яд у вас в крови,
Хотя давно лишились вы совести и воли,
Ваш ум убит развратом, утоплен в алкоголе,
И чужды вы любви,—

О, если бы от гнева, как жаркий ключ играя,
В склерозных ваших венах вскипела кровь живая,
Пускай на краткий миг!
Ужель пророк отступит пред насурьмленным фатом,
Перед юнцом бескровным, что истощен развратом
И смолоду — старик?

Живые трупы! Что вас увлечь на подвиг может?
Какая мысль иль чувство иссякший дух встревожит,
Какой порыв добра?
Ваш подвиг лишь в разгуле, лишь в том, что вы сумели
Разбить бутылок сотню, пробушевать в борделе
С полночи до утра.

Вот вы, дыша зловоньем, лежите, как в могиле.
На ложе вашей жизни, что сами осквернили,
Растленны и грязны.

Вы пали ниц покорной, запуганной толпою
Пред шайкою, что правит и жизнью и судьбою
Униженной страны.

Восстаньте! Реют стяги. Овеянные славой,
Встают былые годы когортой величавой,
Воскресший Рим идет.
То, факелы подъемля, богоподобен ликом,
На светлый путь вступает в веселии великом
Властительный народ.

Восстаньте! Над вселенной поет труба свободы.
Ее могучий голос гремит, будя народы,—
Так лев рычит во мгле.
Земля — для всех! Свободны все существа живые!
Свобода! Справедливость! То не слова пустые,—
Мы зрим их на земле.

Летите в пляску смерти, там спор решат мечами!
Пусть ветер понесет вас, как он несет ночами
Вас в танцевальный зал.
Стремитесь, точно волны, смыкаясь в легионы.
Сметайте все преграды, как молнией рожденный
Огня лесного шквал.

Смотрите — пепел ожил, времен разбилась урна,
Звучат былые клики воинственно и бурно,—
То Рим заговорил.
Мужей великих тени встают, готовы к бою,
Траян и Юлий Цезарь с увенчанной главою
Выходят из могил.

Разбились цепи рабства, ломаются короны.
Час пробил! В море гнева и скипетры и троны
Безудержно летят.
Прозревшие народы встают, от сна воспрянув,
И смрадные душонки низвергнутых тиранов
Встречает воем ад.

Нет! Только меди грохот ваш сон тупой развеет.
Поэта голос гневный — увы! — не разогреет
Чувств, обращенных в лед.
Ни долг перед отчизной не увлечет вас к бою,
Ни дева Добродетель с распущенной косою
Огнем вас не зажжет.

И в сердце молодежи, где все мертво и смрадно,
Я, словно коршун, падаль высматриваю жадно,
Спеша пожрать ее.
Я птица, что в полете заоблачном подбита,
Утес в венце из молний, что в высоту зенита
Вознес чело свое.

Так полно! Не клянитесь, что ваши чувства живы,
Что таинству не нужен его покров стыдливый,
Его святой покров.
Молчите! Ваше слово — как плач в веселье пира,
Как хищной птицы голос, поющий песню мира,
Как смех среди гробов.

1869

ВЗГЛЯНЕШЬ В ЗЕРКАЛО МОРСКОЕ...

Взглянешь в зеркало морское —
В нем видны
Берег, небо золотое,
Серп луны.
Вслед бегущим волнам стоны
Шлет Эол;
В камышах шуршащих — звоны
Баркаролл.

Если б ты вдруг очутился
Там, на дне,
Если б в горькой заблудился
Глубине,
В этой бездне, жадно ждущей,
Наконец
Ты постиг бы, что живущий
Ты — мертвец.

Бледных уст моих улыбки
Видишь ты,
А в очах ты видишь зыбкий
Мир мечты.
Теплый ветер, с водной шири
Прилетев,
Отдает печальной лире
Свой напев.

Если в душу мне, как в море,
Бросишь взгляд,
Океан увидишь горя,
Черный ад,
И поймешь, что груз тяжелый —
Жизнь моя.
Смерть в душе и смех веселый —
Это я.

1869

ВЕНЕРА И МАДОННА

Идеал, навек погибший в бездне сгинувшего мира,
Мира, мыслившего песней, говорившего в стихах,
О, тебя я вижу, слышу, мысль твоя звучит, как лира,
И поет она о небе, рае, звездах и богах.

О Венера, мрамор теплый, очи, блещущие тайной,
Руки нежные — их создал юный царственный поэт.
Ты была обожествленьем красоты необычайной,
Красоты, что и сегодня излучает яркий свет.

Рафаэль, в мечтах паривший над луной и облаками,
Тот, кто сердцем возносился к нескончаемой весне,
На тебя взглянув, увидел светлый рай с его садами
И тебя средь херувимов в запредельной тишине.

На пустом холсте художник создал лик богини света,
В звездном венчике с улыбкой девственной и неземной,
Дивный лик, сиянья полный, херувим и дева эта,
Дева — ангелов прообраз лучезарною красой;

Так и я, плененный ночью волшебства и вдохновенья,
Превратил твой лик бездушный, твой жестокий злобный лик,
В образ ангелоподобный, в ласку светлого мгновенья,
Чтобы в жизни опустелой счастья нежный луч возник.

Опьяненью предаваясь, ты больной и бледной стала,
От укусов злых порока рот поблек и посинел,
Но набросил на блудницу я искусства покрывало,
И мгновенно тусклый образ, как безгрешный, заблестел.

Отдал я тебе богатство — луч, струящий свет волшебный
Вкруг чела непостижимой херувимской красоты,
Превратил в святую беса, пьяный хохот — в гимн хвалебный,
И уже не взглядом наглым — звездным оком смотришь ты.

Но теперь покров спадает, от мечтаний пробуждая,
Разбудил меня, о демон, губ твоих смертельный лед.
Я гляжу на облик страшный, и любовь моя простая
Учит мудро равнодушью и к презрению зовет.

Ты бесстыдная вакханка, ты коварно завладела
Миртом свежим и душистым осиянного венца
Девы, благостно прекрасной, чистой и душой и телом,
А сама ты — сладострастье, исступленье без конца.

Рафаэль когда-то создал лик Мадонны вдохновенной,
На венце которой вечно звезды яркие горят,—
Так и я обожествляю образ женщины презренной,
Сердце чье — мертвящий холод, а душа — палящий яд.

О дитя мое, ты плачешь с горькой нежностью во взоре —
Это сердце можешь снова ты заставить полюбить.
Я гляжу в глаза большие и бездонные, как море,
Руки я твои целую и молю меня простить.

Вытри слезы! Обвиненье тяжким и напрасным было.
Если даже ты и демон, обесславленный молвой,
То любовь тебя в святую, в ангела преобразила.
Я люблю тебя, мой демон с белокурой головой.

1870

ЭПИГОНЫ

В золотые дни румынских дорогих душе творений
Погружаюсь я, как в море безмятежных сновидений.
И вокруг меня как будто бродит нежная весна;
Словно яркой звездной ночи зачарован я картиной:
Днем — сияющим в три солнца, рощей — с трелью соловьиной,
С родником глубоких мыслей, с песнью, вольной, как волна.

Вижу тех, кто мед сотовый превращал в слова и звуки:
Цикиндял велеречивый, *Мумуляну* — голос муки,
Прале — странная натура, тихий грустный *Даниил*,
Вэкэреску, певший юность и огонь любви весенней,

Кантемир — защитник страстный разума и просвещенья,
Бельдиман, кто о сраженьях зычным голосом трубил.

Лира нежная — *Сихляну*, *Донич* с мудрыми строками,
Кто за длинными ушами, за ветвистыми рогами
Прятал истину, животных смелой мыслью наделив.
Где же вол его разумный, где же дипломат-лисица?
Все ушли в тот край, откуда им назад не возвратиться,
С ними *Панн*, Пепели крестник, как пословица, сметлив.

Элиад, что из пророчеств, дивных снов, седых сказаний,
Древних вымыслов библейских свил клубок своих созданий,
Где из мифов смотрит правда, сфинкс глубокий смысл таит.
Он — утес средь гроз и бури, каждый миг готовый к схватке:
И теперь пред взором мира неразгаданной загадкой,
Тучам ересей не сдавшись, величаво он стоит.

Боллиак писал, как жили в угнетенье крепостные,
Кырлова сзывал отважных под штандарты боевые.
А теперь он привиденья кличет из веков глубин.
И, как Байрон, перенесший ветры странствий и страданий,
Задувал *Александреску* пламя вечных упований,
Посчитав, что вечность — то же, что печальный год один.

Точно лебедь, умирает дева бледная на ложе,
Та, кто юному поэту всех милей и всех дороже;
Дни весны так были кратки, нынче смерть — ее удел.
Смотрит юноша на деву, горьких слез потоки льются,
А в душе, печали полной, звуки лиры раздаются:
Так свою *Болинтиняну* песню первую пропел.

Грозный голос *Мурешану*, как булат, крушит оковы,
Руки, тверже, чем железо, струны разорвать готовы,
Воскресить он может камень, как мифический поэт.
Знает он про гор печали, елям судьбы прорицает
И в нужде богаче многих, точно светоч, угасает,
Времени пророк бесценный, жрец, воспевший наш расцвет.

А *Негруцци* пыль стирает с летописей пожелтевших,
Где мирянина рукою на страницах отсыревших
Древних княжеских династий перечислены дела,
В краску дней давно минувших он перо макает смело,
Потускневшие полотна оживляя им умело —
В них князьям — тиранам хитрым — лишь презренье и хула.

И поэзии властитель, вечно юный и счастливый,
Что на листике играет, на свирели шаловливой,
Что смешит веселой басней — радостный *Александри*.
Нанизав на белокурый луч звезды блестящий жемчуг,
То он слушает сказанья, что ему столетья шепчут,
То сквозь слезы засмеется, посвящая песнь Дридри.

Или думает о деве, белокрылой, полной ласки,
У нее глаза, как будто две таинственные сказки,
На устах цветет улыбка, голос — пенья птиц нежней.
Как царицу, к золотому он ее подводит трону,
На чело ей надевает из лучистых звезд корону
И «Мечту поэта» пишет, воспылав любовью к ней.

Или, дойну вдруг услышав горских храбрецов удалых,
Грезит он о быстрых реках, о высоких древних скалах,
О старинных ожерельях укреплений на холмах,
Снова нам напоминает дни, когда рассеял тучи
Над страной Штефан Великий, королевский зубр могучий
Будит грусть о крае предков, об отважных их делах.
. . . .
Ну, а мы? Мы, эпигоны?.. Чувств холодная усталость,
Мелочь дел, пороков бездна, в сердце — непогодь и старость,
На лице веселья маски, а в душе — всевластье тьмы.
Бог наш — тень, отчизна — фраза, легкомысленны дерзанья,
Все в нас видимость одна лишь, яркий блеск без содержанья;
С твердой верой вы творили, *ни во что не верим мы*!

Потому-то слово ваше так чарующе и свято,
Что на нем печать раздумий, что оно из сердца взято.
Не стареют вместе с вами ваши юные сердца.
Словно времени машина вдруг обратно повернулась —
С *вами будущее* скрылось, с *нами прошлое* вернулось,
Все в нас пусто и бесплодно, все фальшиво до конца.

Вы взмывали в поднебесье, мы едва-едва летаем,
Море волнами мы мажем, небо звездами латаем,
Ибо море наше скудно, небо серо и темно.
Выше всех вы возносились в мыслях гордых и прекрасных,
На священных крыльях плавно среди звезд парили ясных,
И, как звездам, свет чудесный вам оставить суждено.

Мудрость с царственной улыбкой вас в раздумьях посещала,
Золотой своей лампадой вам дорогу освещала,

Пьедестал ваш усыпала лепестками ярких роз.
Ваши души — херувимы, ваше сердце — это лира,
Что встречает песнью нежной дуновение зефира,
Ваши взоры созидают мир из образов и грез.

Мы? Пронзительные взгляды, что в глубины не проникли,
Что в картинах лгут, что чувства симулировать привыкли,
Смотрим холодно на ближних, вас тревожим без нужды.
Все условность. Завтра правдой станет то, что нынче ложно,
Вам в борьбе достигнуть цели оказалось невозможно —
Вы о днях златых мечтали в мире горя и вражды.

«Смерть ступает вслед за жизнью, жизнь ступает вслед
за смертью».
Этим вечным содержаньем мир опутан, точно сетью.
Люди делают икону из того, кто слаб и глуп.
То, что ничего не значит, важным смыслом наделяют,
По бесчисленным системам мысль свою распределяют,
В поэтические ткани облачают голый труп.

Что такое мысли наши? Хитроумное сплетенье
Из вещей, что нет на свете, книга горя и смятенья.
Кто ее распутать хочет, лишь запутает совсем.
А поэзия святая? Бледный ангел с чистым взглядом,
Жалкий прах, едва прикрытый пышным пурпурным нарядом,
Смесь икон и сладострастья, тень несбывшихся поэм.

Так прощайте же, святые, мой поклон вам, фантазерам,
Что в волнах искали песни, управляли звездным хором,
Из пустой и грязной жизни исторгали нежный звон,
Мы же в прах *все* превращаем, наше тело, наши муки.
Гении, глупцы, величье, низость, свет, душа и звуки —
Все лишь тлен. *Таков, как есть он,— этот мир.* А мы — как он.

1870

MORTUA EST![1]

Свечой поминальной над мокрой могилой,
Протяжным гудением меди унылой,
Мечтою, в печаль окунувшей крыла,—
Такой ты за грань бытия перешла.

---

[1] Она мертва! *(лат.)*

Тогда было небо, как луг среди лета,
Где млечные реки, соцветья из света,
Где в тучи, как в черно-седые чертоги,
Заходит царица-луна по дороге.

Душа твоя, вижу, раскинула крылья,
Серебряной тенью, сверкающей пылью
Взбираясь по облачной лестнице к цели
Сквозь ливень лучей, среди звездной метели.

И луч поднимает тебя в поднебесье,
И песня уносит к туманной завесе,
Когда колдовские жужжат веретёна
И высь золотят над водой серебреной.

Я вижу, как дух твой несется в пространстве.
Смотрю я на прах твой в последнем убранстве,
Смотрю на улыбку, что будто живая,
И я вопрошаю, недоумевая:

«Зачем умерла ты, о ангел небесный?
Иль ты не была молодой и прелестной?
Зачем ты пустилась в неведомый путь?
Зачем? Чтоб звезду голубую задуть?

Но, может быть, есть там дворцы золотые,
Где звезды уложены в своды крутые,
Где реки огня с золотыми мостами
И берег поющими устлан цветами,

И в дальних пределах, царевна святая,
Витаешь ты пряди-лучи расплетая,
Лазурной одеждой сияя во мгле,
С лавровым венком на бескровном челе?

О, смерть — это хаос, созвездий пучина,
А жизнь — дерзновенных терзаний трясина.
О, смерть — это вечность, чей лик осиян,
А жизнь — опостылевшей сказки обман.

Но, может быть... Мозг мой страдания сушат,
В нем злобные мысли все доброе душат...
Вот падают звезды и меркнут светила —
И кажется мне: *все ничто, все застыло*.

Расколется небо — и небытия
Надвинется ночь... И воочию я
Увижу, как в бездне, во тьме бесконечной
Миры пожираются смертию *вечной*.

О, если так будет,— ты смолкнешь навеки,
Уже не поднимутся нежные веки,
Уже не согреться устам ледяным —
И ангел был прахом, лишь прахом земным!

На гроб твой, о дивное, бренное тело,
Склоняюсь я лирою осиротелой —
Не плачу, а *радуюсь я*, что нетленный
Луч света из мрачного вырвался плена.

Кто знает, что лучше — не быть или быть?
Ведь то, чего нет, невозможно сгубить,
Оно не страдает, не чувствует боли,
А боли так *много* в подлунной юдоли!

Быть? Злое безумье, слепые порывы...
И уши нам лгут, и глаза наши лживы.
Меняет ученья веков суета,
Уж лучше ничто, *чем пустая мечта*.

За призраком гонится призрак упрямый,
Покамест не рухнут в могильные ямы.
Не знаю, что с мыслями делать своими:
Проклясть? Пожалеть? Посмеяться над ними?

Зачем? Разве *все* не безумно? Обманно?
Ты — ангел, а с жизнью рассталась так рано.
Так есть ли в ней *смысл*? Ты, как солнце, светла...
О, разве, чтоб так умереть, ты жила?
А если он есть — он безверья бесплодней,
И нет на челе твоем меты господней».

1871

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Ночами, когда в моем сердце томленье,
Мой ангел-хранитель — святое виденье
Являлся в одежде из света и тени
И крылья свои надо мной простирал.

Но только увидел твое одеянье,
Дитя, в ком слилися тоска и желанье,
Тобой побежденный он робко бежал.

Быть может, ты демон сама, если взглядом
Чарующих глаз, их пленительным ядом
Заставила скрыться в испуге пред адом
Того, кто был стражем моей чистоты?
Но может... Скорей опусти же ресницы,
Чтоб мог я сравнить ваши бледные лица,
Ведь он...— это ты!

1871

НОЧЬ

Ночь. В камине пробегают, дорогая, огоньки.
На софу склонясь, гляжу я сквозь густую сеть ресниц
На порхающих в камине голубых и алых птиц.
Уж давно свеча потухла... Тихо гаснут огоньки...

Улыбаясь, ты выходишь из вечерней темноты,
Белая, как снег куртины, ясная, как летний день,
На колени мне садишься, невесомая, как тень,
И сквозь сон неверный вижу я любимые черты.

Белыми руками нежно ты мне шею обвила,
Голову кладешь на грудь мне и, склоняясь надо мной,
Нежною, благоуханной, осторожною рукой
Прядь волос моих отводишь от печального чела.

Кажется тебе, что сплю я, и горячие уста,
Улыбаясь, приближаешь ты к глазам моим, к губам,
Безмятежный лоб целуешь, прижимаешься к щекам,—
Входишь в сердце мне, как счастье, как прекрасная мечта.

О, ласкай меня, дай выпить чашу счастья до конца!
О, целуй мой лоб, пока он не узнал еще морщин,
Не покрыло еще время снегом горестных седин
Головы моей и наши не состарились сердца.

1871

ПЕСНЯ ЛЭУТАРА

Я иду, в них разуверясь,
По печальным снам эпох;
Чрез века иду, как ересь,
Как невнятной сказки вздох.

Я как проповедь в пустыне,
Как разбитой лиры стон,
Как мертвец иду я ныне
Шумом жизни окружен.

Миро горьких мук до дрожи
Леденит мой скорбный рот:
Мы с тем лебедем похожи,
Что из рек замерзших пьет!

Я теперь в мечтах усталых,
Мысль в бездействии пустом.
Был орлом на грозных скалах,
На могиле б стать крестом!

Что за смысл в деяньях дышит?
Путь предвиденья не прост!
Если мир меня не слышит,
Как читать мне книгу звезд?

Жизни нить я жгу, бессильный,
Мысль моя — огня язык.
Я хочу сквозь мрак могильный
Увидать свой мертвый лик.

Что ж! Когда мой путь проляжет
В мир иной, к творцу светил,
Обо мне кто-либо скажет:
— Что и он на свете жил!

1871

ЕГИПЕТ

По земле, плененной мавром, сонно льются воды Нила,
И над ним Египта небо рдяный полог свой раскрыло.
Берега в камыш одеты, и растут на них цветы
И сверкают бирюзою, изумрудами, эмалью.

То лазурны, словно очи, увлажненные печалью,
То белы, как снег нагорный, то загадочно желты.

И в зеленых сонных дебрях, там, где спит и самый воздух,
Странные ручные птицы отряхают перья в гнездах,
И порхают, и друг другу что-то шепчут клювом в клюв,
Между тем как от священных, от неведомых нагорий
В утоляющее скорби, зачарованное море
Нил несет свои преданья, тихим вечным сном уснув.

Пышно стелются посевы по земле его блаженной,
Вон воздвигся древний Мемфис, белоснежный, крепкостенный,
Будто крепость исполинов древний зодчий возводил.
На стенах он строил стены, он на скалы ставил скалы,
Одевал утесов грани в серебро или в опалы
И десницею надменной их до неба взгромоздил.

Чтоб казалось — город создан из недвижных грез пустыни,
Из круженья вихрей буйных и небесной яркой сини,
Как мечта волны лазурной, устремившаяся в твердь
И отброшенная долу... А в немой дали застыли
Пирамиды фараонов, саркофаги древней были,
Величавые, как вечность, молчаливые, как смерть.

Сходит вечер, встали звезды, тихо плещут воды Нила,
Лунный серп глядится в море, гонит по небу светила.
Вот раскрылась пирамида. Кто идет? — То фараон.
Он в одежде златотканой, он в сверкающем уборе,
Хочет прошлое он видеть и глядит, и грусть во взоре,
Ибо только скорбь и горе видит он сквозь тьму времен.

Тщетна мудрость венценосца,— пусть он доброй полон воли,
Правых дел все меньше в мире, а неправых дел все боле.
Ищет он разгадку жизни, напрягая тщетно ум.
И выходит в лунный сумрак, и по темным нильским водам
Тень его скользит бесшумно... Так, на горе всем народам,
Мир покрыли властелины мрачной тенью тайных дум.

Это все — и Нил холодный, спящий сном тысячелетий,
И камыш, который странно серебрится в лунном свете,
Точно связки длинных копий вдоль безлюдных берегов,
Это небо и пустыня, эта полночь голубая —
Все роскошно сочеталось, новой жизнью наполняя
Мирный сон державы древней, темный сон былых веков.

И река поведать хочет нам своих истоков тайны,
И ведут о прошлом волны свой рассказ необычайный,
И мечта уносит душу в свой заоблачный полет,
И зелено-золотые, в блестках лунного сиянья,
Не колышась, дремлют пальмы, ночь полна благоуханья,
И торжественно и ярко в небесах луна плывет.

И таинственные боги в одеяньях снежно-белых,
Взору смертного незримы, бродят в храмах опустелых,
И серебряные арфы вторят пенью юных жриц,
И когда бушует ветер, глухо стонут пирамиды,
Словно камень вспоминает непонятные обиды,
И томятся фараоны в душной тьме своих гробниц.

В старой башне мавританской маг, мудрец седобородый,
Прорицал земные судьбы, созерцая неба своды,
Видел в зеркале он бездны, в безднах — звезды без числа.
И вычерчивал тростинкой вечный путь их во вселенной,
И познал он каждой вещи смысл и облик сокровенный,
Красоту и справедливость и рубеж добра и зла.

И быть может, он на горе тем изнеженным языкам,
И жрецам их развращенным, и преступным их владыкам
Прочитал превратно солнца и созвездий письмена:
И пески тогда взметнулись и, засыпав это племя,
Погребли его навеки, истребили даже семя,
И в гигантскую гробницу превратилась та страна.

И коней своих летучих только ветер гонит ныне,
И питают воды Нила лишь глухой песок пустыни,
Не шумит хлебами нива, не горит плодами сад.
Где блистали Фивы, Мемфис, ныне там одни руины,
И кочуют по пространствам раскаленным бедуины,
И, сжигаемые солнцем, в пустоту их дни летят.

Да во тьме белея смутно и тревожа Нил безмолвный,
Ярко-розовый фламинго входит в сумрачные волны,
И все та же над Египтом по ночам плывет луна,
И душа давно забытым и давно минувшим дышит,
Настоящее так ясно голос дней прошедших слышит,
И о будущем пророчит пробужденная волна.

И встает, мерцая, Мемфис в серебристом лунном свете,
Как мечта пустыни древней, как мираж былых столетий,

И, дивясь ему, заводит сказку дикий бедуин,
Перевитую цветами, сказку в золотом уборе,
Быль о городе великом, затонувшем древле в море,—
И все явственнее слышен гул, растущий из глубин.

То несется колокольный перезвон со дна морского,
И сады в глубинах Нила и цветут и зреют снова,
Ибо там, на дне, доныне жив исчезнувший народ.
И спешат, проснувшись, люди в старый город свой ночами,
И опять оживший Мемфис загорается огнями,
И пирует до рассвета, и шумит он, и поет.

1872

РАЗМЫШЛЕНИЯ БЕДНОГО ДИОНИСА

— Эх, графин ты мой пузатый, ты уже давно пустенек
И годишься лишь в шандалы, для трескучей свечки сальной!
Вдохновись-ка, бард, распойся в этой нищете печальной!
Месяц, как вина я не пил, вечность, как не видел денег.

Королевство за окурок! Свод небес волшебным дымом
Заволок бы я, да нечем... Свищет вихрь в оконной раме,
Голосят коты на крыше, и, синея гребешками,
Индюки внизу шагают в размышленье нелюдимом.

Ну и холод! Пар клубами изо рта. Мороз по коже!
Шапку на уши напялил, пробую локтями стужу.
Как цыган, одетый в бредень, сквозь дыру сует наружу
Палец, чтоб узнать погоду, локти выпростал я тоже.

Быть бы мышью мне — у этой шубка есть, по крайней мере!
Грыз бы досыта я книги и не мерз в норе сегодня.
Мне б жена моя казалась благостной, как мать господня,
Я б дворец сыскал в подполье и превкусный кус в Гомере.

На стенах, покрытых пылью, оплетенных паутиной,
В потолочных балках вижу рать несметную клоповью.
Каково-то им питаться постною моею кровью,
Жить в соломенной подстилке?.. Глянь, процессией аршинной

Вышли, будто на прогулку. Вот ползет смиренно слева
Древняя ханжа-клопиха... Вот проворный франт клопиный...
Он умеет ли французить?.. Вот, с мечтательною миной,
Отдалясь от низкой черни,— романтическая дева...

Вдруг мне на руку свалился черный клоп... «Постой, ни шагу!
Я сейчас тебя поймаю мокрым пальцем!..» Нет, не надо...
Если б к женщине попал он, испытал бы муки ада,
Ну, а мне какое дело? Что терзать его, беднягу!

Кот мурлычет на лежанке... «Подойди сюда, котище!
Покалякаем с тобою, мой товарищ по мытарствам.
Я б, ей-ей, тебя назначил управлять кошачьим царством,
Чтоб ты всласть изведал радость барской жизни, тонкой пищи».

Он о чем теперь мечтает, этот дремлющий лукавец?
Может быть, пушистой дамой очарован, обожаем,
Жаждет бурного свиданья на задворках за сараем,
Где, мяуча, ждет счастливца лучшая из всех красавиц?

Интересно: в царстве кошек тоже был бы я поэтом?
Я вопил бы, словно Гаррик, монологи в слезных драмах,
Днем — валялся б на припеке и ловил мышей упрямых,
По ночам — гейнеобразно вдохновлялся б лунным светом.

Как философ я примкнул бы к пессимистам, не иначе,
В популярных выступленьях доказуя непреложно
Светским барышням и снобам, что в природе все ничтожно,
Что земная жизнь всего лишь только смутный сон кошачий.

Будь жрецом я, возгласил бы в храме вышнего владыки,
Соизволившего кошку сделать на творца похожей:
Содрогнись, о род кошачий, трепещи пред карой божьей!
Сгинет наглый святотатец, не блюдущий пост великий!

Вольнодумцы отвергают глас творца, гремящий в тучах,
Издеваясь над Писаньем, превозносят разум бренный,
Что сулит котам и кошкам власть над тайнами вселенной,
Не страшатся преисподней, ни чертей — мышей летучих.

Отлучаю нечестивцев! О коты! Вам каждый коготь
Для царапанья дается, а усы — для осязанья.
Так зачем же вы стремитесь, бессердечные созданья,
Всеблагое провиденье лапой собственной потрогать?

Время спать, мой друг хвостатый! Оплыла свеча в бутылке,
Через миг огня не станет, да и мыслям отдых нужен.
Нам с тобой приснится счастье, груды денег, добрый ужин.
Ты задремлешь на лежанке, я — на жиденькой подстилке.

Сон иль смерть?— мне все едино, лишь избавь меня от боли,
Осени меня навеки гармоничной тишиною.
Безразлично: жить с клопами, жить с котами и луною
Иль сгинуть; ведь искусство — это нищенство, не боле...

1872

АНГЕЛ И ДЕМОН

Полуночною порою в обветшалом старом храме,
Там, где теплятся лампады пред святыми алтарями,
Где мерцающее пламя, расстилаясь по земле,
Не дотянется до сводов, утопающих во мгле,

Там, у самого придела, призывая божью милость,
Дева, кроткая, как ангел, на колени опустилась.
На нее в венке невзрачном из отцветших повилик
Смотрит с выцветшей иконы непорочный девы лик.

А в стене горящий факел, он склонился, он дымится,
И смола, за каплей капля из него чадя, струится,
И венок цветов засохших льет нежнейший аромат,
И молитвы светлой девы еле слышно шелестят...

А за мраморным распятьем, где плотнее мрак сгустился,
Кто-то в черном одеянье, словно демон, притаился.
И в глазах его раздумье вековое залегло,
И морщинами изрыто скорбное его чело.

К мраморному изваянью припадает Демон черный,
Рядом с камнем непорочным вьется волос непокорный.
И печальная лампада обронила желтый блик,
Озаряя, осеняя этот гордый, скорбный лик.

Это гений всепрощенья с Демоном мятежным вместе,
Это песня примиренья и призыв к великой мести;
Это *он* — окутан мраком — у подножия Христа,
И *она* — у ног Мадонны, непорочна и чиста.

Незапятнанные стены так суровы, так печальны,
Самый мрамор так прозрачен, словно гладь реки зеркальной.
Словно там, за четкой гранью, там, за мраморной стеной,
Та же девушка поникла с той же самою мольбой!..

Так о чем же ты тоскуешь? Почему застыли в муке
Эти горестные очи, восковые эти руки?
Под ресницами густыми ясен твой лучистый взор,
По фате твоей прозрачной млечный выткался узор.

Что же нужно, чтоб ты стала светлым ангелом эфира?
Не хватает только крыльев, звездных крыльев из сапфира!
И в ответ ее молитвам содрогнулась ночи мгла,
К ней объятия простерли исполинских два крыла.

Он уже не Демон злобный, не коварный искуситель,
Он — двойник завороженный, и Защитник, и Хранитель
Как живое отраженье и как тень ее судьбы,
Он с ее мольбой сливает чистые свои мольбы.

Образ темный, образ светлый в сочетанье воплощенном;
Но значенье этой встречи не понять непосвященным.
Только здесь, где каждый камень знает горечь слез людских,
Ты увидишь эти крылья и услышишь трепет их!

Так впервые черный Демон, чистой радостью волнуем,
Припадает к светлой деве с негреховным поцелуем.
И впервые утоляет он стремления свои
Сладкой негой утешенья, и смиренья, и любви!
. . . .
Кто *она*? Принцесса-сказка в златозвездной диадеме,
Разливающая радость, обожаемая всеми...
Он — трибун, ведущий к бою тех, в ком ненависть свежа,
Он в изверившихся душах сеет зерна мятежа.

Два начала, два теченья на страницах вечной книги.
Между ними протянулись месяцы, недели, миги.
Но когда хоть на мгновенье повстречаться им дано,—
Два различные начала сочетаются в одно.

И в ее глазах лучистых столько кротости безбрежной,
Столько ласки к тем, суровым, что сверкают так мятежно.
И такое просветленье на его лице худом...
Так далеки и так близки! Так живут один в другом!

Всемогущий повелитель, красотой ее прельщенный,
Предлагал ей трон и скипетр, властию отягощенный.
С тем, чтоб, маленькой рукою властелина руку сжав,
Поднялась она к престолу величайшей из держав.

Но в ответ на страсть монарха в ней душа не всколыхнулась,
И рука ее с любовью к королю не протянулась.
Ей другие слышны зовы и другой влечет алтарь.
Кто владеет сердцем девы? Дерзкий, пламенный бунтарь.

Он призывами своими подымал народ над прахом,
И она за ним следила с тайной гордостью и страхом,
За стремительным полетом этих мыслей боевых
Против черных предрассудков и обманов вековых.

В дни великих революций, весь стремленье и отвага,
Всходит он на баррикады в складках огненного стяга,
И лицо его — как буря, словно молнии — глаза,
Голос — как раскаты грома, как народная гроза.

. . . .

В страшном приступе горячки на растерзанной постели
Бледный юноша томится... Лампа светит еле-еле,
Еле светит, еле тлеет ало-желтый огонек...
Пусто, холодно и тесно... Он смертельно одинок.

Ты свой век провел в сраженье неустанно, неуклонно
Против старого порядка, против ветхого закона.
Лишь в последнюю минуту замечаешь, о тоска,
Что конец пути уж близок, а победа далека!

Смерть без веры и надежды! Жизнь отдать борьбе и все же
Не дождаться дня победы, сознавать на смертном ложе,
Что мечты заветной нашей мы вовек не воплотим,
Что обман землею правит и что он непобедим.

Ты, боровшийся за правду долго, искренне и страстно,
Только перед смертью видишь: жизнь разбита и *напрасно*!
И такой *конец ничтожный* напряженных ярких дней
Смертной казни тяжелее и загробных мук страшней!

Эти тягостные мысли не дают ему забыться:
— Для чего на бой ты вышел? Чтобы истины добиться?
Сколько веры уберег ты? Где растратил свой покой?
С чем в конце концов остался? — Лишь с гнетущею тоской!

И тогда-то нежный облик в затуманенном сознанье
Возникает светлой девой в серебристом одеянье,
И она, склонясь над ложем, непорочна и чиста,
Поцелуем увлажняет пересохшие уста!

То *она!* И он впервые, тихой лаской осененный,
Ей заглядывает в очи, примиренный, умиленный,
И, дыханье испуская, успевает прошептать:
— Наконец-то ты со мною! Я успел тебя познать...

Чтобы сбросить гнет неволи, чтобы дать голодным хлеба,
Я всю жизнь свою боролся против бога, против неба,
Но проклясть меня навечно не сумел всесильный бог,
Благодатною любовью осенен мой смертный вздох!

1873

СИНИЙ ЦВЕТОК

«Вновь о звездах ты мечтаешь,
Ради неба и лучей
Обо мне ты забываешь,
О душа души моей!

И спешишь в воображенье
К устью солнечной реки,
Видишь волн морских движенье,
Ассирийские пески.

Пред тобою пирамиды
Вырастают на песке...
Ах, любимый, не ищи ты
Счастья где-то вдалеке».

Так малютка говорила
И, увы, была права.
Но в тот час не оценило
Сердце милые слова!

«Так пойдем же в лес зеленый,
Где подземный плачет ключ,
Где над пропастью бездонной
Виснут скалы в клочьях туч.

Там, в лесных просторах диких,
Убаюканы ручьем,
У цветущей ежевики
Будем мы сидеть вдвоем.

Там, забыв о мыслях тяжких,
Сказку мне расскажешь вновь,
Я же снова на ромашке
Погадаю про любовь.

Разрумянившись от зноя,
Распущу я пряди кос,
Задушу тебя копною
Золотых моих волос.

Только там ты можешь смело
Мои губки целовать,
Ах, кому какое дело —
Ведь под шляпой не видать!

И когда луна под вечер
Осветит лесную тьму,
Ты мои обнимешь плечи
И тебя я обниму.

Мы пройдем тропу лесную
Под покровом темноты,
Будут сладки поцелуи,
Словно тайные цветы.

У крыльца, под грушей белой,
Не разнимем рук и губ —
Ах, кому какое дело,
Что ты дорог мне и люб?»

Поцелуй... И нет малютки!
Я, как прежде, одинок...
Где ты, венчик незабудки?
Где ты, синий мой цветок?
. . . .

Ты ушла. И снова ветер,
Только ветер да тоска...
И так грустно мне на свете
Жить без синего цветка!

1873

СМОТРЮ НА ГОРОД-МУРАВЕЙНИК

Дивясь, по городу идешь,—
На муравейник он похож:
Вдоль стен, в ворота, из ворот
Течет потоками народ,
Мелькают лица на углах,
И спор, и смех — всё впопыхах.
Лишь кое-где, лишь кто-нибудь
Неторопливо держит путь,
Насвистывает свой мотив,
В карманы руки опустив...
Вот впереди большой толпы
С молебном шествуют попы:
Хоругви, ризы, блеск икон,
И надо всем — унылый звон;
В глазах детей и женщин — страх,
Как будто на похоронах;
Толпа бурлива, как река,
Ей тесны улиц берега —
Народ с трудом прошел туда,
Где освящается вода...
Таррам-та-там! — за рядом ряд
Проходит в марше строй солдат:
Ряды сверкающих штыков,
Гул барабанов, гром шагов,
И плещет, ветром взметена,
Знамен развернутых волна.
Таррам-та-там... Стихает гром,—
Солдаты скрылись за углом...
Вот — как дитя, лицом кругла —
С улыбкой девушка прошла;
Носильщик, горбясь, груз пронес;
Скуля, бежит бездомный пес;
Свистит мальчишка-озорник;
На площади слепой старик
Худую руку протянул;
Повсюду — крики, говор, гул...
И заглушен курантов бой
Тысячеустою толпой.

1873

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ

Вот из-под сводчатых скал, из горных ворот величавых
Вышел старик Ураган, на плечах облаков погоняя
Молниеносных коней, запряженных в возок громозвучный,
В ветре его борода развевается мглой серебристой.
Волосы спутаны вихрем; венец зубчатый на старце,
Из голубеющих звезд и молнии алой сплетенный.
Гулко хохочет старик, увидя, как горы схватили
Скальные шапки свои и, кланяясь, наземь швыряют.
Шумно хохочет и лес, сердечно приветствуя старца,—
И вековые дубы, и чинары, и древние сосны.
Ропщет лишь море одно, устрашаясь беды, принесенной
Старым владыкой ветров в его опьяненье безумном.
На море гонит он рать, и строй его армии черной
Солнечным прорван багряным лучом. Вереницей тяжелой
Туча за тучей бежит, торопясь, по зеленому небу.
Бороду гладит старик Ураган и несется меж ними
В ветхой повозке своей, грозовыми конями влекомой.
Так расшаталась телега и так расскрипелась, что, мнится,
С вечных сорвется верей весь мир. И сетует солнце:
— Ну и напился старик! Чему ж удивляться — он выпил
Пол-океана, теперь в утробе у старого бродит
Горький напиток морской,— я в этом само виновато.
Я ж океанской водой наполняю до края стаканы
Туч и воду к тому ж озаряю пурпуровым светом.
Но никому невдомек, что он на такое способен!
Пьяница старый теперь разорит, пожалуй, за сутки,
Менее даже, карман страховых румынских компаний! —
Солнце, в щелку меж туч проглянув, язык показало,
Бороду старца щекочет лучом. Улыбается пьяный:
— Чем ты, Пепеля, себя молодишь? Почему не стареешь?
Тысячи лет наблюдаю тебя — все ты молод и молод!
Или румянишься? А? Теперь это можно... Иначе
Мне непонятно, как ты уже тысячи лет все такой же!
— Да замолчи ты, охальник седой! Тебе бы проспаться!
Как я тебя застаю? Венец — набекрень... Хорошо ли?
Ведь разоряешь весь мир своим ты дурацким весельем! —
Ну, а у звезд белокурых правительства тупы — приличных
Ровных шоссе провести не хотят по лазоревой степи.
Перевернулся возок и увяз наш старец в болоте.
В облачной тине чуть-чуть сапоги не оставил! Да, впрочем,
Что ему! Тучи знай топчет и пляшет свой танец чабанский!
Вот одного из ветров за голову хвать — и подбросил.

Тот кувырнулся, а старца вдруг молния-клоп укусила,
Чешется он о стволы, как телок о плетень из ракиты.
Тучи, красны от стыда, убегают, а ветер улегся
Между горами и лесом... Бредет Ураган, помрачневший,
К замку из сумрачных скал, отворяются чудо-ворота
И пропускают его в огромные серые залы.
Вот он снимает венец с головы. На гвоздик повесил,
Блещет корона во тьме, красивая, молнией красной,
Окаменевшей меж туч... И кожух он повесил на печку,
Мокрые снял сапоги, портянки черные тоже,—
Словно две вспаханных нивы пред адским огнем разостлал их,
Чтобы просохли... Снимает кушак, из него высыпает
Горсть золотых в деревянную ложку — огромную, с погреб,—
Черную вовсе от дыма. Потом на туманной перине
Старые кости король растянул и храпит богатырски.
И завывают в ответ в подземных глубинах пещеры.
Даже и гор исполинских подножья, гремя, потрясает
Храп старика-короля. На дворе между тем незаметно
Древний скряга Мороз, с лицом постоянно унылым,
Золото тащит зари в мешках, понашитых из мрака,
Чтобы в рубины его превратить. Понемногу темнеет,
Солнце прильнуло к воде, примиряет морскую тревогу,
Гладит лицо голубое и, в глубь морскую проникнув,
В светлых играет волнах, ласкает лазурные груди
Золотом ярких лучей... Но смотрит оно и на землю...
И подымают цветы головки игривые к солнцу,—
Столько ребячества в них, а в глазах — ненужные слезы...
Солнце глядит и в сады, на аллею цветущую вишен,
В гущу черешен, и в ветви акаций с их запахом нежным.
Девушка ходит в саду, в голубое одетая платье,
Падают вдоль по спине белокурые длинные косы.
В руку ромашку взяла и гадает — совсем Маргарита!
Шепчет: «Любит... Не любит... Любит...» Эх, цветик невинный,
Чуть распустившийся! Ласкова так и красива... но дура:
Видно, любимого ждешь,— знать, писаря из префектуры,
Юношу «с будущим»... Так ли?.. Приходит он с трубкой и курит...
Солнце зашло между тем, а луна ожиревшей наседкой
Синим эфиром небес бредет, за собой оставляя
Следики лап золотых, которые блещут, как звезды.
Сутки проходят, и старец встает и на гору Рарэу
Медленно лезет в рубахе одной, босоногий, без шапки.
Чешет затылок и, морщась, на солнце глядит полусонный.

1873

КАК РАЗЪЯРИЛСЯ ОКЕАН...

Как разъярился океан могучий!
В упругий жгут свивает непогоду,
Арканом волн захлестывает тучи
И тщится их низвергнуть с небосвода.

Напрасно молнии луны свободу
Обороняют пламенем летучим,
В ответ валы вздымаются все круче,
И крепость звездную штурмуют воды.

Но не хватает силы океану...
Ворча, он отступает, утомленный.
Волна волне зализывает раны.

Вот он уснул. Но даже в грезе сонной
Не расстается он с луной желанной,
Со звездами и с ясным небосклоном.

1873

ИМПЕРАТОР И ПРОЛЕТАРИЙ

В таверне закопченной, где дым стоит клубами,
Где дня почти не видно сквозь грязное окно,
На лавках деревянных за длинными столами
Сидят угрюмо люди с суровыми глазами,—
То нищие плебеи, которым все равно.

Один сказал: «Считают, что все черно и грязно,
Лишь человек, как светоч, рассеивает тьму.
Но сам же он источник порока и соблазна,
А этот шар нечистый, вращающийся праздно,—
Его же достоянье, подвластное ему.

Что значит справедливость? Ведь это же ограда,
Хранящая богатых, их собственность и власть.
Вы можете погибнуть от мора и от глада,
Но вашими руками им рыть и строить надо,
И труд ваш непосильный спешат они украсть.

Ведь им нужны услады, улыбки, упоенья,
И солнечные Альпы, и неба бирюза.
В садах у них зимою цветущие растенья,
Они в пирах проводят свои ночные бденья,
А днем они смежают усталые глаза.

Для них и беззаконье — одна из привилегий,
Но вас они законом обуздывают всех,
Влачащих государства тяжелые телеги...
Когда ж они свершают военные набеги,—
То *вашей* кровью платят за каждый *свой* успех.

Вся эта пышность армий, вся эта слава флота,
Короны, что венчают седины королей,
Богатства, что таятся в подвалах у кого-то,—
Все это создается из мелких капель пота,
Стекающих по лицам измученных людей.

Религия, конечно, испытанный, удобный,
Уже на вас надетый, прилаженный хомут.
Им нужен раб смиренный, послушный и незлобный...
Ведь если б не надежда на светлый мир загробный —
О, кто бы согласился на этот адский труд?

Они в загробном мире сулят вознагражденье,
Расплату по заслугам и радость, но, увы,
В могиле ожидает вас вечное забвенье...
Напрасно в этой жизни хранили вы терпенье:
Там ничего не будет, ведь мертвые — *мертвы*.

Играют эти люди фальшивыми словами.
Они мечи вам дали и ждут, что вы, рубя,
Бросаясь, нападая, себя сразите сами,
Что встанете стеною за них же с их дворцами
И что войной пойдете вы сами на себя.

Зачем же быть рабами, спасая их безделье?
Зачем всего бояться и ничего не сметь?
Зачем вы в этом мире живете еле-еле,
Когда у них богатство, и роскошь, и веселье,
Свободной нет минуты, чтоб даже умереть!

Взгляните, как вас много! Могучими руками
Могли бы вы по-братски всю землю поделить.

Но стен для них не стройте, где могут под замками
Они добро упрятать или покончить с вами,
Как только разгадают, что вы хотите жить.

Им хочется блаженством упиться до упаду.
Законы защищают всю мерзость их страстей,
И вот переступили они еще преграду:
Теперь они находят преступную усладу
В позоре ваших скромных, прекрасных дочерей.

Но что же в вашем сердце усталом и покорном?
Ужели слово «рабство» уже не жжет уста?
Что есть у вас? Неволя? Слеза на хлебе черном?
Обиженные дети на их пути позорном?
Одним — и рай, и радость, другим же — нищета.

Нет, не нужны законы лжецам и лицемерам!
Для вас их измышляют, для вас их создают,
Чтоб чахли вы покорно в своем закуте сером,
И делят наказанье по рангам и размерам,
И над последним нищим вершат неправый суд.

Скорее разгромите порядок злой и грешный,
Народы разделивший на слуг и на господ.
Мы знаем, что за гробом наступит мрак кромешный,
А здесь и жизнь, и солнце, и хлеб, и воздух вешний —
Так пусть их все получат, пусть каждый их возьмет.

Разбейте, растопчите красу античных статуй
И все изображенья холеной наготы.
Зачем о совершенстве вздыхать во тьме проклятой?
Иль девушки простые не платят страшной платой,
Стремясь освободиться от черной нищеты?

Разбейте же порядок жестокий и кровавый,
Роскошные чертоги и царственный дворец,
И замок белоснежный, и храм золотоглавый,
И пусть повсюду хлынут потоки жгучей лавы,
С камней следы позора смывая наконец.

Их гордость и богатство — да будет все разбито!
Снимите с жизни слезы, убожество и страх,
И золото, и пурпур, одежды из гранита,
И пусть она прозрачной, очищенной, омытой,
Как дух невоплощенный, останется в веках.

Постройте из развалин уверенно и смело,
Как бы «мементо мори» [1], громады пирамид.
Пред вечностью бездонной, не знающей предела,
Пускай искусство душу раскроет, а не тело —
Продажное, нагое, утратившее стыд.

Скорей потоп и бурю! Ведь знаете вы сами,
Кому вы покорились в смирении своем.
Жестокие владыки сменились болтунами,
Безумные угрозы — трескучими словами.
Названья изменились, но зло осталось злом.

Очнетесь вы, как в сказке, в каком-то новом веке,
Где радость будет общей, где свет рассеет тьму,
Когда же пламя жизни погаснет в человеке,
Он, словно засыпая, свои опустит веки,
И смерть, как светлый ангел, приблизится к нему.

Расстаться с этой жизнью совсем нетрудно, зная,
Что дети остаются исполненные сил,
Что жизнь их ожидает среди земного рая,
И звонов колокольных замолкнет медь густая:
Оплакивать не надо того, кто все свершил.

Исчезнут и болезни, и беды, и напасти,
Природа обновится, исполнена щедрот;
У золота не будет его преступной власти,
И каждый выпьет кубок, в котором только счастье,
И сам же этот кубок спокойно разобьет».
. . . .

В коляске едет Цезарь по набережной Сены.
Его от размышлений ничто не отвлечет —
Ни грохот экипажей, ни уличные сцены;
Теперь его раздумья сложны и неизменны,
И перед ним безмолвно склоняется народ.

Почти неуловимой улыбкой уст холодных
И взором напряженным, все видящим насквозь,
Рукой, держащей судьбы движений всенародных,
Приветствует он толпы раздетых и голодных:
Его величье с ними таинственно сплелось.

---

[1] Помни о смерти (от *лат.* memento mori).

В его немом величье царит безмерный холод.
Он знает, что неправдой отравлены сердца,
Что зло непобедимо и мир навек расколот,
Что вновь на наковальню падет тяжелый молот
И этому не будет предела и конца.

И он, тиран и деспот для всякого вельможи,
Приветствует — не вас ли, начало всех начал?
Ведь вы — любых величий опора и подножье,
И всех завоеваний, и всех крушений тоже,
И Цезарь всемогущий без вас давно бы пал.

Лишь вашей грозной силой, лишь вашими тенями,
Усмешкой, проскользнувшей у ваших уст немых,
И разумом, что к правде стремится все упрямей,
Он всех обезоружил, он всех опутал вами —
И властно подавляет теперь врагов своих.
. . . .

Париж объят пожаром. Пылают башни, зданья,
Как факелы, взметнулись огни горящих крыш,
Они летят по ветру, меняя очертанья,
И слышен лязг оружья, и вопли, и стенанья —
Так века труп тлетворный похоронил Париж.

Он был неузнаваем, пожаром озаренный.
И вот уже на глыбы гранитных баррикад
Идут в фригийских шапках плебеев батальоны,
И двинулся на битву народ вооруженный,
И медленно и глухо колокола гудят.

И женщины проходят безмолвными рядами
Сквозь огненную бурю с оружием в руках.
Их волосы на плечи спускаются волнами,
А ненависть и злоба угрюмыми огнями
Сверкает в их бездонных и сумрачных глазах.

Борись, густые кудри по ветру развевая!
Ты поднялась героем из страшной нищеты,
Не даром стягов алых склонилась тень святая,
Твой мрачный путь греховный внезапно осеняя...
Предатели виновны, но не виновна ты.
. . . .

Блестит ночное море и кажется стеклянным.
Лишь волны, словно плиты, колеблются вокруг,

Спокойно исчезая за пологом туманным.
Луна своим сияньем, загадочным и странным,
Вставая из-за леса, все озарила вдруг.

А на волнах безмолвно качаются скелеты
Каких-то деревянных старинных кораблей.
Их паруса надуты, и мачты их воздеты,
И вот перед луною плывут их силуэты —
Луна для них, как знамя, они стремятся к ней.

На берегу пустынном в тени плакучей ивы
Задумавшийся Цезарь склонился на гранит.
А глади необъятной расходятся извивы,
И ветра налетают внезапные порывы,
И море, откликаясь, рокочет и звенит.

И вот по ночи звездной, топча лесов вершины,
По воздуху, по морю обходит спящий мир
Старик белобородый, бросая взор орлиный;
Венком из трав засохших увенчаны седины,—
То престарелый Лир!

Сквозь призрак проступало далеких звезд мерцанье;
И, словно отвечая на заданный вопрос,
Пред Цезарем раскрылось всей жизни содержанье,
И горестей народных унылое стенанье
В душе его, как эхо, тогда отозвалось:

«Вселенная вдохнула в людей свои стремлэнья,
И волю Демиурга все чувствуют в себе;
И в каждом человеке миры и поколенья
Хотят решить вопросы, которым нет решенья,—
О страсти вездесущей, о смысле и судьбе...

Таится в каждом сердце прообраз мирозданья,
Всех жизней бесконечных единое зерно.
Так дерево желает в порыве расцветанья,
Чтоб стали воплощеньем его существованья
Цветы, которым завтра погибнуть суждено.

Не так ли воплощенье любого человека
Решается игрою условий и причин?
Тут раб сформировался, здесь — царь, а там — калека,
Но жизнь во всех обличьях, от века и до века,
Всегда одна и та же, и смысл во всех один.

Во всех одни и те же безмерные желанья,
Меняются лишь формы, личины, имена,
Меняются покровы, черты и одеянья,
Но та же тайна жизни, которой нет названья,
Разбрасывает всюду желаний семена.

Но все прервется смертью, и ты, как дым, растаешь.
Бессильны все желанья, бесплодны все умы,
И что бы ты ни сделал, жизнь будет все такая ж...
И вот, опустошенный, ты с болью постигаешь,
Что вся планета наша — лишь греза вечной тьмы».

1874

О ИСТИНА СВЯТАЯ!..

О истина святая! О ложь и подтасовки!
О чудный дар поэта! О лепет дурака!
История людская — вранье и потасовки,
Любви небесной радость — надежда сопляка.

О ты, зерцало мира! Безмозглое созданье!
О человек, на зверя ты не похож ничуть,
Смирил свои инстинкты ты силою сознанья,—
Что видно, если дева свою откроет грудь.

Когда она случайно мелькнет икрою белой,
То ты не ухмыльнешься слюнявым жадным ртом,
Ведь ты — не бык ревнивый, не пес ты оголтелый,
Перед желанной сукой виляющий хвостом!

Тебе чужды дуэли петушьи и кабаньи.
О нет, ты не ревнуешь, как дикое зверье.
О, ты страстей не знаешь, и женские рыданья
Твою не тронут душу, не омрачат ее.

В любви ты к ближним тоже не сходен со зверями,—
Так любишь, что за горло хватаешь их, любя,
Чтоб за язык твой подлый, язвящий, словно пламя,
За гений пустозвонства восславили тебя.

История людская с поэмой дивной сходна,
Какие короли в ней — вояки из вояк!
Но с просьбой обращаюсь к богине благородной —
Пусть держится подальше, я не любитель драк.

О мудрецы вселенной! Вы миру б дали роздых!
От всех систем глубоких ему давно невмочь!
Наш мир — сундук лохмотьев, а небо в ярких звездах —
Лишь балаган, открытый на ярмарке всю ночь.

Священники с крестами, вы, казначеи веры,
Земли вы соль и сердце; вам истина видна.
И лишь одно неладно — днем жрете вы без меры,
Лжи посвящен ваш вечер, ночь блуду отдана.

На мыслях, музыканты, затренькайте искусно,
Вы, скульпторы, ласкайте дрожащие тела.
Актеры, вы кривляйтесь пред публикой безвкусно,
Художники, вам вечность давно венки сплела.

Тебе венки их, время, все пальцы искололи.
Мешки червей недаром брались они писать.
Помазанники божьи, сидите на престоле,
Чтоб девок из балета на содержанье брать.

Ведете, дипломаты, народ тропой знакомой,
Корректнее и суше нельзя, пожалуй, быть,
Мерзавцы, я пленился безмолвной аксиомой:
«Народы существуют, чтоб за нос их водить».

1874

ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ — ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ

«Бланка, знай: Христу невестой
Стала ты со дня рожденья,
Ведь на божий свет явилась
Ты плодом грехопаденья.

Завтра в скит блаженной Анны
Ты монахинею вступишь
И молитвой неустанной
Грех и мой и свой искупишь».

«Ах, отец, да не постигнет
Дочь твою судьба такая.
Я люблю охоту, танцы,
Нравится мне жизнь мирская.

Не хочу я расставаться
С волосами золотыми,
Над молитвенником слепнуть
В душном темно-синем дыме».

«Дочь моя, от жизни грешной
Отрешись святым обетом,
Завтра в женский скит старинный
Мы отправимся с рассветом».

Бланка слушает и плачет,
Ах, часы свободы кратки,
От судьбы своей постылой
Ускакать бы без оглядки!

Плачет и коня-любимца
Белоснежного седлает,
Гладит по волнистой гриве.
Нежною рукой ласкает...

Вдруг, в седло вскочив, помчалась
По крутой тропинке в гору,
Понеслась, не оглянувшись,
Вдаль к синеющему бору.

По тропинкам в лес дремучий
Уносилась вглубь куда-то.
Вспыхнули вдали над тучей
Красные лучи заката.

Луч, как молния блистая,
Озаряет мрак тяжелый.
Шелестит листва густая,
И гудят лесные пчелы.

Вот и середина бора,
Здесь под липою волшебной
Заколдованный источник
Тихо бьет струей целебной.

Очарована журчаньем.
Видит Бланка,— что за диво! —
На коне, чернее ночи,
Рядом юноша красивый.

Темные глаза большие
Вспыхивают, словно пламя,
В черных волосах — цвет липы,
К рогу он приник губами.

Тихо всадник незнакомый
В рог серебряный свой дует,
Грустной, сладостной истомой
Сердце девушки волнует.

Кос ее коснулись кудри —
Или это только снится?
И в смущенье опустила
Бланка длинные ресницы.

Внемлет девушка с улыбкой,
Как играет рог, чаруя,
Губы чуть полуоткрыты,
Словно жаждут поцелуя.

К юноше она склонилась,
Зачарована чудесно,
И, оставив рог волшебный,
Вдруг запел он грустно песню.

А потом рукой воздушной
Обнял стан ее безмолвно.
Бланка юноше послушна,
Сердце нежной страстью полно.

В темные глаза любовно
Смотрит Бланка долгим взглядом,
Выпали из рук поводья,
Кони их пасутся рядом.

А ручей волшебный глуше
Льет серебряные струи,
Упоенные их души
Усыпляя и чаруя.

Поднялась луна над лесом
На туманном небосклоне,
Вырисовывая тени
Черные на светлом фоне.

Удлиняет их и движет,
И, по лунному веленью,
Тени тают, исчезают
В чаще, словно привиденья...

Утром в пене конь усталый
Прискакал к воротам замка,
Но без всадницы — пропала,
Навсегда исчезла Бланка.

1875

БОЛТОВНЕ ОТВЕТ—МОЛЧАНЬЕ

Болтовне ответ — молчанье.
Ни похвал, ни порицанья.
Ты пляши себе как хочешь
И не жди рукоплесканья.
Только я плясать не стану
Под фальшивое бренчанье.
Правду я ищу лишь в сердце —
Вот оно, мое призванье.

1876

НЕТ, И В ИЕГОВУ НЕ ВЕРЮ...

Нет, и в Иегову не верю,
Как и в Сакья Муни-Будду,
В жизнь, и в смерть, и в увяданье
Также верить я не буду.

Это все — воображенье,
Мне же, право, безразлично —
Буду ль вечно жить на свете
Иль исчезну в тьме безлично.

Это все — религий тайны,
Для ума непостижимо,
И о том не стоит думать,
Жизнь течет неудержимо.

И поэтому оставьте
Вы меня совсем в покое,—
Как хочу, я поступаю,
Вы же делайте другое.

Классиками не пленяйте,
Им я подражать не стану,
Чужд мне строгий стиль античный,
Я романтиком останусь!

1876

ТЫ ПРОСИШЬ, ЧТОБ ЛЮБИЛ Я В ШУТКУ...

Ты просишь, чтоб любил я в шутку,
Легко, не прибегая к драме,
Чтобы о страсти, вняв рассудку,
Писал французскими стихами.

Но тщетны все твои старанья
Меня зачислить в балагуры,—
Не мастер я свои страданья
Перелагать на каламбуры.

Смеясь, кудрявую головку
Ты на плечо мне опускаешь,
О, ты отлично понимаешь,
Что не до шуток мне, плутовка!

И, вслух тебе не прекословя,
Подозреваю я невольно,
Что ты не так уж недовольна
Моей нешуточной любовью.

1876

СПИ!

Ты испугалась... Что твой сон смущает?
Пусть дождь стучит себе в стекло окна,
Пусть грустный ветер жалобно вздыхает,
Спокойна будь! Я здесь — ты не одна.

Зачем ты встала, словно в изумленье,
Чего ты ждешь, что ищешь на полу?
Что тщишься вспомнить, полная смятенья,
Куда глядишь ты сквозь ночную мглу?

Приляг — тебя оставлю я в покое,
Усни скорей, а мне позволь не спать...
Мне нравится, наедине с тобою,
Твой сон стеречь, и думать, и читать,

Твоей дремотой нежно любоваться,
Иль молча, книгу выпустив из рук,
Отдохновенью тихо предаваться,
Печальных мыслей размыкая круг...

К своей груди хочу тебя прижать я,
И жажду я к устам твоим прильнуть,
Но будят спящих страстные объятья,
Тебе ж, усталой, нужно отдохнуть.

Так спи, дитя, смежи свои ресницы,
Тебя ничем не потревожу я,
Пусть добрый, светлый сон тебе приснится,
Такой же светлый, как любовь моя...

И вновь страницы книги я листаю
И слушаю часов старинных бой...
Спи, жизнь моя, спи, радость, спи, родная,
Не бойся ничего — я здесь, с тобой!

1876

ЛИШЬ РАЗ ЕДИНЫЙ...

Лишь раз единый к сердцу
Ладонь твою прижать,
Смотреть, не отрываясь,
В глаза твои опять.

Испить в одном объятье
Мечты смертельный яд,—
И прочь уйти навеки —
Куда глаза глядят.

И пусть тогда погибну,
Забыт и одинок...
Я свой предвижу жребий,—
Я сам его предрек.

1876

НЕТ, ВСЕХ СЫНОВ ЛЮДСКОГО РОДА...

Нет, всех сынов людского рода
Судьба различно привечает:
В одном — живет сама природа,
Другой — ее лишь изучает.
Тем — ткать эпохе одеянья,
А тем — скорлупки собирать.
Одним дано свершать деянья,
Другим — плоды их осмыслять.

Но все они живут согласно,
Делам друг друга не мешая.
И до сих пор над ними властна
Писания строка святая.
Сомненья червь сердец не гложет,
Глядит невинность из-под век,
Раскаянье спастись поможет —
Так слепо верит человек.

О гений зла! Тот не рождался
Еще на свет от сотворенья,
Кто пред тобой бы не пытался
Свои оправдывать мученья.
Путь указуешь и злодеям
И тем, кому противен грех.
Судья поступкам и идеям,
Ты — цель конечная для всех.

Но там не ценна добродетель,
Где дух в борьбе не торжествует.
Да где ж за истину радетель,
Кто жизнью, разумом рискует?
Из книг, что моль давно изъела,
Осела пыль на мозг людей.
Их мысль вконец окостенела
Еще со старых школьных дней.



Михай Эминеску

Им мира не понять величья,
Все к тайнам относя небесным.
Им кажется все без различья
Непостижимым и чудесным.
К познанью не стремясь природы,
К ней равнодушья не тая,
Они идут из рода в роды
Слепцами в храме бытия.

1876

Я ПРОСИЛ У ЗВЕЗД ВЫСОКИХ...

Я просил у звезд высоких,
У скупой моей судьбины
Златокудрую головку,
Губ горячие рубины,

Синих глаз твоих сиянье,
Руки гибкие, как змеи,
Чтобы в час желанной встречи
Вкруг моей сомкнулись шеи...

Я просил — и ты явилась,
Ты сама пришла, без зова,
Счастье ты мне подарила,
И не надо мне другого.

Ты сама пришла и молча
На плечо ко мне склонилась...
Ах, за что мне, сам не знаю,
От судьбы такая милость!

1876

ЗАТЕРЯВШИСЬ БЕЗ ВОЗВРАТА...

Затерявшись без возврата в безнадежности страданья,
Словно в хаосе зарница, лист в волнах водоворота,
Я волхвую, я взываю к тайным силам мирозданья,
Чтоб они мне отворили темной вечности ворота.
Пусть истаю легким звуком, беглой искоркой угасну,
Пролечу, как дуновенье, тенью промелькну бесследной.
Пусть сверкнет слезою женской, оброненною напрасно,
Хрупких грез нагроможденье, что воздвиг мой разум бедный.

Потому что в этом мире делать нечего поэту,—
Чьи сердца встревожит голос бесприютного бродяги?
Необласканный и сирый, он скитается по свету,
И никто спросить не хочет даже имя у бедняги.
Что он? Всплеск волны далекой, знак неясный, невесомый,
Сквозь железный панцирь века проступивший на мгновенье...
Ах, не знать бы пробужденья, не рождаться бы такому,
Обреченному на муки с первых дней до погребенья.

1876

ОЧАРОВАНЬЕМ И ОТРАВОЙ...

Очарованьем и отравой
Ты наполняешь грудь мою,—
Ловлю лучи твоей улыбки,
Яд глаз твоих зеленых пью.

Виновница моих страданий,
О них не знаешь ты совсем.
Могу сказать, как ты красива,
Но как люблю тебя — я нем.

1876

ИКОНА И ОКЛАД

Когда ты мир захочешь с ума свести шутя,
Оденься в черный бархат, прелестное дитя,
Предстань, как мрамор белый, с сияющим лицом,
С глазами, что пылают пленительным огнем.
И волосы льняные и белоснежность плеч
Должна ты в черный бархат, красавица, облечь!
Но если хочешь сделать ты лишь меня счастливым,
Оденься в шелк шуршащий с сиреневым отливом.
Тебе придаст он робкий и нежно-хрупкий вид,
Грудь бледно-восковую, улыбку оттенит.
Твой облик станет скромным, застенчивым, сердечным,
Неизъяснимо милым и нежным бесконечно.
Когда идешь ты, мнится: в тебе коварства нет —
Твой смех звучит по-детски и ласков твой привет,
Когда ж ты сядешь, гордо откинувшись назад,
Надменную царицу встречает скромный взгляд...
Стою совсем убитый, когда, собой счастлива,

Передо мною ножкой качаешь ты игриво.
И робкую надежду ты безвозвратно губишь:
О, я отлично знаю, что ты меня не любишь,
Прекрасная такая, влекущая такая,
Здесь на земле под солнцем, как будто неземная.
Меня ты дразнишь взглядом, и смех твой как отрава,
Играть влюбленным сердцем тебе одна забава...

Но большего достоин ли я, чем рок судил,
Чем взор, который в сердце ты, ангел, мне вонзил?
О, смейся надо мною, коль хочешь, так убей —
Одна твоя улыбка, мечта твоих очей
Для мира значат больше, чем эта жизнь пустая...
Коль умереть я должен, умру, тебя прощая.
Кто я? Лишь разум слабый и робкая душа,
О ком никто не спросит, ах, ни одна душа.
И я мечтал когда-то поэтом быть... Стремленье,
Увы, достойно было улыбки сожаленья,
Иронии жестокой!.. О чем еще мечтал?
Хотел, чтобы мой голос был чистым, как кристалл,
Нес людям утешенье и даровал им слух...
Теперь... Теперь я вижу: огонь мечты потух.
При всех моих познаньях, при всем моем уменье
Не воплотить улыбки твоей в стихотворенье.
Погребена ты в сердце моем, но разум хилый
В стихи облечь не может прекрасный облик милой!
И чтоб воспеть всю прелесть божественно-святую,
Иметь бы нужно арфу, но не мою — иную,
Избитыми словами: цветы, лучи, брильянты,
Не описать мне прелесть, достойную лишь Данте.
О, смейся надо мною, ничтожнейшим пигмеем,
Мечтавшим, что на свете мы быть одни посмеем.
О женщина, о ангел, о мрамор белоснежный,
Тебя зажечь хотелось мне искрой страсти нежной!
Ужель в воображенье любовь моя посмела
Считать своим твой облик и сладостное тело?
Безумец я... Так смейся! О, смейся надо мной.
Закрытые глаза мне заволокло слезой,
Чтоб больше мне не видеть уж никогда отныне
Ни строгих черт античных, ни женских плеч богини...
Так жизнь моя проходит в страданье бесконечном,
Хоть взглядом одарила меня одним сердечным.
Но ей любви не надо, ей нужно поклоненье...
У ног ее склоняюсь, как раб, в немом смиренье,

«А что поэт наш пишет?» — уронит вдруг при всех.
Издевка, но блаженство мне даже этот смех,
О, как я был бы счастлив, когда б она хоть раз
Взглянула на того, кто с нее не сводит глаз.
Да, да! Я был бы счастлив лишь словом, лишь улыбкой,
Ведь мне ее улыбка дороже жизни зыбкой.
Но знаешь ли, природа нам жизнь дала, глумясь,
Родится гений редко, все остальные — грязь.
И мне доступно также то восхищенье миром,
Которое когда-то испытано Шекспиром,
Я тоже член той секты несчастных и упорных,
Кто трудится, мечтая о совершенных формах,
Но гений — это гений, велик он сам собой,
А я лишь неудачник, обиженный судьбой!
Обиженный? Но так ли? Несчастным был тот день,
Когда я вдруг увидел прекраснейшую тень?
Скользнувшая улыбка, насмешливое слово,—
Ужели слишком мало богатства мне такого?
Случайный взгляд и ласка, что будет, как отрада,
Всю жизнь до самой смерти — такого мало клада?
Иного я достоин, и требовать я смею?
Хулы мирской не слышу я за спиной своею?
Дано ли мне судьбою, чтоб лирой я потряс
Не век, как те, другие, хоть день, хотя бы час?
Красивые слова я нанизывал уныло,
Рассказывая людям, что близко мне и мило...
Но таково ль призванье поэта во вселенной?
На времени бегущем, как волны, пеной бренной
Убогих слов пытаться изобразить красу
И лунного восхода и шорохов в лесу?
Но сколько б ни писали, и сколько б ни твердили,
Поля, леса — все чудо, такие ж как и были,
Они всегда прекрасней, чем все писанья наши.
Родная нам природа неизмеримо краше
Всех виршей современных с их описаньем серым.
Печальное занятье твердить вслед за Гомером
И прочими творцами известный всем рассказ,
Что лучше был поведан в десятки тысяч раз.
Да, солнце постарело, земля — старуха ныне:
На мыслях и на сердце лежит колючий иней,
Лишь груди в восхищенье приводят юных, нас,
А красоты искусства слепой не видит глаз...
До времени завянув, читаем в пыльной школе
Замасленные книги, трухлявые от моли,

Из умствований скудных, из тощего бурьяна.
Хотим взрастить мы розы иль сочный плод румяный,
В мозгах у нас лишь суммы бесчисленных значков,
Весь мир для нас составлен, из многих тысяч слов,
Невыносимо тесный, он безобразно скроен,
Он фразами украшен и на песке построен,
Бездушный и убогий, он выглядит печальным,
Слепое подражанье твореньям гениальным...
Прекрасные, объемлют они все земли, сферы
Под взором Калидасы, в гекзаметрах Гомера!
Поденщики пера мы. И рифмой и рассказом
Мы злоупотребляем, насилуя свой разум...
Свинец не станет златом... И наши сочиненья
Убогая подделка, не пламень вдохновенья.
Я не кузнец, не пахарь, чья жизнь в трудах сурова.
Я золочу монету фальшивым златом слова,
Разменную монету, медяшки мысли бедной...
Сотрется позолота, и жизнь предстанет медной...

«Прекрасному,— твердят нам,— даст форма воплощенье».
Поэтому к стихам я питаю отвращенье...
Ведь человек обязан всегда быть сыном века,
Иначе он, несчастный, как умственный калека,
Заслуживает только быть запертым в больнице.
Пусть там плетет любые пустые небылицы.
Не вовремя родиться — несчастие твое...
Судьба, увы, дана нам, чтоб проклинать ее.
Но если проклинаешь, то, значит, ты — поэт,
Век пошлости в проклятьях оставит только след.
Между поэтом жалким, что грустно, словно четки,
Слова перебирает, чтоб были рифмы четки,
И офицером с саблей, спесивым и надменным,
Какой быть может выбор? Здесь выбор несомненный!
Он женщин восхищает осанкой и мундиром,
И дева выбирает его своим кумиром...
Права ты, подчиняясь лишь чувственной стихии.
Мудра одна природа, а мы глупцы слепые —
Ведь к страсти побуждает тебя другое тело;
Обнимет он и мнится, что ты помолодела.
Ты не сошла с ума,
Чтоб вместо офицера вдруг избрала сама
Поэта, что ночами не спит, слагая строки
И рифмой окрыляя раздумий смысл глубокий...
Солдат, он легкой шуткой тебя развеселит,

Поэт же слишком робок, насупившись сидит,
Он ловок, как улитка, поднять не смеет глаз
И, прежде чем он скажет, все взвесит десять раз,
Глядит он так скорбяще, вздыхает он, чудак,
И, в кресло погрузившись, все дни проводит так...
Но сколько б ни сидел ты и не глядел уныло,
Ты этим не сумеешь проникнуть в сердце милой.
Что спрашивать с ребенка? Он жаждет развлечений.
Я ж взглядом безнадежным каких ищу видений?
Зачем же звать богиней, и феей, и звездою?
Раз женщиной родилась, то ей не стать иною.
Но все же... Ведь однажды я слышал голос нежный:
«Склонись же головою, несчастный и мятежный,
Чтобы могла тебя я обнять и приласкать!»
Божественная, снова все повтори опять.
Мое воображенье — мой спутник неизменный,
Я вновь живу мечтою, как в сказочной вселенной:
Настанет день счастливый, когда в пустую келью
Ты — дочь, жена, царица — внесешь свое веселье,
Мысль сразу станет ясной, рассеется тоска,
Когда волос коснется моих твоя рука,
Я обернусь невольно и посмотрю назад,
И вдруг земной богини увижу нежный взгляд...
Беги! Что ждет в грядущем тебя со мной, когда
В наш век стихи и рифмы — сплошная ерунда.
Нет, я не принуждаю тебя идти за мной.
Я всех твоих несчастий быть не хочу виной.
Чем быть поэтом, лучше стать просто бирючом:
Сжигая рифмы в печке, мы не согреем дом,
Отдам я даже сердце, чтоб выпила ты кровь,
Нужда — тот лед, который потушит и любовь.
. . . .
И вдруг ты замечаешь, что ты сидишь со мной,
Дитя, чьи ножки — холод, а губы — летний зной.
И спрашиваешь нежно: «Ты что такой несмелый?»
Ты, наконец, хоть слово услышать захотела.
Ты целый час зевала и ждешь теперь награды:
В любви стихом французским тебе признаться надо.
Ты, наконец, решилась! И чувствую — слегка
Моей руки так нежно касается рука.
Шепчу я еле слышно, плечо твое целуя:
«Ты чересчур прекрасна, и чересчур люблю я!»

1876

ПЕЧАЛЬ

Казалось, сквозь ворота меж облаков туманных
Прошла царица ночи в одеждах сребротканых;
Под куполом небесным, в чудесном мавзолее,
В своей могиле синей так мертвенно белея,
Усни, усни спокойно в мерцании свечей,
Ты, чтимая безмерно владычица ночей!
В просторном мире иней покрыл поля и дали,
Наброшены на села блестящие вуали;
Искрится воздух. Будто беленные известкой,
Развалины сверкают в степи, пустой и жесткой.
Не спится лишь погосту со сгнившими крестами,
Там совы отдыхают. И звонница при храме
Потрескивает тихо. В столб ударяет било.
Незримый демон, мимо стремясь стезей унылой,
Иной раз мимоходом глухую доску тронет
Зубцами легких крыльев — и медь печально стонет.

Священная руина
Стоит благочестиво, стара, грустна, пустынна.
В разбитых окнах ветер ночной свистит протяжно,
И мнится, он колдует, шепча заклятья важно.
А на иконостасе в печальном запустенье
Лишь контуры остались, расплывчатые тени.
Где был священник — речи свои сверчок бормочет,
Где был псаломщик — шашель усердно стены точит...
. . . .
Та вера, что иконам свои дарила краски,
В мое вложила сердце причудливые сказки.
Теперь от бури жизни, от гроз и от смятений
Лишь контуры остались, расплывчатые тени.
Усталый, красок мира в себе уж не найду я,
Осенней скорби полный, сверчок скрипит, колдуя.
На сердце опустелом держу я тщетно руку —
Шум древоточца в гробе сродни глухому стуку.
И жизнь моя порою мне кажется рассказом
Из уст чужих,— как будто я посторонним глазом
За ней слежу, как будто меня не существует...
Кто это без запинки о ней мне повествует,
И я над всем, что слышу, смеюсь? Мне все равно.
Что мне чужие муки?.. Я мертв, я мертв давно.

1876

СКАЗОЧНАЯ КОРОЛЕВА

Серебрясь, луна рождает
Белоструйные туманы,
И они плывут над полем,
И светлы и легкотканны.

А цветы на посиделках
Рвут обрывки сети черной,
На одежды ночи нижут
Самоцветов ярких зерна.

Над озерной тихой гладью,
Тенью облачной одетой,
Где колышутся, сменяясь,
Струи мрака, струи света,

Отводя камыш рукою,
Девушка стоит безмолвно,
Красные бросает розы
В зачарованные волны.

Чтобы вызвать чей-то образ,
Наклонилась над водою:
Ведь закляты эти воды
С давних пор святой Средою.

Розы девушка бросает,
Чтобы тень явилась чья-то:
Ведь издревле эти розы
Пятницей святой закляты.

Смотрит... Золотятся косы
В лунном трепетном сиянье,
В голубых глазах мерцают
Все легенды, все сказанья.

1876

ОЗЕРО

До краев в кувшинках желтых,
Дремлет озеро лесное,
Нежно лодку убаюкав
Чуть заметною волною.

Вдоль по берегу тропинкой
Я иду, и в сердце дрожь:
Ты вот-вот камыш раздвинешь
И на грудь мне упадешь.

Мы с тобою сядем в лодку,
Поплывем, обнявшись дружно.
Я невольно брошу весла,
Ты оставишь руль ненужный.

Властно нас обнимут чары,
Ласка лунного сиянья,
В камышах шуршащий ветер,
За кормой волны журчанье...

Никого... Мечта напрасна...
Все один, куда б ни шел ты.
Только озеро лесное
До краев в кувшинках желтых.

1876

ЖЕЛАНИЕ

К ручейку, что чуть трепещет,
В лес ко мне приди скорей,
На заветную поляну,
В темной зелени ветвей.

Поспеши ко мне в объятья,
Упади на грудь опять,
Чтобы легкой ткани дымку
С твоего лица убрать.

У ручья, в душистой чаще,
Сладко будет нам одним,
Здесь тебя осыплют липы
Цветом трепетным своим.

Златокудрую головку
Низко-низко наклоня,
Только розовые губы
Ты оставишь для меня...

Нам приснится сон счастливый;
Дуновенье ветерка
Переливы тихой песни
Донесет издалека.

И опять, под песню леса,
Мы притихнем, засыпая.
Станут нас баюкать липы,
Легким цветом осыпая.

1876

ПОД КРЫЛО ГОЛОВКУ СПРЯТАВ...

Под крыло головку спрятав,
Сном голубка почивает,
В лунном свете оперенье
Перламутром отливает.

В небе высыпали звезды
И на мир глядят, мигая.
Ночь безмолвна. Только гальку
Шевелит волна речная.

1876

КЭЛИН

(Страницы сказки)

Газела

Бродит осень в роще хилой,
Верещит сверчок унылый,
В окна бьет тоскливый ветер,
Ты у печки ждешь остылой,
Чтобы тихо к изголовью
Сон спустился легкокрылый.
Что ты вздрогнула нежданно?
По сеням идет твой милый.
Он обнимет стан твой стройный
С нежной страстью, с юной силой.
Милый зеркало достанет,
Чтоб оно твой лик явило,
Чтоб оно твою улыбку
И мечты отобразило...

I

Месяц красный, как жаровня с раскаленными углями,
Озаряет лес и замок, вознесенный над холмами,
И потоков бурных воды, ниспадающие с круч;
На безжизненные скалы он бросает яркий луч:
Крепостные стены встали, на утесы опираясь,
И смельчак скользит над бездной, по отвесу вверх взбираясь.

Он цепляется за камни, он по выступам ползет,
Наконец, окна достигнув, он ломает переплет,
Проникает в амбразуру и неслышною стопою
Пробирается тихонько к потаенному покою.
Сквозь решетки узких окон светит кроткая луна,
Как в цветах переплетенных, в них запуталась она.
И куда лучи проникнут, там полы белее мела,
А в углах, где их не видно, сажа темени осела.
Ткань, прозрачней паутины чудодея-паука,
Вся блестя и колыхаясь, словно льется с потолка.
Ткань готова оборваться, пасть под тяжестью бессчетных
Переливчатых каменьев, самоцветов искрометных.
Там, за пологом, принцесса, в бликах ласковой луны,
На высоком, пышном ложе видит радужные сны.
То, что лик ее округлый, как заря, лучист и светел,
Сквозь струящиеся ткани мигом юноша заметил.
Непослушная застежка расстегнулась над плечом,
Тело девушки сияет в целомудрии своем.
Золотые кудри смело разметались по подушкам,
Голубою тенью жилки от висков сбегают к ушкам,
А на лбу точеном брови изгибаются дугой,
Их природа начертала неповторною чертой.
И ресницы чуть трепещут, как густые опахала,
И рука ее повисла так беспомощно, устало.
Жаром юности тревожной грудь принцессы налита,
Чуть дыханье приоткрыло непорочные уста,
Несравненная улыбка шевелит их еле-еле,
И рассыпанные розы увядают на постели.
Он срывает тонкий полог, к ложу быстро подойдя,
И слетают на пол брызги самоцветного дождя.
Он глазам своим не верит, он исполнен восхищенья:
Непостижна прелесть девы и очам воображенья.
Над красавицей склонившись и, себя не помня сам,
Припадает он губами к свежим девственным губам,
А потом кольцо снимает с указательного пальца
И... внезапно исчезает... Поищи теперь скитальца!

II

А наутро с изумленьем видит юная принцесса,
Что ее бескровны губы и... оборвана завеса...
Дева думает: «О, радость! Может быть, вчера ко мне
Збурэтор являлся смуглый, чтоб умчать меня во сне?»

III

Пусть о девах каждый судит благосклонно или злобно,
Но красавица Нарциссу сразу сделалась подобна:
Увидав в зеркальной глади облик, влагой отраженный,
Он пред ним застыл навеки и стоит завороженный.
И любой, кто в это время королевну ни застал бы,
Кто врасплох пред зеркалами вдруг ее ни увидал бы,
Тот не мог бы не заметить, как она, собой любуясь,
Глаз от стекол не отводит, и смущаясь, и волнуясь.
Тот бы понял, что случилось, и вздохнул бы — как ни странно:
Дева юная постигла красоту свою нежданно,—
Образ вдруг пред ней представший, отраженный зеркалами,
Со снопом волос лучистых и с бездонными глазами.
Созерцая совершенство ослепительного тела,
Королевна молодая вспоминает то и дело:
«Я не знаю явь ли это, сон приснился ли чудесный,
Но входил ко мне красавец чернокудрый, неизвестный.
И с тех пор, о нем тоскуя, и с тех пор, томясь в разлуке,
Я к пришельцу простираю умоляющие руки.
То горюя, то внимая зову сладостной надежды,
В волоса я одеваюсь, как в роскошные одежды.
От любви, от ожиданья розовее стал румянец...
Почему же не приходит снова милый чужестранец?
Изгибая стан свой стройный, я пред зеркалом танцую...
Разве где-нибудь найдет он краше девушку другую?
Я люблю себя за то лишь, что меня любить он может.
О мой рот! Смотри — не выдай то, что помыслы тревожит.
Пусть никто о том не знает, даже он, мой друг любимый,
Он, ко мне в покой вступивший силой чар непостижимой».

IV

Еженощно приходил он в час всеобщего молчанья,
И принцесса просыпалась от горячего лобзанья.
Дева юношу однажды удержала у себя,
Поглядев в глаза с мольбою, начала шептать любя:
— Нет! Останешься со мною ты, доныне чуждый счастью.
Я стремлюсь к тебе всем сердцем, и полна я нежной страстью.
Ты не думай, что на свете нет души тебе родной,
Что бродить ты вечно должен тенью скорбной и немой.
Ты не будешь жить отныне всем чужой и одинокий:
Ты теперь мой добрый гений, мой избранник грустноокий.—
Он садится с нею рядом, обнимает гибкий стан,

Светом слов ее любовных лик принцессы осиян.
Молвил юноша: «Впервые я глаза увидел сказки,
Смысл речей твоих неясен, но я слышу трепет ласки.
Блеску молнии подобен золотой желанный сон,
Лишь тебя рукой касаюсь, мне тотчас же снится он.
Счастлив я, когда ты смотришь все нежнее и нежнее,
И твоих волос сиянье по моей струится шее;
Счастлив я, когда, желая к сердцу милого прильнуть,
Ты свое лицо положишь мне доверчиво на грудь;
Счастлив я, когда целую кожу плеч твоих атласных
И в твоем дыханье чую сладость наших чувств согласных;
Счастлив я, когда в волненье даришь ты свои уста,
И сердца в изнеможенье, и сбывается мечта».
Им друг другу бы хотелось в этот миг сказать так много,
Но любовь — плохой учитель цицероновского слога.
Поцелуй — красноречивей всех обычных слов земных:
И ликующим влюбленным в миг блаженства не до них.
В темноте лицо принцессы обожгло румянцем алым,
Волоса ее укрыли, словно брачным покрывалом.

V

Исхудала королевна, побледнела — так и вянет.
Ни кровинки в ней не стало — каждый скажет, кто ни взглянет.
Кажется она усталой, озабоченной и хмурой
И слезинки вытирает мягкой прядью белокурой;
И становится все тоньше, молчаливей и печальней.
У окна она томится в отдаленной тихой спальне:
Вьется жаворонок в небе — с ним письмо послать бы другу...
Он не голубь, он не может оказать в беде услугу.
Птица скоро улетает — хорошо ей на просторе!
А принцессу ожидают те же слезы, то же горе.
Ты не плачь, не плачь, принцесса! Не тумань очей слезами!
Знай, что есть большое сходство между небом и глазами:
Звезды падают, как капли, в час ночной — алмаз к алмазу,
Но ведь небо не роняет все свои алмазы сразу.
Что бы было, если б звезды все исчезли с небосвода!
Если б тусклой, мертвой стала вся уснувшая природа!
Есть же разница — пойми ты — между ночью звездноликой
И беззвездной ночью, темной, словно склеп в пустыне дикой.
Слезы красят, если плакать понемногу, королевна,
Но какою же ты будешь, в них купаясь ежедневно?
Слезы смоют тот румянец, что на щечках белоснежных
Плач убьет без сожаленья голубую тайну ночи,

Он детей погубит неба — звездные погасит очи.
А какой безумец спрячет в пепел чудный блеск сапфира,
Чтоб красы его лишились все, кто любит прелесть мира?
Красоту свою сжигаешь этим плачем ежечасным,
Позабыв, что в ней отрада всех, кто знает толк в прекрасном.

VI

Эх, король! О чем ты думал, седовласый, бородатый?
Не мозги, а сор с трухою в голове твоей кудлатой.
Эх, король, отец безумный, за порог прогнавший дочку,
Знать, раскаяньем терзаясь, не одну провел ты ночку.
Проглядел глаза ты, стоя на высокой круглой башне...
Ты беднее всех убогих стал теперь, богач вчерашний.
Ты прогнал ее, жестокий, от стола и от камина,
И она в хибарке нищей родила малютку-сына.
Приказал ты отыскать их всем придворным челядинцам,
Но никто не возвратился ни с принцессою, ни с принцем.

VII

Сер осенний долгий вечер, и в глухой лесной тиши
Зыбь озерная уходит укрываться в камыши.
Лес вздыхает еле слышно, лист последний отряхая,
Покоробившись, мертвеет на земле листва сухая.
С той поры, как лес унылый потерял листвы убор,
Может многое увидеть с высоты луны дозор.
Вот обламывает ветки ветер, взбалмошный и злющий;
Вот ручьи бегут в овражках, что лесной скрывались гущей;
Вот у края, где пониже почерневший мрачный лес,
Кто-то, выйдя на равнину, зашагал наперерез.
Он! Волшебник чернокудрый, о принцессе позабывший,—
О принцессе, столь прекрасной и навеки полюбившей.
По равнине обнаженной вдаль стремится чародей,
А навстречу мальчик гонит стадо белое гусей.
«Добрый день, мальчонка!» — «Здравствуй, удивительный прохожий».
«Как зовут тебя, скажи мне?» — «Как отца. Мы с ним похожи.
Мать всегда мне говорила: «Ты запомни, милый сын,
Твой отец волшебник дивный, и зовут его Кэлин».
Как услышал чернокудрый речь смышленого ребенка,
Сердце сразу подтвердило, что отец он пастушонка.
Вводит в хижину лесную гостя храбрый поводырь.
В низком маленьком окошке вставлен матовый пузырь.

Огонек едва мерцает, с фитилем простая плошка,
И, почесывая ухо, на печи мурлычет кошка.
Мельничка стоит ручная — с нею сможет сладить всяк! —
И валяется у двери старый стоптанный башмак.
В клобуке святитель строгий на иконе темноватой,
Пахнет хижина лесная васильком сухим и мятой.
И пекутся две лепешки в холодеющей золе,
И с водой застыла кружка на чистехоньком столе.
А на стенах обветшалых, а на срубе закоптелом
Разместились поросятки, нарисованные мелом.
Как ни просты поросятки, все же мальчик сделал им
Ножки — палочки тупые, хвост — колечком завитым.
На скамье, на голых досках, сына долго ожидая,
И, как видно, не дождавшись, мать уснула молодая.
Рядом с ней Кэлин садится, руку тонкую берет,
И ласкает с болью в сердце, и вздыхает, и зовет.
Повторяет имя милой, что запомнилось навеки,
И принцесса поднимает тенью тронутые веки.
На лице ее прекрасном удивление, испуг:
Может быть, он ей приснился, возвратившийся супруг?
Он принцессу обнимает, ей твердит одно лишь слово,
Из груди его широкой сердце выпрыгнуть готово.
А она молчит и смотрит, только смотрит и молчит.
Со слезами смех мешает, где растерянность звучит.
Теребит в волненье локон, выжидает напряженно,
И лицо внезапно прячет на груди его смущенно.
Он платок с нее снимает, темный нищенский платок,
И волос лучистых волны вновь струятся, как поток.
Он берет ее за плечи, приникает к ненаглядной,
И сверчок за печкой слышит поцелуя звук отрадный.

VIII

За багровой медью бора, за тропой крутой и тайной
Лес серебряный раскинул свой шатер необычайный.
Здесь, склонясь над родниками, словно снег, белеют травы
И цветут на влажных стеблях синеглавые купавы.
Здесь, в стволах дубов столетних, величавых, в три обхвата,
Словно слышен голос леса, замурованный когда-то.
А ручьи в дубраве белой, в этой роще серебристой
Вниз сбегают по пригоркам и журчат струею чистой.
В мягких ласковых долинах то текут они отлого,
То, течение меняя, вырываются из лога,
И как радуга сверкая, иль взлетают водометом,

Иль, кружась и низвергаясь, вдруг бурлят водоворотом.
Сотни бабочек порхают золотых, голубокрылых,
Пчел, без устали жужжащих, сосчитать никто не в силах,
Всех влечет их к сердцевинам тех цветов благоуханных,
Что раскрыты в изобилье на прогалинах медвяных.
Там, где озеро сверкает чашей, доверху налитой,
В свете факелов блистает стол, для пиршества накрытый.
На невиданную свадьбу собрались со всей планеты
Короли и королевны, звездочеты и поэты.
Фэт-Фрумосы и драконы тоже были там по праву.
Говорят, что сам Пепеля там отплясывал на славу.
Вот король, отец невесты, восседающий на троне.
Он в высокой, словно митра, изукрашенной короне.
На подушках, на пуховых, неподвижен он и важен.
Волосочек к волосочку в бороде его приглажен.
Вот ведет Кэлин невесту и любуется невольно:
Как она похорошела! Как свежа! И как довольна!
А в глазах такое счастье, что бессилен рассказать я.
Шелестит, скользя по листьям, шлейф серебряного платья,
И волна волос лучистых по спине до пят струится,
И венок цветов лазурных на чело ее ложится,
А во лбу звезда трепещет — дар таинственного леса.
С женихом к отцу подходит лучезарная принцесса.
И король радушно просит сесть за стол гостей желанных
Да и всех сюда пришедших — всех и званых и незваных.
Солнце первым село в кресло, как родитель посаженый,
И Луна уселась рядом — мать счастливой обрученной.
А потом — все остальные, все — по возрасту и званью.
Заиграли нежно скрипки, вторя сладких флейт звучанью.
Вдруг раздался шум... Откуда? Вот уж, кажется, ни к месту!
В изумлении все смотрят на отца и на невесту.
Меж кустами протянулась, словно мостик, паутина,
А на мостике такая всем представилась картина:
Угостить гостей собравшись пирогами, калачами,
Муравьи идут с мукою, тихо движутся с мешками.
Чтобы сделал жук сережки, ювелир весьма искусный,
В дар пыльцу приносят пчелы, мед янтарный, самый вкусный.
И процессия проходит не совсем обычной свадьбы:
Впереди вприпрыжку блохи — им ведь только поскакать бы!
А жучище толстобрюхий, в бархат втиснутый камзола,
Словно поп, псалмы гнусавя, выступает важно соло.
Скорлупу ореха тащит стрекоза, изнемогая,
Мотылек-жених сидит в ней, ус геройски выставляя.
Ну, а следом вереница мотыльков любого рода,

Как всегда любвеобильна и безумна их порода.
А за ними музыканты: комары, козявки, мушки...
И фиалочка-невеста ожидает на опушке.
А сверчок, что жил в избушке, вспрыгнул вдруг на стол накрытый,
Встал на лапки, поклонился, застегнул кафтан расшитый
И сказал он, потянувшись к золотой заздравной чаре:
— Разрешите нашу свадьбу справить рядышком, бояре.

1876

ИЗ ОКНА ГЛЯДИТ ЦАРЕВНА...

Из окна глядит царевна —
Волны плещутся о скалы...
Дно морское, дно морское
Красоту ее украло...

А с челна, бросая сети,
Смотрит вглубь рыбак несчастный.
Дно морское, дно морское
Отражает лик прекрасный.

— Никогда не поднимал я
Глаз на замок, на вершины —
Дно морское, дно морское
Тянет в синие глубины.

1876

Я ИДУ ЗА МИЛОЙ СЛЕДОМ...

Я иду за милой следом
В темной чаще, в глухомани.
Чуть приближусь к ненаглядной —
Прерывается дыханье.

Еле выговорил слово,
Что огнем души согрето,—
Смотрит мимо дорогая,
Не давая мне ответа.

Подхожу к ней ближе, ближе,
Уговариваю нежно —
Озирается пугливо,
Отстраняется поспешно.

Изогнулась, вырываясь,
Чуть я обнял стан прелестный;
Жарких рук не размыкаю,
К сердцу привлекаю тесно.

То ль не рада, то ли рада
Мне на грудь она склониться.
Без конца целую губы
И смеженные ресницы.

Крепче к сердцу прижимаю,
Даже дух перехватило.
Отчего грустит, спросил я,
Неужели разлюбила?

И она мне отвечает,
Озарив сияньем глаз:
— Ты мне дорог бесконечно,
Только дерзок ты подчас.

1876

В АЛЬБОМ

Альбом? — подобье бала-маскарада.
Гостей высокомерных полон дом.
Лицо, мысль, голос — все обман кругом.
Все говорят,— а слушать и не надо.

И я вошел, замедлив шаг,— ты рада,
Вооружась надорванным листком,
К тебе спешу с неопытным стихом
Я, на Парнас не вскидывавший взгляда.

Но ты силком вручаешь мне перо,
Верна игре давно тебя пленившей,—
Из всех ларей умеешь брать добро.

Мы рвемся в бой — а ты, альбом раскрывши,
Потом посмеиваешься хитро,
Смотря на груду глупости застывшей.

1877

СКАЗКА О ЛЕСЕ

Лес — великий самодержец,
Престарелый, многославный,
Сколько подданных ютится
Под его рукой державной!

Герб его — Луна и Солнце.
День и ночь скользят, как тени,
Фрейлины и царедворцы
Из сословия оленей.

Зайцы-вестники разносят
Королевские указы,
Соловьи поют кантаты,
Родники лепечут сказы.

Муравьи — солдаты леса —
На тропинках маршируют,
Средь цветов благоуханных
Пчелы весело пируют.

В старый лес, в прохладный сумрак
Мы пойдем с тобой, малютка.
Там поймешь ты, что на свете
И любовь и счастье — шутка.

Что в тебе сама природа
Все уменье проявила:
Ты своей красой волшебной
Всех подруг своих затмила.

По нехоженым дорожкам
Закружим в дремучей чаще,
Отдохнем под сенью липы,
У воды, в траве журчащей.

Под напев свирели дальней
Мы с тобой уснем, как дети.
Легкий ветер нас осыплет
Снегом липовых соцветий.

Ты к груди моей прижмешься,
Разметав льняные кудри.
Лес — великий самодержец —
Созовет совет свой мудрый.

И луна взойдет на небе,
Сквозь листву роняя блики.
Нас обступит в изумленье
Двор великого владыки:

Лось — вельможа величавый,
Старый зубр — советник верный,
Благородные олени
И мечтательные серны.

«Кто они? Такие гости
В царстве леса очень редки».
Наша липа им ответит,
Приподняв густые ветки:

«О, смотрите, как им вечер
Грезы леса навевает!
Как они друг друга любят!
Только в сказке так бывает».

1878

ТЕНЬ ВОЕВОДЫ ИСТРАТЕ ДАБИЖА

Как пена волн, как сон искусный,
Как дым, земная тает слава.
Sic transit gloria mundi[1] — грустный
Шепчу я в крепости Сучава.
Светлеют древние иконы,
Одеты в лунную парчу.
И снизу гулкий, приглушенный
Я слышу голос: «Пить хочу!»

Выходит старца тень, лучистой
Короной призрачно сверкая;
На нем священное монисто,
Раскрыта шуба дорогая,
«Не бойся,— молвит,— не обижу,
И не для грамот речь моя.
Я знаменитый князь Даби́жа,
Истрате Воевода я».

---

[1] Так проходит земная слава *(лат.)*.

«Князь хочет в славное былое
Дорогу указать народу?»
Он знаки делает рукою,
Но я не понял воеводу.
«Князь жаждет справедливой мести?
Вам кровь изменников нужна?»
Вздыхает тень: «Сказать по чести,
Я жажду одного — вина.

Когда я князем был Молдовы,
Все виноградари в Котнаре
Мне были услужить готовы,
Души не чая в государе.
Платил я золотом за вина
И был всегда навеселе,
А здесь так скучно и пустынно,
Совсем не то, что на земле.

Ваш свет меня почтить замыслил:
Он справедливо, милосердно
Меня к своим святым причислил
И прямо в рай послал посмертно.
Но как здесь мучат человека!
Прошу я выпить, а в ответ
Сам Петр кричит мне: «Кум, от века
Волынок и вина здесь нет!»

А я был добрый князь, богатый,
Я не скупился на подарки,
И виночерпию дукаты
Нередко насыпал я в чарки.
Ведь не сравнить пустые вещи —
Алмазы, золото, янтарь —
С пирушкой, с шутками похлеще,
С вином, что мы пивали встарь!

Я вел осаду Беча — вместе
С солдатами и разным сбродом;
Сорока, Бранча, их предместья
Отважно встали всем народом
На королей, во всем повинных!
Но с ними мне не по пути:
На сотни тысяч бочек винных
Молдову дайте мне вести!

Где в драке турки, агаряне
Своих бойцов теряли стойких,
Там наше войско — молдоване —
Теряло головы в попойках.
Веселый зубр с тремя звездами
Сиял на всех шатрах. Домой
Вернулся каждый, кто был с нами,
Живой вернулся и хмельной.

Вино с водой я не смешаю,
Пустую спесь ни в грош не ставлю,
И я себе не разрешаю
Совать свой нос в чужую травлю.
Когда идут на нас войною
Язычники,— готов я в бой!
Когда ж воюют меж собою
Ослы,— бегу я в погреб свой.

У венгров с ляхами раздоры.
А мне-то что? Наш пир в разгаре.
Шуты, волынщики, жонглеры
Со мною пьянствуют в Котнаре.
Собравшийся со всей округи
Наш добрый люд плясал и пил,
А я кричал им: «Выпьем, други,
Пить будем, сколько хватит сил!»

Когда б забрел в мои трущобы
Какой-нибудь сухарь ученый,
Не появился б я... Его бы
Не стал просить я униженно.
Ты ж любишь дойну и природу,
Сок винограда, звон ручья,
Ты про Истрате Воеводу
Всем расскажи, мое дитя.

Пускай сыны родного края,
Как требует обычай старый,
За кубком кубок осушая,
На землю выльют две-три чары.
Ведь христианских душ немало
Хранит Молдовы нашей грудь,
В часы веселья влагой алой
И их ты спрыснуть не забудь.

Я завещал Молдове милой
Закон неписаный, безмолвный:
Пустой бочонок должен силой
Перевернуть вверх дном и полный!
И так по всей моей Молдове:
Кто трезв — торчит вниз головой!
Ведь отдыхает всех толковей
Хмельной гуляка и герой.

Чтоб не шататься мне от хмеля,
На меч я опирался длинный.
Мы славу Бассарабам пели,
Князьям — потомкам Мушатина,
В конце, славнейшего из славных,
Святого Штефана хваля —
Ведь нет ему на небе равных,
Не знала равных и земля!

В себе хранит владык Молдова,
Сердца великие скрывая.
Друзья, пригубим, выпьем снова,
За них по чарке проливая!
Мы выпьем за ночь не однажды,
И утром будем пить и днем.
Здесь опьянеть обязан каждый,
Окончим пить — опять начнем.

Ладони в кулаки сожмите
Вокруг наполненных стаканов.
Могучий голос поднимите,
Единым хором дружно грянув.
Споемте De profundis, братья,
Perennis humus erit rex [1].
О, где вы, годы благодати?
Ушли навек! Bibamus ex!» [2]

1878

ОДИНОЧЕСТВО

Опустилась занавеска,
Стол сосновый. Ветра шум.
Печь полна огня и треска.
Я тревожных полон дум.

---

[1] Вечная земля будет царем *(лат.)*.
[2] Выпьем во здравие! *(лат.)*

Мимолетные мечтанья
Быстрокрылы и легки,
А мои воспоминанья
То стрекочут, как сверчки,

То летят — за блесткой блестка —
В душу мне, где тьма густа,
Тяжелы, как капли воска,
Павшие к ногам Христа.

Паутина. Тени. Тише!
Что за шелест вдруг возник?
О, конечно, это мыши
Зашуршали в грудах книг.

Взоры кверху подымаю,
И в блаженной тишине
С грустью тихою внимаю
Я мышиной беготне.

Я повесить собирался
Лиру столько раз на гвоздь,
Столько раз я чертыхался,
На стихах срывая злость.

Но когда сверчки и мыши
Вводят грусть в мой тихий дом,
Отдаюсь ей сердцем, слыша,
Как весь мир цветет стихом.

И порой... Забьется сердце...
Полночь... Лампа зажжена...
Слышу я: открылась дверца...
Кто-то вдруг вошел... Она!..

Да, она сама вступила
В этот старый дом пустой,
Светлым ликом озарила
Все, что скрыто темнотой.

Время, свой неукротимый
Бег сдержи, он в тягость нам.
Вот я руку дал любимой,
Вот прижал уста к устам.

1878

КАК ОТ ТЕБЯ ДАЛЕК Я...

Как от тебя далек я и как я одинок!
Чуть теплится в камине неяркий огонек,
Стучится ветер в ставни, сгустилась ночь в окне,
Огонь воспоминаний чуть греет сердце мне...
Мне чудится, что стар я и голова бела,
Что полумертвым стал я, а ты уж умерла...
И, никому не нужен и никому не мил,
Перебираю тайны, которыми я жил,
Прядет седая память былых событий лен,
И снова ты со мною, и снова я влюблен,
И рук твоих прохладу я чувствую опять,
В твои глаза гляжусь я, стремлюсь тебя обнять,
Прижать тебя, живую, к трепещущей груди...
Не размыкай объятий, постой, не уходи!
Но ты уже исчезла, ты — призрак и обман,
Ты вышла из тумана и скрылась, как туман...
С тобой ушло и счастье, что длилось только миг,
И я один остался, покинутый старик.

1878

ЯМБ

Ищу я стих в бореньях неуклонных,
Что медом полн, подобно летним сотам,—
Чтоб в нем цезурным расцветать красотам,
Чтоб стопы шли торжественно в колоннах.

Им чувства петь, что движут патриотом,
Чей взор прирос к развернутым знаменам,
И лепет, свойственный красивым женам,
Когда их сердце пронзено Эротом.

Полюбится ль тот стих родному краю?
Как говор волн им передать — не знаю,
И нужен ли ему поэта дифирамб?

Но средь размеров самый он певучий,
Он самый нежный, гордый и могучий.
Прекраснее их всех. Его названье — ямб.

1878

ПОДНЯЛАСЬ НАД СИНЬЮ ВЗОРОВ...

Поднялась над синью взоров
Бахрома ресниц густая,
Рай надежд и ад укоров
Предо мною открывая.

Воздевая пальчик строго,
Призываешь ты ретиво
Гнать безумье от порога,
Усмирять свои порывы.

И в счастливом нетерпенье,
Как обнять тебя, не чая,
Нечестивца исправленье
Я на завтра назначаю.

День за днем куем мы звенья
Нескончаемой цепочки:
Поцелуи, поученья,
Бесконечные отсрочки.

1879

УГАСНИ, ФАКЕЛ...

Угасни, факел жизни, чадящий и бессильный!
Дай мне скорей забыться во тьме моей могильной...
Куда бы ни стремился, я не сумел найти
Ни цели, ни призванья на жизненном пути.
Ни гнева, ни восторга душа моя не знала,
Не снисходила к злату, почета не искала,
Быть доброй не умела и не творила зла,
В мечтанья погрузившись, к свершеньям не звала.
Давно уже для сердца утратили значенье
И помыслы людские, и речи, и влеченья,
В себя уединившись, от суеты устав,
Я будущее понял, былое разгадав.
Одну и ту же пряжу из спутанной кудели
Седая тянет вечность от гроба к колыбели,
От колыбели к гробу... но эта нить вовек
Не даст тебе бессмертья и счастья, человек!
Давно уж не пытаюсь перелистать страницы,
Где, может быть, разгадка добра и зла хранится,

Давно мне все известно, давно я все постиг,
Без древних фолиантов, без обветшалых книг!
Пусть бытия вопросы, его головоломки
Рассматривают наши беспечные потомки:
Нужны игрушки детям, а мне уж все равно...
Но все же в этой жизни хочу понять одно:

Своим существованьем и смертию своею
Располагаем равно, но отчего ж не смеем
Лишать себя мы жизни, коль нам она страшна,
Коль нам одни мученья всегда несет она?
Ужели в ней таится благое назначенье?
Своим умом и сердцем ужели облегченье
Мы принести способны не только лишь в мечте
Страданию людскому, всеобщей нищете?
Живя под страхом смерти, ужели мы свободно
Располагаем жизнью для цели благородной,
Для блага человека... О, как же мне суметь
Существовать недаром, недаром умереть,
Чтоб не уйти бесследно из круга поколений.
Подобно сну пустому, приснившемуся тени?
Зачем творец вселенной от глаз моих не скрыл
Мое несовершенство, коль сам не засветил
Звезды моих деяний в своей пучине вечной,
И дал мне в оправданье сей жизни быстротечной
Лишь пустоту да скуку и в сердце и в уме,
И дней моих бесплодных открыл завесу мне?
Зачем, свою ненужность так горько разумея,
Бесцельно прозябаю и умереть не смею?

Я не прошу о счастье, о благе... пусть бы зло
В мою проникло душу и в жизнь мою вошло,
Чтоб мог я с ним сражаться, как мужественный воин,
Что в битве иль победы, иль смерти удостоен...
О, как бы мне хотелось себя найти в бою,
Борясь ожесточенно за истину свою!
Но жизнь моя — все то же глухое бездорожье,
Коль разницы не вижу меж истиной и ложью...
Меж тем и этим станом напрасно я мечусь,
Меж ересью и правдой дорогу выбрать тщусь...
И в мире, как в пустыне, по-прежнему потерян,
Бесцельно прозябаю и ни во что не верю!

1879

ЗАКОНЧИВ ТРУД...

Закончив труд, спешу я на покой.
Но в час, как плоть объята сном глубоким,
Томится дух по странствиям далеким
И в путь уходит следом за тобой.

И пусть телесный взор мой погружен
В слепую ночь, без мыслей, без паренья,
Тем обостренней внутреннее зренье,
Тем ярче свет, что брезжит мне сквозь сон.

Желанный свет! Я знаю, это ты,—
Я узнаю прекрасные черты,
Таинственно мерцающие очи...

Тебе одной, моя жена, мой друг,
Посвящены и труд мой, и досуг,
И странствия души во мраке ночи.

1879

ПУСКАЙ БАШКА БЕЗМОЗГЛАЯ, ЛЮБАЯ...

Пускай башка безмозглая, любая
В великие себя при жизни прочит,
Пусть о себе трезвонит, сколько хочет,
У глупой черни лавры вымогая,—

Мне все равно: иду своей дорогой,
Дружу я с музой, чуждой суесловья,
И ей одной, взыскательной и строгой,
Дарю по праву песни и любовь я.

Когда мой стих оценивая взглядом,
Вдруг расцветет она, когда порою
Словцо добавит, вычеркнет другое,—

Мы в этот миг едины! С нею рядом,
Покинув гавань, в плаванье большое
Плывем рука к руке, душа с душою.

1879

НЕ ЗНАЮТ МНОГИЕ, ЧТО ЗНАЧИТ ГОРЕ...

Не знают многие, что значит горе,
Они живут в усладе и веселье,
В беспечности, в каком-то легком хмеле,
Им все дано, для них сверкают зори.

Скажи мне, девушка с мечтой во взоре,
Похож ли я на них? О, неужели
Тебя они, как я, постичь сумели?
Ты для меня — маяк на темном море.

Исчез бы я во мраке безвозвратно,
Вся жизнь моя была случайной пеной,
Не знал я чар природы благодатной,

Но встречи миг настал благословенный,—
И скорбь людей мне сделалась понятной,
И я соединен со всей вселенной.

1879

ПАЖ КУПИДОН

Невоспитан, избалован
Паж лукавый, Купидон.
К юной даме вхож в альков он,
Сны юнца смущает он.

Тихо шаря пред собою,
В темноте, таясь, как вор,
Влезет он в окно любое,
Отворит любой затвор.

Горсть безделок золоченых —
Вот и все, чем он богат.
Где не даст и за мильон их,
Где швырнуть задаром рад!

Средь источенных червями
Пыльных книг и словарей
Попадалась мне ночами
Прядь льняных его кудрей.

В полумраке спален белых,
В час, когда земля тиха,
Будит он в сердцах незрелых
Предвкушение греха.

И когда мечтой бессонной
Стеснена девичья грудь,—
Уж, наверно, Купидона
Встретишь близко где-нибудь!

С виду робкий он мальчонка,
Но в глаза ему взгляни:
Им проказливость чертенка,
Томность вдовушки сродни.

Выгиб шеи лебединый,
Стан, дразнящий белизной,
Прячет он с невинной миной
Под завесою сквозной.

Но лукаво и поспешно,
Тронут жаркою мольбой,
Приподнимет он, конечно,
Легкий полог пред тобой.

1879

ЗВЕЗДЫ-ОГНИ

Звезды-огни
Блещут далекие.
И одинокие
Гаснут они.

Знак издали —
Мачты качаются,
И отправляются
В путь корабли.

Тени громад
Гладь серебристую,
Море волнистое
Вновь бороздят.

Вот журавли
Высь поднебесную
В даль неизвестную
Пересекли,

Нет ничего...
Это стремление
К бегу, к движению —
Сущность всего...

Ландыша цвет,
Юность беспечная,
Жизнь быстротечная —
Были и нет.

Крылья несут
Счастье пугливое,
Миги счастливые
Не подождут.

Я еще жив.
Ангел пленительный,
Слышишь томительный
Страстный призыв?!

Нам суждено
Только мгновение.
Взять наслаждение
Разве грешно?

1879

УБОЖЕСТВО И СКУКА

Убожество и скука незримо входят рядом
Во все, что, восторгаясь, ловлю я жадным взглядом...
Я помню, облик нежный мне мнился всех чудесней;
Я помню: сердце милой хотел пленить я песней;
Но там, куда стремил я безумных песен звуки,
Теперь — лишь след жестокий убожества и скуки...
Ведь то, чего добиться не смог ты в миг желанья,
Со временем теряет свое очарованье —
Надолго ль облачают твои мечты, надежды
Уродливую сущность в красивые одежды?

И юности порывы, и разума кипенье,
И трепетного сердца горячее биенье,
И чудо глаз, в которых вся жизнь твоя читалась,
И даже та, чья близость блаженством почиталась,
Чей нежный, светлый образ ты обожал когда-то,—
Все, все во тьму забвенья уходит без возврата...
Твоя звезда угасла, утихла страсти мука,—
Что ж после них осталось? Убожество и скука.
Да, только время нужно, чтобы понятно стало,
Как много мог ты сделать и как ты сделал мало!..
Тебя природа щедро дарами наделила:
Даны тебе и мудрость, и красота, и сила,
Прослыл ты благородным, был добрым, справедливым,—
Но разве был бы прав ты, назвав себя счастливым?
Ведь свет опору ищет — так издавна ведется —
Не в том, кого он славит, а в том, чья шея гнется:
Извлечь он пользу может из чьей-то злобы дикой,
Он может чью-то глупость провозгласить владыкой,
Он может ослепить вас торжественностью праздной,
Поработить вас лестью или интригой грязной,
Он никогда героя не предпочтет уроду...
За что ж тебе, избранник, благодарить природу?
За то, что подхалимам, за то, что душам темным
Служил ты украшеньем — бесценным, но никчемным?..

Порою добродетель мне кажется лишь сказкой,
Бичом великодушных, их слабостью и маской,—
Их мысли благородны, их чувства тонки, хрупки,
Им просто не под силу бесчестные поступки:
Как можно им неправду звать истиной святою?
Как путь мостить желанный то черной клеветою,
То лицемерьем подлым, то лживым увереньем?
Как братьям за участье вдруг отплатить презреньем?
Как обмануть наивных? Как разорить убогих?
Как жизнь свою украсить ценою жизней многих?
Но люди, не колеблясь, готовы делать это...
Лишь ты один страдаешь, все ищешь ты ответа
На жгучие вопросы, на давние сомненья,
Лежащие на сердце, как тяжкие каменья;
Ревнуешь чью-то славу и бредишь ты величьем,
Хоть на толпу взираешь с глубоким безразличьем.
Нет! Ты в своих деяньях был бескорыстен все же:
Ты долг и справедливость ценил всего дороже,



Николае Григореску (1838—1907)
«Крестьянка из Мусчела»

Ты ратовал за правду, познал борьбы науку,—
И что ж нашел в итоге? Убожество и скуку.

Любил ли ты?.. Ах, где он, тот сон неповторимый,
Где локоны льняные вокруг чела любимой?
Ты словно вновь родился, когда смотрел впервые
На эти плечи, руки, как будто восковые,
Когда тебя повергло в сладчайшее страданье
Ее очей небесных лучистое сиянье...
Но этот плод цветущий ты тронуть устрашился,
К устам невинным, юным припасть ты не решился,
Ушел ты — благородный, исполненный печали.
И вот, забавы ради, бездельники сорвали
Цветущий плод блаженства... Ступай теперь, несчастный,
Ступай и полюбуйся на лик ее прекрасный!
Во что он превратился? Что от него осталось?
В ее душе — жестокость, и на устах — усталость,
Давно поникли плечи, на них — позора бремя,
Чело пером суровым изборoздило время,
Ни прежнего веселья, ни пламени былого
В очах ее померкших ты не увидишь снова,
В их пустоте холодной раздумья искры редки.
Любовь — лишь вожделенье для ветреной кокетки:
Короткие минуты утехи сладострастной,
А вслед им — отвращенье и дни тоски ужасной...
И все ж ты знал то чувство неутолимой жажды,
Которое к нам в сердце приходит лишь однажды;
Ты испытал ту радость, ты знал ту окрыленность,
Слов сокровенных святость и страстную влюбленность
В ее лицо, улыбку и в каждое движенье,
Когда в глазах любимой — вселенной отраженье,
Когда за свет их жизнью готов платить своею,
Когда весь мир — во мраке, коль ты не вместе с нею...
Но где оно, то счастье? Где верности порука?
Что, что у вас осталось? Убожество и скука!

1879

ОСТАНЬСЯ...

«Ты останься здесь, останься,
Только я люблю тебя,
Тайные твои признанья
Буду слушать я, любя.

Словно добрый принц из сказки,
Одинок, задумчив, тих,
Ты невольно заглядишься
В зеркала озер моих.

Меж стволами в отдаленье
Ты услышишь, задремав,
Робкие шаги оленьи
В колыханье сочных трав.

Чарами завороженный,
Запоешь ты песнь свою
И ногою обнаженной
Тронешь чистую струю.

Лунным серебром озера
Заколышутся слегка,—
Годы станут — как мгновенья,
А мгновенья — как века».

Так шумел мне лес ветвями,
Но в ответ на зов лесной
Я лишь свистнул, усмехнулся,
Выйдя на простор степной.

Но сейчас, вернись я к лесу,
Не сольюсь душою с ним...
Где ты, детство, сказки леса —
Все, что было мне родным?

1879

СНОВА В ТОМ ЖЕ ПЕРЕУЛКЕ...

Снова в том же переулке
Светит бледная луна.
Только ты меня не встретишь
У раскрытого окна.

Под окном все те же вязы,
И под ними та же тень.
Только этим старым вязам
Не вернуть ушедший день.

Ты теперь совсем другая,
И глаза твои не те.
Только я, оставшись прежним,
Все блуждаю в темноте.

Помнишь, опустив ресницы,
Словно в смутном полусне,
Приходила тихо-тихо
В рощу темную ко мне.

И на грудь мою склонялась
И, смущенье поборов,
О любви мне говорила
Речи страстные без слов.

Сердце радостно стучало,
И кружилась голова.
Поцелуи заменяли
Нам ненужные слова.

Но не знал я, опьяненный,
То, что знает мир давно:
Обнимать ли тень иль верить
Женским клятвам — все равно.

В занавесках бьется ветер,
Меркнет бледная луна.
Только ты меня не встретишь
У раскрытого окна.

1879

ЛЮБИМАЯ, ЛИШЬ ВСПОМНЮ...

Любимая, лишь вспомню минувшие годины,
Я вижу в океане бесчисленные льдины.
Ни звездочки на небе,— в безмолвии туманном
Луна лишь одиноко плывет пятном шафранным.
Над тысячами глыбин, швыряемых волнами,
Парит уныло птица с усталыми крылами.
Другая же на запад несется, улетая
В простор, где исчезает подруг пернатых стая.
Оставшаяся птица страдальчески взирает,

Не жаль ей, безразлично — она ведь умирает,
Ее в тот миг о прошлом томит воспоминанье...
. . . .
Все шире, необъятней меж нами расстоянье.
Я одинок всецело,— темнею, замерзая,—
А ты уже исчезла в сиянии без края...

1879

МОЛИТВА ДАКА

Когда слита с вселенной была земная твердь,
Когда скрывались в тайне бессмертие и смерть
И на вчера и завтра не расчленялась вечность,
А в множестве едином царила бесконечность;
Когда еще не знали про землю, воздух, небо
И все вокруг казалось загадочно и немо,
Ты был один в то время, и я постичь пытаюсь:
Кто этот бог, пред кем я смиренно преклоняюсь?

Он появился раньше богов высокочтимых,
Наполнил силой искру из вод необозримых,
Дает богам он душу, приносит миру счастье,
Людское избавленье — в его высокой власти.
Воспряньте же сердцами! Умножьте песнопенья!
Он смерть жестокой смерти и жизни воскресенье!

Он дал мне взор, чтоб видеть красу небесной тверди,
Вдохнул мне в сердце радость добра и милосердья.
Его я поступь слышу, когда бушует ветер,
И в песнях его голос торжествен и светел.
Но об одном еще я не устаю молиться,—
Чтоб в вечное забвенье он дал мне погрузиться.
Тех, кто меня жалеет, пусть он предаст проклятью,
А тех, кто угнетает, наполнит благодатью,
Пускай его участье заслужит мой хулитель,
Пусть моего убийцы он будет охранитель,
И пусть среди потомков не смолкнет славословье
Тому, кто вырвет камень, что взял я в изголовье.

Пускай он даст в удел мне гоненья и угрозы,
Пока из глаз ослепших не вытекут все слезы;
И вот, когда я в каждом врага лишь видеть буду,
Когда былой свой облик навеки позабуду,

Когда от горя сердце в груди окаменеет,
Когда проклясть язык мой родную мать посмеет
И ненависть любовью покажется мне страстной,—
Тогда, быть может, смерти настанет миг прекрасный.

И если так умру я, отверженным, забытым,
Пусть труп мой недостойный оставят незарытым,
И тот, кто на съеденье собакам сердце бросит,
Венец твой драгоценный пускай с почетом носит,
А кто лицо у трупа побьет каменьев градом,
Тому даруй, владыка, бессмертие в награду.

Лишь так смогу тебе я за тщетный дар воздать,
Что счастье жить на свете ты захотел мне дать.
Не милостей прошу я, колени преклоняя,—
К проклятиям и гневу тебя я призываю,
Чтоб тихо растворилось в твоем мое дыханье
И я исчез навечно в бесследном угасанье.

1879

ЦВЕТАМИ БЕЛЫМИ ЧЕРЕШНИ...

Цветами белыми черешни
Дано красе твоей цвести.
Явилась, ангела безгрешней,
Ты мне на жизненном пути.

Ты по ковру проходишь мимо,
Шуршат холодные шелка,—
Ты вся, как сон, неуловима
И, как мечта моя, легка.

Вот из тяжелых складок платья
Ты, словно мрамор, поднялась.
Души не в силах оторвать я
От влажных и счастливых глаз.

Мечтаний светлая зарница!
Невеста в золоте лучей!
О, почему я стал страшиться
Улыбки ласковой твоей?

Не улыбайся, нет, не надо!
Мне счастье очи обожгло....
И только — рук твоих прохлада,
И только — губ твоих тепло.

Но словно траур темной ткани
Завесил свет лучистых глаз.
О тень несбывшихся желаний!
Любовь, как сон, оборвалась.

Уходишь ты, но, все теряя,
Тебя не буду я искать...
Мечта души моей святая,
Отныне я один опять.

За призрак счастья — боль разлуки,
За дивный взгляд, за светлый сон
И простирать напрасно руки
Тебе вослед я обречен.

Но ты вернешься! В сумрак черный
Ты погрузиться мне не дашь...
Как девы лик нерукотворный,
Ты засверкаешь,— о, когда ж?

1879

СОНЕТЫ

1

Срывает осень хрупкие листы;
Дожди шумят, по стеклам ударяя...
Поблекших писем строки разбирая,
Всю жизнь свою припоминаешь ты.

В чудесных пустяках часы теряя,
Блаженствуешь, а двери заперты,
И скоро песня вьюг из темноты
Тебя баюкать станет, замирая.

Сижу один я около огня,
О Докии мечтая, фее снежной;
Ночная мгла плывет на смену дня;

Твои шаги скользят во тьме мятежной,
И руки тонкие, обвив меня,
Коснулись глаз моих прохладой нежной.

2

Проходят годы худшей из разлук;
Но в памяти моей, как сновиденья,
Живут любви священные мгновенья,
Глаза огромные, прохлада рук...

Приди же вновь! Даруй успокоенье!
Твой чистый взгляд спасет меня от мук;
В его лучах ожившей лиры звук
Вновь затрепещет силой вдохновенья.

О, ты не знаешь, как тебя я жду,—
Склонившую ко мне свое сиянье,
Прекрасную и тихую звезду!

В душе угаснет целый мир страданья,
Когда к твоей улыбке возведу
Горящий взор мой, полный ликованья.

3

Объяты даже мысли тишиной,
Но все нежнее песнь благоговенья.
Зову тебя. Услышишь ли моленья?
Развеешь ли холодный мрак ночной?

Твои глаза прольют ли утешенье,
Спасительно сияя надо мной?
О, посети же сон тревожный мой,—
Приди, приди, желанное виденье!

Ты близишься... ты здесь... тебя нашло
Измученное сердце. Мы, как реки,
С тобой слились, и счастье к нам пришло.

Твоих ресниц мои коснулись веки,
Твоих объятий чувствую тепло,
Ушедшая, любимая навеки!

1879

ШУМ ЛЕСА

На воде, слегка дрожащей,
Солнца луч дробится длинно,
Тихо на опушке дальней
Я внемлю душой печальной
Песенке перепелиной
Где-то в чаще.

Шепчут сонно, приглушенно
Воды всей лесной округи.
Если ж солнце редко-редко
Проскользнет к ним через ветку,
Волны вскинутся в испуге
Всполошенно.

У овсянки, у кукушки
Что сегодня на примете?..
Племена болтают птичьи,
Щебеча, друг дружку клича.
Знают жители опушки
Все на свете.

— Где она, моя сестрица?..
Не беда ль случилась с нею?..—
Говорит, грустя, кукушка.—
Где она, моя подружка?..
Не пора ли доброй фее
Появиться?

Липа смотрит: не она ли?
— Возвратиться доведись ей,
Ветку ей дала б погуще,
Вознесла бы вверх над пущей.
Чтоб ее цветы и листья
Осыпали!

И о том же слабо, нежно
Ручеек лепечет малый:
— Неужель не повторится?..
Не придет опять царица,
Та, что ножкою ступала
Белоснежной?..

И ответил я в печали:
— Лес, не повторится это!
Не блеснут ни днем, ни ночью
Синевой небесной очи,
Те, которые все лето
Мне сияли!

Не вернуть нам сказки-были,
Колдовского сна лесного!
И мрачнее нет развязки,
Чем у светлой этой сказки!..
...О, приди, чтоб все мы снова
Вместе были!

1879

СВИДАНИЕ

— Как живешь, лесок родимый?
Как проводишь вёсны, зимы?
С давних пор, как мы расстались,
Годы быстрые промчались,
Уезжал надолго я
В чужедальние края.

— Я, как прежде, милый мой,
Вьюгу слушаю зимой,—
Вьюга ветки гнет мои,
Подо льдом таит ручьи,
Певчих пташек разгоняет,
Снегом тропки заметает...
Я, как прежде, милый мой,
Светлым летом и весной
Дойну слушаю свою:
Там, где тропочка к ручью,
Зачерпнув в кувшин водицы,
Дойну мне поют девицы.

— Лес мой с тихими ручьями,
Годы мчались за годами,
Ты ж не сохнешь, не редеешь,
Год от году молодеешь...

— Что мне время, коль навеки
Звездным блеском полны реки,
И ненастье ль, ведро ль будет —
Ветер в листьях песню будит;
В ясный день, в густую хмарь
Мой Дунай течет, как встарь.
Только в людях перемены
Непрерывны, непременны,
Мы ж остались те, что были,
Облик свой не изменили,—
Речки те же и поныне,
Те же горы и пустыни,
Та же синева небес,
То же солнце, тот же лес.

1879

РАССТАВАНИЕ

Что у тебя на память я попросить бы мог?
Тебя, а не увядший в твоем венке цветок!
Но ты теперь чужая, прошу я, потому
Забудь меня навеки, когда уйду во тьму.

Когда угасло счастье, сгоревшее дотла,
Желать ли, чтобы вечно разлука сердце жгла?
Волна, волну сменяя, уходит по реке:
Зачем же предаваться мучительной тоске,
Когда, как сновиденье, и даже тенью сна,
Мы по земле проходим и смерть предрешена?
Так надо ли годами томиться обо мне
И о других, уснувших в могильной глубине?
Сегодня или завтра уйду из жизни я,—
Что в том? Хочу забвенья, хочу небытия!
Хочу, чтоб ты забыла года, когда вдвоем
Мечтали мы о счастье. Не вспоминай о нем;
Чтоб я исчез в суровой и непроглядной мгле,
Как будто не нашли мы друг друга на земле,
Как будто были тщетны все годы, все мечты!
То, что тебя любил я, простить мне сможешь ты?
Вокруг — одни чужие; мечтаю лишь о том,
Чтоб горестное пламя в глазах застыло льдом.
Когда же прахом в землю вернется плоть моя,
Там вряд ли разгадают, кто я, откуда я?

Мне среди стен холодных и днем и в час ночной
Молитвой будут вечный выпрашивать покой.
А я хочу, чтоб кто-то у век поникших стал
И дорогое имя твое мне прошептал...
А там — пускай бросают в пыли дорог... В тот час
Мне все же будет лучше и легче, чем сейчас!
Пусть вороны нагрянут, как черная гроза,
И неба не увидят ослепшие глаза!
И пусть примчится буря на огненных крылах
И сердце бросит ветру и растерзает прах!

А ты, как день апреля, всегда сияй, цветя!
Ты — с влажными глазами — невинное дитя,—
Все той же белокурой и вечно юной будь.
Я сам себя забуду, и ты меня забудь.

1879

ЖИЗНЬ

Нередко слышу я, как, выпятив живот,
Румяный жирный поп с амвона речь ведет
О том, что род людской идет путем страданья,
Что наслаждение — преддверье покаянья...
Но разве может знать откормленный такой,
Какой бывает жизнь и быть должна какой?

Над тесной уличкой ночь блещет и сверкает,
Лучи ста тысяч звезд мне под ноги бросает.
До слуха моего доносятся едва
И жалобы, и смех, и смутные слова
Из мира старых стен, из-за окон разбитых,
С забытых пустырей, из-за дверей раскрытых.

Вот скромной спаленки я вижу полумглу.
У лампы девушка вдевает нить в иглу.
Та девушка бледна, глаза у ней потухли,
Над покрасневшими белками веки вспухли —
Ночной упорный труд погибелен для глаз,
В них не осталось слез... Зачем ты родилась?
Зачем живешь? Ведь жизнь тебя несет,
Как веточку по лону пенных вод,
Ты — тень в толпе. Куда тебя забросит
Житейский пыльный вихрь? Но кто об этом спросит?

Вот так и день и ночь все трудится она,
И можно разглядеть сквозь занавес окна,
Как ловки пальчики, как эти очи зорки!
Почувствовать легко, как эти слезы горьки.
Ведь на день брось иглу — и будешь голодать,—
Вот, кажется, и все, что в силах ты понять!

Работа сделана... Пойдет она куда?
Творенья твоего священного труда
Перед клиентами торговец расстилает.
Огромный солитер лучится и сверкает
На пальце у купца... И куплен камень тот
На прибыль от ночных девических работ.

Твой труд, о девушка, стал ценностью отныне:
Купец его теперь предложит герцогине;
Получит деньги он, отвесит ей поклон...
Та ткань, в которую вплелись — жизнь, слезы, сон,—
Ткань, белая как снег, на ком теперь надета?

Когда тебе, дитя, на ум приходит это,
Ты смотришь в зеркальце и плачешь, плачешь ты
От жалости к себе. И кроткие черты
Лица ты своего запечатлеть стремишься...
Так вот какая ты! Страдаешь и томишься,
Живешь, послушна всем, боишься ты всего,
Лишенное поддержки существо.
И только смерти ждешь с готовностью покорной,
Как утешительницы в жизни этой скорбной.
Но все же у тебя одна подруга есть —
Откуда ни возьмись явившаяся здесь
Пчела! Она нашла пути в твою светелку.
И, отворив окно, ты приглашаешь пчелку
Хотя бы до весны с тобой вдвоем пожить!
Две пролетарки вы, пристало вам дружить —
Букашке-девушке с букашкою крылатой.
Когда, подавлена нуждой своей проклятой,
Вдруг девушка взгрустнет в обиде на судьбу,
К ней пчелка резвая садится на губу.
И словно говорит любезно и учтиво:
«Подруженька, мила ты и красива!
Ты знаешь, как цветок, прелестен ротик твой!
Ты очень хороша! Прекраснее святой!
А глазки у тебя! Ну, как их не похвалишь!»

*

...И смерть настигла девушку. Она лишь
Сказала: «Отдохни! Пришли покоя сроки».
Вот девушка в гробу. Еще бледнее щеки,
Но мертвого лица столь хороши черты,
Что те, кто жив, дарят покойнице цветы.

Как благороден, строг и величав он,
Труп девушки, в льняной одетый саван!
К открытому окну, любуясь, подошла
Цветущая весна... Но бедная пчела
Забыла о полях и с грустью беспокойной
Все время кружится над девушкой покойной,
Как будто говорит, что хочет быть она
С подругою своей в земле погребена.

И потому когда, перетянув живот,
Румяный жирный поп с амвона речь ведет
О том, что род людской идет путем страданья,
Что наслаждение — преддверье покаянья,
То разве может знать откормленный такой,
Какой бывает жизнь и быть должна какой?

1879

О МАМА!..

О мама! Из печальной обители своей
Зовешь меня дыханием и трепетом ветвей.
На темную могилу, где приютилась ты,
Акации роняют увядшие цветы.
В их шелесте твой голос мне слышится опять...
Так шелестеть им вечно, тебе же — вечно спать.

Любимая, когда покину я этот свет,
Над прахом безответным не надо плакать, нет!
У моего надгробья лозинку посади,—
Ее кропить слезами под вечер приходи.
И скоро надо мною начнет листва шептать...
Жизнь будет вечно юной, я буду вечно спать.

Но коль судьба уйти нам в один и тот же час,
В одном гробу, родная, пускай схоронят нас;

Пускай нас закопают на берегу речном,
Где волны грустно плещут в безмолвии ночном;
Так будем близко, близко, блаженно мы лежать...
Пусть волны вечно плачут, мы будем вечно спать.

1880

КАКАЯ СКОРБНАЯ ДУША...

Какая скорбная душа
Досталась мне в наследство!
И сколько накопилось в ней
Обид и тягот с детства!

Больная, глупая душа,—
Обманута без счета,
Она все верует, все ждет,
Надеется на что-то.

Ужель не в тягость ей влачить
Несметных бед проклятье?
О волны вечной темноты,
Раскройте мне объятья!

1880

СНОВА МАЧТЫ ПОКИДАЮТ...

Снова мачты покидают
Берега беспечные.
Сколько их переломают
Ветры, волны вечные!

Птиц зима на юг торопит,
Гонит над раздольями.
Сколько в море их утопят
Волны, ветры вольные!

Счастье легкое забуду,
Чувства быстротечные:
Подгоняют в спину всюду
Ветры, волны вечные.

Будут только непонятны
Мысли своевольные...
Вечно шепчутся невнятно
Волны, ветры вольные.

1880

ПОСЛАНИЕ ПЕРВОЕ

Лишь сомкну устало веки, лишь свечу свою задую,
Движет медленное время только стрелку часовую.
Лишь отдернешь занавеску потемневшего окна,—
Сладострастное сиянье заструит в него луна.
В этот миг ночная память вызывает к жизни вечность
Человеческих страданий, мук вседневных бесконечность...

Ты скользишь, царица ночи, вдоль по своду мирозданья,
Бытие даруя мысли, облегчая нам страданья.
Под твоим невинным светом сколько искрится песков,
Сколько рощи укрывают звонкоструйных ручейков!
Сколько волн ты подчинила власти девственной своей,
Проплывая над текучим одиночеством морей!
Ты любуешься цветущей побережий красотою,
И дворцов, и гордых замков, очарованных тобою.
В сотни скромных обиталищ ты глядишь через окно,
Где полночное раздумье лбом бессонным склонено.
Там мечтает император мир смутить на целый век,
Там едва об утре думать бедный смеет человек.
Пусть назначены судьбою им различные ступени,
Но равно над всеми властны луч луны и смерти гений.
И страстей одних и тех же поневоле каждый раб,
Будь он гений иль бездарность, будь он силен или слаб.
Этот в зеркало глядится, и завит и разодет,
Этот гонится за правдой, освещая бездны лет.
Шелуху иной сбирает со страниц, давно истлевших,
Ряд имен в тетрадь заносит, от забвенья уцелевших.
Этот делит мир в конторе, исчисляя, сколько злата
В черных трюмах носит море, ждет ли прибыль иль утрата.

Вон сидит ученый старец — продрался в локтях халат,—
Пишет формулы, сверяет и труду ночному рад.
Но спасти его от стужи впору ль старому халату?
В воротник он шею прячет, в уши вкладывает вату.
Так старик и существует, жалкий, худенький, согбенный,
Но в одном его мизинце — бесконечность всей вселенной.

У него в мозгу разгадка прошлых и грядущих лет.
Вечность темная, ночная у него найдет ответ.
Как державший небо Атлас в мифотворческом былом,
Держит он весь мир и вечность, подпирая их числом.
Между тем как трепет лунный заливает груду книг,
Строй веков, по воле мысли, заключен в единый миг.
Он — в преддверье мирозданья... Ни существ, ни существа,
Неоформленная сущность и безвольна и мертва...
Мирозданье было скрыто, но без тайны сокровенной...
Мир дремал, собой проникнут мыслью непроникновенной.
Что же было? Пропасть? Бездна? Иль пучина мрачных вод?
Даже разум не рождался,— кто ж воспримет и поймет?
Простиралось море мрака беспросветно и глубоко,
Чтоб увидеть мир явлений, не существовало ока.
Пребывал без очертаний этот мир несотворенный,
Властвовал покой извечный, сам с собою примиренный.
Миг — и двигается точка... Свет. Во сне предмировом
Хаос в мать он превращает, сам становится отцом.
Свет в предмировом пространстве, хрупче капли влаги пенной,
Воцарился полновластно над родившейся вселенной.
И от света тьма ночная с той поры отделена,
Восходить над миром стали звезды, солнце и луна.
И досель миры приходят, затерявшиеся в сферах,
К нам из хаоса глухого, из его юдолей серых.
Их рождает бесконечность — и роятся светлой новью,
Приобщаемые к жизни бесконечною любовью.
В безграничном этом мире, мира маленького дети,
Муравейники мы строим на ничтожнейшей планете.
Все — король, солдат, ученый,— всем убогим нашим скопом
Мы себя считаем чудом, а видны — под микроскопом!
Мы — что мухи-однодневки, мир наш меряется футом,
Так и кружимся без цели, жалкий счет ведя минутам,
Позабыв, что на мгновенье мир наш к вечности подвешен,
Что за нами и пред нами он ничтожен и кромешен,
Так пылинки пляшут в царстве одинокого луча
И с лучом исчезнут вместе, рой лазурный помрача.
Так же в вечности бездонной, в нескончаемой ночи
Мы живем, пока сияют мимолетные лучи...
Гаснет луч — и все исчезло, тень вбирает темнота.
Мир химеры... О нирване затаенная мечта...
В наши времена мыслитель смелых дум не остановит,
Мысль за тысячу столетий неизведанное ловит...
Вечер мира... Наше солнце стало скорбно и багряно
И скрывается за тучей, как зияющая рана.

В мятеже своем несется за планетою планета,
Леденея, сбросив узы солнца ветхого и света.
Время в вечность протянуло коченеющее тело,
Нет событий, если бездна мировая опустела.
Крыша мира почернела и уныла, как погост,
Словно листья при ненастье, облетают сонмы звезд,
Рухнул мир, не стало жизни, хаос вновь молчит ночной,
Вновь с собою примеренный воцаряется покой.
. . . .

От толпы непросвещенной, от глухих ее основ,
До ступени высочайшей, до увенчанных голов,
Всех загадки бренной жизни занимают ежечасно,—
Неизвестно, чья на свете доля более несчастна...
Все — во всех, но между всеми он — один, она — одна.
Тот взнесен, кому желанна и доступна вышина.
А удел других, смиренных, жить в неведомой тени,—
Незамеченною пеной потеряются они.
Что судьбе слепой их думы, их заветные стремленья?
Волны мчит она по жизни, словно ветра дуновенье.

Литераторам на зависть он повсюду на примете.
Но ученому седому что дадут восторги эти?
Вы ответите — бессмертье? Правда, слита целиком
Жизнь его с одной идеей, словно дерево с плющом.
«Как умру,— ученый мыслит,— будут именем моим
Поколения гордиться, понесут его другим.
В чьем-нибудь мозгу, я знаю, свой заслуженный приют
Мной написанные книги вместе с именем найдут».
Жалкий! Разве ты запомнил — память слишком не богата! —
Все, что слышал, или видел, или высказал когда-то?
О, как мало! Клок бумаги иль обломок изваянья,
Тень неявственная мысли — вот твои воспоминанья!
Если ты не мог запомнить даже собственный свой путь,—
Изучать его в грядущем разве станет кто-нибудь?
Может быть, через столетье лишь педант зеленоглазый,
Книжный хлам перебирая, увлечен изящной фразой,
Твой язык применит тонкий для своих дурных стихов,
Пыль твоей забытой книги важно сдует он с очков
И тебя таким петитом, что читался б только с лупой,
Упомянет в примечанье под своей страницей глупой.

Целый мир построй, мечтатель, а потом его свали,—
Все засыплется лопатой в яму сброшенной земли.

Длань, хватающая скипетр, мысль, парящая в веках,
Умещаются отлично в четырех простых досках.
И в кортеже погребальном, как ирония прекрасном,
Люди следуют за гробом с выраженьем безучастным.
А ничтожество пустое над могилой скажет речь,
Не тебя стремясь прославить, а себя в багрец облечь.
Вот и все, на что ты вправе уповать... Но подожди:
Может статься, справедливость ожидает впереди?

Кто догнать тебя не в силах, тот не судит беспристрастно...
Биографию расхвалят, из которой будет ясно,
Что велик ты вовсе не был, что талантом не богат,
А точь-в-точь как остальные... Этой мысли каждый рад!
Вскоре, ноздри раздувая, что смешно и глуповато,
На ученых заседаньях, где легко топить собрата,
О тебе, вперед условясь, к месту пользуясь прикрасой,
Говорить начнут... но только с иронической гримасой.
Попадешь в чужие руки. Кто понять тебя не сможет,
Разгромит твои творенья и запрет на них наложит.
И в твоей суровой жизни он разыщет, вероятно,
Неприглядные поступки, непростительные пятна.
Это с ним тебя равняет,— не деянья, не стихи,
Засиявшие для мира, а ничтожные грехи,
Утомленье, слабость духа или ропот откровенный —
Все, что знает от рожденья человек обыкновенный.
Сколько в жизни ты ни думай, сколько книг ни напиши,—
Привлекут людей лишь беды исстрадавшейся души.
. . . .

Между стен, среди деревьев, осыпающих цветы,
Льется лунное сиянье величавой красоты!
И встают воспоминанья, воскресают в тишине,
Боль притуплена, и смутны ощущенья, как во сне.
Тайный мир наш раскрывая, льются лунные лучи,
И теней взлетают сонмы, лишь погас огонь свечи...
Под твоим невинным светом сколько искрится песков,
Сколько роща укрывает звонкоструйных ручейков!
Сколько волн ты подчинила власти девственной своей,
Проплывая над текучим одиночеством морей!
Но судьба вселенной правит, мы рабы ее велений,
И равно над всеми властны лунный луч и смерти гений!

1881

ПОСЛАНИЕ ВТОРОЕ

Ты спросил: а что ж засохли на пере моем чернила,
Почему от дел текущих оторваться я не в силах,
Почему в бумажной куче спят, хирея и старея
Резвый дактиль, ямб могучий и певучие хореи?
Если б знал ты жизнь, с которой мне приходится сражаться,
Ты бы понял, что рискует и совсем перо сломаться.
В самом деле, что ж стремиться, волноваться и бороться,
Новых форм искать в надежде, что вот в них-то и вольется
Наш язык богатый, древний... А потом, оставив это,
Как товар, сбывать на рынок театральные куплеты.
Лишь для этих сочинений в наши дни пути открыты,
И, по требованью света, сочиняешь пустяки ты!
Ты как будто возражаешь, что твореньями моими,—
Пусть хотя б и в этом духе,— я могу составить имя,
Если, скажем, нашим дамам посвящать стишки начну я,
Привлеку мужей вниманье, высший свет я очарую
И известность мировую получу... а отвращенье
Утолю я в тайных мыслях, получая утешенье
В том, что лучшие-то чувства все равно при мне остались!

Друг мой! По дорожке этой многие ходить пытались!
Ведь воспитано столетьем поколенье странных бардов,
Удивительно способных походить на куммулярдов[1].
И они приобретают меценатов благосклонных,
В кабаках стихи читают, пресмыкаются в салонах,
Но поскольку даже так вот трудно жить на белом свете,
То ловчатся за подолы уцепиться барды эти,
Славословя важных барынь, чьи мужья, по крайней мере,
Могут выскочить в министры и открыть пути к карьере!
Друг мой, ради этой славы не хочу писать я ныне,—
Небольшая это слава — проповедовать в пустыне.
В наши дни, когда мы стали лишь страстей своих рабами,
Слава есть фантом, несомый превеликими глупцами
На алтарь божка — уродца с гномика величиною;
Исполином он зовется, а ведь он не что иное
Здесь, в ничтожном нашем свете, как пузырь ничтожной пены!
Может быть, настроить лиру и запеть мне вдохновенно
Про любовь? Но не прельщен я золотою цепью тою,
Что любовников сковала, и по-братски меж собою

---

[1] Куммулярд — лицо, совмещающее несколько должностей *(франц.)*.

Делят двое или трое эту цепь! О нет! Довольно
Мне играть на этой струнке, примыкая добровольно
К хору старца Менелая в оперетте невеселой!
Женщина, подобно жизни, нынче кажется мне школой,
В коей учишься лишь горю, униженью и обману...
В академию Венеры поступают неустанно
Лишь безусые мальчишки, все моложе с каждым годом...
Школа страсти! Время рухнуть обветшалым этим сводам!
Помнишь, друг мой, нашу юность? Мы учились, мы мечтали,
Слушая ученых старцев, что наряд времен латали,
Трупики мгновений древних все искали меж томами
И премудрости старинной любовались черепками.
Изучивши, все на свете, лепетали *horum-harum*,
Nervum rerum gerendarum[1]. И латынью гонорары
Зарабатывали честно. Вместе с тем и — уваженье.
Управляли рычагами нашего воображенья,
Чтоб укачивать, как в люльке, богомольно, чинно, сонно
То всю землю, то отдельно каждый трупик фараона...

Вспоминаю астронома... Стражник темного покоя,
Отвечая на вопросы: «Бесконечность — что такое?» —
Он совал нам в руки космос... Если было нам неясно,
То планетные системы он вытаскивал бесстрастно
Из хаоса, как из шкафа, и нанизывал на нити,
Словно бусы ожерелья, бесконечные открытья.
И вселенная казалась ветхой мельницей ручною,
В голове у нас хрустящей. И, ликуя, мы с тобою
Восклицанье Галилея повторяли: «А ведь все же
Вертится она, планета!» Так и жили, знанья множа.
Оглушенные латынью, схоластическою пылью
И космическим туманом, грезы путали мы с былью
И профессора-беднягу принимали в нашей школе
За одну из древних мумий, полуобглоданную молью.
Слушая его, Рамзеса, видя своды в паутине
И осевшие колонны, об очах мечтали синих,
На полях унылых лекций нежные писали строки,
Посвященные Клотильде некоей розовощекой.
И в сознании мешались день грядущий, день вчерашний,
И какое-нибудь Солнце, и Рамзес, и скот домашний.
И в тиши скрипели перья... В том своя имелась прелесть...
Грезилось льняное поле и пшеницы вольный шелест,
Голова склонялась к парте, взор наш с вечностью сливался...

[1] Набор латинских слов.

И звонок тут раздавался. Знали мы — Рамзес скончался!
Друг! В то время наши грезы были явью величайшей,
И, напротив, явь казалась невозможностью дичайшей!
Лишь теперь мы убедились, как бесплоден и опасен
Этот путь! Лишь чистый сердцем по нему идти согласен.
Ведь мечты грозят бедою всем, кто в буднях этих живы!
Ведь, попав во власть иллюзий, вы погибли и смешны вы!
И поэтому не стоит, дорогой мой, дознаваться,
Почему от дел текущих не хочу я оторваться,
Почему в бумажной куче спят, хирея и старея
Резвый дактиль, ямб могучий и певучие хореи.
Опасаюсь — если буду продолжать грешить стихами,
Каждый современный евнух удостоит похвалами.
Мне смешно их порицанье, но, без всякого сомненья,
Похвалу их заслуживши, я умру от отвращенья!

1881

ПОСЛАНИЕ ТРЕТЬЕ

Положив кулак под щеку, на земле сухой и дикой
Спал султан, любимец бога, кочевых племен владыка.
И во сне он вдруг увидел, как с небес луна скатилась
И у ног его мгновенно в чудо-деву обратилась.
А за ней в безбрежной сини, ослепительно блистая,
Полоса лучей тянулась, как дорожка золотая.
И, роняя капли света, словно брызги дождевые,
От восхода до заката встали радуги ночные.
И в немом просторе неба, где-то в звездном хороводе,
Раздавался еле слышный звон пленительных мелодий.
Очарован юной девой, лес качался еле-еле,
Воды тихо улыбались, ветры в поле присмирели.
Вот она садится рядом, протянув султану руки,
И в ее покорном взоре отраженье тайной муки.
— О, приди в мои объятья, мне от века нареченный!
Утоли своей любовью скорбь души моей смущенной.
В сокровенной книге неба предначертано судьбою:
Будешь ты моим владыкой, я — твоею госпожою.—
Он встает навстречу деве, но... растаяло виденье,
Вот он видит, изумленный, новый сон: в одно мгновенье
Дуб огромный вырастает из груди его могучей,
Он растет все выше, шире, небосклон затмив, как туча,
Крылья веток расправляя, словно сказочная птица,
И на лик земли утихшей тень гигантская ложится.

И султан глядит и видит: мир от края и до края —
Воды Тигра и Евфрата, воды синего Дуная,
Цепи Атласа седого и в песках гробницы Нила —
Все своей рукою черной тень державная закрыла.
Корабли в открытом море и хлеба на тучных нивах,
Многоводных рек изгибы, шпили башен горделивых,
Гавани, поля, селенья с их движеньем неуемным —
Все его открылось взору, будто на ковре огромном.
Видит страны и народы, что, свою оплакав славу,
Собрались под черной тенью в небывалую державу.
Чу! Гудит победно ветер, и трубят призывно трубы
И волнами ударяют по зеленой кроне дуба.
Клич «Аллах! Аллах!» несется, стяги мечутся, как тени,
И взлетают к небу вопли нескончаемых сражений.
Дуб встревоженный трепещет и шатром необозримым
Ветви темные склоняет до земли над новым Римом.

И султан проснулся, вздрогнув... Вот плывет луна большая
Над равниной Эскишерской, замок шейха озаряя,
Из окошка на султана смотрит девушка с улыбкой.
Очи девушки — озера, стан ее — орешник гибкий.
Малкатун зовут красотку, дочь седого Эдебали,
И подобных ей красавиц люди в мире не видали.
И султан смотрел и думал, и в раздумии глубоком
Понял он, что сновиденье послано ему пророком,
Что империя большая от любви его родится
И аллах единый знает, где пройдет ее граница.

Сон сбывался: год за годом, словно огненная лава,
Превращая страны в пепел, крепла, ширилась держава.
Обновлялись поколенья, и султан сменял султана,
Но под знаменем зеленым кровь струилась непрестанно.
Наконец сквозь тьму ночную засияли синим светом
Волны древнего Дуная перед пылким Баязетом.
Подан знак: и взвыли трубы, борт о борт сомкнулись судна,
И покрылся сонный берег ратью шумной, многолюдной,
Сколько тут сынов аллаха — янычар и спагов было!
Вся долина у Ровине почернела, приуныла.
Но костры уже пылают, и шатры давно готовы.
Далеко, у края неба, притаился лес дубовый...
Вот идет с зеленой ветвью от румын посланец мира.
На него с презреньем смотрит покоритель полумира.
— Говори, чего ты просишь? — он лениво вопрошает.
— О великий император, мира наш народ желает!

И желает Мирча Старый видеть нынче вашу милость.—
Баязет махнул рукою — стража тихо расступилась,
И подходит старец, скромен и в одежде и по речи.
— Мирча?
— Да.
— Пришел с поклоном? Я люблю такие встречи.
А не то венец твой княжий на венец сменю терновый.
— Ты мой гость, пока мы в мире,— вымолвил старик сурово.—
Что ж касается поклона — не взыщи, царей владыка:
Поклониться — покориться! Покоряться ж не привык я.
Все равно, с войной иль с миром ты пришел на нашу землю,—
Все, что суждено мне роком, я безропотно приемлю!
— Как! Не хочешь ли ты, старец, чтобы грозный Алиотман
О простой сучок споткнулся на пути бесповоротном!
Знаешь ты, какая сила мне дорогу преграждала?
Весь могущественный Запад, короли и феодалы,
Цвет воинствующей знати — полководцы и бароны,—
Всех их поднял вихрь крылатый, полумесяцем взметенный.
Орды рыцарей мальтийских в латах лучшего чекана
И в тройной тиаре папа, бог земной из Ватикана.
Он собрал все грозы мира против той грозы, с которой,
Всех к ногам своим склоняя, я прошел моря и горы.
Словно тучи грозовые, потрясая мира своды,
Из пустынь, лесов дремучих под крестом текли народы;
Сея черный ужас смерти, угрожая мне войною,
Щит к щиту и сабля к сабле шли они сплошной стеною.
Столько лагерей военных под Никополем скопилось,
Что, казалось, ад разверзся, солнце в небе помутилось!
И, увидев, как их много, я в душе, не знавшей страха,
С дикой яростью поклялся вечным именем аллаха,
Что, как меч, сквозь все преграды я пройду неотвратимо
И коней овсом и сеном накормлю в соборах Рима.
Ты же с посохом явился, словно я не видел палки,
Да и сам ты, как я вижу, лишь старик, седой и жалкий.
— Да, я стар и слаб, не скрою, но в большой душе народа
Я не просто дряхлый старец, воин я и воевода;
И желаю, чтоб изведать не пришлось тебе вовеки,
Как тяжел кулак румынский, как глубоки наши реки.
С давних пор на нашу землю шли непрошеные гости.
Ордам Дария Гистаспа первым мы крушили кости.
Многие на наших реках возводили переправы,
Но обратно возвращались без доспехов и без славы
Повелители, которым белый свет казался тесным,
Растеряли все доспехи по долинам по окрестным.

Ты кичишься, что с победой пролетел, как вихрь крылатый,
Что тебя не остановят ни оружие, ни латы;
Ты бахвалишься, что Запад на пути твоем поднялся.
Что вело его, скажи мне? Чем он к битвам вдохновлялся?
Он хотел сорвать лишь лавры с головы твоей венчанной,
Веру нес он и пороки на мечах в чужие страны.
Ты пришел к нам за богатством, ну, а я, корысти чуждый,
Я народ свой защищаю, нашу бедность, наши нужды.
И скажу тебе не ради хвастовства или угрозы:
Всех поднимет гнев священный, и пожнешь ты кровь и слезы.
Все, что есть в стране румынской, на земле ее и в недрах,
Камни, воды и деревья — все мне друг, тебе же — недруг.
Нет у нас брони тяжелой, но любовь к отчизне — сила,
Что снесет тебя, как буря, как других уже сносила.

И старик ушел. И сразу все вскипело по тревоге:
Всколыхнулся лес дубовый, пылью вспыхнули дороги.
Оглушая звоном стали, ослепляя медным блеском,
Вырываются из чащи по зеленым перелескам
И навстречу Баязету вдоль долины у Ровины
С боевым протяжным кличем скачут вольные дружины;
Поднимая клубы пыли, кони стелются в галопе,
Всадники, склонившись низко, потрясают лесом копий.
Тетива звенит тугая, и навстречу басурманам
Свищут стрелы огневые смертоносным ураганом.
Стон стоит на поле брани, с четырех сторон открытом,
От мечей валятся турки, умирают под копытом.
Ой, напрасно император тигром воет разъяренным!
Ой, напрасно пред войсками машет знаменем зеленым!
Смерти тень над ним все шире, горе, горе, Баязету!
Не сдержать ему бегущих, и спасенья больше нету.
Настигают пеших стрелы, оземь грохаются кони.
Впереди Дунай глубокий, не уйти им от погони.
У того, кто пал подбитым, ужас омрачает разум:
Кажется, как в день последний, небо упадает наземь.
На коне своем любимом Мирча в самой гуще боя,
Он ведет свою лавину, попирая все живое.
С громом всадники несутся, рассекают вражью стаю,
Прорубают в ней проходы, гонят к синему Дунаю,
Словно огненное море, жгут и топят без пощады...
И на смену павшим братьям скачут новые отряды.
Разлетелись янычары, как по ветру горсть мякины,
И за ними, торжествуя, мчатся храбрые румыны!

Смолкла битва, и герои засыпают сном тяжелым.
Солнце медленно садится и победным ореолом,
Словно молнией застывшей, окаймляет лагерь сонный:
Отдыхающих героев и усталые знамена.
И луна, царица неба, выплывает из-за леса,
И спускается на землю ночи синяя завеса.
Все утихло, все уснуло — небеса, земля и воды,
Лишь один в шатре зеленом сын седого воеводы
На щите своем измятом, сладкой думою томимый,
Пишет нежное посланье в край родной своей любимой:

О тебе, душа, горюя,
Из Ровине говорю я.
Не устами, письменами,
Потому что ты не с нами.
Ты скорее напиши
И прислать мне поспеши,
Что дороже для души:
Лес зеленый с птицами,
Очи да с ресницами.
Напишу и я сейчас,
Что дороже здесь для нас:
Бор с листвой зеленою,
Войско закаленное,
Шишаки высокие
Да глаза далекие.
Я не ранен, не убит,
Бог меня еще хранит.
Поцелуй с письмом летит.
. . . .

Вот какое время знали летописцы и рапсоды!
А сейчас, куда ни глянешь,— скоморохи и уроды.
Лишь в преданиях народных живы древние герои.
Почему ж не воспевают скрипки, флейты и гобои
Тех великих патриотов, что явились к нам позднее
И с тех пор владеют нами, наложив ярмо на шею?
О герои дней минувших, вас тревожат моды ради
И цитируют сегодня все, кто с разумом в разладе,
Драпируют вашей славой хвастовство геройской позы,
Век поэзии священной превращая в жвачку прозы.
Будьте ж вы благословенны, Бассарабы, Мушатины,
Вы, что дали нам законы и обычай наш старинный,
Вы, что саблей и сохою край раздвинули суровый
От высоких гор до моря и Дуная голубого!

Впрямь ли *век наш* так ничтожен? Может быть, в помойной яме
Отыщу я клад богатый с драгоценными камнями?
Разве мы не в Сибарисе? Не у храма подлецов ли?
Разве гений не страдает и без хлеба и без кровли?
Разве нет у нас героев, что мечами красноречья
Наносить умеют ловко очень тяжкие увечья?
Государственных паяцев, что танцуют на канате
Иль голодному народу врут о высшей благодати?
Либералов, что болтают о *любви к своей отчизне*,
Прикрывая мишурою грязь своей порочной жизни?
Посмотрите, вот бесстрашный рыцарь баров и борделей!
Что ему людские муки и возвышенные цели!
Вот чудовище разврата, дрянь без сердца и без мысли,
Щеки лоснятся от жира, брови на глаза нависли.
Вот он, сгорбленный и жадный, порождение ехидны,
Он направо и налево изрыгает вздор бесстыдный.
На устах слова о чести, а внутри одни гнилушки,
Он ничтожество ничтожеств от пяты и до макушки.
Окруженный шумным клиром, поводя глазами жабы,
Озирает свое войско тот, кому давно пора бы
Отвести по праву место в доме для умалишенных.
Пусть среди себе подобных рассуждает о законах,
Облагает всех налогом и сиделок держит в страхе,
Пусть он делает, что хочет, но — в смирительной рубахе.
Справедливость! Добродетель! Вот светила учреждений,
Где царит с утра до ночи шум бесплодных словопрений,
На скамьях, как на амвоне, с раболепием собаки,
Восседая, рукоплещут виртуозному кривляке,
И, захлебываясь ложью, нам толкуют неустанно,
Что они потомки римлян, внуки славного Траяна,
Все отбросы и подонки, вся отравленная пена —
Вот кто родиной моею управляет неизменно!
Все, что рождено развратом, все, что мерзостно и гнило,
Все, на чем сама природа метку смерти наложила,
Все, что хищно, вероломно, весь Фанар и все илоты,
Все стеклось на нашу землю, все полезло в патриоты.
Болтуны и фанфароны, криворотые заики
На спине народа пляшут и справляют пир великий.
Это вы — потомки римлян? Вы — слюнявые уродцы!
Кто из вас мужчиной просто с полным правом назовется?
Это вы — Траяна внуки? Вы— изнеженные твари?
Наш народ и нашу славу вы срамите в каждом баре.
Вам, торгующие честью, вам сегодня говорю я:
Имя нашего народа поминать не смейте всуе!

Там, в Париже, в шуме оргий и безумных вакханалий,
Вы и юность и наследство безвозвратно растеряли.
Что давал вам пышный Запад? Что ему давать могли вы?
Да и чем вы удивили наш народ неприхотливый?
Вместо шпаги или сабли тростью франта площадного,
Пудрой, краской и лорнетом вместо разума живого.
Вы состарились до срока, все, что знали, вы забыли,
В голове вы сохранили только вальс из Бал-Мабиля
И подвязку куртизанки в вашей нищенской котомке...
Как я вами восхищаюсь, римлян гордые потомки!
Что ж вы смотрите со страхом в наши сумрачные лица?
Странно вам, что мы устали слушать ваши небылицы!
Да, мы поняли, что фразой, громыхающей и лживой,
Вы скрываете искусно жажду власти и наживы.
И теперь, когда для плута настает пора иная,
Вы умыть спешите руки, на других людей кивая!
Слишком долго вы глумились над страной и над народом,
Слишком долго подвергали нас лишеньям и невзгодам,
Мы терпели и насмешки, и змеиные укусы.
Маска сорвана, мы видим: негодяи вы и трусы!
Гений — сущее несчастье! Совесть — вредная химера!
Только золото и праздность — ваши боги, ваша вера!
Так оставьте же хоть мертвых, пусть они лежат спокойно.
Вы не только славы предков, их презренья не достойны.
О приди, могучий Цепеш, и, тяжелый сон развеяв,
Раздели их на две шайки — на безумцев и злодеев,
В две огромные темницы заточи их без раздумья
И сожги огнем священным и тюрьму, и дом безумья!

1881

ПОСЛАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Замок встал уединенный, отражен в воде озерной.
Он в глубинах век за веком тихо дремлет тенью черной.
Между сосен поредевших он угрюм и молчалив,
От него еще темнее вечно плещущий залив.
Складки длинных занавесок, в окнах стрельчатых мерцая,
В легкой дрожи серебрятся, словно изморозь ночная.
Диск луны над темным лесом выше, ярче засверкал,
В небе контуры рисует куп древесных или скал.
А дубы, как великаны, неземной величины,
Словно клад необычайный, сторожат восход луны.
Плавно лебеди проплыли, шевельнув камыш прибрежный,—

И владычицы и гостьи этой влаги безмятежной,—
И вытягивают крылья, отряхая капли-звезды,
А в воде круги трепещут иль огнистые борозды.
Тростники едва тревожит волн прибой неугомонный,
И в траве вздыхает нежно меж цветов кузнечик сонный.
Так ночные томны шумы, воздух летом напоен...

Только рыцарь одинокий страстно смотрит на балкон,
Чьи чугунные перила все одеты до отказа
В ветви гибкие глициний, в розы алые Шираза.
Опьянен печальный рыцарь негой вечера и вод.
И влюбленная гитара очарованно поет:

«Я молю, явись мне снова в шелке длинного покрова,
Вся мерцая и сверкая... О, молю, явись мне снова!
Я смотреть всю жизнь хотел бы на тебя в венце лучистом,
И чтоб ты рукой водила вдоль по прядям золотистым.
О, приди! Играй со мною... и с судьбой моей! Приди!
Мне цветочек брось, который на твоей увял груди!
Чтоб упал он на гитару и ответила б струна...
Что за ночь! Как будто снегом вся засыпана она...
Или мне дозволь проникнуть в твой альков благоуханный,
Дай льняных своих полотен выпить запах несказанный.
Купидон, твой паж лукавый, охраняя наш покой,
Шар сиреневой лампады скроет сам своей рукой!»

И в тиши шуршанье шелка меж цветами раздалось —
Посреди глициний синих и ширазских алых роз.
Нежно девушка смеется и склоняется к перилам,
И возлюбленному мнится серафимом легкокрылым,
Вот к устам прижала палец, розу бросила ему,—
Иль журит?.. Так жарко что-то шепчет другу своему!..
Вдруг исчезла... Вдруг мелькнула между вьющихся растений...
Взялись за руки — и бродят две расплывчатые тени...
Рядом... Как они друг друга, оба юные, достойны:
Молод он, она красива, оба статны, оба стройны.
Вот из тени, где, чуть видны, берег с озером слились,
Плавно лодка выплывает, парус дремлющий повис.
Мерно всплескивают весла, этой плавностью движенья
Убаюкано так много красоты и упоенья!
А луна... луна всю землю озаряет понемногу,
Через озеро проводит огнезарную дорогу,
Где рождается мгновенно волн несчетных суета.
О луна, златая дева, мрака вечная мечта!

Под растущим нежным светом лик меняется природы:
Словно стал обширней берег, и просторней стали воды,
И приблизился как будто разрастающийся лес.
И луна, всех вод царица, в синеве ночных небес.
Густолиственные липы все усеяны цветами,—
Тихо клонятся под ветром и цветы роняют сами,
И цветы на лоб девичий легким падают дождем.
Дева юношу за шею обняла и взор на нем,
Трепеща, остановила: «Я боюсь... Молчи!.. Не надо...
Ах! Слова твои, любимый, мне и ужас и отрада!
Я раба твоя, служанку ты возвысил против воли!
Вся краса моя и прелесть — лишь в твоей душевной боли.
Я страдаю, содрогаюсь, этот голос жжет огнем.
Все — не о любви ли сказка, потонувшая в былом?
Эти грезы, эти очи — под печальной пеленою.
Ты мой разум опаляешь этой влажной глубиною!
Не гляди, мой друг, куда-то... Дай мне огненные очи!
Никогда я не насыщусь сладким пламенем их ночи!
Пусть ослепну,— только б видеть! О, послушай, как над нами
Звезды вещие беседу с высоты ведут с волнами.
Бредит лес, а голубые родников нагорных струи
Говорят о нашем счастье, нашем первом поцелуе.
Звезд, мерцающих над бором, безучастная семья,
Это озеро и небо — все нам верные друзья.
Мог бы ты отбросить весла, руль оставить — и тогда
Понесла бы нас, помчала своенравная вода.
Поплывем же по теченью, а куда прибьет оно.
Все равно там счастье,— жить ли, умереть ли суждено!»
. . . .
Вот оно — воображенье! Одинокий, знаешь сам,
Как оно влечет безумно к тем озерам и лесам!
Где же, где такие страны? По каким искать широтам?
И когда все это было? В тысяча четырехсотом?
Нынче девушке подолгу ни к чему в глаза смотреть
И нельзя ее, как хочешь, лаской нежною согреть,
Ни уста к устам приблизив, замирая, с грудью грудь.
Вопрошать глазами: «Любишь? Откровенной только будь!»

Где там! Руку лишь протянешь, вдруг из двери — весь собор:
Дядя, тетя, сват, кузина — родственников полон двор!
Тотчас голову склоняешь и смиренно смотришь вбок...
Для любви на этом свете ныне есть ли уголок?
Словно мумии, на стульях все сидят, оцепенели,
И мои, как камень, пальцы шевелятся еле-еле.

Пустишь дым, пересчитаешь даже волосы в усах,
Да блеснешь, пожалуй, знаньем в кулинарных чудесах.

Жизнь такая надоела... Мы не пьем из этой чаши.
Но кругом — такая мерзость, и дела и мысли наши.
Из-за жалкого инстинкта царь вселенной слезы льет!
Ведь и птицами владеет это чувство дважды в год!
В нас другой живет хозяин,— вдохновляет нас мечтами,
Восхищается, смеется, шепчет нашими устами.
Жизнь людская вся похожа на речное волнованье,
Ни конца ей, ни начала: Демиург — реки названье.
Иль не чуете, безумцы, что любовь у вас — чужая?
Иль не чуете, что чудом предстает вам дрянь любая?
Что любви инстинкт от века вам для нужд природы дан?
Что лишь ненависть взрастает из посеянных семян?
Ваши дети будут плакать, хоть смеетесь вы сейчас,
В том вина любви, что Каин в этом мире не угас!
О театр марионеток!.. Гул бессмысленнейших слов!
Всяким шуткам, анекдотам вторят на сто голосов!
Попугаи без рассудка!.. Повторяют, как актер,
Громко, сами пред собою, что твердилось с давних пор.
И еще твердиться будет веки вечные, пока
Не угаснет солнце в бездне и забудут про века.
В час, когда луна крадется в темных тучах над пустыней,
С миром дум своих унылых ты ль поспеешь за богиней?
Можешь ты, бредя бульваром, гололедицей одетым,
Заглянуть в чужие окна с ослепительным их светом,—
Средь бездельников заядлых ты приметишь дорогую,
Как она улыбки сыплет всем подряд напропалую.
А кругом и шелест шелка, и бряцанье звонких шпор.
Франтам с усиками глазки строят женщины в упор.
Не смешно ли с нежным чувством замерзать перед парадным,
Коль она полна восторгом перед вралем заурядным?
Как любить ее по-детски и упрямо рваться к цели,
Коль она непостоянна, словно непогодь в апреле?
Стоит ли терять рассудок? Не покажется ли плоским
Ею всею восхищаться, словно мрамором паросским
Иль картиною Корреджо, красотой его мадонн,
Если ветрена особа, холодна!.. Да ты смешон!
Да, и я мечтал когда-то о возлюбленной, о милой...
На меня б она смотрела, лишь задумаюсь, унылый,
Я бы знал, она бы знала, что любить не перестану,
Было б счастье бедной жизни впору всякому роману.
Но теперь не жду я счастья. Где блаженство есть такое?

Хоть звучит все та же песня о несбыточном покое...
Но разбиты инструменты, и оркестр, увы, молчит.
Песня прежняя лишь редко, как ручей во тьме, журчит.
Лишь порой блеснет зарница, черной теменью объята,
Как из Carmen Saeculare[1] петь и я мечтал когда-то...
Незаконченная песня холодна теперь, сурова.
Свист, порывистые вопли — все в ней дико, звук и слово.
Громоздятся хаотично, распадаясь, нарастая,
В голове бушует ветер, голова горит пустая...
Где прозрачные страницы, что писала жизнь сама?
Лира? — Вдребезги разбита... Музыкант сошел с ума.

1881

ПОСЛАНИЕ ПЯТОЕ

Есть библейское преданье про Самсона и Далилу,
Что во сне его остригла, отняла былую силу.
И враги его связали, после выкололи вежды,—
Вот какую злую душу прячут женские одежды!
Пылкий юноша, мечтая, ты бежишь за нежной феей,
А луна, как щит округлый, золотится над аллеей,
Разукрашивает зелень сетью пятен и полос...
Знай, что женщин ум короток не в пример длине волос.
Опьянен ты негой ночи, феерическими снами,—
Но они — *в тебе*, и только... Обратись-ка лучше к даме:
Дама тотчас защебечет про воланы, ленты, моды,—
А твое-то сердце бьется вдохновенным ритмом оды!
Если девушка головку на плечо твое склонила,
Положись на свой рассудок, вспомни, кем была Далила.

Спору нет, она красива... Так младенчески чиста!
Засмеется — и две ямки появляются у рта,
Улыбнется — и на щечках слева ямочка и справа,
Ямки всюду — и на пальцах, и у каждого сустава.
Не худа и не дебела, да и ростом в самый раз,—
Можно думать, что нарочно для объятий родилась.
Ей под стать любая фраза, и безделье, и занятье,
Как и всем другим красивым, ей идет любое платье.
Речь ее всегда приятна, и молчанье иногда.
Словно песню вспоминая, лень природную балуя,
Говорит: «Уйди отсюда!», понимай: «Иди сюда!»

---

[1] Песнь века *(лат.)*.

Ходит томно, полускромно, словно жаждет поцелуя...
Вот на цыпочки привстала, губы губками достала —
И в тебя проникла тайна... И тепло и чудно стало —
Это чары поцелуя, сила женственной души!..
О как были бы с желанной дни и ночи хороши!..
За ее румянец томный ты в восторге жизнь отдашь...
Прихотница королева, с королевой юный паж...
А в глаза ее заглянешь, и покажется в тот миг,—
Цену жизни, цену смерти ты воистину постиг.
И, отравлен болью сладкой, очарован мукой нежной,
Подчиняешь ей единой вольных мыслей мир безбрежный.
Влажный взор ее припомнив, поклянешься, что из пены
Не прекрасней засияли очи Анадиомены.
В забытьи, где дремлет хаос, как ни мчались бы часы,
С каждым часом все желанней для тебя ее красы.

О, иллюзия! Неужто не приметил ты тотчас,
Что улыбка этих губок — смесь привычек и гримас!
От красы ее для света нет ни радости, ни прока,—
Лишь твою младую душу губит попусту жестоко!
Тщетно выгнутая лира на семи струнах желала б
Прозвучать твоим стенаньем, всей тоскою смертных жалоб.
И в глазах твоих напрасно отразятся сказок тени,
Как в мороз на стеклах окон ветви сказочных растений,
Ведь на сердце зной палящий... Тщетно просишь: «Посвяти мне
Думы все! Зальюсь слезами, воспою их в светлом гимне!»
Но она понять не может, что влечешься к ней — не ты,
Что в тебе живущий демон жаждет нежной красоты.
Он смеется, стонет, кличет, сам же свой не слыша клич,
Жаждет женщины: он хочет самого себя постичь...
Он ваятелем безруким бьется в диком исступленье,
Вдруг оглохнувшим маэстро в наивысший миг творенья,
Не достигнувшим вершины с нежной музыкою сфер,
С их вращеньем и спаданьем в мире вечных числ и мер.
Знать ли ей, что этот демон жаждет взять ее в модели —
Мрамор с шеей голубицы и ресницами газели.
Он не требует, чтоб жертва умерла на алтаре,
Как в античности священной — мы в иной живем поре,—
Там закалывали деву из почтения к святыне,
Если скульптору служила дева образом богини.

Демон сам себя постиг бы... На костре своем сожжен,
Он воскрес бы, и, воскреснув, сам себя познал бы он.

И, любовью ненасытной проникаясь все страстнее,
Он язык свой, как Гораций, изломал бы в адонее.
Он в мечты свои вобрал бы и лесов могучий рост,
И ручьев немолчный ропот, и всевечный пламень звезд.
В миг таинственный блаженства, для страдальца непривычный,
Может быть, в его зеницы заглянул бы мир античный,
Он ее боготворил бы, пред любимой преклоняясь,
И молил бы о спасенье у ее невинных глаз.
Для нее его объятья вечно были б горячи,
Он лобзаньями согрел бы хладных глаз ее лучи,
От его любви огромной растопились бы каменья,
Перед ней склонив колени, он утроил бы моленья,
От нахлынувшего счастья он бы мог в безумье впасть,
А любил бы он все жарче, все бурней была бы страсть.

Знать ли ей, что мир могла бы подарить тебе, любя,
Если б бросилась в пучину, устремясь постичь тебя,
Лучезарным звездным светом залила б твои глубины?..
Улыбнулась полусветски, взоры ханжески невинны.
Будто вправду ей понятно... Характерные черты...
На земле прослыть им лестно тенью вечной красоты.
Слыть ли розой между женщин или женщиной меж роз
Ей приятно... Но попробуй ей задать такой вопрос:
Кто ей люб из трех влюбленных? И от статуи античной
Не останется намека: станет сразу же практичной,
Ну, а ты, с умом и сердцем, ширмой был. Ведя интрижку,
Там, за ширмой, обольщала дама глупого мальчишку.
По салонам проходил он мелким шагом акробата,
Оставляя за собою волны слов и аромата.
Сам в прыщах, цветок в петлице,— он вперял в нее лорнет,
Весь — творение портного, им и создан и одет.
Или в карточной колоде все ей годны короли?
Или в сердце у кокетки все по комнатке нашли?
Дама глазками стреляет и лавирует при этом
Между старым ловеласом и неопытным валетом.
Тут возможна и ошибка: разберись-ка ты, изволь,
Кто ценнее — лев бульварный или пиковый король?
Ты любовник демоничный — так с тобой она монашка...
А пред пиковым монархом — запылала, дышит тяжко,
Тучи страсти заклубились, в холод глаз ее нахлынув,
И сидит она веселой, ногу на ногу закинув,
Для нее умен и статен этот круглый идиот...
И к чему мечты? В природе все по правилам идет.

Тут ни правда не поможет, ни другой предмет излишний,—
Вот извечная преграда перед нашей правдой вышней.

Пылкий юноша, мечтая, ты бежишь за нежной феей,
А луна, как щит округлый, золотится над аллеей,
Разукрашивает зелень сетью пятен и полос,—
Знай, что женщин ум короток, не в пример длине волос.
Опьянен ты негой ночи, феерическими снами,—
Но они — *в тебе*, и только... Обратись-ка лучше к даме:
Дама тотчас защебечет про воланы, ленты, моды,—
А твое-то сердце бьется вдохновенным ритмом оды!
Этот камень состраданье отродясь не посетило,
Если ты здоров рассудком, отойди: она — Далила.

1886—1890

АХ, ЗАЧЕМ НЕ ВЛАДЕЮ...

Ах, зачем не владею
Волшебством превращенья,
Мастерством чародея
Или мага уменьем?
Стал бы зеркалом ясным,
Чтоб изведать блаженство
Отражать ежечасно
Черт твоих совершенство...
Стал бы гребнем красивым,
Все бы нежил и гладил
С восхищеньем ревнивым
Непокорные пряди...
Стал бы ласковым ветром,
Что в игривом старанье
Шевелит неприметно
На груди одеянье...
Стал бы сном, что витает
В мирном сумраке ночи
И любовно смыкает
Утомленные очи...
Но, увы, не владею
Волшебством превращенья,
Мастерством чародея
Или мага уменьем.

1881

ЧТО НЕ ЛЮБЛЮ Я МИР ЗЕМНОЙ...

Что не люблю я мир земной,
Понять вы не сумели.
Но почему же ни одной
Не смог достичь я цели?

Душа моя полна обид,
Она, устав от пыток,
Одни страданья мне дарит,
А их и так избыток.

Мне ввысь стремиться суждено
За вечным идеалом.
Мечтать о том, что не дано,—
О счастье небывалом.

Недосягаемый мираж,
И нет пустыне края.
За призрак этот жизнь отдашь,
Его не понимая.

Недвижно царствует всегда
Он в тишине пустынной.
Не так ли царствует звезда
Над черною пучиной?

Ему, быть может, не слышна
Тревога этих жалоб...
Порой холодная волна
Настичь его желала б.

О, сколько прежде пролилось
И льется ежечасно
Молений жарких, горьких слез —
Бесцельно и напрасно.

Теперь направить их куда ж,
Чтоб скорбь развеять дымом?
Все поднимается мираж —
Он стал недостижимым.

Он стал загадкой навсегда,
Хранящей отдаленность,
Былого черная звезда —
Бессмертная влюбленность.

Она — граница и предел,
В ней все моря и степи,
Но разгадать ты не сумел
Ее великолепий.

Не любят нас — не оттого ль
Любить мы вечно будем?
Такая огненная боль
Дается свыше людям.

1882

ЛУЧА́ФЭР[1]

В стране за тридевять морей,
Как в сказках говорится,
Жила, наследница царей,
Красавица девица.

Она росла в кругу родных
Всех лучше и прекрасней,
Как богоматерь средь святых,
Как в небе месяц ясный.

В том зале, где высокий свод,
Среди вечерней тиши
Она Лучафэра восход
Ждала в оконной нише.

Глядит в пространство, где звезда
Сверкает и восходит
И трепетной тропой суда
От берегов уводит.

Проходит день, проходят дни —
Глядит не наглядится.
И сам Лучафэр с вышины
Влюбляется в девицу.

Она мечтает, чуть дыша,
Вечернею порою,
И сердце девы и душа
Исполнены тоскою.

---

[1] Луча́фэр — народное название вечерней звезды *(рум.)*.

А он — влюбленная звезда —
Не устает светиться
Над темным замком в час, когда
Она должна явиться.

И, пронизав стекло окна,
Скользит за ней по залу,
Соткав из льдистого огня
Сквозное покрывало.

А как утихнет все вокруг
И спать идет царевна,
Касается скрещенных рук
И век ее смиренно.

Зеркал тревожа глубину,
Летит волной кипящей
На обращенные к нему
Глаза и губы спящей.

Трепещет он во льду зеркал
Мерцающим виденьем.
И в сердце девы он запал,
Войдя со сновиденьем.

Он слышит сонный звук речей,
Склоняясь к ней все ниже:
— О властелин моих ночей!
Приди ко мне! Приди же!

Лучафэр, по лучу скользни,
Приди в мои мечтанья,
Проникни в дом и осени
Мое существованье.

Он ей внимает, трепеща,
Пылая и ликуя,
И вдруг, как молния блеща,
Уходит в глубь морскую.

И там, среди морских равнин,
Расходятся буруны,
Там из таинственных глубин
Выходит витязь юный.

Через окно вступает он
Неслышною стопою,
Он держит жезл, что оплетен
Кругом травой морскою.

Он словно воин при мече,
Кудряв и ясноглаз он,
И синий саван на плече
Тугим узлом завязан.

А тени бледного лица —
Прозрачно-восковые.
На этом лике мертвеца
Одни глаза — живые.

— К тебе из сфер, где я парил
В неведомом просторе,
Сошел я, сын стихийных сил,
Дитя небес и моря.

Чтобы узреть твои черты,
Войти к тебе в покои,
Сошел я с горней высоты,
Покинул дно морское.

Пойдем со мною в дальний путь,
Оставь свой мир беспечный.
Лучафэр я, и ты пребудь
Моей невестой вечной.

В моем коралловом дому
Жить будешь, как царица,
Вся глубь морская твоему
Веленью покорится.

— О, как ты ангельски хорош!
И я тебя не стою!
Но в путь, в который ты зовешь,
Я не пущусь с тобою.

Твой мертвен блеск, чужды слова,
И странен ты нарядом.
Ведь ты мертвец, а я жива,
И взор твой веет хладом.

*

Минует день, минуют три,
Четвертый день приходит,
Едва тускнеет свет зари,
Лучафэр вновь восходит.

И дева памятью своей
Во сне его взыскует,
И по властителю морей
Душа ее тоскует.

— Лучафэр, по лучу скользни,
Приди в мои мечтанья,
Приникни в дом и осени
Мое существованье!

И слышит это сын небес,
И гаснет, болью мучим,
И небо там, где он исчез,
Вскипело вихрем жгучим.

И пламя лижет небосвод,
Бушует в глуби пенной,
И дивный образ восстает
Из хаоса вселенной.

Сияет пламя над челом
Пылающей короной,
Он приближается, огнем
Светила обагренный.

Под сенью темного плаща
Белы, как мрамор, руки,
Лицо бледнее, чем свеча,
И взор исполнен муки.

Лишь роковая глубь очей
Таит огонь желанья,
Как ненасытных двух страстей
Угрюмое пыланье.

— Из сфер моих, где я парил
Печально и уныло,
Сошел я, сын стихийных сил,
Сын ночи и светила.

Пойдем со мною в дальний путь,
Оставь свой мир беспечный.
Лучафэр я, и ты пребудь
Моей невестой вечной.

Я кудри светлые твои
Венками звезд покрою,
Войдешь ты в звездные рои
Ярчайшею сестрою.

—О, словно демон, ты хорош!
Ты можешь только сниться!
Но в путь, в который ты зовешь,
Я не решусь пуститься!

Ведь так твоя жестока страсть,
Что струнам сердца больно,
И взгляда пламенного власть
Томит меня невольно!

— Зачем же ты, любовь моя,
К себе меня призвала?
Что смертна ты, бессмертен я,
Ужели ты не знала?

— Не нахожу я слов, мой друг,
Что были бы ответом.
Твоих речей мне внятен звук,
Но темен смысл при этом.

Но если впрямь моей любви
Ты жаждешь, витязь светлый,
Спустись на землю и живи
Меж смертными, как смертный.

— Сложить бессмертие у ног
Любимой — мне отрада!
Бессмертие — любви залог,
И мне его не надо.

Хочу принять другой закон
И во грехе родиться.
От хладной вечности пелен
Хочу освободиться!

И удалился, и исчез,
Своей любви покорный,
Сорвался с высоты небес,
Растаял в бездне черной...

*

В ту пору юный Кэтэлин,
Паж, выросший в приволье,
Лукавый разливатель вин
При гостевом застолье,

Что за царицей шлейф носил,
Ступая шаг за шагом,
И весел был, и дерзок был,
Подобно всем бродягам,

Чьи щеки яблочка алей —
Вокруг царевны ходит,
К ней крадется, как лиходей,
И глаз с нее не сводит.

«Ну и красавица! Огонь!
Дивится всяк, кто видит.
Эй, Кэтэлин, не проворонь!
А может, что и выйдет!»

И он настиг ее, один
Оставшись с ней в покое.
— Чего ты хочешь, Кэтэлин?
Оставь меня в покое.

— Хочу? Чтоб грустью не томясь
В окне пустого зала,
Ты б засмеялась и хоть раз
Меня поцеловала.

— Не слишком речь твоя скромна.
Ступай своей дорогой.
Ведь я Лучафэру верна,
И ты меня не трогай.

— Когда поймешь, о чем здесь речь,
Не будешь равнодушной.
И ты мне только не перечь,
Будь смирной и послушной.

Представь: следит ловец в лесу
За птицею несмелой.
Вот так я руку занесу,
И ты вот так же сделай.

Лицо приближу к твоему.
Теперь гляди мне в очи.
Теперь тебя приподниму
Нежней, чем птицу ловчий.

Когда склонюсь — лицо приблизь,
Прекрасная подруга.
И так вот будем мы всю жизнь
Глядеть в глаза друг другу.

Теперь дыханье затаим
В пленительной тревоге,
Чтоб поцелуи — мой с твоим —
Слились на полдороге.

Лукавцу юному она
Рассеянно внимает,
То отстранится, смущена,
То робко уступает.

И тихо молвит: — С детских пор
Мы рядом возрастали.
Ты легок, на язык востер.
И я не такова ли?..

А он, Лучафэр, в этот мир
Вошел из бездн забвенья.
Он океану дарит ширь,
Безбрежность и волненье.

И тайно я склоняю взор,
Слезами муки полный,
Когда к нему, в немой простор,
Спеша, стремятся волны.

Чтоб утолить мою печаль,
Он светит ярким светом,
Но от меня уходит вдаль,
К неведомым планетам.

И так печально-холодны
Лучи его сиянья!
И мы навек обречены
Томиться без свиданья...

И потому подобны дни
Пустыне неподвижной,
А ночи красоты полны
И тайны непостижной.

— Забудь, дитя, твой дивный бред!
Оставим замок тесный,
Бежим, чтоб затерялся след,
Чтоб стали мы безвестны.

И будем славно жить вдвоем,
Весельем дни заполня,
Ни о Лучафэре твоем,
Ни о родных не помня...

*

Летит Лучафэр. Пара крыл
Растет огромной тенью.
Тысячелетний путь покрыл
За тысячу мгновений.

Под ним созвездия горят,
Над ним — шатер небесный.
А он, как молнии разряд,
Меж той и этой бездной.

И с тех высот, где он парит,
Он видит звезд рожденье,
И первозданный хаос зрит,
Как в первый день творенья.

Вокруг него мерцает высь,
Бескрайняя, как море.
Любовью движимая мысль,
Он тает в том просторе.

Ведь там, куда стремится он,—
Ни мысли, ни границы,
Там тщетно хочет ток времен
Из ничего родиться.

Лишь он летит сквозь темноту,
Не ведая покоя,
Летит сквозь бездну, немоту,
Забвение слепое.

— Отец, разрушь мой вечный плен
Во имя жизни тленной,
И будешь ты благословен
В пределах всей вселенной.

О, дай мне смертного черты,
Судьбу иную, боже!
Ведь жизнь творить умеешь ты
И смерть даруешь тоже.

Венец бессмертья отними
И огненные очи
И дай один лишь час любви
Взамен за это, отче.

И ввергни в хаос древних лон
Меня своей рукою.
Я в час покоя сотворен,
И жажду я покоя.

— Гиперион, дитя небес,
Зачатый в звездных лонах,
Не требуй таинств и чудес,
Во мне запечатленных.

Ты человеком хочешь стать,
Со смертными сравняться.
Но суждено им умирать
И суждено рождаться.

Творить никчемный идеал
Им суждено впустую.
Но волны, умерев у скал,
Родят волну другую.

Их ждет счастливая звезда
Или удары рока.
Нам плыть в ничто и в никуда
Без времени и срока.

Жизнь, что явилась из вчера,
Назавтра умирает.
Угаснет солнце, но с утра
Другое воссияет.

Пусть перед смертью все равно
И все — добыча тленья.
Но все, что ей обречено,
Достойно и рожденья.

Лишь ты, пылая и скорбя,
Живешь, конца не чая.
Вели — и мудростью тебя
Бессмертной увенчаю.

Проси — и голос обретешь,
Поющий глас стихии,
За песней горы поведешь
И острова морские.

А если хочешь мощь явить
И власть тебе по нраву,
Мир расколю, чтобы слепить
Ты мог себе державу.

Тебе вручу я паруса,
Оружье войск несметных.
Пройдешь всю землю. Но нельзя
Стать смертным из бессмертных.

Зачем же ты не хочешь жить?
Вернись к своей планете,
Взгляни на землю и увидь,
Что ждет тебя на свете.

*

И вновь Лучафэр в небеса
Взошел, как изначально.
И свет в зените разлился
Угрюмо и печально.

Смеркается, и небосвод
Темнеет постепенно,
Встает из отдаленных вод
Дрожащая Селена.

Она восходит, свет излив
На кроны чащ зеленых,
Туда, где тень высоких лип
Укрыла двух влюбленных.

— Дай голову к тебе прижать
В покое безмятежном
И очи медленно смежать
Под этим взглядом нежным.

Лучом холодным просветли
Мой разум беспокойный,
Покоем вечным утоли
Мятежность страсти знойной.

Уйми бушующую боль
Любовного страданья.
Ты — первая моя любовь,
Последнее желанье.

Глядит Лучафэр на их лиц
Немое выраженье,
Он видит — руки их сплелись
Как бы в изнеможенье.

И пали лепестки с ветвей,
Как капли дождевые,
На головы земных детей,
На кудри их льняные.

И, нежностью опьянена,
Она возводит очи,
И вновь к Лучафэру она
Взывает среди ночи:

— Лучафэр, по лучу скользни
Ко мне с высот бесстрастья,
Проникни в лес и осени
Мою любовь и счастье.

А он трепещет в вышине
Над холмами, над пущей,
Указывая путь волне,
В немую даль бегущей.

Но уж не падает в моря
Из выси беспредельной.
— Не все ль равно — другой иль я
Тебе, сосуд скудельный?

Живите же в своем кругу
Со счастьем человечьим.
А я иным быть не могу —
Я холоден и вечен.

1883

УШЛА ЛЮБОВЬ

Ушла навек любовь моя
С мечтами золотыми,
И навсегда прощаюсь я
С напевами моими.

Забвенье прячет их в сундук
Своей рукой бесстрастной.
Не дрогнет ни единый звук
В душе моей безгласной.

А сколько ручейков лесных
И сколько звезд небесных,
Любовь и горечь дней моих
Я схоронил в тех песнях!

Из глубины глубин ко мне
Взмывали эти звуки,
И я с собой наедине
Рыдал от сладкой муки.

Из сердца рвался мой напев
Преодоленьем боли.
Скорблю, что, сердцем охладев,
Я не страдаю боле.

Возникни вновь хотя бы раз,
Яви мне милосердье,—
Верни сиянье темных глаз,
Их свет сильнее смерти.

Пусть дрогнут у тебя уста
Улыбкою усталой,
Пусть воплотится в жизнь мечта,
Чтоб жизнь мечтою стала,

Чтоб ночь была, чтоб мир притих,
Чтоб вышла ты из сада,
Как из таинственных ночных
Страниц Шехеразады.

Да, это был волшебный сон,
Спокойный, тихий, нежный,
И был за это обречен
Исчезнуть неизбежно.

Ты слишком ангел, думал я,
Не женщина земная,
И мой восторг — любовь твоя
Не надолго, я знаю...

Мы веровали, может быть,
Чрезмерно в чары эти,
Дерзнув о боге позабыть
И обо всем на свете.

Иль в мире счастью места нет?
Лишь миг в земной юдоли
Сиял его священный свет
Преодоленьем боли.

1883

КОГДА ВОСПОМИНАНЬЯ...

Когда воспоминанья вновь
Меня влекут в былое,
К тебе, к тебе, моя любовь,
Иду порой ночною.

И та же самая звезда
Над тем же самым домом
Манит меня, как и тогда,
Своим лучом знакомым.

Восходит кроткая луна
Над темными дубами,
Признаниям любви она
Внимала вместе с нами.

Обнявшись, мы клялись не раз
В любви взаимной, вечной,
Сирень, вся в белом, подле нас
Роняла цвет свой млечный.

Угаснет ли моя любовь,
Уйдя в воспоминанья,
Когда ручьи кругом звенят,
Как светлых струн рыданья,

Когда луна среди дубов
Скользит в тиши укромной,
Когда глаза твои блестят
Так сладостно и томно?

1883

У ОДИНОКИХ ТОПОЛЕЙ...

У одиноких тополей
  Бродил я дотемна;
Меня в округе знали всей,
  Не знала ты одна.

Глядел не раз я на окно,
  Где жизнь твоя текла,
Меня все поняли давно,
  А ты не поняла.

Как жаждал я, чтоб ты нашла
  Хоть слово для меня,
Чтоб ты хоть день мне отдала —
  И мне хватило б дня!

Хоть час один побыть с тобой,
   Обнять тебя хоть раз,
Услышать милый голос твой
   И умереть тотчас!

О, если б взгляд твоих очей
   Мне засиял тогда,—
Как вспыхнула б во тьме ночей
   Чудесная звезда!

Бессмертен был бы твой удел,
   Ты век была б живой,
Нетленный мрамор бы одел
   Прекрасный облик твой.

И стала б ты одной из тех,
   Каких уж боле нет:
Богиней, белою как снег,
   Из тьмы минувших лет.

Ведь я любил как в смутном сне
   Языческой душой,
Что от отцов досталась мне
   Из древности глухой.

Сегодня, после долгих лет,
   Я больше не тужу,
И ты печально смотришь вслед,
   Когда я прохожу.

Теперь твой стан, черты лица,
   Как и у всех других...
И тусклым взором мертвеца
   Взираю я на них.

Ты не сумела уловить
   Тот дивный луч во мгле,
Перед любовью засветить
   Лампаду на земле.

1883

И ЕСЛИ ТОПОЛЬ В ПОЗДНИЙ ЧАС...

И если тополь в поздний час
По стеклам хлещет с силой,
То лишь затем, чтоб в сотый раз
Напомнить мне о милой.

И если звезды в вышине
Мерцают над рекою,
То лишь затем, чтоб в сердце мне
Хоть каплю влить покоя.

И для того луна всплыла,
И прочь гроза несется,
Чтоб память о тебе жила,
Покуда сердце бьется.

1883

ГЛОССА

День примчится, день умчится.
Все старо и вечно ново.
Зло, добро узнать случится,
Размышляй, ища благого.
Не надейся и не бойся.
Ты не верь волне текучей!
Пусть зовут,— не беспокойся,
Сам себя ничем не мучай.

Много видим мы событий,
Много звуков ловим ухом,—
Только помним ли, скажите,
Все уловленное слухом?
О себе предайся думе,
Предпочти уединиться,—
И пускай в житейском шуме
День примчится, день умчится.

На стальных весах мышленья,
Чуждых всякого пристрастья,
Полно взвешивать мгновенья,
Выверять личину счастья,

Порожденного мгновеньем,—
Вмиг пропасть оно готово!
Удовольствуйся сужденьем:
Все старо и вечно ново.

Знай, что ты живешь в театре.
Пусть актер гримасы строит,
Роль одну играет за три,—
Но лица и грим не скроет!
Отойди... Ведь он, без чувства,
Тронуть сердце криком тщится.
И на поприще искусства
Зло, добро узнать случится.

Что прошло и что настало —
Одного листка страницы.
Узнает в конце начало
Дней постигший вереницы.
Все, что было, будет сущим.
Ты о бренности земного
В настоящем и грядущем
Размышляй, ища благого.

Знаешь сам, всего на свете
Распорядок изначален.
Длинный ряд тысячелетий
Мир и весел и печален.
Те ж актеры в новом гриме...
Слушать их опять настройся,
Хоть давно обманут ими,
Не надейся и не бойся.

Подлецы, грязнее тины,
Строят мост к победам шумным.
Обойдут тебя кретины,
Будь ты хоть из умных умным.
Но не бойся, ты не робок:
Кончат дракой неминучей!
С ними ты не стой бок о бок...
Ты не верь волне текучей!

О, не верь, пловец, сирене!
Мир тебя в тенета тянет,
Чтоб других сменить на сцене,
Тащит в бездну, где и дна нет.

Осмотрительно, сторожко
Прокрадись и тихо скройся...
У тебя — своя дорожка,
Пусть зовут,— не беспокойся!

Не польстись на их приветы,
Помолчи, когда клевещут.
Знаешь сам, твои советы
Достоверностью не блещут.
Пусть болтают и бранятся,—
Удались на всякий случай...
Да не надобно влюбляться:
Сам себя ничем не мучай.

Сам себя ничем не мучай,
Пусть зовут,— не беспокойся.
Ты не верь волне текучей!
Не надейся и не бойся,
Размышляй, ища благого.
Зло, добро узнать случится...
Все старо и вечно ново...
День примчится, день умчится...

1883

ПРОШЛИ ГОДА...

Прошли года, как тучи, стороною
И растворились в небе без остатка...
Былые сказки, ереси, загадки
Уж не имеют власти надо мною...

Уж стало горьким все, что было сладко,
Вечерний сумрак овладел душою.
С усталою закатною порою
К чему былой восход играет в прятки...

К чему рука перебирает струны
Давно забытой, отзвучавшей лиры —
Не зазвенят в душе былые звуки!

Я никогда не буду больше юным!
Проходит счастье — остаются муки...
Проходит жизнь, как облака в эфире.

1883

ВЕНЕЦИЯ

Угасла жизнь Венеции счастливой,
Замолкли песни, отблистали балы,
Лишь от луны на мраморе портала,
Как в старину, сверкают переливы.

И бог морской грустит во тьме канала:
Он юн — и верит, что былое живо,
Звеня волнами, просит он тоскливо,
Чтобы невеста из гробницы встала.

Но спит она, над нею — тишь могилы,
Один Сан-Марко — страж ее бесстрастный,—
Как прежде, полночь отбивает с силой,

Провозглашая медленно и властно
Зловещим, низким голосом Сивиллы:
— Не воскресишь умерших, все — напрасно!

1883

НЕ СОН КО МНЕ ПРИХОДИТ...

Не сон ко мне приходит полнощною порою —
То смерть стучит в окошко, зовет меня с собою,
По хоженым дорогам увлечь меня стремится,
Чтоб между ней и жизнью я позабыл границы...
Но на весах рассудка не вздрагивают чаши,
И смерть меня не манит, и жизнь ее не краше.

1883

ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ ТЫ ОТКРЫВАЕШЬ...

День завтрашний ты открываешь,
Покончив с днем вчерашним счет,
Но все ж всегда перед тобою
Твой день сегодняшний течет.

Один уходит, и приходит
Другой на смену в светлой мгле,
Так одновременно заходит
И всходит солнце на земле.

И катят в быстрой смене волны
По руслу одному свой бег,
Сменяясь, опадают листья,—
Так жизнь течет из века в век.

Над тьмой ночной возносит утро
Корону солнечных лучей,
А смерть — лишь плод воображенья
И только жизни казначей.

Так в смене быстрой, неизменной
Проносится за мигом миг,—
Движенье вечное вселенной
Я в этой истине постиг.

Пусть год и этот пронесется
И канет в прошлое в тиши,—
Ведь постоянно ты владеешь
Сокровищем своей души.

День завтрашний ты открываешь,
Покончив с днем вчерашним счет,
Но все ж всегда перед тобою
Твой день сегодняшний течет.

Пускай проносятся пред нами
Картины жизни чередой,—
Их бег незыблем под лучами
Бессмертной мысли, как покой!

1883

ЛУННЫЙ СЕРП НАД ТЕМНОЙ КУЩЕЙ...

Лунный серп над темной кущей,
Листьев шорохи глухи.
И сквозь заросли ольхи
Слышен дальний рог зовущий.

Дальше, дальше, глуше, глуше,
Замирая вдалеке,
Неутешную в тоске
Соблазняет смертью душу.

Что умолк ты, звук надрывный?
Я готов с тобою в путь...
Вновь меня когда-нибудь
Позовешь ли, рог призывный?

1883

ДОБРОЙ НОЧИ!

Птицы смолкли. Тихо стало,
Сон крылами веет в очи.
Спят цветы, склонясь устало,—
  Доброй ночи!

Лишь в траве ручья журчанье —
Словно сладостная дойна.
Лес уснул. Вокруг молчанье,—
  Спи спокойно!

И, качаясь, лебедь дремлет
На воде, в тени осоки...
Тише! Пусть его объемлет
  Сон глубокий!

И луна взошла, и тени
Все чернее и короче.
Все — мечта, все — сновиденье...
  Доброй ночи!

1883

ГОДА ПРОХОДЯТ, Я СТАРЕЮ...

Года проходят, я старею...
Но день за днем, за шагом шаг
Все больше очарован ею,—
Не знаю чем, не знаю как.

Один лишь взгляд ее мгновенный
Испепелил меня совсем.
Не женщиной обыкновенной —
Вошла другим, не знаю чем.

В ней целой жизни воплощенье:
Сиянье слов, молчанья мрак.
И голос сладостный, как пенье,
Зовет в тиши — не знаю как.

Порабощен тоской бескрайной,
Иду дорогой, глух и нем,
Постичь очарованья тайну
Не знаю как, не знаю чем.

1883

ВСЕЙ СВОЕЙ ДУШОЙ ЖИВОЮ...

Всей своей душой живою
Вверься сердцу моему!
Не страшись,— про нас с тобою
Не проведать никому.

Нам уйти отрадно будет
В стародавние леса,
Где молчанье ночи будят
Древних буков голоса.

Звезды в густолистой сети
Ярко блещут в поздний час.
Кроме звезд, никто на свете
В эту ночь не слышит нас.

Как душисты косы эти...
О, доверься мне, решись!
В эту ночь никто на свете
Нас не видит, не страшись!

Над лесной притихшей глушью
Поднимается луна.
Слышишь дудочку пастушью?
Как светло грустит она.

Зачарованный, грустящий,
Ей в ответ вздыхает лес...
Я томлюсь в волшебной чаще
Тайной всех твоих чудес.

Милый ангел, недотрога!
Отстраняя и маня,
Смотришь нежно, смотришь строго...
Как ты мучаешь меня!

В чаще озеро луною
До глубин озарено
И, от чар ее хмельное,
Одиночеством полно.

В камышах его прибрежных
Волны зыблются чуть-чуть,
Будто мир тревог мятежных
Не дает ему уснуть.

Но на миг зеркальной гладью
Волны лягут, не дыша,—
Ты смеешься, в воду глядя,
Ты на диво хороша!

Да и ночь подобна чуду,—
Мы одни здесь, но везде
Блещут звезды, звезды всюду:
Звезды в небе и в воде.

Ветви липы, ветви ивы...
Как чудесно в их тени!
До чего мы здесь счастливы,
До чего мы здесь одни!

Пусть луна из тучки выйдет,
И блеснет над миром вновь,
И в моих объятьях видит
Светлокудрую любовь!

1883

УХОДИШЬ ТЫ...

Уходишь ты,— и нет спасенья:
Года грядущие темны...
Мои глаза в твои движенья,
В твою улыбку влюблены.

О жар любви,— горит зачем он
Таким мучительным огнем?
Твоя душа — коварный демон
С прекрасным, мраморным челом.

Как ты бледна! Сверкают очи,
Меня навек околдовав.
Твой влажный взор чернее ночи,
Он и капризен и лукав.

Ловлю движенья, от которых
Исходит золото лучей...
Твоих ресниц неясный шорох
Над жизнью властвует моей.

Уходишь ты,— не оттого ли
Вдруг порвалась живая нить?
И я себя жестокой боли
Не стану в жертву приносить.

И будет шаг бесповоротным...
Где губ томительная дрожь?
Ужель дыханьем мимолетным
С ума, как прежде, не сведешь?

Я мог предать тебя злословью,
Я не владел уже собой,—
Так порождается любовью
Слепая ненависть порой.

Но все ушло с твоим уходом.
Не обратится время вспять...
А день за днем и год за годом
Друг друга будут повторять.

И осень поздняя сгустила
Туман над царством пустоты.
Как листья мертвые, уныло
Шуршат увядшие мечты.

Вся жизнь — безумье, бред и хаос.
Не получая, отдаем...
В бездонной вечности, казалось,
Мгновенье были мы вдвоем.

Волшебный миг — он скрылся где-то...
Я невозможного хочу,
Но возврати его,— за это
Я вечной скорбью заплачу.

1883

ИЗ ВОЛН ВРЕМЕН...

Из волн времен приходишь ко мне, любимый друг.
Кудрей сиянье льется, белеет мрамор рук,
А на лицо, что, словно чистейший воск, бело,
Призрачными тенями страдание легло.
Нежна твоя улыбка, твой взор глубок и прост.
Звезда ты между женщин и женщина меж звезд.
Твоей руки коснуться хотел бы — и дрожу,
Сквозь слезы в очи счастья растерянно гляжу.

Как мне тебя у мрака, у хаоса отнять?
Любимый, нежный ангел, как мне тебя обнять?
Лицом, от слез соленым, прильну я к твоему,
Тебя целуя жарко, в объятьях я сожму,
Твоим рукам холодным свое тепло отдам,
Согрев, прижму их нежно и к сердцу и к губам.

Но ты, бесплотный образ, увы, чужда земле,
Ты скрылась легкой тенью в холодной, черной мгле.
И тщетно простираю тебе я руки вслед,
Зову тебя — и слышу лишь тишину в ответ,
И остаюсь один я, тоскою удручен,
Тебя не в силах вырвать из темных волн времен.

1883

ЧТО ТЫ, ЛЕС, КАЧАЕШЬСЯ...

— Что ты, лес, качаешься,
Ветви свесив до земли?
Ветер стих, дожди прошли...
— Оттого качаюсь я,
Что проходит жизнь моя.
Дни за днями все короче
И длиннее стали ночи.
Свищет ветер в сучьях голых,
Гонит прочь пичуг веселых,

Дует, свищет, гонит лето.
Знать, зима уж близко где-то...
Как же ветви мне не гнуть?
Птицы к югу держат путь,
Ласточки за стаей стая
Прочь уносят, улетая,
Счастья моего крупицы...
Мчатся друг за другом птицы,
В дальней шири голубой,
Взяв мечты мои с собой,
Тают, как мгновения...
И теперь осенняя
Пустота осталась мне,
Чтоб я мог наедине
Коротать весь день-деньской
С собеседницей-тоской...

1883

ТОСКУЮ ЛИШЬ О ТОМ...

Тоскую лишь о том,
Чтоб в тихой могиле
На берегу морском
Меня схоронили.
И снился бы мне сон,
И лес недалекий
С лазурью глубокой
В воде был отражен.
Не надо мне свечей,
Венков, славословья,—
Из молодых ветвей
Сплели б изголовье.

Пусть слез надо мной
Никто не роняет,—
Осеннею листвой
Лишь ночь прорыдает.
Пока журчит волна
Пастушьей свирелью,
Над темною елью
Скользила б луна.
И пусть издалека
Сквозь старые липы

Доносятся всхлипы
Ночного ветерка.

Забуду навсегда
Земные скитанья,
И наметут года
Сугроб воспоминаний.
Звезда лишь в вышине —
Друг верный покоя —
Сквозь темную хвою
Пусть улыбнется мне.
От боли жестокой
Плачет ветер морской,
А я сольюсь с землей,
Совсем одинокий.

1883

МОИМ КРИТИКАМ

Много есть цветов, но редкий
Скромный плод свой в мир приносит...
Сколько их еще в зачатье
Смерть безжалостная скосит!

Рифмоплетствовать нетрудно,
Коль ни мысли нет, ни чувства,
Нанизав слова пустые
Лишь по правилам искусства.

Но когда пылает сердце
И тоскою и страстями
И наполнен ум мятежный
Их немыми голосами,—

Как цветы в преддверье жизни,
Все стучится в дверь мышленья,
Доступ в мир широкий ищет,
Просит слов для воплощенья.

Для твоей незримой жизни,
Для страстей с тоскою рядом
Где найти бесстрастных судей
С ледяным спокойным взглядом?

Ах! Тогда как будто небо
На тебя упасть готово.
Чтобы выразить всю правду,
Где найти такое слово?

Критик, что же дать ты можешь,
Ты — бесплодный пустоцвет?
Рифмоплетствовать нетрудно,
Коль ни чувств, ни мысли нет.

1883

ДИАНА

Сквозь лепет струй, сквозь птичий щебет,
Чему внимаешь в час ночной?
Чей лик неуловимый лепит
Игра потока пред тобой?
Луна ль в него свой луч роняет,
Иль, в темный погружаясь вал,
То свет иной, возникнув, тает
Среди дробящихся зеркал?

Чей тихий голос слуху мнится,
Сквозь шелест хвой, сквозь трепет трав?
Быть может, это ветер мчится
И лист дрожит, к листу припав?
Весна овладевает лесом,
И каждый обновленный куст
Зеленым вспыхивает блеском
И шепчется, тысячеуст.

Но не весною ты встревожен
И не весною пробужден,
Лежишь на изумрудном ложе,
Как молодой Эндимион!
И не весну ты ждешь... другая,
Чей светел взор и дивен стан,
Пройдет сквозь тьму, полунагая...
Неистощим ее колчан.

Лес замер, как завороженный,
Застыл, дыханье затаив,
Следя за светом, отраженным
В струях ручья, под сенью ив.

Стопами легкими своими
Уснувшей не примяв травы,
Грядет охотница-богиня
В рукоплесканиях листвы.

1884

ИЗ ТЬМЫ ЗАБВЕНИЯ...

Из тьмы забвения, куда
Стекают, как ключи,
И боль, и радость, и беда,
И сумерек лучи,

Оттуда, кто уже угас
И не вернется вспять —
Хотел бы я, чтоб ты хоть раз
Пришла ко мне опять.

И если глаз твоих огни
Уже не вспыхнут вновь,
Спокойно на меня взгляни,
Потухшая любовь.

И если даже нежных слов
Ты не произнесешь,
Пойму я замогильный зов —
То ты меня зовешь.

1884

ВЕЧЕРОМ НА ХОЛМЕ

Слышен рожок, и под звездным мерцаньем
Стадо на холм потянулось с мычаньем.
Льется в овраге вода ключевая,
Ты под акацией ждешь, дорогая!

Светлая всходит луна над тобою —
Смотришь сквозь ветви с узорной листвою;
Влажные звезды роятся, мерцая,
Сердце тревожной тоской наполняя.



Жан Стериаде (1880—1957)
«Белильщицы»

Тучи бегут, и луна уже выше.
Ввысь поднимают дома свои крыши.
Скрипнул журавль на ветру у колодца.
Ясно пастушья свирель раздается.

Скоро косцы возвратятся с покоса.
Сторож бьет в доску, чуть звякнули косы.
Звон, с колокольни слетев, проплывает.
Пламя в груди моей жарко пылает.

Скоро умолкнет село, засыпая.
Скоро увижу тебя, дорогая!
Мы под акацией сядем незримо,
Я расскажу тебе, как ты любима.

Склонимся в тень, голова с головою,
И, улыбаясь, уснем мы с тобою.
Кто не отдал бы всю жизнь за такую
Ночь светозарную, ночь золотую!

1885

МЕНЯ НЕ ПОНИМАЕШЬ ТЫ

Готов оставить ныне все прежние мечты,
Лишь разгадать бы тайну победной красоты.
Загадочное чудо, стремясь тебя понять,
Я безмятежность мысли решился разменять.
На мелочи и сказки созвучья слов дробя,
Их суетною песней хотел пленить тебя,
Из образов оковы сковать своей мечте,
Не дать прекрасной тени исчезнуть в темноте.
. . . .
И вот, когда мой разум в бессилии паденья
Из мук и боли сделал для милой украшенья,
Когда, как мрамор светлый, ты предо мной сияешь,
Когда лучистым взором глаза мне ослепляешь,
И в этом блеске ярком та мыслей глубина,
Что в их ночи сокрыта, мне больше не видна,
Когда к тебе сегодня моя любовь чиста,
Как ты сама, как прелесть твоя и красота,
Как жажда быть друг с другом, которой нет конца,
У света и у тени, у камня и резца,

Когда такой любовью сегодня сердце бьется,
Что ей нигде подобной под сердцем не найдется,
Когда люблю в тебе я так нежно и светло
Движенье все, улыбку, добро и даже зло,
Когда сегодня вижу в тебе свои мечты,
Меня, моя загадка, не понимаешь ты.

1886

ЗВЕЗДА

Звезды новорожденной свет,
Стремясь к земле, проводит
В пространстве сотни тысяч лет,
Пока до нас доходит.

Быть может, он уже угас
В просторах мирозданья
В тот самый миг, когда до нас
Дошло его сиянье.

Звезда потухла, умерла,
Но свет струится ясный:
Пока не видели — была,
А видим — уж погасла.

Была любовь, ее уж нет,
Затмилась мраком ночи,
Но все любви угасшей свет
Мне ослепляет очи.

1886

ЧТО Ж ТЫ НЕЙДЕШЬ?..

Ты видишь,— ласточки летят,
Под изморозью — виноград,
Орешин сиротлива дрожь...
Что ж ты нейдешь, что ж ты нейдешь?

О, если б ты пришла, любя!
Глядеть бы жадно на тебя,
Усталой головой прильнуть
К тебе на грудь, к тебе на грудь!

По рощам, по долинам роз —
Ты помнишь? — как тебя я нес,
Любуясь блеском милых глаз,
О, столько раз, о, столько раз!

У многих женщин, говорят,
Ничуть не меньше блещет взгляд,
Но пусть прекрасны их черты,—
Они — не ты, они — не ты!

Из ночи в ночь, из года в год
Тобой душа моя живет,
Ты мной любима навсегда,
Моя звезда, моя звезда!..

Печален осени закат,
Шуршит на тропах листопад,
Цветы исчезли, сжата рожь...
Что ж ты нейдешь, что ж ты нейдешь?

1887

КАМАДЕВА

Исцелить хотел я душу
Сладостной любви отравой.
И во сне призвал я Каму:
Кама — бог любви лукавый.

Прилетел прелестный мальчик
Вмиг на крыльях попугая,
И улыбка засветилась,
На устах его блуждая.

Он крылат, в его колчане
Вместо стрел — цветы сокрыты
С берегов священных Ганга:
Эти стрелы ядовиты.

Вот цветок мне в грудь вонзился,
Пущен мальчиком крылатым.
По ночам с тех пор рыдаю,
Сон не в сон на ложе смятом.

Наказал меня жестоко
Камадева своенравный,
Он — сын Неба голубого
И Иллюзии тщеславной.

1887

ДЖЕОРДЖЕ КОШБУК

ATQUE NOS[1]

В зиму длительную ночью посойдутся кумы-сваты,
На скамьи у печки сядут в полумраке теплой хаты
И рассказывают сказки. Тороплюсь и я скорей
Тоже слушать про героев, королей, богатырей.
Дружно верим мы любому фантастичному событью.
Забываешься, уходишь вслед за сказочною нитью.
Вот рассказчик по старинке постепенно входит в роль.
«Жил да был,— он начинает,— жил-был некогда король...»
Как люблю я эти сказки с их медлительным подходом!
В них народ родной описан, и притом самим народом.
За простым повествованьем я слежу и часто сам
Отдаюсь непринужденно завлекательным мечтам.
Я младенчески блуждаю по стране воображенья,
Вековечных идеалов нахожу осуществленье.
Оживает каждый образ, что сызмальства мне знаком,
Тех, чей лоб мы увенчали полубожеским венком.
Что для мысленного слуха, что для умственного взора
Десять создало столетий, вижу все: в горах озера,
Степи с желтою травою, звезды в зимних небесах,
Сосен стоны, плач долины, луг в сверкающих цветах.
Сквозь туман решетку вижу, княжий терем различаю —
И бреду себе, блуждаю по неведомому краю,
По пределам аллегорий. Пробираюсь чащей роз.
Я встречаю, примечаю все, что в мифах родилось.
Вижу я Аэлетона и чертог его стеклянный,
Место, где Аргир под дубом спал, как будто бездыханный,

[1] И мы *(лат.)*.

В час, когда пришла Елена с голубями. В стороне
Козлоногие толпятся, подавая знаки мне.
Трех чертей увижу злобных и с отважными их сечу,
На высоком плоскогорье крепость Черную примечу...
Сын Медеи!.. Эта сказка аллегорией своей
Говорит о правде жизни, и чудесно скрыто в ней
Под покровом идеала все, что худо в нашем мире.
О, когда бы я ни слушал эту сказку об Аргире,
Каждый раз я убеждаюсь, что народ, который рад
Разодеть скелет рассудка в столь блистательный наряд,
Совершить способен много. И орла поднять он в силе.
Человек находит счастье не в одной сырой могиле!

Вижу: в гору золотую Пипэруш-храбрец идет,
Вот со змием изумленным поединок он ведет.
Из груди панцироносной у дракона пламя прыщет,
Богатырь же трех прелестных королевских дочек ищет.
Уповая под землею отыскать их невзначай,
Гонит змиев, и проходит белый свет из края в край.
Сын старухин вырастает не как прочие, а втрое.
В небо палицу кидает, словно мяч, рука героя.
Совершив, с подмогой счастья, достославные дела,
Улетает он на крыльях небывалого орла.
Вот и браком сочетался он с меньшою королевной.
Пипэруш, о витязь храбрый, образец отваги гневной!
Сердце льва, душа героя, вечно сильная рука,—
Вера в близкую победу у тебя была крепка.
Ты алмаз преданий наших, ты венчанный триумфатор!

Вот и Красный Император и Зеленый Император.
Вижу прутья, что Зеленый вставил в девичье окно,
Чтоб единственную дочку уберечь могло оно.
А она — краса красавиц! Над челом — луны сиянье,
Солнце ей лицо ласкает, а в лице — очарованье.
На плечах сверкают звезды серебристой красотой.

Там блюдет святые рощи Понедельник наш святой.
Там живой воды истоки. Среду вижу я святую:
Сказ ведя о семизвездье, сеет вьюгу ледяную,
На весь мир туманы стелет, снег наносит до поры.
Вот и Пятница святая: у стеклянной той горы
Для волшбы цветы сбирает, соки трав и зерна мака,
Останавливает солнце и из книги Зодиака

Тихо вслух ему читает. Вот дурной отводит глаз
Вторник-свят, пугает зиму и весной пленяет нас.
Вторник-вечер нагоняет страх на девок слишком смелых.
Вижу я лукавых бабок, в чародействе наторелых.
Те судьбу тебе предскажут, эти хворь заговорят,
Сны неясные толкуют, видят лет грядущих ряд.—
Но молиться и поститься надо им в усердье рьяном.

Дальше вижу поле жизни, все заросшее бурьяном.
Вижу я поляну счастья, вижу, как идет по ней
Шагом медленным девица, всех разумней и нежней.
Целомудренно лилеи грудь невинную лелеют.
В золотых у девы косах розы пышные алеют.
Не любви ли это символ, красоты чудесный клад?
Восхитительнейший образ поэтических отрад!
Розы песни напевают. То Иляна-Косынзяна.
Улыбнется — холод минет, зацветет весной поляна.
Под стопами оживает цвет, увянувший вчера.
Солнце путь свой прерывает, хоть ему спешить пора,—
Трое суток после бродит, словно пьяное, шатаясь.
Запоет Иляна песню — и трепещут, содрогаясь,
Небо с звездными цветами, поле с звездами цветов.
На заре она родилась, месяц на небе был нов.
Спит на золотой кровати, умывается росою,
Одарили три бутона колдовской ее красою,
Чтоб по ней, по Косынзяне, целый мир с ума сходил.

Там же молодец-красавец грустно по лесу бродил:
Он влюблен, и все свершит он для Иляны-Косынзяны!
Он родителей покинул, он ушел в чужие страны.
Дни и ночи он блуждает, горько плача и стеня.
Оседлал, Иляны ради, солнцецветного коня.—
Конь у молодца волшебный, конь поистине чудесный,
Так высоко он летает, бороздя простор небесный,
Что и звезды не поспеют и отстанут наконец!
Ах, Иляна-Косынзяна! Ах, прекрасный молодец!
Красота и благородство, дар высокий, величавый
Вдохновенного народа! С добрым сердцем, доброй славой

Вы живые нам примеры безупречной красоты.
В вас навеки воплотились две народные черты:
Поэтическая сила и полет воображенья.
Вот откуда эти чары, этих образов рожденье.
Вам навеки в мире сказка золотой воздвигла трон.

Феи, дивные виденья, вкруг меня со всех сторон.
Вот Зорилэ и Мурджилэ — сон их клонит вековечный,
Вон три бабки-ворожейки там, где пруд белеет млечный.
Вижу в дереве лавровом спрятавшуюся красу,
Вижу я змеиный терем в очарованном лесу.
Как похитить королевну, между змей там разговоры.
Вижу край, где головами друг о друга бьются горы.
Вон я вижу Ченушоткэ,— он на выдумки не плох:
В деревенскую повозку запрягает пару блох!
Вижу я, как мать змиева мечет полымя из пасти,
Час ночной танцует с внуком,— вижу всяческие страсти.
Ну, а вот и знаменитый Стату-Палмэ-Барбэ-Кот.
Сургэ-Мургэ влез на печку и набил горохом рот.
Вот и старый Сфармэ-Пьятрэ, с ним болтает Стрымбэ-Лемне.

В высоте орлы-гиганты там явились, как во сне, мне.
Всем известно, что под сенью их величественных крыл
Станет молодец цветущий краше, нежели он был.
Вижу я Лягэнэ-Мунци, вижу я Ушор-ка-Вынтул,
Даже Наудэ-Нуведе и Нагреу-ка-Пэмынтул.
Вот колдуньи, вурдалаки, Матерь-Ночь, царица тьмы.
Вот мороз, одетый в шубу, на дороге в край Чумы.
Вот коварный Недруг мира, вот и Голод, злой и дряхлый.
Прохожу я через рощи, где цветет бессмертник чахлый,
В ту страну, где, если плюнешь, попадаешь в никуда...

Эти сказки лет минувших живы в сердце навсегда.
Эти образы, чаруя, предо мной проходят снова,
Воскрешая дивной силой время века золотого,
Воскрешая в сердце память о беспечном, ясном дне,
И тепло воспоминанья улыбаются во мне.
Я несусь в былое мыслью, то суровою, то нежной.
Вот и холм Капитолийский и Олимп с вершиной снежной.
Вижу я совет бессмертных, вон тритоны, Минотавр,
Вон Циклоп с единым глазом. На челе героев— лавр.
Боготворчество Эллады,— вновь его созданья живы!
Все, что создали аэдов вдохновенные порывы,
Вновь душой переживаю; в этих мифах для меня —
Наших сказочных героев близнецы или родня.
Эти образы святые мифологии античной
Крепко слиты с миром сказки, с малолетства нам привычной.
Все тесней они сливались,— те же темы там и тут!
И уже, отождествляясь, смысл и образ предстают.
Миф Эллады заблудился,— полулюди, полубоги

Перешли в пределы наши по открытой им дороге
Доказательством единства древних эллинов и нас.
Из своих великолепий сохранила посейчас
Стаи сказок и поверий неугасшая Эллада,—
Их хранит народ румынский, их и воскрешать не надо.
Не исчезнуть им, доколе жив на свете наш народ.
Сургэ-Мургэ Полифему кровным братом предстает,
Рад, что снова глаз обрел он, уязвленный Одиссеем.
Пипэруш, достойный витязь, схож с классическим Тезеем.
Тот боролся с Минотавром и героев побеждал,
Этот змиев и драконов в дерзкой схватке упреждал.
Древних греков государи, их могучесть и дородство,
С Императором Зеленым обнаруживают сходство.
В нашей сказке оживают все созданья древних дней:
Мы богинь, и нимф, и граций превратили в местных фей.
Марс, Меркурий, Зевс, Венера— ими прочно завладели
Наши Вторники и Среды и другие дни недели.
Со своим зловещим мифом жив доныне царь Эдип,
В наших сказках то и дело с ним мы встретиться могли б,
Сонмы ужас наводящих злобных гарпий и грифонов
Мы, румыны, превратили в наших змиев и драконов.
Славный Молодец-Красавец — это древний Аполлон,
А Иляна-Косынзяна — не Диана ль тех времен?
Он — Адонис, что Елену усыпил, любовь лелея,
А она — сама Елена, дочь владыки Тиндарея.
Предсказали наши судьбы Парок вещие слова,—
Нет, не умирали Парки, всё их троица жива.

Как люблю я наши сказки с их медлительным подходом!
В них народ родной описан, и притом самим народом.
За нехитрым описаньем я слежу и часто сам
Отдаюсь непринужденно завлекательным мечтам.
Я простым внимаю людям, их улыбками я тронут.
В той же люльке был лелеян, той же тканью был пеленут
Воин с побережья Тибра и у ног Олимпа грек.
Полон гордых дум, но чистых я и в наш печальный век:
На земле сегодня тесно для рассеившихся всходов,
Для детей, рожденных в лоне величайших из народов.
Я хочу воскликнуть громко, чтоб по свету разнеслось,
С гордо поднятой главою: «In Arcadia — et nos!» [1]

1886

---

[1] «И мы были в Аркадии!» *(лат.)*

СВАДЬБА ЗАМФИРЫ

Земли нельзя измерить всей,—
Но, как никто из королей,
Сэджятэ славен и богат!
А дочь его — бесценный клад,
И, как иконе, каждый рад
Молиться ей.

И никого не удивил
Царевичей влюбленных пыл,
Спешивших к ней со всех сторон.
Но лишь один был предпочтен
И выбран девушкой,— ведь он
Любимым был!

Он был любим, красив и смел;
Он к ней с востока прилетел;
То был царевич молодой,
И был он именно такой,
Что стал теперь ее судьбой —
Он, Виорел.

И весть, что лучше всех вестей,
Неслась за тридевять морей,
Через хребты высоких гор,—
Ей тесен был любой простор,
Она врывалась в каждый двор —
Стрелы быстрей.

И то, что знал вчера сосед,
Сегодня знает целый свет,
И эту новость разнесли
Уже во все края земли,
Ведь ей и здесь и там, вдали —
Преграды нет.

И короли, забыв года,
Скорее двинулись сюда,
Свой пурпур праздничный надев.
Шуршали платья королев,
Звенели серьги нараспев —
Как никогда!

И все, кто был на свадьбу зван,
Сюда, за море-океан,
Скорей неслись на этот зов
От самых дальних берегов,
Из девяноста городов,
Из многих стран.

В своих колясках короли
Девиц и юношей везли.
Коляску каждую, звеня,
Лихая мчала четверня,—
Четыре скачущих огня
В густой пыли.

Цари приехали на зов
Со всех сторон, из всех краев,
В своих сверкающих венцах
На белоснежных волосах,—
Как полагалось на пирах
Былых годов.

Приехал Груй, старик седой,
Он дочерей привез с собой,
И Цинтеш, тот, что всех мрачней,
Приехал с Лиею своей,
И Бардеш гнал сюда коней
Из тьмы лесной.

О, боже, сколько здесь добра!
Одежда девушек пестра,
А как роскошен и богат
Веселых юношей наряд,
Одежды их, как снег, блестят
От серебра.

Но топот слышится копыт,
Горячей пеной конь покрыт,—
Царевич скачет молодой:
За шпагу держится рукой
И подбоченился другой —
Как вихрь, летит.

Уж полдень близился, как вдруг
Колес раздался ровный стук:

Свекровь, и свекор, и жених
В колясках мчались расписных,
И девяносто верховых
Неслось вокруг.

Их гости встретили: таков
Обычай свадебных пиров.
А чтоб торжественней пройти,
Шли музыканты впереди,
И устилали все пути
Ковры цветов.

Царь Палтин их спешит принять,
Сулит им мир и благодать,
И был восторга бурный всплеск,
И звон трубы, и залпов треск,—
Но я молчу: весь этот блеск
Не описать.

Замфира, сказочно светла,
Тогда из терема сошла,
И вся она была одной
Вдруг воплотившейся мечтой,
И кудри падали волной
С ее чела.

Она — долины лучший цвет,
Сверкает ярко, как браслет,
Кушак серебряный на ней:
Она на свете всех стройней,
И ничего в природе всей
Прекрасней нет!

Она спешит к нему, и вот
Жених ей руку подает,
Она ж зарделась, точно мак,
Но тут взметнулся пестрый флаг,
И гости, замедляя шаг,
Пошли вперед.

Свершался свадебный обряд,
А уж плясали все подряд,
Посланцы, гости, и гонцы,
И девушки, и молодцы,

А на постолах бубенцы
Звенели в лад.

Три шага отступает вбок,
Приподнимаясь на носок;
То разойдутся быстро вдруг,
То снова все вступают в круг,
И раздается ровный стук
Проворных ног.

Был пир тогда на славу дан:
Звенел наполненный стакан,
И за столами до зари
Сидели в ряд богатыри,
И генералы, и цари
Заморских стран.

Катилась песня, широка,
Как полноводная река...
И солнце путь прервало свой,
Любуясь пляской удалой,
Впервые видя пир такой
За все века.

В одежде праздничной своей
Плясали дочери царей,
По ветру ленты разметав...
Их взор был весел и лукав,
И доносился запах трав
От их кудрей.

А тут царевичи как раз
Пустились вдруг в веселый пляс.
Недавно палицей своей
Они сражали адских змей...
А из-под ног богатырей
Лишь пыль неслась!

Тут с мужичком под свист и гам
Плясал вовсю царь Пенеш сам,
А мужичок-то с ноготок,
И бороденка с локоток...
И карлик прыгал скок да скок —
То здесь, то там.

Уж если старцев сдвинешь раз —
Не остановишь их проказ:
Волос сверкая серебром,
Плясал советник с королем,
И сорок дней царил кругом
Всеобщий пляс.

Но вот, беспечный весельчак,
Царь Мугур встал и подал знак.
В стакане пенилось вино,
И новобрачным, как давно
Среди румын заведено,
Сказал он так:

«Желаю жизни без забот
И лет не меньше, чем растет
Цветов и трав среди долин.
И будет вам дарован сын,
И вновь попляшем в день крестин
Мы — через год!»

1889

ЛИШЬ ОДНА

Она стройнее колоска,
Она, как веточка, гибка,
Струятся косы, как река,
Красой она богата.
Ее не вижу — я больной,
Ее завижу — сам не свой,
Я с ног валюсь, когда другой
К ней засылает свата.

Она уходит — притворюсь,
Что ухожу, а сам вернусь...
Болтаем с ней... А распрощусь —
Гляжу вослед подолгу.
Она бедна, но я бы свел
Ее к попу, да свет-то зол,
Заест, пожалуй,— с нищей, мол,
Связаться мало толку.

Я всеми руган, всеми клят.
Чего-чего не говорят

Про нас отцу сестра и брат,
А мать, припав к иконе,
Все молится, поклоны бьет,
А иногда так и ревет:
«Эх, дуралей, эх, обормот!
Не промахнись, Ионе».

Я непокорный сын? Ну что ж,
Мне жить с другою — острый нож,
А жить-то мне! Меня не трожь:
Работа мне в охотку.
Пусть будет бедность, буря, гром,
Пусть все захватит брат, но в дом,
Землей прельстясь, я со стыдом
Не приведу уродку!

Мне той землицы не пахать,
Меня живьем не закопать,
Мне лечь с постылой на кровать?
Тьфу, не того я сорта!
Земля, коровы и казна —
Кажись, какого мне рожна?
Ан нет, не нравится жена —
И все пошлю я к черту!

Ведь кто что любит. Не люблю —
Так будь люба хоть королю,
Ни с кем я вкусов не делю,
А что до аналоя —
Одну ее люблю, ей-ей,
Она моя, женюсь на ней.
Расстаться с нею? Да скорей
Дотла спалю село я.

1889

БЕЗУМНАЯ

Смотрите, вон бежит она
    В лохмотьях слободой,
В мороз босая! Почему
    Над ней наперебой
Смеетесь вы, спеша вослед
    Глазеющей гурьбой?

Чем заслужить она могла
    Глумленье?.. Брань, плевок,
Свист, улюлюканье... И так
    Горька ей пыль дорог.
Попросит хлеба — бьют ее
    И гонят за порог!

О ней вы знаете?..— тогда
    Вы — негодяи... Нет!
Узнав, вы стали бы добрей,
    Ей не плевали б вслед...
Вот повесть, милые друзья,
    Ее печальных лет.

Светало. Заливались псы,
    Трубил немолчно рог.
Крестьяне цепью в горы шли,
    Покинув мрачный лог,—
Помещик без толпы крестьян
    Охотиться не мог!

Бедняги! Целое село
    Повыгнал граф в тот день —
Свой безумный нрав потешать!..
    Все глуше бора тень.
Глазами рыщут в полутьме,—
    Куда бежал олень?

Загонщики среди стволов
    Меж тем сомкнули круг,
А граф на молодом коне
    Гарцует, черту друг!
Но вот копыта вскинул конь...
    Кого же смял он вдруг?

Ой, парень! Смертью в грудь ему
    Вдавилась медь подков...
Народ окаменел. А граф...—
    Жалеть ли мужиков?
Коня пришпорил, хохоча,
    Хлестнул — и был таков!

Загонщик в хате на скамье
    В мученьях молча гас.

А мать?.. Безудержно, навзрыд
Все плачет и сейчас.
Так убивалась и тогда,
Над раненым склонясь.

Несчастная! Ее ль теперь
Преследует ваш смех?
И ваша мать сошла б с ума,
Случись подобный грех.
Вам сладко было б, что она —
Посмешище для всех?

Где взять лекарство? — Из земли,
Из пламени достать!..
Но нищета!.. Болеет муж,
Сдружилась с ним кровать,
Такой стал тощий, что легко
Все кости сосчитать!

А сын... Прикрыла тряпкой грудь,—
Слезами полила...
Ни дров, ни мамалыги нет...
Надеждою жила
Три дня,— а на четвертый день
Двух мертвых погребла.

Вон оземь бьется головой,
Едва лишь вспомнит их...
А вам смешно? Вам не грешно
Глумиться в этот миг?
О, дайте же оплакать ей
Покойников своих!

Руками тянется — детей,
Как видно, приласкать,
Смеется, будто бы она
Счастливейшая мать!
Но вот — проклятья сыплет вновь,
Вот мечется опять...

Русандрой дочь ее звалась.
Бывало, всю-то ночь
Ласкает на пороге мать
Единственную дочь.

Все умерли, их в мире две,
И врозь им жить невмочь.

Раз в хату к ним вошел слуга
Из замка, стал в дверях:
«Рубашку хочет граф иметь,
Как носят в деревнях.
Идем! Ты славишься у нас
Узорами рубах!»

Пошли... Но графа грудь иным
Желаньем зажжена...
«Что запираешь дверь? Зачем?
Не трогай, сатана!» —
Миг — и разбилась головой
Об переплет окна.

И тело девушки внесли
В лачугу двое слуг.
Мать не рыдала,— кулаки
Безмолвно сжала вдруг,
И вырвался проклятий вопль,
И взор застыл от мук.

Безумен тот, кто честь блюдет!
Лишь зло со всех сторон.
Все может сильный, к злым делам
Нас принуждает он.
Сильны хозяева — смешон
Небесный им закон!..

Тогда лишь слезы из очей
Вдруг хлынули... Потом
Похолодела, как мертвец,
И рухнула снопом.
А граф! — И он и небеса
Смеются над рабом!

И нам высмеивать рабов?
Господ щадить и нам?
В душе они пигмеи, — пусть
Гиганты по правам!
Взять в руки крест да отхлестать
Мерзавцев по щекам!

1889

У ЗЕРКАЛА

Ну-ка, с полки слезь сосновой,
Зеркальце в оправе новой.
Мать ушла в село. С тобою
Мы одни. Что я устрою!
Погоди, на все засовы
Дверь закрою.

Ближе к зеркалу поди-ка,
Хороша ль ты, погляди-ка.
У, глаза какие стали!
Это кто ж такой? Не я ли?
Я! А за ухом гвоздика —
Как, видна ли?

Вот я! Сильная какая!
Ростом, говорят, мала я.
Вовсе нет! Как я красива!
Повяжу платочек живо...
Дочка у тебя, родная,
Просто диво!

Я красавица, не скрою.
И передник мне с каймою
Сшила мама-мастерица.
Кто еще со мной сравнится?
Может дочкою такою
Мать гордиться!

Знаешь, что она сказала?
«Дочь не выдам как попало!
Торопиться мы не будем
Угождать досужим людям.
Познакомимся сначала —
Там рассудим».

Спорить с мамой я не смею.
Разве сговоришься с нею?
Заставляет ткать часами,
И совсем нет дела маме,
Что шептаться не умею
Я с парнями.

Для чего мне ткать стараться?
Лучше бы другим заняться.
Про любовь я все равно же
Знаю. Если он пригожий...
Ничего, в меня влюбляться
Будут тоже.

Вот еще беда — тонка я.
Сильный парень, обнимая,
Ненароком вдруг сломает!
Только... Пусть он обнимает,
К сердцу, все позабывая,
Прижимает!

Он сперва мне улыбнется,
Скажет: «Слышишь — сердце бьется?
От любви к тебе я таю!» —
И обнимет. Только, знаю,
Обругать его придется.
Обругаю!

Целоваться парни рады...
Ой, стучатся у ограды!
Мама? Рано ей, не верю.
Ветер! Ну-ка, я примерю
Все — к лицу ли мне наряды,
Дай проверю.

Что рядиться так без толка?
Пояс, бусы вот, наколка —
Все, что нужно для затеи.
Косу распущу скорее,
Повяжу платок из шелка
Попестрее.

Я красавицу такую
Хоть разочек поцелую.
Не боюсь, что мать накажет,—
Зеркальце про нас не скажет.
Кто ж сестрицу дорогую
Не уважит?

Маме только и заботы,
Что сижу я без работы.

Вот хозяйкой стану. Маму ж
Я сейчас боюсь, а там уж...
Поглядеть бы, каково-то
Выйти замуж.

Я от бабушки слыхала,
Что девчонки знают мало.
Все бы петь им да играть бы!
Но умнеют после свадьбы.
От чего же — не сказала.
Вот узнать бы!

Плохо видно, вот досада...
Повязать передник надо.
Ну, теперь совсем похоже
На замужнюю... Ой, боже,
Мама! Вон идет из сада!
Повезло же!

С кем-то мать заговорила.
Дверь-то я не затворила!
Приберу все втихомолку...
Пояс в шкаф скорей. На полку
Зеркальце. Чуть не забыла
Снять наколку!

Отлегло!.. Вот было б срама,
Если б мать вошла бы прямо!
Даже сердце застучало!
Если бы врасплох застала,
Как меня б за косы мама
Оттаскала!

1890

ПЛОХАЯ ДОЛЖНИЦА

Шла с мельницы девица.
И — надо ж так случиться! —
Мешок свалила наземь,
А снова не поднять!
«Снести?» — «А как?» — «За плату
Мешок доставлю в хату!»
Решилась вмиг на трату:
Что ж, можно и нанять!

Идем. На полдороге
Я кланяюсь ей в ноги:
«Плати три поцелуя!»
Но вот беда, друзья:
У ней своя забота.
Высчитывает что-то,
Твердит, что нет расчета,
Не может и нельзя!

С меня и двух, мол, хватит,
Один — сейчас оплатит,
Второй — когда стемнеет...
Толкуй, дружок, толкуй,—
Тебе нужна оттяжка!
И должен я, бедняжка,
С мешком тащиться тяжко
Семь верст — за поцелуй.

1891

«ВСЕ ТРОЕ, БОЖЕ!»

Три сына было у отца.
И все три сына были взяты
В один и тот же день в солдаты.
А он молился без конца,
Чтоб сыновья остались живы
Под градом из свинца.

Неделя за неделей шла.
И наконец известно стало,
Что знамя грозных турок пало,
Что в битве вырвана была
Победа доблестью геройской
Румынского орла.

Приказ правительство дало,
И напечатала газета,
Что те, кто начал службу с лета,
Домой вернутся. Время шло —
И стали приходить солдаты
В родимое село.

Он ждал — вот-вот придут втроем...
Но ни один не возвращался.
Он терпеливо дожидался,
А радость угасала в нем,
И мысли в голове роились —
Страшнее с каждым днем,

И не хватило силы ждать,
Но он по-прежнему молился.
Никто из тех, кто возвратился,
Не смог о детях рассказать.
Тогда поехал он в казарму,
Чтоб самому узнать.

С ним говорил старик капрал.
Спросил: «Отец, кого вам надо?»
Был первенцем любимым Раду,
И первым Раду он назвал.
«Погиб он в битве. Он под Плевной
Геройской смертью пал».

Давно предчувствовал бедняк,
Что Раду нет уже на свете,
Когда ж слова услышал эти,
Не мог поверить им никак.
Не мог поверить, чтобы Раду
Одел могильный мрак.

«Да будет проклят недруг злой!
А Джеордже где?» — «Он под Смырданом
Убит турецким ятаганом».
«А Мирча где? Последний мой?!»
«И Мирча под крестом дубовым
Лежит в земле сырой».

И, онемев, отец застыл.
Глаза смотрели в землю тупо.
Казалось, видел он три трупа
Своих детей на дне могил.
Стоял он, как Христос распятый,
Без воли и без сил.

Сдавила грудь его тоска.
Он вышел. Ноги не держали.
А губы имена шептали...
Стон вырвался у старика,
И слепо шарила по стенам
Костлявая рука.

Он брел вперед — куда-нибудь,
В пространство глядя скорбным взором,
Потом на камень под забором
Присел немного отдохнуть.
Упала голова седая
Безжизненно на грудь.

Никак не мог понять отец...
А солнце в небесах пылало,
Потом клониться ниже стало
И закатилось наконец.
Он все сидел на сером камне,
Недвижно, как мертвец.

Шел франт, и нищий брел с сумой,
Пролетки плыли в клубах пыли,
Солдаты строем проходили...
Он все не мог уйти домой.
А губы горестно шептали:
«Все трое, боже мой!»

1891

С ВОЛАМИ

На зорьке слышу свист бича
И вижу — к хате два быка
Идут себе, мыча.
Я... я сидела у станка,
Узнала бич издалека,
Взглянуть украдкой на дружка
Вскочила сгоряча!

Всю пряжу спутала, хоть брось!
Окно разбила... Жду его,
Аж сердце занялось!

Ума, знать, нету своего!
Чего хотела?.. Ничего,
Спросить лишь — только и всего,—
Как ночь ему спалось...

А он — чудной! Схватил меня
И целоваться лезет вдруг
При всех, средь бела дня!
Рванулась у него из рук,
Браню его, хоть он и друг,
Такой был, право, перепуг!..
Теперь жалею я...

Когда же я обратно шла,
Босую ногу у дверей
Об гвоздь ободрала...
Да пусть!.. А парень всех милей...
Теперь, жалей я не жалей,
Ему, по милости моей,
Работа тяжела!

1891

ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

Даль еще кругом смеется.
На полянах средь кустов
Стайки кружатся дроздов,
Но неслышно ночь крадется
Из лесов.

Овцы загнаны в овчарни.
Слышен мерный скрип колес —
Тяжело ползет обоз.
На лугу кончают парни
Сенокос.

Вот уж засинели дали.
Женщины с водой бредут.
Девушки с полей бегут,
Выше юбки подобрали
И поют.

Дети бросили возиться
И кричать наперебой.
Вот домой бегут гурьбой.
Над печами дым клубится
Голубой.

Постепенно утихает
Шум вечернего села.
Кончив все свои дела,
Люд усталый засыпает.
Ночь пришла.

Облака на небе тают.
Спит селенье в тишине.
Не блестит огонь в окне.
Лишь собаки хрипло лают
И во сне.

За холмом — полоска света.
Ярче, ярче — вот она!
Поднимается луна,
Словно ясный лоб поэта,
Дум полна.

Мягким колокольным звоном
Старый бор сосновый полн.
Еле слышен ропот волн,
И чернеет над затоном
Старый челн.

Ветер набегает реже,
И воды застыла гладь.
Людям можно мирно спать:
Тихо в небе на земле же —
Благодать.

Лишь любовь не спит, волнует,
Дразнит юные сердца:
Тайно встретясь у крыльца,
Милый милую целует
Без конца.

1892

EX OSSIBUS ULTOR![1]

(Легенда)

Жил царь когда-то молодой.
Он подлецов лишал богатства,
Теснил тиранов, веря в братство,
Пресек насилье и разбой.
Но два князька, беснуясь в злобе
И двух других подговоря,
Схватили юношу царя
И погребли в глухой чащобе.

А чтоб палаческий палаш
Страшил предавшихся печали,
Власть поделив, они сказали:
«Преступен был гонитель наш!»
Попы обрушили проклятье
На тех, кто вспоминал о нем;
Карался пытками, огнем
Надевший траурное платье...

И к месту, где почил герой,
Никто, никто пути не знает,—
Сам ад от взоров ограждает
Его могилу вечной тьмой.
Не проникают к той могиле
Ни скорбный плач, ни яркий луч.
Ни ветерка там... Лес дремуч,
Немые сосны тайну скрыли.

И лишь порой, когда зарю
Настигнет туча грозовая,
Из бездны молния, сверкая,
Слетает к спящему царю.
И кажется, что царь убитый
Оковы тьмы готов стряхнуть,
Что бог указывает путь
К могиле, временем забытой.

---

[1] Из могилы поднимается мститель! *(лат.)*

Настанет час — огонь небес
Сразит неправду вековую,
Пожар разгонит тьму ночную,
Заговорит, пылая, лес.
Восстанет в пламени багряном
Царь, молнии разящей брат,
И распахнет дорогу в ад
Его исчадиям — тиранам.

1892

ПОЭТ И КРИТИК

«Я дам тебе прямой ответ:
Прошу, оставь мечту о музах,
Ведь ты бездарнейший поэт
Здесь, в Сиракузах!
Трохей хромает, ямб убог,
Бессвязен стих, ужасен слог».

Но Дионисий не внимал,
С Аяксом схожий в злобе ярой,
Он запер критика в подвал
Под башней старой.
В Гомера тучи стрел мечи,
Но если он монарх,— молчи!

В короне плох любой поэт,
Но, кто поэтом стал на троне,
Тот — гений. И сомнений нет,
Что и в Нероне,
Когда он при смерти хрипел,
Не кесарь, но артист скорбел.

И бедный критик, от чинуш
Терпя щелчки и оскорбленья,
Весь день был вынужден к тому ж
Страдать от чтенья
Стихов, какие в час иной
Он звал бездарною стряпней.

С утра до вечера при нем
Гнусавил раб; шуршали свитки...
И подвергался день за днем
Он этой пытке.

Там был исписан даже свод
Отрывками из тех же од.

Так год прошел. И вот в тюрьму
Пришел чиновник с доброй вестью:
Тиран прощает все ему
И просит честью
Скорей явиться во дворец.
Радушен царственный певец!

«Я вновь стихи сложил. И мне
Поют зоилы дифирамбы!
Теперь я делаю вполне
Прилично ямбы.
В них вовсе нет плохих стихов!
Хочу узнать: твой суд каков?»

Являя вдохновенья вид,
Поэт читает... Вьются списки.
И голос выспренний звучит
По-олимпийски!
Придворные в восторге: «Ах,
Какой талант! Какой размах!»

«А ты что скажешь, Поликсен?»
Но тот, не отвечая даже,
Дрожа, побрел вдоль пышных стен
И молвил страже:
«Ключ от тюрьмы с тобою, брат?
Веди меня в тюрьму назад!»

1892

МОСТИК РУМИ

I

Говорят, вся мудрость мира
В голове у Руми скрыта.
Вот его к владыке Гупте
Как-то раз приводит свита.
«Завтра Новый год,— промолвил
Государь,— и по законам

Старины веселый праздник
Мы должны устроить женам.

Ты святой и чудотворец,
Признанный всем честным людом,
Я желаю, чтобы завтра
Ты украсил новым чудом
Наше празднество. Согласен?»
Но безмолвен мудрый Руми,
Он ответа не находит.
Впал в глубокое раздумье.

А потом ушел. Когда-то
Он свершил чудес немало,
Но прекраснейшее чудо
Руми завтра предстояло.

II

Все народы Гималаев
Собрались в долине горной:
Жрец, вельможа, раб, крестьянин,
В белом шлеме воин черный.
В стороне стоят мужчины,
А в широком полукруге
Пляшут в праздничных одеждах
Сестры, дочери, супруги.
Семьдесят принцесс цепочкой
Королева в танце водит.
Знак — и пляска замирает.
Руми из шатра выходит.
Что в шатре? Никто не знает.
Тишина царит, покуда
Раздвигаются полотна,
Облекающие чудо.

Видят: столбики открылись,
А на них дорожкой шаткой
Доски тонкие лежали.
Просто мостик. В чем загадка?
«Государь, один всевышний
В сердце женщины читает.
Посмотри — в простой дощечке
Мудрость божья обитает.



Николае Григореску (1838—1907)
«Штурм Смырдана»

Если на дорожку эту
Ступит верная супруга,
Красота ее лишь ярче
Расцветет на счастье друга.
Если же взойдет на мостик
Та, что мужу изменила,—
Искупая грех, красотка
Почернеет, как чернила!

Но таких здесь нет, надеюсь.
С самой скромной, благородной
Мы начнем. Потом за нею
Все пройдут поочередно».
Смолкли сотни тысяч женщин.
Сколько чистой женской чести,
Добродетели безгрешной
Здесь в одном скопилось месте!

Добродетель, учат Веды,
Молчалива и бесстрастна.
Отдает приказы Гупта,
Просит, злится — все напрасно!
И тогда он к королеве
Обращается с улыбкой:
«Может, первой для примера
Ты пройдешь по тропке зыбкой?»

«Я прошла бы, мне не страшно,
Мне-то лично безразлично,
Только в чести королевы
Сомневаться неприлично!
Ах, меня бросает в краску...
Как? Во мне ты не уверен,
Раз ты именно сегодня
Испытать жену намерен?!»

Гупта мрачно отвернулся.
Он окинул взглядом быстрым
Нипунику, муж которой
Был красавцем и министром.
«Государь,— она сказала,—
Мы застенчивы и слабы,
Много глаз меня смущают,
А иначе я прошла бы!»

И принцессы были б рады
Пробежать, не оступиться,—
Но позвольте, мостик может
Обмануть иль ошибиться!
Мало ль что еще случится...
Руми шутит, это ясно,
Да и доски слишком тонки —
Им довериться опасно!

И потом — как можно верить
Показаньям чурок грубых?
Убедила государя
Речь красавиц алогубых.

И спросил он Руми хмуро:
«Где же чудо?» — Улыбаясь,
Жрец ответил: «Этот мостик
Не волшебный мостик, каюсь.
Им не могут быть раскрыты
Ни порок, ни добродетель,
Но из-за него сегодня
Трех чудес ты был свидетель.

Величайшая заслуга —
Не исполниться гордыни,
Зная блеск своих достоинств.
Ну, не чудо ли, что ныне
Среди сотен тысяч женщин,
Посрамив мою затею,
Ни одна не возгордилась
Добродетелью своею?

Красота живет недолго,
Зла она источник явный,
Это женщинам известно,
Вот они и благонравны!
Так легко им стать красивей,
Выйти всех милей отсюда:
Ни одна не захотела!
Это ли, скажи, не чудо?

Третьим чудом, вечно новым,
Было то, что мы доселе
О втором и первом чуде
И понятья не имели!»

Рассмеялся грозный Гупта,
Вторил каждый царедворец,
Хохотал народ, смеялся
Даже Руми-чудотворец.

Но, смеясь, мужья на доски
Недоверчиво глядели:
Подозренья в них возникли,
Их раздумья одолели.
Ну, а жены? Так как честь их
Оказалась вне сомненья,
То они над старым Руми
Потешались без стесненья.

1893

ПЕСНЯ ВЕРЕТЕНА

Сложила эту песню
Я в горнице своей.
Сложила эту песню,
Не думая о ней.
Крутилось и крутилось
Мое веретено,
За ним я повторяла,
Что пело мне оно.

Едва окончу песню —
И затяну опять.
Хоть позабыть бы рада,
Никак не отогнать!
За пряжею, у печки,
В дороге — все пою.
Что за напасть такая
На голову мою!

Усядусь ли за ужин —
Слеза и потекла!
Кусок застрянет в горле,
Встаю из-за стола.
Бегу на вольный воздух,
А в голове гудит.
Ее сожму руками,
Пою, пою навзрыд.

Я к мельнице подамся,
А колесо в реке
Мне песню напевает
На нашем языке.
Тогда сама невольно
Я запою тотчас.
Крестясь в испуге, мельник
С меня не сводит глаз.

Чтобы тоску и песню
Развеять по волнам,
Брожу я над рекою,
Но вдруг по сторонам
Как запоют платаны
Под тихим ветерком!
Напев их повторяю,—
Он так душе знаком.

Пойду бродить лугами,
А луговой простор
Вокруг поет и плачет —
Иду укрыться в бор.
В бору привольно плакать,—
Он сам гудит, стеня.
Повсюду плач — а люди
Дивятся на меня!

Но виновато только
Мое веретено:
Я просто повторяю,
Что пело мне оно.
Как жизнь моя без счастья
Длинна и тяжела!
Быстрее бы летела
Или к концу пришла!

Совсем к концу пришла бы,—
И место бы нашлось
Мне вволю нарыдаться,
Не сдерживая слез,
А то и мать бранится,
Да и отец сердит,
И молча, с удивленьем
В селе народ глядит.

Лишь ночью, темной ночью
Могу, сама с собой,
Я до рассвета плакать
В подушку головой.
Вот обниму подушку —
И плачу без ума:
Ведь этих слез не видит
И матушка сама.

1893

ЭЛЬ-ЗОРАБ

Пришел к паше бедняк араб.
Был темен взор, а голос слаб.
«Я бедуин, но для меня
Пришла пора продать коня.
Вот он — мой Эль-Зораб!

Когда я мчусь во весь опор,
Кто не покинет свой шатер,
Завистливо не глянет вслед?
Он для меня — как солнца свет,
Продать его — позор...

Но крут нужды тяжелый путь,
Моей жены иссохла грудь,
Моих детей запали рты,
Паша! Спасти их можешь ты,
К ним милосерден будь!

Взгляни, как скачет мой гнедой,
Играя легкою уздой.
Ты молнию обгонишь с ним.
Дай денег — чтобы стал твоим
Красавец молодой!»

Провел коня вперед, назад...
Паши горит восторгом взгляд,
Но только гладит не спеша
Седую бороду паша —
Уста его молчат.

«Я тысячу цехинов дам».
«Паша, паду к твоим ногам!
Об этом я мечтать не мог!
Тебе воздаст за щедрость бог
    Здесь, на земле, и там!»

Берет мешочек бедуин,
В нем о цехин звенит цехин.
Он счастлив: ведь его жена
Теперь от смерти спасена,
    Спасен младенец сын.

Богатство он домой несет!
Теперь он больше не пойдет
Просить в тени чужих шатров.
Кормить голодных бедняков
    Пришел его черед.

Прижал к груди цехины он,
Уходит, счастьем опьянен.
Но тут в глазах мелькнул испуг,
И он остановился вдруг,
    Как громом поражен.

На золото глядит в тоске,
Мешок дрожит в его руке.
Араб к коню идет назад,
И слезы на глазах блестят,
    Как ручеек в песке.

Коня он обнял и, скорбя,
Густую гриву теребя,
Тихонько плачет. «Мой алмаз!
Мой гордый лев, услада глаз!
    Я продаю тебя!

Дочь золотой инжир сорвет —
Кому отдать ей спелый плод?
Мой сын извилистой тропой
С тобой к ручью на водопой
    Под вечер не пойдет!

Нас больше в сумерках густых
Не встретит смех детей моих,
Не буду больше их втроем
Усаживать в седле твоем...
Чем я утешу их?

Что мне сказать моей жене
О нашем гордом скакуне?
Как без коня мы будем жить?
И люди станут говорить
С насмешкой обо мне!

Моя Раира, Эль-Зораб
Другому продан, словно раб.
Не будет больше звонко ржать,
Не будет за тобой бежать,
Куда ты ни пошла б!

Жена, жена! Забудь о том,
Как мчится на коне гнедом
Твой Бен-Ардун, как он поет,
Когда стреляет птицу влет,
Пригнувшись над седлом!

Встречать меня в вечерней мгле
Не будешь выходить к скале,
Миг встречи пропустить боясь,
Не будешь ухо, торопясь,
Прикладывать к земле!

Прощай навеки, мой скакун!
Пройдет и пять и тридцать лун,
Где б ни пришлось тебе скакать,
С тобой не встретится опять
Несчастный Бен-Ардун!

Не гладить мне твоих ноздрей
И гривы не чесать твоей,
Твоей не видеть красоты,
Когда пустыню топчешь ты,
Летя стрелы быстрей!

Пустыня знала нас с тобой,
Твой топот знала громовой!
Теперь нам вместе нет дорог!..
Кто, друг, тебя напоит в срок
Водою ключевой?

Как я могу тебя отдать?
Здесь ласки ты не будешь знать,
Здесь будут бить тебя хлыстом,
Замучат тягостным трудом,
Ты будешь голодать!

И будешь ты убит в бою!..
Нет радость не отдам свою,
Не покорюсь моей судьбе!
Паша! Вот деньги — я тебе
Коня не отдаю!»

Но потемнел паша, как ночь,
Не в силах гнева превозмочь.
В его глазах блеснул огонь:
«С ума сошел! Мой этот конь!
Иди отсюда прочь!»

«Моих очей бесценный свет —
Он твой, паша? Дай мне ответ!
Чей голос для него закон,
Кому во всем покорен он?
Он — твой, паша? О нет!

Я за него и с богом в бой
Готов вступить и с сатаной!
Зачем тебе один скакун?
Богат конями твой табун!
О, сжалься надо мной!

Ты видишь — у твоих я ног!
Но в небесах велик пророк,
Суд праведен его и гнев!
Меня, ограбив и раздев,
На гибель ты обрек!

Так убивай и не томи!
Да будешь проклят ты людьми!

Твоих я денег не беру,
Я лучше в нищете умру!
    Вот золото — возьми!»

И приказал паша: «Раздеть!
Эй, слуги, принесите плеть!»
Но выхватил араб кинжал
И рядом с Эль-Зорабом встал,
    Готовый умереть.

Толпа оцепенела слуг.
Кинжал вонзил в коня он вдруг,
И вот из шеи золотой
Забила кровь струей густой,
    И умер верный друг.

Блестит в чалме паши алмаз.
Минута тянется, как час.
Араб ничком упал на труп,
Стирает пену с мертвых губ,
    Целует мертвый глаз.

Встает, кинжал прижал к устам,
Потом его отбросил сам.
«Мой сын отмстит, проклятый зверь!
Ну что же, убивай теперь,
    А тело выбрось псам!»

1893

ВСЕ СВЯТЫЕ

Вот собралась благочестиво
Вся братия монастыря.
Поют стихи из псалтыря.
Их помыслы чисты на диво,
Их не смутят мирские страхи.
Сегодня праздник Всех святых,
Велит обычай пить за них —
Ему покорствуют монахи.

Причастие дает сегодня
Паисий-старец. Чтя закон,
Дно бочки вышибает он —
В ней багровеет кровь господня.

А дьякон важно и сурово
Читает святцы — все подряд.
И кружками отцы гремят
За здравье каждого святого.

«Спаси, господь...— буль-буль... — Адама... —
Буль...— Сифа...» Мученикам честь
Воздали, сколько в святцах есть,
Потом — святым родного храма.
Льют из бочонка, не жалея,
И за Петра, и за Христа,
За татя с правого креста,
За мученика Фалалея.

Луку и Павла поминают,
За прочих праведников пьют.
Едва по новой разольют —
Еще святого подбирают.
Смиренно пьют — и не устанут.
Не обижая никого,
Не выпьют две за одного
И пить одну за двух не станут.

Вот святцы наконец закрыты.
Другая книга внесена.
В ней тоже ищут имена.
Найдут — и кружки вновь налиты.
Запас святых все иссякает,
Да и в бочонке близко дно.
Уж нет святых. Но есть вино.
Пить без святых? Не подобает!

Где ж выход в этом затрудненье?
Но вдруг Паисий застонал
И у бочонка мертвым пал.
Вскочила братия в смятенье.
«Стой, братцы! — Кир промолвил слово,—
Святые надобны для вас?
Налейте же в последний раз:
Пьем за Паисия святого!»

1893

Р Е К Р У Т

Попросить тебя хочу...
Призван я,— так поневоле
Сердце падает. Тоскую.
Жаль не вас, а жаль милую,—
Чуть от боли
Не кричу...

Кто рожден в недобрый час,
У того и доля злая.
Мы по матери — два брата.
Охраняй же девку свято,
Соблюдая
Пуще глаз.

Хору не пускай плясать
С незнакомыми, с чужими.
Будь при ней— но знай одно лишь:
Берегись, коли позволишь
Ей с другими
Танцевать!

Ну, с тобою иногда
Пусть попляшет, как сестрица...
К ней, смотри, не жмись, не балуй,—
А не то плясать, пожалуй,
Застыдится
Навсегда.

Нет, и пальцем не задень!
Обнимать не суйся, значит:
Обомрет, и не для виду
Затаит в себе обиду,
И проплачет
Целый день.

У колодца с ней, смотри,
Не болтай, дай лучше крюку,
Проходи своей дорогой,
Не дурачься с девкой строгой,
Ручку в руку
Не бери.

Есть ли девушка смирней!
Поцелуешь — будто рада,
Приласкаешь — равнодушна,
Говорит с тобой послушно,—
Все ж не надо
Верить ей...

Обоймешь ее разок —
Скажет: больно!.. Понимаешь:
Я и сам вдвоем с подругой
Сжать боюсь ей стан упругий,—
Вдруг сломаешь,
Как цветок?

А случится повстречать,
Лучше вид прими угрюмый,
Отойди,— блюди обычай...
Ты не слушай вздор девичий
Да не вздумай
Провожать!

Нрав у матери сердит...
Как начнет — трясутся ноги!
Дочку с парнем коль приметит,
Кулаком, пожалуй, встретит,
На пороге
Разбранит!

В оба-два за ней гляди.
Заходи к ним, да частенько,
Знай, что в доме происходит,—
Особливо кто приходит,
Хорошенько
Проследи!

Девка — горе ты мое!
Белокура, в полной силе,
Высока, стройна собою,—
Видно, велено судьбою,
Чтоб любили
Все ее!

Если ж в дом моей любви
Гость войдет, не будь тетеря,—

Улучи, браток, минутку,
С ним схватись, как будто в шутку,
И, как зверя,
Удави!

Все возьму я на себя,
Мне на совесть грех твой ляжет.
Суд меня пускай засудит,
А тебе беды не будет,
Бог накажет
Не тебя.

Да, она должна любить
Лишь меня, по мне тоскуя.
Но коль что случится с нею,
Берегись, не пожалею:
Ведь могу я
И убить!

1893

СМЕРТЬ ФУЛДЖЕРА

Гонец летит, разгорячен.
Узда в зубах. Без шапки он.
Неудержим, неотвратим,
Все заслонил собой одним,—
И только карканье над ним
И крик ворон.

То королю везет ответ
Он с поля боя, с поля бед...
Его одеждою сырой
Прикрыт поверженный герой.
Беде, что он везет с собой,—
Пределов нет!

То мертвый Фулджер. Он врагом
На берегу убит чужом.
Его одежда не одно
Хранит кровавое пятно,—
Так много ран нанесено
Стальным копьем.

Отец несчастный! Наповал
Сражает горя грозный шквал,
И рвется сердце на куски...
Он замер, стиснув кулаки,—
Как будто разум от тоски
Вдруг потерял.

Как может быть убитым тот,
Кто рвался вверх, летел вперед,
Чьи руки сильные могли б
Схватить и молнии изгиб?
Ведь если храбрый так погиб,
Что ж трусов ждет?

К чему теперь весь мир земной?
Свое лицо, о солнце, скрой!
Ты завтра утром не взойдешь.
Он был горяч, он был хорош,
Он на тебя был так похож,
Как сын родной.

Мать безутешна. Плач и стон.
Как дух ее опустошен!
На сердце горе, как свинец...
Погибло все, всему конец!
Ее отчаяньем дворец
Весь потрясен.

Какой изнеможенный вид!
Взор потускневший не горит.
Темнеют впавшие виски...
И рвет от боли и тоски
Свою одежду на куски,
В слезах твердит:

«О, я несчастная! Кого ж
Теперь мне ждать все ночи сплошь,
Не засыпая, чтобы в срок
Услышать топот конских ног?
Ведь никогда на мой порог
Ты не взойдешь!

Но нет, тебя я не отдам,—
В могиле места хватит нам,
Ты оставлять теперь не смей

Отца и матери своей,—
Возьми и нас туда скорей,
Где скрылся сам!»

Но силы нет,— не может мать
Над сыном вьюгой прорыдать.
Вот опускают сына в гроб...
Не плач здесь нужен, а потоп!
Где взять ей пламя, что зажгло б
Его опять?

А ты, что вечно рвался в бой,
Нашел безвременный покой.
Тебе не слышен трубный звон
И шелест дружеских знамен,
Непобедимый побежден
Могильной тьмой.

Быть может, пенье панихид
Тебя утешит, облегчит?
В путь не пойдешь без калача.
В ладони — грош взамен меча,
В другой — унылая свеча...
А где же щит?

Ты озаришь себе свечой
Тропинки в вечности пустой.
Тебе за гробом нужен грош —
Ты реку с ним переплывешь.
Проголодаешься,— так что ж?
Калач с тобой.

Оружье, нужное в бою,
В гробницу сложено твою.
И задрожит небес покров
Под тяжестью твоих шагов.
Пред богом ты предстать готов
В его раю.

И будет ангельская рать,
Тебя увидев, трепетать,
Не поднимая робких глаз.
И даже солнце, изумясь,
Назад помчится в первый раз —
К востоку, вспять!

Сегодня в трауре земля.
И много движется, пыля,
Сюда людей со всех сторон.
Настало время похорон.
Сегодня будет погребен
Сын короля.

И духовенства целый строй
Кадит, молясь «за упокой».
Звон погребальный. Ектенья.
Бойцы. Родные. Храп коня.
Проходит, головы склоня,
Народ простой.

А мать несчастная — она,
Как будто пробудясь от сна,
К могиле бросилась: «Зачем
Его хотят зарыть совсем?
Теперь он холоден и нем,
А я — одна!

Летает сокол без следа.
След рыбы не хранит вода,
Будь выше всех великих скал,
Иль будь, как карлик, слаб и мал,—
Умрешь, как всякий умирал,
Везде, всегда.

Кто б ни был ты — что пользы в том?
Все — только тень и дым кругом.
Живи в богатстве, в нищете —
Равно исчезнешь в пустоте;
Сегодня — эти, завтра — те...
Ведь все умрем!

Я — с сыном. Пусть он погребен...
Где бог, где правда и закон?
Бог посылает нам беду,—
В нем зависть родила вражду,
Я в нем защиты не найду —
Язычник он!

Я не склонюсь теперь пред ним.
Уходят все путем одним:
Умрет и грешник и герой.
Никто не дьявол, не святой.
Любовь и вера — сон пустой,
А жизнь — лишь дым!»

Из сердца речь ее рвалась.
И каждый, в ужасе крестясь,
Ее безумный слушал крик.
Но вдруг предстал пред ней старик,
И прямо в душу взор проник
Спокойных глаз.

То был мудрец. Казалось, он
Был в столб священный превращен,
Чтоб возвышаться сотни лет.
Ровесник мира, мудр и сед,
Как время стар, он жил, как след
Иных времен.

Глаза смотрели все теплей
Из-под седых его бровей.
На длинном посохе рука.
Он молвил: «Внучка! Велика
Твоя жестокая тоска,
Но слез не лей.

Рыданьем надрывая грудь,
Поможешь ли чему-нибудь?
Все это видеть нам легко ль?
Твой плач умножил нашу боль.
Подать совет тебе позволь:
Спокойней будь.

Вот солнце, небо обагрив,
Уйдет за край лесов и нив.
Мы не заплачем, а пойдем
Своей тропой, своим путем.
Твой сын ушел, оставил дом,
Но знай: он жив!

Кому теперь поведать мне
О незабвенной старине?
Я силу пробовал свою
С могучим Волбуре в бою,
С Кривэцем в сумрачном краю,
В его стране.

Вот были люди — слава им!
Но все ушли путем одним...
Им все исполнить удалось,
И просто умерли, без слез,
И ни один не произнес,
Что жизнь — лишь дым!

Не схожи дымные клубы
С суровостью людской судьбы.
Я не боялся, не боюсь
Того, что жизнь — тяжелый груз.
Всем завладеть желал бы трус —
Но без борьбы.

Твердит, что жизнь кончать пора б,
Лишь подлый трус и жалкий раб.
А тот, кто честен и горяч,—
Живет, не помня неудач.
Лишь сумасшедшим нужен плач,
Лишь тем, кто слаб.

Перед тобою жизни путь,
И ты о смерти позабудь,
Существовали короли,
Что изменяли строй земли,—
И тоже умерли, ушли...
Не в этом суть!

Но знаю я одно, и вот
Сказать о том настал черед:
Ты в жизнь грядущую поверь,
Тогда утихнет боль потерь.
Все, что незыблемо теперь,
Как сон пройдет.

Ты с правдой вечной сохранить
Должна связующую нить,—
Людей животворит она...
И пусть порою жизнь трудна —
Запомни: жизнь тебе дана —
И надо жить!»

Она затихла, а потом
Остановила взгляд на нем,
Не слыша, что он говорит.
Быть может, гроб уже закрыт...
Все принимало странный вид:
Все было сном.

И слез не стало. Тишь и мгла.
Толпились люди без числа —
Мужчины, женщины вокруг...
И охватил ее испуг:
Понять хотела что-то вдруг —
И не могла.

Смешная мысль! Все решено...
Зачем же здесь людей полно?
Зачем куда-то смотрят вниз?
«Над ямой вырытой сошлись
Все сумасшедшие — вглядись!
О, как смешно!»

Рыдали в лад колокола —
В их звоне жалоба была.
Стучал по крышке гробовой
За комом ком земли сырой,
И песнь возникла над землей,
Как луч светла.

«Оставь вопросы,— знай одно:
На них ответить не дано.
Страшись идти наперерез...
Своих ветвей не помнит лес,
Не знает жизнь, что я исчез,—
Ей все равно!»

1893

ПЕСНЯ ВАРВАРА

Еще смеетесь вы пока,
Земли трусливые владыки!
Полны веселья ваши клики.
Смеетесь! Но пора близка —
Бесчисленные, как пески,
Предстанут варвары пред вами,
Гул пронесется над полями,
Как гул разлившейся реки.
Придем — и будет в страшный час,
Как в Судный день, земля багрова,
И содрогнется даль от рева
Орды, идущей против вас.

Бойцы, сильны, как летний град,
Обрушатся на вас потопом,
Их кони бешеным галопом
По вашим нивам пролетят
На Рим! И побежите вы,
Как зайцы, в страхе небывалом,
И перед этим грозным валом
Ягнят пугливей станут львы.
На Рим! Колосс падет во прах
Среди своих когорт разбитых,
И будет некому убитых
На погребальных сжечь кострах.

Ты будешь, римлянин, сражен,
Навек простишься с прежней славой.
Истр потечет струей кровавой,
Слезами матерей и жен.
Оружьем варварским разбит,
Орел склонится перед нами,
И долго мертвыми телами
И волк и ворон будет сыт.
Ужасный ждет тебя удел:
Будь ты крылат и быстр, как птица,
На самом небе ты укрыться
От нашей мести б не сумел.

Мы будем резать и душить,
Мы подожжем твои святыни,
Мы превратим поля в пустыни,
И не удастся тогой скрыть

Надменных лиц твоим отцам.
Их от стыда рыдать заставим,
К позорному столбу поставим,
Заставим пасть к своим ногам.
Мы ничего не пощадим,
В телах детей мечи иступим,
Пятой на шею гордо ступим
Мы императорам твоим.

Вздымая бешеных коней,
Мы гибель пронесем повсюду;
Нагромоздивши трупов груду,
Ворвемся на небо по ней.
Мы вашего Замолкса-пса
Найдем в его чертоге синем
И с троном вниз на землю скинем
Так, что застонут небеса.
Ведь как бы ни был ясен лик,
Но бог, в крови омывший руки,
Бог, обрекавший мир на муки,—
Тот бог не свят и не велик.

О, если б только мы могли
Всю ненависть насытить нашу,
Дать вам испить страданья чашу,
Пока вы корчитесь в пыли!
А если б, смерти устрашась,
Себе вы отворили жилы,
Мы ваши взрыли бы могилы
И бросили бы трупы в грязь.
И местью праведной своей
Тогда б мы упиваться стали —
Отцов бы по щекам хлестали,
Глумясь над прахом сыновей.

1893

СКАЗКА

Коль случится, постучится
Статный парень к нам, сестрицы,
Чтоб тайком поцеловать,—
Так и знайте, не плошайте,
Крепче двери запирайте,

Поцелуя не давайте,
Иль беды не миновать!

Раз явился ночью лунной
К царским дочкам витязь юный.
Две, постарше, скрылись прочь,
А меньшая — цветик белый —
Дверь захлопнуть не успела,
И до зорьки витязь смелый
Целовал меньшую дочь.
Что же дальше? Не припомню...
Сказку ту давно-давно мне
Говорила на ночь мать.
Рассказала я начало,
А конец-то потеряла...
Что ж потом с царевной стало?
Если б вспомнить, если б знать!

Прогрустила ль до могилы,
Или к ней вернулся милый
И назвал своей женой?
Чтоб добиться мне ответа,
Босиком пройду полсвета,
Потому что сказка эта
Приключилась и со мной!

1893

ПЕСНИ

* * *

Мама, долго будет мне
Он мерещиться во сне?
Долго ль среди ночи
Полыхать мне, как в огне,
Видя эти очи?

Набросала трав сухих
Вкруг меня от чар лихих
Ты на сон грядущий.
Ночь прошла, а жар не стих,
А тоска все пуще!

Коли свадьбе не бывать,
Пересыпь постель мне, мать,
Горькой беленою:
Лучше уж безумной стать,
Чем терпеть такое!

* * *

Вдоль по Бистрице-реке,
На плотишке ветхом стоя,
Распевала молодая,
Проплывала молодая
С золотистою косою,
В белом платье, на закате,
Вдоль по Бистрице-реке.

Стонут волны между скал,
В камни тесные зажаты.
Посинев, ревет пучина,
Словно зверь перед кончиной;
Дикой яростью объяты,
Свищут, плещут, злобно хлещут,
Стонут волны между скал.

Молодая ж на плоту
Распевает без опаски
И не знает, не гадает,
Что венчаться ей с волною
Да с речною быстриною...
Не из сна ли, не из сказки
Молодая на плоту?

Молча глядя ей вослед,
Я стоял до самой ночи,
Все ловил сквозь шум теченья
Дальний смех ее и пенье;
И, когда б не мрак осенний,
Проглядел бы, верно, очи,
Молча глядя ей вослед.

1893

МАТЬ

Где воды быстрые, бурля,
Гудят, шумят ночами,
Где в зыбком мраке тополя
Поют нам о печали,
Где к старой мельнице ведут
Тропинки вдоль опушки,—
Тебя я, мама, вижу тут,
В скосившейся избушке.

Прядешь... За дверью шум реки...
Потрескивают споро
Изрубленные на куски
Три жерди из забора.
Огонь то вспыхивает вдруг,
А то, охвачен ленью,
Едва не гаснет и вокруг
Свет смешивает с тенью.

С тобой две девочки... И свет
По их одежде бродит.
Они малы. Отца их нет,
А брат все не приходит.
И нарушает сказкой тишь
Одна из них — меньшая.
А ты, задумавшись, молчишь,
Рассказу не мешая.

Нить рвется много раз подряд.
Тебя терзает дума.
Сидишь, и твой недвижен взгляд...
Чуть вздрогнула от шума
Упавшей прялки. Что с того,—
Глядишь — не поднимаешь,
Молчишь и словно ничего
Вокруг не понимаешь.

...О нет! Сомненья больше нет!
Спешишь к окошку прямо.
И смотришь, отстраняя свет...
«Ну, что ты видишь, мама?!»
«Нет, показалось мне»,— едва
Промолвить сил хватило,

И эти горькие слова,
Как вопли над могилой.

Потом, не поднимая глаз,
Ты говоришь устало:
«Умру я скоро. Что ж, от вас
Скрывать мне не пристало.
Молюсь, чтоб ваш вернулся брат,
Чтоб жив он был на свете...
Мне показалось, что стучат,—
Стучит он в окна эти.

Когда б судьба ему дала
Увидеть мать родную,
То уж, наверно, прожила
Еще бы жизнь одну я.
Иль бог прогневался на нас
И обошел любовью...
Не будет сын в мой смертный час
Стоять у изголовья!..»

Ненастье, ветер на дворе.
Сестрицы спят глубоко.
Ты, видно, ляжешь на заре.
Все плачешь одиноко.
И все мечтаешь обо мне,—
Увидеть бы родного.
А засыпаешь — и во сне
Меня ты видишь снова!..

1894

МЫ ХОТИМ ЗЕМЛИ

Без крова, голоден, раздет,
Стою, оплеван, пред тобой,
И плеть ты поднял надо мной,
Исчадье ада, мироед!
Тебя к нам ветры занесли,
Мы для тебя ничтожней тли,
Мы псы смердящие — так бей,
Мы скот — так что же, не жалей,
Мы от побоев только злей —
Хотим земли!

Ты все, что свято нам, клянешь,
Берешь в солдаты сыновей,
Бесчестишь наших дочерей
И черствый хлеб из глотки рвешь.
Без слез глядеть мы не могли,
Как наши дети шли в пыли,
От голода валились с ног
И падали среди дорог,—
Хотя бы для детей клочок
Хотим земли!

На кладбище ваш алчный плуг
Выкапывает кости тех,
Кто там лежит. А это грех!
Отец, и мать, и лучший друг,
Все те, что в вечность отошли,
В земле покоя не нашли.
И нас прогнали из домов,
Нам нет защиты от ветров,
Но мы за наших мертвецов
Хотим земли!

А хорошо б иметь и нам
Приют последний для костей,
Чтоб слезы близких и детей
Нашли останки наши там,
Куда их с плачем отнесли,
Чтоб, видя кладбище вдали,
Прохожий лоб перекрестил,
Чтоб труп в овраге не остыл,
Чтоб было место для могил —
Хотим земли!

Нам помолиться недосуг
И поразмыслить, не спеша,
Но есть же и у нас душа,
Помимо этих грубых рук.
Вы нас цепями оплели,
Солдатам приказали: «Пли!»
Вы все забрали: право, честь,
Нет даже времени поесть,
Но всех обид не перечесть —
Хотим земли!

Пришельцы злые — руки прочь!
У вас в земле — запас зерна.
Нам колыбель и гроб она.
Отец, и мать, и сын, и дочь —
В нее все близкие легли.
Мы землю свято берегли.
Слезами, потом, не дождем
Мы орошали каждый ком.
На ней родились и умрем —
        Хотим земли!

Что, если станет невтерпеж
Ходить нам с нищенской сумой.
Что, если встанем мы стеной
И спрятанный достанем нож!
Вы до того нас довели,
Что кровь земле мы предпочли.
И будьте вы Христом самим,
Мы все пути вам преградим
И скрыться даже не дадим
        Во тьме земли!

1894

IN OPRESSORES[1]

> «Блажен, кто возьмет и разобьет
> младенцев твоих о камень!»
>
> *Псалом 136*

Ждешь ты жалости? В ответ
Ты дождешься новых бед.
Кем разут ты и раздет?
    Кем лишен ты пищи?
Вот он в дом ворвался твой!
Всем, что только под рукой,
Бей его, гони долой:
    Он — в твоем жилище!

У него для нас готов
Мрак застенков, лязг оков;
Перекладины крестов
    Он воздвиг для пыток.

[1] Против угнетателей *(лат.)*.

Но клянемся всем святым,
Адом с дьяволом самим,—
Быть рабами не хотим!
    Их и так избыток.

Хватит жалоб, хватит слез!
Мы дрожали от угроз,
Нам плевки сносить пришлось,
    Мы сгибали спины.
Трудный жребий выпал нам:
Страх с позором пополам —
Так вставайте ж — двум смертям
    Не бывать, румыны!

Нас преследует судьба?
Или воля в нас слаба?
Иль герой родил раба?
    Ложь! Найдем же силу!
Только враг уверен в том,
Что родился ты рабом.
Так зачем себя даем
    Зарывать в могилу?

Эй, стряхните лень и сон!
Всюду плач — со всех сторон,
Скрыт горящий небосклон
    В дымные завесы...
Бог поможет (о когда ж?),
Если ж он противник наш —
Отречемся, и шабаш!
    Нам помогут бесы.

1894

НА СМЕРТНОМ ОДРЕ

В последний час, святой отец,
Тебе в грехах своих покаюсь:
Мне тяжело, я задыхаюсь
И знаю — близок мой конец.
Все, все припомню, умирая.
Хотел начать я с добрых дел,
Но их не сделал, не успел,
И думать я почти не смел
    О светлом рае.

Я был кормильцем для семьи.
Отец мой мало жил на свете,
Осталась мать, остались дети,
И ждали близкие мои
Лишь от меня кусочка хлеба.
И час я проживу едва ль,
Но не о том моя печаль,
Мне мать с детьми оставить жаль
        На волю неба.

Да, грешен я — любил я смех,
Любил кобзу, напевы песен.
Мир для меня был так чудесен,
Я не бежал его утех.
Любил туманы на рассвете,
Любил холмы, цветущий луг,
Веселых парней тесный круг,
И хору пеструю подруг,
        И все на свете.

Во всех грехах я дам отчет.
Следить мне нравилось, не скрою,
Как мило женщина порою
Подружку локтем подтолкнет.
Любил я также затесаться
В толпу девичью как-нибудь,
К беспечным играм их примкнуть
И стана стройного чуть-чуть
        Рукой касаться.

Я — как язычник. В божий храм
Ходил я редко помолиться.
Мне нечем, отче, похвалиться,
Но бог в груди моей, он там
Всегда со мною пребывает.
Я не отрезанный ломоть,
Но страсти трудно побороть,
И пусть рассудит сам господь —
        Он лучше знает.

Я никому не делал зла,
Не проклинал, не ненавидел,
И никого я не обидел,
Хоть сила в кулаках была.
И был находчив я и ловок —

И мог бы восемь молодцов
Швырнуть я оземь, как щенков,
Но избегал я драчунов
И потасовок.

Лишь раз я парня проучил
За девушку. Назавтра в поле
Задумался — а хорошо ли
Я с этим парнем поступил?
И, не теряя ни мгновенья
И корма не задав волам,
Его искал я по холмам,
Чтоб с парнем помириться нам
Без промедленья.

Я про соседа не сказал.
Меня любил он как родного,
А я, без умысла дурного,
Его жену поцеловал —
Он стар был, а она в расцвете.
Печаль ее прекрасных глаз
И слезы вижу как сейчас.
И, может быть, осудят нас.
Но грех ли это?

Я ничего не утаил.
Какого ждать мне воздаянья,
Святой отец? Но наказанье
Не в том ли, что в избытке сил
Я кинуть должен все земное?
Не шлю я жалоб небесам
И не ропщу. Но только там
Все будет непривычно нам —
Совсем чужое.

1895

ДУБ

Старый дуб мне дал совет:
«Засылай сватов к любимой».
Дуб советует: «Не мешкай!»
А любимая с насмешкой
Ни в какую:
Нет и нет.

Говорит: «Не вышел срок,
Мне сваты твои не к спеху.
Я на них найду управу,
Я их высмею на славу,
Не пущу их
На порог».

Как тут быть? Но дуб-мудрец
Убедил меня советом.
Ждать моим сватам негоже:
Нынче вечером, не позже,
Все решится
Наконец.

Дуб мой, если был ты прав,—
Я дитя тебе доверю.
Чтобы рос он всех милее,
Сына моего лелеять
Будешь,
Колыбелью став.

Если ж, дуб, ты мне солгал,
Превращу тебя в ворота,
Чтоб могли тебе без счета
Каждый день колоть глаза
И корова
И коза.

1895

ДОЙНА

Ты всегда готова, дойна,
Волю дать своим слезам!
А когда тебе взгрустнется,
Грустно, девушка, и нам.
Но твои отрадны слезы...
Лишь заплачешь, мы гурьбой
Станем вкруг — и сами плачем,
Усладженные тобой.
Плачут все с тобою вместе,
Всякий девушку поймет,—
Этой жалостливой песней
Говорит простой народ.

Вечерком подружек встретишь
У колодца иль ручья.
Над девической душою
Всемогуща власть твоя.
Тайнам учишь их любовным,
И хитро смеется глаз...
А потом унылым песням
Обучаешь, омрачась.
С ними ты — на сенокосе
И когда с лугов идут
Иль в раздумье невеселом
На завалинках прядут.

Парни ль в армию уходят,—
Провожаешь их, скорбя.
А потом — уходишь с ними,
Нет им жизни без тебя!
О соседке им напомнишь,—
Как любились вечерком,
И о матери на ниве,
Сплошь заросшей сорняком.
А когда тоска замучит,
Соберутся, запоют.
Ты играешь им на дудке,
А солдаты слезы льют.

Молодые и седые
Выйдут в поле всем селом,—
Ты, отзывчивая дойна,
С ними в поле золотом.
Стог мечи, коси пшеницу.
Знай себе снопы вяжи!
А когда ребенок малый
Вдруг заплачет у межи,
Ты возьмешь его, уложишь
Возле груди молодой,
Запоешь — и он задремлет
В холодочке за копной.

Ты любуешься, как сумрак
Подползает к верху гор,
Внемлешь ты потоков горных
Неумолчный разговор,
Как, стеная, сосны бора

Тихо жалуются днем.
Слуху певческому дойны
Песня слышится во всем.
Иль одна, бродя со стадом,
В голубую глядя даль,
Ты вверяешь горным склонам
Сердца звучную печаль.

На бугре — румын с сохою.
Захирел, ослаб мужик,—
Он врезает через силу
В землю твердую сошник.
Ты приметила беднягу —
И прошла по телу дрожь,
И уже с унылой песней
В ряд с волами ты идешь.
Смотрят добрыми глазами
На хозяина быки,—
Понимают, видно, тоже,
Как страдают бедняки!

Раз я видел: как, святая,
Ты сияла красотой.
Старики вокруг стояли
Со склоненной головой.
Пела ты про жизнь былую,
Про иные времена,
Ты любимых, ты умерших
Поминала имена.
Пела доблестную песню —
И стоящие кругом
Навернувшиеся слезы
Утирали рукавом.

Но... Глаза твои темнеют!
Рядом — братья-гайдуки.
Ты клянешься, проклинаешь,
Гневно сжала кулаки!
Всех, от барщины бежавших
С разоренного двора,
Собрала ты ночью темной
Под дубами у костра.
Дик твой голос. Дойне вторит
Хор отверженцев лесных.

И воинственны их песни
И мрачны, как души их.

Заодно ты с гайдуками,
Каждый — друг и побратим.
Их ведешь тропою тайной,
Спать на скалах стелешь им.
Как вдевают ногу в стремя,
Лошадь держишь за узду,
Лишь гайдук винтовку схватит,
Пули вынешь на ходу.
А как целятся, хохочешь,—
Рада, если их свинец
Негодяю-мироеду
Грудь пронижет наконец.

Мы — твои! С тобой не знаться
Может сын чужой страны,—
Если ж мы утратим дойну —
Так на много ль мы годны?
Для тебя живем мы, дойна,
Будь же с нами, душу грей!
Мы бедны, но песню-дойну
Любим в бедности своей.
Повелительница наша,
Голос твой для нас — закон.
Научи нас плакать... Ныне
Каждый плакать лишь волен.

1895

ЗИМОЙ НА УЛИЦЕ

Долго падал снег летучий,
А теперь утих. Кругом
Все покрыто серебром.
Но еще теснятся тучи
        Над селом.

Солнца нет, а день лазурный.
Дым струится над рекой.
Ветер стих. Везде покой.
Но откуда вдруг сумбурный
        Шум такой?

Это дети. Как с откоса
Весел санок их разбег!
Путь их реку пересек.
Мчатся прямо, криво, косо,—
С визгом, в снег!

И теперь на всем просторе,
Словно мельниц шум и гром.
Воробьи такой содом
Поднимают на заборе
Пред дождем.

Рвутся в драку, кто взрослее,
Спорят, ссорятся, а вот
Малыши — наоборот:
Хныча, жмутся все теснее
У ворот.

Вышел мальчик — с виду строгий,
Но, наверное, всего
С локоток шаги его;
Словно нету на дороге
Никого.

На него надета шуба,—
Но таких, как этот, глядь,
В ней уместится хоть пять!
Вероятно, ветру любо
В ней гулять.

Если мать родного сына
Посылает в путь такой,—
Значит, он, само собой,
Не ребенок, а мужчина —
И большой!

Споткнется, вкруг не глядя,—
Тут же встанет поживей!
В шапке тонет он своей,
Шерсти слипшиеся пряди —
До бровей.

Он спешит, пересекая
Закоулки и дворы.
Вдруг он видит — у горы
Перед ним толпа густая
Детворы.

Хочет он свернуть куда-то;
Может быть, шагах в пяти
Есть обходные пути, —
Но бегут к нему ребята:
Не уйти!

«Шапка, глянь, почти до пяток!
Велика, как постный день.
Целый зверь... Поди, надень!
Спрятать можно в ней с десяток
Деревень».

Вниз толкают, — вот веселье!
А какой-то озорник
Ухватил за воротник...
Словно сразу опьянели, —
Шум и крик.

Подвязав шубенку лыком,
Шла старушка стороной,
Но всмотрелась: кто такой
Все село наполнил криком
И возней?

Ей за маленького жутко,
Ей обидно за него.
«Это что за озорство?
Ну, пойдем со мной, малютка:
Ничего!»

То, что пламенем объято,
Сеном трудно загасить...
Что за резвость! Что за прыть!
Это дети иль волчата,
Может быть?

И старушка в окруженье.
И за нею, здесь и там,
Все стремятся по пятам.
Толкотня, столпотворенье,
Свист и гам!

Мудрено теперь за книжку
Усадить таких ребят...
За старушкой, точно град,
Так и носятся вприпрыжку
И галдят.

Та, забыв о воспитанье,
Разбранилась, разошлась:
«Убирайтесь прочь сейчас,
Чертенята, басурмане...
Вот я вас!»

Путь свой палкой расчищая,
Хочет выбраться, но что ж?
Окружает снова сплошь
Их безудержная стая —
Не пройдешь!

И старушка вновь оттерта.
Но среди толпы такой
Все же выглядит главой
И плюется, как от черта...
Бог ты мой!

Уж собаки лают хором.
Вот и женщины из хат
Выбегают все подряд,
Старики бредут к заборам —
И глядят.

«Что случилось? Что такое?»
«Просто дети, как всегда...
Уж такие их года».
«Вот нашествие лихое!
Вот орда!»

1896

ПЕСНЯ

Забежал в деревню волк,
На проказливых детишек,
Непослушных ребятишек,
Он зубами щелк да щелк.
Заглянул и к нам в ворота,
Вышла я к нему с прутом:
  «Я сочту твои все зубы,
  Я спущу с тебя три шубы.
  Приласкаю так, что любо».
  Я к нему. А он — бегом.

Нищий проходил вчера,
Спрашивал: а кто тут плачет?
Он таких в мешок упрячет,
Унесет их со двора.
Заглянул и к нам в ворота.
Говорю: «Зачем пришел?
  Жаль тебя. Да ведь сама-то
  Лишь сыночком я богата.
  Птенчик — радость нашей хаты».
  Нищий дальше и побрел.

Заявился к нам купец.
Дескать, покупать он будет
Тех, которых мать не любит;
Денег полный даст ларец.
Заглянул и к нам в ворота,
Я — браниться: «Ты зачем?
  Королевскою казною
  Заплати хотя бы втрое,—
  Не продам дитя родное».
  И ушел купец ни с чем.

1896

МАМИНА ДОЧЬ

Та песнь, что из-за Олт-реки
К нам парни занесли весной,
  Полна была тоски.
Дочь тихо пела, как жестоко

Сгубил цветы палящий зной,
Как ветер клонит дуб густой,
И о любви... О грешной — той,
    Пришедшей издалека.

Дочь шила, выйдя на порог.
Но мнилось ей — прохожих взгляд
    И холоден и строг.
Ей светлый день казался длинным,
И дом, казалось, ей не рад:
Зашла туда — и вмиг назад...
Но нынче даже милый сад
    Был грустным и пустынным.

В тени хотелось ей прилечь,
Но в дом вошла она опять
    И затопила печь...
Отец вернулся с поля вскоре,
С базара возвратилась мать.
А дочь могла лишь зарыдать
Ребенку малому под стать —
    Так сжало сердце горе.

«Ты что ж не ешь? Ты не больна?»
«Мне плохо... Плохо!» — И пошла
    Вдруг из дому она,
Понурив голову уныло.
Что дочь отцу сказать могла?
Ворча, взял хлеб он со стола...
И только мать все поняла —
    И вслед ей заспешила.

Затихли их шаги давно...
Остыла на столе еда...
    Отец взглянул в окно,
Дал волю нараставшей злобе:
«Опять пропали... Так всегда!
Зачем ушли они? Куда?
Какая там еще беда?
    Иль помешались обе?»

Он ждет, не по себе ему...
Ломоть швырнул — и вышел вон,
    В густеющую тьму:
«Что надо ночью во дворе им?..»

Дом обходя со всех сторон,
Споткнулся о полено он
И вспыхнул, болью распален:
«Задам сейчас обеим!»

Но чуть лишь миновал забор —
Вся ярость отлетела прочь
И помутился взор:
Он увидал, ошеломленный,
Как обнимались мать и дочь,
Рыданья силясь превозмочь,—
И на душу, как лед, как ночь,
Лег плач их похоронный.

1896

ДЕЦЕБАЛ ОБРАЩАЕТСЯ К НАРОДУ

Что стоит жизнь? Она пуста,
Коль не сбывается мечта.
Родясь, спознались мы с бедой,
Теперь палач грозит лихой,
Нас ждет ярмо и свист кнута,
Иль мало нам беды одной?

Что мы? И отпрыски богов
Услышат смерти грозной зов.
Кто юношей, кто стариком —
Все, как один, мы в гроб сойдем.
Но выступать с осанкой львов
Не лучше ль, чем ползти ползком?

Нет, тот, кто ропщет, нам не друг,
Не надо нам его услуг.
Для нас он раб, он подлый трус,
Чью спину давит страха груз,
Рождает ропот лишь недуг,
И точит яд его укус.

Сумеет робкий промолчать,
У мертвых на устах печать.
Но мы, живые, любим смех,
Смеяться в смертный час не грех:
Наш смех в раю не даст скучать,
В аду он взбудоражит всех.

Смеешься — и твоя рука
Непобедима и дерзка.
Смеясь, ты вызов шлешь судьбе,
Ты богом кажешься себе.
Пусть ужас леденит врага —
Ты крепнешь и растешь в борьбе.

Что римляне? Они не в счет.
Пускай Замолксе сам придет,
И боги шествуют за ним —
Мы землю нашу не дадим.
Мы скажем: «Здесь наш пролит пот,
Идите к небесам своим!»

Кого пугает жаркий бой,
Пусть возвращается домой:
Нам хватит от судьбы обид.
Берите меч, берите щит,
Пусть жалкий трус покинет строй
И скрыться с наших глаз спешит!

Довольно! Сила не в словах,
Вы дали клятву на щитах.
Исход зависит от бойцов:
Не полагайтесь на богов;
Они далеко, в небесах,
А на земле не счесть врагов!

1896

БАЛЛАДА

Что сделала я, мама,
В чем ты винишь меня?
Однажды на закате
С ним повстречалась я.
Он в шутку сжал мне руку —
А почему б не сжать?
Ведь я же не ребенок,
Чтоб шутки не понять!
Что было делать, мама,
Кричать ему: «Уйди»,—
Иль разреветься просто?
Сама ты посуди!

Так почему же, мама,
Меня во всем винят?
Купила ли на праздник
Ты новый мне наряд?
А если он на праздник
Мне пояс подарил —
Так я же не просила,
Он сам его купил.
Зато не замарашкой
Я в этот день была.
Так посуди же, мама,—
Что сделать я могла?

Ведь я не заслужила
Упрека твоего.
Случайно на дороге
Я встретила его.
Он батюшкиной хворью
Обеспокоен был.
И про твое здоровье
Спросить не позабыл.
Так если кто-то хочет
Вам передать привет,
По-твоему, я грубость
Должна сказать в ответ?

Зачем твердишь ты снова,
Что я всему виной?
В тот раз переходила
Я мостик ледяной.
И так меня он обнял,
Что не могла вздохнуть,
И крепким поцелуем
Не задушил чуть-чуть.
Я вырваться хотела,
Ей-богу. Только вот —
Могли мы поскользнуться
И угодить под лед.

И все-таки ты хочешь
Найти за мной вину.
Сама искать корову
Послала в лес одну!

Попался он навстречу —
Какая в том беда?
Узнал, что в лес иду я,
И проводил туда.
Так что ж мне было делать?
Кругом такая тьма!..
Волкам корову бросить?
Ну посуди сама!

1896

ИЗ ГЛУБИН

Звезда из безграничной глуби
Взошла на небе ввечеру.
Недвижно-скорбные светила,
Пылая, смотрят на сестру.

Ее в пространства ледяные
Швырнули с первых дней, и вот
Она все мчится, мчится, мчится,
Летит, но к цели не дойдет.

В ночи разбуженные солнца,
Пытаясь на судьбу пенять,
Хотят стряхнуть оцепененье
И дрожь холодную унять.

Они тоскливо озирают
Летучей странницы следы...
Ах, если б им помчаться тоже
Путем стремительной звезды!

Ведь в пустоте с начала мира
Они висят средь тишины,
В потоке времени навеки
К своим местам пригвождены.

Им невдомек, что, горько плача
Над счастьем призрачным своим,
Звезда завидует смертельно
Тому, кто вечно недвижим.

1896

ЛЕГЕНДА О ЛАСТОЧКЕ

На зорьке, в ранний час,
Поет, щебечет ласточка
Под крышею у нас.
...Она была не птицей,
А статною девицей,
Невиданной красавицей
И дочерью царя.
Как цветик, расцветала,
Как солнышко, сияла,
Приветливо и радостно
Улыбкой всех даря.
И вот уж о царевне,
Как новость по деревне,
Бежит молва — из уст в уста,
За горы, за моря...

Над лугом ястреб взмыл;
Зовет на помощь ласточка,
Кричит — и нет уж сил.
...Разряжены, богаты,
Шли чередою сваты.
Слетались женихи к дворцу,
Как стаи журавлей.
И плакала бедняжка:
«Ах, как на сердце тяжко!
Страшусь не свадьбы, матушка,—
Чужбины. Пожалей!»
Но мачеха сурово
Свое сказала слово —
И едет дочь немилая
Вдаль от родных полей...

Уснул под снегом луг;
Отбилась птица-ласточка
От стаи, от подруг.
...Где волны с ветром бьются —
Там корабли несутся,
Увозят дочку царскую
В далекую страну.
Она, с тоской во взоре,
Взглянула в сине море

И перстень с пальца бросила
В холодную волну.
«Жених жестокий! Помни:
Коль не вернут кольцо мне,
Перед тобою уст своих
Вовек не разомкну!..»

Разрушен птичий дом:
Лежат птенцы убитые
На камнях, под гнездом.
...За морем, на чужбине,
Крушась о злой судьбине,
Послушна повелителю
Страдалица-жена;
Тоску глубоко прячет,
Не сетует, не плачет,
Но клятву над пучиною
Не зря дала она:
Покорна, как овечка,
Да только — ни словечка;
Молчит, как будто заживо
Давно погребена...

На круче, у реки,
Подстерегают ласточку
И когти и силки.
...Довольные собою,
Веселою толпою
Пришли рабы к властителю —
И слышит весь дворец
О дивном их улове:
Вот в пятнах рыбьей крови
Кольцо; как не узнать его
Из тысячи колец!
Король спешит с находкой
К своей супруге кроткой —
Сказать, что немоте ее
Настал теперь конец...

Над лесом грянул гром;
О землю бьется ласточка
С поломанным крылом.
...К жене придя с улыбкой,
Рукой, от крови липкой,

Король к себе привлек ее:
«Твое кольцо нашли!»
Погладил плечи, шею...
Но что случилось с нею?
Рабы уж не напрасно ли
Тот перстень принесли?
Ей ветер вскинул руки,
И с криком, полным муки,
Она, как птица, трепетно
Метнулась от земли.

И диву все дались,
Когда взлетела ласточка
В синеющую высь.
Порхнула в мир просторный
В своей одежде черной,—
Всегда на королеве был
Лишь траурный убор...
С тех пор над речкой, в поле
О тягостной неволе,
О днях молчанья ласточка
Ведет свой разговор;
О доле, ей сужденной,
О ласках обагренной
Руки. На шее ласточки
Кровавый след с тех пор.

1896

ПЕСНЯ РЕДУТА

Все в редуте — львов смелей!
Вон они — башибузуки,
Их шаги, их речи звуки...
Кто ж над их ордою всей
Старший? Стрымбэ-Лемне, что ли?
Нет, пожалуй, что поболе:
Старший — Чяка-Пака-бей.

Всем цена им — пять за грош.
Храбрецы, и в полном блеске,—
Только больно скачут фески,
Как затреплет душу дрожь!

Ноги к носу им пригнуло.
В три погибели свернуло...
Да... К таким не подойдешь!

Голый голому под стать:
Прибавляет им отваги,
Что дерутся голы-наги,—
Так, мол, легче воевать!
Ой, браток! Храбры, а сами
Так и лязгают зубами,
Видно, точат — нас кусать!

А Осман, их господин,
Под дырявые ошметки
Заказал себе подметки,
Сел на палку, сам один,
И успел-таки до ночи,
Погоняя что есть мочи,
Переправиться в Вадин.

Крикнул: «Черти! Придушу!
Платят вам не по работе,
Даром плов казенный жрете.
Всех раздену, иссушу!
Эй, Ахмет-Махмет, иль как там!..
Живо! Марш прямейшим трактом!»
Люди слушают пашу,

Сами шепчут: «Поглядим!
Раздевать того нелепо,
Кто и так уж гол, как репа».
Да как гаркнут: «Чок селим!» —
Сами ж телом и душою
Все дрожат перед пашою —
И добавили: «Летим!»

Турков двигается рать,
Поднялась в одну минуту.
И румынская — к редуту.
Нам ли могут помешать?
Капитаны, янычары
Растеряли шаровары —
Трудно в гору-то бежать!

Наши пушки без конца
Им гремят: «Куда вас гонит?
Ни чужой, ни свой не тронет,—
Нет такого удальца!
Табачку бы лучше дали!» —
И, представь себе, кидали:
Турки — добрые сердца.

Тоже голый, на юру,
Я, служивый Пэвэлоя,
Мок и пел. Поем, не ноя,—
Нам и голым по нутру
Песня! «Поздно или рано,—
Думал я,— словлю Османа
И рубаху отберу!»

1898

УМИРАЮЩИЙ

Последним багрянцем играя,
К вершинам уходит закат,
В долине — прохлада сырая.
Забытый своими солдат
Там бьется, хрипит, умирая.

Все кости раздроблены. Клубы
Тумана плывут над ручьем.
Напиться!.. Хоть каплю одну бы!..
Добраться, достать — рукавом
Смочить посиневшие губы...

Но слабо рука шевелится,
И кровь на шинели густа.
Уж сутки он жаждой томится,
Уж сутки за ветви куста
Пытается он ухватиться.

Вода. У воды — незабудка.
До льющихся струй — только шаг.
«Как пес, издыхаю!!!» И чутко
К хрипенью прислушался мрак.
Молчанье глубоко и жутко.

Приподнял разбитое тело —
Ценою такого труда!
От муки лицо побелело.
Он слышит, как плещет вода...
Нет сил, и рука онемела...

И, челюсти стиснув, свалился,
Опять до воды не достав.
В колючем ознобе забился...
Вцепившись зубами в рукав,
Тяжелой шинелью укрылся.

Заря на горах догорает...
Что шепчет в беспамятстве он?
Он молится иль проклинает?
Был парень красив и силен,
И вот — молодой — умирает.

Качаются сонные буки...
Он больше не кличет своих.
Недвижны холодные руки.
Вздохнул он глубоко и стих:
Со смертью окончились муки.

Венцы золотые надели
Леса на вершинах холмов,
А ветер баюкает ели,
Поет среди старых дубов,
И воды ручья заблестели.

Скользя в бесконечном просторе,
На мертвого смотрит луна.
Была она красной, но вскоре
Бескровною стала она:
То жалость иль, может быть, горе?..

1899

БЕЗДЕЛЬНИК

Слагаешь ты дойну, спокойный
Мой лес,— и по нивам плывет,
В пшенице звенит эта дойна.
Она в ручейках зажурчала;

Весь мир без конца и начала
Ту дойну поет.

Прохладно под сенью платана,
Холмов потемнела семья,
А тучи плывут неустанно —
Лучом они тронуты чистым:
Одел он венцом золотистым
Лазури края.

Гляжу, как ширяет простором
Орел, обитатель небес,
Уже он не больше чем ворон,
Уже он не больше ладони...
В лазурном колышется лоне —
И вовсе исчез.

Стук дятла мне слышен все время
И звонкие щебеты птах:
Слетелось крылатое племя!
А в золоте спелой пшеницы
Жнецы и веселые жницы,
Лучи на серпах!

А тучи, светлея, темнея,
Растут и меняются вмиг:
Вот пасть ядовитого змея,
Орлы и орлицы седые,
Строптивые кони гнедые
Из глубей морских!

Плывет по волнам чудо-юдо,
А гном — бородатый чудак —
(Взялась только сила откуда?)
Хохочет, деревья корчуя!
Темницу, где корчится Груя,
Ломает Новак.

И сказочный волк завывает,
И ведьмы танцуют потом,
А баба-яга убивает
Бойца-силача земляного;
Конь-солнце взвивается снова...
Дракон под мостом!

Тянусь я к прекрасной Иляне,
Красы ее ласкова власть!
А феи скользят по поляне,
Купаясь во влаге заветной;
Пытается витязь рассветный
Их платья украсть!

Но вот мальчуган светлокудрый
Явился — нет краше лица!
Ребенок спокойный и мудрый,
Вечернею тишью рожденный,
Блаженный, умиротворенный,
Сидит у крыльца.

Шагает он травкой и ряской,
Спускается горной тропой,
Ко мне подбегает с опаской,—
Глядит из трущоб и расселин
И снова бросается в зелень,
Сын дремы слепой.

Он рядом — и лобик невинный
Склонился к челу моему,—
Мерцающею паутиной
Он веки мои покрывает.
Усталые очи лобзает:
Плыву я во тьму!

Его не спугнуть я стараюсь,
Он словно грозит мне: «Не тронь!»
Глаза протереть я пытаюсь,
А он, улыбаясь туманно,
Кладет мне на голову — странно —
Мою же ладонь!

Скрывается он в кукурузе,
Уткнувшись в ладони лицом;
Не веря сонливой обузе,
Стараюсь поднять свое тело;
Но веки полны до предела
Дремотным свинцом!

А ветер в пшенице хлопочет,
А дойна вселилась в сердца,

А лес униматься не хочет,
А воды журчат по долинам,
По руслам привольным и длинным, —
Журчат без конца!

1900

ЛЕСНАЯ СВАДЬБА

Пир веселый и богатый
    Шел среди ветвей.
Собралась родня и сваты —
Свадеб на сто бы хватило!
Свадьбу много посетило
    И других гостей.

А когда же было это?
    Я не знаю сам,
Ждите от других ответа.
Что вы к бедняку пристали?
Знаю только — угощали
    Всех на славу там.

Перепелка вперевалку
    Через лес и дол
Пронесла калач и палку.
Полем шла; в траве шуршала;
Всех на праздник приглашала,
    Кто навстречу шел.

«Ты куда зовешь, сестрица?»
    «Празднуем в лесу
Свадьбу. С нами веселиться
Приходи, а то обидишь!
Приглашения, как видишь,
    Я гостям несу».

«Кто жених, хотела б знать я?
    Где его земля?»
«*Певчий дрозд*. Не знаешь, сватья?
Самому царю известен!»
«Чем богат он, кроме песен?»
    «Вон его поля!

А невеста — *горихвостка*,
Чудо красоты!
Платьице — на блестке блестка.
Ходит в шелковом наряде,
А сапожки шьет в Царьграде,
В волосах — цветы!»

«Что ж, на праздник ваш, пожалуй,
Соберусь и я!»
«Обязательно пожалуй!»
И бежит, не уставая,
Перепелка, созывая:
«К нам на пир, друзья!»

Стаи родичей пернатых
С высоты небес,
С гор, болот, полей богатых,
С перелесков и опушек,
Из соседних деревушек —
Все слетелись в лес.

Гости переночевали
В дуплах старых лип,
Вместе с ранней зорькой встали.
На дубу — алтарь. «За дружку...
Эй, вина налейте в кружку,
Что-то я охрип!»

Значит, дружка... Солнца краше
У него наряд.
«Знать, *павлин*?» — «Да, правда ваша!»
За невестой *цапля* встала —
Пава не пришла,— сказала,
Будто умер брат.

Был ли поп? Ну как такое
Спрашиваешь, мать?
Знаешь горло золотое
Жаворонка? Вот старался!
Он у сербов обучался,
Как псалтырь читать.

Пел на клиросе умело
Перепел-певец.
А сорока в хоре пела.

Цапля молодых водила,
Золоченое кадило
    Нес дьячок-*скворец*.

В доме жениха — эй, тише! —
    Хлопоты с утра.
Аист поднял флаг на крыше,
Дятел гвоздь вбивает бойко,
А венки таскает *сойка*,
    Вешать их пора.

В кухне — ссоры, смех и споры,
    Там стряпня идет.
Галка рыбу жарит споро,
Сокол рвет ее на части,
А *щеглы* воруют сласти —
    Уж такой народ!

Мясо *ястребы* хватают,
    Хоть кипит котел,
Острым клювом нарезают
И кладут остыть покуда.
Зяблики таскают блюда —
    Накрывают стол.

Фартук *ласточка* надела,
    Убирает дом.
И *стрижам* хватило дела:
Лавки притащили дружно
И нести на стол им нужно
    Кувшины с вином.

А кому досталось в кружки
    Наливать вино?
Что и спрашивать — *кукушке*!
Что она вещунья-птица
И на речи мастерица,
    Знают все давно.

Выпь дудит на окарине, —
    Шея-то крива,
А сама серей полыни!
Ворон скрипку взял из ели,
Чиж играет на свирели,
    На кобзе — *сова*.

Трясогуски подметали:
В поднятой пыли
Только хвостики мелькали.
Зала — даже князю впору!
И под дубом дружно хору
Все плясать пошли.

Голуби топтались лихо:
Сырба — пляска их.
Отличилась *воробьиха*...
И не вспомнить по порядку!
Сам *гусак* пошел вприсядку,
Вслед за ним жених.

Выпь сцепилась вдруг с *синицей*,
Позабыв трубу.
Еле розняли их птицы.
Чибис за *бекасом* гнался:
«Эй, куда мой жук девался?»
«Он в твоем зобу!»

Было бы вино, а ссоре
Быть наверняка!
Потерял ты зубы в споре?
Ничего, случалось хуже!
Ты не вешай носа, друже,
Из-за тумака!

Сотни клювиков пищали
В зелени густой,
Отвечали эхом дали,
Старый лес казался тесен,
И лился веселых песен
Звонкий разнобой.

«Был ты там?» — Налейте кружки!
Что спросил, дурак!
Я — да не был на пирушке?
Кто когда слыхал такое?
Из скорлупки пил вино я
Да гонял собак!

Я на свадьбе той богатой
Помогал родне,
Нарубил им дров лопатой,
В сите натаскал водицы
И сюда быстрее птицы
Прискакал на пне.

1900

РОЖДЕСТВО В ЛАГЕРЕ

(На поле Смырдана, 1877 г.)

И даже те, кто шутит постоянно,
Полузамерзшие, замолкли ныне.
Их острая тревога безымянна.
Им кажется: они умрут в пустыне,
Куда судьбой заброшены нежданно.

В немом снегу погребена палатка,
Нет ни тропинки, ни дверей, ни неба.
Сидят в парадной форме для порядка,
Сидят, подогревая корки хлеба
Застывшего... Да, им, видать, несладко.

Вот слышен шум вдали. То гул орудий
Иль колокола сельского раскаты?
Сегодня рождество справляют люди.
Заплакал кое-кто... Грустят солдаты,
Их головы опущены на груди.

А дома люди празднично одеты.
Огонь веселый в очаге пылает.
Гостеприимной дружбою согреты,
Пришли соседи. Пес визжит и лает,
И раздаются шутки и приветы.

А на столе — удавшийся на диво
На полотенце хлеб, вино в кувшине.
И дед, всегда сидящий молчаливо,
Здоровья, счастья всем желает ныне
И пьет вино домашнего разлива.

Хозяйка, повязав передник новый,
Все время бегает и суетится,
Для всех находит ласковое слово,
На лавку просит каждого садиться,—
Как бы из сердца создана сплошного.

Ее малыш, растущий понемножку,
Ручонками задвигал в колыбели,
Вот он ко рту подтягивает ножку.
В сиянье солнца тучи заблестели,
И все прильнули весело к окошку.

На улице сверкают даже тучи!
Веселье, праздник, суета, наряды.
И старый дед, чтоб рассмотреть получше,
К стеклу пригнулся... Снежные снаряды
Летят, смеются девушки певуче.

Вот окружили девушки толпою
Толпу парней поменьше. Снега груду
Разворошили, заняты борьбою
Веселою, и снег блестит повсюду —
За пазухой, в кудрях и над губою...

А здесь — пустыня. Вряд ли посторонний
Путь проторит к палатке сквозь сугробы.
Лишь ветер изливает в долгом стоне
Свою тоску, исполнен дикой злобы,
И реют вороны на небосклоне.

1900

ПИСЬМО ИЗ МУСЕЛИМ-СЕЛО

Пусть в добром здравии найдет
Тебя мое посланье.
Здесь ветер воет, дождик льет,
Ненастье — наказанье.
Со мной сын Аны — наш Антон,
Душа да кости, хворый,—
Заплачешь, так он изможден,—
И месяц уж который!

Ты знай, что здесь была война,
Смерть не на шутку, мама,—
Как листья с веток, нас она
Сбивала наземь прямо.
И сам почувствовал я вдруг,
Как пуля подлетела
И,— места не нашла вокруг,—
В груди моей засела.

Но лучше мне уже теперь,
И думаю, что скоро
Передо мной раскроют дверь,
И я увижу горы.
Да, просьба у меня к тебе:
Обрадовавшись сыну,
Не собирай у нас в избе
Деревни половину.

Ох, сколько тут без рук и ног!
Сходи к попу в селенье,
Мне по его молитве бог
Дарует исцеленье.
А если денег нет в дому,
Скажи: когда приеду,
День отработаю ему,
Или сходи к соседу.

Сынка оставил я мальцом,
Годочков трех примерно.
Он стал, наверно, молодцом
И шалуном, наверно.
А шапка есть на пареньке?
Зима уж недалеко...
Овчинка там... на чердаке...
Иль продали до срока?

Теперь жене моей наказ —
Купить косу на славу.
Цела ли старая сейчас?
Была истерта, ржава.
Опять звенела бы коса,
А птица бы кружилась,
Трепал бы ветер волоса,
Трава б к ногам ложилась.

Пусть перебьется как-нибудь
Жена моя, солдатка.
И нам тяжелый выпал путь,
И нам страдать несладко.
Но все же наш разгромлен враг, —
Мы тоже не из слабых.
Мы шли вперед за шагом шаг,
Преследуя арапов.

Они укрылись под землей,
Но бились мы нехудо;
И, несмотря на нрав их злой,
Всех выбили оттуда.
А император их — Осман
Был нами ранен в ногу,
И сам попался в наш капкан
И с ним арапов много.

Он думал, все мы простаки,
И сможет он, мошенник,
Опять поднять свои полки!..
Наверно, вам священник
Сказал о том немало слов,
Ведь он читал газету...
Как продал он своих волов?
Купил бы... денег нету.

А рана — ох! — болит моя,
Тоска меня съедает.
Домой хочу вернуться я, —
Король не отпускает.
Но буду я в родном дому,
Об этом твердо знаю.
Тогда я крепко обниму
Тебя, моя родная.

. . . .

Так написать просил Ион, —
Его помянем снова! —
Я ждал, покуда жив был он,
И сдерживаю слово.
Господь тебя утешит, знай!
Война не без урона.
Писал ефрейтор Николай,
Друг твоего Иона.

1901

МЫСЛИ

На крылечко после хоры
Вышли девушки гурьбой.
Из цветов они уборы
Разноцветные сплетали
И о чем-то щебетали
    Стайкою цветной.

Ты ж задумалась глубоко,
Ты оставила подруг
И стояла одиноко,
Столб холодный обнимая
И в мечтах не замечая
    Никого вокруг.

Как, любимая, скорее
Мне узнать твои мечты?
Для меня всего милее,
Если ночью молчаливой
На крыльцо свое пугливо
    Тихо выйдешь ты.

Урожай поспел. Платаны
Распевали над рекой.
Ты сгибалась неустанно,
Робко я следил, вздыхая,
Как встаешь ты, залитая
    Солнечной струей.

В поле ты снопы вязала,
Нежно, как ребенка мать,
Сноп к груди ты прижимала.
Подойти мне не терпелось,
Мне, красавица, хотелось
    Ласково сказать:

«Будешь ты женой на диво,
Всех ты краше и стройней.
Сына так же горделиво
Ты поднимешь пред собою;
Станет мать твоя родною
    Матерью моей».

Как-то раз я в божьем храме
На отцов глядел святых.
Бабка старая губами
Ликов их едва касалась —
Знать, старушка не решалась
Потревожить их.

Вдруг увидел я, несчастный:
Скачет белый конь лихой,
Молодец на нем прекрасный,
И его, моя святая,
Ты лобзала, замирая,
Словно он живой.

И подруги за тобою...
Мне б с гвоздя его сорвать
И об стенку головою!
Но скажи мне, отчего ты
До сих пор моей заботы
Не могла понять?

1901

ХОРА

Да, красива молодая.
Нынче брови хмурить грех...
Пой, смычок, не умолкая!
Эту пляску огневую
Я с любимой протанцую —
С той, что лучше всех!

Ветра летнего порывы
Клонят сочную траву.
Вышли девушки на нивы,
И поет лесная птица...
Это все во сне творится
Или наяву?

Парни, в пляс! Ногой упрямой
Землю бей, да не жалей.
Ведь землею этой самой
Рот заткнут тебе однажды, —
Так теперь пусть пляшет каждый
Жарче и быстрей.

Вот уже вступили плавно
В пляску девушки, а тот
С четырьмя танцует — славно!
Говоришь, я злюсь? С чего бы?
У меня хватает злобы
Только на господ.

Бил меня хозяин плеткой,
Вот теперь бы надо мне
По нему пройтись чечеткой,
И сегодня, ради свадьбы,
Сырбу надо станцевать бы
На его спине.

Впрочем, дьявол с ним, чего-то
Не дал бог и так ему...
О другом моя забота —
Кто идет сюда по кругу?
Отойди — мою подругу
Сам я обниму!

Подойди-ка, парень, с флягой,
Но встряхни, открой, проверь,—
Осушу ее с отвагой,
Пожелав тебе сначала,
Чтобы в жизни не бывало
Хуже, чем теперь.

Вот вино! И пляс хороший...
Боже, я тобой храним.
Так не дай мне стать святошей,—
Боже, боже, лучше сделай
Из меня цветочек белый
Девушкам моим.

Старый Дину, непоседа,
Пляшет, грешник,— жди беды!
Прячь жену свою от деда.
Зазевался — и готово:
Ведь не хуже молодого
Он крадет плоды!

Ну, добро! Всего заране
Угадать никак нельзя:

Коль нагрянут басурмане —
Оградимся от напасти;
Если ж нет,— да будет счастье!
Радуйтесь, друзья!

1902

О ПЕСНЕ

К далекой спешишь ли ты цели,
О ветер, мне тайну открой!
«По вольным просторам кочую,
Я слушаю песню святую,
Пою эту песнь и тоскую
На кручах ночною порой.
Свистят эту песню метели,
В лесу разгулявшись зимою,
А летом деревья со мной
Поют и трепещут листвою».

Спешишь ты к неведомой цели,
Куда тебя, туча, влечет?
«Я дойне печальной внимаю,
Друзей в небесах я встречаю
И с ними в пути подпеваю
Той песне, что ветер поет.
Журчат, разливаются трели,
И песня стремится ночами
К луне в бесконечный полет,
А в грозы грохочет громами».

Спешишь неустанно ты к цели,
Куда ты несешься, ручей?
«Я, странник безвестный и скромный,
Бегу по тропинке укромной,
Слежу я за тучей бездомной
И песню пою вместе с ней,
Подобную нежной свирели.
Когда ж низвергаются грозы,
Я с тучей реву средь полей
И в гневе шлю миру угрозы».

К какой же стремишься ты цели
О чем твои думы, поэт?

«Я ветру внимаю, и тучам,
И лесу, и водам текучим,
Я вторю их песням могучим,
Народы поют мне вослед.
Те песни весь мир облетели,
И в сердце живет у поэта,
Счастливей которого нет,
Душа изумленного света».

1902

КРЕПОСТЬ НЯМЦУ

Строчка, воском залитая,
Не всегда ясна для глаз.
Я сижу четвертый час,
Книгу ветхую листая,
Где о Нямцу есть рассказ,
Что воздвигли в годы оны
То ль германцы, то ль тевтоны.

Развалилась крепость эта.
Где она? Почем мне знать!
Никому не отыскать
На такой вопрос ответа,
Хоть готов я лею дать,
Коль найдешь. Ты зря не смейся,
На учебник не надейся!

Лучше слушай. Солнце встало,
И спустя минуты две
С комендантом во главе
Войско Нямцу возле вала
Все расселось на траве,
Собрались согласно книге
В ожиданье мамалыги.

Положил Гузган проворно
Мамалыги в котелок...
Вдруг на башне в звонкий рог
Стал Тэун трубить упорно.
«Не свихнулся ль паренек?
Расшумелся!» — «Ну и что же? —
Мамалыги хочет тоже!»



Джеордже Кошбук

Тут бойцы взглянули в поле:
Видят — туча войска там.
«Эй, скажи, Истрате, нам,
Что за люди? Турки, что ли?»
«Ляхи!» — «Что им, дуракам,
Делать нечего? Явились!
Мы ж еще не подкрепились!»

Ян Собеский и поляки,
Сбившись в темноте с пути,
Не смогли ночлег найти.
Всякий князь — любитель драки,
Рад в Молдову был зайти,
Следуя веленьям моды,
Если ехал он на воды.

Отправлялся же в дорогу
Без съестных припасов он,
Как-то требовал бонтон,
Угощаясь понемногу
Там и тут. Но Ян — умен,
Взял в дорогу фуру сала,

Только фура та отстала.
И король, голодный, грустный,
С войском, подтянув живот,
Возле крепости бредет.
Мамалыги запах вкусный
Разлился кругом. И вот
Вдруг король пошел потише,
Поднимая нос повыше.

«Штефан-князь меня, наверно,
В крепость пригласит на пир!»
«Лучше не надейтесь, сир:
Сущий черт он и безмерно
Скуп, как знает целый мир».
«Нам не даст? Заломит цену?
Мы иль он спасали Вену?

Я не голодал доныне! —
Ян разгневанно сказал.—
Дудки!» Глупый генерал
Тут поддакнул по-латыни:

«Войско выше всех похвал!»
Быстро развернули знамя,
Стало войско под стенами.

Пушка заревела дико.
«Чтоб им! Да никак — картечь!»
«Эй, ребята, нужно лечь!
Кырлэнаш, башку пригни-ка.
Береги котел, Берхеч!
Ставь поближе, на середку.
Спанчиок, заткни-ка глотку!»

Нямцу лихо отвечала
На стрельбу врага стрельбой.
Комендант ее, герой,
С волосами, как мочало,
Подпоясанный корой,
Онофрей проверил снова
Прочность каждого засова.

Всю неделю враг стреляет
В стену без еды и сна.
Что стене? Она — стена.
Штефан, черт! Король желает
Ни покрышки им ни дна.
За бревном укрывшись где-то,
Вдаль палит из пистолета.

Видит — это бесполезно,
Так не выйдет ничего,
И не думают его
Приглашать к столу любезно.
Есть хотел он до того,
Что не вынес ожиданья —
Лежа настрочил посланье:

«Ну, откройте! Без закуски
Дольше нам терпеть нельзя.
Даром вам споем, друзья,
Иль исполним марш французский.
Вам не жаль, что гибну я?
Дождь пойдет, промочим ноги...
Сбились мы давно с дороги».

Прочитав письмо, на стену
Вышел Онофрей тотчас.
«Эй, поляки! Впустим вас.
А соврали — за измену
Всех убью я, лопни глаз!
Маршем вашим не прельщайте,
Лучше сырбу нам сыграйте».

Тут засовы заскрипели.
Створки разошлись ворот,
Ян, крестясь, разинул рот
И глазам поверил еле:
Дюжина хромых бредет.
Онофрей воскликнул зычно:
«Эй, бойцы, стоять прилично!»

И глаза протерла свита.
А король в сердцах вопит:
«Черт возьми! Ну, будь я сыт...
Боже мой! Да кто вы?» — «Мы-то
Гарнизон. Один — убит».
Стал король от злости белым —
Хоть пиши им, словно мелом.

«Это из-за вас в канаве
Я лежал? А где же знать?»
«Да почем мы можем знать?»
«Ну, а князь?» — «Кажись, в Сучаве».
«А народ?» — «В Плоешти, знать».
«Черт! Как видно, дело скверно!
Бабы спрятаны, наверно?»

«Бабы? Или вы взбесились?
Мы, как на подбор, честны:
Я лет десять без жены,
Те ни разу не женились...
Значит, бабы вам нужны?
Есть жена у Сбырли в Хуше,
Да обличьем черта хуже».

«Где у вас горшки зарыты
С кладами?» — «Горшки? Вон три.
Только кладов нет внутри —
Пуст один, а два разбиты...

Коли нужно, так бери,
Хочешь — в дар, а то — в трофеи.
Сбырля, дай-ка их скорее!»

«Изрублю!» — Ян хмурит брови,
Но не поднялась рука —
Вспомнил он, что нет клинка
В ножнах. Он его во Львове
В лавке у ростовщика
Заложил за три дуката
И неделю жил богато.

Поспешив забыть об этом,
Рек: «Прощу вас, так и быть!
Что я начал говорить?..
Онофрей! Да ты с кисетом!
Дай-ка, милый, закурить.
Сколько дней терпел я муку!
Сыпь скорее — прямо в руку».

Чиркнул спичкой торопливо,
Затянулся поскорей.
«Как посмел ты, Онофрей? —
Дым пустил кольцом красиво,—
На дороге стать моей?
Всем моя известна слава!
Ты со страху спятил, право.

Ты герой, не протестую.
Ладно, ладно, доказал!
Что ты к шее привязал?
Торбу? Видно, не пустую?
Что в ней? Взял бы показал!
Пули?.. Весит слишком мало...
Может, хлеб, творог и сало?»

«Сала, государь, в ней нету.
Сухари вот да чеснок».
«Что? Чеснок? Какой в нем прок?
Да едят ли пакость эту?
Ладно, не сердись, дружок!
Мы теперь с тобою в мире.
Дай сухарика четыре!»

Страшным голодом томимый,
Стал король их в рот совать,
Войско принялось жевать...
«Онофрей, сынок любимый,
Дай тебя расцеловать!» —
И сидел король, болтая,
Мамалыгу уплетая...

Время бросить мне затею.
Ян потом пошел туда,
А румыны все — сюда,
В дом к Некульче-грамотею.
Села все и города —
Все от Дорны и до Тульчи —
Знают летопись Некульчи.

1903

ЗА СВОБОДУ

Да, мы плачем. Сердце сжато.
Сердцу больно — не за нас:
Мы уж видели когда-то
Небо синее не раз.

Мы о детях: темень злая
Их окутывает здесь,
И растут они, не зная,
Что на свете солнце есть.

Нас одни связали узы,
Нас один сплотил завет.
И поймите, мы не трусы,
Мы не жалуемся — нет!

Да, судьба играет нами,
Да, судьба терзает нас,
Но не сделает рабами
Ни на день и ни на час.

Тот смиряется без битвы,
Кто способен быть рабом.
Нет, не в жалобах молитвы
Мы убежище найдем.

Смотрим прямо мы и пыток
Не страшимся никаких.
Нашей жизни преизбыток
Перейдет потом в других.

Жизнь разрушила и стерла
Не один преступный трон...
Вы схватили нас за горло,
Вы попрали наш закон.

Вы пришли в гордыне пышной,
Словно тяжкая напасть...
О, конечно, не всевышний
Вам дает такую власть.

Нет, не может быть сомненья,
То не божья благодать,—
Вам на власть благословенье
Только дьявол может дать.

Знает мир, по чьим законам,
Видит мир, по воле чьей
Вперемежку с тяжким стоном
Раздается свист бичей.

Свищут плети, сатанея...
Путь сегодняшний тернист,
Но ведь завтра в песнь Тиртея
Превратится этот свист.

Станем мы еще суровей,
Из цепей скуем мечи —
И не только нашей крови
Потекут тогда ручьи.

Час пробьет. Настанет время
Окончательных расплат.
Устоишь ли ты пред теми,
Что от ярости горят?

Окрыляет жажда мести,
Гнев сердца воспламенил.
Удержать потоп на месте
У тебя не хватит сил.

Зло ты сеешь непрестанно.
Ведь ни я, ни кто другой —
Ты своей рукой тирана
Сам конец приблизил свой!

1903

ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ

Как-то из лесу весной
Я принес известье:
Дети, там концерт лесной,
Я пойду и вы со мной —
Все пойдемте вместе.

Что в программе? Чудеса!
Дай — шепну на ушко...
Вот заморских сцен краса —
На гастроли к нам в леса
Прибыла кукушка.

На пастушьей дудке дрозд
Нам сыграет дойны,
Он так нежен, мил и прост,
Среди майских певчих звезд
Самый он достойный.

«Гимн весне» споют певцы
На высоком буке,
Вступят теноры-скворцы,
Полетят во все концы
Сладостные звуки.

Стаи горлиц в хоре том
Заворкуют смело —
Кто сопрано, кто альтом,
И пойдет звенеть потом
Не одна капелла.

Сойки затрещат вокруг,
Запоздав с настройкой,
Оседлав сосновый сук,
Стукнет дятел — тук да тук
В такт их песне бойкой.

Кобзы важно забренчат,
Загудят волынки,
Перепелки щелкнут в лад,
Зяблики заверещат
Звонко, без запинки.

А как певчие дрозды
Всем оркестром грянут, —
Тут плясать на все лады
Под напев живой дуды
И глухие станут!

А потом и мы споем
Песенки по книжкам
Вместе с вольным ветерком, —
Да умчался вечерком
Он далеко слишком...

Ну, так как же, детвора?
Есть у нас лентяи?
Все хотят пойти? Ура!
Поспешим же в лес. Пора.
Ждут нас птичьи стаи.

1905

ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА

Как некий изгнанный владыка
В страну, откуда изгнан он,
Назад стремится в злобе дикой,
Так туч мятежных легион
Мчал ветер с яростью великой.

Он выл, им указуя путь,
Неслась громада их слепая.
Казалось, в душу сея жуть,
Бесчисленная волчья стая
Стремится небо ужаснуть.

Дубравы огласились стоном,
Церквушку молния сожгла,
Колокола с их мирным звоном
Разбила... Страшные дела
Творились буйным легионом.

И вот последовала ночь.
Сгустился ад над окоемом.
Ей, видно, страх не превозмочь
Перед свершившимся разгромом, —
И ночь поспешно мчится прочь.

Умчалась, медлить здесь не смеет.
Лихое воинство ушло
И там, вдали, свой ужас сеет.
А здесь по-прежнему светло
И мартовское солнце греет.

1906

ТРЕХЦВЕТНЫЙ ФЛАГ

Румын, флаг страны твоей синий.
А знаешь ли ты, почему?
Тот цвет — богатеев примета,
Все то, что взрастил ты за лето
При помощи влаги и света,
Они забирают... А ты, брат,
За посох берись и суму!
Терпи! Из любви тебя грабят.
Достаток тебя лишь ослабит,
Он вреден тебе самому.

Румын, флаг страны твоей желтый.
То цвет безысходной тоски
О вас повествует, крестьяне:
Желтеете вы от страданий,
От палок, и пыток, и брани,
От голода, холода, хвори,
А нужды господ велики:
Нужны им попойки, банкеты,
Шелка для любовниц, кареты,
И все за ваш счет, земляки!

Румын, флаг страны твоей красен,
Есть в нем с твоей совестью связь!
В народной тут совести дело:
Она от стыда покраснела,
Ведь горю не видно предела,

А мы погружаемся в грязь,
Решив, что борьба бесполезна...
Откуда ужасная бездна
Меж синим и желтым взялась?

1906

ПОЗАБЫТАЯ ЗЕМЛЯ

Это песня певца позабытой земли,
Он сложил ее грустный, усталый.
Наши праотцы мраморный храм возвели
На столбах, от палящего зноя вдали,
И белели у моря порталы.

«Пусть прославит он предков благие дела,
Пусть потомков являет величье».
Но, как душный самум, роковая хула
По одной из дорог, убивая, пришла,
И пришло по другой — безразличье.

Превратился в развалины мраморный храм,—
В нем убежища ищут олени;
Барсуки с их потомством снуют по дворам;
В галереях безмолвье; скользят к алтарям
Вертких ящериц длинные тени.

Кости предков покрыла дорожная пыль,
И разбиты богов изваянья...
Вам сегодня смешна эта горькая быль,
Но заплачете вы, о презренная гниль,
В день суда, в страшный день воздаянья!

Ночью молния блещет на дикой земле,
Слышен шепот печальный и строгий.
Божества у развалин вздыхают во мгле,
И, пылая от гнева, с тоской на челе,
В небеса устремляются боги.

Их певец на скале, под наружной стеной,
Плачет, жалуясь людям и миру.
Он поет, и душа говорит со струной,
Борода его белою льется волной,
Прикрывая заветную лиру:

«Их поля зарастают колючей травой,
А сердца их безумьем палимы.
Издеваясь над лептою нашей живой,
Не хотят вспоминать, праздник празднуя свой,
Что с трудом их от смерти спасли мы.

Сумасшедших влекут лжепророк, лжемудрец.
Близких, братьев своих ненавидя,
Дарят чуждым богам веру темных сердец
И народу сплетают терновый венец,
В этом наше величье увидя».

О земля забытья, ты чиста и светла,
Я взывать к твоим внукам не буду.
О, когда б ты разверзлась, навек погребла
Заговорщиков гибели, воинов зла,
Что уже появились повсюду!

1907

ПРИТЧА СЕЯТЕЛЯ

Спаситель говорил: «Я знаю, часть пшеницы
Рассыпалась в пути, потеряна для вас,
И сверху ринулись прожорливые птицы,
Поели, унесли с собою про запас,
Но все же я скажу: аминь, жнецы и жницы!
О здешних думаю правителях сейчас.

Другую часть зерна в своем сберег он поле,
Но не было дождя. Тут не его вина:
Посев его погиб, покорный божьей воле.
Засохла в сорняках и третья часть зерна,—
Виновен сеятель: забот об этой доле
Не ведал он. Аминь! Четвертую сполна

Он в почве сохранил и вырастил. И что же?
Сам-сорок получил, сам-шестьдесят, сам-сто!
Но притчу почему ты не закончил, боже?
О подлых умолчал, не рассказал про то,
Как воры к нам пришли, со стаей волчьей схожи,
Как их бичам не мог противостать никто.
Избили пахаря, в свой алчный край далекий
Пшеницу увезли... В том видя божий суд.

Кушак затянет свой потуже, вздох глубокий
Издаст бедняк, и вновь он примется за труд,
Он сеять будет вновь, когда настанут сроки,
Но вновь они придут — пшеницу отберут.
Зачем же, господи, ты карою небесной
Злодеям не воздашь? А тем, чья боль сильна,
Зачем всю истину ты не откроешь честно?
Ты, может быть, молчишь, но гневом грудь полна?
Тебе, хотя ты бог, быть может, неизвестно,
Что плачет горестно румынская страна?

1907

ПОЭТ

С душою народа я слит навсегда,
Пою его горе и славу.
Любая твоя меня ранит беда,
С тобой осушаю я кубок, когда
Тебе преподносят отраву.
Каким ни пойдешь ты нелегким путем,
Один — пусть тяжелый — мы крест понесем,
Подобны мы крепкому сплаву,
И где б ты ни стал со своим алтарем,—
Я свой водружу там по праву.

Я — в сердце народа. Любви его дар
И гнев — неразлучны со мною.
Ты — пламя, я — ветер, вздувающий жар;
Одна у нас воля, единый удар,
Все мерим мы мерой одною.
Всех песен моих ты и цель и родник,
И если хоть слово исторгнет язык
Вразрез с твоей правдой святою,—
Над громом ты властен, ты прав и велик,—
Меня порази немотою!

Что в мире одними превознесено,
Другим представляется вздорным,—
Кому между жизнью и смертью дано
Свой компас поставить, тот знает давно,
Где грань между белым и черным.
Ты — в сердце моем, а твое — мой оплот!

Пусть время страницы судьбы развернет,
Листает их в беге упорном,—
Хоть каплей, я буду всегда, мой народ,
В потоке твоем животворном.

1911

ЗА ЧТО ПОГИБЛИ?

Я вновь о племянниках вспомнил моих,
Их четверо было когда-то.
Сегодня я думал об участи их.
Кого мне жалеть? Чья судьба тяжелей?
Несчастных сестер или их сыновей,
Пропавших в бою без возврата?

Под Красником пал сын одной из сестер,
И мать безутешна в печали.
Вторая ребят своих ждет до сих пор.
Напрасно! От них даже весточки нет.
Сын третьей сестры привезен в лазарет.
Не выживет — в письмах писали.

Я помню: ребята, как травы, росли,
В песке возле дома возились,
Их смуглые лица румянцем цвели;
А как они пели, вечерней порой
По склону холма возвращаясь домой.
Те дни до сих пор не забылись.

И вот окружает их ливень свинца,
Их жизнь трехгрошовою стала,
Сраженные ждут не дождутся конца,
И корчатся в муке последней тела,
Но смерть наступает, а боль отлегла,—
Спокойные спят, как бывало.

И жалость и боль утихают во мне,
И сердце не чувствует горя.
Я вижу племянников словно во сне.
Мне все безразлично, как будто плыву,
И медленно режет корабль синеву
В морском безмятежном просторе.

Не знаю я, шепчут ли трупы во рву,
Но к сердцу слова долетели.
Не то мне приснилось, не то наяву
Бегущих румын я увидел вокруг.
Они что-то ловят, но нет у них рук.
Хотят закричать — онемели.

И кто-то толкает их в гущу резни,
Им всем уготована мука.
Увы! Не за нас погибают они.
Ищу я ответа: «За что же? За что?» —
И чувствую: мне не ответит никто.
Глухое безмолвье. Ни звука.

1914

ВОЛОС, ДАКСКИЙ ЖРЕЦ

Он стар, он много перенес.
Беспомощен, седоволос,
Он с белой бородою длинной
Бредет дорогою пустынной,
Он плачет, согнутый кручиной,—
Никто не слышит слез.

Кругом — сражения поля,
Покрыта мертвыми земля.
Над ним — отара туч густая.
В лесу завыла волчья стая,
Добычу жадно поджидая,
А близко нет жилья.

Он был Митраса верный жрец.
Теперь всему пришел конец.
Почти все даки перебиты,
Разбиты боги, в прах зарыты,
А здесь от ветра нет защиты,
И небо — как свинец.

Воспоминаньями томим,
Он полон призрачным былым,
Когда гремела даков слава,
Когда богата, величава
Была великая держава
И унижала Рим.

Он, Волос, он тебя венчал
На царство, светлый Децебал!
Ты был страны хозяин властный,
А он, семье богов причастный,
Сердцам даруя пламень ясный,
Бесстрашных поучал.

Он честен был, как дак, а их
Боялись все в краях чужих.
Они склонялись пред богами,
Что создали за облаками
Блаженный рай, хоть были сами
Твореньем рук земных.

Недавний сон его обжег.
Раскрылось небо, как чертог,
Христос явился просветленный,
С улыбкой доброй, умиленной,—
Коварный, женщиной рожденный,
Богам враждебный бог!

Да разве он велик и свят?
Он — трус, а перед ним дрожат,
Надели на него заране
Венец терновый, знак страданий,
Трусливы эти христиане,
Презренные стократ!

Смиренья требует Христос,
Он смерть над жизнью превознес,
А на земле, в ее тревоге,
Нужны языческие боги!
Он, жрец, придет, как воин строгий,
Что Риму гибель нес!

Все так, но это сон, мечта...
Что, если тот посол Христа
Был прав? И впрямь его моленье
От бурь спасало населенье,
Несло безумным исцеленье,
И жизнь его чиста?

Нельзя понять, как он сумел
Спастись от копий и от стрел!

Он был обманщиком и вором,
И вот его сожгли с позором!
Явил он разве чудо взорам?
    Остался разве цел?

Он нужен слабым и больным,
А мы должны унизить Рим,
С врагом воюя неустанно.
Затем вино, что всем желанно,
Испить из черепа Траяна
    И хохотать над ним!

Но даки странствуют впотьмах,
Их города — и пыль и прах,
Леса — в крови, кругом — кладбища,
От сел остались пепелища,
И на дороге — их жилища,
    Их гонит смертный страх.

Он бродит в поле, как мертвец.
Тускнеет запада багрец.
Где Децебал, чья рать боролась?
Он слышит бури гневный голос,
И в буре исчезает Волос,
    Последний дакский жрец.

1914

ИОН ЛУКА КАРАДЖАЛЕ

ПОТЕРЯННОЕ ПИСЬМО

КОМЕДИЯ В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Штефан Типэтеску — уездный префект.

Агамемнон Данданаке — политический деятель.

Захария Траханаке — председатель постоянного комитета, выборного комитета, школьного комитета, земельной комиссии и многих других комитетов и комиссий.

Зоя Траханаке — жена Захарии Траханаке.

Таке Фарфуриди, Иордаке Брынзовенеску — адвокаты, члены тех же комиссий и комитетов.

Нае Кацавенку — адвокат, директор-издатель газеты «Карпатский вопль», председатель-основатель кооперативно-энциклопедического общества «Румынская экономическая заря».

Ионеску, Попеску — учителя, сотрудники «Карпатского вопля» и члены общества «Румынская экономическая заря».

Гицэ Пристанда — полицмейстер.

Подвыпивший гражданин.

Слуга.

Избиратели, горожане, публика.

Действие происходит в уездном румынском городке в горной части Румынии в конце прошлого столетия.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Нарядная, богато обставленная приемная в доме префекта. Три двери: в глубине — стеклянная, одна справа — на заднем плане, и одна слева — у рампы. На первом плане, налево, диван и кресло.

ЯВЛЕНИЕ I

Т и п э т е с к у взволнованно ходит по комнате с номером газеты «Карпатский вопль» в руках; он одет по-домашнему. У двери стоит П р и с т а н д а, опираясь на саблю.

Т и п э т е с к у *(заканчивая чтение фразы из газеты)*. «...Позор для нашего города — дрожать перед одним человеком! Позор преступному правительству, отдавшему один из красивейших уездов Румынии в когти вампира!..» *(Возмущенно.)* Это я — вампир?.. Потеха!

П р и с т а н д а *(с той же интонацией)*. Аккурат потеха... Пардон, извините, господин Фэникэ, что осмеливаюсь спросить: бампир... Что это такое бампир?

Т и п э т е с к у. Это... ну, это тот, кто пьет кровь народа. Это я пью кровь народа!

П р и с т а н д а. Вы пьете кровь народа! Ай-яй-яй!

Т и п э т е с к у. Мерзавец!

П р и с т а н д а. Аккурат мерзавец!

Т и п э т е с к у. Щелкопер!

П р и с т а н д а. Аккурат щелкопер!

Т и п э т е с к у. Ну, не бывать ему депутатом!

П р и с т а н д а. Не бывать!

Т и п э т е с к у. Со всеми его учителишками, со всем его чепухологическим обществом!.. Напрасно старается! Если будет не так, пусть мне сбреют усы!

П р и с т а н д а. И мне тоже!

Т и п э т е с к у. Ну, оставим это! Собака лает!..

П р и с т а н д а. Аккурат собака!

Т и п э т е с к у. Так что же ты рассказывал о вчерашнем вечере? *(Садится.)*

П р и с т а н д а. Как я вам уже докладывал, господин Фэникэ *(подходит ближе)*, вчера вечером я слегка вздремнул после ужина... служба-то наша ведь такая... Уж вы-то знаете, у горемыки полицмейстера ни на что нет времени: ни поесть, ни выпить, ни лечь, ни встать, как всем христианам...

Т и п э т е с к у. Разумеется.

П р и с т а н д а. А мне, господин Фэникэ, особенно тяжело... Что тут поделать? Семейство большое, жалованье по штату маленькое, господин Фэникэ. Вот жена мне и говорит: «Попроси-ка гос-

подина префекта, пусть прибавит тебе жалованье, а то совсем пропадешь...» Девять человек детей, ваше благородие! Ни одним меньше. Правительство и понятия не имеет, что делается у человека дома, оно требует! А тут девять душ — и восемьдесят лей в месяц; семейство большое — жалованье по штату маленькое...

Т и п э т е с к у *(улыбаясь)*. Конечно, по штату оно маленькое, это так. Но ты малый не промах. Нет-нет да и прилипнет что-нибудь к рукам. Знаем мы!

П р и с т а н д а. Знаете! Еще б вы не знали, господин Фэникэ, здравия желаю! Уж вам как не знать!

Т и п э т е с к у. Я не возражаю, если это делается с умом... Мне нравится, если чиновник служит с рвением... Особенно если он человек преданный.

П р и с т а н д а. Преданный, ваше благородие, преданный!

Т и п э т е с к у. Я не против, пусть пользуется... тем более если у него большая семья.

П р и с т а н д а. Девять душ, господин Фэникэ, девять, а жалованье...

Т и п э т е с к у. По штату...

П р и с т а н д а. Маленькое. Целую ручку, ваша милость.

Т и п э т е с к у. Ладно, Гицэ... А неплохо у тебя получилось позавчера с флагами! Ловко ты подмахнул карандашом!

П р и с т а н д а *(забывшись, посмеивается)*. Аккурат карандашом! *(Спохватившись.)* То есть как это карандашом, ваша милость?

Т и п э т е с к у. По счету уплачено комитетом за сорок четыре флага...

П р и с т а н д а *(простодушно)*. Правильно.

Т и п э т е с к у. Ну-с? А сколько вывесили? Сорок четыре?

П р и с т а н д а *(решительно)*. Вывесили, ваша милость, все вывесили. Может быть, один-два ветром снесло... но вывесили.

Т и п э т е с к у. Сорок четыре?

П р и с т а н д а. До единого, господин Фэникэ.

Т и п э т е с к у *(посмеиваясь)*. Не мели вздор, Гицэ. Во время иллюминации я проезжал на извозчике через весь город, с Зоей и Захарией. И Зоя, плутовка, говорит: «Давайте посчитаем флаги Гицэ...»

П р и с т а н д а *(с огорчением)*. Весьма сожалею: как раз госпожа Зоя, именно она, от которой, наоборот... мы могли бы, так сказать, ожидать протекции...

Т и п э т е с к у. Она это сказала не с умыслом, а в шутку. Разве мы не знаем, что ты наш человек...

П р и с т а н д а. Ваш, господин Фэникэ, ваш... и мадам Зои и господина Захарии... Ну-с? Так вы сосчитали флаги, ваша милость?.. И сколько же их оказалось? Сорок четыре?

Т и п э т е с к у. Штук четырнадцать, пятнадцать...

П р и с т а н д а. Тогда давайте посчитаем снова, господин Фэникэ. Давайте посчитаем. Два у префектуры...

Т и п э т е с к у. Два.

П р и с т а н д а. Два на площади Одиннадцатого февраля.

Т и п э т е с к у. Четыре.

П р и с т а н д а *(напрягая память)*. Два у примэрии.

Т и п э т е с к у. Шесть.

П р и с т а н д а. Один у мужской гимназии...

Т и п э т е с к у. Семь.

П р и с т а н д а. Один... у женской гимназии...

Т и п э т е с к у. Восемь.

П р и с т а н д а. Один у больницы...

Т и п э т е с к у. Девять.

П р и с т а н д а. Два у собора святого Николая...

Т и п э т е с к у. Одиннадцать.

П р и с т а н д а. Два у префектуры... Четырнадцать...

Т и п э т е с к у *(смеясь)*. Ты уже считал те, что у префектуры.

П р и с т а н д а. Нет, что вы, ваше благородие! *(Продолжает поспешно, не переводя дыхания.)* Два у примэрии — восемнадцать, четыре у гимназий — двадцать четыре, два у собора святого Николая — тридцать...

Т и п э т е с к у *(смеясь)*. Ты плохо считаешь, Гицэ.

П р и с т а н д а. Боже упаси, ваша милость. Сорок четыре, ровно! Один-два, может, ветром снесло или что другое...

Т и п э т е с к у *(посмеиваясь)*. Гицэ... не втирай мне очки.

П р и с т а н д а *(сразу меняя тон, подобострастно)*. Семейство большое... Жалованье по штату маленькое.

Т и п э т е с к у *(посмотрев на часы)*. Ладно, оставим флаги.

П р и с т а н д а. Аккурат оставим, ваше благородие.

Т и п э т е с к у. Что ты хотел рассказать? Только быстрее, я тороплюсь.

П р и с т а н д а. Вот именно, ваша милость. Стало быть, вчера вечером, часиков в девять с половиной, прихожу я домой, закусываю и хочу прилечь вздремнуть маленько, уж очень устал. А жена моя, извините, говорит: «Раздевайся, Гицэ, и ложись спать». А я — нет; я — на посту. Ваша милость, днем и ночью я на посту... Значит, проснулся я часиков в двенадцать — ну, скажем, без четверти,— снимаю, извините, мундир, фуражку, надеваю партикулярное платье и отправляюсь... на пост, ваше благородие. Пока я собирался, смотрю — уж времени-то час после полуночи. Иду по задворкам примэрии, выхожу на пустырь, чтобы выйти к заставе. Вдруг вижу свет в окнах господина Кацавенку, и окна

распахнуты. Забор высокий: если влезть на него, можно достать до окна. О чем я думаю? О долге, ваша милость. Авось, думаю, услышу что-нибудь. Может, пригодится... И тихонько, как кошка, влезаю на забор, а оттуда все видно и слышно, как в театре.

Типэтеску *(заинтересованный)*. Ну и что?

Пристанда. Играли в штосс.

Типэтеску. Кто там был?

Пристанда. Кто мог быть? Учителишки: Ионеску, Попеску, поп Припичь...

Типэтеску. И поп?

Пристанда. Да, поп, и господин Тэкицэ, и Петкуш, и Записеску,— вся шайка. Накурено!.. Дым валит из окошка, как из пароходной трубы. Поп и Петкуш еще играли. Остальные сидели, разговаривали.

Типэтеску. И Кацавенку меня ругал?

Пристанда. Еще как, ваше благородие. Вас... правительство... И подсчитывал свои голоса.

Типэтеску. Учителишки, поп и вся шантрапа.

Пристанда. Аккурат шантрапа.

Типэтеску. Я им покажу голоса!

Пристанда. Но только вот оно как получилось, ваша милость. Слово за слово, Кацавенку вдруг говорит: «Бьюсь об заклад, за нас будет голосовать тот, на кого надеется бампир (я извиняюсь, там вас тоже бампиром называли), на кого, говорит, надеется бампир, как на бога... И когда тот будет наш, тогда все будут наши... Послушайте-ка письмо...» И вынимает из портфеля письмецо... «Ну-ка, говорит, послушайте...» А в это время чертов поп, нечего ему делать, встает и говорит: «Не торопись, душа моя Нае, погоди, и я послушаю, только закурю сигарету». Встает, ваша милость, из-за стола, закуривает, затягивается, идет к открытому окну и бросает горящую спичку прямо мне в глаз... Я отшатываюсь, скатываюсь с забора и падаю на какого-то болвана, который, как на беду, не то проходил там, не то сидел под забором. Болван заорал, и все подбежали к окну... А я, ваша милость, как вскочу и вдоль забора, согнувшись в три погибели, бегу на задний двор примэрии...

Типэтеску *(заинтересованный рассказом)*. А дальше?

Пристанда. Потом я вернулся, конечно; но они уже закрыли окна и опустили шторы.

Типэтеску. Что бы это могло быть? Какое письмо? Не понимаю... Гицэ, я пойду позавтракаю, чтобы не заставлять Захарию и Зою ожидать меня... Они без меня не завтракают, а Захария до завтрака никуда не выходит. Тем более что Зоя такая нетерпеливая.

П р и с т а н д а. Что изволите приказать, ваша милость?

Т и п э т е с к у. Узнай, что это за письмо и о ком там идет речь.

П р и с т а н д а. Слушаюсь, ваша милость.

Т и п э т е с к у. Надо бы по возможности разобраться в этом деле. Не потому, что я опасаюсь дурацких интриг Кацавенку, а потому, что неплохо было бы его обезвредить и потом обработать достопочтенного!..

П р и с т а н д а. Аккурат обработать!

Т и п э т е с к у. Подожди здесь, пока я переоденусь; выйдем вместе. Я хочу тебе еще кое-что сказать.

П р и с т а н д а. Жду, ваше благородие.

Типэтеску уходит в левую дверь.

ЯВЛЕНИЕ II

П р и с т а н д а один.

П р и с т а н д а. Тяжелая наша служба, полицейская... А господин Фэникэ и мадам Зоя еще флаги считают... Права моя бедная жена, когда говорит: «Гицэ, Гицэ, целуй хоть в рыло, да говори, что мило. Сытый голодного не разумеет...» Именно — не разумеет! Вот, к примеру, господин Фэникэ: имение есть, должность есть, госпожа Зоя есть. Житье, брат ты мой! Да еще на деньги Траханаке. А у меня что? Семейство большое, жалованье по штату маленькое... *(Усаживается на стул в глубине сцены.)*

ЯВЛЕНИЕ III

З а х а р и я Т р а х а н а к е, П р и с т а н д а, потом З о я и Т и п э т е с к у.

Т р а х а н а к е *(входит, не замечая Гицэ, который поспешно встает. Траханаке взволнован)*. Что за растленное общество!.. Ни морали, ни принципов, ничего! Расчет, один расчет... Правильно говорит в письме мой сынок-студент. Молод-молод, да разумен, серьезный парень! «Папенька, пишет, там, где нет морали, там продажность, а если общество без принципов, то, значит, оно их не имеет...» Видана ли этакая мерзость! *(Увидев полицмейстера.)* Ты здесь, Гицэ?

П р и с т а н д а. Здесь. Целую ручку, господин Захария.

Т р а х а н а к е. Фэникэ ушел?

П р и с т а н д а. Никак нет-с, господин Захария, он сейчас придет. Мигом! А вот и он!

Т и п э т е с к у *(уже одетый, с шляпой в руке входит из левой двери и изумленно останавливается, увидев Траханаке)*. Захария! Ты вышел до завтрака? Что случилось?

Т р а х а н а к е. Комедия, Фэникэ, сплошная комедия, сейчас расскажу. *(Делает знак, чтобы тот спровадил Пристанду.)*

П р и с т а н д а *(поспешно)*. Изволите еще что-нибудь приказать, ваше благородие?

Т и п э т е с к у. Нет. Не забудь о нашем разговоре. Мы должны разрешить эту загадку как можно скорее.

П р и с т а н д а. Слушаю!

Т и п э т е с к у. Захария, у тебя длинная история? Ты не расскажешь ее за завтраком?

Т р а х а н а к е. Имей чуточку терпения. Зоечка ничего не должна знать. Комедия, Фэникэ, сплошная комедия. *(Усаживается на диване спиной к задней двери.)*

Т и п э т е с к у *(посмотрев на часы)*. Тогда, Гицэ, наведайся к господину Захарии на дом и передай госпоже Зое,— правильно я говорю, дядюшка Захария? — чтобы она не сердилась, если мы опоздаем к завтраку. У нас тут мужской разговор... о политике.

П р и с т а н д а. Слушаюсь, ваша милость. *(Идет к двери в глубине сцены.)*

Типэтеску поворачивается к Траханаке. Когда Пристанда уже на пороге, дверь снова приоткрывается, и показывается голова З о и. Она зовет Пристанду: «Т-с-с! Т-с-с!» — и быстро закрывает дверь. Типэтеску оборачивается и видит Пристанду у двери с правой стороны сцены.

Т и п э т е с к у. Куда ты идешь?

П р и с т а н д а *(делая ему знак, чтобы он молчал, указывая на Траханаке)*. Куда вы изволили приказать.

Т и п э т е с к у *(не понимая)*. Почему ты не выходишь через парадную дверь?

П р и с т а н д а. Да я через парадную. *(Идет к задней двери.)*

Типэтеску поворачивается к Траханаке. Снова приоткрывается правая дверь, и Зоя зовет Пристанду. Типэтеску оглядывается. Гицэ успевает подойти к двери, за которой находится Зоя, и выскакивает из комнаты. Типэтеску, ничего не понимая, пожимает плечами и, возвратившись к Траханаке, усаживается возле него в кресле.

ЯВЛЕНИЕ IV

Т и п э т е с к у, Т р а х а н а к е.

Т и п э т е с к у. Ну-с, дружище, что случилось? Я вижу, ты что-то не в своей тарелке.

Т р а х а н а к е. Чуточку терпения, сейчас узнаешь... Сегодня утром, часов примерно в половине девятого, я даже кофе еще

не выпил, входит ко мне в комнату слуга, подает мне записку и говорит, что ждут ответа. Как ты думаешь, от кого была записка?

Типэтеску. Ну?

Траханаке. От уважаемого господина Кацавенку.

Типэтеску. От Кацавенку?

Траханаке. Что общего у Кацавенку со мной и у меня с Кацавенку? Более того, если рассуждать о принципах, то скорей наоборот!

Типэтеску. Разумеется... Ну и что же?

Траханаке. Погоди, узнаешь. *(Вынимает записку из кармана и протягивает ее Типэтеску.)*

Типэтеску *(читает)*. «Почтенному господину Захарии Траханаке, президенту постоянного комитета, школьного комитета, выборного комитета, земельной комиссии и других комитетов и комиссий. Здесь. Милостивый государь, в интересах Вашей гражданской и супружеской чести просим Вас зайти сегодня между девятью и десятью часами утра в редакцию газеты «Карпатский вопль» и в помещение кооперативно-энциклопедического общества «Румынская экономическая заря», где Вас ознакомят с крайне важным для Вас документом. Преданный Вам Кацавенку, директор-издатель газеты «Карпатский вопль», председатель-основатель кооперативно-энциклопедического общества «Румынская экономическая заря». Ну и что же?..

Траханаке. Имей чуточку терпения! Узнаешь... Я подумал: идти не идти, идти не идти... и решил из любопытства пойти посмотреть, что это за чепуха такая. Быстро оделся и отправился.

Типэтеску. К Кацавенку?

Траханаке. Погоди, узнаешь... Вхожу я к Кацавенку. Он почтительно встает, приветствует меня и предлагает кресло. «Почтеннейший, почтеннейший,— и так и этак,— очень сожалею, что мы как-то охладели друг к другу, потому что я, говорит, всегда вас уважал как главу нашего уезда...» — и всякие другие деликатности. Я говорю: «Уважаемый, вы меня звали, чтобы показать документ. Показывайте документ!» Он говорит: «Опасаюсь, что это будет для вас тяжелым ударом, я должен вас заранее подготовить, вы такой человек...» — и прочее такое, и опять деликатности. Я говорю: «Уважаемый, имейте чуточку терпения, где документ?..» Он снова: «Видите ли, дамы...» Вон куда метнул, мерзавец! Бедная Зоечка! Только бы она не узнала! Она у меня такая чувствительная!

Типэтеску. Что? Он осмелился? Негодяй! *(Встает взволнованный.)*

Траханаке *(останавливая его)*. Подожди, послушай! «Видите ли, говорит, дамы не всегда ценят достоинства и моральные

качества мужа и не всегда проявляют уважение, которое они, так сказать, должны к нему питать...»

Типэтеску волнуется.

Наконец, чего зря тянуть... Я припер его к стене и говорю: «Послушайте, уважаемый, чуточку терпения. Покажите-ка документ!» Он видит, негодяй, что некуда деваться, и вынимает письмецо. Угадай, от кого и кому?

Т и п э т е с к у *(с трудом овладевая собой)*. От кого? От кого, Захария?

Т р а х а н а к е. Погоди, узнаешь. *(Смеется.)* Письмо от тебя к моей жене, к Зое, любовное письмо по всем правилам... А? Что ты на это скажешь?

Т и п э т е с к у *(растерянно)*. Не может быть, не может быть!

Т р а х а н а к е. Я прочел его раз десять. И знаю теперь наизусть! Слушай: «Дорогая моя Зоечка, почтенный (то есть я) уходит вечером на собрание (позавчерашнее собрание). Я (то есть ты) остаюсь дома, потому что ожидаются депеши из Бухареста, на которые я должен немедленно ответить; может даже случиться, что министр вызовет меня к телеграфу. Поэтому не жди меня и приходи сама (то есть моя жена Зоечка) к твоему петушку (то есть к тебе), который тебя обожает, как всегда, и целует тысячу раз! Фэникэ». *(Пристально смотрит на Типэтеску, который до крайности взволнован.)*

Т и п э т е с к у *(совершенно взбешенный, мечется по комнате)*. Не может быть! Я этому мерзавцу кости переломаю!.. Не может быть!

Т р а х а н а к е *(спокойно)*. Конечно, не может быть. Кто бы мог вообразить такую подлость! *(Наивно.)* Изволь, братец, я допускаю подлог, когда можно... Но есть же предел? Ах, Фэникэ, ты бы посмотрел, какая это чистая работа, ты бы сам подумал, что это твоя рука, присягнуть можно! *(Останавливается и наблюдает за Типэтеску, который расхаживает со сжатыми кулаками. Удивленно.)* Посмотрите-ка на него, как разволновался! Ладно, братец, скажи, как я: он подлец — и точка! Что ты так переживаешь? Таков мир, ничего не поделаешь, не нам с тобой его переделывать!

Т и п э т е с к у *(по-прежнему волнуясь)*. Негодяй!

Т р а х а н а к е. Ну-ка, братец, имей чуточку терпения и повторяй за мной то, что я ему сказал: «Ты силен, уважаемый, в макиавеллиевских шуточках, силен — ничего не скажешь, но не на такого напал...» Ведь он, как увидел, что я на это не клюнул,— знаешь, куда метнул? Говорит, если я не придаю значения этому делу, то публика, мол, отнесется к нему по-другому. В воскресенье

письмо будет напечатано в газете и выставлено в витрине редакции, чтобы каждый желающий мог им полюбоваться.

Т и п э т е с к у *(взбешенно)*. Я его пристрелю! Уничтожу! Доставить его сию же минуту сюда — живым или мертвым! — вместе с письмом. *(Бросается к двери.)* Гицэ! Полицмейстера сюда!

Т р а х а н а к е *(бежит за ним следом)*. Имей чуточку... *(Возвращаясь один.)* Горяч, никакой выдержки. А в остальном хороший парень, умница, с образованием. Но уж больно горяч; для префекта это не годится. В обществе без морали, без принципов надо иметь капельку дипломатичности...

Т и п э т е с к у *(возвращаясь на сцену)*. Негодяй! Каналья!

Т р а х а н а к е. Да успокойся, дружище, оставь эти пустяки, у нас есть более важные дела. Вечером собрание. Решено? Выставляем кандидатуру Фарфуриди? Я узнал, что на собрание хотят прийти эти учителишки, Кацавенку, вся их компания, и затеять скандал. Надо предупредить Гицэ, пусть примет все меры. Мерзавец Кацавенку будет вечером выступать против нас.

Т и п э т е с к у *(все более горячась)*. Не беспокойся, старина. Вечером Кацавенку будет не на собрании, а в холодной.

Т р а х а н а к е. Ну что ж, пойдем завтракать?

Т и п э т е с к у. Нет, благодарствую, у меня дела. Иди сам. Передай мое почтение мадам Зое.

Т р а х а н а к е. Хорошо, но к обеду обязательно приходи. Вечером я пойду на собрание, а ты останешься с Зоечкой — ей скучно одной. После собрания у нас преферанс.

Т и п э т е с к у *(рассеянно)*. Хорошо.

Т р а х а н а к е. До свидания, Фэникэ!

Т и п э т е с к у. До свидания, Захария.

Т р а х а н а к е *(идет к двери, сопровождаемый Типэтеску)*. Не волнуйся по пустякам. Таков уж теперь мир. В обществе, где нет ни морали, ни принципов, нельзя кипятиться... надо иметь чуточку терпения... *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ V

Т и п э т е с к у, потом З о я.

Т и п э т е с к у *(ходит по комнате, ничего не видя, спотыкается и наконец падает на стул, хватаясь за голову)*. Что мне делать? Что делать? А Гицэ все не идет!..

З о я *(выходит из правой двери с таинственным видом и приближается к Типэтеску)*. Фэникэ! Фэникэ!

Т и п э т е с к у *(быстро встает)*. Зоя!.. Ты знаешь?..

З о я *(в отчаянии)*. Знаю! Как я несчастна, Фэникэ! Я все знаю... Я была в соседней комнате. Я пришла следом за Захарией,

но не решилась показаться ему на глаза, хотя он и не верит... Я слышала все, все, все!.. Я пропала, Фэникэ. Когда Гицэ уходил, я его позвала и все ему рассказала. Только он может нас спасти.

Типэтеску. Когда ты узнала?

Зоя. Сейчас же после Захарии. Вот. *(Подает ему записку.)*

Типэтеску *(нервно читает)*. «Милостивая государыня, в нашей редакции находится документ, подписанный нашим уважаемым префектом и адресованный Вам. Этот документ мы могли бы Вам уступить в обмен на услугу, которую Вы могли бы нам оказать, используя свое влияние на уважаемого префекта. Будьте настолько любезны, зайдите в редакцию, чтобы уладить этот вопрос в интересах обеих сторон». *(С отчаянием.)* Когда? Когда? Когда ты потеряла записку, Зоя?

Зоя *(сквозь слезы)*. Не знаю. Позавчера вечером, когда я уходила от тебя, она была при мне, а когда пришла домой, не знаю... может быть, ее уже не было... По дороге я вынимала платок; возможно, письмо и выпало,— оно лежало в том же кармане!

Типэтеску. Ах! Какое несчастье!

Зоя. Я отправилась к Кацавенку... Я только что от него. Он согласился отдать письмо, но с условием, что мы обеспечим ему избрание в депутаты. Иначе послезавтра оно будет опубликовано.

Типэтеску *(яростно)*. Борьба не на жизнь, а на смерть! Он хочет нас погубить! Мы должны его погубить! А Гицэ все не идет...

Зоя. Гицэ я послала к Кацавенку, пусть выкупит у него письмо за любую цену.

Типэтеску. Стало быть, Гицэ там?

Зоя. Конечно.

Слышен шум.

Типэтеску. Это, наверно, он... *(Бросается к задней двери, открывает ее и подается назад.)* Прячься... скорее. *(Хватает Зою за руку и выбегает вместе с ней в левую дверь.)*

ЯВЛЕНИЕ VI

Фарфуриди, Брынзовенеску входят с таинственным видом; потом Типэтеску.

Брынзовенеску. Может быть, это не совсем так; может быть, это только маневр... грубый маневр, чтобы напугать нерешительных...

Фарфуриди *(язвительно)*. Почтенного господина Траханаке я сам видел входящим к Кацавенку сегодня, около десяти часов, когда я шел в город... У меня уж такой обычай; нужно с

кем-нибудь встретиться или не нужно — ровно в десять я иду в город.

Брынзовенеску. Ну!

Фарфуриди. Почтенную мадам Траханаке я тоже видел сегодня — она выходила от Кацавенку часов в одиннадцать, когда я возвращался из города... У меня уж такой обычай; ждут ли меня клиенты или не ждут, все равно ровно в одиннадцать я возвращаюсь из города.

Брынзовенеску. Не понимаю.

Фарфуриди. Как же не понимаешь? Ровно в одиннадцать.

Брынзовенеску. Не то, братец. Я не понимаю эти шашни с оппозицией; ты видел сперва Траханаке, потом мадам Траханаке, а я давеча видел полицмейстера Гицэ, он тоже входил к Кацавенку.

Фарфуриди. Ну-с?

Брынзовенеску *(с сомнением)*. Может быть, тут предательство? А?

Фарфуриди. Я иду дальше и говорю: пусть будет предательство, если этого требуют интересы партии, но мы должны об этом знать!

Брынзовенеску. Префект должен нам объяснить эту загадку. Вот и он...

Типэтеску *(входит взволнованный, стараясь держаться непринужденно)*. Привет, привет, почтеннейшие!

Брынзовенеску *(в сторону)*. Он бледен!

Фарфуриди *(в сторону)*. Он покраснел. *(Громко.)* Привет, привет, уважаемый!

Типэтеску *(предлагая им садиться)*. Пожалуйста, пожалуйста, прошу.

Брынзовенеску. Благодарим, благодарим, уважаемый, но мы торопимся, уже около двенадцати.

Фарфуриди. А у меня уж такой обычай: есть ли у меня процесс, нет процесса — все равно около двенадцати я иду в суд...

Брынзовенеску. Вот о чем речь, уважаемый, я буду краток... В городе... говорят...

Фарфуриди. То есть разрешите изъясниться точнее, мне нравится ставить точки над i... Ходят слухи...

Брынзовенеску. Ходят слухи... будто наша партия поддерживает кандидатуру Кацавенку.

Типэтеску *(задетый)*. Какая партия? Какой Кацавенку?

Брынзовенеску. Как это «какая партия»?

Фарфуриди. То есть наша партия: мадам Траханаке, вы, достопочтенный Захария, мы и все наши... будем проталкивать господина Кацавенку...

Типэтеску *(с деланным смехом)*. Кто же это говорит?

Брынзовенеску. Не смейтесь, уважаемый, не смейтесь. Об этом упорно начали говорить...

Фарфуриди. Да что говорить! Уж пошли сплетни!

Брынзовенеску. Господин Траханаке нанес визит господину Кацавенку.

Типэтеску. Ну-с?

Фарфуриди. Мадам Траханаке нанесла визит господину Кацавенку.

Типэтеску. Ну-с?

Брынзовенеску. Господин полицмейстер Гицэ нанес визит господину Кацавенку.

Фарфуриди. Как все это объяснить?

Брынзовенеску. Мы боимся того, что люди начнут говорить.

Типэтеску. О чем говорить?

Фарфуриди. Хотите, я буду вполне откровенен, почтеннейший? Мы опасаемся предательства! Вот в чем дело!

Типэтеску *(поглядев то на одного, то на другого, обращается сердито к Фарфуриди)*. Дружище Фарфуриди, не кажется ли вам, что вы становитесь правовернее самого римского папы?

Фарфуриди *(решительно)*. Да, когда речь идет о принципах, уважаемый, я становлюсь правовернее... впрочем — нет, я не становлюсь, я действительно правовернее самого римского папы.

Типэтеску *(сердито)*. Господа, в моем доме я не допущу таких замечаний, которые для меня равнозначны оскорблению.

Фарфуриди. Не будем горячиться, уважаемый.

Типэтеску. Как же не горячиться, достопочтенный? Вы приходите в мой дом, ко мне, человеку, который пожертвовал карьерой и остался среди вас, чтобы организовать вашу партию (вы не можете отрицать, что без меня вы никогда бы не сумели создать партию), вы приходите ко мне в дом и открыто называете меня предателем... Нет! Этого я не могу вам позволить!

Брынзовенеску *(вынимая из кармана листовку)*. Извольте, вот что распространяют теперь по городу сторонники господина Кацавенку. Напечатано черным по белому, уважаемый!

Типэтеску *(выхватывает у него бумагу)*. Напечатано?

Ф а р ф у р и д и *(вырывает листовку)*. Да, напечатано, извольте... *(Читает.)* «Сообщаем вполне достоверно, что кандидатура нашего политического единомышленника господина Кацавенку, президента независимой группировки, бесспорно не будет подвергаться ударам со стороны властей. Наоборот, мы имеем серьезные основания полагать, что достопочтенный господин Траханаке, председатель выборного комитета, так же как и наш уважаемый и юный префект, наконец убедились в том, что при нынешних обстоятельствах наш уезд не может быть представлен более достойно, чем таким независимым деятелем, как наш друг господин Ка-ца-вен-ку... Господин Кацавенку выступит на вечернем собрании... Комитет независимой группировки...» Что вы на это скажете?

Т и п э т е с к у *(в сторону)*. Нельзя больше терять ни минуты. *(Громко.)* Господа! Прошу извинить, неотложные дела требуют меня немедленно к телеграфу... Прошу извинить... *(Идет к столу, звонит в колокольчик и выходит из комнаты.)*

Б р ы н з о в е н е с к у. Вот оно как быстро.

Ф а р ф у р и д и. Стало быть, пожалуйте за дверь... Так-с?

Т и п э т е с к у *(появляется в глубине, сопровождаемый слугой)*. Где Гицэ?

С л у г а. Я искал по всему городу, господин Фэникэ, его нигде нет... *(Тихо переговариваются.)*

Б р ы н з о в е н е с к у *(вполголоса разговаривает с Фарфуриди)*. Пойдем к Траханаке. Здесь нам уже все ясно. Пошли!

Ф а р ф у р и д и. Брынзовенеску, я опасаюсь предательства... Который теперь час?

Б р ы н з о в е н е с к у. Около двенадцати.

Ф а р ф у р и д и. Около двенадцати? У меня уж такой обычай — всегда ровно около двенадцати...

Т и п э т е с к у *(подходя к ним)*. Итак, господа...

Б р ы н з о в е н е с к у. Мы уходим, уходим, уважаемый, не беспокойтесь.

Ф а р ф у р и д и *(торжественно)*. Мы уходим, но запомните, уважаемый, мы члены одной партии... Как я говорил только что моему другу Брынзовенеску: пусть будет предательство *(с некоторым волнением)*, если этого требуют интересы партии, но мы должны знать об этом... Потому-то я всегда повторяю вместе с нашими великими предками, с Михаилом Храбрым и Штефаном Великим: я люблю предательство *(язвительно)*, но ненавижу предателей... *(Меняя тон, непринужденно.)* Привет, уважаемый!

Б р ы н з о в е н е с к у. Привет!

Т и п э т е с к у. Фу! *(Закрывает за ними дверь.)*



Октав Бэнчилэ (1872—1944)
«1907 год»

ЯВЛЕНИЕ VII

Т и п э т е с к у, З о я, потом подвыпивший г р а ж д а н и н.

З о я *(поспешно выходит из левой двери)*. Ушли? Ты видел, Фэникэ? Ты слышал? А Гицэ все не идет... Фэникэ, Фэникэ, нам угрожает страшное несчастье!

Т и п э т е с к у. Молчи! Кто-то идет. Это, наверно, Гицэ. *(Направляется к задней двери, из которой появляется подвыпивший гражданин.)*

Г р а ж д а н и н *(пошатывается)*. Мое почтение! *(Все время икает и нетвердо держится на ногах.)*

З о я. Это кто такой?

Т и п э т е с к у. Что тебе нужно?

Г р а ж д а н и н. Я?..*(Икает.)* Я избиратель...

Т и п э т е с к у *(нервно)*. Как тебя зовут?

Г р а ж д а н и н. Как меня зовут? Кому какое дело!.. Я избиратель... вот и все... *(Пошатывается.)*

З о я. Он пьян!

Т и п э т е с к у. Черт бы его побрал! Никого нет у дверей, пускают ко мне разных сумасшедших и пьяниц. Убирайся вон!

Г р а ж д а н и н. Нет, я не пьян! *(Улыбается.)* Сударыня... Мы ведь знакомы... Меня знает господин Захария еще с одиннадцатого февраля,.. Оно конечно, мы стоим за господина Кацавенку... Он из опчества... Только вот какое дело... я избиратель... я... *(икает)* домовладелец... За кого я голосую? *(Икает.)* Затем-то я и пришел... *(Шатается.)*

З о я. Выпроводи его, Фэникэ... Он мертвецки пьян.

Т и п э т е с к у *(пробует говорить спокойно)*. Пожалуйста, гражданин, оставь нас сейчас. Поговорим в другой раз...

Г р а ж д а н и н. Почему в другой раз?

З о я. Ах!

Г р а ж д а н и н. А сейчас-то у нас какие дела? Не смотрите, что я тово-с... под мухой... Вот оно как получилось *(икает)*... это же не выпивка, а разливанное море.

Т и п э т е с к у *(нервно)*. Ну, ну, ступай. *(Хочет его взять за шиворот.)*

Г р а ж д а н и н. Я нашел *(икает)* письмо...

Т и п э т е с к у и З о я. Письмо?

Г р а ж д а н и н. Да. *(К Типэтеску.)* Ваше письмецо к госпоже Зое... Я нашел его позавчера вечером по дороге, когда шел с собрания... Вы только подумайте *(икает)*, с позавчерашнего вечера и до сегодняшнего утра — все пью и пью!..

Т и п э т е с к у *(хватает его обеими руками за горло)*. Мерзавец!

З о я. Оставь его, Фэникэ, послушаем.

Г р а ж д а н и н. Оставьте меня, послушайте... Нашел я письмецо раскрыл его, стало быть, из любопытства и подошел к фонарю почитать... Еще не успел кончить, вдруг — хоп! Господин Кацавенку хватает меня за руку. Стало быть, хочет его отобрать...

Т и п э т е с к у *(в ужасе)*. И он забрал его?

З о я *(в ужасе)*. Забрал?

Г р а ж д а н и н. Как бы не так! Я спрятал его в карман. А господин Кацавенку говорит: «Так-с? Состоишь в нашем опчестве, а получаешь письма от префекта, хорошо!» А я говорю *(икает)*: «Вот еще — от префекта!» А он: «Я узнал его почерк... Ну-ка, покажи». Боже упаси! Он — дай; я — не дам. Слово за слово, дальше — больше, потом тары-бары, растабары... Ну и зашли мы хлопнуть по рюмочке... одну, две, три... потом запили пивцом, сдобрили винцом... Господин Кацавенку угощал... а я потягивал. О-о! И выставил же я его на угощении...

З о я. А письмо?

Т и п э т е с к у. Письмо. *(Бросается к нему с криком.)* Где письмо?

Г р а ж д а н и н. Не кричите. *(Икает.)* А то меня мутит... Письмо при мне. Да.

З о я и Т и п э т е с к у *(смотрят на него с недоверием и нетерпением)*. Правда?

Г р а ж д а н и н. Да... Оно у меня. *(Шарит по карманам.)* Эге! Господин Кацавенку предлагал мне за него двести лей. «Нет,— говорю я,— не надо мне денег, уважаемый... Слава богу... я домовладелец *(икает)*... избиратель... *(Икает и продолжает шарить по карманам.)* Словом... я *(икает)*... за кого я должен голосовать? *(Перестает икать.)* Я его потерял! *(Продолжает шарить, решительно.)* Потерял!

Т и п э т е с к у. Что?!

З о я. Кацавенку украл у тебя письмо.

Г р а ж д а н и н. Это, значит, господин Нае? Очень может быть... Я-то потом уснул...

Зоя и Типэтеску всплескивают руками.

Да вы сами подумайте... Наливай пива, подливай вина, наливай пива, подливай вина.. заливай...

Т и п э т е с к у *(хватает его и трясет)*. Негодяй! Что ты сделал!

Г р а ж д а н и н *(падая на стул)*. Не трогайте меня! Не трогайте!

ЯВЛЕНИЕ VIII

Те же и Гицэ Пристанда.

Пристанда *(вбегает запыхавшись)*. Господин Фэникэ! Сударыня!

Типэтеску и Зоя. Гицэ!

Пристанда. Идет! Господин Захария идет!

Гражданин *(икает)*. Господин Захария?.. Молчи. *(Икает.)* Меня мутит...

Типэтеску *(Пристанде, показывая на подвыпившего гражданина)*. Выведи этого дурака, и...

Зоя. И выпусти его черным ходом.

Пристанда *(поднимая подвыпившего гражданина)*. Пошли, гражданин! *(Толкает его направо.)*

Гражданин. Не толкай, меня *(икает)* мутит. Словом... за кого я должен голосовать?..

Пристанда. Поворачивайся!

Гражданин. Не толкай, меня мутит. *(Икает.)*

Пристанда выталкивает его.

ЯВЛЕНИЕ IX

Зоя, Типэтеску, потом Гицэ Пристанда и Траханаке.

Типэтеску *(Зое, быстро)*. Нам нечего опасаться Захарии: он все знает, но ничему не верит... Ты слышала?

Зоя. Фэникэ! Фэникэ!

Появляется Гицэ.

Ну, как, Гицэ? Ты был у Кацавенку?

Пристанда. Был, сударыня... Он с трудом поддается, с большим трудом: двадцать тысяч лей — или депутатский мандат.

Типэтеску. Мы должны арестовать его. *(Решительно.)* Ступай, Гицэ, с полицейским... Живого или мертвого, ты должен доставить его в полицию сейчас же, немедленно. Сию минуту.

Зоя. Фэникэ!

Типэтеску. Ступай!

Пристанда. Слушаю-с! *(Хочет выйти.)*

В этот момент входит Траханаке с видом победителя.

Траханаке. Я его накрыл на новом подлоге!

Зоя *(падает к нему в объятия)*. Папочка!

Траханаке. Зоечка! *(К Типэтеску.)* Она узнала?

Т и п э т е с к у. Она все знает.

Т р а х а н а к е *(ухаживая за Зоей, после того как с помощью Пристанды усадил ее в кресло)*. Эх, братец, разве я не просил тебя молчать? Я-то уж знаю, какая она чувствительная! Вот видишь!

Все ухаживают за Зоей.

Ну-с! Итак, я накрыл уважаемого на новом подлоге... Гицэ, мигом стакан воды!

Пристанда выходит в левую дверь.

Т и п э т е с к у. Какого уважаемого?

Т р а х а н а к е *(продолжает ухаживать за Зоей)*. Эх, братец, имей чуточку терпения... Кацавенку, вот...

Т и п э т е с к у. Что?

Т р а х а н а к е. На новой фальшивке. И что за мошенник!

Входит П р и с т а н д а.

П р и с т а н д а *(подает стакан воды)*. Аккурат мошенник!

З а н а в е с.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Та же декорация, что и в первом действии.

ЯВЛЕНИЕ I

Т р а х а н а к е, Ф а р ф у р и д и и Б р ы н з о в е н е с к у сидят вокруг круглого стола, с цветными карандашами в руках. Они рассматривают избирательные списки.

Б р ы н з о в е н е с к у. Шестьдесят девять — красным, наши... одиннадцать — синим... это ихние...

Ф а р ф у р и д и. Двенадцать.

Т р а х а н а к е. Имей чуточку терпения... Один, два, пять... семь... десять... одиннадцать...

Ф а р ф у р и д и. Двенадцать.

Т р а х а н а к е. Если считать с Енаке Сирипяну.

Б р ы н з о в е н е с к у. С тех пор как он выдал дочку замуж, он не имеет права голоса... Domá-то ведь отошли ей в приданое? Пусть попробует голосовать, попадет в тюрьму, уважаемый.

Т р а х а н а к е. Имейте чуточку терпения... Но если он будет голосовать за нас?

Ф а р ф у р и д и. Это другой разговор... тогда мы все уладим. У него на будущей неделе процесс с церковным управлением. То есть как это — голосовать за нас?

Б р ы н з о в е н е с к у. То есть как это — голосовать за нас?

Т р а х а н а к е. Ну да, голосовать за нас.

Б р ы н з о в е н е с к у. Да вы разве не понимаете, любезный Захария, о чем мы толкуем? «Мы» — это наша партия. За кого мы голосуем, для кого стараемся? Мы ведь еще не знаем этого...

Т р а х а н а к е. Пожалуйста, имейте чуточку...

Ф а р ф у р и д и. Мы же не знаем...

Т р а х а н а к е. Пожалуйста, имейте чуточку...

Ф а р ф у р и д и. Но я иду еще дальше, я повторяю, как уже говорил моему другу Брынзовенеску: я опасаюсь предательства...

Т р а х а н а к е. Какого предательства?

Б р ы н з о в е н е с к у. Мы ведь сегодня пронюхали кое-что...

Ф а р ф у р и д и. Кое-что...

Т р а х а н а к е. Кое-что?

Б р ы н з о в е н е с к у. Уж если что-то есть...

Ф а р ф у р и д и. Что-то есть...

Т р а х а н а к е. Что-то есть?..

Ф а р ф у р и д и. Именно. Пусть будет предательство, если этого требуют интересы партии. Пусть будет так!

Б р ы н з о в е н е с к у. Но тогда о нем должны знать и мы!

Траханаке безуспешно пытается их прервать.

Ф а р ф у р и д и. Потому что я, достопочтенный Захария, говорю, как говорили наши предки, как воевода Мирча, как Влад-Цепеш: мне нравится предательство, но...

Т р а х а н а к е. Прошу, имейте чуточку...

Б р ы н з о в е н е с к у. К черту терпенье! Времени не осталось... Вечером собрание?

Ф а р ф у р и д и. Завтра начинаются выборы?

Т р а х а н а к е. Да...

Ф а р ф у р и д и. За кого же мы голосуем?

Б р ы н з о в е н е с к у. За кого мы голосуем?

Т р а х а н а к е. Имейте чуточку терпения! За кого вы голосовали до сих пор?

Б р ы н з о в е н е с к у. Не понимаю.

Ф а р ф у р и д и. И я не понимаю.

Т р а х а н а к е. Погодите, давайте разберемся.

Ф а р ф у р и д и. Давайте разберемся. Разберемся. Этого мы и требуем.

Т р а х а н а к е. Вы кто такие? Уличные бродяги? Нет!.. Бунтовщики? Нет!.. Заговорщики? Нет!.. Вы, то есть мы все являемся гражданами, почтенными господами. Мы — уважаемые граждане... в особенности мы трое,— мы столпы общества, домовладельцы, члены постоянного комитета, выборного комитета, школьного комитета, комитета по сооружению памятника императору Траяну, земельной комиссии, и так далее и так далее. Мы голосуем за кандидата, которого выдвигает вся наша партия... потому что от нашей партии зависит благополучие страны, а от благополучия страны зависит наше благополучие.

Б р ы н з о в е н е с к у. Оно, конечно, так...

Ф а р ф у р и д и. Это так, однако...

Т р а х а н а к е. Что однако? Кандидатом могу быть и я, и вы, и он, как этого требуют интересы партии. Мы ждем, что имя кандидата назовут с минуты на минуту. Префект вот-вот придет с телеграфа. Ну? Разве телеграф не стучит? Стучит: что ему еще делать? Может быть, сейчас, когда мы тут разговариваем, это имя уже сообщили... По проволоке, почтенный... да, по проволоке, а вы как думали?

Ф а р ф у р и д и. Все гладко, все хорошо и прекрасно, когда вы, сударь, толкуете, но только мы... мы боимся предательства.

Б р ы н з о в е н е с к у. Не с вашей стороны.

Ф а р ф у р и д и. Нет, не с вашей...

Т р а х а н а к е. С чьей же?

Ф а р ф у р и д и. С чьей, с чьей? Вам ли не знать...

Т р а х а н а к е. Не видать мне больше моей Зоечки, если я знаю!..

Б р ы н з о в е н е с к у. Эге, уважаемый, уж слишком простачком вы прикидываетесь...

Ф а р ф у р и д и. Дружище Захария, давайте-ка лучше выложим карты на стол.

Т р а х а н а к е. Выкладывайте, сударь, посмотрим.

Ф а р ф у р и д и. Я сказал, что боюсь предательства... Ну?

Б р ы н з о в е н е с к у. Ну!

Т р а х а н а к е. Ну?

Ф а р ф у р и д и. Ну! Я опасаюсь этого со стороны приятеля...

Т р а х а н а к е. Какого приятеля?

Б р ы н з о в е н е с к у. Какого приятеля, какого приятеля! Вам ли его не знать...

Т р а х а н а к е. Не видать мне больше Зоечки, если я знаю!..

Ф а р ф у р и д и. Опять прикидываетесь...
Т р а х а н а к е. Ей-богу, нет.
Ф а р ф у р и д и. Со стороны приятеля... Фэникэ.
Т р а х а н а к е *(изумленно)*. Что?
Б р ы н з о в е н е с к у. Со стороны префекта.
Т р а х а н а к е *(насупившись)*. Как?
Ф а р ф у р и д и *(отрывисто)*. Мы опасаемся... как бы вам сказать... того, что он якшается с Кацавенку.
Т р а х а н а к е *(все больше возмущаясь)*. С Кацавенку?
Ф а р ф у р и д и. С брехуном...
Б р ы н з о в е н е с к у. С нигилистом...
Т р а х а н а к е *(с трудом сдерживая возмущение)*. С Кацавенку? Фэникэ — предатель! Браво! Это мне нравится. Не ожидал! Дожили!
Ф а р ф у р и д и. Мы-то...
Б р ы н з о в е н е с к у. Мы-то... о чем подумали?
Т р а х а н а к е *(все больше кипятится)*. Имейте чуточку терпения. Я никому не позволю подозревать Фэникэ, никому, понятно! Для меня, уважаемый, это все равно, как если бы начали подозревать мою жену Зоечку...
Б р ы н з о в е н е с к у. Мадам Зою, достопочтенный...
Ф а р ф у р и д и. Мне очень жаль, мы не...
Т р а х а н а к е *(возмущенно)*. Имейте чуточку терпения... Говорю вам: для меня подозревать Зоечку или Фэникэ — это одно и то же... Он — человек, которого я знаю не со вчерашнего дня, я живу с ним душа в душу восемь лет, почти с тех пор, как во второй раз женился. Восемь лет мы живем с ним, как братья, и никогда я не видел от него никакого зла... Вы думаете, что он остался бы здесь префектом и не уехал бы в Бухарест на должность директора, если бы на этом не настояли мы с Зоечкой?.. По правде говоря, Зоечка главным образом и настаивала...
Ф а р ф у р и д и. Оно конечно! Понятно — дамы! У них амбиция...
Т р а х а н а к е *(еще более возмущенно)*. Имейте чуточку терпения. Не из амбиции, ведь он наш друг, а в интересах нашей партии. Кто другой мог бы быть у нас префектом?
Ф а р ф у р и д и. Может быть, кто-нибудь и нашелся...
Т р а х а н а к е. Разрешите вам не поверить. Независимый человек, который оказал услуги партии, уезду, стране... и мне, как своему другу. Да, он оказал и оказывает мне услуги!.. И вот приходите вы — люди из нашей же партии *(тоном порицания)* — и начинаете подозревать, и выражаетесь такими непарламентскими словами... Мне очень жаль...
Б р ы н з о в е н е с к у. Мы, наконец...

Т р а х а н а к е. Имейте чуточку терпения... *(Возмущенно.)* Вот оно что оказывается! Как только вы чего-то не понимаете в политике, бац — тут же предательство! Докатились! Какое общество! Правильно говорит мой сынок-студент: там, где нет морали, там продажность и общество без принципов... *(С возмущением.)* Предательство! Браво! Фэникэ — предатель! Прекрасно! Прощайте! Прощайте, уважаемые! *(Уходит в большом волнении.)*

ЯВЛЕНИЕ II

Ф а р ф у р и д и, Б р ы н з о в е н е с к у. Несколько мгновений смотрят друг на друга.

Ф а р ф у р и д и. Ну-с! Понравился тебе достопочтенный?

Б р ы н з о в е н е с к у. Да-а! Серьезный мужчина! Не поймешь, в чем тут секрет. Надо еще подождать.

Ф а р ф у р и д и. Подождать? До каких же пор ждать? Я уж и так вижу, как вечером, в конце собрания, он встает, звонит в колокольчик и заявляет: «Уважаемые, имейте чуточку терпения: кандидат нашего комитета — господин Нае Кацавенку...»

Б р ы н з о в е н е с к у. Брехун!

Ф а р ф у р и д и. Нигилист! И сразу же — браво, ура, аплодисменты! А завтра-послезавтра полицмейстер Гицэ будет бегать по городу высунув язык и вмиг превратит господина Кацавенку в депутата... Кацавенку, который нас поносил и обливал грязью на всех перекрестках!.. А мы... мы будем стоять сложа руки? Нет, этого не будет!

Б р ы н з о в е н е с к у. Что тут поделаешь? Попробуй потягайся с властями!

Ф а р ф у р и д и. Что делать? Пошлем депешу в Бухарест, в Главный комитет, в министерство, в газеты. Коротко и ясно. *(Выстукивает правым кулаком по левой ладони, как телеграфист на своем аппарате.)* Предательство! Префект и его люди предают партию нигилисту Кацавенку, собираются избрать его депутатом... Предательство! Предательство! Трижды предательство!

Б р ы н з о в е н е с к у *(отрывисто)*. Сильно!.. Слишком сильно! Не подпишу.

Ф а р ф у р и д и *(энергично, тоном упрека)*. Будь смелым, как я! Ты должен подписать! Пошлем анонимно!

Б р ы н з о в е н е с к у. Тогда подпишу.

Ф а р ф у р и д и. Подпишем: «Многочисленные члены партии».

Б р ы н з о в е н е с к у. А если на телеграфе узнают наш почерк?

Фарфуриди. Кто-нибудь напишет за нас.

Брынзовенеску. Кто?

Фарфуриди. Найдем кого-нибудь, кто ее отправит на телеграфе! Пошли!

Брынзовенеску. Как бы чего не вышло...

Фарфуриди *(с упреком)*. Будь смелее! Ведь телеграмма-то анонимная. Который час?

Брынзовенеску. Пять.

Фарфуриди. Надо спешить, ровно между пятью и шестью закрывается телеграф...

Поспешно уходят.

ЯВЛЕНИЕ III

Гицэ Пристанда выходит из правой двери, немного растерянный, один.

Пристанда. Сделал... а все зря. Наложил руку на Кацавенку, натравил на него ребят, а он кричит что есть мочи: «Протестую именем конституции! Это нарушение неприкосновенности жилища».— «Аккурат, говорю, нарушение, а все-таки хватайте его!» И схватили... Притащили в кутузку. Потом на извозчике вернулся к нему на квартиру, все обыскал, взломал полы, разобрал дымоход, заглянул во все щели, а письма не нашел. Вернулся в полицию, обшарил у него карманы — нет как нет. Пригрозил, что есть приказ от господина Фэникэ допрашивать его с пристрастием, как конокрада... Все впустую — молчит. Заявляет, что будет разговаривать только с мадам Зоей... Ищу ее и не могу найти: дома нет, здесь тоже нет... А, вот и она. Сударыня!

ЯВЛЕНИЕ IV

Пристанда и Зоя.

Зоя *(торопливо входит в комнату)*. Как хорошо, Гицэ, что я тебя нашла.

Пристанда. И я искал вас, сударыня.

Зоя. Гицэ, Гицэ, что вы все наделали! Вы что, с ума сошли, что ли? Я узнала от доктора, что ты с полицейскими вломился в дом Кацавенку, схватил его, отправил в полицию, посадил под арест! Как ты решился на это?

Пристанда. Устный приказ господина Фэникэ.

Зоя. Где Фэникэ?

Пристанда. Не знаю. Я сам его ищу.

Зоя. Зачем ты арестовал Кацавенку?

Пристанда. Чтобы отобрать у него письмо.

Зоя. И отобрал?

Пристанда. Нет, сударыня. Уж как я ни искал и у него и на квартире! Наверное, письмо спрятано в другом месте.

Зоя. Гицэ, ты меня погубил! Завтра письмо будет опубликовано, и этот скандал бессмыслен. Учителишки будут издавать газету и без Кацавенку. Что скажет правительство в Бухаресте, когда узнает, что вы нагрянули к Кацавенку и арестовали его накануне выборов? Вы ведь заверили правительство, что все пройдет тихо и мирно. Как сможет Фэникэ остаться префектом?

Пристанда. Госпожа Зоя, я забыл вам сказать. Что я ни обещал, как ни грозился, Кацавенку в ответ одно: зря стараетесь! Он ни с кем не желает разговаривать, кроме как с вами.

Зоя. Со мной? Гицэ, скорее освободи его и проси от моего имени, чтобы он пришел сюда, я его жду!

Пристанда. Только бы господин Фэникэ...

Зоя. Гицэ, если ты дорожишь собой, если ты дорожишь своей семьей...

Пристанда. Как не дорожить, сударыня? Одиннадцать душ!

Зоя. Беги сейчас же, мигом. И не возвращайся без Кацавенку. Будь с ним повежливее! Поезжай на извозчике, торопись!

Пристанда. Слушаю-с!

Зоя. Ты еще не ушел?

Пристанда. Ушел-с!

ЯВЛЕНИЕ V

Зоя одна.

Зоя *(нервно вынимает газету и читает)*. «В завтрашнем номере нашей газеты мы воспроизведем интересное сентиментальное письмо, написанное весьма высокопоставленной особой из нашего города и адресованное одной влиятельной даме. Оригинал будет выставлен с завтрашнего дня в помещении редакции для всеобщего обозрения. На сегодня все. Имеющий уши да слышит». Что еще можно предпринять? *(Ходит в смятении по комнате, вдруг останавливается осененная какой-то мыслью.)* Мы должны избрать Кацавенку. Продолжать борьбу с этим негодяем, который держит нас в руках, было бы глупостью. Фэникэ должен согласиться... должен... И в конце концов, чем Кацавенку не депутат! Не хуже любого другого... Но где Фэникэ? Куда он пропал?

ЯВЛЕНИЕ VI

Зоя и Типэтеску. Он входит через заднюю дверь.

Типэтеску. Зоя! Ты здесь?

Зоя. Фэникэ! Я тебя ждала. Что ты наделал? Зачем арестовал Кацавенку? Как это тебе пришло в голову? Что ты натворил?

Типэтеску *(нервно)*. Что, что? И ты меня спрашиваешь об этом? Ведь это все твоя оплошность! Твоя неосторожность. Можно ли быть такой рассеянной, такой небрежной! Положить любовное письмо в карман вместе с платком и потерять его, как теряешь ненужную бумажку, как теряешь программку, уходя со спектакля... Такого безрассудства я, по правде сказать, не ожидал! Господи! Ты же взрослая женщина, а не ребенок! Такой неосторожности не встретишь ни в романах, ни в театре!

Зоя. Ругай меня, Фэникэ, ругай!.. *(Плачет.)* Да, это так... Я вела себя, как девчонка... Я совершила беспримерную глупость, но теперь ее нужно исправить. Фэникэ, если ты меня любишь, если ты хоть когда-нибудь дорожил мною, спаси меня... спаси меня от позора! Ты мужчина, тебе все равно! Для тебя огласка нашей связи не была бы несчастьем... Но для меня, Фэникэ... Подумай только, подумай! *(Плачет.)*

Типэтеску. Вот потому-то я и принял меры, чтобы обезвредить Кацавенку.

Зоя. Напрасно, Фэникэ. Кацавенку может даже умереть сегодня, но завтра его газета все равно опубликует письмо. Боже милосердный! Как все будут рвать друг у друга газету! Как будут зубоскалить!.. Неделю, месяц, год только и будет разговоров о моем позоре... В городе, где все мужчины и женщины, где даже дети развлекаются сплетнями, даже без повода, а тут — такой повод! Фэникэ!.. Какой будет шум! Какой скандал! А я, Фэникэ, что же мне делать? Умереть? Я умру, если ты этого хочешь... Как жить после этого?

Типэтеску. Тогда, если нет другого выхода... Зоя! Ты меня любишь?

Зоя. Люблю, но спаси меня.

Типэтеску. Убежим вместе...

Зоя *(отступая)*. Ты сошел с ума! А Захария? А твое положение? А скандал, который еще более разрастется и будет преследовать нас по пятам?

Типэтеску *(обескураженный)*. Но тогда нет выхода?

Зоя. Нет, выход есть!

Типэтеску. Какой?

Зоя. Поддержать кандидатуру Кацавенку на выборах!

Типэтеску. Немыслимо!

З о я. Избрать его!

Т и п э т е с к у. Никогда!

З о я. Это необходимо.

Т и п э т е с к у. Только через мой труп! Подумала ли ты о том, что говоришь? Вот телеграмма, которую я перехватил. Ее принес на телеграф мерзавец, который нашел твое письмо, тот самый, вчерашний пропойца. Телеграмма анонимная. Я изъял ее и приказал на телеграфе не передавать больше ни одного слова без моего ведома. Но как распознать шифрованные телеграммы?.. Вот: «Предательство! Префект и его люди предают партию ради нигилиста Кацавенку, собираются избрать его депутатом... Предательство! Предательство! Трижды предательство! Многочисленные члены партии». Нет! Что бы ни случилось, мы не можем поддержать кандидатуру этого негодяя. Нет, нет и нет!.. Надо искать другой выход.

З о я *(подавленно)*. Другого выхода я не вижу, нет другого выхода...

Т и п э т е с к у. Тогда...

З о я. Тогда... *(Сквозь слезы.)* Оставь меня! Покинь меня в беде... пусть я умру от позора... Убей меня! Я так любила тебя, я пожертвовала для тебя всем... И вот до чего ты довел меня! Вот цена твоим клятвам! Ты виновник моей гибели! *(Решительно.)* Я убью себя прежде, чем разразится скандал, сегодня, сейчас, здесь! Ты виновник моей гибели! Ты, который можешь спасти меня, заставляешь меня умереть... *(Плачет.)*

Т и п э т е с к у. Зоя! Зоя!

З о я. Оставь меня!.. Если твое честолюбие, твои политические бредни тебе дороже, чем моя честь и моя жизнь, оставь меня! Я умру... *(Плачет.)* Умру с мыслью, что ты обманывал меня все восемь лет и никогда не любил меня, никогда!

Т и п э т е с к у. Зоя! Подожди, подумаем!

З о я. Фэникэ, нам некогда больше думать! Каждая минута приближает нас к гибели... Ты должен решиться!

Т и п э т е с к у *(борясь с собой)*. Должен решиться! Решиться!

З о я *(сквозь слезы)*. Когда я узнала об аресте Кацавенку, я как сумасшедшая побежала в редакцию. Вот газета, которую выпустил их комитет. *(Протягивает ему газету.)*

Типэтеску читает ее про себя.

Ты понимаешь, чего следует ждать после его ареста?

Т и п э т е с к у. Этот человек играет своей жизнью!

З о я. Не своей, а моей жизнью, он играет, Фэникэ, потому что еще раз говорю тебе... одно из двух: либо ты меня любишь, и

тогда ты должен мне уступить и перестать бороться с Кацавенку, либо я умру. А после моей смерти — будь что будет!.. *(Подавленно.)* Я решилась... *(Внезапно преображается, энергично.)* Да, я решилась! Но я не хочу умирать без борьбы! *(С возрастающей энергией.)* Я буду бороться! И с тобой буду бороться! Всеми силами! С тобой, неблагодарный и бессердечный человек! Буду бороться против тебя. Теперь ты — препятствие, которое мешает мне обрести покой! Да, я решилась, и я должна победить всех и тебя... Я полна решимости! Я приказала Гицэ освободить Кацавенку и пригласила его сюда...

Т и п э т е с к у. Безумная женщина! Что ты наделала!

З о я. Я сделала то, что должна была сделать. Если ты не хочешь поддержать Кацавенку, если ты не хочешь помочь его избранию, чтобы спасти меня, тогда я его поддержу, я изберу его...

Т и п э т е с к у. Как?

З о я. Да, я его изберу. За Кацавенку — я, и следовательно, его должны поддержать мой муж, все его сторонники. Кто борется против Кацавенку, тот борется против меня! Что ж, Фэникэ, борись, уничтожь меня. Ты, который клялся, что любишь... Посмотрим! *(Идет к правой двери.)*

Т и п э т е с к у. Зоя!

З о я. Оставь меня! *(Выходит.)*

Т и п э т е с к у. Зоя! Зоя! *(Идет за ней следом.)*

Одно мгновение сцена пуста.

ЯВЛЕНИЕ VII

П р и с т а н д а и К а ц а в е н к у.

П р и с т а н д а *(появляется в дверях и почтительно пропускает вперед Кацавенку)*. Пожалуйте, господин Кацавенку, пожалуйте... *(Смиренно.)* Уж простите, стало быть, принимая во внимание мою службу, я должен быть весьма *(серьезно)* точным при исполнении служебных обязанностей... Вы лучше меня знаете... Такова уж служба полицмейстера: хоть отец родной, а приказано посадить — посадишь! Ничего не поделаешь: такова служба. Вот потому-то *(умоляюще)* я прошу вас простить меня...

К а ц а в е н к у. Мне жаль, Гицэ, что ты все еще оправдываешься... Как будто мы не знаем полицейских обязанностей. *(Наставительно.)* В конституционном государстве полицмейстер не более не менее как орудие!

П р и с т а н д а. Аккурат орудие!

К а ц а в е н к у. Виновна не рука, которая поражает, а воля, которая приказывает... Я даже написал статью на эту тему. Не знаю, читал ли ты ее?

П р и с т а н д а. Уж, наверное, читал, господин Кацавенку: я-то вашу газету завсегда читаю, как Евангелие. Вы уж не смотрите, что я так... для службы стараюсь... *(Таинственно.)* Другое у меня на душе, хе-хе! Но что поделаешь: семейство большое, жалованье по штату маленькое...

К а ц а в е н к у. И наконец, разве было бы возможно мученичество, если бы не было палачей?

П р и с т а н д а. Аккурат так, господин Кацавенку.

К а ц а в е н к у *(меняя тон)*. Гражданин, не забывай, с каким условием я пришел сюда! Хотя я в доме префекта, но я не желаю с ним встречаться. Я не могу себя так дешево компрометировать. Я явился по приглашению мадам Траханаке и хочу видеть только ее.

П р и с т а н д а. Только об этом и идет речь, господин Кацавенку. Госпожу Зою, только ее... господина Фэникэ и дома-то нет. Пожалуйста, пожалуйста, садитесь, господин Кацавенку, я пойду доложить ей, что вы пришли... *(Хочет уйти.)*

К а ц а в е н к у. Скажи ей, что я тороплюсь вернуться в тюрьму, куда меня бросила ее немилость.

П р и с т а н д а. Слушаю-с. *(В сторону.)* Ну и хитрец! Эх, какой бы из него вышел префект! *(Уходит, бросая украдкой восхищенные взгляды на Кацавенку.)*

ЯВЛЕНИЕ VIII

К а ц а в е н к у один.

К а ц а в е н к у. Наконец! Капитуляция! А разве могло быть иначе? Дорогой, любезный, почтеннейший Захария *(смеется)*, я уже вижу, как он вечером провозглашает меня кандидатом в депутаты!.. *(Серьезно.)* «Цель оправдывает средства»,— сказал бессмертный Гамбетта!.. Любезный Фэникэ, наверное, кусает себе локти... Тем лучше для меня! Потерял голову — тем хуже для него! Арестовывает меня — тем лучше для меня! Госпожа Зоя рассудительнее всех — она зовет меня, и я готов почтительно поцеловать ей ручку... Ничего не поделаешь: это рука, которая даст мне мандат! Но где же она? *(Оглядывается по сторонам.)*

В этот момент в правой двери появляется Т и п э т е с к у. Одно мгновение он остается неподвижным. Кацавенку неприятно поражен.

(В сторону.) Типэтеску! Я предпочел бы встретить Зою!

ЯВЛЕНИЕ IX

Кацавенку и Типэтеску.

Типэтеску *(входит. Лицо у него нахмурено, кулаки сжаты. Он постоял в дверях, потом прошел медленно к задней двери, смерив взглядом Кацавенку. На один миг остановился в глубине сцены; в сторону)*. Поддержи меня, господи!

Кацавенку *(смущенно)*. Милостивый государь, извините меня, что я являюсь к вам, так сказать, неподходящим образом... Должен сказать вам, что ваш полицмейстер привел меня сюда из-под ареста по приказу... и я не ожидал, что встречу здесь вас...

Типэтеску *(в сторону)*. Наглец!

Кацавенку. Видите ли, мне было сказано, что я вызван... Иначе бы я не пришел... Но в конце концов, если я пленник, то я остаюсь... если же свободен,— я ничего иного и не требую,— то сейчас же могу удалиться.

Типэтеску *(который все время нетерпеливо постукивал ногой, подходит ближе и говорит медленно, сквозь зубы)*. Дорогой и уважаемый господин Кацавенку, я не понимаю, почему двое деловых мужчин должны прибегать к таким изысканным приемам и манерным тонкостям, к таким высокопарным тирадам, когда положение и без того ясно. Я из тех, кто играет в открытую. Разрешите вам кое-что сказать. Прошу вас, пожалуйста. *(Предлагает ему стул; в сторону.)* Буду сохранять спокойствие! Как хорошо, что нет Зои.

Кацавенку. Милостивый государь, вам нравится играть в открытую? Хорошо. Мне нравится лаконичность! Раз! *(Рубит рукой.)* Мы можем немедленно разрешить вопрос.

Типэтеску вновь предлагает ему стул, тот его слегка отстраняет.

Благодарю!

Типэтеску *(предлагает стул)*. Пожалуйте, прошу покорно!

Кацавенку *(отстраняет стул)*. Благодарю!

Типэтеску *(пристально глядя на Кацавенку, голосом, напоминающим рычание)*. Прошу покорно!

Кацавенку *(который еще раз отступил, наконец, уступает и безвольно падает в кресло)*. Благодарю.

Типэтеску. Так-с. *(Садится рядом с Кацавенку, тот отодвигается. Типэтеску подвигается к нему. Кацавенку снова отодвигается.)* Итак, сударь, вы — не важно, каким способом — завладели письмом, которое может скомпрометировать честь одной семьи...

Кацавенку *(машет рукой)*. А!

Типэтеску. Простите, если я вас обидел. Буду еще более краток. Вы деловой человек. Вы владеете вещью, которая необходима мне, и вы знаете, как важна она для меня. Я прихожу и говорю вам *(ласковым тоном)*: «Милостивый государь, что вы желаете получить в обмен на эту вещь?»

Кацавенку *(наивно)*. А вы не знаете?

Типэтеску *(ласково)*. Нет.

Кацавенку *(прежним тоном)*. И вам даже в голову не приходит?

Типэтеску. Нет... Потому-то я и спрашиваю.

Кацавенку. Сударь *(с достоинством)*, политический деятель...

Типэтеску. Стало быть, вы...

Кацавенку. Позвольте, политический деятель должен, особенно в таких обстоятельствах, в которых находится наша родина, в обстоятельствах, способных вызвать всеобщее движение, движение, которое если мы примем во внимание прошлое всякого конституционного государства, а тем более столь молодого государства, как наше...

Типэтеску *(нетерпеливо постукивая ногой)*. Прошу извинить меня, уважаемый, но я еще раз... *(Раздельно.)* Что вы требуете взамен письма? Кратко! Кратко! *(Повторяет рубящий жест Кацавенку.)*

Кацавенку. Ну?.. Если так, если вы хотите, чтобы я был краток, то... я хочу *(просительным тоном)*, чтобы вы отказались от борьбы против меня; более того, чтобы вы поддержали мою кандидатуру на выборах...

Типэтеску *(готовый вспылить)*. Вашу кандидатуру! *(Сдерживаясь.)* А не кажется ли вам, почтеннейший, что вы просите слишком дорого?

Кацавенку. Тогда вы должны сказать сами...

Типэтеску *(приближаясь и наседая на Кацавенку)*.

Повторяется предыдущая игра.

Скажите серьезно, не кажется ли вам, что вы слишком многого просите?

Кацавенку *(наивно)*. Нет, мне не кажется.

Типэтеску. А если для любезного господина Кацавенку будет приготовлено местечко в постоянном комитете?

Кацавенку *(добродушно улыбаясь)*. Это пустяки, уважаемый...

Типэтеску. А если тот же господин Кацавенку будет назначен на должность государственного адвоката?

К а ц а в е н к у. Этого мало, почтеннейший...

Т и п э т е с к у. А если на вакантную в настоящее время должность примаря и на место попечителя собора святого Николая был бы назначен тот же господин Кацавенку? А? Каково?

Кацавенку улыбается, отрицательно качает головой.

А если я предложу вам имение «Зэвой», недалеко от города?

К а ц а в е н к у *(улыбаясь, тем же тоном)*. Разрешите, уважаемый... Политический деятель обязан, а тем более в таких обстоятельствах, как те, в которых находится наша страна, обстоятельствах, способных вызвать всеобщее движение, движение *(смакуя и растягивая слова)*, которое, если мы примем во внимание прошлое всякого конституционного государства, а тем более такого молодого государства, как наше, только вышедшего из...

Т и п э т е с к у *(нетерпеливо постукивая ногой и прерывая его)*. Хватит! Оставим фразеологию, сударь! Все это хорошо для разинь. Но я не из тех людей, которые пьянеют от холодной воды... Говорите как мужчина: чего вы от меня хотите? (*Взволнованно встает.*)

К а ц а в е н к у *(тоже встает)*. Чего я хочу? Чего хочу? Вы хорошо знаете, чего я хочу. Того, что мне полагается после такой длительной борьбы; того, что я заслужил в этом городе глупцов, где я первый... среди политических деятелей... Я хочу...

Т и п э т е с к у *(горячась)*. Чего вы хотите?

К а ц а в е н к у *(продолжая)*. Я хочу... Депутатский мандат, вот что я хочу; и ничего другого! Ничего! Вы слышите? Ничего! (*После паузы, меняя тон, просительно.*) Я заслужил его! Прошу вас, не возражайте... поддержите меня... Послезавтра, в тот момент, когда большинством голосов я буду провозглашен депутатом... в этот же самый момент вы получите обратно письмо *(очень тепло)*, честное слово!

Т и п э т е с к у *(готовый вспыхнуть.)* Ваше честное слово? Но если я не могу вам помочь?

К а ц а в е н к у. Можете!

Т и п э т е с к у *(все более теряя самообладание)*. А если я не хочу? Если я не хочу избирать вас?

К а ц а в е н к у *(упрямо)*. Вы должны захотеть.

Т и п э т е с к у *(еле сдерживаясь)*. Вы забываете, что с таким человеком, как я, нельзя играть. Нет! Я не намерен вас избирать!

К а ц а в е н к у. Это необходимо.

Т и п э т е с к у. Нет!

К а ц а в е н к у. Вы должны захотеть, если сколько-нибудь дорожите честью...

Т и п э т е с к у *(не выдержав)*. Негодяй!

Кацавенку делает шаг назад.

Бесстыжая каналья! Не знаю, что меня еще удерживает, чтобы не проломить тебе голову... *(Бросается к стене, хватает палку и бежит к Кацавенку.)* Мерзавец! Ты сейчас же вернешь письмо, ты скажешь мне, где оно... или я убью тебя, как собаку! *(Бросается на Кацавенку. Тот бегает вокруг стола, опрокидывает мебель, подбегает к окну, распахивает его.)*

К а ц а в е н к у *(кричит в окно)*. Караул! На помощь! Вампир убивает меня! Префект — убийца! На помощь!

ЯВЛЕНИЕ X

Т е ж е и З о я (вбегает в комнату).

З о я *(бросается между Кацавенку и Типэтеску; умоляющим тоном)*. Господин Кацавенку, ради бога, господин Кацавенку! Прошу вас, не кричите! Фэникэ! Ты сошел с ума! Господин Кацавенку, прошу вас...

К а ц а в е н к у *(взволнованно)*. Как же мне не кричать, мадам?

Т и п э т е с к у *(устало падает на стул, вытирая пот со лба)*. Негодяй! Негодяй! Негодяй!

З о я *(умоляюще)*. Господин Кацавенку, я прошу у вас прощения за горячность, которая заставила Фэникэ забыться.

К а ц а в е н к у. Извинениям здесь не может быть места, мадам. Я должен немедленно уйти отсюда: я не могу больше ни минуты находиться в доме, где моя жизнь в опасности.

З о я. Господин Кацавенку, в конце концов вы практичный человек, вам безразлично, от кого придет то, что вам необходимо.

К а ц а в е н к у. Не понимаю.

З о я. Вы просите депутатский мандат взамен письма. Вы поклялись, вы дали честное слово, что послезавтра, когда вас провозгласят депутатом, вы отдадите письмо тому, кто сделает так, чтобы вас избрали... Я это устрою, я и мой муж, и вы мне отдадите письмо... Согласны?

К а ц а в е н к у *(сообразив)*. Согласен...

З о я *(тихо к Типэтеску, который сидит задумавшись в кресле)*. Надеюсь, ты понимаешь, что, когда я заполучу письмо обратно, после борьбы с тобой... все... все... будет между нами кончено, Фэникэ. *(Громко.)* Мы договорились, господин Кацавенку?

К а ц а в е н к у. Да, мадам, вполне... но... *(Делает ей знак, показывая на Типэтеску.)*

З о я *(умоляя Типэтеску).* Фэникэ! Фэникэ! Решайся! Можешь ли ты быть мне врагом? Отвечай!.. *(Нежно.)* Фэникэ!..

Т и п э т е с к у *(не в силах больше сопротивляться, вставая).* Ну, если ты этого так хочешь... Пусть будет так! Будь что будет! *(Решительно.)* Господин Кацавенку, вы — кандидат госпожи Зои, вы — кандидат Захарии... следовательно, вы и мой кандидат! Послезавтра вы — депутат!

З о я *(торжествуя).* А!

К а ц а в е н к у. Послезавтра вы получите...

Слышен шум за дверью и голос Траханаке: «Имей чуточку терпения!»

З о я. Мой старик!

Т и п э т е с к у. Захария!

К а ц а в е н к у. Председатель!

Т и п э т е с к у. Скорей спрячьтесь оба... он не должен вас видеть...

Зоя быстро выходит в левую дверь, Типэтеску и Кацавенку — в правую.

ЯВЛЕНИЕ XI

Т р а х а н а к е один.

Т р а х а н а к е. Никого нет? А этот болван слуга уверял меня, что Зоя и Фэникэ здесь. *(Идет к двери справа и осторожно стучится.)* Никого! *(То же самое налево.)* Никого! *(Хочет уйти, но вдруг о чем-то вспоминает.)* А! Чуть было не забыл! *(Садится к письменному столу, берет ручку, пишет, потом читает.)* «Дорогой Фэникэ, я тебя искал! Вернусь через полчаса. Мы должны увидеться до собрания. Дождись меня во что бы то ни стало, не уходи. Имей чуточку терпения... Траханаке». *(Кладет записку на видном месте.)* Теперь мы выведем на чистую воду господина Кацавенку. *(Поспешно уходит через заднюю дверь.)*

На один миг сцена пуста, потом двери слева и справа тихонько открываются. Слева входит З о я, справа — Т и п э т е с к у и К а ц а в е н к у.

ЯВЛЕНИЕ XII

Т и п э т е с к у, К а ц а в е н к у, З о я, потом подвыпивший г р а ж д а н и н.

Т и п э т е с к у. Проклятая политика! Ни минуты покоя! *(Идет к задней двери и запирает ее.)* Теперь мы одни. *(К Кацавенку.)* Я отправляюсь на телеграф, чтобы сообщить о вашей

кандидатуре в Бухарест... Ждите от меня вестей. Вечером на собрании ведите себя тактично... понадобится много такта...

Слышен стук в дверь; все на сцене смолкает; опять стук, потом три свистка.

Это Гицэ, это его сигнал!

Открывает заднюю дверь, в которой появляется, удивленно посвистывая, подвыпивший гражданин.

Опять? *(Отступает.)*

Кацавенку. Мой человек. *(Пытается спрятаться за спиной Зои.)*

Гражданин. Да, опять я! *(Икает.)* Я пришел из-за той истории, о которой мы говорили утром... Что мне делать? Ведь завтра-то начинается... Я... За кого я голосую?

Типэтеску *(преграждая ему путь)*. За кого? За кого? Оставь меня в покое, осточертел ты мне! Голосуй за кого хочешь.

Гражданин. Ежели на то пошло, то я ни за кого не хочу голосовать.

Типэтеску. Ну и оставь меня в покое, власти не желают оказывать давление на кого-либо.

Кацавенку *(вмешиваясь)*. Пардон, позвольте. Мне, наоборот, кажется, что в конституционном государстве, да еще в молодом государстве, как наше, администрация должна бы...

Зоя. Конечно...

Гражданин *(к Кацавенку)*. А, уважаемый! Я вас и не заметил. Ваш покорный слуга! Тысячу лет здравствовать! Итак, значит, обработали меня? Стало быть, сперва водкой, потом наливай вина, запивай пивом, заливай вином... и не для того, чтобы уважить, а чтобы надуть... сыграть шутку с письмецом... Браво, господин Кацавенку!

Кацавенку. А!

Зоя. Фэникэ! Фэникэ! Выгони его! Он нетерпим!

Типэтеску. Ладно, гражданин, прошу тебя по-хорошему, оставь нас в покое... Чего ты хочешь?

Гражданин. Разве я не сказал? *(Икает.)* Завтра начинается. Ну, а я? (*Икает.*) Я кого выбираю? За кого голосую?.. (*Поднимает руку, как бы голосуя, и икает.*)

Зоя. За господина Кацавенку.

Гражданин. За кого? *(Икает и прыскает со смеху.)* Не смешите... меня мутит...

Типэтеску (*все более нервничая, хватает гражданина за руку и начинает трясти его*). Потому что ты человек порочный.

Гражданин. Не трясите, говорю, меня мутит...

Типэтеску. Потому, что у тебя выкрали письмо...

Гражданин. Пустяки... Другое найдем.

Т и п э т е с к у. Не перебивай меня... Потому что ты...

Г р а ж д а н и н. Избиратель...

Т и п э т е с к у. Нет... пьяница... пропойца...

З о я. Фэникэ!

Т и п э т е с к у. Да, пьяница! Ты и теперь вдрызг пьян...

Кацавенку смеется.

Г р а ж д а н и н. Ну уж нет!..

Т и п э т е с к у *(с отвращением)*. От тебя разит за версту... *(Толкает его.)*

Г р а ж д а н и н *(покачиваясь)*. Это мой натуральный запах...

Т и п э т е с к у. От тебя разит ромом.

Г р а ж д а н и н. А чем бы вы хотели, чтобы от меня пахло? Керосином?

Т и п э т е с к у. Потому-то ты должен отдать свой голос уважаемому господину Кацавенку... Такому избирателю лучшего кандидата и не надо.

З о я. Фэникэ!

К а ц а в е н к у *(улыбаясь)*. Как всегда, не без юмора, уважаемый!

ЯВЛЕНИЕ XIII

Т е ж е, потом Ф а р ф у р и д и, Б р ы н з о в е н е с к у, Т р а х а н а к е.

Т и п э т е с к у *(все более возбуждаясь)*. Да, мы стараемся для Кацавенку, мы должны избрать господина Кацавенку. И мы выдвигаем его не по принуждению, а потому, что он самый честный гражданин в нашем городе...

З о я. Фэникэ, успокойся.

Т и п э т е с к у. Да, я спокоен... Потому что он... в отличие от других — не мерзавец, не каналья, не прохвост...

В глубине сцены появляются Ф а р ф у р и д и, Б р ы н з о в е н е с к у и Т р а х а н а к е. Первые двое жестами указывают третьему на то, что происходит на сцене.

И наконец потому, что для таких избирателей, как ты, с таким трезвым умом и таким тонким политическим чутьем, нельзя и придумать лучшего кандидата, чем господин Кацавенку! *(С отвращением отталкивает подвыпившего гражданина.)*

К а ц а в е н к у *(добродушно улыбаясь)*. Ну и зол!

Б р ы н з о в е н е с к у. А!

Ф а р ф у р и д и *(к Трахanаке)*. Вот оно, предательство! Что я вам говорил, почтеннейший?!

Все подходят ближе.

Т р а х а н а к е. Имей чуточку терпения!

З о я. Папочка! (*Бросается к Траханаке, тянет его в сторону и что-то начинает ему шептать, усиленно жестикулируя.*)

Кацавенку и подвыпивший гражданин тихо разговаривают в другом конце сцены.

Т и п э т е с к у. Да оставьте вы меня все в покое!

Ф а р ф у р и д и. Оставим, оставим, уважаемый, но мы обратимся в Бухарест!

Б р ы н з о в е н е с к у. И все сообщим...

Т и п э т е с к у (*в сторону*). Проваливайтесь ко всем чертям! (*Проходит мимо Траханаке и Зои.*)

Ф а р ф у р и д и. В газеты!

Б р ы н з о в е н е с к у. Центральному выборному комитету!

Ф а р ф у р и д и. Правительству!

Г р а ж д а н и н (*показывая Кацавенку на Фарфуриди и Брынзовенеску*). Ай-яй... Не говори, меня мутит!

Кацавенку и гражданин тихо, но оживленно переговариваются с Фарфуриди и Брынзовенеску.

Т р а х а н а к е. В конце концов, что здесь происходит, Фэникэ?

Т и п э т е с к у. Меня не спрашивай, Захария!

З о я (*энергично*). Молчи! Папочка, так надо...

Т р а х а н а к е. Почему?

З о я (*скороговоркой*). Если ты меня любишь, если дорожишь мною — ни слова: потом я все расскажу.

Шепчутся втроем.

К а ц а в е н к у (*к Фарфуриди и Брынзовенеску*). Разрешите, досточтимые!

Все слушают, Типэтеску нервно прохаживается в глубине сцены.

Вы не можете рассчитывать на большее доверие в высших сферах, чем уважаемый господин Типэтеску, самый честный префект нашего отечества!

Т р а х а н а к е. Верно!

К а ц а в е н к у. Самый неподкупный!

Т р а х а н а к е. Да!

К а ц а в е н к у. Самый преданный!

З о я. Конечно!

К а ц а в е н к у. Разрешите мне сказать: вся ваша суета — это только забота о своих шкурных интересах, не больше, и когда идет речь о таких личностях... как вы...

Гражданин. Ну-ну-ну!

Фарфуриди. Еще и оскорбления!

Брынзовенеску. Браво!

Кацавенку. Торгаши! Шкурники! Дальше своего носа ничего не видите, уважаемые!

Зоя (*к Траханаке*). Разумеется!

Кацавенку. Избиратели скажут свое слово...

Зоя (*подбадривая подвыпившего гражданина и Траханаке*). Да, избиратели скажут свое слово.

Траханаке. Разумеется, избиратели скажут свое слово!

Гражданин (*серьезно*). Да, мы скажем свое слово!

ЯВЛЕНИЕ XIV

Те же и Гицэ Пристанда, который вбегает, запыхавшись, с телеграммой в руке.

Пристанда. Господин Фэникэ! Депеша, весьма, весьма срочная!

Зоя. Депеша?

Все оборачиваются.

Типэтеску (*нервно раскрывает телеграмму и читает*). «Во что бы то ни стало ваш город должен избрать депутатом господина Агамемнона Данданаке.

Общее движение.

Это последнее испытание вашей преданности...»

Фарфуриди и Брынзовенеску. Ага!

Зоя (*энергично*). Нет. Не может быть! Мы будем бороться против кого бы то ни было... Мы будем бороться против правительства!..

Типэтеску устало падает в кресло.

Траханаке. Имей чуточку терпения!

Зоя. Да, папочка! Мы будем бороться против правительства!

Кацавенку, Зоя и Траханаке стоят с одной стороны; Фарфуриди, Брынзовенеску, удовлетворенно потирая руки,— с другой; Гицэ — в глубине; Типэтеску устало сидит в кресле, не принимая участия в том, что происходит. Подвыпивший гражданин — в центре.

Гражданин (*с увлечением*). Да! Мы будем бороться против... (*Икает и меняет тон.*) То есть нет... я не буду бороться против правительства!..

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Большой зал примэрии, формой напоминающий шестигранник. Видны только три его грани. В глубине три двери, средняя ведет в коридор, на первой двери табличка: «Запись актов гражданского состояния», на левой: «Архив». На заднем плане дверь с табличкой: «Кабинет примаря». На правой стороне другая дверь с табличкой: «Регистратура». Левая сторона до двери архива отделена от сцены деревянным барьером, затянутым зеленой материей. Возле барьера, на левой стороне сцены, эстрада, на которой стоят стол и кресло председателя. Перед столом, чуть пониже, трибуна. На столе два подсвечника, чернильница, колокольчик и стопка бумаги. На кафедре графин с водой и стакан. На правой стороне тесные ряды стульев и скамеек, свободен лишь узкий проход, идущий от средней задней двери через всю сцену. Вдоль стен висят лампы, бросающие тусклый свет. Поднимается занавес. Траханаке восседает в председательском кресле, позади трибуны. Вокруг стола — Брынзовенеску и другие граждане. Перед трибуной — избиратели. Одни стоят, другие сидят на скамьях и стульях. На правой скамье, в центре — Кацавенку вместе с Ионеску, Попеску и другими его сторонниками. Фарфуриди на трибуне. Занавес поднимается во время небольшой паузы. В зале шум. Председатель звонит в колокольчик.

ЯВЛЕНИЕ I

Траханаке, Кацавенку, Брынзовенеску, Фарфуриди, Ионеску, Попеску, граждане-избиратели.

Шум.

Фарфуриди (*с трибуны*). Позвольте! (*Пьет воду из стакана.*) Позвольте!

Шум.

Траханаке (*звонит в колокольчик*). Уважаемые! Почтенные! (*Ласково.*) Прошу спокойствия! На повестке дня — жгучие вопросы... Имейте чуточку терпения. (*К Фарфуриди.*) Дальше, уважаемый, ваше слово!

Фарфуриди (*к собранию*). ...Покончив с тем, о чем я говорил с исторической и юридической точки зрения, я буду по возможности краток...

Попеску. Только бы ты сдержал свое слово!

Смех в группе сторонников Кацавенку.

Фарфуриди. Прошу не прерывать!

Траханаке (*к сторонникам Кацавенку*). Почтеннейшие... не перебивайте!

Фарфуриди. После всего, что я говорил с исторической и юридической точки зрения, я закончу, как уже сказал, по возможности кратко. (*Отпивает глоток воды и, передохнув, продол-*

жает раздельно и медленно.) Ровно в одна ты-ся-ча во-семь-сот двад-цать первом году...

Замешательство и возгласы в группе Кацавенку.

Попеску. Велика радость, если мы опять начнем с тысяча восемьсот двадцать первого года!

Фарфуриди. Позвольте... В ты-ся-ча во-семь-сот...

Все (*хором, подражая его тону*)... двадцать первом году — ровно...

Замешательство и возгласы.

Фарфуриди. Позвольте.

Траханаке (*звонит в колокольчик*). Уважаемые, не прерывайте, имейте чуточку...

Кацавенку. Какое тут может быть терпение, господин председатель. Время-то уж позднее. Записаны и другие ораторы.

Все из группы Кацавенку. Да! Да!

Кацавенку. Уважаемый оратор обещал быть по возможности кратким, но если он снова начнет с тысяча восемьсот двадцать первого года...

Фарфуриди. Разрешите...

Траханаке (*наклонясь через стол к трибуне, ласково обращается к Фарфуриди*). Уважаемый... я думаю, неплохо было бы перейти к сорок восьмому году.

Кацавенку (*кричит*). Или к шестьдесят четвертому!

Попеску, Ионеску и другие из группы. Да! Да! К шестьдесят четвертому...

Траханаке (*поднимаясь с кресла и делая вид, что советуется с собранием*). Стало быть... к плебисциту?

Все. Да, к плебисциту!

Шум.

Фарфуриди (*поворачивается спиной к собранию и лицом к председателю*). Позвольте, господин председатель, вы мне дали слово. Мне кажется, что председатель, предоставив слово...

Траханаке (*поднимаясь с места, кладет руки на плечи Фарфуриди, ласково*). Если вы меня любите, уважаемый... Сделайте мне одолжение... перейдем к плебисциту... воля собрания!

Фарфуриди. Но, господин председатель...

Траханаке (*еще более просительно*). Перейдем к плебисциту! (*Тихонько поворачивает его лицом к собранию.*)

Все (*с силой*). К плебисциту! К плебисциту!

Фарфуриди (*отпивает глоток воды и продолжает покорно*). Так что ж я говорил? В тысяча восемьсот шестьдесят чет-

вертом году случилось, понимаете ли, так, что народ высказался при помощи плебисцита. Однако посмотрим сначала... разберемся хорошенько в том, что это такое... то есть что такое плебисцит...

Ионеску. Знаем, что такое плебисцит! Спасибо за объяснение.

Все. Не надо объяснений.

Шум.

Фарфуриди (*к тем, кто его перебивает*). Разрешите! (*К Трахanаке.*) Господин председатель!

Трахананке (*звонит в колокольчик*). Уважаемые, почтенные, прошу вас, не прерывайте оратора. (*Очень ласково.*) Прошу спокойствия, на повестке дня жгучие вопросы, имейте чуточку терпения! (*К Фарфуриди.*) Ваше слово, уважаемый, продолжайте.

Фарфуриди (*увлекаясь*). Когда мы говорим: шестьдесят четвертый год, мы говорим — плебисцит; когда мы говорим: плебисцит, мы говорим — шестьдесят четвертый... Мы знаем, каждый из нас знает, что такое шестьдесят четвертый год; посмотрим же, что такое плебисцит... (*Громко начиная фразу.*) Плебисцит...

Кацавенку. Здесь не идет речь о плебисците.

Фарфуриди. Позвольте, мне кажется, что когда мы говорим о шестьдесят четвертом (*энергично и убежденно*)... не пытайтесь мне противоречить, я докажу вам историческими фактами, что все народы имеют свой собственный шестьдесят четвертый год...

Кацавенку. Позвольте, речь не идет о шестьдесят четвертом годе!

Всеобщее замешательство, возгласы одобрения.

Фарфуриди. Разрешите...

Все разговаривают, перебивают друг друга и подают реплики очень бойко, в адвокатской манере.

Господин председатель!

Трахананке (*звонит в колокольчик*). Уважаемый, почтенный, прошу спокойствия... У нас жгучие вопросы...

Кацавенку (*поднимаясь со скамьи*). Господин председатель! С каких это пор шестьдесят четвертый год стал жгучим вопросом в повестке дня? Если я не ошибаюсь, мне кажется, что у нас теперь, благодарение богу, тысяча восемьсот восемьдесят третий год... Что тут общего? Прошу призвать уважаемого оратора к порядку, пусть говорит по существу.

Трахананке (*снова приподнимается и дотрагивается через стол до плеч Фарфуриди*). Уважаемый... (*Ласково и проси-*

тельно.) Если ты меня любишь, оставим плебисцит и перейдем к сути.

Фарфуриди (*утомленный пререканиями, поворачивается лицом к Траханаке и спиной к собранию*). Господин председатель, вы соизволили дать мне слово... Я думаю, что надо бы...

Кацавенку (*кричит*). Не надо, уважаемый!

Все. Нет, не надо!

Траханаке (*положив руки на плечи Фарфуриди, очень мягко*). Прошу вас, если вы меня любите... сделайте одолжение... Желание собрания, уважаемый... (*Осторожно поворачивает его лицом к собранию.*)

Все. К делу! К делу!

Фарфуриди (*с усталым видом пьет воду*). Переходим, стало быть, к вопросу о пересмотре конституции и избирательного закона...

Все (*с удовлетворением*). Наконец-то!

Траханаке. Ну-с, теперь имейте чуточку терпения... (*К Фарфуриди.*) Кратко, уважаемый, если вы меня любите, кратко... желание собрания.

Фарфуриди (*пьет воду, вытирает лоб платком*). Разрешите! Известно ли вам мое мнение насчет пересмотра?

Весь зал. Нет! Говорите!

Кацавенку (*насмешливо*). Послушаем, каково мнение господина Фарфуриди.

Траханаке звонит в колокольчик.

Фарфуриди (*все больше и больше волнуется*). Мое мнение таково: речь идет о пересмотре, не так ли?

Все (*энергично*). Да! Да!

Фарфуриди (*взволнованно*). Тогда вот что я говорю и вместе со мной (*начинает захлебываться словами*) все те, кто не хочет впасть в крайность (*все более запутывается*), стало быть, я хочу сказать, да, чтобы они были умеренными... то есть без перехлестывания!.. В политическом вопросе, от которого зависит будущее, настоящее и прошлое отечества... Чтобы быть слишком-слишком или очень-очень... (*Окончательно запутывается и глотает слова.*) Так что представляется случай спросить, почему?.. Да... почему?.. Если глаза Европы будут прикованы к нам, если можно так выразиться... которые ударяют по обществу, стало быть, потому, что потрясенный... и... нелегальных идей (*еще больше запинается*), и, наконец, вы меня понимаете, для которой во всех торжественных случаях... показали образцы такта... я хочу сказать, что, с одной стороны, народ, нация, королевство... (*Громко.*) Наконец все отечество... с большим тактом, из-за которого Европа

на один миг раньше придет и признает, от которого зависит — мы можем сказать (*вытирает пот*)... какого — разрешите, как, например, в двадцать первом году, разрешите (*вытирает пот*) — в сорок восьмом, в тридцать четвертом, в пятьдесят четвертом, в шестьдесят четвертом, в семьдесят четвертом, то же самое и в восемьдесят четвертом и в девяносто четвертом и т. д., поскольку нас касается... для того, чтобы дать пример нашим сестрам латинского происхождения. Однако!.. (*Весь в поту, пьет воду, опять вытирает пот, тяжело дышит.*)

Траханаке следит за ораторским каскадом Фарфуриди, рукой отбивая такт. Аплодисменты в глубине зала в рядах сторонников Брынзовенеску; смех и шиканье в группе Кацавенку. Колокольчик Траханаке еле слышен. После того как шум немного утихает, Фарфуриди продолжает с жаром.

Разрешите! Я сейчас кончу! Два слова!

Зал смолкает.

Так вот мое мнение. Или — или, одно из двух: либо пересмотреть конституцию — согласен! Но тогда ничего не менять! Или же не пересматривать — согласен! Но тогда изменить кое-где в... основных пунктах... От этой дилеммы вы не можете уйти... Я кончил!

Аплодисменты в глубине зала, шиканье в первых рядах. Фарфуриди спускается с трибуны, на ходу вытирая пот с лица, и отходит в глубь сцены. Брынзовенеску и другие избиратели жмут ему руку. Многие встают с мест. Кацавенку идет к центру зала и начинает тихо переговариваться со своими сторонниками, усиленно жестикулируя. В другой группе, в глубине зала, Фарфуриди и Брынзовенеску также усиленно жестикулируют. Пристанда выходит из кабинета примаря с таинственным видом, проходит в дверцы барьера за трибуной и тянет за рукав Траханаке, звонящего в колокольчик.

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и Пристанда.

Траханаке (*перестает звонить, поворачивается*). А? Что такое?

Пристанда (*таинственным шепотом, торопливо*). Господин Захария! Господин Фэникэ и госпожа Зоя!..

Траханаке. Ну? Что?

Пристанда. Они там, в кабинете... они пришли другим ходом и ждут вас... Пожалуйста, поскорее туда...

Траханаке (*тоже переходя на таинственный шепот*). Не могу оставить собрание... Пусть имеют чуточку терпения.

Пристанда. Обязательно надо, немедленно!

Траханаке (*звонит в колокольчик и встает*). Уважаемое и почтенное собрание! После столь серьезной речи, произнесенной

нашим уважаемым адвокатом, господином Фарфуриди, я предлагаю сделать перерыв на пять минут.

Голоса. Да! Да! Перерыв!

Кацавенку со своей группой, Фарфуриди и Брынзовенеску со своими сторонниками смешиваются в одну толпу. Траханаке сошел с трибуны, открыл дверцы барьера, прошел вместе с Пристандой в огороженную левую сторону зала и постучал в дверь с табличкой «Кабинет примаря». Дверь открывается, Траханаке и Пристанда исчезают за дверью, которая захлопывается за ними.

ЯВЛЕНИЕ III

Те же, без Траханаке и Пристанды.

Кацавенку (*к своей группе*). Ну, как его пошлешь в парламент? Не спорю, у него есть свои идеи, свои мнения, а я уважаю идеи, лишь бы они были искренни; а он искренен, ничего не скажешь,— будем уважать всякое мнение!.. Но явиться сюда с устаревшими идейками, с заплесневелыми мнениями и запугивать нас Европой, потрясениями, подпольными теориями — это не выйдет!.. Такие мнения, разрешите доложить, я не уважаю...

Попеску. Нет, ведь что говорит Фарфуриди? Ты не понял. Он утверждает, что, дескать, согласно истории — потому то он и опасается потрясений,— мы не должны давать плохого примера нашим сестрам латинского происхождения. Ты же слышал, он ведь сам сказал: наши сестры латинского происхождения.

Ионеску. Да! Он это сказал...

Кацавенку (*покровительственным тоном*). Вы, учителя, хорошие ребята, но у вас есть большой недостаток: как только кто-нибудь заговорит об истории — так он и прав. (*Громко.*) А что такое история? Если уж на то пошло, то чему нас учит история прежде всего?

Попеску. Что Румыния со времен императора Траяна...

Кацавенку. Ничего подобного.

Ионеску. Что, стало быть, наши предки...

Кацавенку. Какие предки? Почему наши? Вот видишь— не знаешь! (*Риторическим тоном.*) Прежде всего история учит нас, что народ, который не идет вперед, стоит на месте...

Избиратели, услыхав, что он начинает речь, постепенно группируются вокруг него.

или даже пятится назад, потому что закон прогресса таков: чем быстрее двигаешься, тем дальше будешь...

Сторонники Кацавенку восхищены, сторонники Фарфуриди и Брынзовенеску, которые подошли ближе, пожимают плечами.

Ионеску. Это так.

Попеску. Слов нет, иначе быть не может.

Фарфуриди (*язвительно*). Да! Прогресс! Прогресс без самосохранения, когда мы хорошо видим, как в Европе...

Кацавенку (*прерывая его, лающим голосом*). Не хочу я, уважаемый, слышать о вашей Европе, я хочу слышать о моей Румынии, и только о Румынии. Прогресс, уважаемый, прогресс! Напрасно вы прибегаете к антипатриотическим выдумкам, к Европе, чтобы обманывать общественное мнение...

Фарфуриди (*еще более язвительно*). Позвольте... мне кажется, что кое-кто другой обманывает общественное мнение...

Кацавенку. Я и слышать не хочу вашей болтовни.

Брынзовенеску. Понятно... Вам это невыгодно...

Кацавенку (*еще более возвышая голос*). Пусть Европа занимается своими делами! Разве мы вмешиваемся в ее дела? Нет. Стало быть, нет у нее права вмешиваться в наши дела... Вы адвокат, мой коллега...

Фарфуриди. Да, я адвокат, но я вам не коллега...

Кацавенку (*продолжая в том же тоне*). Вы знаете, как и я, правовой принцип —каждый со своим, каждый со своими делами... как говорили древние римляне: онесте бибере... то есть честно...

Фарфуриди. Да, уж честно, дальше некуда!

Сторонники Кацавенку и Фарфуриди начинают расходиться.

Кацавенку (*язвительно*). Почтеннейший, не понимаю, почему вы меня так преследуете последнее время? Что вам от меня надо? Мы здесь оба перед лицом избирателей, почтеннейший, здесь не должно быть места злобе, здесь борьба: вы выставляете свою кандидатуру, я выставляю свою... предвыборная борьба! А мы знаем, что предвыборная борьба — это жизнь народов... Почему вы восстаете против правды? Против права?.. Онесте бибере, уважаемый...

Одобрение в группе.

Фарфуриди (*вспыхнув*). Бросьте вашу чепуху. Честно... у вас? С одной стороны — «Карпатский вопль», с другой — теплые местечки для своих дружков; с одной стороны — крайняя оппозиция, а с другой — гарантия в кармане... Весь город вопит, уважаемый!

Брынзовенеску (*тянет его за рукав*). Дружище, успокойся!

Фарфуриди (*вырываясь*). Оставь меня в покое, дай хоть раз посчитаться с этим господином... Что, мы не знаем, не видим, ослепли? Вы кандидат префекта...

Кацавенку (*посмеиваясь*). Я — кандидат молодой независимой группировки интеллигентов... Наш уважаемый почтенный председатель (*ищет его глазами*), где председатель? Я не вижу его. Сегодня вечером он объявит кандидата вашего комитета... Однако ежели я буду иметь честь получить одобрение вашего комитета... потому что он ваш...

Фарфуриди (*раздражаясь*). Это уже больше не наш комитет, а ваш...

Брынзовенеску. Дружище, будь благоразумен. (*Тянет его за рукав. Фарфуриди вырывается.*)

Кацавенку (*насмешливо*). Позвольте, стало быть, вы больше не состоите в комитете?

Группы отчетливо разделились и напряженно меряют друг друга взглядом.

Фарфуриди. Да, я, который всегда поддерживал нашу партию,— я больше не состою... а вы, который всегда ее ругали... вы...

Кацавенку. Позвольте!

Фарфуриди (*взбешенно*). Что позволить? Кого позволить?.. Несете вздор — экономия, общество; все это фокусы, чтобы обманывать людей... С вашими учителишками...

Движение в группе Кацавенку.

с вашими брехунами...

Попеску (*свирепо*). Сударь, возьмите ваши слова обратно!

Фарфуриди (*продолжая*). С независимой (*растягивая слова*)... наглой группировкой... интеллигенции. (*Направляется в глубь сцены вместе с Брынзовенеску и своими сторонниками.*)

Все (*из группы Кацавенку*). Долой! (*Бросаются за ними.*)

Шум, свалка.

Фарфуриди (*выходя из зала*). Мы вам покажем, прохвосты!

Группа Кацавенку. Вон! Вон! (*Преследует сторонников Фарфуриди.*)

Все присутствующие столпились в глубине сцены; зал заседания опустел. В глубине, в открытую дверь, видны избиратели, которые прогуливаются в коридоре, разговаривая между собой и оживленно жестикулируя.

ЯВЛЕНИЕ IV

Траханаке поспешно выходит из кабинета примаря в огороженное барьером место. Зоя и Типэтеску следуют за ним.

Траханаке. Нет! Этого сделать нельзя.

Зоя *(преследуя его)*. Папочка...

Типэтеску. Дружище Захария!

Зоя. Если ты когда-нибудь дорожил мною...

Типэтеску. Если ты мне друг...

Траханаке. Эх вы! Имейте чуточку терпения! *(Серьезно.)* Как же можно выставлять кандидатуру жулика, который занимается подлогами?

Типэтеску. Верно, дружище, он жулик — это так; но пока люди разберутся... пока мы начнем с ним судиться...

Зоя. Мы станем всеобщим посмешищем, дорогой, ты только подумай...

Траханаке *(после минуты колебания)*. Ну нет! Если бы дело шло только о твоем письме к Зоечке, тогда, понятно, я бы сказал: ради политики там, где преследуются интересы отечества, он, как всякий общественный деятель, мог попробовать, то есть захотел принудить тебя, потому что знает, что ты мой друг и дорожишь честью Зоечки. Ты мне друг, вот он и совершил подлог...

Типэтеску. Понятно!

Зоя. Разумеется, в политике...

Траханаке. Имейте чуточку терпения...А вот это? *(Хлопает себя по карману пиджака.)* Стало быть, если он макиавеллиевскими штучками орудует, я ему покажу, как макиавелльничать. *(Меняя тон.)* Святая богородица мне порукой! Не видать мне больше Зоечку! Вот она здесь, пусть скажет сама.

Зоя *(сентиментально)*. Папочка!

Траханаке. Я в жизни не прибегал к дипломатическим фокусам. Но если на то пошло, прослыть иезуитом вроде Меттерниха, я ему покажу!

Типэтеску *(нетерпеливо)*. Не понимаю, Захария!

Зоя *(так же)*. Я тоже...

Траханаке. Имейте чуточку терпения! *(Вынимает бумагу из кармана и разворачивает ее — это вексель.)* Вот это тоже ради политики? Вот эти две подложные подписи поручителей, при помощи которых уважаемый господин Кацавенку получил пять тысяч лей,— это тоже ради интересов отечества?

Типэтеску *(поспешно берет вексель и осматривает его с обеих сторон)*. Мы спасены!

Зоя. Спасены?

Т р а х а н а к е. Я же говорил, имейте чуточку терпения. Я поймал его на новом подлоге...

Т и п э т е с к у *(еле сдерживая радость)*. Захария, наш кандидат господин Агамицэ Данданаке.

Т р а х а н а к е. Вот это правильно!

З о я. Мне страшно...

Т и п э т е с к у. Нам нечего больше бояться.

Т р а х а н а к е. Запиши мне на бумажке имя этого Гагамицэ, а то я позабуду... *(Тихо разговаривает с Зоей.)*

Т и п э т е с к у *(вынимает блокнот, отрывает листок, пишет и подает его Захарии)*. Вот.

Т р а х а н а к е. Пойду открывать заседание.

Т и п э т е с к у. Объяви кандидатуру, закрой собрание и приходи играть в преферанс, мы будем тебя ждать...

Т р а х а н а к е *(в дверях)*. Я тебе отдал вексель Кацавенку... Смотри не потеряй его. *(Выходит.)*

Т и п э т е с к у. Не беспокойся, я не теряю ценных бумаг... *(Украдкой целует Зою.)*

З о я. Фэникэ!

Т и п э т е с к у. Ну-с! Теперь уж я обработаю любезного Кацавенку!

Оба поспешно выходят в левую дверь.

ЯВЛЕНИЕ V

Т р а х а н а к е поднимается на трибуну. К а ц а в е н к у, П о п е с к у, И о н е с к у, и з б и р а т е л и занимают свои места. Они входят с шумом, под звон председательского колокольчика.

Т р а х а н а к е *(стоя)*. Время позднее! Пожалуйте, пожалуйте, уважаемые. У нас на повестке дня жгучие вопросы... *(Садится.)*

Все усаживаются на свои места, как в первом явлении.

К а ц а в е н к у *(скромно)*. Господин председатель, разрешите, я тоже прошу слова.

Т р а х а н а к е. Прошу. *(Благожелательно.)* Уважаемый, вам предоставляется слово. Пожалуйте на трибуну!

Движение в группе Кацавенку.

К а ц а в е н к у *(становится в позу, потом важно проходит через толпу и поднимается на трибуну; кладет в сторону шляпу, пьет воду из стакана, вынимает кипу газет и бумаг и расклады-*

вает их перед собой; потом жестом заправского адвоката вытирает платком лоб. Он делает вид, что волнуется. Полная тишина. Он начинает дрожащим голосом). Господа!.. Уважаемые сограждане... Братья! *(Его душат рыдания.)* Простите меня, братья, я так потрясен, меня охватывает такое волнение... Поднимаясь на эту трибуну, чтобы сказать вам... *(задыхаясь от рыданий)* как всякий политик! как всякий сын своего отечества... в эти торжественные минуты *(еле сдерживается)* я думаю... о моей стране... о Румынии... *(Рыдает.)*

Аплодисменты в его группе.

ее счастье, ее прогрессе...

Еще более громкие аплодисменты.

ее будущем!.. *(Плачет навзрыд.)*

Бурные аплодисменты.

Ионеску, Попеску, все *(растроганно).* Браво!

Кацавенку *(быстро вытирая глаза и сразу преображаясь, неожиданно бойким, резким и лающим голосом).* Братья, мне бросили здесь упрек, и я этим горжусь! Я его принимаю. Честь имею сказать, что я его заслужил! *(Скороговоркой.)* Меня упрекнули в том, что я очень, что я слишком, что я ультрапрогрессивен, что я сторонник свободной торговли, что я хочу прогресса любой ценой. *(Раздельно и рубя.)* Да, да, да, трижды да! *(Бросает пламенные взоры на собрание.)*

Бурные аплодисменты.

Да! *(Со все возрастающей силой.)* Я хочу прогресса, только прогресса: политического...

Попеску. Браво!

Кацавенку *(растягивая слова).* Социального!..

Ионеску. Браво!

Кацавенку. Экономического!..

Попеску. Браво!

Кацавенку. Административного!..

Ионеску. Браво!

Кацавенку. И... и...

Ионеску, Попеску, вся группа избирателей. Браво! Браво!

Траханаке *(звонит в колокольчик).* Прошу не перебивать оратора, почтенные.

Кацавенку *(с силой).* Почтеннейший господин председатель, пусть перебивают, я не боюсь этого. *(К собранию и, глав-*

ным образом, к своим сторонникам.) Господа, можете меня перебивать, потому что я твердо стою за свои убеждения... *(возвращаясь к прежнему тону и все более округляя слова)* и... и... финансового.

Продолжительные аплодисменты.

Да, мы ультрапрогрессисты. Да, мы сторонники свободной торговли! И... движимые этими идеями, мы основали здесь, в нашем городе, «Румынскую экономическую зарю», кооперативно-энциклопедическое общество, независимое от бухарестского... потому что мы стоим за децентрализацию. Мы... я... мы... не признаем, не хотим признавать опеку Бухареста, бухарестских капиталистов над нами, потому что в нашем крае мы сами можем делать то, что они делают в своем...

Группа избирателей *(аплодируют)*. Браво!

Кацавенку. Наше общество ставит перед собой цель поддержать румынскую промышленность, потому что, разрешите мне сказать, с экономической точки зрения у нас дела обстоят плохо...

Группа избирателей *(аплодируют)*. Браво!

Кацавенку. Румынская промышленность — превосходна, даже можно было бы сказать — великолепна! Но она... совершенно не существует. Наше общество... мы... что мы поддерживаем? Мы поддерживаем труд, который отсутствует в нашей стране!

Группа избирателей. Браво!

Бурные аплодисменты.

Траханаке *(звонит в колокольчик)*. Уважаемые...

Кацавенку. Господин председатель, оставьте, пусть перебивают... Я не боюсь. В Яссах, например,— разрешите мне это отступление, оно, конечно, печально, но это сущая правда! — в Яссах у нас нет ни одного румынского коммерсанта, ни одного!

Группа избирателей. Увы!

Кацавенку. И все-таки все банкроты — евреи! Объясните себе этот феномен, эту тайну, если я могу так выразиться!

Группа избирателей. Браво! *(Аплодисменты.)*

Кацавенку. Так вот. Что говорит наше общество? Что говорим мы?.. Вот что мы говорим: такое положение вещей нетерпимо!

Одобрение в группе.

До каких же пор у нас не будет своих банкротов?.. Англия имеет своих банкротов, Франция имеет своих банкротов, даже Австрия имеет своих банкротов, любая нация, каждый народ, каждая стра-

на имеет своих банкротов! Только у нас чтобы не было своих банкротов? Как я уже говорил, подобное положение вещей недопустимо, оно не может продолжаться!

Бурные аплодисменты. Пауза. Оратор пьет воду и опять бросает сверкающие взгляды на собрание. В этот момент в глубине зала происходит движение. Появляются подвыпивший гражданин и Гицэ Пристанда в штатском.

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же, Гицэ Пристанда и подвыпивший гражданин, который нетвердо держится на ногах. Их появление вызывает шум.

Траханаке (*звонит в колокольчик*). Прошу немного тишины.

Кацавенку (*успевший во время короткой паузы просмотреть свои бумажки, начинает назидательным тоном*). Вот что сказано в статье первой Устава нашего общества: «В нашем городе основывается кооперативно-энциклопедическое общество под названием «Румынская экономическая заря». Цель общества: чтоб Румыния процветала и каждый румын благоденствовал!»

Гражданин (*покачиваясь, прошел по проходу и упал на стул, как раз перед трибуной. Встает и поднимает руку*). И я. (*Икает.*) И я тоже! (*Пошатывается и опять падает на стул.*)

Смех в задних рядах, замешательство — в передних.

Кацавенку (*поворачивается к Траханаке*). Господин председатель, прошу принять меры, чтобы меня не перебивали...

Траханаке. Вы, кажется, говорили, почтенный, что вы не имеете ничего против...

Кацавенку. Да! (*С достоинством.*) Однако...

Траханаке. Ладно... (*Звонит в колокольчик.*) Прошу не перебивать.

Кацавенку (*пытается продолжать*). Итак, я говорил: чтоб Румыния процветала и каждый румын благоденствовал!

Гражданин (*встает, пошатываясь, и поднимает руку*). И я тоже! (*Икает.*)

Смех, шум.

Траханаке (*поднимаясь*). Что? Что такое, уважаемый?

Гражданин (*икая*). Меня господин Кацавенку знает... (*Показывает на Кацавенку.*) Циклопедическое...

Смех, шум.

Кацавенку *(нервно)*. Что?
Гражданин. Румынская!..

Смех.

(Он икает.) Заря!..

Смех и шум.

Траханаке *(нервно, к собранию, потрясая колокольчиком)*. Прошу спокойствия, уважаемые!.. *(К гражданину.)* Как?

Гражданин *(еле держась на ногах)*. Циклопедическое *(икает)*, кампаратичное! *(Икает.)* Икономия! *(Икает.)* То есть обчество, так сказать...

Смех и шум.

Ионеску. Он пьян!
Попеску. В стельку!

Движение, многие встают.

Гражданин *(икает и выкрикивает)*. Я тоже... член!..

Траханаке *(изо всех сил потрясая колокольчиком; к Ионеску и Попеску)*. Почтенные господа, прошу вас выведите уважаемого!

Ионеску, Попеску и другие. Вон! Он пьян! Вон!

Ионеску и Попеску толкают гражданина к выходу. Кацавенку, сойдя с трибуны, переговаривается со своими сторонниками.

Гражданин *(сопротивляясь)*. Не толкайте, меня мутит!
Ионеску, Попеску и другие. Вон!
Гражданин. Я ведь тоже... член!

Вся сцена сопровождается смехом. Учителя вытолкали гражданина. Движение на сцене. Пристанда приближается к трибуне, в то время как учителя и вся группа вместе с Кацавенку снова занимают свои места.

Пристанда *(таинственным шепотом)*. Господин Захария, торопитесь! Мы должны сейчас взяться за уважаемого господина Кацавенку! Приказ господина Фэникэ! Я стою у дверей. Когда я кашляну три раза, вы объявите кандидата и уйдете... а остальное — мое дело...

Траханаке *(тихо)*. Хорошо.

Пристанда *(тихо)*. Я кашляну три раза, как только придут мои ребята...

Проходит к задней двери, через которую с шумом входят Фарфуриди, Брынзовенеску и еще несколько человек. Пристанда тихо с ними переговаривается. Они устраиваются в глубине, загородив выход.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же и Фарфуриди, Брынзовенеску, другие избиратели и подвыпивший гражданин; потом Зоя и Типэтеску. Спрятавшись за барьером, они прислушиваются к тому, что происходит в зале.

Траханаке *(звонит в колокольчик; к Кацавенку, который переговаривается со своими сторонниками)*. Пожалуйте на трибуну, уважаемый!

Кацавенку идет к трибуне.

Зоя. Я ничего не слышу...

Типэтеску. Гицэ еще, наверное, не пришел.

Кацавенку *(с трибуны)*. Братья!

Фарфуриди *(выводит из глубины подвыпившего гражданина)*. Тебя выгнали? Господа, разве можно допускать, чтобы выгоняли с собрания уважаемого гражданина, избирателя?

Брынзовенеску. Потому что господин Кацавенку...

Кацавенку *(орет с трибуны)*. Уважаемый! *(К Траханаке.)* Господин председатель!

Громкий шум.

Траханаке. Почтеннейший! *(Звонит.)* Имейте чуточку терпения.

Гицэ кашлянул три раза.

Так как время позднее...

Кацавенку. Позвольте!

Траханаке *(вставая)*. Так как некоторые избиратели расходятся, а завтра выборы, я думаю, что было бы хорошо попросить уважаемого оратора прервать на минуту свою речь для того, чтобы мы провозгласили имя кандидата, предлагаемого нашим комитетом.

Кацавенку *(непринужденно)*. Охотно соглашаюсь, господин председатель. *(Сходит с трибуны к своим сторонникам.)* Имя кандидата!

Все *(из группы Кацавенку и зала)*. Да! Да! Имя кандидата!

Зоя *(тихо, с дрожью в голосе)*. Фэникэ!

Типэтеску *(тихо)*. Молчи! Не беспокойся!

Траханаке *(склоняясь к подсвечнику, читает)*. Почтенные! Кандидатом, которого поддерживает наш комитет, является господин...

И о н е с к у. Нае Каца...

Т р а х а н а к е *(прерывая его)*. Имейте чуточку терпения... *(Читает.)* Господин...

К а ц а в е н к у. Господин...

Все слушают, затаив дыхание. За перегородкой Зоя прижимается к Типэтеску.

Т р а х а н а к е. Господин... Агамицэ Данданаке!

Удовлетворение в глубине зала. Бешенство в группе Кацавенку. Зоя и Типэтеску напряженно слушают.

К а ц а в е н к у *(вскакивая с места, рычит)*. Предательство! *(Оживленно жестикулирует.)*

В глубине аплодисменты.

Т р а х а н а к е *(встает)*. Позвольте! *(Звонит; после минуты молчания.)* Кто произнес слово «предательство»?

Все встают. Смятение.

К а ц а в е н к у *(громко)*. Я.

Г и ц э, Б р ы н з о в е н е с к у, подвыпивший г р а ж д а н и н и д р у г и е. Долой! Долой брехуна!

Т р а х а н а к е *(яростно потрясая колокольчиком в сторону тех, кто кричит)*. Имейте чуточку терпения! *(К Кацавенку.)* Кто здесь предатель, уважаемый?

К а ц а в е н к у *(горячась)*. Тот, кто подменивает уже установленное имя кандидата, тот, кто обо всем забывает, кто предает свою семейную честь... *(Величественным жестом.)* Вы!

Т р а х а н а к е *(гневно швыряя колокольчик на стол)*. Постой, имей чуточку терпения, уважаемый! Ты меня выводишь из себя... Я — предатель? Меня, честного гражданина, меня, почтенного человека, назвать предателем на публичном собрании!.. И кто смеет делать это?

Замешательство в зале. Типэтеску и Зоя с трепетом прислушиваются.

Кто? *(Энергично.)* Заведомый мошенник, виноватый в подлоге!

К а ц а в е н к у *(вскакивая с места)*. Я занимаюсь подлогами?

К р и к и в з а л е. Вон мошенника!

Г о л о с а и з г р у п п ы К а ц а в е н к у. Вон предателя!

Всеобщее смятение.

Кацавенку *(бросается к трибуне с пеной у рта и сжатыми кулаками, бешено выкрикивая)*. Братья! Господа! Уважаемые граждане! Я хотел умолчать о позорном происшествии, которое происходит в нашем городе...

Зоя и Типэтеску замирают.

Я хотел уберечь общество от скандала... Но теперь, когда нанесен такой жестокий удар моему достоинству, я не могу больше молчать.

Зоя и Типэтеску вздрагивают.

Этот уважаемый гражданин *(показывает на Траханаке)*, достопочтенный господин Захария Траханаке...

Траханаке. Ну-с? Я...

Кацавенку. Настолько наивен, что принимает за подделку подлинный документ.

Зоя и Типэтеску испуганы.

Зоя. Фэникэ!.. *(Шатается.)*

Типэтеску *(поддерживая ее, кричит изо всех сил)*. Гицэ! *(Бросается к дверцам барьера.)*

Зоя удерживает его.

Пристанда *(сложив руки рупором, кричит в сторону, откуда послышался зов)*. Здесь! *(К тем, что в глубине зала.)* Хватайте его, ребята!

Группа во главе с Пристандой, Фарфуриди, Брынзовенеску и подвыпившим гражданином бросается к трибуне и стаскивает с нее Кацавенку.

Кацавенку *(продолжает кричать в свалке)*. Письмо префекта к...

Группа Кацавенку. На них, ребята! *(Бросается на своих противников.)*

Все. Вон! Долой! Бей его!

Шум, свист, дикие крики. Захария Траханаке быстро проходит через дверцу барьера, подходит к Зое и Типэтеску. Все трое прислушиваются к тому, что делается в зале. Пристанда, Фарфуриди, Брынзовенеску тащат Кацавенку из зала. Группа Ионеску и Попеску наседает на сторонников Фарфуриди. Все это происходит в одно мгновение.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Сад Траханаке. В глубине забор с воротами посредине. Сквозь них видна панорама городка, раскинувшегося на холме. Направо — каменные ступени, ведущие в дом. Слева — клумбы. Садовая мебель, плетеные кресла и стол.

ЯВЛЕНИЕ I

Зоя и Типэтеску.

Зоя. Где он? Где может быть Кацавенку?

Типэтеску. Не знаю; сбежал, умер, сквозь землю провалился... *(После паузы, приближаясь к Зое.)* Зачем тебе это знать? Почему ты теперь еще больше беспокоишься? Не надо! У меня как будто никаких забот нет. Зоя, представь себе: вот уже второй день идут выборы, и наши сторонники выбирают Данданаке. Мы ждем его с минуты на минуту. Мне приказано организовать ему торжественный прием...

Зоя. И что же?

Типэтеску. Два дня я громлю Кацавенку, а его нигде нет. Почему же он не покажется? Если письмо у него, почему он его не публикует? Почему он исчез — не знаю, почему не публикует письма, понятия не имею, да мне это безразлично. Достаточно, что он этого не делает. Неужели ты думаешь, что этот мерзавец не опубликовал бы его, если б мог?

Зоя. Что ты говоришь, Фэникэ? Какое бессердечие! Если бы ты знал, как я жила эти два дня! Какая тяжесть на сердце! Какой страх! Какая мука!.. Каждый человек, который идет мне навстречу, каждая фигура, которую я вижу, каждое движение, которое происходит вокруг, приводит меня в трепет... Фэникэ, пожалей меня! Еще день таких страданий, и я сойду с ума... *(Хватается за голову, плачет.)*

Типэтеску. Не будь ребенком... Зоя!..

Зоя *(со слезами)*. Ты не понимаешь, не чувствуешь! Как только закончатся выборы и этот Данданаке будет объявлен вашим депутатом, я уверена... я уверена... что этот негодяй, который, спрятавшись, подстерегает нас из-за угла, начнет распространять свой мерзкий листок... Чтобы отомстить нам! И тогда... что будет тогда со мною?

Типэтеску *(вынимает из кармана вексель и показывает его)*. Не посмеет. Если он сделает это — он пропал.

Зоя. Что мне до этого! Сначала он погубит меня! Фэникэ, мне не нужно, чтобы ты мстил за меня. Я хочу, чтобы ты меня спас... Я это предвидела. Когда произошел скандал на собрании, я предчувствовала, что так случится. Ужасно, что он не знает, что

поддельный вексель в твоих руках; не знает, что, приди он сюда и согласись на обмен, он спас бы и себя и меня. Ты рассчитывал перехитрить Кацавенку, а попался сам. Ты играл моей честью, моей жизнью — и ты проиграл! Может быть, он лучше тебя играет... или нам меньше везет... *(Плачет.)* Что мне делать? Что мне делать?

Т и п э т е с к у. Молчи! Кто-то идет... Вытри глаза!

ЯВЛЕНИЕ II

Те же, Т р а х а н а к е и А г а м и ц э Д а н д а н а к е появляются из глубины сцены.

Т р а х а н а к е *(очень вежливо)*. Пожалуйте, пожалуйте, сударь.

Т и п э т е с к у. Кто бы это мог быть?

З о я. Какой-то приезжий.

Т р а х а н а к е. Зоечка, разреши мне представить тебе господина Агамицэ Данданаке.

З о я и Т и п э т е с к у. Данданаке! *(Кланяются.)*

Т р а х а н а к е. Наш кандидат! То есть что я говорю, кандидат? Наш избранник...

Д а н д а н а к е *(говорит, шепелявя и сюсюкая)*. Целую ручку... А господин? Супруг уважаемой госпожи?

Т р а х а н а к е. Нет, это я муж уважаемой госпожи: уважаемая — моя жена, как я имел честь вам сообщить.

Д а н д а н а к е. А вы?

Т р а х а н а к е. А я... ее муж... *(Торжественно.)* Мое имя — Захария Траханаке, я президент постоянного комитета, выборного комитета и... имейте чуточку терпения... *(Шарит у себя в кармане, вынимает визитную карточку и протягивает ее Данданаке.)* Здесь указаны все комитеты...

Д а н д а н а к е *(берет визитную карточку)*. Мерси!.. А господин?

Т р а х а н а к е. Господин Фэникэ Типэтеску, наш префект, мой личный друг и друг моего дома.

Д а н д а н а к е *(к Типэтеску)*. Очень приятно, господин председатель! *(Подает ему руку.)*

Траханаке подходит к Зое.

Т и п э т е с к у. И мне не менее приятно, сударь... я в восторге! По какому случаю вы пожаловали к нам?

Д а н д а н а к е. По случаю выборов, дорогой, по случаю выборов. Меня, понимаете, затирала оппозиция, и так и этак, со

всех сторон. Чуть было не остался я... который... чья семья... вы понимаете, с сорок восьмого года в парламенте... чуть было не остался без избирательного округа... И вот я приехал на выборы...

З о я *(зло)*. Не стоило беспокоиться...

Д а н д а н а к е. Конечно, беспокойство, сударыня! Но как же можно, понимаете, этак совсем не появляться?

Т р а х а н а к е. Как же. Понятно! Очень хорошо! Очень хорошо! Надо, надо!

Д а н д а н а к е. Да, беспокойство... огромное! Вообразите, трястись на почтовых пять прогонов, трюх-трюх, стук-стук, сами понимаете. Растрясло!.. А колокольчики... *(хватается за голову)* просто невозможно! Понимаете — так устал, голова кружится... только вообразите, сударыня... *(К Трахanаке.)* Только вообразите, милый господин префект *(к Типэтеску)*, только вообразите, господин председатель.

Т и п э т е с к у. Разумеется.

З о я. Еще бы.

Д а н д а н а к е. Приезжаю, хочу прямо в гостиницу... а извозчик... он-то знал, зачем я приехал, указал мне господина префекта. *(Показывает на Трахanаке.)*

З о я *(тихо, к Типэтеску, который посмеивается)*. И ты еще смеешься, Фэникэ?

Т р а х а н а к е. Да, я шел на избирательный участок поглядеть, как идут дела. Слов нет, все идет как по маслу, но я, как глава партии, должен там находиться.

Д а н д а н а к е *(пожимая ему руку)*. Хорошо, что я вас нашел, родной мой.

Оба разговаривают тихо между собой.

З о я *(Типэтеску, тихо)*. Вот, Фэникэ, из-за кого я потеряла покой... И скажи по правде, не лучше ли был бы Кацавенку?

Т и п э т е с к у. Он простоват, но я предпочитаю его. Хотя бы потому, что он честен. Не мерзавец!

Т р а х а н а к е *(к Данданаке)*. Почтенный, оставляю вас здесь с моим другом Фэникэ и Зоечкой. Я должен идти на выборы: через полчаса вскрытие урны, я должен присутствовать. Вы не беспокойтесь, у нас все наверняка, у нас нет места оппозиции. Мы сильны, почтеннейший, сильны... Вы получите не большинство голосов...

Д а н д а н а к е. Что вы? А то еще, чего доброго, перебаллотировка? Кое с кем это случалось...

Т р а х а н а к е. Имейте чуточку терпения! Перебаллотировка у нас?.. Я говорю: вы получите не большинство, а все голоса до единого, почтеннейший.

Д а н д а н а к е. Ах так?.. *(Уверенно.)* Конечно!.. Как же иначе...

Т р а х а н а к е. До свидания, почтеннейший, до свидания... До свидания, Фэникэ... До свидания, Зоечка. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ III

З о я, Т и п э т е с к у, Д а н д а н а к е.

Д а н д а н а к е. Как я сказал, мой милый, мне никак нельзя не быть избранным... Я, вся моя семья с сорок восьмого года... все борется, борется, а я, понимаешь, как раз теперь остался за штатом... без округа. И чуть было не остался, мой милый, чуть не остался...

З о я. Не избрать вас, с вашими заслугами,— это невозможно.

Т и п э т е с к у. Непостижимо...

Д а н д а н а к е. А вот послушайте, как с моими заслугами, сударыня, понимаете, чуть было и не остался. Все висело на волоске... А почему? Не хочет главный комитет, и точка: говорит, что я, мол, невыдающийся. Понимаете, это я-то невыдающийся!.. Но мне повезло, сильно повезло. Как-то раз одна особа,— не скажу кто... важная особа,— приходит ко мне играть в карты, а уходя, забывает свое пальто. На другое утро хочу его надеть... думаю — мое... вижу — нет, не мое; обшариваю карманы и нахожу... что вы думаете?

Т и п э т е с к у. Что?

Д а н д а н а к е *(смеясь)*. Письмецо...

О б а. Письмецо?

Д а н д а н а к е. Любовное...

О б а *(тревожно)*. Любовное письмецо?

Д а н д а н а к е. Любовное письмецо к высокопоставленной особе от жены приятеля,— не скажу кто... тоже важная особа...

З о я. Ну и?..

Т и п э т е с к у. И что?

Д а н д а н а к е. И что... Что вам еще сказать? Сажусь на извозчика и отправляюсь к особе... не скажу кто... важная особа. Говорю: найди мне, понимаешь, округ, или я отдам письмецо в газету. Туды-сюды, того-сего... и так и этак...— податься некуда! Вот и послал он сюда депешу...

З о я *(по мере рассказа Данданаке приходит в сильное возбуждение)*. Господин Данданаке, вы поступили дурно... ваш поступок... разрешите мне сказать...

Т и п э т е с к у *(тихо)*. Зоя!

Дандана к е. Вот так-то я политику и повернул, милейший. Понятно? А что мне было делать? Не приди мне в голову такая идея, не быть бы мне избранным... а это никак невозможно, дорогая. Ты только подумай: мое семейство, я с сорок восьмого года во всех парламентах, со всеми партиями, как настоящий румын... принципиальный... И вдруг — остаться без округа!

Типэтеску. Разумеется! *(Покусывая губы.)* Но вы не рассказали конца этой истории... с письмецом...

Зоя. Да, письмо...

Данданаке. Какое письмо?

Типэтеску. Письмо особы...

Данданаке. Какой особы?

Зоя *(нервно)*. Важная особа... любовное письмо... при помощи которого вы добились...

Типэтеску. Письмо, которое вы хотели опубликовать в газете, если...

Данданаке *(вспоминая наконец)*. Ах, да! Письмо... то самое, да, я понял.

Зоя. Где же письмо?

Типэтеску. Что с ним стало?

Данданаке. Уж я его... дома храню... понимаешь, в верном месте.

Зоя. Так вы не вернули его особе?

Данданаке *(удивленно)*. Как так вернуть?

Типэтеску. Ведь вас избирают, он сдержал свое слово...

Зоя. Вы должны были его вернуть.

Данданаке. Как можно отдавать обратно, сударыня? Разве мог я сделать такую глупость? Пригодится и для другого раза... Чуть что — опять хвать, и в газеты!

Зоя *(с отвращением)*. Фи! *(Проходит мимо Фэникэ и в тон ему, тихо.)* Он простоват, но он честный человек! *(Громко к Данданаке.)* Господин Данданаке, у меня к вам просьба: когда сядете за стол, прошу вас, не рассказывайте больше этой истории с письмом.

Типэтеску. Знаете, это может произвести плохое впечатление на избирателей...

Данданаке. Ни-ни, мой милый! А коли забуду — хотя у меня хорошая память, но, понимаешь, потому что я утомлен с дороги, могу позабыть,— подайте мне знак. Я буду сидеть за столом около вас или вашей половины...

Типэтеску. Какой половины?

Данданаке. А вот — сударыни.

Зоя *(в сторону)*. Идиот!

Типэтеску *(нетерпеливо)*. Пардон, господин Данданаке, госпожа Зоя — жена председателя комитета, господина, кото-

рый вас сюда привел *(подчеркивая, по слогам)*, господина Захарии Траханаке. А я — Фэникэ Типэтеску, уездный префект, и с госпожой Зоей мы только друзья.

Данданаке *(который слушал очень внимательно)*. Ах так... правильно, дай бог вам здоровья... Пардон, понимаете, я-то с дороги... *(Серьезно.)* Вы только вообразите: пять прогонов на почтовых, трюх-трюх, стук-стук, и колокольчики.... звенят в ушах... ужасно...

Зоя *(в сторону)*. Надо его увести отсюда и успокоить, он совсем не в себе.

Типэтеску. Господин Данданаке, не хотите ли немного отдохнуть?

Данданаке. Конечно, мой милый. Но где?

Зоя. Пожалуйте за мной, господин Данданаке.

Данданаке *(предлагает ей руку и идет с ней направо по ступенькам)*. Понимаете, сударыня, я совсем... того-с... понимаете, на почтовых... и колокольчики... понимаете, так и звенят... так и звенят.

Выходят.

ЯВЛЕНИЕ IV

Типэтеску один.

Типэтеску. Итак, мы выбираем господина Агамицэ Данданаке! Вот для кого я жертвую своим покоем, любимой женщиной... Где ты, Кацавенку? Посмотри, как ты отомщен! Где ты, чтобы я мог попросить у тебя прощения за то, что предпочел тебе честного господина Агамицэ, несравненного, божественного, миленького дружочка Данданаке... Какие люди! Какие люди!

ЯВЛЕНИЕ V

Типэтеску, Зоя, потом Пристанда.

Зоя *(поспешно спускаясь по ступенькам)*. Ты слышал, Фэникэ? Ты слышал? Твой честный господин Агамицэ, который, хотя и торжествует, все же сохранил письмо... Что же делать честному Кацавенку, у которого все сорвалось и который теперь, наверное, рвет и мечет и подстерегает меня в темном углу. Ах! Страшно подумать. Что делает Кацавенку? Где притаилась эта змея? Откуда она ужалит меня?

Типэтеску. Зоя! Зоя! Будь мужественна...

Зоя *(сквозь слезы)*. Я не могу больше, не могу! Рассказ этого Данданаке сломил меня окончательно, разбил мое сердце... Я с ума сойду от страха! *(Прячет лицо в ладони.)*

Пристанда *(поспешно входит слева).* Госпожа Зоя! Госпожа Зоя!

Типэтеску. Гицэ!

Зоя *(вздрагивая).* Гицэ!.. Что случилось? Говори!

Пристанда *(останавливаясь).* Госпожа Зоя, я хотел...

Зоя *(возбужденно).* Говори, не мучай меня! Что случилось? Он напечатал письмо? Дай мне. Я посмотрю! *(Очень взволнованно.)* Дай... я посмотрю!

Типэтеску. Зоя! Ты сошла с ума!

Пристанда. Аккурат сошла с ума!

Зоя. Да, я сошла с ума! И тебя я должна за это благодарить!

Пристанда *(пытается ее успокоить).* Нет, сударыня, ничего не опубликовано... «Вопль» даже не вышел сегодня. После того как сбежал Кацавенку, учителишки затеяли ссору, передрались, поколотили попа Припича. О газете и речи нет. Лопнула независимая партия, лопнула! *(Тихо Зое.)* Я должен вам сообщить коечто по секрету, сейчас же, немедленно!

Типэтеску. Разве я не говорил? А Кацавенку?

Пристанда. Я не нашел его, господин Фэникэ. Как сквозь землю провалился! *(Хлопает себя по лбу, будто о чем-то вспомнив.)* А! Чуть не забыл! Прошу прощения, целую ручку, господин Фэникэ... Министр... нет, все семь министров требуют вас немедленно на телеграф... Затем-то я вас и ищу.

Типэтеску. На телеграф? Чего они еще от меня хотят?

Пристанда. Не знаю, господин Фэникэ, но только уж целый час, как стучит телеграф, вам нужно идти.

Типэтеску. Ах, проклятая политика!.. Зоя! Зоя! Будь мужественна! Я ухожу.

Зоя. Иди.

Типэтеску. Я тотчас вернусь. *(Целует ей руку.)* Будь благоразумна! Еще ничего не потеряно, не беспокойся. До свидания! *(Уходит.)*

Зоя. До свидания!.. Ах, как я могла любить этого человека! *(Стоит в задумчивости.)*

Пристанда идет за Типэтеску и смотрит ему вслед.

ЯВЛЕНИЕ VI

Зоя, Пристанда.

Пристанда *(убедившись, что Типэтеску удалился, поспешно возвращается).* Сударыня!

Зоя *(вздрагивая).* Ах, Гицэ! Ты меня опять напугал... Что случилось! Чего ты хочешь? Уходи! Оставь меня!

П р и с т а н д а. Целую ручку, сударыня, не гневайтесь, тут кто-то есть... кто-то, кого вы хорошо знаете... он ждет... он хотел бы с вами поговорить, но только с вами... Потому-то я и отослал господина Фэникэ на телеграф, чтобы вы остались одни... Я соврал. Это неправда, что его вызывают министры. Уж я знаю, что он меня будет ругать за то, что я его обманул. Но пусть ругает... пусть даже прибьет. Разве он не мой начальник? Разве он не мой хозяин, у которого я ем хлеб, я и мои одиннадцать душ? Я ему соврал, но ради вас, сударыня... Вы его примете?.. Да?

З о я *(которая погружена в свои мысли и не слышит тирады Гицэ)*. Кого я должна принять?

П р и с т а н д а. Кого, кого? Господина Кацавенку...

З о я *(вскакивая с места)*. Кацавенку? Он здесь? Где он? Гицэ! Пусть зайдет сюда! Немедленно, сию минуту! *(Она предельно возбуждена.)*

П р и с т а н д а. Слушаюсь! *(Идет в глубь сцены и возвращается с Кацавенку.)* Пожалуйте, почтенный, пожалуйте! *(Вводит его и поспешно уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ VII

З о я, К а ц а в е н к у.

З о я *(бросается к нему)*. Господин Кацавенку, вы хотели меня погубить, а погубили себя. Почему вы сбежали? Почему исчезли? В руках Фэникэ вексель, на котором вы подделали подписи поручителей, чтобы получить пять тысяч лей... Вам это известно?

К а ц а в е н к у. Я знаю, мадам, что вексель у него *(в отчаянии)*, знаю. Но что я могу поделать?

З о я. Сумасшедший человек! Вы потеряли рассудок? Вы еще спрашиваете, что делать? Не знаете? Я возвращу вам вексель. Спасите меня, и я спасу вас! Обменяемся: отдайте письмо...

К а ц а в е н к у *(в отчаянии)*. Это невозможно, мадам!

З о я. Что?

К а ц а в е н к у. Ваше письмо...

З о я. Что?..

К а ц а в е н к у. Его у меня больше нет!

З о я. Не может быть!

К а ц а в е н к у. Нет, это правда. Его у меня больше нет.

З о я. Вы лжете!

К а ц а в е н к у. Нет, я не лгу.

З о я. Несчастный! Что вы с ним сделали?

К а ц а в е н к у. Я его потерял!

З о я *(вскрикнув, беспомощно озирается по сторонам)*. А! Почему я не могу вас убить!

К а ц а в е н к у. Убейте меня, сударыня, убейте, но это не моя вина!

З о я. Как вы его потеряли? Когда? Где вы его потеряли?

К а ц а в е н к у. Позавчера, во время скандала и драки на собрании, не знаю, кто... сорвал с меня шляпу, а письмо было в ней... за подкладкой...

З о я. Значит, оно действительно потеряно?

К а ц а в е н к у. Да!

З о я. Вы потеряли письмо... и не знаете, не подозреваете, где оно?

К а ц а в е н к у. Нет.

З о я. Нет?

К а ц а в е н к у. Нет.

З о я *(в отчаянии)*. Вы пропащий человек! Пропащий! Я, быть может, еще спасусь... но вы... *(С силой.)* Вы погибли! Когда Фэникэ вас арестовал, я вас спасла... Теперь уже я вас арестую, и вы не выйдете на свободу, пока я не найду своего письма... Может быть, вам еще повезет, и я найду его... Молите бога, чтобы я его нашла... Игра изменилась, господин Кацавенку. Счастье начинает вас покидать и переходит на нашу сторону. Вы погибли! Да, погибли. *(Кричит.)* Гицэ! Гицэ!

К а ц а в е н к у. Сударыня, ради бога! (*Оглядывается по сторонам.*)

З о я. Гицэ!.. *(К Кацавенку.)* Не ищите лазейки, вам нет больше спасения: попавшимся мошенникам нет спасения... кончено! Гицэ! Гицэ! *(Идет в глубь сцены и сталкивается лицом к лицу с подвыпившим гражданином.)*

ЯВЛЕНИЕ VIII

Т е ж е, подвыпивший г р а ж д а н и н в белой шляпе Кацавенку.

Г р а ж д а н и н *(в прекрасном настроении)*. Это не Гицэ, это я...

З о я. Кого вы ищете?

К а ц а в е н к у *(в сторону)*. Моя шляпа!

Г р а ж д а н и н. Вас, госпожа Зоя.

З о я. Чего вы от меня хотите?

Г р а ж д а н и н. А вот и господин Кацавенку. Здравствуйте, почтеннейший.

З о я. Чего вы от меня хотите? Говорите быстрей.

Г р а ж д а н и н. Чего я хочу? Добра хочу. У меня есть поговорка: тысячу лет здравствовать! *(Жест нетерпения со стороны Зои.)* Я, госпожа Зоя, нашел письмо.

З о я. То самое, которое украл у тебя уважаемый господин Кацавенку?..

К а ц а в е н к у *(подавленно)*. Сударыня!

Г р а ж д а н и н. Да ну его... я нашел еще одно!

З о я. А мне-то что до этого!

Г р а ж д а н и н. Не сердитесь, сударыня... погодите, я еще не все вам сказал. До того как войти, так сказать, в политику, до того как стать домовладельцем, я был почтальоном... на почте... меня господин Захария знает.

З о я. Убирайтесь наконец и оставьте меня в покое!.. Гицэ!

Г р а ж д а н и н. И с тех пор, стало быть, я отдаю письма по адресу. Если не найду адресата, надписываю карандашом: «Адресат неизвестен», или «не найден», или «помер»,— в каждом случае, стало быть, как оно случается...

Зоя нервно ходит по комнате.

Но если найду адресата — вручаю ему письмо... Вот, к примеру... теперь... Позавчера в примэрии во время драки я нашел шляпу...

З о я *(подходит)*. Шляпу?

К а ц а в е н к у *(в сторону)*. Негодяй...

Г р а ж д а н и н. Шляпу, да, вот эту... А сегодня натягиваю ее на голову — мала немного; хочу вынуть подкладку — и вдруг нахожу...

З о я. Письмо!

К а ц а в е н к у. Письмо!

Г р а ж д а н и н. Письмо, господин Кацавенку!.. Не пойти ли нам хлопнуть по рюмке?..

З о я *(очень взволнованно)*. Покажите!

Г р а ж д а н и н. От господина Фэникэ, адресат — вы.

З о я. Дайте, дайте мне его скорее!

К а ц а в е н к у. Я в самом деле погиб!

З о я. Скорее, если оно еще у вас!

Г р а ж д а н и н. У меня, я его не потерял... и еще не успел встретиться *(икает и показывает на Кацавенку)* с уважаемым! *(Вынимает письмо из подкладки шляпы и отдает его Зое.)*

К а ц а в е н к у *(в сторону)*. Мерзавец!

З о я *(выхватив письмо)*. Ах!

К а ц а в е н к у *(тихо подвыпившему гражданину)*. Несчастный, ты выбросил свое счастье в реку... Я сделал бы тебя человеком!

Г р а ж д а н и н. Нельзя было иначе... адресат с известным адресом. *(Показывает на Зою.)*

З о я *(оправилась от волнения)*. Вы честный человек, вы за-

мечательный, вы бесподобный человек! Примите мою признательность. Как вас зовут?

Гражданин. Зачем говорить, как меня зовут? Господин Захария знает меня еще с одиннадцатого февраля. Просто я гражданин, и все...

Зоя. Как мне вас благодарить? Чего вы хотите?

Гражданин. Скажите мне, за кого голосовать? Через четверть часа кончаются выборы, а я не знаю — за кого голосую!

Кацавенку *(с горечью)*. За господина Агамицэ Данданаке.

Зоя *(повернувшись к нему и меряя его угрожающим взглядом)*. Господин Кацавенку! Вы еще не потеряли дара речи? Вы еще пронизируете? А! Вы сильны!

Гражданин. Мадам Зоя, это правда?

Зоя. Да, правда, за господина Агамицэ Данданаке; это единственная правда, которую Кацавенку сказал за всю свою жизнь.

Гражданин. Ну, я побегу голосовать... *(Хочет идти.)* Как его, этого?

Зоя. Господин Кацавенку, будьте любезны, напишите этому уважаемому гражданину имя кандидата.

Кацавенку не двигается с места.

Прошу вас... *(Показывает ему письмо.)*

Кацавенку подходит к столу, заполняет бюллетень и подает его гражданину.

Разрешите? *(Берет бюллетень.)* «Агамицэ Данданаке»... Браво, господин Кацавенку, вы человек слова!..

Гражданин *(беря бюллетень)*. Я пойду, а то опоздаю...

Зоя *(провожая его)*. Прошу вас поверить, моя признательность всегда...

Гражданин *(очень торопливо)*. У меня времени нет... а то выборы кончаются... *(Уходит, неся в руках бюллетень.)*

Зоя любезно проводила его до выхода; возвращаясь, останавливается в глубине сцены, прячет за корсаж письмо и направляется к Кацавенку. С каждым шагом Зои Кацавенку склоняется все ниже и ниже, и наконец, когда она совсем приблизилась и остановилась перед ним, он падает на колени.

ЯВЛЕНИЕ IX

Зоя, Кацавенку.

Кацавенку. Простите меня, простите!

Зоя *(смеясь)*. Встаньте, будьте мужчиной, как вам не стыдно? *(Сурово.)* Встаньте!

Кацавенку *(смущенно)*. Простите меня.

З о я *(с достоинством)*. Вы плохой человек и доказали это. Но я — добрая женщина. И вы убедитесь в этом. Теперь я счастлива. Мне безразлично, что вы хотели причинить мне вред, но не смогли. Бог не помог вам в этом, потому что вы плохой человек. А я хочу, чтобы мне он всегда помогал, и потому я буду доброй, как всегда.

К а ц а в е н к у *(униженно)*. Мадам!

З о я. Не дрожите! Вы спасены, даю вам честное слово...

К а ц а в е н к у. Целую ручки... моя признательность...

З о я. С одним условием: после выборов будет публичная демонстрация, и вы будете ею руководить.

К а ц а в е н к у *(поспешно и покорно)*. Буду руководить...

З о я. Вы будете председательствовать на банкете в саду примэрии...

К а ц а в е н к у *(так же)*. Буду председательствовать...

З о я. Вы будете пировать с народом...

К а ц а в е н к у *(та же игра)*. Буду пировать.

З о я. И придете со всеми вместе сюда приветствовать нового депутата и префекта от имени избирателей.

К а ц а в е н к у. Да.

З о я. Мы договорились?

К а ц а в е н к у. Да.

З о я. Идите и займите место во главе стола; будьте исполнительны! Это ведь не последние выборы.

К а ц а в е н к у. Мадам, мадам Траханаке, вы ангел!..

З о я. Благодарю вас, вы слишком любезны, но идите скорей.

К а ц а в е н к у. Иду, иду, вы останетесь мною довольны... Целую ваши ручки! Целую ручки!.. *(Поспешно уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ X

З о я одна.

З о я. Это явь или сон? *(Садится на стул, вынимает письмо, читает и целует его.)* Фэникэ! *(Поднимается со смехом, еще раз читает, снова подносит к губам, снова садится.)* Фэникэ. *(Плачет. После паузы встает, улыбаясь, вытирает глаза.)* Все прошло... Фэникэ! *(Быстро взбегает по ступенькам и исчезает в доме.)*

ЯВЛЕНИЕ XI

Т и п э т е с к у один.

Т и п э т е с к у *(поспешно входит на сцену)*. Гицэ сошел с ума. Посылать меня на телеграф без толку... Смеется, что ли, надо мной? Что это значит?.. А Зоя... Где Зоя? *(Оглядывается и быстро уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XII

Траханаке и Данданаке выходят из глубины сцены.

Траханаке. Да-а, любезнейший, у нас здесь была отчаянная борьба. Произошла настоящая драка...

Данданаке. Не говорите, братец.

Траханаке. Подлость! Представьте себе: один негодяй, подлец, для того чтобы повлиять на Типэтеску, на Фэникэ, то есть на префекта...

Данданаке *(очень внимательно слушает, но явно ничего не понимает)*. О да! Так! Значит, это не вы — префект?

Вдали слышны звуки марша.

Траханаке. Чтобы поссорить его со мной и моей семьей... додумался состряпать любовное письмо от Фэникэ, префекта, к Зое, моей жене, и подделал его почерк... Подделал почерк!.. И какая это была чистая работа! Побожиться можно, что...

Данданаке. Что вы говорите, голубчик? А у меня было подлинное письмо!

Музыка приближается, слышны крики «ура».

Траханаке. Как, подлинное?

Данданаке. Письмецо той персоны... ну, этого холостяка.

Траханаке. Как холостяка?

Данданаке. Ну, значит, неженатого...

Траханаке. Кого?

Данданаке. Не скажу кто — важная персона... Когда я его припер к стенке: сдаешься или письмецо в газету,— он, понимаете, бац — и послал сюда депешу...

Траханаке. Не понимаю. *(В сторону.)* Он совсем ошалел с дороги... Почтовые... колокольчики...

Данданаке *(в сторону)*. Слабоват, совсем слабоват префект-то, рассказываешь ему два раза одно и то же, а он все не понимает.

Звуки марша приближаются, все явственнее слышны крики «ура».

ЯВЛЕНИЕ XIII

Те же, Зоя, Типэтеску.

Зоя *(сходит по ступеням в сопровождении Типэтеску; оба в веселом настроении и не замечают тех, кто на сцене)*. Итак, ты видел... *(Заметив Траханаке и Данданаке, меняет тон.)* Господин

префект, ураганы быстро проходят... Господин Данданаке, стол сейчас накроют...

Данданаке. Я как раз говорил господину префекту, и он мне говорил...

Типэтеску. Господину префекту?

Данданаке. Да, господину префекту. *(Показывает на Траханаке, который разговаривает в стороне с Зоей.)*

Зоя *(тихо)*. Тебе, папочка, нравится наш депутат?

Траханаке *(тихо)*. Умен... но мне кажется, что хитроват.

Данданаке *(к Типэтеску)*. Он мне тут историю рассказывал с выборами, с письмом и подлогом...

Зоя прислушивается.

а я ему говорил о моем случае... у меня-то всамделишное было письмо... от особы...

Зоя *(бросается к нему, тихо)*. Господин Данданаке, вы мне обещали не упоминать больше об этой истории.

Данданаке. Я обещал? *(Быстро.)* Когда я обещал? Кому я обещал? Что я обещал? *(Вдруг вспомнил.)* А! Да! Больше ни-ни...

Крики «ура» совсем близко, входят избиратели, играет оркестр.

ЯВЛЕНИЕ XIV

Те же, Фарфуриди, Брынзовенеску, Кацавенку, подвыпивший гражданин, Пристанда, Ионеску, Попеску, избиратели.

Брынзовенеску, Фарфуриди и другие, наиболее видные избиратели, в претенциозных провинциальных костюмах, выходят из дома и спускаются по ступенькам с правой стороны. Приветствия и поклоны. Из глубины появляются Кацавенку, полицмейстер в штатском, подвыпивший гражданин, Ионеску, Попеску. Они входят с улицы впереди демонстрантов. Те, кто приходят, все навеселе, особенно Кацавенку и подвыпивший гражданин. За ними следом идет множество граждан, также навеселе. У всех в руках зеленые ветки и флаги, бутылки и кружки. Из дома Траханаке, вслед за Фарфуриди, Брынзовенеску и другими избирателями, выходят слуги, неся бутылки с шампанским и бокалы. Гицэ Пристанда делает знак оркестру замолчать. Наиболее видным избирателям раздают бокалы с шампанским. Типэтеску, Зоя, Траханаке, Данданаке стоят с левой стороны.

Фарфуриди *(поднимает бокал шампанского)*. За здоровье господина Агамицэ Данданаке, нашего избранника! Да здравствует Данданаке!

Крики «ура». Музыка. Пристанда подает знак, когда кричать «ура».

Д а н д а н а к е *(подбадриваемый Зоей и Типэтеску, выходит на середину с бокалом в руках)*. За здоровье избирателей... которые... проявили патриотизм и отдали мне... ну, как это сказать... забыл слово... Да! Свои голоса! И я, который... моя семья с сорок восьмого года в парламенте, и, стало быть, как беспристрастный демократ... как бы сказать... Одним словом — да здравствует!

Крики «ура», все чокаются и пьют.

Т р а х а н а к е *(к Кацавенку, который подошел к нему и Типэтеску)*. Итак, теперь ты с нами заодно, уважаемый! Браво! Я рад!

К а ц а в е н к у. Почтеннейший господин Захария! При таких обстоятельствах мелкие страсти должны умолкнуть.

Т р а х а н а к е. Вот это мне нравится! Браво! Желаю здравствовать!

К а ц а в е н к у. За здоровье нашего почтеннейшего и беспристрастнейшего председателя Трахананке! Ура!

Все чокаются. Зоя увидела в толпе подвыпившего гражданина, берет бокал и подносит ему.

Г р а ж д а н и н. За здоровье мадам Зои! Потому что она *(икает)* добрая дама! *(Чокается с Зоей; она от всего сердца пожимает ему руку.)*

К а ц а в е н к у *(Типэтеску тихо)*. Вы должны меня простить и полюбить! *(Экспансивно.)* Потому что все мы любим свое отечество и все мы, румыны... более или менее честные люди.

Типэтеску смеется.

За здоровье нашего любимого префекта! Пусть он здравствует на благо нашего уезда!

Крики «ура», чоканье.

Т р а х а н а к е *(берет бокал и выходит на середину сцены. Очень весело)*. Имейте чуточку терпения! Я не знаю префекта! У меня нет префекта. У меня есть друг! За здоровье моего друга Фэникэ! Пусть здравствует на счастье своих друзей! *(Целует Фэникэ, потом Зою.)*

Фэникэ целует руку Зое.

Крики «ура». Дандананке среди избирателей, он что-то рассказывает Фарфуриди и Брынзовенеску, изображая жестом колокольчик; направо, в глубине, Пристанда, подвыпивший гражданин, оркестранты, народ. Налево — Зоя, Типэтеску, Трахананке и другие избиратели. В центре — Кацавенку.

К а ц а в е н к у (*сильно навеселе, заплетающимся языком, но все же с пафосом*). Братья!

Все поворачиваются и слушают.

После великой борьбы, которая продолжалась почти тридцать лет, наша мечта сбылась! Чем мы были еще недавно, до Крымской войны? Мы боролись — и мы шагнули вперед! Вчера — обскурантизм, сегодня — свет! Вчера — ханжество, сегодня — свободомыслие! Вчера — горе, сегодня — радость!.. Вот преимущество прогресса!.. Вот благо конституционного режима!

П р и с т а н д а. Аккурат конституционного. Музыка! Туш!

Веселый марш. Громовое «ура». Все целуются. Взявшись за руки, кружатся вокруг Кацавенку и Данданаке, которые обнимаются. Зоя и Типэтеску любуются сценой со стороны.

З а н а в е с.

1884

СЧАСТЛИВЧИК

Мой друг Манолаке Гувиди — личность известная в обществе. У него значительное состояние, добытое честным трудом. Он человек умный и серьезный, прекрасный супруг и хороший отец семейства. Обладая такими качествами, он должен был победить в борьбе за жизнь: завистники, несмотря на всю их клевету, ничего не могли с ним поделать.

В свое время, когда он был женат первым браком, он занимался большими казенными подрядами — они-то и положили начало его процветанию, поскольку доходы от этого дела и превратились в то кругленькое состояние, обладателем которого он теперь и является. Завистливые интриганы пытались сжить его со света, и после ожесточенной кампании, как изустной, так и в прессе, они сумели создать в высоких кругах весьма неблагоприятное мнение вокруг моего друга Манолаке.

Все его хлопоты, протесты и жалобы оказались напрасными. Тогда, чтобы не ставить себя под удар и не продолжать бесполезно обивать пороги официальных учреждений, где его принимали весьма грубо и даже угрожали расторжением контракта и разорительным судебным процессом, он послал свою жену, чтобы она повела переговоры с одним весьма влиятельным сановником, который всегда при необходимости выручал его, выказывая большое расположение.

Господин Гувиди прекрасно знал себя, он понимал, что со своим «непреклонным и гордым» характером он не сможет провести это деликатное дело так тонко, как его жена. Госпожа Гувиди, несмотря на свою молодость, скрывала за девичьим обличием и почти детскими манерами большой дипломатический такт. Действительно, ее муж рассудил правильно: то, что не удалось бы

«прямолинейному и вспыльчивому» мужчине, каким считал он себя, безболезненно довела до счастливого конца слабая женщина.

Злые языки устали и должны были в конце концов замолчать, а наш друг, открыто взятый под мощное покровительство высокопоставленного лица, о котором мы уже говорили, смог и дальше заниматься своими делами и сколотил значительное состояние, достойное его неустанной мудрой деятельности.

Но это еще не все: благодаря этому случаю между семейством Гувиди и их покровителем установились самые теплые дружеские отношения, которые оставались совершенно безоблачными в течение многих лет, пока жестокая смерть не сразила госпожу Гувиди в самом расцвете лет.

Бедная женщина! Такая молодая и прекрасная, столь любимая! Кто бы мог вообразить! И какую пустоту оставила она после себя!

«Невосполнимая потеря для оставшихся безутешными!»

Эти скорбные, полные тоски слова прочли мы на широкой ленте, свисающей с самого красивого венка из пармских фиалок, когда следовали за печальной похоронной процессией. А на венке, который возложил несчастный муж, была еще более краткая и более душераздирающая надпись:

«Вечная память. Безутешный Гувиди».

Много воды утекло с тех пор, и время, как и всегда, сгладило «вечную» скорбь, заполнив постепенно забвением ту пустоту, которую оставила после себя очаровательная усопшая женщина.

Когда пустота окончательно заполнилась, наш друг Манолаке женился второй раз.

Счастливчик!

Вторая его жена так же молода и столь же красива, как и некогда покойница; что же касается дипломатического такта, столь необходимого, когда муж ведет крупные и разнообразные дела, то можем прямо сказать: в этом она ее превзошла.

Поэтому-то дела дома Гувиди и К° непрерывно расширялись и процветали; успех стал покорным рабом нашего друга, а счастье следует за ним, как послушный и верный пес.

Я как раз размышлял о том, какой великолепный и светлый роман можно было бы написать, вдохновившись жизнью этого представителя счастливых людей, которых мы так хорошо знаем в нашем обществе, как вдруг получаю по почте следующее письмо:

Господин и госпожа М. Гувиди имеют честь просить Вас провести воскресенье в их поместье «Каменная мельница».

Соберется тесный круг самых близких друзей.

Вечерний костюм не обязателен; où il y a de gêne, il n'y a pas de plaisir![1]

Примечание. На станции Вас будет ожидать экипаж.

Стиль — это женщина. О грациозная госпожа Гувиди! Я узнаю ее почерк и любимое изречение, которое она так часто повторяет, очаровательно подмигивая.

* * *

«Каменная мельница» — поместье совсем небольшое, но это маленький рай!

Оно расположено в двадцати минутах езды от станции. В нем огромный парк и английский коттедж, какие редко встретишь у нас.

И за сколько, вы думаете, было куплено это именье? Вы не поверите, как и сам бы я не поверил, не знай этого совершенно достоверно. За сколько?.. За пару гнедых лошадей всего-навсего! Прекрасные лошади, ничего не скажешь! Но когда приобретаешь именье стоимостью в двести пятьдесят тысяч лей как одна копеечка за пару лошадей, цена которым от силы пять или пять с половиной тысяч, то здесь уж играет роль иной фактор, куда более сильный, чем материальный расчет,— страсть.

Ранее «Каменной мельницей» владел широко известный господин Н., тонкий любитель спорта, несказанно богатый, старый холостяк, который, как это всем нам известно, питает непреодолимую страсть к лошадям. И вот однажды встретил госпожу Гувиди на шоссе, когда она собственноручно правила парой своих гнедых. Кто знает, в каком состоянии духа находился человек,— говорят, что перед этим он всю ночь играл в «Жокей-клубе» и сильно проигрался,— но с той поры потерял и сон и покой.

Все это рассказывает наш общий друг, сам Гувиди.

Гнедые стали для Н. наваждением, идеей-фикс, настоящей болезнью, назовите как хотите. Чего он только не предпринимал, чтобы заполучить их! Он следовал за ними буквально повсюду, завязал самые дружеские отношения с Гувиди, настаивал, умолял, унижался, но все напрасно. Хотя муж согласился и готов был угодить новому другу, жена оставалась непреклонной.

— За деньги я их не отдам! — решительно заявила она однажды.

---

[1] Там, где чувствуют себя стеснительно, там нет радости! *(франц.)*

— Тогда за что же? — спросил Н. тоном человека, готового на все.

— За... Но вы не согласитесь...

— Согласен на что угодно!

— За «Каменную мельницу»! — коротко ответила госпожа Гувиди, и в эту минуту она казалась прекраснее, чем когда-либо.

— Ну, это уж чересчур! — буркнул Манолаке, который сидел в глубине гостиной и читал газету.

— Чего ты вмешиваешься в наши дела? Ты-то ни при чем! — возразила госпожа Гувиди, надув губки, как избалованный ребенок.

Господин Гувиди пожал плечами и вновь углубился в газету.

— «Каменная мельница» вам действительно очень нравится? — спросил Н.

— Во всяком случае, больше, чем вам... мои лошади.— И на ее лице появилась скептическая улыбка.

— Вы не правы! — тихо ответил упавшим голосом господин Н., глядя в упор на молодую женщину, и его глаза, много увидевшие в ее глазах, как-то странно блеснули.

— Я в это не поверю, пока вы не докажете! — еще тише произнесла она, подчеркивая свою скептическую улыбку.

Сделка состоялась. По-другому и быть не могло, иначе Н. не получил бы того, чего он так страстно добивался. Лошади перешли к нему. Таким образом, уже шесть лет «Каменная мельница» является собственностью Гувиди.

* * *

Я принял милое приглашение и не пожалел об этом. Место было действительно очаровательным, и я провел время в лоне этой образцовой семьи как нельзя лучше.

Но это не была обычная встреча друзей: отмечался день рождения Никуцы — единственной дочери супругов Гувиди исполнялось пять лет.

Какие там были подарки — целое состояние! Среди них, между прочим, и фотографический портрет, заключенный в рамку массивного золота, усыпанную алмазами величиной с горошину. На фотографии крестный отец любовно держал на руках свою маленькую крестницу, которая смеялась невинным смехом.

Крестный отец преподнес и гостям весьма приятный сюрприз: привез из Бухареста оркестр кавалерийского полка.

Обед был блестящим, а бал на лоне природы необычайно оживленным и веселым.

Так как на следующий день, в понедельник, у каждого с утра

оказались срочные дела в городе, то всем гостям пришлось уехать поездом в час ночи.

Сентябрьская ночь, прозрачная, как хрусталь, теплая погода и полная луна. Десять колясок шагом движутся по дороге, а впереди них оркестр исполняет парадный марш. Это незабываемо!

Супруги Гувиди вместе с крестным отцом провожали нас до самой станции.

Поблагодарив хозяев, и особенно хозяйку, которая ухаживала за нами с присущим ей очарованием, и прочее и прочее, мы все погрузились в вагон.

Н., у которого, в отличие от нас, не было дел на завтрашний день, остался ночевать на «Каменной мельнице». Господина Гувиди, однако, на следующий день уже ждали в городе П., куда его призывали неотложные дела, и он остался на вокзале, чтобы сесть на поезд, идущий из Бухареста, с которым мы должны были разминуться на первом же разъезде.

Вполне понятно, что в вагоне мы только и говорили об изумительном приеме, и все были единодушны в похвалах, в большей или меньшей степени завидуя тому счастью, какое выпало на долю нашего друга Манолаке.

Госпожа З., одна из приглашенных, весьма уважаемая вдова, которая знает все, что происходит в обществе, сообщила нам, «полагаясь, вполне понятно, на нашу скромность», что Н., будучи человеком болезненным, составил завещание, по которому почти все свое состояние оставил дочке Манолаке, которую он любит до безумия.

Все мы, естественно, должны были еще раз воскликнуть:

— Счастливчик же этот Гувиди!

1890

СЧАСТЬЕ НАБОРЩИКА

Жил-был на свете бедный мальчик, и пожалела его богородица и, превратившись в монахиню, вышла ему навстречу, когда он одиноко бродил по дорогам.

— Послушай, мальчик, почему ты все ходишь без дела? — спросила она.— Скоро придет зима, а у тебя нет ни родителей, ни отчего дома, ни теплой одежды... Хочешь, я помогу тебе?

— Конечно, матушка, целую руку,— ответил мальчик.

— Тогда следуй за мной.

Мальчик последовал за монахиней. Она привела его в типографию и устроила там учеником. Затем она дала ему мелочи на бублики, благословила и ушла.

И началась для бедного мальчика тяжелая полоса подневольной жизни: изо дня в день тяжелая работа ради куска черствого хлеба, необеспеченное существование и изнурительный труд с утра до позднего вечера не только в будни, но и по праздникам, и даже по воскресеньям; обиды и подзатыльники за легкие провинности, никем не оплачиваемое прилежание, зубная боль от типографского свинца и многое-многое другое... Было за что благодарить монахиню...

Однако он все это вытерпел и продолжал работать.

Так он и рос, бедный мальчик, забитым и несчастным, а когда вырос, то стал наборщиком. Но судьба его от этого не улучшилась. Долго он терпел и трудился, пока однажды вечером, идучи домой, усталый и разбитый, по той самой дороге, на которой повстречалась ему в детстве монахиня, он не вспомнил о ней с обидой и тоской. И вдруг откуда ни возьмись она снова предстала перед ним, такая же ласковая и грустная, как в те далекие времена, и такая же молодая и красивая, словно ее совсем не коснулись прошедшие годы...

— Ты думал обо мне? — спросила монахиня.

— Да, матушка, думал,— ответил наборщик.— Мне стало совсем невмоготу работать и не иметь куска хлеба, и я подумал, что вы, наверное, пользуетесь влиянием в нашем мире...

Но монахиня грустно улыбнулась и ласково прервала его:

— В этом мире? Увы... я здесь не пользуюсь больше никаким влиянием...

— Но все же я хотел бы вас попросить улучшить мою судьбу,— сказал наборщик.

— Попробуем... я попрошу за тебя моего сына.

— А кто ваш сын? У него есть какая-нибудь власть?

— Я думаю, что есть. А что бы ты хотел?

— Разве я знаю? Хорошо бы не работать так много и за такую ничтожную плату.

— Ладно,— сказала монахиня,— я попрошу моего сына...

И, подняв кроткие глаза к небу, она произнесла такую молитву:

— Сын мой, сын мой... внемли моей просьбе и помоги этому несчастному человеку. Избавь его от подневольного труда и награди его так, чтобы за каждое набранное им клеветническое измышление ему воздавалось по три гроша, за каждую ложь — по два, а за каждые две глупости — по одному.

— Ох, матушка, всего по грошу? — вскричал наборщик.— Не видать мне достатка до конца моих дней!..

— Молчи,— отвечала монахиня.— И не теряй веры... Сын мой ведь говорит: веруй — и спасен будешь... Спокойной ночи...

И она удалилась.

Наборщик же отправился к себе домой. Но, войдя в дом, он увидел такую картину: его жена...— стремясь сократить рассказ, я забыл вам сказать, что наборщик женился,— стало быть, его жена зажгла целую сотню свечей и пляшет между ними одна в комнате.

— Что случилось? — спросил наборщик.— Ты что, сошла с ума? Почему ты танцуешь одна, да еще без музыки?

А жена и слушать не хочет, продолжает скакать как одержимая. Схватила его за руку и давай кружить по комнате, пока они оба не свалились в изнеможении на стул.

Бедный наборщик перекрестился.

«Видимо, спятила моя жена от бедности и отчаяния»,— подумал он.

Отдохнув и отдышавшись, жена наборщика встала, намереваясь снова пуститься с ним в пляс. Муж от страха бросился было бежать. Она за ним!.. Догнала его жена и рассказала причину своей веселости. Явилась ей во сне богоматерь, которая сказала: «Иди поскорей и поскреби ножом под печкой в сенях. Ты найдешь там горшок; и все, что в горшке, будет ваше».

— Вот, посмотри! — С этим словами жена наборщика приподняла одеяло на постели, и ошеломленный муж увидел целую гору монет и ассигнаций: были тут и пятаки, и двадцатки, и золотые, и даже банкноты по сто и даже по тысяче лей... Все это она нашла в горшке и высыпала на кровать.

Так-то разбогател наш наборщик и принялся горячо благодарить матушку-монахиню за оказанную ему милость.

Только значительно позднее он понял, в чем дело и что он разбогател потому, что уже столько лет работает наборщиком в большой ежедневной газете.

Шутка сказать — три гроша за клевету, два — за ложь, а за глупости... по грошу за пару!

1892

ПРАВОСУДИЕ

Мировой судья. Значит, вы — Лянка, вдова, содержательница винной лавки.

Лянка. На Чертовом подворье...

Судья. Знаю. Не мешайте вести допрос.

Лянка. Я патент имею, господин судья.

Ответчик. Ишь ты!

Судья. Тише!

Лянка. Вы уж меня не забижайте, господин судья.

Судья. Не мешайте задавать вам вопросы!

Лянка. Молчу.

Судья. Следовательно, вы — Лянка, вдова, содержательница винной лавки. Что вы заявляете против обвиняемого Янку Зуграву?

Лянка *(постепенно распаляясь)*. Я, дай вам бог здоровья, господин судья, целую ручку, женщина бедная. Видит бог, как я бьюсь из-за куска хлеба... Потому-то и задумала я после святого Георгия забросить эту лавку, потому нету у меня никакой возможности из-за этих налогов содержать ее,— и на кусок хлеба не остается, а тут еще и за патент плати.

Ответчик. За патент господин Митикэ платит.

Лянка. Господин Митикэ? Да провались на месте тот, кто возводит эту напраслину!

Судья. Тише! Никто не имеет права говорить, пока я не спрошу.

Лянка. А почему он говорит, что это господин Митикэ? Я, господин судья, целую ручку, присягу могу принести, что не знаю за собой никакого греха.

Судья. Не об этом речь! Расскажите, как было дело и что вы требуете от ответчика?

Лянка. Я, господин судья, требую, прошу прощенья, своей чести, потому что он облаял меня и бутыль с тремя литрами наливки самого первого сорта, которую еще осенью привезла на извозчике от господина Маринеску — бригадира с базара, когда еще господин Томицэ сказал, чтобы взять в пролетку...

Судья. Кого взять в пролетку?

Лянка. Бутыль... Потому сказал...

Судья. Кто сказал?

Лянка. Господин Томицэ... что, дескать, разобьется.

Судья. Кто разобьется?

Лянка. Бутыль, господин судья.

Судья. Истица, чего вы городите? Отвечайте наконец на мои вопросы! Что вы требуете от ответчика?

Лянка *(громко и торопливо)*. Прошу прощенья, моей чести, господин судья, которую он обругал непотребными словами и разбил бутыль, а платить за нее не хочет... *(Жалобно.)* Я женщина бедная, ведь это грех так со мной поступать! Пришел, за душой ни гроша, напился вдребезги, а потом, когда я хотела позвать полицейского, говорит, что меня сажей вымажет, а сам улизнуть хочет, и тут-то — трах об стойку, прямо вдребезги.

Судья. Что вдребезги?

Лянка. Бутыль с наливкой, а потом удрать хотел.

Судья. Кто?



Ион Лука Караджале

Л я н к а. Да вот он.

С у д ь я. Чего же вы от него требуете?

Л я н к а. Моей чести и три литра наливки первого сорта...

С у д ь я. Хорошо. Садитесь и молчите.

Л я н к а. Ведь как было? Он пришел...

С у д ь я. Молчать!

Л я н к а. Молчу, только...

С у д ь я. Замолчите сейчас же!

Л я н к а. Уже замолчала.

С у д ь я. Янку Зуграву! Что вы можете возразить против претензий истицы?

О т в е т ч и к *(он пьян и говорит медленно)*. Я, господин судья? Это она мне говорит, прошу прощенья: «Опять ты явился, свинья?» Чтобы деликатность в обращении с клиентом, так этого у нее никогда не бывало. Вот я и говорю, уж коли господин Митикэ...

С у д ь я. Кто такой этот господин Митикэ?

Л я н к а. Господин судья, целую ручку, вы посмотрите, ведь он и сейчас на ногах еле держится.

С у д ь я. Молчите, я вас не спрашиваю. *(К ответчику.)* Кто такой господин Митикэ?

О т в е т ч и к. Господин Митикэ? Не знаете господина Митикэ? *(Иронически улыбается.)* Сам черт ему не брат, этому господину Митикэ!

С у д ь я. Отвечайте серьезно! Кто такой господин Митикэ?

О т в е т ч и к. Господин Митикэ — из налогового управления. *(Многозначительно улыбается.)* Теперь понятно, в чем тут дело? *(Подмигивает.)*

С у д ь я. При чем тут господин Митикэ?

О т в е т ч и к. Ведь он же за ее патент уплатил.

Л я н к а. Да провались на месте...

С у д ь я. Молчать! *(Ответчику.)* Не о патенте идет речь, а о бутыли с наливкой.

О т в е т ч и к. Ну, упала она с прилавка, господин судья, на краешке стояла.

С у д ь я. Кто ее столкнул?

О т в е т ч и к. Видно, черт попутал, потому она хотела позвать полицейского... Я не хотел, я сам коммерсант...

Л я н к а *(показывает ему нос)*. Коммерсант! Как бы не так! Куриной кожей торгует!

С у д ь я. Призываю вас вести себя прилично! Я не разрешаю здесь показывать нос!

О т в е т ч и к *(довольный)*. Правильно, господин судья! Теперь вы сами видите, что она за выродок!

С у д ь я. И вам я не разрешаю вести себя здесь недостойно! *(Сурово.)* Понятно?

Л я н к а *(весело)*. Ха-ха-ха! Браво, господин судья! Пусть скажет, какой коммерцией он занимается.

С у д ь я. Замолчите, а то удалю из зала.

О т в е т ч и к. Ха-ха-ха! Браво...

С у д ь я *(очень строго)*. Отвечайте, какой коммерцией вы занимаетесь?

О т в е т ч и к. Был я маляром, господин судья. Только увидел, что иностранная конкуренция совсем меня губит, и тогда завел лотерею на ярмарке.

С у д ь я. А о саже как зашла речь?

О т в е т ч и к. Я хотел ее только попугать, что вымажу *(подмигивает)*, прошу прощенья, физиономию ее лица...

Л я н к а. Значит, только напугать? А кто пришел как-то раз с шапкой, полной сажи?

О т в е т ч и к. Что про то говорить! Это была другая история! *(К судье.)* Это была политика, где ей, бабе, понять!

С у д ь я. Хорошо, все хорошо. Но почему вы явились в суд пьяным?

О т в е т ч и к *(печально)*. А коли у меня, господин судья, без этого куража не хватает.

С у д ь я. Довольно.

(Выносит приговор: взыскать с ответчика Янку Зуграву семь лей в возмещение убытков и две леи за судебные издержки.)

Л я н к а. Господин судья, целую ручку, а как же моя честь? Что с ней останется?

О т в е т ч и к *(ехидно)*. Это уж забота господина Митикэ!

1893

НАГРАДА ЗА ПАТРИОТИЧЕСКУЮ ЖЕРТВУ

Наконец-то... Всего несколько часов осталось до утра одиннадцатого февраля, когда должен был произойти переворот. В казарме на Дялул-Спири артиллеристы окутывали колеса пушек соломой, чтобы на рассвете, не нарушая ночной тишины и мирного сна обитателей предместья, подойти с тыла к королевскому дворцу и поддержать там операцию заговорщиков. Военные выполнили свой долг, штатские тоже не ударили лицом в грязь.

Группы заговорщиков собрались в последний раз. Чтобы читателю все стало ясно, следует сказать, что широко развернутая подпольная организация состояла из отдельных небольших групп — от десяти до восемнадцати человек. В каждой группе несколько человек были связаны, втайне от остальных ее членов,

с представителями другой группы. Таким образом, если бы даже удалось напасть на след заговорщиков, пострадала бы только горсточка людей. Организация была создана покойным К.-А. Росети, по классическому образцу организации Мадзини.

В этот вечер происходило собрание одной группы, которая состояла главным образом из молодых энтузиастов, если не считать двух-трех торговцев. Председатель, фанатик-либерал, который, скрываясь в 1848 году в Бруссе, раздобрел там на турецких хлебах, произнес краткую речь приблизительно такого содержания:

— Братья! Сейчас не время для разговоров, настал час решительных действий. Вооружитесь мужеством: великий миг приближается. Возможно, что еще до рассвета мы будем призваны принести большую жертву, какую отечество вправе требовать от истинного гражданина. Будем готовы на все! Никакие опасности не помешают нам выполнить долг патриота!

Председатель кончил свою торжественную речь. Молодые карбонарии, скрежеща зубами, подняли сжатые кулаки, что заменяло аплодисменты и одобрительные возгласы, ибо всякому известно, что в условиях конспирации нельзя шуметь. Пока председатель говорил, один из торговцев усердно шарил в карманах своих шаровар. Когда же оратор замолк, он встал, вынул из кармана довольно объемистый, туго набитый, засаленный кошелек и решительно направился к председателю. Шумно швырнув кошелек на стол, между подсвечниками, торговец сказал:

— Если наступило время для жертв, то и я не останусь в долгу.

Он принялся развязывать шнурок кошелька, а председатель и молодые энтузиасты смотрели на него с едва скрываемым отвращением. Один из них, самая горячая голова, не мог совладать с собой и крикнул с негодованием: «Хам хамом и останется!» Но все были очень голодны, и вид пузатого кошелька охладил первый порыв возмущения. Молодые энтузиасты переглянулись и, позабыв, что находятся в конспиративном кабачке, зааплодировали и дружно закричали:

— Ура! Ай да патриот! Да здравствует дядя Ницэ!

Бедняги потянулись жадными руками к кошельку, но тут толстокожий патриот взял его со стола и сунул обратно в карман.

— Ладно,— сказал он,— свою долю я вношу. Но кто даст еще, и сколько?

Председатель обменялся взглядами с молодежью и обратился к торговцу:

— Дядюшка Ницэ! У нас все по-братски: каждый дает, что может и сколько может. Например, эти молодцы, которым, как говорится, нечего терять, готовы жизнью рисковать, храни их

господь! Ведь мы нешуточное дело затеяли. Подумайте только, дядя Ницэ, гарантии семи держав... Парижское соглашение... Получается, что мы идем против Наполеона Третьего. Это вам не игрушки, дядюшка Ницэ! Вот я и говорю: они, эти ребята, и на смерть пойдут, если понадобится.

— Упаси бог! — произнес дядя Ницэ.— Было бы жалко...

— Да, но это вполне возможно, не правда ли? Другое дело вы, человек совершенно иного склада, богач, коммерсант,— для вас нет смысла бросаться очертя голову туда, куда они кинутся. Недаром господь бог так все и распределил на земле: кому в удел заботы, а кому, к примеру, капитал. Сколько бы каждый ни вкладывал в общее дело, прибыль делится потом поровну, ибо все мы патриоты... Правильно я говорю?

— Выходит, что правильно,— согласился дядя Ницэ.— Теперь я понял...

— Ну вот видите! Выкладывайте-ка свою долю.

Дядя Ницэ снова достал кошелек, развязал его и вытряхнул на стол кучу монет. Тут были икусары, нисифьеле, сфанцы, фирфирики и всякая другая мелочь. Он принялся считать. Оказалось, что все это составляет пять червонцев. Тогда он затянул кошелек шнурком и спросил:

— Ну а кто мне теперь подпишет фитанцию?

— Какую «фитанцию?»

— На выданную сумму.

— Что вы, дядюшка Ницэ? — воскликнул председатель.— И как только у вас язык поворачивается? Во время революции требовать расписку...

Дядя Ницэ прикрыл лапой монеты и начал подвигать их к краю стола, чтобы забрать назад.

— Без фитанции не могу дать. Как же я внесу эту сумму в свои книги?

Почуяв опасность, самый бедный из карбонариев бросился к торгашу, стиснул его руку и сказал:

— Погодите, дядя Ницэ! Братья,— обратился он к товарищам,— дядя Ницэ прав. Если коммерсант дает деньги, он должен получить расписку. Вот что я придумал: пусть каждый из нас подпишется, а председатель — заверит наши подписи.

Заговорщики с сияющими лицами единогласно приняли предложение. Молодой человек взял бумагу, написал расписку и прочел вслух:

Мы, нижеподписавшиеся патриоты, в тяжелый для нас момент взяли у дяди Ницэ на пользу отечества сумму в семьдесят сфанцев, каковую обязуемся ему вернуть немедленно, после того как будут приняты все меры для свержения тирании.

Затем следовали подписи.

Собрание кончилось. Заговорщики стали расходиться. Торговец еще раз пересчитал деньги, взял расписку, сложил ее, сунул в карман и направился к выходу. У самых дверей председатель остановил его, отвел в сторону и шепнул на ухо:

— Послушай, дядя Ницэ, я тебе не советую носить в кармане эту расписку. А вдруг нам, упаси бог, не удастся свергнуть Кузу, полиция нагрянет и найдет квитанцию,— что ты тогда будешь делать?

Дядя Ницэ на минуту задумался, потом, подмигнув председателю, ответил:

— Уж я сумею ее спрятать. Не извольте беспокоиться!

Председатель погасил свечи и проводил дядю Ницэ до ворот. Когда торговец удалился, председатель вошел до двор и чиркнул спичкой. Не прошло и секунды, как в глубине безмолвного, заброшенного двора, возле сваленных в кучу бревен, стали одна за другой вспыхивать спички. Это был сигнал для сбора заговорщиков. Они уговорились через полчаса встретиться у Рашки, чтобы в ожидании переворота пропить там денежки торговца.

Веселые и довольные, они пришли к Рашке и стали заказывать закуски и напитки. Когда деньги Ницэ были уже на исходе, пушки с окутанными соломой колесами подошли с тыла к королевскому дворцу, а заговорщики, войдя с парадного подъезда, стали подниматься по лестнице. Часовые солдаты егерского полка отдавали им честь...

Что же касается торговца, то он поступил разумно, потребовав квитанцию на руки. Много лет спустя, когда под Гривицей егерский полк омыл своей кровью опозоренное им в ночь на одиннадцатое февраля знамя, дядя Ницэ, один из тогдашних воротил, поставщик фуража и других видов снабжения, получил сполна на основании расписки от 10 февраля 1866 года сумму, которая ему причиталась за участие в свержении «тирании». Благодаря этой же расписке он вместе с другими удачливыми подписчиками принял участие в конверсии для железных дорог и Национального банка.

В настоящее время заслуженный патриот обладает капиталом в несколько миллионов, разъезжает в роскошном экипаже, украшенном гербом, и является владельцем аристократического отеля в Бухаресте. До сего дня он свято бережет старую квитанцию — как пергамент, где начертана его аристократическая родословная, как свидетельство того, на какие жертвы он был способен в тяжелые для отечества времена...

Он дает все новые доказательства своего патриотизма: например, на сооружение памятника Брэтиану он внес двадцать лей,

на памятник егерям подписался на пять лей. Вечно молодой духом энтузиаст, всегда такой же великодушный, как накануне одиннадцатого февраля, дядя Ницэ процветает и пользуется всеобщим уважением за свои прекрасные душевные качества.

1897

ПОЛИТИКА И ДЕЛИКАТЕСЫ

История эта вполне правдивая, и потому ее стоит рассказать.

В одном крупном провинциальном городе, вернее, в одной маленькой столице,— называть ее мы не будем,— жил умный торговец, который решительно и открыто заявил себя сторонником консерваторов. Либералы его ненавидели, но ничего не могли с ним поделать: в его магазине всегда был богатый выбор товаров, как в самых роскошных магазинах в настоящих столицах. Другого такого магазина не было во всей округе. Однажды, когда у власти были либералы, видный член партии консерваторов, бывший министр, вздумал выставить свою кандидатуру в нашей местности. Сняв целый этаж в доме торговца-консерватора, над самым его магазином, министр на все время выборов поселился на центральной улице нашего города. Это вывело из себя либералов, и они отправили к торговцу депутацию с серьезным запросом:

— Вы сдали дом живодеру?

— Сдал.

— Верните ему задаток!

— Почему?

— Потому что не пристало коммерсанту, одному из наших единомышленников, сдавать дом живодеру.

— Простите, но я не из ваших; я консерватор.

— Вы об этом пожалеете!

И в самом деле, торговец в скором времени испытал на себе гнев либералов. Начались придирки и преследования в таможне, в акцизном управлении, на железной дороге и так далее... Но дело этим не кончилось: либералы подговорили своих сторонников, и спустя две-три недели ни один из них не переступал больше порога магазина купца-консерватора. Разумеется, бойкот не ускользнул от внимания торговца, но он замечал с удивлением, что сбыт товаров ничуть не снизился. Заметно сократилась только продажа напитков — цуйки и полынной водки. Но ведь маловероятно, что либералы питаются только одной цуйкой и полынью, да еще в такую пору, когда они не в оппозиции. Смышленый торговец сообразил, в чем тут дело: либералы верны своему слову и не переступают порога магазина, но, не желая лишать себя свежих фруктов

и всяких деликатесов, посылают туда подставных лиц, наказав им не говорить, для кого делаются закупки.

В один прекрасный день торговец из разговора своих клиентов, распивавших цуйку, узнал, что вечером состоится большой прием у господина Янку в честь министра и двух-трех ораторов, приехавших из Бухареста для проведения предвыборного митинга. Господин Янку, отличавшийся острым языком, был зачинщиком бойкота. Супруга его славилась своими торжественными обедами не меньше, чем своими туалетами. Именно в этот день купец получил из-за границы транспорт свежих товаров. В огромных витринах магазина он вывесил объявление: ЗЕРНИСТАЯ ИКРА, ПЕРВЫЙ СОРТ.— СВЕЖИЕ УСТРИЦЫ.— СЕМГА РЕЙНСКАЯ и т. д.

В воскресенье в одиннадцать часов утра в магазине началось столпотворение. Покупатели толпились перед прилавками, выпивая на ходу и закусывая.

В магазин шумно ввалился чей-то слуга:

— Почем зернистая икра?

— А сколько вы, дорогой, возьмете?

— Килограмма два-три.

— Так... Откуда вы будете?..

— Откуда бы ни был... какая ваша цена?

— Если вы не скажете, кто вас прислал, я ничего вам не отпущу. Я получил от больших господ задаток на всю икру.

Слуга постоял минуту-другую в нерешительности и удалился.

Икру так и расхватывали. Не прошло и четверти часа, как в магазин явилась старушка покупательница.

— Целую руку, голубчик,— заговорила она, оглядываясь по сторонам.— Ведь это и есть самый большой магазин?

— Узнай, что ей нужно! — крикнул торговец одному из продавцов.

— Есть у вас зернистая икра?

— Есть.

— Почем за око?

— Око? — переспросил торговец.— А сколько вам надо?

— Два-три ока.

— Это вы для себя?

— Полноте! Куда мне такая уйма? Упаси бог! Сейчас пост. Я для господ...

— Для каких же господ?

— Не могу сказать.

— Не скажете? Тогда у меня нет для вас икры.

Старуха, поразмыслив, с таинственным видом отозвала торговца в сторону и, не в пример слуге, зашептала:

— Я, голубчик, от господина Янку. Только ты меня не выдавай, потому как он мне строго наказал не говорить, кто меня сюда послал.

— Вот как... От господина Янку... Вот и передай господину Янку, что я продаю икру по сто лей за кило.

— Ох, горе мне! Да где же это слыхано! Господин Янку сказал, если будет икра, заплатить хоть по двадцать восемь лей.

— Как вам будет угодно. Воля ваша, а товар мой. Если господин Янку хочет купить икру, пусть сам пожалует сюда. Мы с ним столкуемся.

Старуха ушла, огорченная провалом своей дипломатической миссии.

Время близилось к обеду. В магазин вошел мелкий чиновник, одетый не по-зимнему, хотя на дворе стоял сильный мороз.

— Мальчик, стопку водки! — потребовал он.

Выпив водку, чиновник подул на озябшие пальцы и, на каждом шагу извиняясь, стал пробивать себе сквозь толпу дорогу к мраморной стойке. Добравшись до цели, он остановился и начал разглядывать товары. В этот момент торговец снял крышку со второго бочонка с икрой.

— Браво! — воскликнул чиновник.— К вам поступила зернистая икра? Почем кило?

— А почему это вас интересует?

— Хочу купить.

Торговец набрал на кончик ножа икры на пробу и, смерив покупателя взглядом с головы до пят, сказал:

— Не про вас товар. Это вам не селедочная икра.

— Какое вам дело, раз я хочу купить. Говорите, почем?

— Вы понимаете, что такой товар я не могу отпускать по мелочам. Много ли вы возьмете?..

Молодой человек решительно ответил:

— Три кило.

— Сколько? — расхохотался хозяин.— Вот это мне нравится. Шутка сказать, три кило зернистой икры! Эй, мальчик,— крикнул он одному из приказчиков,— поднеси-ка еще стаканчик молодому человеку, а то он замерз.

— Мерси, мне больше не нужно,— заявил разобиженный чиновник.—Впредь ноги моей не будет в вашей лавке, так и знайте!

— Удивляюсь,— проговорил торговец, громко смеясь,— как это вы решились выпить у меня хоть одну стопку водки, ведь вы будете из либералов.

Молодой человек ушел, хлопнув дверью.

К полудню у магазина остановилась нарядная карета. Проворно спрыгнув с козел, лакей крикнул в приоткрытую дверь магазина:

— Пусть выйдет приказчик!

На зов выскочил приказчик и тут же вернулся обратно:

— Мадам интересуется зернистой икрой.

— Супруга господина Янку? Скажи ей, что икра не очень свежая. Для них не подойдет. Впрочем, пусть попробует, если желает.

Торговец выслал барыне на чистом виноградном листе полную ложку икры из только что начатого бочонка.

Приказчик быстро вернулся:

— Мадам говорит, что икра хорошая.

— Удивительно. У меня в магазине да хорошая икра!..

Хозяин быстро вышел из магазина и, приблизившись с поклонами к карете, подобострастно обратился к барыне:

— Целую ручку, мадам, целую ручку. Почему вы не соблаговолите спуститься к нам? В магазине никого нет, только несколько простолюдинов. Они вас не знают. Пожалуйте! Посмотрите другие закуски. Есть устрицы, хорошие сыры, сегодня получили живого лангуста.— И торговец красноречиво расписывал достоинства полученных утром товаров.

Барыня поколебалась немного. Потом, не в силах устоять против соблазна, вышла из кареты и с высокомерным видом прошествовала в магазин. После краткого обследования товаров и долгих пререканий о ценах барыня, опьяненная атмосферой магазина, по которой она стосковалась, жадно вдыхая пряные ароматы и аппетитные запахи, стала отбирать товары. Торговец записывал: два кило зернистой икры, три сыра камамбер, один килограмм семги, один живой лангуст, восемь дюжин устриц, один ананас, одна бутылка ликера.

Барыня уже давно не бывала в этом магазине и теперь старалась наверстать упущенное. Другие покупатели, в большинстве молодые офицеры, знавшие про бойкот, глазели на нее с восхищением, подталкивая друг друга локтями.

Наконец барыня, очень довольная, собралась уходить.

— Кстати, сударыня, целую вашу ручку, а шампанское? У меня есть кое-что необыкновенное — Pommery extra. С гарантией.

— Почем оно у вас? — спросила барыня, бросая на молодых офицеров томный взгляд из-под ресниц, на которых было больше пудры, чем пыльцы на крыльях ночной бабочки.

— Так дешево, как у нас, нигде не купите, сударыня. Если вы где-нибудь в другом месте найдете шампанское по такой цене, то можете мне совсем не платить.

— В таком случае пришлите шесть бутылок!

И барыня, сопровождаемая низкими поклонами молодых офицеров, вышла из магазина. Торговец проводил ее до самой кареты:

— Целую ручку, мадам, целую ручку, не забывайте нас. Здесь вы всегда найдете свежий товар. Нигде такого нет.

Карета укатила. Торговец, потирая руки, вернулся в магазин. Глядя, как приказчики укладывают в корзины продукты больше чем на триста лей, он сказал, подмигивая молодым клиентам:

— Люблю господ либералов. Благородные люди... Когда дело касается деликатесов, они забывают про политику. Мальчик, поднеси всем господам офицерам по стаканчику цуйки!.. Я угощаю!

1897

УЖАСАЮЩЕЕ САМОУБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ФИДЕЛИТЭЦИ

Под таким заголовком мы прочли в утреннем выпуске газеты «Аурора»:

«Сегодня утром вся улица Фиделитэци была глубоко потрясена сенсационной амурной драмой. К семи часам утра в доме № 13 раздались душераздирающие вопли, всполошившие всех соседей. В этом доме уже давно проживают госпожа Замфира Попеску, вдова покойного преподавателя латинского языка, ветерана ведомства просвещения Нероне Попеску, вместе со своими двумя отпрысками: Чичероне Попеску — курсантом интендантского ведомства и мадемуазель Порцией Попеску. На отчаянные вопли сбежалось все предместье, и сразу стала известна страшная правда: произошло самоубийство!

Уже несколько недель, как мадемуазель Попеску впала в состояние столь мрачной меланхолии и душевной прострации, что все это время ничего не ела, не пила и совсем не спала. Накануне того дня, когда она приняла роковое решение, ею овладело глубокое беспокойство: она попросила есть и пить. После того как мадемуазель Порция с отменным аппетитом позавтракала, она неожиданно разрыдалась, обращаясь к госпоже Замфире Попеску:

— Маменька, я не в силах больше жить! Я жажду смерти!

На это мать ответила:

— Ерунда! Прекрати немедленно!.. Пройдет это у тебя...

Однако мадемуазель Порция продолжала настаивать:

— Вот увидишь!.. Но если я помру, поклянись мне, маменька, поклянись мне, что ты возложишь на мою могилку бутоны роз!

Это были любимые цветы девы!

Госпожа Замфира Попеску сменила тему разговора, даже не подозревая о возможности рокового конца, ибо Порция, девица весьма чувствительная, в минуты душевного расстройства неоднократно угрожала самоубийством. К несчастью, на этот раз угроза оказалась более чем серьезной.

Что же произошло?

Ночью, пока брат, как обычно, отсутствовал, а маменька почивала, юная Порция отломила головки спичек из дюжины больших коробок и опустила их в стопку настоянной на дрожжах водки. Ожидая, пока фосфор растворится, несчастная дева села за стол и, находясь полностью в здравом уме, написала маменьке и брату послание, в котором просила прощения за причиняемое им горе и сообщала, что умирает, так как ее покинул молодой Мишу З., до недавнего времени студент-медик, а нынче волостной врач. В постскриптуме она вновь заклинала безутешную маменьку не забывать о бутонах роз.

Пока мадемуазель Порция писала, спичечные головки растворились. Со сладостным упоением проглотила она всю стопку и улеглась в постельку, безропотно ожидая смерти. Та не замедлила заявить о себе страшными резями в желудке. Истерзанная болями, страдалица, не в силах больше таиться, заметалась, отчаянно взывая:

— Я умираю!.. Умираю!.. Ах! Мишу, желаю тебе счастья!.. Спасите меня! Спасите!.. Я еще молода! Нет! Нет! Я не хочу умирать!

Больше она ничего не смогла сказать и рухнула, охваченная конвульсиями. Несчастную в безнадежном состоянии тут же доставили в ближайшую больницу.

Что же касается виновника этого несчастья, господина Мишу З., то вот что мы успели наспех узнать о нем.

Года четыре-пять тому назад юный нуждающийся студент, лет 20—21, Мишу З., друг Чичероне Попеску, сразу после того как получил аттестат зрелости, снял у госпожи Замфиры Попеску меблированную комнату на всем готовом,— другими словами, он у нее же столовался. Вскоре студент, оказавшийся юношей весьма веселым, озорным, остроумным и разговорчивым, разжег в сердце мадемуазель Порции непреодолимую страсть, ту роковую страсть, что изменяет судьбу женщин. Затем между ними возникла безумная любовная связь. Эта связь прервалась лишь месяца два тому назад, когда молодой студент-медик, прозванный знакомыми «лекаришкой», получил диплом и сразу же благодаря протекции (его мать экономка в усадьбе высокопоставленного сановника) получил назначение на должность волостного врача. Легко себе представить, какой страшный удар нанес «лекаришка» мадемуа-

зель Порции, которой он заявил, что покинет ее и уедет в свою волость. Девица начала устраивать ему сцены, то нежные, то угрожающие. Он понял, как для него опасна ее обманутая страсть, и потому решил ввести ее в заблуждение, разыграв для этого настоящее представление. Чтобы усыпить подозрения своей жертвы и убедить несчастную в том, что он окончательно отказался от первоначального решения ее покинуть, Мишу З. не преминул обратиться к помощи одного из своих друзей, журналиста, и уговорил его поместить в газете «Лумина» следующую заметку:

«Нам стало известно, что юный врач Мишу З., блестяще защитивший свою дипломную работу, посвященную «Симптомам различных острых интоксикаций», и назначенный волостным врачом, категорически отказывается от предложенной должности. Действительно, было бы нелепо, чтобы такой блестящий студент нашего медицинского факультета похоронил себя в глухой провинции. Молодой врач решил остаться в Бухаресте, где будет практиковать по своей специальности, пока не состоится конкурс на замещение какой-либо врачебной вакансии в государственной больнице. Мы не сомневаемся в успехе нашего симпатичного друга».

Чтение этих строк рассеяло у мадемуазель Порции последние остатки подозрительности и страха. Более того, убедившись в верности своего возлюбленного, чувствительная молодая особа воспылала к нему еще более пламенной любовью. Она не знала, что все это подстроено. В своей наивной искренности она не могла себе представить, какой сюрприз готовит ей предмет ее обожания. Наш же «лекаришка», мечтая убраться подобру-поздорову и заодно захватить свой багаж, состоящий из одного чемодана и нескольких книг, замыслил дьявольский план. Раздобыв ложу в театр «Дачия», скорее всего, по служебному пропуску, ибо, как станет очевидным далее, этот тип оказался настоящим ловкачом, он повел в театр обеих — маменьку и дочку. После поднятия занавеса прошло лишь несколько минут, и пока дамы с самым живым интересом следили за развитием событий на сцене, он поднялся и вышел из ложи под предлогом, что пойдет в буфет и принесет для них пирожных и холодной воды. Мишу З. быстро спустился по лестнице, выскочил из театра, бросился в пролетку, помчался домой, забрал свой багаж, поехал на вокзал и влез в поезд. Некоторое время дамы думали, что «лекаришка» не возвращается, так как, по своему обыкновению, увлекся пивом в буфете. Но после того как закончилось и второе действие, ужасная мысль молнией поразила юную покинутую жертву. Маменька с дочкой кинулись

домой и ворвались в комнату жильца — его багаж и книги исчезли! Мадемуазель Попеску забилась в тяжелом нервном припадке, от которого очнулась лишь на второй день. С тех пор ее отчаяние непрерывно росло вплоть до вчерашнего дня, когда ее душевные муки стали поистине невыносимыми, и она решила с помощью смерти положить конец своим страданиям.

Когда же наконец будут примерно наказаны подобные бездельники, которые под предлогом дружбы прокрадываются в порядочные семьи, уповая соблазнить юных девиц и повергнуть их в пучину разврата или бросить в объятия смерти, как произошло в данном случае? Мы должны признаться, что нам отнюдь не понятно равнодушие прокуратуры, которая не принимает никаких мер, хотя происшедшая трагедия была доведена до ее сведения и ей даже был препровожден печальный документ, оставленный несчастной жертвой.

Читайте дополнительные подробности в нашем вечернем выпуске».

В вечернем выпуске сообщалось:

«Я поспешил посетить больницу, в которую положили несчастную мадемуазель Порцию Попеску, и попросил вызвать ко мне дежурного студента-практиканта.

Сперва мне повезло: вызвал одного, а вышли сразу двое молодых людей, довольно вежливых и очень, даже, можно сказать, слишком веселых для той печальной обстановки, которая их окружает. Поистине надо иметь бронзовое или каменное сердце, чтобы оставаться веселым среди стольких человеческих страданий и горестей. Я попросил у дежурных разрешения навестить юную мадемуазель Порцию Попеску, судьба которой так интересует и волнует наших читателей. Оба рассмеялись.

— Юная?.. Та, со спичками? — спросил меня первый, иронически подчеркивая каждое слово.— Ну, вы уже опоздали!

— Она скончалась?! — воскликнул я.

— Куда там!

— Так что с ней случилось?

— Ее здесь больше нет! У нее все прошло, и мы ее выписали. Крошка совсем недавно ушла вместе со своей маменькой! — объяснил он, и оба вновь расхохотались.— Никто ведь не виноват в том, что она съела слишком мало спичек.

— Но мне кажется,— возразил я,— что дюжина спичечных коробок...

— Откуда вы это взяли?.. Там не было даже дюжины спичек... А для мадемуазель Порции это, конечно, слишком незначительная

порция. Она существо солидное, и ей нужна значительно большая порция.

Хотя я вознегодовал на дежурных практикантов за то, что они издевались над несчастьем бедной мученицы, пошло глумясь над ее классическим именем, я все-таки решил воспользоваться случаем и собрать дополнительные сведения о «лекаришке». Они с ним действительно знакомы. Но после первого же моего вопроса оба вновь разразились неуместным и столь раздражающим меня смехом.

— Бедному «лекаришке» невмоготу стало... Наконец-то он избавился! — воскликнул один из них.

— Ангельское у него было терпение! Даже подумать страшно — столько лет все одну и ту же порцию, и еще какую порцию!

— Вы вновь начинаете! — возмущенно воскликнул я и ушел не прощаясь.

Всю дорогу до самой редакции я раздумывал лишь об одном: какая бездонная пропасть зияет между воспитанием разума и воспитанием сердца, а пренебрежение к последнему, несмотря на все полученные знания, приведет лишь к появлению социальных монстров. В данном случае это относится к обоим упомянутым молодым людям, которые не сегодня-завтра будут призваны исполнять в обществе свою благородную и гуманную миссию. Какой иной профессии необходимо столько бесконечной любви и доброжелательности к ближним, столько тонкости чувств и деликатности для понимания всех оттенков человеческой души? Врач!.. Но ведь врач — это утешающий пастырь-духовник, он должен приблизиться к несчастному страдальцу так же милосердно, как наш Спаситель приблизился к Лазарю. Так и только так, с помощью вознесения души сможет наука добиться чудес!.. Завтра эти молодые студенты станут врачами, а сегодня они глумятся и столь вульгарно издеваются над беспредельным страданием, побудившим несчастную девицу предпочесть свету жизни непроглядный мрак небытия! Вот плоды нашей высокой университетской культуры. Мы весьма благодарны за такую культуру!

Во всяком случае, хорошо уж то, что бедная девица осталась в живых... Пережитые страдания, наверно, послужат ей уроком... В конце концов кто знает, быть может, ей еще повезет в жизни!»

Тогда же в вечернем выпуске газеты «Лумина» мы прочли:

«Один из наших собратьев по перу опубликовал сегодня утром сенсационное сообщение о самоубийстве юной девицы, доведенной до отчаяния тем, что ее покинул любовник — молодой врач.

В общем, газета поместила целый любовный роман, настоящую мелодраму.

Нас заинтересовало, что соответствует действительности во всей этой истории, и мы решили это выяснить и собрать на месте достоверные сведения.

В первых же строках мы должны сообщить нашим читателям характерную деталь: когда мы прибыли на место происшествия, мадемуазель Порция Попеску, самоубийца с улицы Фиделитэци, уже возвратилась из больницы, куда впрочем,— мы заявляем это с полной ответственностью,— ей просто незачем было обращаться. Действительно, та доза спичечных головок, которую она приняла, оказалась совсем незначительной. Это обстоятельство, как и то, что мы сообщим далее, убедит всякого, что по сути дела даже не было речи о серьезной попытке покончить жизнь самоубийством, а все свелось к простой инсценировке, с целью вновь возвратить девице неверного «лекаришку».

Мы должны с самого начала отметить, что обманутой, покинутой, преданной, несчастной юной девице уже в два раза с лихвой больше лет, чем необходимо кому-либо для того, чтобы беспрепятственно распоряжаться собственным имуществом и своей судьбой,— другими словами, она в возрасте 44—45 лет. А некоторые соседки по слободке считают даже, что она значительно старше. Так, например, одна из первых учениц покойного доктора Капши, госпожа Н., акушерка, владеющая домом по соседству с интересующей нас барышней, поделилась с нами своими воспоминаниями и поведала, что точно помнит то время, когда строил свой дом покойный Нероне Попеску. Она словно сейчас видит, как он в длинной ночной рубахе и шлепанцах лично присматривал за строительными работами и ругал по-венгерски каменщиков (это происходило во время летних каникул). Госпожа Н., акушерка, хорошо все это запомнила, так как именно в том году она родилась, а Порция была уже большой девочкой, играла в куклы.

Что касается материального благополучия покинутой девицы, то оно совсем неплохое и приличествует ее возрасту. В соответствии со старым законом она вместе со своей матерью получает пенсию за покойного Нероне Попеску, от которого остались дома на улице Фиделитэци, два помещения, пригодные для корчмы, с погребом, садом и виноградником на улице Виишоара, приносящие ежегодно 1200 лей чистой прибыли. Кроме того, по слухам, она владела и деньгами в сумме примерно 12 000 лей в банковских бумагах. Однако есть предположение, что часть этих денег была истрачена на обучение «лекаришки».

Будучи особой весьма романтичной, мадемуазель Порция Попеску чрезвычайно увлекалась обществом молодых студентов, и

эта слабость числилась за ней уж давно, по крайней мере лет двадцать пять, с тех самых пор, как ее отец Нероне Попеску содержал на их слободке вроде маленькой фабрики по подготовке молодых людей к экзаменам на аттестат зрелости. Кстати, все соседи говорят, что яблоко от яблони недалеко падает, ибо и маменька Порции весьма увлекалась в свое время зеленой молодежью. Года три-четыре тому назад Порция сдала комнату на всем готовом молодому студенту-медику Мишу З. и сразу же безумно в него влюбилась.

Студент, паренек небогатый, обретя такой уютный и гостеприимный кров, старался ни в чем не прекословить и полностью потакать влюбленности своей хозяйки, прекрасно сознавая, что для него это божий дар. Наоборот, он приложил все усилия, чтобы всячески подогреть страсть Порции. Такая, довольно неестественная связь длилась в течение нескольких лет, пока молодой человек не защитил свой диплом. Благосклонность мадемуазель Порции ему давно осточертела, и он решил стряхнуть с себя это ярмо, как только перестанет в нем нуждаться. Для этого Мишу приложил все усилия и благодаря протекции получил должность волостного врача. Но когда молодой врач попытался уехать, вулканическая Порция приставила ему нож к горлу: душераздирающие сцены чередовались с пламенными мольбами и устрашающими угрозами покончить жизнь самоубийством или убить неверного. Раздосадованный «лекаришка», которому вся эта история приелась, не желая ехать без багажа и стараясь избежать публичного скандала, решил прибегнуть к хитрой уловке,—другими словами, решил, пусть нас простят за вульгарное выражение, натянуть ей нос.

Несколько дней он притворялся, что им вновь овладела неуемная страсть, а затем, после того как усыпил всякое подозрение, проводил обеих дам в театр, оставил их в ложе, а сам вместе с багажом влез в поезд и отправился в ту волость, куда его назначили.

Продолжение этого трагикомического романа известно публике из лирико-сенсационного отчета, опубликованного нашими собратьями по перу на страницах «Ауроры».

Вот как пишется история!

Когда мы заканчиваем эти строки, мадемуазель Порция Попеску находится вне всякой опасности, как, впрочем, и в те минуты, когда у нее были рези в желудке, слишком незначительные, чтобы представить какую-либо угрозу для ее несокрушимого здоровья.

Любопытная деталь: накануне романтической демонстрации у мадемуазель Порции болели зубы. У нее очень испорченные зубы, и при малейшей простуде они ей доставляют большие неприятности. Этот недуг, как и темные круги под глазами, вызван чрезмер-

ным злоупотреблением чернильными орешками. Из-за частых зубных болей мадемуазель Порция давно курит. Так вот интересно, что после резей в желудке, вызванных спичками, у нее полностью исчезли зубные боли. Быть может, помог фосфор!»

Через два дня утренний выпуск газеты «Лумина» сообщил:

«Вчера вечером перед гостиницей «Континенталь» произошел беспрецедентный скандал.

Наш главный редактор господин Михаил Константинеску прогуливался перед гостиницей, беседуя о политическом положении с господином депутатом Н.

Неожиданно два типа — офицер интендантства и курсант интендантского ведомства загородили ему путь.

Курсант спросил вызывающим тоном:

— Скажите, это вы господин Михаил Константинеску, директор бульварного листка «Лумина»?

— Да, это я! — ответил наш друг.

— Вы негодяй! — заорал хулиган еще более вызывающим тоном.

— А кто вы такой и как вы смеете так говорить? — хладнокровно спросил наш друг, отступая на три шага.

— Я Чичероне Попеску!.. Вы напали на мою семью! Вы осмелились напасть на семью Попеску! — продолжал вопить тот и, не дав нашему другу времени отступить еще на шаг, бросился на него и ударом кулака разбил в кровь лицо.

Их тут же окружила толпа. Несколько человек пришли на помощь нашему главному редактору, который после первой минуты растерянности схватил агрессора и, задав ему надлежащую трепку, препроводил его в присутствии свидетелей-очевидцев в ближайший полицейский участок, где и был составлен соответствующий протокол.

Бесноватый агрессор — братец той нелепой личности, увлекающейся зеленой молодежью, о которой мы писали в нашем позавчерашнем номере, той «молоденькой» барышни, которой давно уже перевалило за 45,— Порции Попеску, которую собратья из редакции «Ауроры» задались целью во что бы то ни стало превратить в эфирное создание из сентиментального романа.

Факты сообщены прокуратуре и военному министерству.

Мы надеемся, что министерство юстиции и высшие военные инстанции выполнят свой долг по отношению к этому непотребному типу, низкому и смешному хулигану.

Дальнейшие подробности читайте в последующих наших выпусках».

Утренний выпуск «Ауроры»:

«Вчера вечером на Театральной площади было совершено подлое нападение на нашего директора, господина Константина Михэйлеску.

Когда он переходил улицу, направляясь к фотографии Манди, три личности, находящиеся в состоянии явного опьянения, поднялись из-за столика в пивной Гамбринуса и преградили ему путь. Один из них обратился к нему со словами:

— Это вы, господин Константин Михэйлеску, директор «Ауроры»?

— Да, это я. А вам что надобно? Кто вы? С кем я имею честь? — спросил, улыбаясь, наш друг, отступая на несколько шагов.

— Я врач Мишу Захареску! Как вы осмелились посягнуть на честь фамилии Захареску?

С такими словами пьяница обрушил удар палкой на голову нашего директора. К счастью, палка скользнула по шляпе и коснулась лишь кончика уха нашего директора. Вмешались присутствующие, и тогда подлые агрессоры, а именно подлый герой нашумевшей драмы на улице Фиделитэци и двое студентов-практикантов, поспешно вскочили в пролетку и скрылись от гнева возмущенной толпы.

Прокуратура поставлена в известность.

Мы сообщаем уважаемым органам здравоохранения о низком поступке этих трех коновалов, почитателей Гамбринуса, и требуем их сурового наказания.

Нас уж не удивляет, когда врач, лишенный какого-либо чувства ответственности, убивает больных с помощью клистира и скальпеля; но чтобы три лекаря устроили консилиум с целью убивать на улице дубиной здоровых людей, это уж слишком!

Если господин генеральный директор органов здравоохранения не скажет своего веского слова, мы возвратимся к этой истории».

Через несколько дней газета «Универсул» сообщила:

«Доктор Мишу Захареску снят органами здравоохранения с должности волостного врача за небрежное исполнение служебных обязанностей».

Наконец «Аурора» перепечатала из газеты «Лумина»:

«Мы узнали с чувством глубокого удовлетворения о венчании милейшего врача, господина Мишу Захареску с очаровательной мадемуазель Порцией Попеску, дочерью госпожи Замфиры По-

песку и покойного преподавателя, ветерана преподавательского состава, господина Нероне Попеску. Сразу после свадьбы молодая супружеская пара поедет в Монпелье, где блестящий выпускник нашего медицинского факультета продолжит свои научные изыскания.

Горячо поздравляем молодых и обаятельных супругов!»

1897

В ХАРЧЕВНЕ МЫНЖОАЛЫ

«...Четверть часа до харчевни Мынжоалы, оттуда до Верхних Попешть — почтовый перегон: на хорошем иноходце полтора часа, не больше... Иноходец у меня добрый... если его в харчевне покормить и дать ему отдохнуть три четверти часа... Выдержит. Стало быть, четверть и три четверти — час, и до Попешть полтора часа,— итого два с половиной... Теперь восьмой час; не позднее десяти я буду у полковника Иордаке... Запаздываю... Следовало бы выехать раньше... Но в конце концов... меня все равно подождут...»

Размышляя таким образом, я увидел издалека яркий свет — это и была харчевня Мынжоалы, как ее называют по старинке, хотя хозяин умер лет пять тому назад и теперь харчевня принадлежит его жене. Молодец баба! Когда хозяйничал муж, харчевню чуть было не продали за долги. А теперь вдова не только выплатила все до копейки, но еще починила дворовые постройки, поставила каменную ограду, и люди поговаривают, что у нее завелись деньжонки. Одни думают, что она нашла клад; другие уверяют, что она занимается ворожбой. Однажды пытались забраться к ней воры. Начали ломать дверь. Один из них, самый здоровенный, не человек, а бык, поднял было топор, размахнулся и тут же замертво свалился на землю. Другой, его брат, хотел что-то крикнуть, но не смог шевельнуть языком — онемел. Грабителей было четверо. Мертвого взвалил на плечи его онемевший брат и хотел убежать со двора, чтобы похоронить где-нибудь подальше. Не успели грабители добраться до ворот, как вдруг хозяйка открывает окно и кричит: «Караул! Воры!» — и откуда ни возьмись появляется пристав с конными жандармами. Пристав спрашивает: «Кто такие?» Двое успели убежать; остался немой с трупом на плечах. Как тут произвести следствие? Кто поверит, что он действительно немой, а не притворяется? Долго его били, думали — заговорит,— все зря. С тех пор у воров пропала охота покушаться на харчевню Мынжоалы...

Припоминая все эти толки, я подъехал к харчевне. Во дворе стояло множество подвод. На одних свозили в долину лес, на других везли в горы кукурузу. Вечер был осенний, холодный. Возчики грелись у костров — это яркое пламя я и видел издали. Слуга взял моего коня и отвел на конюшню, чтобы накормить. Я вошел в корчму. Здесь было много народу, шум, гомон. Два заспанных цыгана, один со скрипкой, другой с кобзой, пиликали в углу.

Чувствуя, что проголодался и что холод пробирает меня до костей, я спросил мальчика за стойкой:

— А где хозяйка?

— На кухне.

— Там, должно быть, теплее,— сказал я и прошел на кухню.

На кухне чисто. Пахнет свежевыпеченным хлебом, не то что в корчме, где воняет мокрой овчиной и дегтем. Хозяйка стоит у печки.

— Здравствуйте, госпожа Маргиола!

— Добро пожаловать, господин Фэникэ.

— Найдется у вас что-нибудь покушать?

— Для таких хороших господ — хоть в полночь.

И Маргиола тут же приказывает служанке накрыть на стол, потом указывает мне на буфетную стойку и говорит:

— Смотрите и выбирайте.

Я всегда считал, что госпожа Маргиола красивая, статная женщина. Но еще никогда она не казалась мне столь привлекательной, как в этот вечер,— а ведь я знал ее давно, еще с детства. Когда мы ездили с покойным батюшкой в город, мы всегда останавливались в харчевне Мынжоалы.

Был я молод, недурен собой и дерзок, пожалуй, скорее дерзок, чем недурен. Я подошел к Маргиоле и, как только она наклонилась к печи, обнял ее за талию и коснулся ее крепкой руки. Тут черт меня дернул ущипнуть ее.

— Вам что, делать нечего? — спрашивает Маргиола и смотрит на меня, скосив глаза.

— Красивые у вас глаза, госпожа Маргиола! — говорю я, чтобы загладить свою вину.

— Не льстите, скажите-ка лучше, чего вам подать.

— Дайте мне... дайте... то, что у вас есть.

— Ладно...

Я говорю со вздохом:

— Какие же у вас красивые глаза, госпожа Маргиола!

— А что, если это услышит ваш тесть?

— Какой тесть?.. Откуда у меня тесть?

— Напрасно вы думаете, что под шляпой вас никто не узнает... Разве вы не направляетесь к полковнику Иордаке, чтобы

обручиться с его старшей дочерью?.. Не глядите на меня такими удивленными глазами... Проходите в комнату и садитесь за стол.

Много чистых и уютных комнат видел я на своем веку, но такой... Что за постель! Какие занавески! Какие стены! А потолок! Кругом все так и сияет молочной белизной — и абажур и вышивки. В комнате тепло, как под крылышком у наседки. А запах айвы и яблок!

Прежде чем сесть за стол, я оглянулся, пытаясь определить, где восток, чтобы помолиться. Внимательно оглядел углы — ни одной иконы. Хозяйка заметила мой взгляд и говорит:

— Что вы ищете?

— Иконы. Где они у вас?

— Да ну их! Только клопы заводятся...

Опрятная женщина!.. Я сел за стол и перекрестился. Вдруг раздался страшный визг: по-видимому, я наступил на кота, который выскочил из-под стола и кинулся к двери. Хозяйка быстро открыла дверь, и кот выскользнул во двор. В это время ворвавшаяся в комнату холодная струя воздуха погасила лампу. Начинаем искать в потемках спички; я шарю в одном углу, хозяйка в другом — пока не столкнулись посреди комнаты. Я обнимаю ее и начинаю целовать. Она не то сопротивляется, не то отвечает на поцелуи. Лицо у нее пылает, рот влажный, возле ушей нежные завитки. Долго мы искали спички. Когда же наконец пришла служанка со свечой и едой на подносе, стекло лампы совсем остыло.

Превосходное угощение! Свежевыпеченный теплый хлеб, жареная утка с капустой, свиные колбаски, прекрасное старое вино и кофе по-турецки! Смех, веселые шутки... Спасибо хозяйке! После кофе она приказала служанке:

— Скажи-ка, чтобы подали бутылку выдержанного белого...

Замечательное вино! У меня сразу отяжелели ноги. Слегка опершись о кровать, я закурил сигарету и сквозь дымок поглядел на хозяйку, которая свертывала мне другую.

— А все-таки прелестные у вас глаза, госпожа Маргиола!.. Только знаете что?

— Что?

— Если вам не трудно, прикажите подать еще кофе, но не такого сладкого.

Служанка принесла кофе и говорит:

— Господа, вы тут сидите разговариваете и даже не знаете, что делается на дворе.

— Что такое?

— Подул северный ветер... приближается буран.

Я мигом вскочил на ноги и поглядел на часы: было без четверти одиннадцать. Вместо тридцати минут я просидел в харчевне два с половиной часа! Вот к чему приводит разговор с женщиной!

— Пусть выведут моего коня.

— Кто? Слуги спят.

— Тогда я сам пойду на конюшню.

— А у полковника-то вас здорово приворожили! — рассмеялась госпожа Маргиола, задерживая меня у выхода.

Я тихонько отстранил ее, распахнул дверь и остановился на пороге. В самом деле поднялась ужасная непогода. Костры во дворе давно потухли, и возчики спали, тесно прижавшись друг к другу. Ветер крепчал с каждой минутой.

— Это буран,— сказала госпожа Маргиола, ежась от холода, и схватила меня за руку.— Вы с ума сошли, ехать в такую погоду? Оставайтесь ночевать, завтра на рассвете поедете.

— Нельзя.

Я высвободил руку и решительно направился к конюшне. С великим трудом мне удалось разбудить конюха и разыскать своего коня. Я оседлал его, подвел к крыльцу и зашел в комнату, чтобы проститься с хозяйкой. Она сидела на кровати и в раздумье вертела в руках мою шапку.

— Сколько я вам должен? — спросил я.

— На обратном пути заплатите,— ответила хозяйка, пристально глядя на мою шапку.

Потом она встала и протянула ее мне. Я надел шапку набекрень и, глядя в глаза хозяйки, поблескивавшие каким-то странным огнем, сказал:

— Целую ваши глазки, госпожа Маргиола!

— Счастливого пути!

Я вышел на крыльцо и вскочил на коня; старая служанка открыла ворота, и я очутился на дороге. Опершись левой рукой на круп лошади, я обернулся и через забор увидел приоткрытую дверь комнаты, а в глубине силуэт женщины, заложившей руки за голову. Тихонько насвистывая песенку, я поехал шагом. Обогнув забор, я выехал на шоссе, перекрестился и пожелал самому себе счастливого пути. В тот же миг я услышал, как хлопнула дверь и раздался кошачий визг. Маргиола, зная, что я ее больше не вижу, захлопнула дверь и прищемила коту хвост. Проклятый кот. Вечно путается под ногами!

Некоторое время я ехал спокойно. Ветер все усиливался. По небу неслись темные тучи. Словно гонимые невидимой силой, они громоздились друг на друга, застилали вершину горы, спускались в долину, то закрывая, то приоткрывая мертвенно-желтый серп луны. Холод пронизывал до костей, и у меня начали коченеть ноги

и руки. Я наклонил голову, чтобы ветер не бил в лицо. Затылок, лоб и виски горели. В ушах звенело. «Слишком много выпил»,— подумал я, сдвинул шапку на затылок и взглянул на хоровод туч. Голова у меня кружилась. В груди жгло. Я глубоко вдохнул холодный воздух. Острая боль мгновенно пронзила мне грудь. Шапка давила лоб, как обруч, я снял ее и положил на луку седла, но не почувствовал облегчения. Зачем я поехал? У полковника Иордаке все давно уже спят. Никому и в голову не придет, что у меня хватит безумия пуститься в путь ночью, да еще в буран. Я пришпорил коня, который брел спотыкаясь, словно он тоже хлебнул лишнего.

Ветер начал стихать, посветлело, стал накрапывать дождик. Я снова надел шапку. Опьянение не проходило, голова разламывалась от боли. Лошадь выбивалась из сил, задыхаясь от встречного ветра. Я пришпорил ее и огрел плетью. Она сделала несколько шагов и вдруг остановилась как вкопанная, будто увидев на дороге неожиданное препятствие. Посмотрев вперед, я заметил невдалеке прыгающую тень. «Что бы это могло быть? Какой-нибудь зверь?» Я схватился за револьвер и вдруг явственно услышал блеяние козленка. Я понукал коня, как мог, но он топтался на месте, пытаясь повернуть обратно. Конь сделал несколько шагов вперед и снова остановился, храпя. Еще несколько шагов — опять этот самый козленок. Тучи поредели, теперь все было ясно видно. Маленький черный козленок прыгал на дороге, вставал на дыбы, наклонял голову, бросался вперед, бодался и блеял. Я спрыгнул с коня, взял поводок в руки и стал манить к себе козленка, делая вид, будто хочу ему что-то дать. Козленок подбежал. Конь страшно захрапел и метнулся в сторону. Я упал на одно колено, но мне удалось все же удержать узду. Козленок подбежал совсем близко, я поднял его, положил в торбу, привешенную к седлу. Мой конь дрожал как в лихорадке.

Я снова вскочил в седло. Иноходец рванулся вперед. Теперь он шел рысью, перескакивая через камни и рытвины, все быстрее и быстрее, так что я не успевал даже смотреть вокруг и замечать дорогу. Во время этой безумной гонки, каждый миг грозившей мне гибелью, продрогший до костей, страдая от жестокой головной боли, я думал только о ночлеге. Зачем я уехал? Маргиола, наверное, уступила бы мне свою комнату, иначе зачем ей было меня приглашать? Козленок зашевелился — он устраивался поудобнее в торбе. Я посмотрел на него, он высунул голову из торбы и тоже глядел на меня. Я вспомнил другие глаза... Какой я был дурак! Лошадь споткнулась, я еле ее удержал, она ринулась вперед, но снова споткнулась и упала на передние ноги. В этот миг я увидел сквозь просвет облаков тонкий серп луны: это подействовало на

меня как удар дубинкой по голове: луна впереди! Значит, на небе две луны: ведь все время, пока я ехал, луна была сзади. Я быстро повернул голову, чтобы увидеть настоящую луну. Так и есть: я сбился с пути. Где это я? Впереди меня ничего не видно, кроме высоких стеблей кукурузы, позади — широкое поле. Я перекрестился и с досады ударил коня ногой, чтобы заставить его подняться. Что-то зашуршало у правой ноги. Кто-то взвизгнул. Не придавил ли я козленка? Я схватился за торбу: она была пуста — козленок исчез! Лошадь поднялась, отряхнулась, будто после сна; взвилась на дыбы, выбросила меня из седла, помчалась в поле, словно спасаясь от нечистой силы, и пропала в темноте.

Поднимаясь на ноги, я услыхал шорох в кукурузе и громкий человеческий голос:

— Тьфу! Сгинь, нечистый!

— Кто там? — крикнул я в темноту.

— Добрый человек...

— Кто такой?

— Георге.

— Какой Георге?

— Нэтруц... Георге Нэтруц, кукурузу сторожу.

— Почему ты не подходишь ближе?

— Сейчас... иду...

Из кукурузы показалась человеческая тень.

— Послушай, дружище, где это мы?.. Я, кажется, заблудился.

— А куда вы держите путь?

— В Верхние Попешть.

— Эге! К полковнику Иордаке?

— Да.

— Тогда вы не сбились с пути. Но до Попешть еще далеко... Это только Хэкулешть.

— Хэкулешть? — обрадовался я.— Стало быть, харчевня Мынжоалы где-нибудь здесь поблизости?

— Вот она, мы стоим позади конюшни.

— Покажи-ка мне дорогу. Я боюсь свернуть себе шею у самого дома.

Я проплутал часа четыре, не меньше...

Несколько шагов, и мы у ворот. В комнате Маргиолы горит свет, и за занавесками видны тени. Наверное, другой путник, более умный, чем я, наслаждается чистой постелью, а мне теперь достанется лавка где-нибудь около печки.

Но мне повезло. Как только я постучал, старая служанка мигом открыла ворота. Войдя в дом, я споткнулся обо что-то мягкое — опять козленок, тот же самый козленок! Стало быть, он принадле-

жит госпоже Маргиоле! Он вместе со мной очутился в комнате и забился под кровать.

Что я могу сказать? Знала ли хозяйка, что я вернусь, или она так рано встала? Но кровать была нетронута.

Войдя в комнату, я только и смог выговорить: «Госпожа Маргиола!» — и, желая поблагодарить бога за то, что остался в живых, поднес было руку ко лбу.

Но Маргиола живо отвела мою руку и стиснула меня в объятиях.

Я и теперь вижу перед глазами эту комнату. Что за постель! Какие занавески! Какие стены! А потолок! Все вокруг так и сияет молочной белизной — и абажур и вышивки. В комнате тепло, как под крылышком у наседки. И запах яблок и айвы!

Долго бы я прожил в харчевне Мынжоалы, если б не мой тесть, полковник Иордаке,— царство ему небесное! — который приехал, чтобы вызволить меня из плена. Три раза до обручения я убегал из полковничьего дома и возвращался в харчевню, пока старик, который решил во что бы то ни стало женить меня на своей дочке, не послал дворовых с приказом связать меня и отвезти в монастырь. Сорок дней поста, поклонов и молитв исцелили меня. Я вышел из монастыря обновленный, обручился и вскоре женился.

Много лет спустя, в ясный зимний вечер, когда мы с тестем сидели, по деревенскому обычаю, за бутылкой доброго старого вина, из города приехал исправник и сообщил нам, что прошлой ночью в Хэкулешть случился большой пожар. Дотла сгорела харчевня Мынжоалы, и бедная Маргиола погибла под рухнувшей кровлей.

— Наконец-то ведьма угодила в пекло,— сказал, посмеиваясь, мой тесть и заставил меня заново — в который раз — рассказать всю историю. Полковник утверждал, что Маргиола заворожила тогда мою шапку, а кота и козленка вообще не было.

— Поверь мне, это был нечистый своей собственной персоной,— сказал тесть.

— Может быть, и так,— ответил я.— Но если это так, полковник, то, значит, иногда черт ведет человека к добру.

— Сначала к добру, чтобы завлечь его, а потом уж он знает куда...

— А вы это откуда знаете?

— Не твое дело,— посмеиваясь, ответил старик.— Это совсем другая история!

1898

ТЕЛЕГРАММЫ

Уважаемому премьер-министру

Бухарест

Директор местной префектуры Раул Григорашку нанес тяжелое оскорбление матерщиной и оплеухами центральном кафе. Угрожал убийством. Жизнь, честь опасности. Просим срочно расследовать происшествие.

Костэкел Гудурэу —

адвокат, избиратель первого ценза, бывший депутат.

Уважаемому премьер-министру

Бухарест

Повторяю жалобу. Телеграмма за номером... Обращался прокурору. Прокурора нет городе. Кутеж женском монастыре. Заместитель отложил рассмотрение жалобы приезда прокурора. Дрожу свою жизнь, не могу посещать кафе. Возлагаем ответственность правительство.

Костэкел Гудурэу —

адвокат, избиратель первого ценза, бывший депутат.

Прокурору суда Н...

Срочно расследуйте скандал Костэкелом Гудурэу и директором префектуры. Немедленно доложите.

Министр юстиции.

В редакцию газеты «Заря Румынии»

Бухарест

Сегодня площади разыгралась забавная сцена. Мадам Атенаиса П..., фамилию обходим молчанием, бросившая мужа, почтенного гражданина, ради интрижки гнусным индивидом нашей местности, встретив несчастного супруга, получила публично хороший урок морали, всеми одобренный. Бездушная женщина, не краснея, угрожала вмешательством облеченных властью палачей, так как соучастник директор префектуры.

Корреспондент.

Уважаемому премьер-министру

Бухарест

Вторично атакован площади Независимости. Пощечины, пинки. Тот же бандит, скандалист директор, сопровождаемый полицейскими. Положение невыносимое. Городе осадное положение. Граждане охвачены паникой.

Костэкел Гудурэу —

адвокат и т. д.

Прокурору суда Н...

Повторяю телеграфный приказ. Немедленно расследуйте инцидент между директором префектуры и Костэкелом Гудурэу в центральном кафе и на площади Независимости. Срочно рапортуйте.

Министр юстиции.

Уважаемому премьер-министру

Бухарест

Примите меры прекращению покушений среди бела дня гнусной банды разбойников прямым руководством директора Раула Григорашку на моего брата Костэкела. Обращаюсь жалобой престолу.

Иордэкел Гудурэу —

крупный собственник, избиратель первого ценза, бывший сенатор.

Его величеству королю

Синая

В наш светлый век бандиты режима, позоря гарантированную Вами конституцию, дважды пытались убить центральном кафе и площади Независимости моего брата, бывшего представителя нации. Жертва, полной уверенности, последует третье покушение бандитов, боится идти телеграф. Умоляем обеспечить безопасность жизни, чести. Противном случае будем вынуждены сами восстановить справедливость. Да здравствует династия.

Иордэкел Гудурэу —

крупный собственник, избиратель первого ценза, бывший сенатор.

Прокурору суда Н...

Последний раз повторяем приказ поводу скандала Костэкелом Гудурэу. Если до завтрашнего утра не получим рапорта, можете считать себя отставке.

Министр юстиции.

Его превосходительству министру юстиции

Бухарест

Рапорт

Расследовал происшествие. Почтительнейше срочно рапортую.

Пять дней назад, воскресенье, два часа пополудни, в мое отсутствие по причине ревизии уезда, директор префектуры Раул Григорашку играл кафе «Централ» нарды капитаном интендантства Павлаке. Оказавшись проигрыше, сильно раздраженный, директор матерно выругался не в чей-либо адрес, а случаю невезения. Тогда сидевший соседним столом Костэкел Гудурэу, критиковавший всеуслышание правительство, встал, резко повернулся директору, матерно выругался и поднял палку. Директор, ловко увернувшись удара, дал Костэкелу пощечину и рыцарски обещал удовлетворение. Зачинщик ушел ругаясь, угрожая бандитскому правительству, его доподлинные слова.

Почтительно довожу вашего сведения, между спорщиками старая вражда политическая и семейная. С племянником Костэкела Гудурэу, именуемым Альбертом Гудурэу, одним из ярых главарей местной оппозиции, развелась жена. Он подозревает, что причиной этому директор Раул, которого обвиняет в сожительстве с вышеупомянутой. Разведенная жена, желая вступить в законный брак, потребовала возвращения приданого две тысячи лей, помимо личного имущества, на что получила исполнительный лист. Оппозиция грозит мстить, уверяя, что имущество давно израсходовано на известные всем роскошные туалеты. Результате вышеизложенного позавчера племянник, поддерживаемый дядями, подстерег площади бывшую жену, тяжело оскорбил ее публично. Тщетно призывая помощь полицейского, не оказавшегося на посту, дама села извозчичью пролетку, быстро уехала, освистанная всеми троими, осыпанная вульгарными словами, воспроизвести которые неприлично. Немедленно прибывшие оскорбленный директор префектуры, начальник полиции, полицейские потребо-

вали объяснения. Обидчики бросились бежать. Директор поймал Костэкела, схватил его за грудь, спросил: «Зачем оскорбляешь дам, негодяй?» На что тот ответил: «Не дерись, мерзавец, каналья». Директор, обороняясь, отпустил ему две пощечины. Так как обидчик стал вырываться, пытаясь удрать, директор пришел в ярость и дал ему пинка пониже спины.

Считаю ненужным давать делу дальнейший ход. Жалоба прокуратуру не была оформлена всем правилам.

Не откажите любезности, господин министр, и т. д.

Прокурор суда Н...

Директору префектуры уезда Н...

Предлагаю вам уладить конфликт семьей Гудурэу. В противном случае ставите правительство весьма щекотливое положение. Невыгодно, чтобы накануне избирательной кампании высшие государственные чиновники давали повод скандалам, предосудительным со всех точек зрения.

Министр внутренних дел.

Господину министру внутренних дел

Бухарест

Семейные интересы заставляют оставить службу. Поэтому весьма почтительно прошу принять мою отставку поста директора префектуры, начиная послезавтрашнего дня, когда вернется отпуска префект.

Раул Григорашку.

Уважаемому премьер-министру

Бухарест

Мой брат, Костэкел Гудурэу, адвокат, избиратель первого ценза, бывший представитель нации, будучи вынужден обороняться против третьего гнусного покушения бандитов его жизнь, арестован распоряжению прокурора. Жертва подвергается заключении пыткам, как времена инквизиции. Дошли до ручки.

Иордэкел Гудурэу —

крупный собственник, избиратель первого ценза, бывший сенатор.

Ministre Intérieur

Bucarest

N'acceptez point démission cousin Raoul. Pauvre jeune homme, embêté par cochons opposition, veut faire coup de tête. Ne point se fier aux criailleries de ces canailles. Si Raoul se retire, ce crétin de préfet capable de tout compromettre. Pourrais plus garantir situation locale. Потеряем уезд ко всем чертям.

Ami

Général Grégorascho[1]

Бухарест

Прокурору суда Н...

Доложите немедленно причину ареста Костэкела Гудурэу. Желательно положить конец местным скандалам. Поведение вашей прокуратуры оставляет желать лучшего. Расследуйте, подвергался ли заключенный пыткам. Имеем сведения истязаниях в полиции. Отвечайте телеграфом.

Министр юстиции.

Директору префектуры уезда Н...

Интересах государства отставка не принята. Оставайтесь посту.

За министра внутренних дел

Генеральный секретарь З...

---

[1] *Министру внутренних дел*

Бухарест

Ни в коем случае не принимайте отставки двоюродного брата Раула. Бедный молодой человек, выведенный из себя свиньями оппозиции, готов натворить глупостей. Нельзя относиться доверием воплям этих каналий. Если Раул оставит пост, кретин префект способен все скомпрометировать. Не могу тогда поручиться за положение на месте.

Ваш друг

генерал Григорашку (франц.).

Его превосходительству министру юстиции

Бухарест

Ожесточенная банда яростных оппозиционеров руководством Костэкела Гудурэу, Иордэкела Гудурэу и племянника Альберта, разведенного с Атенаисой Пержою, напала у ворот городского сада на директора префектуры. Последний, обороняясь, ударил палкой голове Иордэкела. Костэкел выстрелом револьвера разбил электрический шар центре сада. Паника, убийца арестован. Снял первое показание. Ручаюсь, пытки пустая выдумка.

Прокурор суда Н...

Его величеству королю

Синая

Мой брат Костэкел замучен застенках местной полиции. Осиротевшая семья просит выдачи тела. Кладем подножию престола нашу просьбу удовлетворении. Да здравствует династия.

Иордэкел Гудурэу —

крупный... и т. д.
и т. д.

Прокурору суда Н...

Поступил донос. Костэкел Гудурэу скончался под пытками в заключении. Ответственность возлагаем на вас. Отвечайте немедленно, если не хотите быть уволенным телеграфно.

Министр юстиции.

Его превосходительству министру юстиции

Бухарест

Костэкел Гудурэу освобожден сегодня утром отсутствием улик намерении убить. Помирился директором. Все целовались площади Независимости. Завтра вечером помолвка Раула с мадам Атенаисой Пержою. Отказалась всяких претензий на возвращение Альбертом Гудурэу ее части имущества. Дала расписку получении всей суммы.

Два часа пополудни кафе «Централ» внезапно скончался государственный адвокат Памфил. Городской врач установил кровоизлияние мозг.

Принимая во внимание мою долголетнюю службу судебном ведомстве, 23 года должности прокурора, пожилой возраст, при котором работать прокурором становится все труднее, обремененность семейством, почтительнейше прошу возложить меня обязанности государственного адвоката, каковые обязуюсь усердно выполнять. Примите уверения и т. д.

Старый прокурор суда Н...

Господину председателю совета министров

Бухарест

Внезапно скончался государственный адвокат Памфил. Согласно конфиденциальной телеграмме, полученной сегодня ночью, почтительно прошу назначить на вакантное место известную персону, за которую теперь полностью могу поручиться.

За префекта уезда Н...

Директор Раул Григорашку.

Господину Костэкелу Гудурэу, адвокату, бывшему депутату и т. д.

Принимая во внимание рекомендации вашего города, также ваши титулы, господин министр назначил вас государственным адвокатом вместо покойного Антонаке Памфила. Завтрашней почтой прибудет официальный приказ.

Начальник кабинета

Министерства государственного имущества.

1899

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Два друга, Ницэ и Гицэ, сидят за столиком в пивной и тихо разговаривают неведомо о чем. Дверь в пивную с шумом распахивается, и вваливается новый посетитель, человек скорее молодой, чем старый. Он весел; по всему видно, что явился он из другого питейного заведения, где крепко накачался. Вновь прибывший смотрит на занятые столики, словно отыскивает знакомого, наконец, взгляд его останавливается на двух приятелях. Скорее решительным, чем твердым шагом он направляется прямо к их столику.



Бухарестский Национальный театр
во второй половине XIX века.

В разговоре он невнятно произносит целые слоги, а иногда и просто глотает их.

Вновь вошедший. Привет, приятели!

Ницэ и Гицэ. Привет!

Вновь вошедший. Разрешите?

Ницэ. Пожалуйста.

Вновь вошедший. Значит, не побеспокою?

Гицэ. Нет.

Вновь вошедший. О чем-нибудь секретном разговариваете?

Гицэ. Нет...

Молчание.

Вновь вошедший. Скажи, приятель, сколько времени. Мои-то того, в ремонт отдал.

Ницэ. Без четверти час.

Вновь вошедший. Не отстают?

Ницэ. По вокзальным поставлены.

Вновь вошедший. Мица теперь должна быть... Сколько ты сказал?

Гицэ. Без четверти час.

Вновь вошедший. ...между Гергань и Концештъ. Я ее с начальником станции отправил... *(Ударяет кулаком по столу.)* Что же это, братец, вы в трезвенники меня записали? Кружку пива.

Ницэ и Гицэ переглядываются, спрашивая друг друга глазами, кто этот новый приятель.

Приятель *(чокается с друзьями)*. Пардон, одну минуточку... *(Выходит.)*

Гицэ. Кто он? Ты его знаешь?

Ницэ. Нет.

Гицэ. Кажется, он под мухой.

Ницэ. Под мухой? Пьян в стельку!

Приятель *(возвращается)*. Дружище, который теперь час? Сколько времени?

Ницэ. Десять минут второго.

Приятель. Теперь она на станции Титу, значит, пончики ест у мадам Мари.

Гицэ. Кто это там, приятель?

Приятель. Мица, я же тебе сказал. Человек, еще кружку!

Ницэ. А кто она, эта Мица? Объясни, пожалуйста.

П р и я т е л ь. Как? Ты не знаешь?

Н и ц э. Нет.

П р и я т е л ь. Это моя жена, дружище!

Г и ц э. Понятно, а ты не побоялся пустить ее одну путешествовать ночью?

П р и я т е л ь. Да разве я тебе не объяснил, что она не одна? Она ведь с начальником станции.

Н и ц э. Хорошо, хорошо. Нам все понятно, только... вот именно поэтому... ведь... как-никак одинокая женщина.

П р и я т е л ь. Да ты не волнуйся! Купе отдельное. Вошел, потушил свет, задернул занавески, заперся изнутри: купе, значит, служебное, следовательно, отдель-ное! *(Подмигивает.)* Можешь спать, пока проедешь Филиаш. Сто шестьдесят третий поезд. Этот для нас самый удобный — номер сто шестьдесят три.

Оба друга смеются.

Сколько теперь?

Н и ц э. Уже половина второго.

П р и я т е л ь. Титу проехали, Мэтэсару тоже. Мица должна теперь спать сном праведника...

Г и ц э. А начальник?

П р и я т е л ь. И начальник... Пардон, одну минуточку. *(Выходит.)*

Н и ц э. Трогательный человек.

Г и ц э. Да, идеальный муж.

Н и ц э. Погоди, посмотрим, как выглядит эта Мица.

П р и я т е л ь *(возвращается)*. Одна! Так бы я одну ее и оставил! Сам знаешь, молодую женщину нельзя оставлять одну. Встречаются ведь скоты, у которых нет никакого воспитания...

Г и ц э. Тем более если женщина к тому же недурна...

П р и я т е л ь *(разражается смехом)*. Недурна! Это Мица-то недурна! Что ты говоришь, приятель! Как у тебя только язык повернулся... Она красавица, дружище, лопнуть моим глазам! Погоди, сейчас увидишь. *(Роется в кармане, достает из бумажника фотографию и протягивает ее друзьям; оба, восхищенные, долго рассматривают ее.)* Ну, как?

Н и ц э. Замечательная женщина, приятель.

Г и ц э. Чудо!

П р и я т е л ь *(гордо)*. Что! Карточка — это чепуха! Посмотришь на нее в натуре, совсем другое дело, должен сказать. Ну, хватит. Самому нужно увидеть!

Н и ц э. Она высокая?

П р и я т е л ь *(уверенно)*. Подходящая.

Г и ц э. Блондинка?

Приятель. Чистое золото. Посмотри на прическу! Думаешь, она завивается? Как бы не так! От природы. Послушал бы ты утром, как она ругается, никак расчесать их не может. Волосы что надо!

Ницэ. А сколько ей лет?

Приятель. А сколько ей дашь по фотографии?

Ницэ. Лет двадцать пять.

Приятель. Слыхал? А еще говоришь, что на фотографии она лучше, чем в жизни. Ей и двадцати одного не исполнилось.

Гицэ. Ну, дай ей бог долгой жизни! Ты знал, что выбирал. А любишь ты ее?

Приятель. Привет! Как же не люблю! Это большое дело, скажу я тебе. На нашей станции прямо комедия. Когда днем проходит поезд, все пассажиры, все до единого, вот так выворачивают шеи, чтобы взглянуть на нее в окошко,— ведь мы живем прямо на вокзале, на втором этаже.

Ницэ. А начальник... он где живет?

Приятель. Тоже на втором этаже.

Гицэ. А он женат?

Приятель. Куда там! Не хочет жениться: говорит, что предрасположения к женщинам не имеет. Уж Мица так над ним насмехается, умереть можно! Она все время его подкалывает. И что самое интересное, он обижается! Однажды она ему такую шпильку подпустила, что они в дым разругались, не разговаривали... целый день...

Ницэ. А потом?

Приятель. Потом помирились. Что им делать,— никуда не денешься, если мы едим за одним столом. Ведь нельзя быть в ссоре, коли сидишь друг против друга! Вот они и сидят надутые, и я на себя серьезный вид напустил; потом начальник и говорит: «Пардон, ма шер, я наступил тебе на ногу». Все мы как прыснем со смеху...

Гицэ. А начальник, он что за человек?

Приятель. Парень что надо.

Ницэ. Не об этом речь. Какой он? Ну, сколько ему лет?

Приятель. Ему? Да тридцати нету. Сам увидишь: красивый парень. Погоди, я забыл вам его показать. *(Достает из бумажника еще одну фотографию.)* Посмотрите.

Друзья берут фотографию и рассматривают ее с некоторым чувством ревности.

Правильно говорю?

Гицэ. Представительный мужчина!

Приятель. Еще бы! А увидали бы его в жизни! Он повыше вас будет! Жалко, на фотографии красный цвет не выходит.

Стоит посмотреть, когда он свою красную фуражку этак набекрень надевает. Картинка! Усы черные, как вороново крыло, брови тоже! Поезд подойдет, все дамы только на него и смотрят, больше никуда. Не будь на нем красной шапки, сглазили бы чертовки!

Н и ц э. Прошу прощенья за вопрос, а дети у вас есть?

П р и я т е л ь *(хохочет)*. Что ты, дружище! Ведь мы только пять месяцев женаты.

Н и ц э. Ах так! Тогда еще ничего не потеряно, еще будете иметь...

П р и я т е л ь. Так и мы надеемся. Сколько времени? Видишь ли...

Г и ц э. Четверть третьего.

П р и я т е л ь. Теперь прибывают в Леордень.

Н и ц э. Извини, а кем ты там на станции?

П р и я т е л ь. Я? Кладовщик... Возьмем еще по кружечке?

Г и ц э. Уж поздно. Завтра с утра в канцелярию.

П р и я т е л ь. Только по одной. Эй, человек! Три кружки.

Н и ц э. А теперь ты в отпуску?

П р и я т е л ь. Какой отпуск! Зачем мне отпуск! Меня начальник когда хочешь отпустит. Хоть три дня гуляй. Особенно сейчас, когда кризис, так это и вовсе пустяки!

Г и ц э. Разреши, дружище, выпить за здоровье твоей жены. Дай ей бог здоровья!

П р и я т е л ь. Мерси.

Н и ц э. А я пью за здоровье твоего начальника. Всех ему благ!

П р и я т е л ь. Мерси.

Г и ц э *(пьет; какая-то мысль осеняет его, и он фыркает)*. Друг! *(С нежностью в голосе.)* Дружище, разреши, я тебя поцелую! *(Целуется с кладовщиком.)* Ты добрейшая душа! Как бы я хотел познакомиться с твоей женой и твоим начальником! *(Ласково.)* А что они теперь делают?

П р и я т е л ь. Спят как убитые. Сколько времени?

Н и ц э. Три.

П р и я т е л ь. Прибыли в Питешть. В Питешть поезд стоит тридцать три минуты.

Оба друга по очереди нежно целуют его.

Г и ц э. Дружище, ты счастливейший человек! Желаю здоровья!

П р и я т е л ь. Что правда то правда, я счастливый, слава богу. Жена — красавица, будь здоров! Службишка тепленькая

имеется. Что там ни говори — кладовщик: манна с небес не падает, а кое-что перепадает! Начальник — ничего не скажешь, словно брат родной, шурином как-никак доводится!

Оба друга, только что хохотавшие во все горло, недоуменно переглядываются.

Н и ц э. Как это шурином?

П р и я т е л ь. Да если он брат Мицы! А ты что думал?

Г и ц э. Тогда ничего у нас не вышло.

П р и я т е л ь. Как ничего не вышло?

Н и ц э. Мы думали...

П р и я т е л ь. Как же так, дружище? Если бы он не был родным братом, то как же возможно? Как то есть оставить такую раскрасавицу ночью с таким красавцем мужчиной? В служебном купе! *(Подмигивает.)* От-дель-ном, так сказать *(довольный хохочет)*, вот это мне нравится! Который час?

Н и ц э. Не все ли равно.

П р и я т е л ь. Хочу знать, где теперь Мица.

Н и ц э *(устало)*. Уже больше половины четвертого.

П р и я т е л ь. Отошел от Питешть... Пошли куда-нибудь, выпьем по чашке кофе.

Г и ц э. Не стоит.

П р и я т е л ь. Это почему же?

Н и ц э. Да что теперь с тебя возьмешь?

1899

С Р О Ч Н О...

Женская гимназия № 1 города З., № 654, 15 ноября

Его превосходительству господину примарю города З.

Срочно

Господин примарь.

Ссылаясь на наше прошение от прошлого октября месяца за № 597 в отношении потребности в дровах, которую ощущает школа, просим Вас как можно быстрее соблаговолить распорядиться выдать предусмотренное количество, ибо погода портится и угрожает тем, что без топлива мы не сможем продолжать занятия.

Примите, прошу Вас, господин примарь, и пр. и пр.

Директриса
Аглая Попеску

Женская гимназия № 1 города З., № 683, 1 декабря

Его превосходительству господину примарю города З.

Срочно

Господин примарь.

Ссылаясь на наше прошение от прошлого ноября месяца 15 дня за № 654, имеем честь настойчиво повторить просьбу в отношении дров для топки печей, необходимых для женской гимназии № 1 сего города, ощущающей отсутствие тепла, достаточного для проведения уроков зимой, особенно такой суровой, какой является настоящая, поскольку ученицы не в состоянии писать замерзшими руками, и даже преподавательницы страдают от этого, не имея возможности раздеться в классе, поскольку температура, что весьма легко констатировать, настолько нетерпима, что угрожает болезнями как преподавательницам, так и ученицам.

Таким образом, просим Вас принять срочные меры в связи с этим ненормальным положением, в противном случае будем вынуждены заявить высокоуважаемому министерству о невозможности нести какую-либо ответственность.

Примите, прошу Вас, господин примарь, и пр. и пр.

Директриса
Аглая Попеску

Школьный инспектор округа X., № 4599, 15 декабря

Его превосходительству господину примарю города З.

Срочно

Господин примарь!

Сегодня, 15 декабря, производя очередную инспекцию в женской гимназии № 1 города З., я был встречен госпожой директрисой Аглаей Попеску, а также госпожами преподавательницами Аретией Ионеску, Севастией Ионеску и Аристией Попеску, которые жаловались на плачевное состояние, которого достигла школа благодаря отсутствию топлива, в котором было отказано уважаемой местной примарией, к которой они неоднократно обращались с официальными просьбами, которые и находятся в деле, но которые до настоящего времени не принесли никакого результата.

Действительно, посетив потом классы, я встретил там температуру, которую невозможно переносить, особенно детям, вследствие которой возможны даже заболевания какой-либо инфекционной заразой,что воспрепятствовало бы планомерному течению учеб-

ного процесса, который необходимо было бы прервать до того, пока не стихла бы вспышка эпидемии, как это случилось в период летней жары, но не из-за огня, а из-за воды, как раз за несколько дней до годичных экзаменов, что и привело к огромному педагогическому конфузу.

Имея в виду все это, я прошу Вас, господин примарь, соблаговолить распорядиться, чтобы как можно быстрее удовлетворить потребности школы.

Примите, прошу Вас, господин примарь, и пр. и пр.

Школьный инспектор
Лазэр Ионеску-Лион

Женская гимназия № 1 города З., № 13, 8 января

Его высокопревосходительству господину министру народного образования и просвещения

Срочно

Господин министр.

Я неоднократно обращалась в уважаемую местную примэрию с просьбой отпустить топливо, в котором наша школа испытывает необходимость, в связи с морозами, с которыми нам приходится сталкиваться в настоящее время года, но безрезультатно, вследствие чего мы дрожим за нашу жизнь и жизнь учениц, которые перестали посещать школу еще до каникул, так как родители, узнав о подобном положении и высказывая опасения, не разрешают им этого до тех пор, пока мы не сможем затопить печи.

Господин школьный инспектор Лазэр Ионеску-Лион собственнолично посетил нашу школу и, констатировав отсутствие у нас тепла, направил еще 15 декабря прошлого года за № 4599 прошение господину примарю, оставшееся также втуне, вследствие чего школа находится в том же плачевном состоянии, что ни в коем случае нельзя назвать гуманностью, заставляя так страдать учениц.

Вследствие этого мы и просим с самым глубочайшим уважением Вас срочно принять любые меры, которые Вы найдете необходимыми для прекращения этого варварства, существующего и в настоящее время.

Соблаговолите, господин министр, и т. д.

Директриса
Аглая Попеску

Министерство народного образования и просвещения,
№ 10 001, 15 января

Господину школьному инспектору округа Х.

Срочно

Господин инспектор!

Госпожа Аглая Попеску, директриса женской гимназии № 1 города З., жалуется нам, что местная примэрия не отпускает школе дров, необходимых для отопления классов.

Пересылая Вам заявление госпожи директрисы, просим Вас срочно произвести обследование школы и срочно доложить нам.

Примите и пр.

За министра
(неразборчиво).

За начальника отдела
(неразборчиво).

Школьный инспектор округа Х., № 13, 1 февраля

Господину министру народного образования и просвещения

Срочно

Господин министр!

Немедленно по получении Вашего распоряжения за № 10 001 от 15 января я посетил женскую гимназию № 1 в городе З. и убедился, что жалоба соответствующей госпожи директрисы полностью подтверждается.

Действительно, я нашел, что вследствие мороза школа наполовину полностью лишилась учащихся, а оставшаяся часть кашляет, испытывая боли и опухоли в горле, в связи с чем вызванный городской врач констатировал многочисленные случаи ангины, то есть воспаления миндалин, что может оказать отрицательное воздействие особенно на анемичных и лимфатических детей благодаря осложнениям, часто весьма заразным.

Поэтому господин врач высказал мнение о том, что лучше было бы совсем закрыть школу, пока эпидемия не приняла широких размеров.

С глубочайшим уважением прошу дать мне соответствующее указание в отношении оздоровления ситуации или войти с ходатайством в местную примэрию с тем, чтобы она отпустила топливо, в котором учебный процесс ощущает такую необходимость.

Соблаговолите, господин министр, и т. д.

Школьный инспектор
Лазэр Ионеску-Лион

Министерство народного образования и просвещения,
№ 20 002, 15 февраля

Его превосходительству господину примарю города З.

Госпожа Аглая Попеску, директриса женской гимназии № 1 данного города, жалуется, что уважаемая примэрия после неоднократных просьб не отпускает дров, необходимых для отопления, отчего страдает учебный процесс.

Мы предлагаем Вам, господин примарь, срочно удовлетворить согласно закону справедливую жалобу госпожи директрисы.

Примите, господин примарь, и т. д.

За министра
(неразборчиво).

За начальника отдела
(неразборчиво).

Палата депутатов. Продленная сессия.

Заседание от 1 марта

Г-н Ал. Лингополу. Я просил слова, чтобы задать вопрос господину министру просвещения и народного образования: знает ли он, в каком катастрофическом состоянии находилась этой зимой женская гимназия № 1 в городе З., лишенная необходимого топлива в связи с тем, что местная примэрия не отпустила дров, что по этой причине разразилась эпидемия и даже были прекращены занятия по распоряжению городского врача?

Г-н министр просвещения. Отвечаю уважаемому депутату, что на основании рапорта местного школьного инспектора министерство приняло срочные меры с тем, чтобы примэрия согласно закону отпустила этой школе необходимое топливо.

Примэрия города З., № 3712, 15 марта

Госпоже директрисе женской гимназии № 1 города З.

Срочно

Госпожа!

Завтра школа, имеющая быть под Вашим попечительством, получит 5 (пять) возов дубовых дров высшего качества. Просьба соблаговолить немедленно доложить о получении топлива.

Примите и пр.

За примаря
помощник *Ницэ Некшулеску*

Секретарь
Атанасие Елеутереску

1899

РЕПОРТАЖ

Газета «Ярость нации» издавалась мной во времена правительства Брэтиану, лет пятнадцать тому назад. Это был чрезвычайно воинственный и яростно оппозиционный орган.

Наша сила заключалась не столько в серьезных статьях и полемике, сколько в сенсационных информациях, сдобренных ядовитыми замечаниями. Мы сводили с ума читателей, политических деятелей и особенно наших братьев газетчиков, разоблачая самые интимные, закулисные политические интриги. Теряла голову и полиция, тщетно пытаясь добраться до источника информаций, печатавшихся в «Ярости нации».

А между тем это было так просто! Мы узнавали все от одной светской дамы, которая добывала специально для нас информацию у весьма высокопоставленного политического деятеля. Все стороны были заинтересованы в сотрудничестве и сохранении строгой тайны: политический деятель потакал с нашей помощью своим мелким страстишкам, одновременно преследуя большие цели; дама очень прилично зарабатывала; а мы прочно удерживали репутацию наиболее осведомленной газеты.

Если бы кто-нибудь внимательно читал нашу газету, то непременно обнаружил бы источник нашей осведомленности: в то время как всех столпов режима мы потчевали уксусом и тухлыми яйцами, нашего уважаемого осведомителя мы забрасывали цветами и опрыскивали розовой водицей.

Но, к сожалению, наш источник неминуемо должен был когда-нибудь иссякнуть. И действительно, настал день, когда наш деятель, получив наконец назначение, которого он так долго добивался, покинул столицу. Все остались на бобах: дама пришла в отчаяние, лишившись интимного друга и заработка; мы хватались за голову, оставшись без информации. На первых порах дама попыталась добывать для нас информацию из других источников, но из этого ничего не вышло. На нас мигом посыпался град опровержений. Добрые собратья по перу не замедлили направить весь свой разоблачительный пыл против «Ярости нации». Газета была объявлена «лишенной совести», «лживой», «подлой», «полной смехотворных небылиц» и тому подобное. Словом, все, что могли придумать конкуренты, взбешенные успехом своего соперника, было пущено против нас.

Тогда я решил нанять специального репортера.

На несколько дней мы избавились от опровержений и «комплиментов» ревнивых коллег. Но, боже, какую информацию поставлял новый репортер! Судите сами:

«Сегодня в министерстве внутренних дел состоялось заседание совета министров.

Председатель совета министров уезжает в субботу в свое имение «Флорика». Он вернется, по всей вероятности, в понедельник или во вторник, если не решит задержаться дольше.

Вчера, в среду, министр культов работал с его величеством королем.

С удовольствием сообщаем о помолвке заслуженного чиновника господина Александра Попеску с госпожой Александриной Ионеску, матерью молодого поэта Горация Ионеску, служащего в бюро по найму прислуги при полицейском управлении Бухареста. Горячо поздравляем молодую чету.

Согласно собственному желанию Тудорина Штефэнеску и Фани Теодореску поменялись местами — первая была переведена на должность акушерки района З., а вторая на ту же должность в район Н...»

Утром, когда репортер явился в редакцию, я встретил его словами:

— Дальше так не может продолжаться, господин Каракуди! С такой информацией мы утопим газету. Разве это сенсация? Вполне понятно, что сегодня состоялось заседание совета министров, потому что оно всегда происходит по четвергам! Разумеется, премьер-министр по субботам уезжает в свое имение «Флорика» и возвращается в понедельник, вторник или в какой-нибудь другой

день! Министр культов был во дворце в среду, потому что это его обычный день работы с королем! И в конце концов какое мне дело до помолвки юной Александрины! Какой интерес может представить для наших читателей перемещение ваших акушерок! Послушайте, дружище, вы что, хотите угробить «Ярость»? Отвечайте.

— Ничуть!

— Стало быть, мне нужны сенсационные политические новости, а не всякая там чепуха.

— А если их нет, господин редактор...

— Должны быть! В противном случае, к моему глубокому сожалению, мы должны будем с вами расстаться.

— Понятно, господин редактор.

— Идите, бегите! Суйте нос всюду — в публичные места, в официальные учреждения, в политические клубы, ищите, ройтесь, разнюхивайте, узнавайте, узнавайте, узнавайте!..

Господин Каракуди ушел, готовый к самым решительным действиям. К вечеру он вернулся с гордым, победоносным видом. И впрямь ему было чем похвастаться. У одного политического деятеля, имя которого он не пожелал назвать, Каракуди узнал весьма любопытные новости. Вот в чем они состояли:

1. Большие разногласия в совете министров.

2. Назревает правительственный кризис.

3. Правительство намерено увеличить численность вооруженных сил и удлинить сроки воинской повинности.

4. Слухи о серьезном инциденте в дипломатических сферах.

5. Скандальный развод в высшем свете.

— Ну вот видите?.. Кто же вам все это сообщил?

— Не имею права назвать,— ответил Каракуди.— Я дал честное слово не разглашать его имени. Если он узнает, что я его предал,— прощай информация, в следующий раз не скажет ни слова.

— Браво, господин Каракуди! Прекрасный урожай. Вот это здорово! Продолжайте в том же духе! У вас американская хватка, и вы далеко пойдете в румынской журналистике!

Я оказался прав. Мой репортер с каждым днем все больше преуспевал. В скором времени «Ярость нации» вернула свою былую славу и добилась еще большей популярности. Никогда мы не имели такого успеха. Молодец, Каракуди!

Вот образчик его информации:

«Сообщаем из достоверного источника: вчера во дворце произошла сцена, которая как нельзя лучше характеризует создавшуюся невыносимую обстановку. Подробности— в вечернем выпуске».

Далее в вечернем выпуске:

«Известно, что король давно отдает себе отчет в том, что страна доведена до полного упадка. По всякому поводу он выражает свое неудовольствие правительству. Король давно собирался открыто высказать главе кабинета свое мнение о проводимой им безрассудной политике и только ждал подходящего момента. Так, вчера, когда премьер явился на обычную аудиенцию, король заперся с ним в своем рабочем кабинете и, приняв строгие меры, чтобы никто не мог их подслушать, устроил премьеру баню по первому разряду, подвергнув детальной и беспощадной критике политику кабинета, которая состоит в терпимом отношении к «грабежам, убийствам и скандальным аферам»,— как выразился сам премьер в приступе откровенности.

Бледный как мертвец, премьер не отвечал ни слова. Обрисовав создавшееся положение, король решительно заявил:

— Так не может продолжаться, господа, так не может продолжаться.

Даже дворцовые слуги заметили, как бледен был выходивший после аудиенции премьер».

Нечего говорить о том, какой успех имел наш вечерний выпуск. Весь тираж был распродан меньше чем за час, нам пришлось тиснуть еще тысячу экземпляров (три тысячи,— писали мы на другой день).

«Молодец Каракуди! — подумал я.— Откуда у него такие сведения? Надо обязательно узнать, кто его информирует».

Однако все мои старания ни к чему не привели. Каракуди оставался непреклонным и ни за что не соглашался открыть источник своей информации. В конце концов его упрямство вывело меня из себя, и я твердо решил вырвать у него секрет любым, пусть даже нечестным, способом.

На другой день была чудесная осенняя погода и утром мой репортер заявил:

— Кажется, к вечернему выпуску у меня будет свежая информация в связи со вчерашней сценой, разыгравшейся между королем и премьером. По дороге в редакцию, я заметил, что премьер снова входил во дворец. Ну, я пошел... Через час вернусь со свежими новостями.

«На этот раз я тебя накрою, голубчик!» — подумал я и отправился вслед за моим репортером, преследуя его по всем правилам детективного искусства.

Ничего не подозревая, Каракуди спустился по бульвару и вышел на улицу Каля Викторией. На минуту он остановился перед

витриной галантерейного магазина, потом двинулся дальше спокойной походкой прогуливающегося человека. Дойдя до угла улицы Ноуэ, Каракуди задержался у кафе Капша и сел за один из столиков, стоявших на тротуаре. Я остановился на противоположном углу улицы, у входа в гостиницу «Бульвар». Минут двадцать он просидел за столиком, а я стоял на углу. Потом он встал и направился в сторону королевского дворца. К несчастью, возле гостиницы Отетелешану, на Театральной площади, я потерял его из виду. Не удивительно — народу тьма. Спешу вперед, возвращаюсь назад, оглядываюсь по сторонам — парень как в воду канул. Наверное, зашел в одну из ближайших гостиниц, где у него было назначено свидание с депутатом или сенатором. Кто его знает! Потеряв всякую надежду, я уже собирался вернуться в редакцию, чтобы возобновить игру в другой раз, как вдруг вижу: мой репортер выходит из табачной лавочки с пакетиком в руках. Он попросту покупал себе табак!.. Не оборачиваясь, он отправился дальше, к дворцу. Я за ним. Проходя мимо табачной лавки, я все же заглянул внутрь: может быть, свидание происходило там?.. Но в лавке, кроме продавщицы, не было ни души. Проходя мимо дворца, Каракуди поклонился кому-то стоявшему в окне и зашагал дальше.

Поравнявшись с дворцом, я тоже заглянул в окно и увидел молодого кавалерийского офицера. Каракуди остановился у собора и повернул обратно. Я мигом нырнул в подворотню. Он прошел мимо. Я последовал за ним на некотором расстоянии, не спуская глаз с его серебристой шляпы. У дворца он снова приподнимает шляпу, и я снова вижу в окне офицера.

«Может быть, он?» — мелькает у меня мысль.

Каракуди свернул направо и вышел на улицу святого Ионикэ. Я за ним. Он вошел в парк Чишмиджиу, перешел мостик и направился прямо в буфет. Не сводя с него глаз, я спрятался за холмиком.

Он уселся за столик, выпил чашку кофе и закурил сигарету. Теперь я был убежден, что именно здесь состоится свидание с тем, кто доставляет ему информацию. Каракуди ждет. Я тоже. Каракуди вынимает блокнот и начинает писать. Погода великолепная. Парк удивительно красив. Тишина. Только шуршат желтые листья, которые падают с деревьев, описывают в воздухе широкие круги и плавно опускаются на землю. С озера доносятся крики лебедей.

Однако Каракуди уже закончил свое писание, расплачивается, встает из-за столика и направляется в мою сторону. Я мигом прячусь за холмиком. Он выходит на улицу Брезояну и прибавляет шагу. Я тоже.

Куда он меня ведет? Посмотрим.

В редакцию!.. Я кидаюсь за ним. Когда я открываю дверь, Каракуди вынимает блокнот.

— Ну? — спрашиваю я с нетерпением.

— Пожалуйста,— отвечает Каракуди и, победоносно улыбаясь, кладет мне на стол исписанный листок с разметкой шрифтов, на котором я читаю следующее:

«Вчера мы сообщили о сцене, разыгравшейся во дворце между королем и премьером. Сегодня мы имеем возможность дать почерпнутые из вполне авторитетного источника подробности этой сцены, подтверждающие слухи о неизбежном министерском кризисе.

Сегодня около девяти часов утра премьер с кислой миной поднялся по ступеням дворца. Король заставил его ждать в приемной более получаса. В это время слуги и дежурные офицеры могли слышать, как премьер тяжело вздыхал, по-видимому, вспоминая те прекрасные дни, когда он судил и рядил, пользуясь полным доверием монарха. Теперь (лучше поздно, чем никогда!) король повернулся к нему спиной, как к лакею, услугами которого хозяин недоволен и которого собирается выгнать.

Наконец король принял премьера в своем рабочем кабинете и повторил ему прежние упреки по поводу создавшейся в стране тяжелой обстановки. Дрожащим, почти плачущим голосом премьер сказал:

— Тогда, ваше величество, мне не остается ничего иного, кроме...

— Кроме? — спросил монарх.

— Кроме...

И, не найдя в себе сил произнести роковые слова: «...как подать в отставку и удалиться на покой»,— премьер расплакался, как старая баба.

Итак, дни политики грабежа, убийств и скандальных афер сочтены. На этот раз не может быть и речи о частичной реорганизации кабинета, не помогут заплаты, которые так любит премьер. Всему кабинету грозит полный провал!»

— Браво, Каракуди! — воскликнул я радостно.— Вы умнее, чем я думал! Это настоящая находка для «Ярости нации»! Но позвольте вам сказать, что теперь-то мне известен...

— Что вам известно?..

— Источник вашей информации... Я все узнал...

— Да ну?

— Хотите пари?

— На что угодно.
— Обед у Иордаке. Согласны?
— Согласен,— отвечает Каракуди, не сомневаясь в победе.
— Сказать вам откуда?
— Откуда?
— Подойдите поближе...

Беру его за руку и тихонько вталкиваю к себе в кабинет. Закрываю дверь тщательнее, чем король, когда он хочет остаться наедине с премьером, смотрю репортеру прямо в глаза и говорю:

— Из парка Чиш-ми-джиу!

Каракуди бледнеет еще сильнее, чем премьер и его информации. Но... я крепко жму ему руку и говорю:

— Это ничего не значит!.. Я очень доволен вашей работой... Без нее «Ярости» грош цена со всеми ее статьями и фельетонами. Пошли обедать!

Пообедали мы на славу. Каракуди был в восторге.

— Слушайте, дружище,— сказал я ему за десертом, после того как описал со всеми подробностями его утренний маршрут,— слушайте, когда хорошая погода, как сегодня, все это понятно; но что вы делаете в ненастные дни?

— В ненастные дни?.. Сижу дома.
— Выпьем еще по одной! Я плачу.

Мы рассмеялись. Расплатились — он за обед, я за остальное — и вернулись в редакцию навеселе.

— Три часа дня!.. Каракуди, бегите за информацией. Только, смотрите, покрепче.

— Сию минуту! — отвечает мой бравый репортер и отправляется к королевскому дворцу.

Я остаюсь в прохладном кабинете редакции и начинаю писать передовицу. «О чем думает король?..» О чем это может думать король?..

Обмакиваю перо в чернильницу и, наклонившись над столом, думаю... думаю...

Какой прекрасный день! Как хорошо, наверное, сейчас в парке Чишмиджиу под ясным осенним небом... Какая тишина!.. И перед глазами мелькают увядшие листья, которые срываются с деревьев и медленно падают на землю, описывая в воздухе широкие круги... и как будто снова слышится издали крик лебедей...

Молодец Каракуди! Прямо американская хватка, далеко пойдет!

Но о чем все-таки думает король?..

1899

ХАЙ ЛАЙФ[1]

Эдгар Бостандаки — молодой человек, занимающий в классической гимназии, недавно основанной в его родном городе, должность младшего преподавателя музыки, рисования, гимнастики, фехтования и религии. Пока гимназия имеет лишь один класс и содержится на средства города, но есть надежда, что в будущем году откроются еще три класса и она перейдет на иждивение государства. Несмотря на большую нагрузку, связанную с преподаванием пяти столь важных предметов, молодой Бостандаки все же находит время для посещения местного избранного общества, где он слывет истинным джентльменом. В самом деле, Эдгар имеет несомненный успех в салонах Тыргу-Маре. По-французски он говорит с детства и прекрасно разбирается во всех тонкостях моды, так что к нему частенько обращаются за консультациями по этим вопросам. Но профессия хроникера хай лайф не легка, потому что ему приходится писать о дамах, а дамы, как известно, весьма привередливы и капризны. Скажешь что-нибудь хорошее про одну, тотчас обидится другая; писать дурное тоже нельзя — это бы значило прослыть негалантным; описывать несколько подробнее, чем положено, одну — немедленно возникнут подозрения и пересуды; забудешь кого-нибудь упомянуть — тотчас вызовешь гнев и раздражение... Особенно все это неизбежно в таком ограниченном, избранном обществе, как общество Тыргу-Маре, где хроникеру хай лайф следует быть вдвойне осторожным. Тяжелая профессия, ничего не скажешь! Но молодой Бостандаки, остроумный малый, с изысканным воспитанием, казалось, был для нее рожден. И его хроники из жизни высшего общества Тыргу-Маре регулярно печатались в ежедневной газете ближайшего крупного провинциального города.

— Ладно! — может сказать читатель.— Но ведь светский репортер — человек, и — особенно если он молод — у него, несомненно, имеются свои склонности, симпатии и антипатии. Он сидит в углу салона с записной книжкой в руках и внимательно приглядывается ко всему; в вихре вальсирующих пар глаза его, наверное, различают несколько фигур, которые покажутся ему грациознее, а среди них ту, что очаровательнее всех остальных.

— Ну да, разумеется,—отвечу я.— Но светский хроникер должен уметь преодолевать свои симпатии и быть совершенно объективным. А далеко не каждый сумел бы это сделать так, как Туртурел[2].

---

[1] Высший свет *(англ.)*.

[2] Туртурел — голубок *(рум.)*.

— Какой Туртурел?

— Эдгар Бостандаки... Туртурел — это ласкательное имя, которым звали его в детстве маменька, папенька и старшие сестры... Туртурел — не правда ли, это отлично звучит? Во всяком случае, именно этим, довольно прозрачным псевдонимом подписывает Эдгар свои светские корреспонденции.

И все же, несмотря на свою корректность, бесстрастие и галантность, он допустил однажды ошибку в своей «светской записной книжке».

По инициативе комитета, состоящего из дам высшего общества Тыргу-Маре, в салонах Королевской гостиницы состоялся «большой филантропический бал, половина доходов которого должна была пойти на нужды страждущего человечества, а другая половина — на увеличение бюджетных фондов местной классической гимназии до ее перехода на иждивение государства». Майор предоставил для бала полковой оркестр, специально прибывший из резиденции префектуры.

Бал удался на славу. Он был отнюдь не хуже любого бала в уездном городе. Памятуя о благородных целях этого предприятия, местные дамы превзошли в туалетах самих себя. Отлично были представлены также военные мундиры и даже фраки, хотя в последних были лишь субпрефект, примарь и Туртурел. Остальные мужчины явились в сюртуках, а некоторые даже в коротких пиджаках. Гостей принимали дамы из комитета во главе со своей председательницей, госпожой Атенаисой Григорашко, женой субпрефекта. Веселье продолжалось до семи часов утра, когда рассвет коснулся розовыми пальцами дверей горизонта и, потушив своим светом керосиновые лампы, напомнил наконец неутомимым танцорам, что, увы, настала пора расставаться.

На другой день господин Туртурел отправил почтой свою корреспонденцию под рубрикой «Светская записная книжка», сопроводив ее запиской: «Прошу выслать, как всегда, пятьдесят экземпляров газеты по моему адресу». А вечером наш светский репортер, состоявший также секретарем дамского комитета, огласил в присутствии его членов отчет о материальных результатах филантропического предприятия. Здесь излишне приводить весь текст этого сугубо официального документа. Ограничимся выводами: «Валовой доход бала — 575 лей; расходы — 368 лей; чистый доход — 207 лей; 103 леи 50 бань ассигновано на увеличение бюджетных фондов местной гимназии; 103 леи 50 бань — на нужды страждущего человечества».

После того как господин Эдгар Бостандаки поблагодарил дам от имени местной гимназии, а господин примарь — от имени страждущего человечества, собрание было объявлено закрытым и присутствующие уселись за карточные столы.

Еще через два дня прибыли долгожданные экземпляры газеты «Голос зубра», в которой была напечатана корреспонденция господина Туртурела под заголовком: «Как у нас развлекаются».

«В субботу вечером состоялся наконец блестящий благотворительный бал, организованный комитетом под председательством грациозной мадам Атенаисы Григорашко, урожденной Пержою...

...Многочисленная публика, состоящая из высших представителей общества Тыргу-Маре, присутствовала на балу, и каждый из присутствующих счел своим долгом засвидетельствовать почтение и признательность очаровательной председательнице инициативного комитета, любезной и досточтимой госпоже Атенаисе Григо́рашко...

...Под звуки военного оркестра, исполнившего с большим темпераментом воздушный вальс, поплыли танцующие пары, точно подхваченные волнами океана. По временам казалось,что даже время остановилось, чтобы посмотреть, как в бешеном темпе, охваченные горячим вихрем, проносятся мимо диковинные цветы, словно оторванные от земли неистовым ветром страсти... Госпожа Атенаиса Григорашко — божественная королева божественного вальса...

...Внезапно, по невидимому сигналу, раскрываются двери в соседний салон... Ужин! Настала минута отдыха!.. Мадам Атенаиса Григорашко занимает место во главе стола и со свойственной ей грацией приглашает гостей...

...Хлопают пробки, производя шум, подобный стрелковой атаке, но этот грохот нисколько не пугает пирующих...

...Шампанское льется рекой, госпожа Атенаиса Григорашко и здесь подает пример: она подымает свой бокал, как божественная Феба, и с непревзойденной поэтической грацией притрагивается горячими губами к его холодным краям...

...Но вот музыка снова зовет нас. Да здравствует вальс! Неутомимая сильфида, мадам Атенаиса Григорашко...»

И вот тут-то в слове «сильфида» была ужасная, неприличная опечатка...

На другой день, это было как раз в воскресенье, остроумный репортер, сидя в Центральном кафе, самодовольно читал друзьям

свою корреспонденцию. Молодежь слушала его с восхищением и, я бы даже сказал, с некоторой завистью, ибо понимала, как счастлив тот, кто обладает не только талантом, но и целой колонкой в газете, где он может сказать так много приятного знакомым дамам! В то время как слушатели еще продолжали комментировать блестящую корреспонденцию, а ее автор старался объяснить своим друзьям значение таких уподоблений, как «божественная Феба», в кафе появился господин субпрефект Рауль Григорашко, муж «неутомимой сильфиды». Господин субпрефект важно раскланялся со знакомыми и, подойдя к Эдгару Бостандаки, заговорил неожиданно суровым тоном:

— Господин Туртурел! Я запрещаю вам, осел вы этакий, отпускать дурацкие шутки по адресу моей жены, госпожи Григорашко!

И, нервно пройдясь по кафе, он добавил:

— A-t-on jamais vu pareille insolence! [1]

Эдгар ничего не понимает... Но Рауль снова обернулся к нему, размахивая хлыстом, с которым никогда не расставался.

— В следующий раз, если вы позволите себе что-либо подобное, я просто выдеру вас за уши!

— Но...

— Оторву уши! Понятно? Espèce d'imbécile! [2]

И, разъяренный, покинул кафе.

Присутствующие были вне себя от изумления. «В чем дело?..— спрашивали они друг друга.— Что его так обидело?.. Феба?.. Или что-нибудь другое?»

— Ничего не понимаю,— промолвил бедный Туртурел, пожимая плечами.

В то время как присутствующие все еще обсуждали эту загадку и каждый предлагал свое объяснение, в кафе неожиданно появился господин майор Эдмонд Буздрогович, благодаря любезности которого благотворительное мероприятие получило военный оркестр. Никого не приветствуя и явно чем-то взбешенный, господин майор направился прямо к столу Эдгара с таким страшным видом, что последний невольно вскочил и застыл по стойке «смирно».

— Сударь,— закричал Эдмонд, и все увидели, что он вскипел при этом, как самовар,— это вы пишете все эти гадости?.. Отвечайте!

И разъяренный Буздрогович сунул Эдгару в лицо газету со знаменитой корреспонденцией.

---

[1] Невиданная наглость! *(франц.)*

[2] Болван этакий! *(франц.)*

— Да, я! — ответил молодой человек и отступил на шаг.

— А разве мадам Буздрогович, моя жена, не была на балу?

— Была.

— Почему же о моей жене вы не пишете ни слова?.. Почему вы даже не сочли нужным упомянуть ее имени?.. Пусть без комплиментов — она на это не претендует!..— но не упомянуть даже ее имени?!

— Господин майор...

— Негодяй! — вскричал Буздрогович, и, прежде чем присутствующие опомнились, прежде чем кто-либо из друзей Эдгара сумел помешать этому, майор отпустил хроникеру две увесистые пощечины и вышел из кафе.

— Честное слово... теперь я уж совсем ничего не понимаю! — пробормотал Эдгар и выбежал вслед за ним.

1899

ДРУЗЬЯ

Господин Маке сидит за столиком в пивной и ждет, когда подвернется кто-нибудь из друзей. Он весел, и ему хочется поболтать. Долго ждать не приходится. Проходит всего несколько минут, как появляется один из его лучших друзей, господин Лаке. Господин Лаке не в духе. Он подходит и садится за столик. Читатель извинит меня, что я не даю никаких указаний в отношении тона, жестов и тех проявлений темперамента, которые сопровождают этот диалог (указаний столь необходимых для выразительного чтения), и сам восполнит этот недостаток с помощью воображения.

Л а к е. Добрый вечер, Маке.

М а к е. Вечер добрый, Лаке.

Л а к е. Давно пришел?

М а к е. Нет. Минут десять назад. Пива выпьешь?

Л а к е. Выпью.

М а к е. Человек! Две большие кружки... *(К Лаке.)* Да что с тобой? Ты вроде не в духе...

Л а к е. Настроения нету. Устал. Всю ночь до утра просидели у Космана.

М а к е. С кем?

Л а к е. Так, с друзьями. О тебе много говорили.

М а к е. Да... Ну и что?

Л а к е. Так, ничего. Пустяки! Ты что, людей не знаешь?

М а к е. Значит, что же? Плохо обо мне отзывались, ругали?

Л а к е. Ну вот! Это твой вечный недостаток — все преувеличиваешь.

М а к е. Ты же сам сказал.

Л а к е. Что я сказал? Ничего тебе не говорил. Я сказал всего-навсего, что таковы уж люди. Ты же хочешь, чтобы тебя только все хвалили и никто не осмелился покритиковать, хотя бы чуть-чуть. Вот видишь, это твой недостаток — ты слишком самоуверен.

М а к е. Извини, пожалуйста. Я вовсе не самоуверен; меня только удивляет: неужели, кроме как обо мне, не о ком было говорить?

Л а к е. Раз уж зашел разговор... В конце концов никто о тебе плохо не отзывался вслух... Это вполне понятно — не осмеливались: все знают, какие мы друзья... Но так, знаешь ли, пощипывали.

М а к е. Что же именно они говорили?

Л а к е. Да так, просто... ведь подлецы... Один из них тебя просто терпеть не может, а числится другом.

М а к е. Кто это такой?

Л а к е. Вот тебе и на! Тебе не все равно?

М а к е. Хотелось бы знать.

Л а к е. Это невозможно.

М а к е. Слово чести, что не призову его к ответу и никогда не дам ему понять, что мне известно, как он обо мне отзывался.

Л а к е. В первую очередь, ты даже не знаешь, что он говорил.

М а к е. А что он сказал?

Л а к е. Вечный твой недостаток — ты слишком любопытен.

М а к е. Конечно, дружище, вполне понятно, что мне хочется узнать, что говорится на мой счет, особенно друзьями: я должен знать: на кого я могу положиться и кого остерегаться.

Л а к е. Возьмем еще по маленькой?

М а к е. Давай.

Л а к е. Человек, две маленьких.

Пауза. Кельнер приносит пиво.

М а к е. Ну?

Л а к е. Что?

М а к е. Что же говорил этот друг?

Л а к е. Он тебя терпеть не может... Не знаю, как зашла речь об умных людях, тут я и говорю: «Маке парень с головой...» Ведь ты знаешь, что я всегда считал тебя очень умным человеком; не потому, что ты мой друг. В конце-то концов разреши тебе прямо сказать: какой мне интерес увиваться вокруг тебя?.. Значит, о чем это мы говорим? Мы, слава богу, друг друга хорошо знаем, у меня тоже могут быть недостатки, но все должны признать, что я обладаю одним качеством — прямотой, искренностью. Так вот я тебе откровенно скажу, что я бы весьма сожалел, если бы собрались настоящие друзья и стали говорить, понимаешь...

М а к е. Хорошо, мон шер, но кто же говорит?

Л а к е. Ты.

М а к е. Я?

Л а к е. Я вижу, ты смотришь на меня с таким видом как... будто хочешь сказать, что ты мне не веришь.

М а к е. Но скажи же прежде всего, во что верить? Ведь ты мне ничего не сказал. Ты сказал лишь, что один из друзей, которые собрались вчера, терпеть меня не может, а ты утверждал, что я умный человек.

Л а к е. Вполне понятно, что я так утверждал.

М а к е. Но что же говорил мой друг, который меня не переносит?

Л а к е. Вот именно об этом я и хотел сказать, но что делать, раз ты меня все время перебиваешь? Вот он, твой вечный недостаток — ты перебиваешь.

М а к е. Хорошо, больше не буду перебивать. Говори, я слушаю.

Л а к е. Когда я сказал, что ты парень с головой, он сначала улыбнулся мне, дескать: простофиля ты, а потом и говорит: «Пусть он будет с головой, но все равно он... того — болван».

М а к е. Болван?

Л а к е. Болван.

М а к е. Почему же это он меня считает болваном?

Л а к е. Да по многим причинам...

М а к е. Например?

Л а к е. Ты все время пренебрегаешь службой.

М а к е. Неправда!

Л а к е. Тебя три раза чуть не выгоняли со службы...

М а к е. Врет!

Л а к е. Ты играешь в карты как шляпа, и все над тобой смеются!

М а к е. Я — шляпа?

Л а к е. Ты пьешь...

М а к е. Пью? Две-три кружки пива за день!

Л а к е. Ты взял жену без приданого...

М а к е. Это мое дело! Какой осел! Прошу тебя, скажи, кто этот осел? Мне необходимо знать!

Л а к е. Я же тебя с самого начала предупредил, что не скажу.

М а к е. Почему же ты мне не скажешь, если сам утверждаешь, что ты мой лучший друг?

Л а к е. Чтобы ты устроил мне с ним очную ставку? Не имею никакого желания.

М а к е. Честное слово — нет! Клянусь всем самым дорогим

для меня, что я даже словом никогда не обмолвлюсь. Я хочу только знать его имя, чтобы остерегаться и презирать его.

Л а к е. Это невозможно, Маке.

М а к е. Клянусь честью! Умоляю, назови мне его.

Л а к е. Вот видишь, это вечный твой недостаток — не умеешь хранить тайну. Я тебе ясно заявил, что не скажу. У меня много недостатков, какие хочешь, но любой и каждый может подтвердить, что у меня есть одно качество: я умею держать язык за зубами. Я не люблю ходить и трезвонить повсюду, как ботало.

М а к е. Тогда разреши мне тебе заявить, что ты мне не друг, как я раньше думал.

Л а к е. Я? Я тебе не друг? Это я-то? Браво! Мерси!

М а к е. В конце концов друг — это...

Л а к е. Конечно, я дурак, что все тебе рассказываю... Ладно, буду молчать. Будь я неладен, коли хоть когда-нибудь тебе что-нибудь скажу... *(Обращаясь к кельнеру.)* Человек, две маленьких.

М а к е. Ну... а этот друг больше обо мне ничего не говорил?

Л а к е. Он многое болтал... Но в конце концов... почему тебя это волнует?

М а к е. Меня не волнует, только мне обидно видеть, до чего же может дойти человеческая подлость. Ты говоришь, что это мой друг?

Л а к е. Да.

М а к е. Близкий друг?

Л а к е. Конечно.

М а к е. Но что он еще говорил?

Л а к е. Не скажу, ты рассердишься. Ведь ты сам должен признать, что недостаток твой — вспыльчивость.

М а к е. Клянусь честью, я не рассержусь.

Л а к е. Он говорил про твою жену... что она...

М а к е. Что?!

Л а к е. Что она... Да глупости все это, что тут говорить. Да! Но я его здорово обрезал: «Я не позволю,— сказал я ему,— задевать честь жены моего друга!»

М а к е. Как? Честь моей жены?

Л а к е. Дескать, она слишком красива и слишком молода для тебя, что она вышла за тебя только потому, что была бедной, но...

М а к е. Что?

Л а к е. Что в театре у нее... «Бесплатная ложа»,— возразил я. «А на какие деньги два раза в день, и утром и вечером, она катается по шоссе?» — говорит. «Тоже бесплатно»,— поддел я его. «А лето проводит в Синае тоже бесплатно? — не унимается он.— Откуда такая роскошь?»

Маке. Какой подлец!

Лаке. А потом он почти открыто намекнул на другого друга...

Маке. На кого?

Лаке. Этого я не скажу...

Маке. Послушай, Лаке! Ты знаешь, это уж слишком! Ты должен немедленно его назвать.

Лаке. А если я не хочу?

Маке. Захочешь, слышишь! Иначе получишь от меня пощечину!

Лаке. Ну вот, видишь, твой вечный недостаток — грубость.

Маке. Достаток, недостаток... Сейчас же говори, на кого он намекал?

Лаке. Ты хочешь обязательно знать?

Маке. Да!

Лаке. На Фэникэ.

Маке. На мужа сестры моей жены? На моего свояка?

Лаке. На Фэникэ, на твоего свояка.

Маке. Подлец! Каналья! Кто он такой! Ты должен назвать его имя!

Лаке. Видишь ли, твой вечный недостаток...

Маке. Ничего не хочу знать! Ты должен назвать его!

Лаке. Не скажу.

Маке. Тогда я дам тебе пощечину, понимаешь!

Лаке. Пожалуйста! Только ты очень-то на меня не налетай. Интересно выходит! Но конечно, я во всем виноват, а не ты... Я поспешил предупредить тебя, чтобы ты остерегался друзей, чтобы ты, как последний дурак, не доверял любому и каждому, я обращаю твое внимание на то, как судачат сплетники про твою честь и про честь твоей жены,— и ты, вместо того чтобы поблагодарить, набрасываешься на меня... Ну что же, ты меня заставишь впредь избегать тебя...

Маке. Значит, ты не хочешь мне сказать?

Лаке. Нет.

Маке. Мерси. *(Подзывает кельнера и расплачивается.)*

Длительная пауза, во время которой Маке барабанит пальцами по столу. У него такой вид, словно он что-то глубоко обдумывает. Появляется новый посетитель, Таке; он подходит к столику друзей.

Таке. Добрый вечер.

Лаке и Маке. Добрый вечер.

Таке. Ну и трепач же ты, дружище Лаке! Заставил меня потерять целую ночь. Я сидел и ждал тебя до рассвета, как идиот, у Космана.

Л а к е. Прошу тебя, извини. Я никак не мог, просто падал от усталости. Мне необходимо было отдохнуть как следует ночью. Я лег спать в восемь часов.

М а к е *(поднимается и в ярости кричит)*. А! Значит, ты вчера вечером лег спать рано! Этой ночью ты не был у Космана? Теперь я знаю, кто этот друг! Получай! *(Отвешивает ему две звонкие оплеухи и уходит.)*

Л а к е. Вот видишь? Это его недостаток — он скотина! Да еще грубый... и не умеет себя вести!

1900

ФАЙВ-О-КЛОК

Файв-о-клок по-английски пять часов дня. В великосветском обществе каждая дама назначает определенный день (jour fixe), когда она принимает гостей и потчует их чашкой чая в пять часов дня. Поэтому в высшем свете говорят еще и «five o'clock tea», то есть пятичасовой чай. Дамы из высшего круга обычно публикуют в хронике Клаймора свой приемный день к сведению многочисленных знакомых и друзей. Например, в газете «L'indépendance Roumaine»[1] напечатано:

«Madame Esméralde Piscopesco five o'clock tea tous les jeudis»[2].

«Сегодня как раз четверг,— подумал я,— схожу-ка я к мадам Пископеско».

Лакей во фраке и белых перчатках ввел меня в роскошный салон богатого особняка Пископеско. Однако там никого не оказалось. Неожиданно я услышал голоса в глубине салона. Ах вот что, это разговаривают в маленькой интимной гостиной, отделанной в стиле Людовика XV. Два женских голоса щебечут наперебой, напоминая чириканье воробьев. Направляюсь туда и застаю мадам Мэндику Пископеско со своей сестрой, мадам Тинкуца Попеску. Госпожа Мэндика встречает меня со своей обычной грацией и приглашает принять участие в беседе. Признаюсь, я всегда питал слабость к тому, что французы называют la causerie [3], и поэтому охотно посещаю светское общество. Иными словами, мне нравится беседовать с дамами высшего света. Я нахожу в этих беседах гораздо больше прелести, чем в мужских разговорах. Женщины умеют сказать тысячу пустяков с такой грацией, что это

---

[1] «Румынская независимость» *(франц.)*.

[2] «Госпожа Эсмеральда Пископеско принимает по четвергам в пять часов дня» *(франц., англ.)*.

[3] Беседа *(франц.)*.

выглядит куда более интересным, чем серьезные мужские разглагольствования. Простой цветочек, ленточка, еле уловимый нюанс в тоне или любой пустяк, облагороженный проницательным женским умом и произнесенный с тем необыкновенным изяществом и с теми нежными голосовыми модуляциями, которые свойственны одним лишь женщинам, да еще при этом сопровождающийся прелестной игрой глаз, приобретают для меня невыразимое очарование. Обо всем этом я думал, входя в салон мадам Пископеско. Мне предстояло провести здесь восхитительные минуты.

Я. Вы разрешите, мадам Пископеско...

Мэндика. Вы пришли как раз вовремя...

Тинкуца. Вы были в...?

Мэндика. Замолчи!.. Дай мне сказать... Вы были вчера вечером в цирке?

Я. Да, был.

Тинкуца. Кто еще...

Мэндика. Да замолчи ты, бога ради! *(Ко мне.)* Вы видели Мицу?

Я. Вашу сестру?

Мэндика. Нет... Мицу Потропопеску, ту молоденькую, знаете?

Я. Да; она была в ложе напротив...

Мэндика *(к Тинкуце)*. Видела?

Тинкуца *(ко мне)*. С кем?..

Мэндика. Молчи!.. *(Ко мне.)* В какой шляпке она была?

Я *(в замешательстве)*. В какой шляпке?..

Тинкуца хочет меня прервать.

Мэндика *(закрывая ей рот ладонью)*. В большой шляпе, правда?

Я. Да...

Мэндика *(к Тинкуце)*. Видала? *(Ко мне.)* Бле-жандарм?[1]

Я. Кажется...

Мэндика. С лентами вье-роз?[2]

Я подтверждаю это кивком головы.

(К Тинкуце.) Будешь в другой раз спорить?

Тинкуца. Погоди, увидим... *(Ко мне.)* Она была с мужем?

Мэндика *(к Тинкуце)*. Помолчи!

---

[1] Ярко-голубая *(франц.)*.
[2] Темно-розовые *(франц.)*.

Тинкуца. Нет, позволь уж и мне спросить! Почему только ты можешь задавать вопросы?

Мэндика *(мне)*. Она была с Потропопеску?

Я *(в замешательстве)*. Мне кажется, что...

Мэндика. Разве она не была с Хараламбиной?

Я *(в еще большем замешательстве)*. С какой Хараламбиной?

Тинкуца. Со своей мамашей.

Я. С мамашей?..

Мэндика. Такая маленькая, уродливая старушонка, похожая на сморщенное яблоко, да к тому же еще и расфуфыренная...

Я *(вздыхая)*. Правильно.

Тинкуца. С крашеными рыжими волосами.

Я. Да, да...

Тинкуца *(к Мэндике)*. Видела?

Мэндика. Что именно?.. Будто ее мать ничего не знает! *(Ко мне.)* Кто-нибудь входил к ним в ложу?

Я. В ложу?

Тинкуца. Митикэ не приходил?

Я. Какой Митикэ?

Мэндика. Вот те на! Какой Митикэ!..

Тинкуца. Митикэ — лейтенант Лефтереску...

Я. Поверьте мне... честное слово...я, так сказать, не могу сказать, потому что...

Мэндика. Потому что вы кавалер и не хотите выдавать даму!

Тинкуца. Но вы же видели Лефтереску в цирке?

Я. Помнится, он сидел в партере прямо передо мной...

Мэндика. Возле ее ложи!.. *(Тинкуце.)* Теперь ты поняла? Видишь, как ты глупа!

Тинкуца. Это невозможно!

Я *(взглянув в окно и увидав закрытую карету, подъехавшую к дому)*. Говоришь о волке, а мадам уж у дверей.

Тинкуца. Да, это она!

Мэндика. Какая нахалка!..

Я *(охваченный дурным предчувствием, беру шляпу и пытаюсь ретироваться)*. Разрешите мне откланяться... Очень рад, что нашел вас, как всегда, веселыми и очаровательными. К сожалению, я вынужден вас покинуть.

Тинкуца *(преграждая мне дорогу)*. Так скоро!

Я. Уверяю вас... весьма срочное дело...

Мэндика *(загораживая дверь)*. Даже не выпив чашечку чая?

Я *(весь во власти своих предчувствий)*. Честное слово...

Мэндика. Как раз теперь?

Т и н к у ц а *(выхватывая шляпу из моих рук)*. Это невозможно!

Вынужденный покориться, я падаю в кресло.

Л а к е й. Мадам Потропопеску.

Мэндика становится пунцовой, Тинкуца синей, я бледнею. Появляется мадам Мица Потропопеску, удивительно красивая и, как всегда, в шляпке блежандарм. Дамы нежно целуются.

М и ц а. Вы не можете себе представить, ма шер, какой мороз на улице... Если так продержится всю ночь, сурепица совсем пропадет!

Я. Не думаю, как раз недавно я говорил с арендаторами...

М и ц а. Да ну вас! Мне об этом написал сам Потропопеску!

М э н д и к а *(к Мице)*. Вы были вчера?..

Т и н к у ц а *(к Мэндике)*. Помолчи! Дай мне спросить. *(К Мице.)* Вы вчера были в цирке, мадам Потропопеску?

М и ц а. Да.

М э н д и к а. Од...

Т и н к у ц а *(к Мэндике)*. Замолчи!.. *(К Мице.)* Одна?

М и ц а. Нет. С маман.

Т и н к у ц а. С маман?.. Браво!

Я *(решительно вставая)*. Прошу прощения, но я...

М э н д и к а *(не давая мне взять шляпу, тихонько)*. Как раз теперь? В самый интересный момент!.. *(Нажимает на кнопку звонка.)*

Т и н к у ц а. И... много было народу в цирке?

М и ц а. Полно.

М э н д и к а *(все еще нажимая кнопку)*. Что за олухи? Не слышат!

Появляется л а к е й.

Я не тебя звала. Твое дело стоять в передней. Где эта корова Роза? Почему она не подает чай?

Лакей уходит.

Т и н к у ц а *(к Мице)*. Был там кто-нибудь из знакомых?

М и ц а. Нет, почти никого... Были, конечно, Константиняска, Думитряска, Василяска, Джеорджяска, потом обе Огретиняну...

Появляется горничная Р о з а.

М э н д и к а. Где чай?

Р о з а. Он готов, мадам.

М э н д и к а. Какого же черта ты не подаешь?

Р о з а. Он уже подан, в салоне.

М э н д и к а. Что же ты, дура, молчала?!

Роза уходит, недовольно ворча.

Попридержи язык, нахалка!

В это время мадам Тинкуца Попеску молча играет перламутровым ножом для вскрытия писем, а мадам Потропопеску поглядывает в зеркало, пытаясь поправить завиток непокорных волос на лбу. Мадам Пископеско непринужденным жестом приглашает нас в большой салон, где сервирован чай. На столе стоит самовар и серебряный чайный сервиз с монограммой Э. П., на которой изображена графская корона.

Т и н к у ц а *(к Мице)*. Кстати, вы нам так и не сказали, кто еще был в цирке.

М и ц а. Я ведь говорила... Обе Огретиняну...

Т и н к у ц а. Нет... из мужчин...

М и ц а. Из мужчин?

Я быстро направляюсь в маленький салон и хватаю шляпу.

М э н д и к а. Вы разве не выпьете чаю?

Я *(крепко сжимая в руках шляпу)*. Почему же... я выпью.

Т и н к у ц а. А разве Митикэ... Разве он не был в цирке?

М и ц а. Митикэ?! Какой Митикэ...

Т и н к у ц а. Лефтереску!.. Младший лейтенант!

Я *(торопливо глотая чай и обжигаясь, к Мэндике)*. Прошу прощенья, но я должен...

М и ц а *(весело смеясь, к Тинкуце)*. Ах, Лефтереску? Ваш Митикэ?..

Т и н к у ц а. Ваш, нахалка вы этакая!

М и ц а. Нет, ваш, хамка!

Уронив чашку, я отталкиваю мадам Пископеско, выбегаю в переднюю и мигом выскакиваю на улицу. У ворот я сталкиваюсь с Лефтереску.

Я. Куда вы идете?

Л е ф т е р е с к у. На файв-о-клок к мадам Пископеско.

Я. Убегайте, несчастный!

1900

T E M P O R A...[1]

Несколько лет назад одним из самых выдающихся студентов нашего университета был молодой Кориолан Дрэгэнеску. Он обладал острым умом, железным характером и героическим темпе-

[1] Начало латинской пословицы: tempora mutantur et nos mutanus in illis — времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.

раментом; кроме того, природа его наделила ораторским талантом всепобеждающей силы. Вполне понятно, что, обладая такими качествами, Кориолан встал во главе своих товарищей. Он руководил всеми студенческими манифестациями. Как только великодушная университетская молодежь, которая не могла оставаться равнодушной к политическим событиям, решала выступить и сказать свое слово, Кориолан, организовывал ее, воодушевлял, воспламенял и вел к памятнику Михаю Храброму. И до этого Кориолан был велик и ни с кем не сравним, но здесь, у статуи героя битвы под Кэлугэрени, он был просто великолепен. Его речь была настолько заразительной, что, слушая ее, приходилось только удивляться равнодушию бронзового героя, почему он не сойдет с коня, как это некогда сделал Командор ради Дон-Жуана, и не примет участия в демонстрации.

Сколько раз я ни слушал Кориолана, воспламеняющего великодушную молодежь (а слышал я его довольно часто), я думал, что этот юноша опоздал со своим приходом в наш земной мир, по крайней мере, на два-три столетия. Он должен был бы родиться в те времена, когда тирания попирала народы, когда еще не были провозглашены права человека, когда весь мир стонал, а затылки трещали под каблуком деспотизма. Хотел бы я посмотреть на тиранов, как бы они выглядели, столкнувшись лицом к лицу с Кориоланом Дрэгэнеску! Несомненно, что провозглашение прав человека не произошло бы с таким запозданием. А сейчас? Сейчас, когда мы наслаждаемся столькими свободами, когда даже и не упоминают о тирании, когда на пути прогресса нет никаких препятствий... Но несмотря на это, даже и сейчас очень часто бывают ситуации, в которых общественный порядок был бы нарушен, если бы не вмешательство великодушной молодежи. Для того чтобы дать представление о Кориолане Дрэгэнеску и его деятельности трибуна молодежи, я не буду прибегать к пышным фразам, я ограничусь тем, что воспроизведу несколько отрывков из газеты «Друг народа» того времени, когда этот юноша весьма часто отправлялся к статуе Михая... Посмотрим, что тогда писали.

«Университетская молодежь, возглавляемая выдающимся студентом-правоведом, блестящим юношей Кориоланом Дрэгэнеску, двинулась из парка Чишмиджиу сплоченной группой, намереваясь пройти к памятнику Михаю Храброму, где она хотела в эти скорбные часы для родины, для народа, для нации воздать честь этому великому герою нашего народа.

Хотя студенты двигались в самом отменном порядке, на углу бульвара они были остановлены заслоном из полицейских, секретных агентов и хулиганов.

Тщетно юный Кориолан Дрэгэнеску вместе со всей молодежью протестовал во имя прав, записанных в конституции. Презренные полицейские не пропускали их.

Тогда полный отваги юный Кориолан Дрэгэнеску воскликнул: «Братья! К Михаю Храброму! За мной! К Михаю Храброму!» — и попытался прорваться вперед.

Полная энтузиазма молодежь двинулась было за своим трибуном. Тогда палачи начали колотить направо и налево дубинками...»

Далее:

«Юный Кориолан Дрэгэнеску, отважный студент, находившийся вчера вечером во главе университетской молодежи, арестован бандитами из полиции. Он заперт в одиночную камеру и лишен права общения даже с родителями. Нужно полагать, что в застенке его жестоко избили и подвергли пыткам, и поэтому презренный судья, постыдное пятно судебного ведомства, имя которого только из-за отвращения мы не упоминаем на страницах нашей газеты, никому не разрешает посетить юную жертву террористического режима!»

И еще один отрывок:

«Правительство сошло с ума! Разнузданный произвол!

Вчера вечером, когда студенчество собралось у памятника Михаю Храброму, чтобы с бьющимся сердцем и открытой душой послушать патриотическую и прекрасную речь юного и выдающегося студента Кориолана Дрэгэнеску о праве народа протестовать против правительства бандитов, полиция набросилась на тех, кто завтра будет гордостью страны, и принялась без разбору всех бить, крушить, громить, прокладывая себе дорогу к памятнику героя, у пьедестала которого держал речь оратор.

Это была сцена неописуемого террора.

При виде приближающихся агентов, которые хотели наложить на него свои лапы, юный Кориолан взобрался на статую и в один миг оказался на крупе лошади, откуда воскликнул: «Пусть весь мир будет свидетелем этой новой подлости самого подлого из режимов!»

Но бандиты схватили его за ноги. Тогда отважный юноша обхватил руками Михая Храброго и вцепился в него. Бандиты с такой силой тащили юношу за ноги, что если бы он не уступил и не отпустил Михая Храброго, то они либо стащили бы со своего места бронзовую фигуру героя, либо выдернули юноше ноги.

Да! Да! Правительство сошло с ума!»

Таким был Кориолан Дрэгэнеску... Но при всей своей выдающейся деятельности политического трибуна, он не манкировал и занятиями,— может быть, только совсем немного. Он регулярно посещал лекции в университете в течение семи-восьми лет, и его родители, родственники и многочисленные друзья с большой радостью прочли однажды в газете «Друг народа» следующую заметку:

«С особым удовольствием мы узнали, что юный Кориолан Дрэгэнеску, выдающийся студент нашего университета, с успехом защитил работу на звание лиценциата права, талантливо трактующую тему «Общественный порядок в современном государстве». Выдающегося юношу, сердечно поздравили члены комиссии. Со своей стороны, мы тоже считаем своим долгом поздравить его и пожелать ему блестящей карьеры, которой он со своими талантами, несомненно, заслуживает».

Юрист! Выдающийся юноша! Непревзойденный оратор! Сильный характер! Благородные мысли!.. Конечно, говорил я себе, это человек великого будущего. Его ждет прекрасная карьера!.. Я никогда не выпускал из поля зрения выдающегося юношу. Деяния его студенческих лет были настолько шумными, что я каждый день слышал, читал или натыкался на это прекрасное имя — Кориолан Дрэгэнеску! Но сейчас словно началось какое-то наваждение... После того как я прочел заметку о том, что он блестяще закончил университет, я стал мало-помалу забывать его некогда столь знаменитое имя, и это было естественно: забывал я потому, что больше не спотыкался о него на каждом шагу. Уже много воды утекло с тех пор, и я совершенно забыл о Кориолане. Времена были смутные. Политическое положение обострилось: экономический, сельскохозяйственный и финансовый кризис, более или менее серьезные нарушения конституции — все это раздражало и будоражило общественное мнение. Студенчество, охваченное волнением, решило устроить манифестацию. Что теперь творится около памятника Михаю Храброму? Посмотрим. Я взял газету «Друг народа» и прочитал:

«Верх подлости и беззакония! Граждане, поднимайтесь! Правительство взбесилось!

Сегодняшний поступок этих мерзавцев превзошел все, что можно было ожидать от этих людей, забывших закон и бога!

Студентов избивали, истязали, казнили!

Бандиты правительства получили приказ стрелять в живых людей, и они стреляли!

Это было нечто ужасное и постыдное!

Кровь благородной румынской молодежи обагрила белый мрамор, на котором высится фигура великого румынского героя!

Но пусть не думают бандиты, что они уйдут от возмездия!

Имена убийц известны, и им не уйти от ответа, если даже они спрячутся в змеиной норе...

Особое наказание ждет бесстыжего полицейского инспектора, подлую каналью, бессовестного подлеца, дикого палача и людоеда, который откликается на отвратительное имя — Кориолан Дрэгэн...»

1900

ГОСПОДИН ГОЕ

Для того чтобы Гое не остался снова в том же классе на второй год, бабушка, маменька и тетя Мица торжественно обещали повезти его в Бухарест на празднование 10 мая.

Решились ли дамы на эту поездку исключительно из любви к своему сыночку, внуку и племяннику, история умалчивает. Как бы то ни было, рано утром 10 мая три вышеупомянутые дамы, одетые по-праздничному, вместе со своим любимцем нетерпеливо прохаживались по перрону вокзала своего родного города. Они дожидались скорого поезда, который должен был доставить их в Бухарест. Известно, что если хочешь попасть в Бухарест в этот торжественный день, то надо встать очень рано. Так и поступили наши дамы. Поезд, на который им предстояло сесть, прибудет еще не скоро, но господин Гое весьма нетерпелив и повелительным тоном говорит бабушке:

— Почему нет поезда?.. Я хочу, чтоб он уже был!

— Сейчас, сейчас будет, мой цыпленочек! — отвечает бабушка и, поцеловав внучка, поправляет на нем шляпу.

Молодой Гое щеголяет в матросском костюме, на голове у него соломенная шляпа с лентой, на которой красуется французская надпись «Le Formidable»[1]. За ленту шляпы засунут железнодорожный билет, заложенный туда тетей Мицей, которая утверждает, что «мужчины всегда так прячут билеты».

— Посмотри, как ему идет моряцкий костюм! — говорит бабушка.

— Мамуся, сколько раз я тебе говорила, что «моряцкий костюм» не говорят.

— А как надо сказать?

— Мореходный...

---

[1] «Грозный» *(франц.)*.

— Ладно! Вы уж выражайтесь по-своему, а я буду говорить так, как говаривали в мое время, когда началась эта мода — одевать детей в моряцкие костюмчики.

— Обе вы глупые,— неожиданно прерывает их молодой Гое.— Не говорят ни моряцкий, ни мореходный.

— А как же, миленький? — спрашивает тетя Мица, улыбаясь.

— Мореводный...

— Ну хорошо! Не каждый ведь обучался наукам, как ты! — восклицает бабушка, снова целует его и снова поправляет на нем «моряцкую шляпу».

Времени для филологической дискуссии не остается, потому что скоро прибудет поезд, а стоит он на этой станции всего лишь несколько минут.

Поезд приходит переполненным... Благодаря любезности юношей, которые едут лишь до ближайшей станции, наши дамы получают места. Поезд трогается... Бабушка набожно крестится и закуривает сигарету... Господин Гое, не желая оставаться в купе, выходит в коридор, чтобы побыть с мужчинами.

— Мальчик... нельзя высовываться из окна! — говорит ему один из юношей, находящихся в коридоре, и легонько тянет его обратно.

— А тебе какое дело, образина? — огрызается Гое, вырываясь из рук молодого человека. И, показав «образине» язык, он снова хватается обеими руками за медный поручень и высовывается из окна. Однако через секунду мальчик отскакивает назад и испуганно вопит:

— Мамочка-а! Бабушка-а! Тетенька-а!

— В чем дело? Что случилось? — кричат дамы, выскакивая из купе.

— Пусть остановят поезд! У меня слетела шляпа! Пусть остановят! — голосит Гое на весь вагон, топая ногами.

Вскоре появляется контролер и проверяет билеты у пассажиров, севших на последней остановке.

— Ваши билеты, господа! — говорит он.

Дамы предъявляют свои билеты и объясняют контролеру, почему Гое не может этого сделать: его билет был засунут за ленту шляпы, шляпу унесло ветром, вместе с ней улетел и билет. Но билет у мальчика был, утверждают они.

— Честное слово. Я сама его покупала,— говорит тетя Мица.

Контролер ничего не желает знать. Он требует, чтобы ему предъявили билет, в противном случае он вынужден будет высадить господина Гое на ближайшей станции. Если пассажир не имеет билета и не заявит об этом заблаговременно, с него берут

штраф в размере семи лей и пятидесяти бань, после чего его высаживают на первой остановке,— таковы железнодорожные правила.

— Но ведь мы заявили! — возражает маменька.

— Разве мальчик виноват, что у него ветром унесло шляпу?— спрашивает бабушка.

— А зачем он высовывался в окно? Я ведь говорил ему, что этого делать нельзя! — язвительно говорит молодой человек, на которого огрызнулся Гое.

— Не ваше дело! — осаживает его тетя Мица.— Кто вас просит вмешиваться?

— Вот что,— решительно заявляет контролер.— Вы должны заплатить за билет...

— Заплатить? Но ведь мы уже за него заплатили!

— И не только за билет,— продолжает контролер,— а также одну лею и двадцать бань сверх его стоимости...

— Сверх стоимости?!

— Вот видишь, что получается из-за твоих шалостей? — говорит маменька, хватая Гое за руку.

— Что ты делаешь? Ты с ума сошла? Ты ведь знаешь, как он чувствителен? — ужасается бабушка.

И, схватив мальчугана за другую руку, бабушка тянет его к себе как раз в то мгновение, когда поезд с грохотом переходит на другую колею. Гое теряет равновесие, тыкается носом в дверь и тотчас же поднимает дикий визг... В конце концов все улаживается. Гое перестает орать, дамы платят за новый билет, контролер вырывает его из своей книжечки и вручает путешественницам. А все-таки шляпу очень жаль!.. Каково будет господину Гое в Бухаресте с непокрытой головой? Ведь магазины-то все закрыты!.. Впрочем, горевать по этому поводу может лишь тот, кто не знает, как заботлива и предусмотрительна бабушка в отношении своего любимого внука. Разве могла она допустить, чтобы господин Гое отправился в путешествие только в одной соломенной шляпе? А если будет дождь или непогода? И бабушка торжественно извлекает из своего саквояжа шерстяной берет — принадлежность того же матросского костюма с канонерки «Le Formidable».

— Болит у тебя носик, мой цыпленочек? — спрашивает бабушка.

— Нет,— отвечает Гое.

— Пусть подохнет бабушка, если ты говоришь неправду?

— Пусть подохнет!

— Дай я его поцелую, тогда он совсем пройдет.

Бабушка целует внучка в носик, поправляет на нем берет и замечает:

— Берет ему даже больше к лицу, не правда ли?

И она снова нежно целует мальчика, поплевав в сторону, чтобы уберечь от дурного глаза.

Проделав то же самое, тетя Мица подтверждает:

— Ему все идет!

— Да оставьте вы этого простофилю! — вмешивается маменька, притворяясь сердитой...— Проворонил билет и шляпу!

— Был бы здоров, мы купим другую, еще лучше,— говорит бабушка.

— А мамочку ты не поцелуешь? — спрашивает мать.

— Нет, тебя не хочу! — лукаво отвечает Гое.

— Ах так? — восклицает мамочка и закрывает лицо руками, делая вид, что собирается заплакать.

— Ладно, не притворяйся,— говорит Гое.

— Нашла кого обманывать! — вмешивается бабушка.

А мамочка тем временем достает из сумки пакет.

— Кто меня поцелует, получит шоколадку,— смеясь говорит она.

Гое целует мамочку, мамочка целует Гое, и, получив обещанный шоколад, мальчик снова выходит в коридор.

— Будь осторожен, цыпленочек, не высовывай голову в окно! — кричит ему вслед бабушка.— Удивительный он у нас умница.

— Просто необыкновенный ребенок,— подтверждает тетя Мица.

Пока Гое грызет в коридоре шоколадку, между дамами завязывается увлекательный разговор о приятельницах и знакомых... Поезд мчится теперь между Кривиной и Перишем.

— Поди посмотри, что там мальчик делает в коридоре! — говорит маменька, обращаясь к бабушке.

Бабушка медленно встает и выходит из купе.

— Гое! Цыпленочек? Гое! Гое!

Никто не откликается.

— Боже мой! — кричит бабушка.— Где наш мальчик! Пропал мальчик!..

Дамы выскакивают в коридор...

— Он выпал из окна! Караул! Умираю! — кричат они.

Но вдруг сквозь шум и грохот несущегося на всех парах поезда из уборной доносится оглушительный стук.

— Гое, миленький, это ты?

— Да, я, я!

— Ну, выходи скорей! — говорит бабушка.— Ты уже и так напугал нас!

— Не могу выйти! — орет изнутри Гое.

— Почему?.. Тебе плохо?

— Нет! Я не могу выйти!..

— Дверь заперта! — догадывается бабушка, пытаясь повернуть ручку.

— Не могу открыть! — визжит в отчаянии Гое.

— Боже мой! Ему станет там дурно! — кричит маменька, толкая дверь.

На счастье, появляется контролер и освобождает пленника. Все три дамы душат его в объятиях и целуют с таким жаром, будто увидели его после долгой разлуки. Бабушка тут же решает остаться в коридоре и следить за внуком, чтобы с ним не стряслось нового несчастья: сесть ей негде, но это не важно, можно как-нибудь устроиться на чужом чемодане. В это время в конце коридора Гое замечает длинную металлическую линейку, заканчивающуюся рукояткою, которая примыкает наверху к какому-то затейливому механизму. Он тут же взбирается на чемодан и начинает тянуть за эту линейку.

— Сиди спокойно, цыпленочек! Как бы ты чего-нибудь не сломал! — говорит бабушка.

Поезд мчится, приближаясь к станции Буфтя. Вдруг на двадцать четвертом километре раздается сильный свисток, потом сигнал тревоги — три коротких свистка, и поезд неожиданно останавливается. Пассажиры и чемоданы летят друг на друга.

— Что случилось? В чем дело?..— Испуганные люди выскакивают в коридор, бросаются к двери, липнут к окнам.

— Гое! Цыпленочек! Гое! — кричит тетя Мица, выбегая из купе.

Но Гое невредим и стоит в коридоре... Почему же остановился поезд?

Оказывается, кто-то из пассажиров повернул ручку крана экстренного торможения. В каком вагоне это случилось? Установить это нетрудно: чтобы повернуть ручку крана, надо порвать шнур с пломбой, которым она привязана. И в то время как машинист накачивает воздух в пневматические тормоза, начальник поезда в сопровождении контролера обходит вагоны и проверяет все тормозные ручки.

В каком же вагоне шнур оказался порванным, а ручка тормоза повернута? Странно! Как раз в том самом, из окна которого недавно улетела матросская шляпа! Кто же это повернул кран экстренного торможения? Бабушка мирно дремлет в купе, не выпуская из объятий своего цыпленочка. Кто повернул ручку?.. Наконец поезд снова трогается и прибывает в Бухарест с опозданием на несколько минут. Пассажиры выходят на перрон. Бабушка

поправляет внуку берет, поплевывает на ребенка от дурного глаза, осведомляется, не болит ли у цыпленочка носик, и снова нежно его целует.

Потом дамы вместе с цыпленочком усаживаются в пролетку и отправляются в город.

— Извозчик! На бульвар! Скорей на бульвар!..

1900

СИТУАЦИЯ

День выдался знойный. Только к часу ночи жара немного улеглась и стало легче дышать. Ну что ж, подышим... Я стою возле маленькой ночной пивной и жду, не появится ли еще какой-нибудь бухарестский житель — любитель свежего воздуха, вроде меня, чтобы подышать вместе, а заодно и потолковать о том о сем.

Если разделенная печаль смягчается наполовину, то разделенная радость, наверное, усиливается вдвое. Я жду. Легкое дуновение ветерка приносит откуда-то пряный аромат. Подметальщик, исполняя свои обязанности, потревожил огромной метлой уличную пыль, которая словно густым туманом застилает огни фонарей. Вдруг из тумана выплывает тень. Она приближается, пошатываясь... Уж не знакомый ли это? Да, знакомый. Я ждал не напрасно — это мой приятель Нае. Он тоже рад встрече.

— Вот была сегодня жарища! — говорит Нае, вытирая пот со лба.

— Ужасная! — соглашаюсь я.

— Зато теперь дышится полной грудью.

— Совершенно верно. Откуда это вы?

— Бродил тут с приятелями по пивным.

— Что нового?

— Скверно, мон шер... Надвигается, понимаете ли, такой кризис, что прямо-таки хуже не бывает... Даю вам честное слово. Все кончено... Это нечто такое, даю вам честное слово...

— Бросьте, Нае, ведь люди всегда преувеличивают...

— То есть как это преувеличивают? У нас, братец, такой кризис... Нет, вы только выслушайте меня... Ведь вы себе даже не представляете... Такой кризис, который, понимаете ли... государство при теперешней ситуации... Да, да... Уж я-то понимаю, что происходит, ведь я не дурак и кое-что кумекаю. Так вот, я прямо говорю: так не может дальше продолжаться... Вся эта система, понимаете ли, ни к чему не годится... Если вы только задумаетесь, мон шер, вам жутко станет, прямо-таки жутко.

Крайне огорченный Нае выпивает до дна свою кружку пива и после глубокого вздоха продолжает:

— Даю вам честное слово, я прямо-таки расстроен. Чрезвычайно расстроен! До чего только мы дожили! В каком ужасном положении наша страна! Недаром я говорил этим господам.

— Каким господам?

— Да тем, с которыми ходил по пивным. Вот увидите, говорю я им, наступит момент... Как там ни изворачивайся, а от беды не уйдешь... Не сегодня-завтра нагрянет банкротство, а патриотизма никакого...

Нае делает грустное лицо. Он так опечален, что, кажется, вот-вот заплачет.

— Пусть так, Нае. Только не надо быть таким пессимистом. Дела поправятся. Ведь урожай в этом году хороший.

Выражение лица Нае меняется. Он снисходительно улыбается моему невежеству.

— Какой такой урожай, братец? О каком это урожае вы изволите говорить? Сурепицу вы видели?

— Нет, не видал. Я не был за городом.

— А стоило бы посмотреть, сурепица никудышная!

— Так-таки никудышная?

— Конечно, никудышная, ведь она и сорока миллионов не даст. А эти господа всем уши прожужжали. Можно подумать, что самого господа бога за бороду поймали... А получат они своей хваленой сурепицы уж наверно не больше двух килограммов с погона. Теперь вы видите? Где же эти сто пятьдесят миллионов, которыми они хвастают?

— Хорошо, но разве дело только в одной сурепице? А пшеница? А кукуруза? А всякие другие...

Нае язвительно отвечает мне в тон:

— А купон, который надо оплатить в июле? А сентябрьский купон? А ноябрьский? А всякие другие?..

— Что ж, будем платить.

— Вы будете платить? — с ударением проговорил Нае.— А чем, спрашивается, вы будете платить? От дисконта все равно не уйдешь...

— Ну и что же?

— Что? То, о чем я, да будет вам известно, не раз говорил: они все равно зарвутся... такие бешеные расходы... И даю вам честное слово, ничего подобного не было еще ни в одной стране. Подумайте только, до чего мы докатились; в один прекрасный день придется сказать: я больше не имею права брать в долг без вашего согласия. Ведь выходит, что наша страна потеряла свою независимость. Она проливала кровь своих лучших сыновей, что-

бы добиться собственных фортификаций, а теперь даже не имеет права сказать: довольно! не позволю!

— В конце концов правительство может сде...

— Бросьте,— прерывает меня Нае.— Ведь само правительство... бог его знает, что с ним творится, недаром газеты вопят о министерском кризисе. Никак не могут договориться между собой, не оберешься интриг как со стороны консерваторов, так и со стороны либералов. Нет того, чтобы создать коалиционное правительство, куда вошли бы все государственные мужи! Тогда король, понимаете ли, потолковал бы с ними, да построже: «Приказываю, мол, вам выяснить ситуацию, ибо так не может продолжаться! Одни тянут в одну сторону, другие — в другую, да ни в одной стране не было ничего подобного! И во времена фанариотов такого не случалось, могу сказать с полной уверенностью, и до завоевания независимости тоже. У нас есть все основания утверждать, что это наносит ущерб нашему престижу, который вы обязаны отстаивать как государственные мужи». А с проведением экономии, разве не видите, что происходит?..

— Конечно вижу.

— А если видите, то зачем же вы хитрите?

— Я и не думаю хитрить. Это очень сложный вопрос.

— Экономия... хм! Правительство, видите ли, проводит экономию. Что за ерунда! Ведь бюджет перегружен тридцатью шестью миллионами! Держу пари на что угодно, это сущий блеф!

— Если речь идет об экономии,— замечаю я,— то почему бы нам не упразднить армию, которая...

— Что вы говорите, сударь! Да разве это возможно? Как вы могли дойти до такого абсурда? Теперь, в такой момент, упразднить армию?

— А почему бы и не упразднить?

— Разве вы не видите, до чего осложнилась политическая обстановка? Вы не знаете сегодня, что вас ожидает завтра, какие новые затруднения возникнут. Посмотрите только, что натворили в Китае эти боксеры. И в Европе никак не могут прийти к соглашению. Это очень важный вопрос. Не говорите... У меня душа болит...

Стало совсем прохладно. Облако пыли у нас над головой медленно опускается, оседая на землю. Время позднее. Фонарщик компании газового освещения начинает гасить фонари. Светает. Мы расплачиваемся с хозяином пивной и встаем.

— Куда мы теперь? — спрашивает Нае.

— Я домой.

— Пойдем в пекарню. В это время там как раз достают из печи горячие бублики.

— Поздно, Нае.

— Ну нет, я домой пока еще не пойду. Поброжу по городу, пока кончатся роды.

— Какие роды? — спрашиваю я.

— Моя жена рожает.

— Что?

— Вчера вечером у нее начались схватки.

— !..

— Не могу, мон шер, сидеть дома, когда она рожает. Я всегда вот так брожу туда-сюда. Еще кружку пива выпью, еще кофе, еще чашку шварца, с приятелями потолкую — время и проходит. Когда возвращаюсь домой, все уже кончено.

— Ваша жена рожает тяжело?

— Да нельзя сказать, чтобы очень... Правда, с последним, с Костикэ, дело было посложнее: пришлось наложить щипцы.

— !!

— Доктор сказал, что на этот раз, возможно, не будет надобности в щипцах.

— !!!

Я все шире раскрываю глаза. Но вот мимо нас проезжает извозчик. Уже рассвело, и Нае узнает сидящую в пролетке даму. Он бросается вдогонку и кричит:

— Мадам Ионеску! Госпожа акушерка! Мадам Ионеску!

Дама оборачивается, в свою очередь узнает Нае и велит извозчику остановиться.

— Ну что, родила? — спрашивает Нае.

— Да,— отвечает акушерка.

— Ну как, легко? — спрашиваю я.

— Легко.

— Уф! — Я вздыхаю с облегчением.— Кого?

— Мальчика.

Пролетка с акушеркой удаляется.

— Поздравляю, Нае! Долгой жизни ему!

— Мерси, желаю и вам того же. Ну, теперь я спокоен. Пойдем же в пекарню.— Нае берет меня под руку.— Знаете, чего нам не хватает?

— Чего?

— Самодержавия, как в царской России... Иначе дело у нас не пойдет, вы меня понимаете? При такой конституции... Вы же видите, что творится, и вы не можете не...

— Простите, Нае, но сейчас не время для разговоров. Я больше никуда не пойду.

— Очень жаль...

— Я до смерти хочу спать, поеду домой и лягу сейчас же. До свидания!

Я подозвал извозчика и уехал, предоставив счастливому отцу лакомиться бубликами в одиночестве.

1900

ДРУГ Н...

Мой друг Н... отлично известен всем жителям Бухареста.

Это в высшей степени симпатичный человек. Да и как мог бы он быть нам не известен? Ведь мы встречаем его так часто и в роскошных салонах высшего общества, и на скромных пирушках где-нибудь на окраине, в ресторанах Капша, Гамбринус, Здравку, «Жокей», и в кафе Шрейбер на Липскань, в Ориент-экспрессе, в трамкаре в экипаже на резиновых шинах и пешком в обыкновенных калошах. И где бы вы его ни встретили, он всегда ласково приветствует вас и сердечно протягивает руку, кем бы вы ни были: митрополитом или пономарем, генералом или капралом, министром или уличным комиссионером, дворянином или простолюдином.

Вследствие этого огромного множества и разнообразия знакомств, которые он поддерживает с истинным искусством, Н... оказывается самым желанным другом для каждого. Естественно, что, посещая столь разнообразные и одинаково близкие ему круги, он вызывает восхищение в людях, подобных мне, имеющих так мало знакомых и так редко попадающих в высшие круги общества, где вращаются сильные мира сего.

Разумеется, он знает, какое вызывает во мне восхищение и каким моральным и интеллектуальным влиянием пользуется в моих глазах, но когда мы встречаемся, друг Н... никогда не ведет себя так, чтобы это могло меня задеть. Всегда скромный, простой и лишенный претенциозности, он неизменно посвящает меня в события, происходящие в высших сферах. Кажется, что этот человек даже и не знает о том, сколь ценна для меня его дружба; вероятно, он даже не представляет себе, как я счастлив, когда узнаю от него важные секреты богов.

Сижу я, например, в дешевом питейном заведении, затерянный среди толпы, и думаю о себе: я ведь не кто-нибудь, а скорей — что-нибудь; в массе людей я представляю собой лишь статистическую единицу народонаселения; впрочем, может быть, меня даже и нет в списках, поскольку во время последней переписи населения статистики посетили почти всех обитателей нашей слободы, а ко мне почему-то не заглянули. Я не честолюбив, но эти мысли все же огорчают меня... Ощущать себя таким маленьким и ничтожным! Под тяжестью этих дум я смиренно склоняю голову и взды-

хаю. И тут же чувствую, как чья-то рука опускается на мое плечо. Я подымаю глаза, и — о, какая радость! — это не кто иной, как мой друг Н... Бог весть из каких высоких сфер прибыл он сюда, чтобы оказать мне честь и посидеть рядом со мной в обыкновенной пивной. Мы обмениваемся дружеским рукопожатием, и это как-то сразу поднимает мое настроение.

Я хорошо знаю моего друга, знаю, какое облагораживающее влияние он на меня окажет, знаю, что я стану более высокого мнения о себе, когда он сообщит мне вещи, о которых не может знать человек, принадлежащий к низшему обществу, человек, который никогда не сможет достигнуть даже подножия Олимпа. Я почтительно встаю ему навстречу, предупредительно уступаю ему место у своего стола и не опускаюсь обратно на свой стул, пока не садится он. Мой друг переводит дух, вынимает из кармана платок и вытирает лоб — видимо, он пришел пешком. Лицо его сияет, глаза многозначительно щурятся. Сколько раз он смотрел на меня таким невидящим, обращенным внутрь взором, взором человека, переполненного мыслями и идеями! И всякий раз, когда он глядит на меня подобным образом, я знаю, что он располагает важными сведениями огромного значения. Я и на этот раз трепещу от нетерпения — так хочется мне заставить его поскорее излить передо мной свой бесценный источник информации.

— Уф! — говорит мой друг.— Ужасная сегодня жара!

— Ужасная! — подтверждаю я.

— Что нового?

— Кто знает! — отвечаю я.— Да и откуда мне знать!.. Уж лучше мне спросить об этом у вас.

Мой друг улыбается с видом человека, которому воздают должное.

— Откуда вы? — спрашиваю я.

— От Таке...

Читатель, конечно, не знает, кто такой Таке, у которого был мой друг Н... Но я-то знаю. Мой друг Н..., будучи на короткой ноге со всеми, разумеется, никогда не скажет, подобно мне или вам, что он был у Таке Ионеску. Он скажет просто: «От Таке».

— Ну и?..

— Он не хочет войти в коалицию. Решительно!.. Сколько я его не убеждал! Не хочет, и точка!

— Неужто не хочет?

— Когда я к нему входил, от него как раз выходил шеф...

Мы, простые смертные, я или вы, говорим: «Господин Петре Карп», или, когда мы торопимся, коротко: «Карп», но мой друг Н... поступает иначе, он говорит попросту — шеф.

— Ну и?..

— Шеф был в хорошем настроении... «Ты куда,— спрашивает он меня,— к Таке?»—«Да»,— говорю. «Тогда, говорит, попытайся его убедить, потому что у меня уже нет сил!» И он ушел посмеиваясь. Разве вы не знаете шефа?..

— Нет,— говорю я,— не знаю!

— ...Ну и шутник! Ох, и насмешил же он меня позавчера в «Континентале»!.. Там был и Барбу...

— Господин Делавранча?

— Да... и Нику...

— Господин Филипеску?

— Конечно! И Костикэ...

— Какой Костикэ?

— Костикэ Арион... Костикэ предпочел бы получить министерство юстиции, но разве вы не знаете шефа? С шефом ведь нельзя спорить.

Пауза, во время которой я вполне отдаюсь чувству восхищения перед этим человеком, который знается со столькими блестящими деятелями, а теперь разрешает мне сидеть рядом с собой. Вот как может поднять тебя дружба подобного государственного мужа!

— Скажите,— робко прерываю я молчание,— это правда, что чиновникам снизят жалованье?

— До сих пор ничего определенного по этому вопросу еще неизвестно. Я как раз вчера беседовал об этом с Александру.

Видя, что я не понимаю, о ком идет речь, мой друг добавляет:

— ...С Александру Маргиломаном. Он считает, что не следует слишком туго завинчивать гайку экономии, полагает, что следует изучить возможные способы создания новых источников производства. Du reste[1] он придерживается того же мнения, что и шеф, Нику и все остальные.

Мимо пивной, в которой мы сидим, проезжает пролетка, в которой сидит человек с бакенбардами... Я его как будто знаю... Кажется, я видел его на параде по случаю открытия парламента... Мой друг весьма фамильярно его приветствует. Но тот в это время рассеянно смотрит в другую сторону и не отвечает на приветствие.

— Ага! — говорит мой друг.— Вот прибыл и он... Значит, не сегодня-завтра закончится формирование кабинета министров.

— Кто — он?

— Разве вы не видели, кому я поклонился?.. Это Костикэ.

— Вот как? Это Костикэ Арион? Я представлял себе его моложе.

Мой друг снисходительно усмехается.

— Это не Костикэ Арион... Это Костикэ Олэнеску.

---

[1] Во всем остальном *(франц.)*.

— Ах так!.. Но какая же получается коалиция, если Таке Ионеску не хочет войти в кабинет?

— Дорогой, если мы в конце концов не сумеем убедить Таке, решено поступить так: шеф — председатель совета министров и министр финансов; Майореску получит министерство юстиции; Александру — министерство иностранных дел; Костикэ — просвещения...

— Какой Костикэ?

— Арион... Костикэ возглавит министерство внутренних дел.

— Второй Костикэ?

— Да, Олэнеску... Нику — министр государственных имуществ и Ионаш...

— А военное министерство?

— Жак. Жак и Ионаш остаются... Который час?

— Десять минут шестого.

— Sacristi! [1] — восклицает мой друг и вскакивает с места.— Уже поздно, а ведь я обещал Нику съездить с ним в Синаю. Скорый поезд уходит в пять сорок. Осталось полчаса, а мне еще нужно забежать к Барбу,— напомнить ему, чтобы он не забыл то, о чем мы говорили с Набабом. С меня тут за две кружки пива и булочку... уплатите за них... Я тороплюсь!.. До свиданья!..

На другой день, в воскресенье, я вхожу в вагон третьего класса дачного поезда, идущего в Синаю. И кого же я вижу? Моего друга Н..., обсуждающего политические события с группой коммерсантов, которые так и ловят его драгоценные сообщения. Увидав меня, он говорит:

— Представьте себе, вчера я так заговорился с Барбу, что опоздал на поезд.

Потом он поворачивается к своим собеседникам и продолжает начатый разговор:

— Так вот, я ему и говорю: «Генерал, ты только не торопись...»

1900

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ

(Эпизод из жизни молодого педагога)

Произошло это в мужской начальной школе № 1 имени Децебала в граде Г... Три года подряд, с первого по третий классы, два выдающихся ученика оспаривали друг у друга первую премию, вызывая восхищение преподавателей, ревизоров, инспекторов и всяческих властей.

---

[1] Черт возьми! *(итал.)*

Этими школьниками были Артур Ионеску и Ионицэ Пэунеску.

Первый был единственным сыном господина Мандаке Ионеску, крупного помещика, самого влиятельного и значительного лица в уезде, который являлся неизменным столпом любого правительства. Это было благом, потому что без господина Мандаке нелегко было бы управлять уездом.

Второй был незаконнорожденным сыном вдовы Пэунеску, служанки, которая жила тем, что работала в господских домах.

В первом классе они получили:

Артур Ионеску — общий балл девять целых, девяносто семь сотых и три четверти.

Ионицэ Пэунеску — общий балл девять целых девяносто восемь с четвертью.

Первую премию и венок получил Ионицэ.

Во втором классе:

Артур Ионеску — общий балл девять целых, девяносто восемь сотых с половиной.

Ионицэ Пэунеску — общий балл девять целых, девяносто девять сотых с четвертью.

Первую премию и венок получил Ионицэ.

В третьем классе:

Артур Ионеску — общий балл девять целых и девяносто девять сотых с половиной.

Ионицэ Пэунеску — общий балл девять целых, девяносто девять сотых и три четверти.

Наконец двое блестящих учеников кончают четвертый класс.

Господин Мандаке Ионеску твердо заявил Артуру:

— Если получишь первую премию и венок, повезу на выставку, если нет — поедем в деревню.

А если господин Мандаке говорит о чем-нибудь твердо, то другого решения быть не может.

Весь город с неослабевающим нетерпением ожидал результатов годовых экзаменов и распределения премий.

Почтенные граждане начали заключать пари. Реакционеры ставили на Ионицэ, прогрессисты на Артура.

В Центральном кафе были заключены пари больше чем на тридцать порций варенья, примерно на такое же количество чашек кофе, пирогов, ватрушек и стаканов вина с газированной водой.

Только ты, дорогой читатель, только ты, которому не довелось быть матерью, не можешь понять переживания и все возрастающего волнения матери Артура, очаровательной мадам Аглае Ионеску.

Что бы мадам Ионеску ни делала — сидела ли, ходила, ела, спала,— она ни на мгновенье не могла избавиться от мысли о том, что и в этом году сотые доли общего балла Артура будут меньше, чем у Ионицэ, потому что — и это вполне понятно — речь могла идти лишь о маленькой разнице в сотых долях, ибо познания обоих соперников блестящи.

Угнетенная своими мыслями, мать Артура, встретив на улице учителя господина Тибериу Бумбеша, который, приветствуя ее, склонился до земли, решилась с замиранием сердца остановить коляску.

— Извините, господин Бумбеш! — воскликнула она.— На одну минуточку...

— С преогромным удовольствием! — медовым голосом ответил юный Тибериу и, обнажив голову, подошел к подножке коляски.

— Мне бы хотелось с вами кое о чем поговорить. Смогли бы вы, если это вас не очень затруднит, пожаловать сегодня ко мне?

— О госпожа!..— ответствовал совершенно очарованный господин Тибериу.

— ...в половине второго.

— С удовольствием, госпожа, с огромным удовольствием!

— Тогда точно в половине второго. Я вас буду ждать. Вы придете?

— Непременно, сударыня.

Изящный поклон! Коляска трогается. Господин Тибериу надевает шляпу и отправляется к парикмахеру, чтобы привести в порядок бородку клинышком, усы и волосы, которые он зачесывает кверху.

— Почему же,— может спросить читатель,— мадам Ионеску «с замиранием сердца» остановила коляску, чтобы поговорить с господином Бумбешом?

— О! — отвечу я.— Это весьма деликатный вопрос, о котором я забыл сказать раньше. Вот в чем суть.

Господин Тибериу молод, и весь город свято хранит тайну о том, что этот юноша молча вздыхает по очаровательной Аглае, которая, напротив, терпеть не может Тибериу, потому что тот очень косит.

Сколько бы раз она ни замечала, как он бросает на нее томные взгляды из-под синих очков — ибо он носит синие очки,— всякий раз она испытывала на сердце какое-то томление, сопровождающееся мигренью. Она начинала зевать, и зевала, зевала, так что ей приходилось немедленно отправляться домой, чтобы избавиться от этого наваждения.

Минувшей зимой на благотворительном балу господин Бумбеш стоял в углу гостиной и смотрел, как танцевала изящная госпожа Ионеску. Он так долго смотрел на нее, что она начала зевать, и зевала, зевала до тех пор, пока посредине одной из фигур кадрили вдруг не издала легкого стона и чуть было не упала, — ей сделалось дурно, и ее должны были вывести под руки на воздух и освободить от злых чар.

Если взгляд господина Тибериу, брошенный даже издалека, оказывал такое воздействие на нервы этой дамы, то естественно, что тот шаг, на который она решилась сейчас, был ею сделан с замиранием сердца. Нужна была отчаянная смелость с ее стороны, чтобы добровольно подвергнуть себя сглазу в личном разговоре, на таком близком расстоянии.

Уже двадцать пять минут второго.

Кто-то звонит. Госпожа Ионеску ощущает, как начинаются спазмы в левой стороне ее корсета.

Это человек в синих очках.

Горничная вводит его в гостиную.

Юный педагог облачен в слишком длинный черный сюртук. Его черные панталоны, наоборот, слишком коротки. Белый жилет с большим вырезом. Огромный бледно-розовый бант, концы которого развеваются при каждом движении. Жесткая, словно фарфор, манишка. На ногах желтые туфли и кремовые носки, на руках светло-серые перчатки. Серый зонтик от солнца и соломенное канотье с пестрой ленточкой. Канотье шнурком пристегнуто к пуговице сюртука, поскольку на улице ветер.

В гостиной никого нет.

Господин Бумбеш снимает шляпу, берет ее в левую руку, ставит зонтик около стула, подходит к зеркалу, поправляет бант и крахмальную манишку, которая все время топорщится из-под жилетки, вытягивает манжеты и застывает в ожидании.

Дверь открывается. Это хозяйка дома, еще более изысканная, чем всегда. Она держит около лица сложенный втрое носовой платок и вдыхает экстракт вербены. Бледная, она останавливается в дверях, словно под влиянием гипноза.

Господин Бумбеш еще раз представляется.

После обязательных в подобных обстоятельствах приветствий хозяйка делает героическое усилие, продвигается на два шага вперед и приглашает молодого человека присесть, потом садится сама, вытирая лоб платком, смоченным одеколоном.

Гость тщательно расправляет сзади фалды сюртука, поднимает их и садится.

— Давно я не имела удовольствия видеть вас, господин Бумбеш.

— О! Это мадам не видела меня, а я видел госпожу часто: на прогулках, в магазинах.

— Я, по правде сказать, не видела вас после зимнего бала.

— Э! — отвечает молодой человек, томно глядя на нее сквозь очки и странно улыбаясь.—Это когда госпожа с таким увлечением и грацией танцевала... с двумя офицерами и ей стало плохо...

— Вы знаете, зачем я пригласила вас, господин Бумбеш?

— Нет!

— Чтобы попросить об одном одолжении.

— Об одолжении? А в чем оно состоит? Скажите, пожалуйста, мадам.

Проговорив это, молодой человек многозначительно и томно смотрит на нее из-под очков.

Хозяйка некоторое время молчит, потом зевает и вытирает платком лоб.

— О, пусть мадам скажет. Я готов исполнить все что угодно. Приказывайте, мадам, прошу вас!

И снова пожирает глазами хозяйку.

Аглае зевает во весь рот, нюхает платочек и, опустив глаза, произносит:

— Мне бы хотелось, чтобы мой Артур хоть раз получил первую премию. Хватит ее получать этому Пэунеску. До каких пор будет продолжаться гонение на моего ребенка!

— Простите, мадам, это вовсе не гонение. Ведь это определяется просто подсчетом, прошу прощения.

Госпожа поднимает глаза и, встретившись с его взглядом, икает и вновь опускает их.

— Вот именно об этом я и хотела с вами поговорить, чтобы вы были... чтобы вы были более снисходительны к моему Артуру. Господи, что такое одна сотая балла!

— Как? Как? Это ведь одна сотая... Ведь она же должна быть подсчитана, прошу прощения, мадам.

— Но... если бы вы захотели? — И она снова громко зевает.

— О! Но ведь это вовсе не зависит от моей воли, ведь все решено на педагогическом совете.

— Как? Уже решено?

— Да! Решено, прошу прощения, вчера вечером после подсчета баллов.

— И... и какой же балл у Пэунеску?

— Значит, прошу прощенья, я могу это сообщить госпоже совершенно точно.

Господин Бумбеш извлекает из кармана бумажку и читает:

— Ионицэ Пэунеску — девять целых, девяносто девять сотых с половиной, прошу прощения.

— А... Артур?

— Значит, прошу прощения, и это я могу сказать госпоже совершенно точно. Артур Ионеску — девять целых, девяносто девять сотых с четвертью.

Госпожа Ионеску встает и решительным тоном произносит:

— И из-за этой разницы мой Артур и в этом году не получит премии? Тогда зачем же вы пришли сюда?

Господин Тибериу огорченно вскакивает и расправляет фалды сюртука.

— Прошу прощения, потому что вы меня пригласили, сударыня. Если бы мадам не оказала мне чести, в подобном случае я бы не решился предстать перед госпожой, прошу прощенья... Даю честное слово, как перед богом!

Хозяйка дергает звонок. Входит горничная.

— Выставьте вон этого господина.

— Прошу прощенья, но...

— Вон!

Госпожа Ионеску, раздраженная, уходит в ту же дверь, через которую она вошла.

— О! Совершенно не нужна такая резкость, сударыня! Я ухожу, прошу прощенья. Со всем уважением и признательностью имею честь...

Горничная подталкивает его. Господин Тибериу удаляется, ругаясь сквозь зубы.

Совершенно напрасно рассказывать о том, что вечером у господина префекта, где присутствовал и господин Мандаке Ионеску, произошла весьма неприятная сцена, когда господин префект, в то время когда господин Мандаке читал газету, со всей суровостью заявил господину Бумбешу:

— В конце концов выбирайте! Хотите остаться здесь или завтра же вылететь вон? Понятно?

На это у господина Бумбеша хватило смелости ответить:

— Э! В данном случае не так трудно выбрать. Прошу прощения, не сердитесь, господин префект. Все будет в порядке, не извольте беспокоиться. Внесем поправку в какую-то сотую частицу.

И он вынул список:

— Ионицэ Пэунеску — общий балл девять целых и девяносто девять сотых с половиной, Артур Ионеску — прошу заметить — общий балл девять целых, девяносто девять сотых и три четверти... Вот так!

1900

ДАЧНЫЙ ПОЕЗД

Итак, решено...

Мадам Джеорджеску, она же Мица, и господин Джеорджеску, он же Михалаке, едут дачным поездом в Синаю. Но мадам Джеорджеску давно обещала своему птенчику свезти его в Синаю. Следовательно, надо взять с собой птенчика. Однако птенчик шагу не может сделать без своей грамама[1], следовательно, придется везти туда и грамама. Птенчик — это Ионель Джеорджеску, пока что единственный плод любви супругов Джеорджеску; ему исполнилось ровно пять лет; грамама — это госпожа Аника. Она приходится мамашей мамочке птенчика.

Дачный поезд отправляется с Северного вокзала в субботу, без пяти минут три. Стало быть, в субботу, сразу же после полудня, дамы начинают готовиться к отъезду. Мадам Джеорджеску продумала свой туалет во всех деталях: блузка — vert-mousse[2], юбка — fraise-écrasée[3], шляпа пестрая, зонтик розовый, перчатки белые. На ногах лакированные полуботинки с пряжками и полосатые шелковые чулки в резинку: полоска желтая, полоска черная, с пунцовой ниткой между ними. Госпожа Аника одевается во все черное. После смерти своего мужа Никулы она отказалась от светлых тонов в туалете. Только один раз надела она косынку вишневого цвета. Что же касается птенчика, то здесь не может быть двух мнений: в Синаю он поедет в форме офицера егерского полка. Он будет одет, как принц Карл. Старая мамочка долго наряжала дочку, а когда она привела в надлежащий вид птенчика и прицепила ему сбоку саблю, стрелки часов уже показывали без двадцати два. В без четверти два прикатил в пролетке на резиновых шинах сам господин Джеорджеску. Едва переступив порог и увидев грамама, он воскликнул:

— Как, сударыня, вы еще здесь? Смотрите, опоздаете на поезд! Покамест доберетесь до трамвая,— ведь вы еле ходите,— покамест его поймаете, а ведь нет гарантии, что он сразу придет, покамест доедете до вокзала — все будет кончено! Поезд вас дожидаться не станет.

Грамама была занята поисками каких-то ключей.

— Сударыня, вы опаздываете на поезд! Слышите?

Наконец госпожа Аника трогается в путь, мадам Джеорджеску кричит ей вслед:

---

[1] Бабушка *(искаж. франц.)*.
[2] Зеленая, оттенка древесного мха *(франц.)*.
[3] Алая *(франц.)*.

— Мамочка, помнишь, где мы условились встретиться? В зале первого класса... Слышишь?

Грамама направляется к трамваю, а господин Джеорджеску со своей женой, сыном и нарядной корзиной с провизией — колбаса, восемь вареных яиц, жареный цыпленок, две белых булки, соль, перец и еще многое, что полагается в таких случаях,— усаживается в экипаж:

— На вокзал, милейший!

Уже прошло двадцать пять минут, как семья Джеорджеску находится в зале ожидания первого класса, а грамама все еще не явилась. Стрелки часов показывают два с половиной... Мадам Джеорджеску начинает волноваться. Без двадцати пяти три. Остается всего двадцать минут. Касса открыта, продают билеты, а госпожи Аники нет как нет. Господин Джеорджеску уже подумывает о том, что в четырех билетах нет надобности, хватит трех. Направляясь к окошечку кассы, он в дверях зала ожиданья сталкивается лицом к лицу с запыхавшейся грамама.

— Уф! Устала! — пыхтит госпожа Аника.

Господин Джеорджеску отсчитывает ей деньги на проезд туда и обратно в третьем классе и указывает, в каком окошке купить билет.

Спустя несколько минут поезд уже несется по направлению к Карпатам.

— Ваши билеты, господа! — вежливо говорит кондуктор, войдя в вагон первого класса.

Господин Джеорджеску предъявляет два билета.

— Мальчик ваш? — спрашивает кондуктор, указывая на офицерика егерского полка, который забрался с ножками на плюшевое сиденье.

— Да. Но ему еще нет четырех лет. Можете не напоминать нам о правилах,— бросает мадам Джеорджеску.

Кондуктор удаляется, почтительно козырнув даме.

— Ты сказал мамочке, чтобы она следила за корзинкой? — таинственным шепотом спрашивает мадам Джеорджеску своего супруга.— Как бы не стащили!

Господин Джеорджеску кивает головой и, ограничиваясь коротким: «Угу!», в свою очередь таинственно наклоняется к уху супруги:

— Ты дала ей немного денег?

Мадам Джеорджеску отвечает супругу столь же лаконично.

— Сколько?

Мадам Джеорджеску растопыривает пять пальцев руки — пятьдесят бань.

Проезд в трамвае от улицы Зече-Месе до вокзала стоит тридцать бань, значит, у грамама осталось двадцать бань, и она сможет купить в Комарнике две кучки вишен. Она в самом деле их купила и до Валя-Ларгэ успела проглотить половину вместе с косточками. Поезд прибыл в Синаю без опоздания. Народу — тьма. Но если у человека заранее выработан план действий, он не потеряется в сутолоке. У семьи Джеорджеску все предусмотрено — шаг за шагом, минута за минутой.

Итак, мадам Джеорджеску, господин Джеорджеску и птенчик садятся в пролетку и направляются прямо в парк, где военный оркестр играет кадриль «Les petits cochons» [1]. Они намерены снять комнату с двумя кроватями в отеле «Регал». Что касается грамама, то она, не расставаясь с корзинкой, полной провизии, отправляется в гостиницу Мазэре, надеясь получить там комнату с одной кроватью. До этой гостиницы от вокзала рукой подать, и господин Джеорджеску решил, что не стоит тратить деньги на извозчика. Сунув подвернувшемуся мальчишке мелкую монету, он велел ему нести за грамама корзинку.

Начало смеркаться.

В парке зажглись электрические фонари. Птенчик проголодался. Господин Джеорджеску, оставив супругу на скамейке в главной аллее парка, где гуляет чистая публика, пошел с сыном разыскивать грамама. Но — удивительное дело — в гостинице Мазэре они ее не нашли. Им сообщили, что не оказалось свободной комнаты и старушку направили в гостиницу Манолеску, расположенную неподалеку в долине. Господин Джеорджеску с бравым офицериком в егерской форме, который порядком устал и проголодался, спустились в долину, к гостинице Манолеску. Но и здесь — удивительное дело! — не оказалось свободной комнаты, и старушку послали в гостиницу Войни, что на улице Извор. Господин Джеорджеску купил бравому офицерику булку, напоил его водой и стал подниматься с ним в гору. По дороге в гостиницу он заглянул в парк — сказать жене, чтобы она вооружилась терпением и подождала еще немного. Однако — удивительное дело! — он не нашел мадам Джеорджеску. Господин Джеорджеску усадил на скамейку птенчика, у которого от усталости подкашивались ножки, и начал метаться вверх и вниз по парку в поисках жены. Но ее нигде не было. Тогда господин Джеорджеску пошел обратно к сыну с намерением отвести его к грамама, а самому вернуться в парк. Должен же он в конце концов разыскать свою супругу. Но — удивительное дело! — птенчик тоже исчез.

— Пардон,— обратился Джеорджеску к сидевшему на ска-

[1] «Поросята» *(франц.)*.

мейке господину,— вы не видели здесь прехорошенького мальчугана, одетого по-военному, наподобие принца Карла?

— Да, видел. Он только что ушел с какой-то дамой.

— С высокой дамой? В зеленой блузке? В юбке...

— Не обратил внимания. Я слышал только, что она называла мальчика птенчиком, а он ее — мамочкой.

— Пардон, а куда они пошли?

— Вон туда,— показал господин в направлении гостиницы Мазэре.— Дама сказала малышу, что поведет его к грамама.

Господин Джеорджеску снова зашагал к гостинице Мазэре. Там — удивительное дело! — ему сказали, что мадам, не застав старушки, только что спустилась с малышом в долину, к гостинице Манолеску. Что же — скорее к Манолеску!..

— Да, была здесь дама с тем самым малышом, с которым вы приходили. Ей тоже сказали, что свободной комнаты не оказалось, и старуху направили в гостиницу Войни.

Господин Джеорджеску взобрался на гору и твердым шагом двинулся по указанному направлению. Усталый и потный, явился он в гостиницу Войни. Но — удивительное дело! — ни мадам Джеорджеску, ни птенчика, ни грамама, ни корзинки с провизией там не было и в помине.

— Что же теперь делать?

Господин Джеорджеску простоял несколько минут в нерешительности: при всем своем уме он не в состоянии был ответить на этот вопрос... Однако надо было что-то предпринять.

Но что именно?

Кому не приходилось карабкаться в гору, кто не способен прыгать, словно коза, из долины Праховы в долину Яломицы, тот не может сравнить Синаю ни с чем иным, как только с желудком: более или менее просторное помещение, имеющее два довольно узких выхода. Если Синая вас проглотила, вы можете из нее выбраться только вверх по горе на север, в направлении Предяла, или же вниз по долине, на юг, в направлении Комарника. Поэтому господин Джеорджеску и пришел к единственно правильному логическому выводу.

— Они находятся в Синае и нигде больше! Не испарились же они в самом деле!

Не успел господин Джеорджеску окончательно утвердиться в своей мысли, как увидел при свете электрического фонаря идущего прямо на него знакомого.

— Тебя ждет в парке мадам Джеорджеску, чета Василеску и лейтенант Мишу,— произнес тот.

— Где? В парке? Бегу! Пиши мне, Митикэ!

— Напиши и ты, Джеорджеску, непременно напиши.

— Будь здоров, Митикэ...

— Адье, без лишних слов, Михалаке!

Господин Джеорджеску удвоил шаг и вскоре снова очутился в парке. Но сколько он ни искал, к его ужасу — мадам Джеорджеску нигде не оказалось. Усталый, он сел, отдуваясь, на скамейку и в первый раз после пятичасовой беготни стал мысленно ругать... кого бы вы думали? Госпожу Анику... Она виновница всей этой путаницы. Она вечно все путает. Но дело не в ней. Это он сам сплоховал. Незачем было брать ее в Синаю. Оставил бы в Бухаресте.

Господин Джеорджеску мысленно награждал госпожу Анику далеко не лестными эпитетами. Погруженный в раздумье, он даже и не заметил, как исчез оркестр и публика мало-помалу разбрелась из парка. Ах, как это ужасно, когда ты не знаешь, где находятся любимые существа, какие мысли их занимают, что они чувствуют, затерянные где-то вдали, думают ли они о тебе, тоскуют ли так же, как ты, и т. д. и т. п.

— Куда к черту они запропастились? — произнес вслух господин Джеорджеску.

Брань посыпалась теперь по адресу всех трех любимых существ, которых он бесплодно разыскивал. Но тут чей-то не лишенный приятности голос отвлек его от мрачных мыслей:

— Браво, господин Михалаке, браво!

И перед ним предстала сама госпожа Аника, мамочка мадам Джеорджеску.

— Сударыня! — воскликнул, вскочив на ноги зять.— Где это вы разгуливаете, хотел бы я знать?

— Вот так, так! И вы еще спрашиваете?

— Как же мне не спрашивать, если это мне неизвестно. Битых пять часов я вас повсюду разыскиваю.

— Вы нас ищете, скажите пожалуйста! А вы не могли зайти к Опплеру? Слепой и тот дошел до Брэилы, а вы...

— А кто вас посылал к Опплеру, я, что ли? — вне себя закричал господин Джеорджеску.— Одному черту могло прийти в голову, что вы у Опплера. Я искал вас в парке, в гостиницах Мазэре, Манолеску, Войни...

— Почему это у Войни? Мица сказала мне, что мадам Василеску устраивает нас у себя.

— Когда это вам говорила Мица, что мадам Василеску устраивает вас у себя?

— Когда мы с нею встретились на бульваре.

— Когда это вы успели с ней встретиться на «бульваре»?

— Когда мы шли в гостиницу Войни... Мы с ними потому и повстречались, что я его не нашла.

— Кого?
— Войню. Там мне и попалась навстречу Мэндика.
— Какая там еще Мэндика? — завопил господин Джеорджеску.
— Да мадам Василеску, странный вы человек! И Мица с нею.
— Ну а где Мица теперь?
— Разве я вам не говорила?
— Когда же вы могли мне сказать?
— Да вы в своем уме, Михалаке? Разве я вам не говорила, что Мица ждет вас у Опплера вместе с мадам Василеску и ее братом, лейтенантом Мишу из интендантства.
— А птенчик?
— Я его уложила спать.
— Где?
— Разве я вам не говорила?
— Да вы в своем уме, сударыня? Когда вы мне говорили?
— Разве я не сказала вам, что мы остановились у Мэндики?
— Ну?!
— Да не орите вы так! Вот вам и ну! Она уложила малыша в детской со своими детьми, а Мице она уступила комнату Мишу. Он будет спать на канапе в маленькой прихожей...

Так, слово за слово, они дошли до Опплера. Но — удивительное дело! — все огни в ресторане были погашены.
— Они ушли к мадам Василеску.

Господину Джеорджеску и госпоже Анике ничего не оставалось, как отправиться по ухабистой дороге на улицу Фурника. Ночь была теплая, светила полная луна. Чем выше они поднимались, тем шире открывалась перед ними чарующая панорама Синаи с расположенными симметрично созвездиями электрических фонарей, которые приводили в восхищение госпожу Анику. Господин Джеорджеску оказался менее чувствительным к расстилавшемуся под его ногами величавому пейзажу и бормотал про себя ругательства. Наконец они достигли виллы Мэндики. Птенчик спал вместе с ее детьми. Но — удивительное дело! — мадам Джеорджеску и здесь не было. Она ушла.
— Куда?
— Они теперь все ушли к Святой Анне,— ответила заспанная служанка.
— А господин лейтенант Мишу тоже с ними? — спросила госпожа Аника.
— Да, и они пошли.
— Скорей, Михалаке, поторопитесь! — воскликнула старуха.

Но тут господина Джеорджеску взорвало.

— Что?! Сударыня, что вы это говорите? Я пока еще не потерял рассудка. Вы, наверно, меня принимаете за почтовую лошадь?

— Не кричите, разбудите детей!

— Вот уже пять часов я гоняюсь за вами как помешанный, и этого еще мало? Больше я никуда не пойду.

— Михалаке, дорогой, идите! — стала горячо упрашивать его старуха.— Вы доставите большое удовольствие Мице и всей компании.

— Я не в состоянии.

— Будете жалеть, Михалаке!

— Почему это я буду жалеть? Не пойду, и все. Я опять их там не найду. Дайте-ка лучше сюда корзинку.

В это время вдалеке часы на дворце Пелеш пробили полночь. Старуха вытащила из-под кушетки корзинку, служанка принесла бутылку вина, и господин Джеорджеску с тещей уселись ужинать. Закусывая, он подробно рассказал госпоже Анике о всех приключениях злополучного дня. Старуха, в свою очередь, без умолку говорила о том, как она встретилась с мадам Василеску и со всей остальной компанией, как забавен лейтенант Мишу и до чего же хорошо он поет. После ужина господин Джеорджеску лег спать в комнате, предоставленной ему и мадам Джеорджеску, а грамама — в детской, с птенчиком.

В пять с половиной утра их обоих вырвал из объятий Морфея оглушительный шум,— с колокольчиками, с гиканьем, с музыкой веселая компания возвращалась из Урлэтоаря; господин Василеску, мадам Василеску, мадам Констандинеску со своей племянницей — девицей Попеску, мадам Джеорджеску и господин Мишу. Это была импровизированная прогулка, затея лейтенанта.

— Видите, сударыня,— обратился Михалаке к теще,— теперь вы видите? Хорош бы я был, если бы послушался вас и пошел к Святой Анне!

Ах, какое это было удовольствие,— разве его позабудешь!.. Прогулка при луне на медленно движущихся дрожках, мелодическое журчание горных источников и таинственный лесной шум, а потом господин Мишу, напевающий под тихий аккомпанемент музыкантов мелодию того самого менуэта, который все время исполняли в парке и который пленил мадам Джеорджеску... Поэтому не удивительно, что, вернувшись в Бухарест, она долго жила этими волшебными воспоминаниями и, совершая свой ночной туалет, всякий раз говорила со вздохом:

— Ах, мамочка, менуэт Педерасского... Я от него без ума...

1900

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ

Однажды утром, выйдя из дому, я увидел извозчичью пролетку, стремительно въезжавшую на нашу улицу. Узнав сидевшую в ней даму, мою добрую знакомую госпожу Калиопи Джеорджеску, я вежливо поклонился. Завидя меня, госпожа Калиопи остановила экипаж, сильно ткнув извозчика зонтом в спину, и между нами произошел следующий диалог.

— Целую ручку, мадам Джеорджеску,— сказал я, приближаясь к экипажу.

— А я как раз направлялась к вам...— взволнованно ответила она.

— Ко мне?

— Конечно... Умоляю, не оставляйте меня в беде!

Я выразил удивление.

— Вы должны оказать мне большую услугу... друзья познаются в беде. Теперь я узнаю, настоящий ли вы друг!

— С превеликим удовольствием, мадам... если я только сумею.

— Конечно сумеете!.. Не говорите — нет... Я знаю, что вы сумеете. Вы должны суметь!

— Однако в чем же все-таки дело?

— Вы знакомы с... Я знаю, вы с ним знакомы!

— С кем, мадам?

— Он ваш друг... Я в этом уверена! Не отрицайте!

— О ком же идет речь?

— Об учителе философии Попеску.

— Да, мы знакомы, но я не сказал бы, что мы близкие друзья.

— Полноте... я-то ведь знаю!

— Но в чем же дело?

— А дело в том, что вы должны немедленно сесть со мной в экипаж и ехать к Попеску, чтобы замолвить словечко за моего Овидия.

Читателю следует знать, что мадам Калиопи Джеорджеску — мать троих сыновей: Виргилия, Горация и Овидия...

Виргилий учится на третьем курсе юридического факультета, Гораций — на втором, а Овидий лишь собирается поступить на этот факультет. Закончив недавно среднюю школу, он сдает теперь экзамен на аттестат зрелости и, по словам мадам Калиопи, несмотря на всю отвагу, с помощью которой победил все прочие предметы, сплоховал на экзамене по этике.

— Представьте себе,— начала с жаром объяснять взволнованная мамаша,— мальчика явно преследуют, чтобы погубить его карьеру... Между тем он так чувствителен, что это может его просто убить... Знаете, что он мне сказал? «Мамочка, если я поте-

ряю год, я покончу с собой!» И он в состоянии это сделать... Он ведь так горд... Представляете себе, какой ужас? Ему хотят поставить тройку... в то время как нужна шестерка... и главное — по какому предмету? Именно по этике!.. Вы ведь его знаете с детства. Вы-то уж знаете, какое он получил воспитание!

— Еще бы!

— Так вот... тройка, и именно по этике!.. Прошу вас... усаживайтесь поудобнее.— И мадам Джеорджеску подвинулась, освобождая для меня место в экипаже.

Я попробовал возразить:

— А не лучше ли господину Джеорджеску самому сходить к учителю?.. Вы же знаете, что господин Джеорджеску человек с большим весом... Кроме того, он... так сказать... родной отец... а я в некотором роде... чужой.

— Ну нет! Нашли кого посылать! — решительно запротестовала мадам Калиопи.— Разве вы не знаете, с каким безразличием относится Джеорджеску к своим детям? Если б я на него понадеялась, то ни Виргилий, ни Гораций никогда не попали бы в университет... Ему было бы все равно, если б бедные дети остались совсем без аттестата зрелости... Прошу вас... садитесь!

— Не беспокойтесь, мадам Джеорджеску, я доберусь и пешком.

— Боже упаси!.. Ведь все равно я на извозчике... Пожалуйста, садитесь...

Мне ничего не оставалось, как сесть рядом с нею, и экипаж тронулся.

— Куда же мы поедем? — спросил я мою спутницу.

— Как куда? К учителю на квартиру.

— Но я ведь не знаю, где он живет...

— Зато я знаю... Вам не о чем беспокоиться! Извозчик! Сворачивай направо! — И мадам Калиопи сильно ударила извозчика зонтом по правой руке.— Погоняй быстрее!

Всю дорогу мадам Джеорджеску колотила извозчика то по левой, то по правой руке. Наконец она ткнула его зонтом в спину, и экипаж остановился.

— Видите вон тот желтый дом рядом с бакалейной лавкой? Зайдите во двор, направо, в глубине, будет другой дом... Там он и живет. А я подожду вас здесь.

Мне оставалось только покориться. Направляясь по указанному мне пути, я горячо молил небо, чтобы учителя не оказалось дома. Стучу в дверь. Однако небо не вняло моей молитве: господин Попеску был дома... Как мне надлежало приступить к делу? Я решил начать издалека...

— Дорогой Попеску,— сказал я ему после того, как мы поздоровались,— не кажется ли вам, что наши школьные про-

граммы выглядят несколько странно? В них придается одинаковое значение всем предметам, а это, безусловно, вредит развитию общества. Я хочу сказать, вредит прогрессу; ведь в конце концов какую цель преследует наше обучение; что, собственно, школа собирается сделать из нашего молодого поколения, стремящегося получить систематическое образование для того, чтобы в дальнейшем успешно работать на самых разнообразных поприщах?

Попеску посмотрел на меня с изумлением, но я бодро продолжал свою речь.

— Бывают просто нелепые случаи. Могу даже привести примеры. Я видел немало детей с отличными способностями, обреченных, однако, на то, чтобы потерять год только потому, что им не удавалось получить хорошую отметку по музыке или гимнастике!.. Вы должны согласиться, что это столь же абсурдно, как если б мы помешали молодому человеку поскорей попасть на юридический факультет потому лишь, что он хромает по этике... Что общего между этикой и профессией адвоката, к которой стремится наш молодой человек? Скажите сами!

Попеску выпучил на меня глаза с еще большим изумлением. Заметив, что мое красноречие произвело не тот эффект, на какой я рассчитывал, я подумал, что, видимо, мой подход к делу никуда не годен! Надо было брать быка за рога!

— Дорогой Попеску! — начал я снова, уже другим тоном.— Оставим принципиальные вопросы. Знаете ли вы, зачем я к вам пожаловал?

— Нет.

— Я пришел просить вас поставить Овидию Джеорджеску, которого вы экзаменовали по этике, вместо тройки... шестерку!

— Что?

— Только не говорите, что вы этого не можете сделать!.. Я знаю, что вы можете!.. Вы должны это сделать!

— Но ведь тогда я должен буду всем поставить шестерки!

— Ставьте всем!

— Да, но...

— Не говорите нет!.. Я знаю, что вы можете это сделать! Вы должны сделать! Ведь это все дети из хороших семейств!

Попеску сам происходил из хорошей семьи, поэтому он тотчас оценил мой аргумент и ответил:

— Ладно! Если они действительно из хороших семейств, мы постараемся всем им поставить по шестерке.

— Вы мне обещаете?

— Честное слово учителя!

Я ушел от Попеску, весьма довольный своим успехом. Мадам Джеорджеску нетерпеливо ждала меня на улице.

— Ну как?
— Отлично! Он сделает это для всех...
— Как это для всех?
— Очень просто... Это же все дети из хороших семейств...
— Как из хороших семейств?
— Из таких же, как ваш Овидий.
— Ничего не понимаю.
— Все ребята получат хорошие отметки.
— А Овидий?
— Тем более... Все получат по этике шестерки, потому что они из хороших семейств...

К вечеру того же дня я получил от госпожи Джеорджеску письмецо с приглашением на ужин и сообщением о том, что Овидию поставлена нужная отметка. Само собой разумеется, я не преминул воспользоваться приглашением.

Ужин был отличный. Гости пили шампанское за здоровье Овидия Джеорджеску и желали ему блестящей карьеры. Счастливая мадам Калиопи нежно расцеловала своего любимца, довольная тем, что на этом пока окончились ее материнские волнения.

— Слава богу! — воскликнула она, подавая мне бокал с шампанским.— Избавилась! Сдала наконец на этот проклятый аттестат зрелости!

1900

МАЛЕНЬКИЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

Канун святого Димитрия. Мой друг Янку Веригопулу стоит на углу улицы у гостиницы «Континенталь» и безмятежно разглядывает прохожих. Мы здороваемся и вступаем в разговор. У моего друга Веригопулу прекрасный характер: он спокоен всегда, при любых обстоятельствах, и, признаться, я не перестаю восхищаться этим его свойством. Скажем, к примеру, вы, я или любой другой человек не смогли бы торчать у гостиницы «Континенталь» и глазеть на прохожих спокойно и невозмутимо, с видом человека, не удрученного никакими житейскими заботами, да еще накануне дня святого Димитрия, зная, что назавтра предстоит покинуть старую квартиру, а перевозить домашний скарб решительно некуда. В такие минуты холодные плиты тротуара показались бы нам горячее раскаленной смолы! Они жгли бы нам ноги, мы метались бы по городу как одержимые и, вероятно, не успокоились до тех пор, пока не узнали бы, где нам предстоит обосноваться со своими пожитками после отъезда со старой квартиры.

Так вот: мой друг Янку Веригопулу, прекрасно зная, что назавтра он должен съехать с квартиры, и не имея никакого пред-

ставления о том, куда он переедет, преспокойно стоял на углу улицы у гостиницы «Континенталь» и развлекался, разглядывая прохожих.

— Слушай, Янку,— спросил я его, еще сомневаясь, верить ли тому, что мне предстоит услышать,— отвечай мне серьезно: ты в самом деле не знаешь, куда вам завтра переехать?

Я употребил форму «вам», потому что мой приятель был женат.

— Честное слово, мон шер, не знаю!..— ответил он со смехом.

Я поглядел на него молча, исполненный восхищения.

— Что ты на меня так уставился?

— Мон шер, я восхищаюсь тобой... Будь я на твоем месте...

— А главное, у меня нет ни гроша...

— Не может быть!..

— То есть это только так говорится — ни гроша. Несколько лей у меня все же найдется... Давай закусим... Который теперь час?

— Десять минут восьмого.

— Отлично... Пойдем в сторону Епископии; я условился с женой встретиться у Трипковича в половине восьмого.

Подымаясь в гору в сторону Епископии вместе с Веригопулу, я был преисполнен уважения к этому стоику, который не принимал к сердцу мелкие житейские огорчения. Находясь в его положении, вы, я или кто другой не могли бы, конечно, мирно прогуливаться в толпе людей, снующих по мосту Могошои, без того, чтобы не видеть в каждом встречном живом существе нового повода для огорчения. И говоря по правде, пока я шагал рядом с моим философом, мне неоднократно приходила в голову мысль о том, что бы могло быть, окажись я на его месте, а он на моем... Я бы его просто измучил... Его присутствие, наверное, так бы меня раздражало, что в конце концов я обвинил бы его в том, что, пользуясь покровительством распорядителя человеческих судеб, он забрал себе ту долю благ, которая причиталась мне на время нашего короткого земного существования. А вот он — он поступает не так! Он даже пригласил меня закусить... Поистине золотой характер!..

Все это проносилось у меня в голове, пока Веригопулу любезно раскланивался с многочисленными знакомыми, которых мы встретили по пути. Наконец мы добрались до Епископии, пересекли дорогу и вошли в закусочную Трипковича.

— Два французских вермута! — требует Янку и, вынув из кармана кошелек, показывает мне две монеты.— Это все, что у меня есть... Но даже и это мне выделила жена из своих маленьких сбережений...

Потом он меняет тему беседы.

— ...Если бы господин Джеорджеску не был канальей,—

говорит он,— я бы остался на старой службе и не подал бы в отставку... Но из-за каких-то мизерных трехсот лей жалованья в месяц,— к тому же это только говорится триста лей: на руки получаешь не больше двухсот пятидесяти шести лей и пятидесяти бань,— стало быть, из-за такой безделицы чтобы я терпел обиды, придирки и хамство начальства?! Возьмем еще по одной?.. Кельнер, еще два вермута!..

— Однако, братец ты мой,— пытаюсь я возразить,— в наше время... остаться без жалованья... это ведь трудновато.

— Трудно, нетрудно, но если у тебя есть характер, иначе нельзя... Возьмем еще по одной?.. Кельнер!..

— Спасибо, дружище. Хватит и двух...

— О нет!.. Разве ты не знаешь немецкую поговорку?..

— ...Alle gute Dinge...— sind drei [1].

— Видишь!.. Кельнер, еще две рюмки!

— Но ведь уже поздно...

— Который час?

— Скоро восемь.

— Погоди еще минуту, сейчас придет моя жена...

Думая о другом, я спрашиваю:

— У тебя столько знакомых, и ты, вероятно, мог бы найти себе место?

— Скажу тебе по правде, мон шер, мне обещали дать рекомендацию в примэрию; если там окажется подходящее место, лей на семьсот — восемьсот в месяц, я соглашусь, если же нет, я не желаю больше терять свободу из-за пустяков. Нет, этого я больше не сделаю... Ну что ты вытаращил глаза на меня!

— Мой милый, я восхищаюсь тобой все больше и больше!

— Чтобы снова иметь дело с каким-нибудь прохвостом, вроде господина Джеорджеску? Нет, лучше остаться бедняком с чистой совестью!

«Какой молодец!»—подумал я с восхищением... и вдруг увидел, как у входа в кафе остановился извозчик и из пролетки выпорхнула элегантная дама и быстро направилась к двери. Это была очаровательная жена моего друга — мадам Аглае Веригопулу.

— Давно ты меня дожидаешься, мой петушок? — спросила она мужа, который галантно поцеловал белую перчатку, обтягивающую ее ручку.

— Всего несколько минут, милочка,— ответил муж, в то время как я, в свою очередь, тоже склонился к ее руке.

— Знаешь, мы завтра переезжаем.

— Куда? — спокойно спросил Янку, без тени удивления.

---

[1] Все хорошее повторяется три раза *(нем.)*.



Иосиф Исер (1881—1958)
Караджале в окружении своих персонажей

— А разве тебе это не все равно?.. Гостиная, четыре комнаты, ванная, кухня, комната для прислуги, погреб, все удобства, да к тому же еще отдельный дворик и сад.

— Сколько же это будет нам стоить?

— Две тысячи четыреста...

— Четыре взноса?

— Нет... я уже внесла за полгода вперед.

С этими словами мадам Веригопулу вынимает из сумочки кошелек, раскрывает его и показывает квитанцию.

— Контракт заключим после того, как переедем; я сняла квартиру на три года.

От удивления я невольно выпучил глаза.

— Почему ты так странно смотришь?..— спросил меня Веригопулу.

— Нет... ничего... только, видишь ли... ты ведь говорил... а теперь...

— Эге! Если б не она с ее маленькими сбережениями!.. Представь себе, этим летом, когда мы были в Синае...

Но жена прервала его на полуслове:

— Вам хорошо разговаривать, а я голодна... Послушай, мой петушок, а ты для меня ничего не закажешь?

— Кельнер! Еще три рюмки.

— Мерси,— сказал я,— но только...

— Никаких разговоров... Разве ты не знаешь немецкую поговорку... Alle gute Dinge sind... vier [1].

В конце концов я поддался уговорам мадам Веригопулу и согласился поехать к ним обедать. Хотя речь шла о том, что я еду к ним à la fortune du pot (то есть удовольствуюсь тем, что есть в доме), мадам Веригопулу купила несколько сортов закуски и бутылку марсалы, уплатив за покупки из собственного кошелька.

Покончив с покупками, мы все вместе уселись в пролетку.

Было чудесно катить по асфальту в экипаже с мягкими рессорами на резиновых шинах. Мы опять остановились у бакалейной лавки, и так как время устриц еще не пришло, купили триста граммов черной икры.

— Трогай! — скомандовала мадам Веригопулу, обращаясь к извозчику.— Налево, направо... направо, налево!

Наконец приехали... Быстро выскочив из экипажа, мы протянули руки мадам Веригопулу, которая выпорхнула из него с грацией лани.

— Мерси! — Вслед за этим она обратилась к извозчику: — Приедешь ровно в одиннадцать!

---

[1] Все хорошее повторяется... четыре раза *(нем.)*.

Мы вошли в дом... Что за чудесный обед в симпатичном веселом обществе!.. Жаль только, что приятные минуты летят так быстро. Я и не заметил, как прошло целых три часа.

— Барыня,— доложила служанка,— извозчик уже здесь.

Оказывается, мадам Веригопулу немедленно должна навестить свою тетушку. Перед отъездом она вызывает своего петушка в другую комнату. И снова мы втроем усаживаемся в пролетку.

Мы с Янку сходим на Театральной площади, а мадам едет дальше.

— Выпьем по фужеру? — спрашивает Веригопулу.

— Мерси, мой друг; я не могу пить шампанское. У меня от него изжога...

— Тогда чего же?

— Пивка, что ли, выпить?..

— Ладно... я закажу шампанское... а ты спросишь пива.

Мы входим в ресторан.

Уже время за полночь, когда Янку требует счет и бросает на мраморный столик бумажку в сто лей. У меня опять глаза на лоб.

— Видишь ли, мон шер...— говорит он,— если бы не маленькие сбережения моей жены...

1900

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК...

Свет лампы, висящей под потолком в корчме на одном из перекрестков далекой окраины, отражаясь в бутылках и окрашивая стекла маленького окошка в радужные цвета, виден издалека. На дворе свирепствует непогода. Дождь льет как из ведра, бушует холодный ветер. Зима только началась, но темнеет рано. В полосе света появляется быстро движущаяся тень. Обходя лужи, она направляется к корчме и исчезает в двери.

— Добрый вечер!

— Добрый вечер, господин Янку! — отвечает из-за стойки хозяин.

— Что, пришел кто-нибудь из наших?

— Еще никто не приходил.

— И господина Томицэ тоже нет?

— Нет. Видно, завернул еще куда-нибудь. Но он должен вот-вот заявиться.

Посетитель, интересовавшийся господином Томицэ, был Янку Букэтарул, человек лет шестидесяти, изрядно потрепанный для своего возраста. Это и не удивительно — в жизни он хлебнул немало горя. Сын знаменитого в свое время крепостного повара,

он был обучен с малых лет кулинарному искусству и превзошел своим талантом отца. Богатые баре, восхищаясь дарованием господина Янку, старались перехватить его друг у друга. Однако кулинарное искусство тяжело отзывается на здоровье. Первым делом, жар печей повредил артисту зрение, потом к этому присоединилась злая лихорадка. Господин Янку проделал длительный курс лечения полынной водкой, настоянной на дрожжах, но проклятая лихорадка не оставляла его. Он удвоил, затем утроил дозу... Все напрасно! Однажды знаменитый повар заметил, что у него дрожат руки и кружится голова. По ночам его стали мучить кошмары. Как-то раз он упал ничком на раскаленную плиту и сильно обжегся. Вскоре Янку вынужден был отказаться от своего искусства, так как, где бы он ни работал, головокружения все повторялись. Что оставалось делать господину Янку? Попрошайничать... А проклятая лихорадка все не оставляет его.

Господин Янку заказывает полынную водку на дрожжах, уходит в дальнюю комнату и садится в углу за столик. Это обычное место встречи трех друзей-приятелей: господина Янку Букэтарула, госпожи Замфиры Мускаладжиойки и господина Томицэ Барабанчиу. В то время как господин Янку прикладывается к своему целебному напитку, пробуя его на вкус, в комнату входит госпожа Замфира, особа лет за пятьдесят.

Госпожа Замфира давно потеряла один глаз и еле владеет правой рукой и правой ногой. Прошлое этой женщины, пожалуй, куда интереснее прошлого ее друзей. О, эта женщина изведала любовь! В юном возрасте она была похищена, не без ее согласия, из дома отца, искусного гитариста, который в свое время прославился исполнением непристойнейших куплетов. Героем ее романа был молодой, весьма одаренный скрипач. Прошел год, и один выдающийся кобзарь похитил Замфиру у ее первого похитителя. Спустя несколько лет появился новый похититель, и так каждые два года, а то и чаще она переходила от одного похитителя к другому, пока, на свою беду, не встретила такого, который заявил, что хочет на ней жениться. Он не понял, что элементарный долг вежливости обязывает его не затевать скандала при очередном похищении Замфиры. Это был знаменитый Митаке Мускаладжиул, силач с могучими мышцами, сущий геркулес. Выследив изменницу, он настиг ее во время кутежа с очередным похитителем, когда она распевала песенки из отцовского репертуара. Митаке бросился на жену и, волоча ее по полу, стал избивать, терзать и увечить. Похититель скрылся, как последний трус. Когда Мускаладжиул выпустил из рук свою жертву, прекрасная Замфира превратилась в мешок с костями. Вскоре после описанной драматической сцены Мускаладжиул умер от паралича сердца. Что

было делать несчастной вдове и калеке, оставшейся без средств?.. Она стала нищенкой.

Госпожа Замфира грациозно кланяется своему приятелю, протягивая ему левую руку, и усаживается рядом с ним, а мальчик из буфета подает на стол ее любимую водочку.

— Господин Томицэ еще не приходил? — спрашивает она.

— Нет,— отвечает господин Янку.

— Где это он пропадает?

Госпожа Замфира извлекает из-за пазухи узелок, кладет на стол и, придерживая его правой рукой, развязывает левой. Она тщательно отбирает из кучки мелочи несколько монет и показывает их своему приятелю:

— Посмотрите, господин Янку! Какое убожество эти новые монетки.

— Вижу. Нечего сказать. Вот тебе и благоденствие! Да это признак нищеты, госпожа Замфира!

— Плохи дела у нас в стране, господин Янку! Кто ни проходит, говорит лишь одно: «Кризис, бабушка, кризис!»

— Сами видите, госпожа Замфира, уж если казначейство дошло до того, что выпускает жестяные монеты...

Пока друзья разговаривают, приходит господин Томицэ Барабанчиу. Так его зовут потому, что всю жизнь он прослужил в муниципальном управлении барабанщиком. Расхаживая повсюду со своим барабаном и в ясную погоду, и в ненастье, и в летний зной, и в зимнюю стужу, он нажил острый суставной ревматизм, который не поддается никакому лечению. Всякий раз, когда у него начинается боль в суставах, он не может унять ее ничем иным, как только мятной водкой, прокипяченной с перцем. Утомленный долголетней службой, он вышел в отставку и имеет пенсию в размере тридцати лей, потому что получил увечье при исполнении служебных обязанностей. Чтобы чем-нибудь заполнить день, он нищенствует.

По выражению лица господина Томицэ видно, что сейчас у него острая боль в суставах. Шустрый буфетный мальчик сразу это замечает и, не дожидаясь приказания, приносит мятную водку с перцем. Господин Томицэ вежливо кланяется приятелям, молча садится рядом с ними и мигом опрокидывает свой стаканчик. Потом он подергивает плечами: ревматические иголки как будто притупились. Лицо страдальца проясняется, и он тоже вступает в разговор:

— Видели вы новые деньги?

— Эти жестяные монетки? Какое убожество! Вот они!

— Не говорите так, госпожа Замфира! Вы еще не знаете, как обстоит дело...

— А вы знаете?

— Через несколько дней казначейство выпустит монету в двадцать бань этой же серии. Стало быть...

— Стало быть...— подхватывает господин Янку.

— Стало быть...— повторяет госпожа Замфира.

— Стало быть,— продолжает господин Томицэ,— если даже только у двух или трех господ, которые подают нам обычно по одному бану, не окажется более мелкой монеты, чем двадцать бань, и то в месяц наберется сумма в несколько франков. Вы меня поняли?

Не успели приятели ответить, разобрались ли они в финансовой теории господина Томицэ, как из передней донеслась громкая ругань. Вслед за тем широко распахнулась дверь, и в комнату вошел батюшка Матаке, а за ним пономарь. Замыкал шествие буфетный мальчик с подносом в руках, на котором стояли поллитра мутной полынной и два пустых стакана. Друзья поклонились батюшке Матаке. Он их благословил и уселся с пономарем за столик напротив.

— Целую руку, батюшка Матаке,— обратилась к нему уже успевшая изрядно согреться госпожа Замфира.— Видели вы, ваше преподобие, эти новенькие? — И, прихрамывая, она подошла к столику батюшки, чтобы показать ему никелевые монеты.

— Видел я...— насмешливо протянул священник.

— Скажите, батюшка Матаке, целую руку, это правда, что выпустят монеты и по двадцать бань? Вот господин Томицэ говорит, Барабанчиу...

— Выпустят... Вы еще увидите, что они выпустят!

— А что именно?

— Черта с два они выпустят, горе нашим головушкам!

— Что же они собираются выпустить, батюшка? — разволновался господин Янку.

— Что они собираются выпустить? Подождите, попрошайки, скоро сами увидите!

— Но все-таки, отец Матаке, целую руку?..

— В два бана выпустят...

— Как?!

— И в один бан!

— Когда?

— Скоро, на днях...

— В два бана?

— И в один бан?

— В один бан!!

— Провались они в тартарары!

1900

ТОРЖЕСТВО ТАЛАНТА

В одной провинциальной школе некогда учились два добрых товарища: Ницэ Гицеску и Гицэ Ницеску. Их успехи и поведение были на одинаковом уровне. Но не в пример Гицэ, да и всем остальным ученикам, Ницэ обладал необычайными способностями к чистописанию, которыми восхищались все на свете. На четвертом году обучения в начальной школе Ницэ достиг такого совершенства, что его тетрадь можно было принять за образец печатной каллиграфии, а печатный образец — за написанное им от руки. Что касается Гицэ, то у него был на редкость безобразный почерк. Ему не хватало твердости в руке, так как еще в раннем детстве он отморозил себе пальцы, да и зрение было слабовато для такой тонкой работы.

Товарищи окончили начальную школу и пошли искать счастья каждый своим путем. Гицэ уехал в деревню к своему отцу, зажиточному торговцу. Ницэ был беден и потому отправился в столицу, послушав совета учителя, который напутствовал его следующими словами:

— Родителей, мой мальчик, у тебя нет. Ты не слишком образован и не блещешь умом. Слугой ты не можешь стать, потому что ленив. Но и тебя господь не обошел своей милостью: твой почерк подобен гравюре. Ты должен добывать себе пропитание пером. Поезжай-ка в Бухарест. Поступишь там в какую-нибудь канцелярию переписчиком и со временем выйдешь в люди,— ведь ты, я знаю, хорошего поведения.

Приехав в Бухарест, Ницэ начал искать работу. Он встречался с разными людьми и показывал им образчики своего искусства. Все его хвалили и восхищались талантом юноши. Но дальше этого дело не шло. Однако Ницэ не терял надежды, и правильно делал. Как-то вечером один знакомый сказал ему:

— Приходите завтра утром к одиннадцати часам в министерство внутренних дел. Там объявлен конкурс: требуются три переписчика. Вас без сомнения примут.

Ницэ явился на конкурс без опоздания. Конкурентов (их было более тридцати человек) ввели в большой зал, где их ожидала комиссия: председатель — директор департамента, вице-председатель — помощник директора и три члена — начальники канцелярий. Один из них в течение пяти-шести минут громко диктовал текст.

— Довольно! — заявил господин председатель.— Теперь пусть каждый вручит нам свой образец.

Хотя времени было в обрез, Ницэ, перед тем как подать свой лист, тщательно его просмотрел, потом, очень довольный собой,

поставил подпись и весьма почтительно вручил свое писание члену комиссии. Результат конкурса был объявлен через два дня. В списке победителей не значилось имени Ницэ.

— Если бы вы знали, сударь, как я красиво написал! — пожаловался опечаленный Ницэ своему знакомому.

— Молодой человек не должен впадать в отчаяние при первой неудаче,— ответил знакомый.— Есть еще семь министерств. Место найдется.

И действительно, несколько месяцев спустя в другом министерстве открылись две вакансии. Ницэ, конечно, не преминул явиться на конкурс. Опять изрядное количество конкурентов, опять комиссия, диктант, разные формальности. А на следующий день опять имени Ницэ не оказалось в числе получивших места.

— А ведь как красиво я написал, сударь!— говорил Ницэ своему знакомому.

— Терпение, молодой человек! Еще не все потеряно, придет и ваш черед. Есть еще шесть министерств. Место найдется.

Через некоторое время еще в одном министерстве открылись вакансии, но Ницэ Гицеску опять потерпел поражение. Ницэ еще больше огорчился, но отчаиваться было еще рано. Оставалось пять министерств! Рано ли, поздно ли, должны появиться свободные места. Они и появились в свое время в четырех министерствах. Всюду были конкурсы, во всех конкурсах участвовал господин Ницэ Гицеску, и всякий раз, узнавая о своем поражении, он все с большим сокрушением говорил:

— А как я красиво написал, сударь!

И знакомый ему отвечал:

— Не отчаивайтесь, молодой человек, еще одно министерство осталось. Там-то и требуется настоящая каллиграфия для актов и документов. Место непременно найдется.

Не иначе как знакомый Ницэ обладал даром предвидения; не прошло и недели, как в названном министерстве был объявлен конкурс на искуснейшего каллиграфа. Чтобы набить себе руку, Ницэ сразу принялся за работу. Он ежедневно упражнялся — писал на веленевой бумаге всевозможными шрифтами: английским, итальянским, готическим, смешанным; жирными буквами, прописными и строчными, различной величины — от одного миллиметра до двух сантиметров; с транспарантом и без такового. И вот накануне конкурса, когда он чувствовал себя вполне подготовленным, Ницэ, как это случается во многих рассказах, неожиданно встретился — с кем бы вы думали? — со своим старым знакомым, добрым школьным товарищем, Гицэ Ницеску, у которого были отморожены пальцы.

— Гицэ!
— Ницэ!

Слово за слово, и Ницэ узнал, что отец его друга разорился и умер. Гицэ приехал в Бухарест с рекомендательным письмом к министру того самого министерства, где требуется каллиграф. Министр принял его хорошо и сказал, чтобы он завтра ровно в час явился в министерство для участия в конкурсе.

— Для участия в конкурсе? — фыркнул Ницэ.— Ты?

— Да, я...

— В завтрашнем конкурсе?

— Да, представь себе, в завтрашнем конкурсе.

— Ты, Гицэ, видно, не знаешь, какое завтра будет состязание.

— Какое?

— На соискание места искуснейшего каллиграфа, дружище Гицэ!

— Но если министр приказал мне явиться... Могу ли я...

— Я тоже туда явлюсь, Гицэ.

— Что ж, приходи и ты.

— Но, Гицэ, соревноваться в каллиграфии со мной?

— Да, в каллиграфии с тобой. Я помню, что мне приказал министр.

— Хорошо.

Слово «хорошо» было сказано таким тоном, что, поразмыслив, Гицэ обратился к товарищу:

— Послушай, Ницэ, я приехал в Бухарест не с пустыми руками. Ты мне говорил, что очень нуждаешься. Если бы ты согласился... Я...

— На что мне соглашаться?

— Я готов дать тебе три-четыре двадцатки, только бы...

— Только бы...

— Только бы ты отступился, не пришел завтра на конкурс...

— Кто? Я?!

— У меня ведь все-таки рекомендация...

— Ну и являйся с твоей рекомендацией на конкурс.

В этот момент к приятелям подошел знакомый Ницэ.

— Господин Гицеску,— промолвил он,— мне надо с вами поговорить.

Ницэ и его знакомый отошли в сторону.

— Я хочу вас порадовать, господин Гицеску, вам незачем идти в министерство на конкурс. Я нашел для вас работу в одной литографии. Она оплачивается куда лучше, чем работа переписчика. Там вы можете создать себе положение. Согласны?

— Согласен. Только... одну минуту...— Что-то быстро сообразив, Ницэ сделал налево кругом и подошел к своему школьному товарищу.

— Гицэ, ты мне предложил три-четыре двадцатки, лишь бы я не явился на конкурс? В свою очередь, я хочу тебе предложить одну комбинацию, которая больше устраивает и тебя и меня.

— Какую же?

— Мы явимся на конкурс оба. У тебя есть рекомендация, у меня — каллиграфический почерк. Давай, я подпишу своим именем твой образец, а ты своим именем — мой.

— О, если бы ты только согласился...

— Я согласен.

— Честное слово?

— Честное слово... только ты мне дашь пять двадцаток!

— Даю!

Гицэ вынул из кармана ассигнацию в сто лей. Ницэ сунул ее себе в карман, и товарищи расстались очень довольные друг другом, договорившись встретиться завтра в одиннадцать часов в министерстве.

На следующий день по странному стечению обстоятельств на конкурс явились только двое. Надо ли говорить, что эти двое были школьные товарищи Ницэ и Гицэ. Ницэ честно выполнил свое обязательство: пока его товарищ выводил дрожащей от волнения отмороженной рукой каракули на министерской бумаге, он уверенно проделывал на своем листе необыкновенные tours de force[1]. Кончив, товарищи подписали свои образцы, как условились, каждый именем другого, и вышли в зал ожидания. Тут Гицэ стал пылко благодарить своего товарища.

— Нас было только двое,— сказал Ницэ.— У тебя рекомендация, у меня, слава богу, каллиграфический почерк. Как бы они ни изворачивались, кого они еще могут назначить, кроме те...

Не успел Ницэ договорить, как дверь отворилась.

— Результат конкурса! — торжественно провозгласил председатель комиссии.— Участвовали два конкурента: Ницэ Гицеску и Гицэ Ницеску. Выдержал господин...

— Господин?..— подхватили в один голос оба конкурента.

— Господин Ницэ Гицеску.

В то время как Гицэ не знал, что и подумать, задетый за живое Ницэ сказал:

— Разрешите, господин директор, тут, должно быть, произошла ошибка. Вы, наверное, не совсем внимательно просмотрели образцы.

---

[1] Чудеса искусства *(франц.)*.

— То есть как это так? — строго спросил директор, председатель комиссии.

— Слава богу, уж мы-то знаем, что каждый из нас умеет... Должно быть, не Ницэ Гицеску, а Гицэ Ницеску.

— Сударь, вы ведете себя неблагопристойно! Прекратите! Вы меня поняли? Я правильно сказал: выдержал господин Ницэ Гицеску.

Однако строгость господина председателя комиссии не произвела должного впечатления; Ницэ не оробел. Он держал себя весьма вызывающе и закричал еще громче:

— Это невозможно, господин директор! Вы ошиблись! Проверьте-ка образцы!

Слова «проверьте-ка образцы!» произвели странное впечатление на начальника. Казалось, ему импонировал апломб Ницэ, и он сказал:

— В конце концов errare humanum est [1]. Посмотрим образцы...

С этими словами директор достал из кармана конверт, хорошо известный товарищу Ницэ, и извлек из него письмо. Просмотрев его внимательно, он, мягко улыбаясь, заговорил:

— Знаете, вы оказались правы. Да, так оно и есть. Видите ли... я... перепутал... Действительно победил господин Гицэ Ницеску.

— Вот это правильно! — с чувством глубокого удовлетворения подтвердил Ницэ Гицеску.

Господин директор с важностью удалился, притворив за собой дверь.

1900

ЦЕПЬ СЛАБОСТЕЙ

И у меня есть слабость, я ведь тоже человек! Желания моего милого друга Мари Попеску для меня закон, которому я подчиняюсь с тем большей охотой, что она никогда не злоупотребляет своей безграничной властью над моей персоной. Вот и на этот раз — разве она многого просит?

Уважаемый друг!

Я знаю, что Вы в хороших отношениях с преподавателем Костикэ Ионеску и он ни в чем Вам не откажет. Я буду Вам очень благодарна, если Вы добьетесь от него семерки по латинскому языку для Митикэ Дэскэлеску, ученика четвертого класса гимна-

---

[1] Ошибаться свойственно человеку *(лат.)*.

зии X. Иначе этот мальчик, мой близкий родственник, снова останется на второй год, что будет большим несчастьем для его родных, весьма уважаемых людей, и крайне меня огорчит.

С наилучшими пожеланиями Ваш добрый друг

Мари Попеску.

О, в какую чарующую форму ты умеешь облекать свои приказы! И как замечательно все складывается! У Ионеску — своя слабость, он ведь тоже человек! Он искренне привязан ко мне и не может ни в чем мне отказать. Мигом нанимаю извозчика и спешу к преподавателю латинского языка.

— Костикэ, дорогой, я уверен, что ты мне не откажешь, я знаю, что всегда могу рассчитывать на твою дружескую помощь, ни секунды не сомневаюсь в том, что и на этот раз, так как речь идет о деле, которое чрезвычайно меня интересует,— понимаешь? Я не стал бы обращаться к тебе, не будь я заранее уверен, что ты и на этот раз окажешь мне услугу,— ведь я так уверен в твоей дружбе, а ты в свою очередь... Одним словом...

— Одним словом,— говорит Ионеску,— мне все ясно... Незачем было начинать так издалека. Ты пришел просить за какого-то бездельника, моего ученика!

— Он вовсе не бездельник, Костикэ; он из очень хорошей семьи и мой родственник.

— Уж наверное лентяй и свинтус!

— Неправда, Костикэ. Он хороший мальчик... Ты мне не откажешь, я знаю, что могу рассчитывать на твою дружескую помощь и ни минуты не сомневаюсь, что и на этот раз, ведь этот вопрос очень...

— Довольно! Ты ведь знаешь, что я тебе друг: к чему же эти общие места? Какую отметку ты просишь для бездельника, твоего протеже?

— Семерку, дорогой Костикэ!

— А если он осел и ничего не знает?

— Вот те на! Не знает! Будто он первый или последний, который выдержит экзамен, не зная ни черта... Умоляю тебя, Костикэ! Если бедный мальчик останется на второй год, это будет большим несчастьем для его семьи — такой почтенной семьи,— и очень меня огорчит.

— О, непреодолимая сила дружеского долга! — говорит Костикэ.— Как ты умеешь просить! Ладно! Будь по-твоему: я на этот раз поставлю твоему дурню семерку.

— Спасибо, дорогой Костикэ, я буду очень обязан.

— Как его зовут?

Я выворачиваю карманы, ищу письмецо Мари Попеску и... не нахожу...

— Подожди минутку! — говорю я учителю.

Вылетаю как стрела, вскакиваю на извозчика, мчусь домой. Письма нет и здесь. Лечу к Мари Попеску.

— Милый друг, дело на мази, преподаватель обещает нужную отметку, но мне необходимо узнать, как зовут вашего протеже. Как его имя?

— Оно было в письме.

— Да, но ваше письмо затерялось в моих бумагах, а дело спешное; чтобы не тратить время на поиски, я приехал к вам. Как его зовут?

— Ей-богу, не помню,— говорит моя очаровательная приятельница.— По правде сказать, госпожа Преотеску, моя хорошая подруга, которой я ни в чем не могу отказать, просила меня написать вам, зная, что вы дружите с господином преподавателем Костикэ Ионеску, который очень к вам привязан и ни в чем не может вам отказать...

— Что же нам делать?

— Отправляйтесь к госпоже Преотеску и узнайте, как зовут ученика, за которого она просила попросить вас.

— Целую ручки!

Еду к госпоже Преотеску...

— Госпожа Преотеску, я беспокою вас вот по какому делу: вы просили мою приятельницу Мари Попеску за своего знакомого мальчика, с тем чтобы она замолвила за него словечко передо мной, а я в свою очередь перед учителем господином Ионеску...

— Да!

— Как зовут мальчика?

— Разве Мари вам не написала?

— Написала, но я потерял письмо, а мадемуазель Попеску забыла его имя и послала меня к вам.

— Ко мне? По правде сказать, я тоже не помню, потому что имя было написано на бумажке, которую я оставила у Мари; но мы можем узнать это имя у госпожи Дьяконеску, она живет поблизости; это она меня просила, зная, что Мари меня любит, а вы ни в чем не откажете Мари, а преподаватель Костикэ Ионеску ни в чем не откажет вам.

— Что же нам делать?

— Посидите минутку, я пошлю за госпожой Дьяконеску; она живет рядом.

Госпожа Дьяконеску не заставила себя ждать. Но, увы, она тоже не знала имени нашего молодого протеже: записку с его именем она отдала госпоже Преотеску.

— Как быть?

— Бегите к госпоже Икономеску!

Отправляюсь к госпоже Икономеску. Оттуда к госпоже Сакелэреску. Потом к Пискупеску. Наконец-то напал на первоисточник: ученик оказался племянником госпожи Пискупеску, сыном ее сестры, госпожи Дэскэлеску: Митикэ Дэскэлеску.

Госпожа Пискупеску ни в чем не может отказать госпоже Дэскэлеску, госпожа Сакелэреску — госпоже Пискупеску, госпожа Икономеску — госпоже Сакелэреску, госпожа Дьяконеску— госпоже Икономеску, госпожа Преотеску — госпоже Дьяконеску, мадемуазель Попеску — госпоже Преотеску, я — Мари Попеску, а мне — Костикэ Ионеску... Отправляюсь к Ионеску.

— Дорогой Костикэ, выручай меня! Я уверен, что ты мне не откажешь, я знаю, что всегда могу рассчитывать на твою дружескую помощь, и ни минуты не сомневаюсь...

— Прекрати болтовню, дружище...

— Поставь ему семерку, как ты обещал.

— О ком ты говоришь?

— О Митикэ Дэскэлеску!..

— Митикэ Дэскэлеску!.. Что-то я не помню такого ученика.

— Не может быть!

— Сейчас посмотрим.

Он перелистывает классный журнал.

— У меня нет ученика по имени Митикэ Дэскэлеску, ты перепутал; наверное, он в каком-то другом классе.

На этот раз я бегу прямо к госпоже Пискупеску.

— Госпожа Пискупеску, в какой класс держит экзамен ваш племянник?

— В седьмой!

— Отлично,— говорю я.

Бегу обратно, к Ионеску.

— Он в шестом классе, этот Митикэ Дэскэлеску.

— Тогда это не у меня, а у Джеорджеску; ты с ним знаком?

— Нет. Но ты-то его знаешь? Ведь он твой коллега.

— Разумеется, мы с ним очень дружим, и он мне ни в чем не откажет.

— Тогда я прошу тебя... Я ведь знаю, что всегда могу рассчитывать на твою дружбу, и ни минуты не сомневаюсь...

— Опять?.. Ты ведь приехал на извозчике, так вези меня поскорее к Джеорджеску!

Мы едем вместе. Я остаюсь на улице, Ионеску входит в дом. Через несколько минут он возвращается.

— Тебе повезло, мы приехали вовремя. Еще четверть часа — и он унес бы журнал в гимназию, а у твоего протеже была тройка.

— А теперь?

— Теперь у него семерка.

«Вот,— подумал я,— какое значение могут иметь несколько минут опоздания: наш Митикэ Дэскэлеску остался бы на второй год, хотя он любимец своей матушки, госпожи Дэскэлеску, которая сестра госпожи Пискупеску, к которой привязана госпожа Сакелэреску, которая дорожит госпожой Икономеску, к которой привязана госпожа Преотеску, которой бесконечно дорожит прелестная Мари Попеску, к которой привязан я, к которому...»

1901

ВИЗИТ...

Однажды, в день святого Иоанна, я отправился с визитом к своей старой приятельнице, госпоже Марии Попеску. В этот день справлялись именины ее единственного сына, премиленького мальчугана лет восьми, по имени Ионел. Мне не хотелось идти с пустыми руками, и я купил по дороге большой резиновый, очень упругий мяч. Хозяйка оценила мое внимание, особенно же оценил мой подарок мальчуган, встретивший меня в парадной форме кавалерийского майора. После обычного обмена приветствиями мы перешли к разговору о погоде, о видах на урожай,— господин Попеску-отец был крупный землевладелец, — о свирепствующем кризисе и т. п. Между прочим, я спросил госпожу Попеску, почему в этом году ее совсем не видно на прогулках, в театре и на вечерах. Госпожа Попеску ответила мне, что все эти развлечения в конце концов приедаются, а уж матери семейства совсем не до них.

— По правде сказать,— щебетала она,— когда Ионел был совсем крошкой, я еще позволяла себе кое-какие развлечения, но теперь, когда он стал большим мальчиком, я должна отдавать ему все свое внимание и серьезно заняться его воспитанием. К сожалению, вы, мужчины, не можете себе представить, сколько времени отнимает у женщины воспитание ребенка, особенно если она хочет сделать из него воспитанного человека.

И госпожа Попеску начала распространяться о воспитании детей, высказывая весьма разумные мысли. В это время из соседней комнаты раздался хриплый старушечий голос:

— Барыня, Ионел никак не угомонится!

— Ионел! — крикнула госпожа Попеску.— Ионел! Иди же к маме! — Затем обратилась ко мне вполголоса:— Если бы вы знали, какой это сорванец... но до чего умен!

Из соседней комнаты опять послышался голос:

— Барыня, поглядите на Ионела! Он хочет перевернуть спиртовку!.. Да угомонись же, а не то обожжешься!

— Ионел! — снова крикнула госпожа Попеску.— Иди же к маме, Ионел!

— Барыня, скорей сюда! Он пролил спирт! Пожар!

— Ионел!..— закричала мать, сорвалась с места и бросилась в другую комнату. Но не успела она подбежать к двери, как на пороге появился маленький, воинственного вида майор-кавалерист с обнаженной саблей в руке. При виде его мамаша замерла на месте. Потом заключила майора в объятия и расцеловала.

— Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не подходил к спиртовке, когда готовится кофе! — начала она.— Ведь ты же можешь сгореть! Тогда твоя мама умрет с горя. Разве ты хочешь, чтобы мама умерла?..

— Простите, госпожа Попеску,— прервал я материнские излияния,— для кого вы заказали кофе?

— Для вас!

— Помилуйте, зачем вы беспокоились!

— Полноте, какое это беспокойство!

Госпожа Попеску еще раз нежно поцеловала маленького майора, поплевала, чтобы предохранить его от дурного глаза, и опустила на пол. Майор вложил саблю в ножны, отдал по-военному честь и направился в угол гостиной, где на двух столах, на диване, на креслах и на полу в беспорядке были разбросаны всевозможные игрушки.

Он выбрал трубу и барабан, повесил барабан себе на шею, вскочил на великолепного буланого в яблоках коня, поднес трубу ко рту и, подпрыгивая, как всадник, стал изо всех сил колотить рукой по барабану и дуть в трубу. Госпожа Попеску что-то сказала мне, но я ничего не расслышал. Все-таки я ответил, что едва ли долго продержатся такие лютые морозы. Она ничего не разобрала.

— Ионел! Ионел! Ионел!!! Пойди в ту комнату, моя деточка! Ты совсем оглушил гостя! Разве так себя ведут при гостях?!

Воспользовавшись моментом, когда труба и барабан замолкли, я прибавил:

— А кроме того, ведь ты гусар-кавалерист.

— Майор! — воскликнул бравый вояка.

— Вот именно! — подтвердил я.— А у кавалеристов нет барабана; и потом майоры не трубят в трубу, трубят только нижние чины; майор командует и выступает впереди солдат с обнаженной саблей.

Мои слова возымели должное действие. Майор слез с коня, снял с шеи барабан и тотчас же куда-то его забросил; такая

же судьба постигла и трубу. Потом начал командовать: «Вперед! Шагом марш!» С обнаженной саблей в руках он ринулся в бешеную атаку, сметая все на пути. В это время в комнату вошла старая служанка с подносом, на котором стояла вазочка с вареньем, кофейник и чашки. Увидев ее, майор остановился как вкопанный, собираясь с мыслями, словно застигнутый врасплох врагом. Однако это продолжалось лишь миг, после чего он с воинственным кличем устремился на врага. Враг испустил вопль отчаяния:

— Барыня! Держите его! Он повалит меня с подносом!

Госпожа Попеску поспешила преградить путь майору, который в пылу атаки ничего не видел перед собой. Служанка была спасена, но госпожа Попеску, имевшая неосторожность нарушить нейтралитет и вмешаться в военные действия, получила мощный удар шпагой по лицу, под правый глаз.

— Вот видишь, к чему приводят твои проказы! Ты чуть было не выбил мне глаз! Тебе что, хочется совсем доконать маму? Поцелуй меня скорее, чтобы все прошло, и тогда я прощу тебя!

Майор бросился к матери на шею, целуя и обнимая ее. Вот все и прошло у мамы... Я отведал варенья и приготовился пить кофе...

— Вас не беспокоит табачный дым? — спросил я госпожу Попеску.

— Нисколько, у нас в доме курят. Мой муж курит, да и ему, кажется, тоже нравится...

Мать с улыбкой сделала упор на слове «ему» и кивнула головой в сторону господина майора.

— А! — удивленно протянул я.— Вы говорите о «нем»?

— Да, да, о нем. Ах, если бы вы видели, до чего он комичен с папиросой во рту! Можно умереть со смеху... Ну совсем как взрослый.!

— Вот как!.. Это уж совсем нехорошо, господин майор. Табак — это яд.

— А ты почему куришь? — перебил меня майор, усиленно загребая ложкой варенье из вазочки.

— Ионел! Довольно варенья, моя детка! Опять заболит животик!

Майор послушался, но лишь после того, как проглотил еще три или четыре ложки варенья. Потом он взял вазочку и вышел в переднюю.

— Куда ты? — спросила мать.

— Сейчас вернусь! — ответил Ионел.

Через мгновенье он вернулся с пустой вазочкой, поставил ее на стол, взял с маленького столика портсигар, вынул папироску,

сунул ее в рот и отдал мне честь по-военному, как солдат, который просит у штатского разрешения прикурить. Я не знал, как мне быть. Мать, смеясь, подала мне знак, чтобы я удовлетворил желание господина майора.

Прикурив от моей папиросы, господин майор начал важно прогуливаться взад и вперед, залихватски дымя, как настоящий военный. Я невольно им залюбовался, а мать опять поплевала через плечо, чтобы предохранить его от дурного глаза, и сказала мне:

— Поплюйте и вы, чтобы не сглазить.

Майор докурил папиросу до самого картона. Потом он подбежал к мячу, который я ему принес, и принялся швырять его об пол. Мгновение — и мяч подскочил к самому потолку, туда, где висела люстра, нарушив спокойствие ее хрустальных подвесок.

— Ионел! Перестань! Еще разобьешь что-нибудь! Ты хочешь огорчить свою маму? Ты хочешь, чтобы мама умерла?

Однако майор был всецело поглощен прыжками мяча, который то и дело выскальзывал у него из рук. В упоении он швырял мяч изо всех сил на паркет. В тот самый миг, когда я подносил кофе ко рту, как говорят французы, «entre la coupe et les levres», подскочивший мяч выбил чашку у меня из рук, и кофе, ошпарив меня, пролился на мои визитные брюки цвета утиного яйца.

— Видишь, что ты натворил! Я тебя унимала, а ты и в ус не дуешь! Рассердил нашего гостя!!! В другой раз он не принесет тебе больше игрушек!..— И, повернувшись ко мне, госпожа Попеску прибавила самым приветливым голосом: — Это ничего... Кофе не оставляет пятен. Немного теплой воды...

Но не успела она выговорить, как лицо ее исказилось от ужаса. Она вскрикнула и вскочила со стула.

— Ионел! Дорогой!! Что с тобой?..

Я взглянул на майора. Лицо его стало белым как мел, глаза закатились, стройная фигурка скорчилась. Мать бросилась к нему, но не успела сделать и шагу, как майор уже растянулся на полу.

— Ах!!! — взвизгнула мать.— Ребенку плохо!.. Спасите! Дитя умирает!..

Я поднял майора, расстегнул ворот мундира и приоткрыл ему грудь.

— Пустяки,— сказал я.— Дайте холодной воды.

Я обрызгал его водой. Между тем мать в отчаянье рвала на себе волосы.

— Ну вот видишь, господин майор,— сказал я, когда он пришел в себя.— Видишь? Разве я тебе не говорил, что табак вещь скверная?.. В другой раз не кури!..

Я простился с госпожой Попеску, которая уже успокоилась, убедившись, что здоровье драгоценного майора не внушает никаких опасений. Надев боты и пальто, я отправился домой. Придя к себе, я понял, зачем майор выходил с вазочкой в переднюю: он вылил варенье в мои боты.

1901

ВО ДВОРЕЦ!

— Мэндика, первый час! Чего ты копаешься! — раздраженно кричит госпожа Луксица, врываясь в комнату, где госпожа Пископеско совершает свой туалет.

Госпожа Пископеско, глядя в зеркало, отвечает еще более раздраженно:

— Оставь меня в покое, мама! Ты только посмотри, как эта скотина меня изуродовала! Будь она проклята!

Скотина — это гувернантка, которая, помимо прочих своих обязанностей, должна причесывать госпожу Пископеско. Госпожа Луксица — это мать госпожи Пископеско, а госпожа Пископеско — жена господина Пископеско, владельца одной из самых красивых и комфортабельных вилл Синаи, которая названа прелестным именем дочери госпожи Луксицы — «Эсмеральда».

С шести часов утра, когда солнце еще не успело показаться из-за вершины Собачьей горы, обитатели виллы «Эсмеральда» начали метаться из угла в угол, словно охваченные безумием.

Что случилось? Что произошло в семействе Пископеско, почему нервничают и беснуются все обитатели виллы?

Кусочек бристольского картона, сверкающий над ворохом визитных карточек, оставленных высокопоставленными друзьями на вилле «Эсмеральда», объясняет, в чем дело. Бросив взгляд на эту блестящую карточку, мы узнаем, что по велению их величеств госпожа и господин Зефир Пископеско приглашаются сегодня к часу дня на обед во дворец Пелеш!

— Где эта скотина! Черт ее побери! — кричит госпожа Пископеско, нервно теребя непокорные завитки своих волос.

— Дай лучше я тебе их поправлю,— говорит госпожа Луксица.

Она поворачивает к свету свою красавицу дочь, снимает со спиртовки щипцы для завивки, дует на них, потом энергично прихватывает ими локоны дочери.

— Ты с ума сошла! — кричит госпожа Пископеско.— Безобразие! Ты что, ослепла? Ты меня обожгла!

— А ты бы не вертелась! Все время дрыгаешь ногой! Не кричи! Ты слишком разошлась! Дай-ка я погляжу.

Госпожа Луксица оглядывает пухлый затылок мадам Пископеско, плюет и дует на него с одной стороны, чтобы прошел ожог, с другой — от дурного глаза. Действительно, тут есть чем гордиться матери. Она тщательно укладывает непокорные пряди волос, и на этот раз так удачно, что мадам Пископеско немедленно забывает об ожоге.

— Четверть первого! Какого черта вы там возитесь? Все еще не кончили? Хотите, чтобы мы опоздали! Не заставляйте себя ждать, особенно в первый раз!

Но госпожа Пископеско, не слушая слов господина Зефира Пископеско, выгибается перед зеркалом, чтоб увидеть турнюр, и спрашивает:

— А сзади хорошо, мамочка?

— Ты оглохла, что ли? — орет господин Пископеско.— Хочешь, чтобы на тебя пальцем показывали? Только того и не хватает, чтобы нас ждали. Пойми, это же в первый раз!

— О! Будь она проклята, эта жизнь!— вздыхает госпожа Пископеско.— Где мои перчатки?

Дамы ищут повсюду. Перчатки исчезли.

— Позови эту скотину... Где эта корова? Черт бы ее побрал, она должна знать, где я их положила...

— Вот они! — кричит госпожа Луксица.

— Кончайте базар, иначе я поеду один!

Часы показывают половину первого.

Еще один взгляд в зеркало, и госпожа Эсмеральда Пископеско со своим супругом садятся в коляску.

— Ко дворцу Пелеш! Живо! — приказывает кучеру господин Пископеско, сложив руки на животе и усевшись поудобней.

Кучер трогает.

— Мамочка,— кричит госпожа Пископеско, оглядываясь на веранду, где стоит госпожа Луксица и крестит ее,— мамочка, спрячь ключи от буфета, чтобы эта гадина, будь она проклята, не стащила кусок сахару!

1901

ПОЗОРНЫЙ ПОСТУПОК

Мне привелось потерять друга, доброго друга. И так как я до сих пор не могу утешиться в этой невосполнимой потере, я должен хотя бы рассказать о том, как произошло это столь печальное происшествие.

Я знал, что мой друг, мой добрый друг, имеет большое влияние на одного человека, от которого тогда зависело весьма важное для меня дело. И я решил к нему обратиться.

— Друг мой, мой добрый друг,— сказал я ему,— не оставляй меня в беде! Только на тебя вся надежда! Одно твое слово, сказанное человеку, которого ты хорошо знаешь, может составить мое счастье... Дай мне к нему рекомендательное письмо... Умоляю тебя!.. Ты сделаешь доброе дело не только для меня, но и для всей моей семьи, для моих детей...

— Что ты, что ты! — ответил мой друг, несколько сконфуженный моим умоляющим тоном.— Разве меня нужно так упрашивать? Изволь...

И после того, как я объяснил ему, в чем дело, он уселся за письменный стол и принялся писать. Кончив, он встал с письмом в руках и сказал:

— Слушай, я прочту тебе...

«Дорогой друг!

Податель сего, мой добрый приятель, имеющий к тебе личную просьбу, обратился ко мне за содействием и просит замолвить за него доброе словечко. Не нахожу слов, чтобы отрекомендовать его тебе надлежащим образом. Он мой добрый и старый друг, и, поскольку я уверен в твоей дружбе, надеюсь, ты обойдешься с ним так же, как обошелся бы со мной. Я буду счастлив узнать, что этот человек, которого я люблю как брата и знаю как честного и способного малого, получил от тебя все то, чего он желает и, несомненно, заслужил.

Заранее благодарю тебя, и пр. и пр.».

Пока я рассыпался в благодарностях, мой друг вложил письмо в конверт, заклеил его, надписал адрес и вручил его мне.

Обняв друга, я простился с ним и отправился к нужному мне человеку.

К сожалению, я не застал его дома. Но слуга заверил меня, что он обязательно будет после полудня.

Это означало, что он придет не раньше двух часов, а теперь было только одиннадцать. Куда мне было деваться до двух часов, пока я увижу человека, от которого зависит мое будущее и будущее моих детей?

Чтобы как-нибудь скоротать время, я зашел в скромный ресторан. В ожидании, пока мне подадут, я все время с затаенной надеждой поглядывал на заветное письмо друга и строил тысячи воздушных замков...

Как все отлично устраивается!.. Какая великолепная рекомендация!.. Вот что значит истинный друг!..

Положив конверт рядом с прибором, я буквально не мог оторвать от него глаз, точно с путеводной звезды всей моей жизни.

На столе рядом с письмом стояла салатница с поломанной ножкой, но я не обратил на нее внимания.

Вскоре мне принесли первое. Кельнер оказался неопытным и неуклюжим. Намереваясь налить в тарелку борщ, он задел локтем хромую салатницу и опрокинул ее прямо на письмо.

«Вот напасть! — подумал я.— Наверно, запачкал конверт».

Не успел я об этом подумать, как растяпа, обернувшись с тарелкой в руках, чтобы посмотреть на причиненные им разрушения, пролил еще борщ прямехонько на мое письмо.

— Письмо! Мое письмо!

Я схватил его со стола и быстро вытер салфеткой.

Увы! Конверт успел впитать в себя порядочное количество постного масла и теплого борща.

Что делать? Надо высушить его получше! И я начал усердно вытирать конверт с обеих сторон... Тогда случилось новое несчастье — конверт расклеился...

В таком плачевном состоянии письмо, конечно, нельзя было передавать. Оставалось одно — бежать обратно к моему другу и просить его написать новое...

Обругав как следует недотепу, я выбежал на улицу с злополучным конвертом в руках. По дороге, сам не знаю почему, точно нечистый меня попутал, пришла мне вдруг в голову такая мысль: конверт все равно расклеился... перечту-ка я еще раз теплые слова моего друга.

Я принялся осторожно извлекать письмо из засаленного конверта и вдруг прочел в самом низу: «Этот осел...»

«Этот осел»?! Откуда могли здесь взяться такие слова? В письме, которое читал мне мой друг, их не было и в помине... Что же это могло значить?

Теряясь в догадках, я решительно вынул письмо из конверта и, развернув его, прочел нижеследующее:

«Уважаемый друг!

Податель сего — ничтожный человек, который настойчиво требует моей рекомендации. Он уверяет, что у него к тебе дело, от которого зависит будущее всей его семьи. Считая своим долгом предупредить тебя, что этот человек совершенное ничтожество, я поспешил дать ему требуемое письмо, так как иначе он обратился бы к кому-то другому и ввел тебя в заблуждение.

Гляди в оба — не верь ни одному слову из того, что этот об-

манщик тебе скажет. Что касается его характера, то этот осел может показаться иногда остроумным, если позабыть о его легкомыслии и придурковатости.

Окажи, стало быть, этому уважаемому другу надлежащий прием.

Твой и т. д.».

Хорошенько вытерев катившийся по лицу пот, я вскочил на первого встречного извозчика и помчался к моему другу. Когда я подъехал к дому, я увидел, что приятель мой идет мне навстречу. Я соскочил с пролетки и, улыбаясь, бросился к нему.

— Ну как, уже побывал? — спросил он меня.— Застал его дома?

— Разумеется,— ответил я весело.

— И как? Добился своего? Что он тебе сказал?

— Что он мог мне сказать?.. Что я ничтожество, с которым не стоит связываться... что я попросту осел... Это все, что он мог сказать о моем характере... Что же до того, что я кажусь иногда остроумным, то на самом деле я человек поверхностный и придурковатый...

— Откуда он это узнал?

— Из твоего письма.

— Он сказал тебе об этом?

— Нет! Я сам узнал.

— Откуда?

— Я распечатал твое письмо.

— Ах вот оно что! — негодующе вскричал мой друг.— Ты вскрыл чужое письмо?! Это позорный поступок!

Вместо ответа я влепил ему две пощечины, снова уселся в пролетку и приказал извозчику погонять.

Само собой разумеется, что после такого моего позорного поступка всякая связь между нами должна была прекратиться.

А жаль! Я потерял такого доброго друга!..

1901

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ХРОНИКА

Однажды в ненастное ноябрьское утро, в дождь, снег, ветер, когда и собаку жалко выгнать на улицу, я вызвал самого расторопного сотрудника «Возмущения нации» и сказал ему:

— Уважаемый господин Каракуди, вы много раз проявляли свою блестящую репортерскую изобретательность. Именно вас я прошу оказать нашей газете новую услугу.

— Какую, господин директор?

— К рождеству мы выпускаем специальный литературно-художественный и научный номер газеты. В редакционном портфеле имеется довольно много материала, и мы отберем лучшее. Но нам не хватает специальной рождественской хроники... Возьметесь?

— С удовольствием...

— Рождество падает на понедельник; номер должен выйти из печати не позднее четверга. Специальный номер, красиво напечатанный и не измазанный типографской краской, как обычные номера, тщательно прокорректированный, без опечаток!..

— Само собой разумеется... но...

— Что «но»?

— Какая погода на улице!

Действительно, начинался буран.

— Какое отношение имеет погода к нашей хронике?

— Непосредственного отношения она, конечно, не имеет; но батюшка зовет меня к обеду, он давно уже подает мне знаки,— по-видимому, проголодался, рано сегодня встал.

Батюшка — это тесть нашего репортера. Они живут вместе, как раз напротив редакции, во дворе церкви святого Иоанна. С балкона их дома видна редакция, а отсюда — их балкон. Летом, когда мы работаем с открытыми окнами, священник просто кричит своему зятю: «Игнат, готово!» Зимой он подает ему знак рукой. Поэтому Каракуди всегда работает за столом, что у окна.

— Раз так,— продолжал я, — не стану больше вас задерживать. Мы условились: рождественскую хронику «Вифлеем, ясли, звезда, волхвы и т. п.» — ни больше и ни меньше двух колонок. Размер вам известен, колодка вам знакома... Следовательно, как хороший башмачник, обуйте меня, дорогой коллега, обуйте по всем правилам!

Вместо ответа дорогой коллега распахнул окно, в которое ворвался ледяной ветер, и громко крикнул через весь двор:

— Иду сию минуту! Подогрейте борщ!

После чего он простился и ушел.

Было бы излишним рассказывать историю супружеской жизни нашего уважаемого сотрудника. Я ограничусь приведением в хронологическом порядке нескольких документов, появившихся в свое время на страницах «Возмущения нации». Все они вышли из-под пера означенного лица, следовательно, они беспристрастны.

«С удовольствием сообщаем, что вчера, 11 января, в церкви святого Иоанна состоялось бракосочетание нашего уважаемого сотрудника Иг. Каракуди с мадемуазель Флорикой, блестящей преподавательницей истории, дочерью священника Пантелия Бырзеску.

Посажеными были наш любимый и достопочтенный директор со своей прелестной супругой.

Горячо поздравляем новобрачных».

К концу того же года, 21 декабря, на другой день после святого Игната, «Возмущение нации» поместила следующую информацию:

«С особым удовольствием сообщаем, что уважаемая госпожа Флорика Каракуди, блестящая преподавательница истории, родила премилого мальчика, которого окрестили именем Траян.

Знаменательное совпадение! В тот же день счастливому отцу, нашему достойному сотруднику господину Иг. Каракуди, исполнилось тридцать пять лет.

Горячо поздравляем».

Через год и два месяца новая заметка: «С удовольствием сообщаем...», но уже без «знаменательного совпадения», и вместо Траян — Децебал.

Через тринадцать месяцев то же самое; но вместо Децебал — Аврелиан.

К концу года вместо Аврелиан — Мирча.

Не проходит и одиннадцати месяцев, и снова «сообщаем», но вместо Мирча — Дан.

Всех новорожденных, от Траяна до Дана включительно, крестил я. Таким образом, мы породнились с семейством Каракуди и отцом Бырзеску. Поэтому-то его преосвященство и величает меня: «кум Янку».

После ухода Каракуди я стал отбирать из редакционного портфеля материал для рождественского номера. Поглядим, что можно выжать при помощи ножниц — этого гидравлического пресса редакции.

«*Искусство без тенденций и тенденциозность в искусстве*», или «*Тенденциозное искусство и тенденциозность без искусства*» — шестьдесят пять страниц с продолжением — эстетическое исследование жгучей актуальности!

«*Роль печати как четвертой силы в современном конституционном государстве*» (боже правый!) — семьдесят семь страниц, конечно, с продолжением...

«В безлюдной пустыне высшего света» — повесть; в ней сто страниц министерского формата, написанных мелким, четким почерком без единой подчистки и помарки. Это нельзя сдавливать гидравлическим прессом: здесь надо сохранить каждый слог, каждую запятую. Мы дадим начало в рождественском номере, а продолжение в следующих номерах; выйдет около тридцати двойных подвалов — настоящая находка для редакции! Отличная повесть!

«В безлюдной пустыне высшего света» — история деревенского мальчика, который после длительного учения на родине и за границей становится светилом науки, видным профессором в Бухаресте. Возвышенная душа, полная высоких порывов, иллюзий и идеалов, как у каждого выходца из деревни; он ищет взаимопонимания в высшем свете, куда вводит его один друг — скептик. Напрасно, это — прогнивший мир. Маски на лицах, коварство в сердцах! Фальшь и румяна, плесень и полировка!

Разочарованный этим торжищем, герой отправляется на отдых в родное село, где он так давно не был. Там в нем пробуждаются святые воспоминания детства. Ласково лепечут ему о них родительская избушка, мельница, ручеек, колокола, бубенчики, позвякивающие, когда коровы возвращаются вечером в село; потом тропинки, перелески, холмы, долины, солнце, луна, звезды, песни диких и домашних птиц; наконец, дождевые капли, шелест ветра, аромат свежескошенного сена и т. д.

Очарованный этими восхитительными впечатлениями, однажды, в воскресенье на гулянье, он встречает здоровую крестьянскую девушку Някшу, румяную, как пион, ненакрашенную, ненапудренную, не умеющую говорить по-французски и танцевать бостон и кекуок, но говорящую на чистом румынском языке, благоухающем фольклорным ароматом, девушку, отплясывающую хору и бэтуту, брыул и киндию так, что земля дрожит, переплясывающую всех деревенских парней, пришедших даже из соседних сел специально для того, чтобы с ней потанцевать...

Герой, охваченный «внутренним порывом», делает ей комплимент — она, вспотевшая, дает ему пощечину; он пытается ее обнять — она лупит его кулаком по лицу; он хочет ее поцеловать — она кричит: «Эй! будь ты...» — и толкает его так, что он летит в придорожную канаву. Он поднимается, потрясенный и просветленный, тяжело вздыхает, приводит себя в порядок и немедленно отправляется к отцу Някши — деду Оанча Туряткэ, старому чистокровному румыну, умному и веселому, известному своими шутками и прибаутками на шесть верст в округе,— и просит руку его дочери.

Все это красиво, потому что естественно и логично! То, что называется «молниеносная любовь», более понятно в селах, чем в

городах, так как поселяне еще не знакомы с громоотводом. После некоторого капризного сопротивления дочери старик, конечно, соглашается. Далее следует описание пышной свадьбы с подробным перечислением всех старых и столь оригинальных румынских народных обычаев. Герой обретает счастье.

— Уф! Наконец-то я избавился от грязи высшего света!

Говоря это, он пытается при всех обнять новобрачную.

— Не лезь... а то смажу...— говорит застенчивая Някша, отстраняя пылкого жениха ударом кулака в бок.

Гости смеются, а мудрый старик дед Оанча Туряткэ понимающе улыбается и шепчет:

— Вишь, как его разбирает!

Этим на сотой странице заканчивается прекрасная повесть... слишком быстро!.. Жаль!

Конечно, я не из тех, кто доволен сам собой... Я достаточно хорошо понимаю, какими скромными способностями меня наделила муза, предначертав мне высокоответственную карьеру, возложив на меня великую миссию румынского публициста.

Но, несмотря на это, я никогда не чувствовал в левой стороне груди сосущего червячка зависти (как бывает у других). Слава богу! В моем сердце таится много недостатков, но никогда не было места для подобной змеи!.. И все же я чувствую неизъяснимую печаль, когда вижу стопу листов министерского формата, чисто и мелко исписанных. Почему и мое перо не может скользить не спотыкаясь, пересекая бесконечные белые поля? Почему я не могу не переводя дыхания, разом одолеть несколько дестей бумаги? Почему, о жестокая муза, рука моя не может излить бурные потоки и водопады прозы?

Пока я предавался печальным размышлениям, вошел мокрый, как щенок, симпатичный молодой человек — наш литературный сотрудник, пишущий под псевдонимом «Пиколино»,— мальчик, прекрасно воспитанный в доме родителей на французской литературе. Он только через год закончит гимназию, еще не достиг совершеннолетия, но необыкновенно талантлив. С какой легкостью и быстротой подбирает он рифмы!

Когда он в первый раз, смущаясь, принес мне несколько стихов, настоящих жемчужин, я спросил его: «Enseigne-moi, jeune homme, où trouves-tu la rime?»[1]

Он не задумываясь ответил мне скромно, но изумительно верно: «La rime, cher patron, et mon souci minime!»[2]

---

[1] «Объясните мне, юноша, где вы находите рифму?» *(франц.)*

[2] «Рифма, дорогой патрон, меня волнует меньше всего!» *(франц.)*

— Пиколино, дорогой, я только что о вас думал. Специальный рождественский номер с одной прозой — это кулич без изюма. Прошу вас, не можете ли вы настрочить поскорее два-три стишка?

— Сейчас будет сделано, господин директор, они почти готовы.

И щупленький поэт, повесив шляпу и плащ, подул на свои тоненькие пальчики и, примостившись на углу стола, спиной к печке, начал работать. Я слышал только, как перо царапало бумагу, словно мышь, грызущая что-то в подполье.

Меньше чем через полчаса поэт преподнес мне три горсти изюма во вкусе модернизма.

— Браво, молодой фаворит грациозной музы поэзии! Ваши стихи прекрасны. Надеюсь, что наш кулич выйдет хоть куда[1].

Прошло две недели, приближалось рождество. Каждый день я спрашивал Каракуди:

— Что с хроникой?

— Почти готова.

— Когда вы ее принесете?

— Завтра.

И так каждый день — все завтра да завтра.

Наконец наступил вторник — канун дня святого Игната, послезавтра утром должен выйти праздничный номер. Весь остальной материал готов.

Жду Каракуди целый день — напрасно.

Посылаю ему домой записку — приносят ответ: «Не беспокойтесь».

Открываю окно, зову его — никакого ответа.

Наступает вечер. Меня преследуют недобрые мысли. Я чувствую, что мы остались без рождественской хроники. Холодный сапожник — всегда холодный сапожник.

Вдруг появляется Каракуди...

— Хроника, где хроника, уважаемый?

---

[1] Маловероятно, что читатели помнят эти строки, напечатанные в «Возмущении нации», которая давно перестала существовать. Поэтому мы считаем необходимым опубликовать пробу пера нашего скороспелого литературного сотрудника.

Бездна

Хоть ты и любишь, все ж я знаю —
И грудь сжимается моя,—
Меж нами бездна, нет ей краю,
Ведь я — не ты, а ты — не я.
И нам с тобой любовью страстной
Той не заполнить пустоты...
Любить, любимая, напрасно —
Ведь ты — не я, а я — не ты.

— Она уже в типографии.
— Правда?
— Честное слово!
Он смотрит на меня, улыбаясь и подмигивая с таким видом, что невольно вызывает мысль: «Если этот человек сам не идиот, то уж наверно меня считает за такого».
В последние дни погода несколько улучшилась. Мы уже надеялись, что на праздники будут ясные дни; вдруг на ночь ветер переменился: снова дождь, снег, заморозки, оттепель, буран,— погодка, в какую и репортера жаль выпроводить на улицу.
Я был озабочен уже с утра, когда прислуга подала мне записку от метранпажа, господина Костикэ:

«Господин Янку, я приостановил набор хроники, присланной господином Каракуди; она не годится, ее надо отложить до весны. Номер не может выйти. Что делать? Прошу приехать в типографию, и по возможности скорее».

Ничего не понимаю. Что произошло?
Беру извозчика. Боже мой, какая погода!.. Наконец приехали.
— Что случилось, господин Костикэ!
— Вот взгляните сами, господин Янку.
Хватаю гранки, начинаю читать и чувствую, как земля уходит у меня из-под ног.

«Христос воскресе!
По всему земному шару из края в край, с востока на запад и с запада на восток, с юга на север и с севера на юг, повсюду, где природа надевает свои блестящие весенние наряды, при торжественном звоне тысяч и миллионов колоколов, в пышных соборах великолепных столиц великих империй и в самых скромных часовнях одиноких, заброшенных деревень — повсюду христиане весело приветствуют друга друг магическими словами: «Христос воскресе!»

— Ах, мерзавец! Разбойник! — закричал я на всю типографию.— Он меня убил, зарезал без ножа! Что делать?
— Сочините на скорую руку другую хронику,— говорит Костикэ.
Бегу в редакцию, стараюсь не глядеть в сторону дома Каракуди. Пишу и перечеркиваю, снова пишу и снова перечеркиваю... Пальцы дрожат. Не могу удержать ручки, а время — уж скоро десять часов! Проклинаю свою судьбу! Вдруг в дверях появляется — кто бы, вы думали? — злодей! С трудом заставляю себя

взглянуть на него и слабым голосом, как у роженицы после тяжелых родов, говорю:

— Спасибо, дорогой Каракуди! Здорово вы надо мной подшутили!

— Как подшутил, господин директор?

— Пожалуйста!

И протягиваю ему гранки. Он их просматривает и начинает смеяться.

— Простите, произошла маленькая ошибка. У меня все эти хроники приготовлены заранее. Но если бы вы знали, что я пережил за последние два дня! И вот ошибся: не посмотрел, когда вынимал рукопись из письменного стола.— Разговаривая со мной, он все время смотрит в окно.— Сейчас принесу вам рождественскую хронику. Я уверен, что у меня припасена и такая, наверняка должна быть. Только бы ее найти... У нас теперь не убрано... Я еще вам не говорил, Флорика разрешилась от бремени.

Я окончательно изнемог.

— Когда?

— В семь часов утра...

— Ну и как?

— Девочка... Но схватки продолжаются.

— Ладно, нечего ходить на поиски хроники. Только вот что я вас попрошу: возьмите перо, у меня затекли пальцы, я не могу писать.

Снимаю с полки одиннадцатый том словаря «Ларусс», нахожу нужную страницу и мягко говорю счастливому отцу:

— Пишите...

Он устраивается за столом у окна, вытирает стекло шапкой, чтобы видеть, что делается напротив. Я начинаю диктовать:

«Праздник рождества Христова — один из древнейших христианских праздников. Чтобы уточнить эпоху установления этого праздника, мы должны обратиться к истокам христианства. Согласно свидетельству некоторых авторов, этот праздник был установлен в 138-м году нашей эры епископом Телесфором...»

Замечаю, что Каракуди не пишет, а пристально глядит в окно.

— Что я сказал?

— ...в году тысяча восемьсот восемьдесят третьем нашей эры епископ Телефон...

Прежде чем я успеваю крикнуть ему «пошел вон!», он сам бросает перо, хватает шапку и молнией устремляется за дверь.

Появляется поэт Пиколино, и я диктую ему продолжение хроники. После обеда тираж четырех страниц почти готов.

Вдруг снова появляется Каракуди, очень веселый и довольный.

— Господин директор, я принес информацию, которая обязательно должна попасть в праздничный номер. Уверен, что она доставит вам большое удовольствие...

Он читает:

«С особым удовольствием сообщаем, что уважаемая госпожа Флорика Каракуди родила сегодня, 20 декабря, двух девочек, Деспину и Кяжну.

Знаменательное совпадение! В этот же день счастливому отцу, нашему уважаемому сотруднику господину Иг. Каракуди, исполнилось сорок лет.

Горячие поздравления счастливым родителям».

Наш праздничный номер получился на славу. Успех имели и хроника, и стихи, и начало повести; но особый успех у наших коллег имела информация о «знаменательном совпадении» и моя статья о празднике епископа Телефона.

В воскресенье, накануне рождества, в редакцию пришел благословить нас с праздником священник Пантелие Бырзеску в сопровождении нашего ценного сотрудника. Оба предельно веселы.

— Славим рождество господа нашего Иисуса Христа,— начинает батюшка и в заключение желает мне долгих лет счастливой жизни.

Я смиренно кланяюсь, целую икону, ласково смотрю на зятя и отвечаю тестю:

— Воистину воскрес, батюшка!

А на улице — дождь и снег, тает и замерзает, грязь и буран... непогода страшная, даже священника жаль выпустить из дому.

1907

КИР[1] ЯНУЛЯ

Говорят, будто лет сто тому назад Дардарот, владыка преисподней, приказал предстать перед ним всем чертям — от мала до велика, пригрозив тому, кто ослушается, укоротить хвост и удлинить уши! Когда все собрались, царь дернул себя за бороду, страшно заскрежетал зубами, кашлянул так, что заскрипел трон, и, вылупив глаза, заорал:

— Окаянные! Кто из вас не дурак и видит, что происходит у него под самым носом, что творится вокруг, тот, как и я, замечает, что все люди, попадающие к нам сюда, жалуются на своих жен.

---

[1] Господин *(греч.)*.

Всю вину за свою погибель они сваливают только на них одних. Стоит спросить любого: «Почему ты сюда попал?» — и слышишь в ответ лишь одно: «Женщина... женщина...» Неужели это так?.. Думаю, что на слова людей не очень-то можно полагаться, с правдой-то они не в ладах! Все же мне хочется хорошенько проверить это странное дело; ведь политика нашего царства требует, чтобы мы знали все; нам нельзя ошибаться или в чем-либо сомневаться... Хотел было я приказать вам подвергнуть женщин страшным мукам — авось удастся из них выжать хоть крупицу правды; но передумал: никакого толку не будет, очень уж они упрямые и строптивые... И вот, поразмыслив хорошенько, я решил послать на землю малыша Агиуцэ... Что? Агиуцэ не пришел?.. Где Агиуцэ?

А малыш притаился в задних рядах, среди мелких чертей, и, пока Дардарот держал речь, он, прислушиваясь к его словам, взвешивал собственный хвост на руках. Услыхав свое имя, он тотчас же закричал:

— Я здесь, твоя темность!

— Так почему же прячешься, коли здесь? Поди, проклятый, сюда! За других прячешься? Почуял, малый, что дело для тебя есть, и хоронишься, как бы я твою морду не приметил, не вспомнил о тебе!

Как только Агиуцэ подошел, Дардарот схватил его за уши и давай трепать так, что у чертенка косточки затрещали,— все это от большой любви: малыш был потешный, и когда царю наскучивали державные заботы, он звал Агиуцэ, и тот молол всякую чепуху, шутки откалывал.

— Послушай, милок... Сию же минуту возьми из царской казны сто тысяч золотых, те, что доставили позавчера вместе с околевшим скрягой. Бедняки с окраины похоронили его на собранные подаяния, а то он уже попахивать начал. Возьмешь, стало быть, сто тысяч золотых, обернешься смертным человеком и заявишься на землю. Выберешь на земле такое место, какое тебе подходящим покажется. Там — слушай внимательно, перестань хвостом баловать!— женишься и проживешь с женой десять лет. Потом будто помрешь и оставишь на земле свое тело. А сам вернешься сюда и подробно расскажешь обо всем, что ты выстрадал как женатый человек...

Бедняга Агиуцэ! Не зря он прятался среди мелкоты, хоть и стоил целых двух чертей; догадывался, что опять ему дадут дьявольски трудное поручение. А услыхав, что придется иметь дело с женщиной, совсем поджал хвост: он все еще помнил старуху, к которой однажды нанялся служить на три года... Ну и задала ему старуха работенку! Велела выпрямить вьющийся волос. Агиуцэ смачивал его слюной и вытягивал между пальцами днем и ночью,

без отдыха. Чем больше он его смачивал и вытягивал, тем круче волос вился. И так все время, пока черту не осточертела такая жизнь. Махнул он рукой на жалованье и сбежал от хозяйки.

— И знай,— добавил Дардарот, немного подумав,— что за эти десять лет ты испытаешь все горести, все сладости и все напасти, какие выпадают на долю простых смертных, узнаешь, что такое невежество, нищета, рабство, глупость и даже гнев. Защищаться же от всех зол будешь сам как сможешь, по своему разумению... Понял, малыш?

Что мог ответить чертенок? Он и пикнуть не посмел: Дардарот не выпускал его из когтей.

— Понял, твоя темность!

— Так чего ж стоишь, коли понял?

— Ты же мое ухо не отпускаешь...

Очень рассмешила эта шутка царя, и он сказал:

— Тьфу, не сглазить бы тебя!

Дардарот плюнул малышу прямо в кончик носа, отпустил его ухо, перестал улыбаться, угрожающе заорал: «Ты еще не ушел?» — и пнул Агиуцэ ногой в то самое место, пониже спины, откуда хвост растет. Кубарем покатился малыш прямо к царской казне, взял сто тысяч золотых и был таков,— пустился без оглядки выполнять свой долг.

По дороге он принял образ человека средних лет, красивого и статного. Раздумывая, какое место выбрать на земле, он решил: «Пойду-ка в Бухарест... знаю я этот веселый город (он много раз там бывал). Деньги там дорогие; если умело ими ворочать, можно получить сто на сто прибыли, а то и больше. Старики правильно говорили: «Если ты беден, ступай в богатый город... там многое подберешь из того, что у других проскочит между пальцев. Если же ты богат, иди в бедное селение... из каждой крошки, что поднесет бедняк ко рту, больше половины отнимешь».

С такими мыслями очутился Агиуцэ в Бухаресте и остановился на постоялом дворе Манука, в самом сердце города. Позвал он к себе маклера и велел ему немедленно найти красивый дом, чтоб было в нем много покоев для хозяев, для гостей и для прислуги, и сад, и колодец во дворе, и погреба, и кухни, и прачечные, и конюшни, и каретники,— одним словом, дом, как подобает богатому торговцу. Через несколько дней был найден и отделан большой дом на Торговой слободе. Слуг там толпилось много, в конюшне стояли лошади, в каретниках коляски и экипажи.

Новому хозяину знакомы были повадки грешных людей, особенно женщин; он знал, что они начнут наперебой расспрашивать,



Теодор Аман (1831—1891)
«Синая в 1888 году»

кто он, откуда родом, на что живет, зачем пожаловал и еще многое другое. Позвал он к себе старую размалеванную хрычовку, которую назначил старшей над прислугой, поручив хранить ключи, предложил ей присесть на коврик, а сам, развалившись на диване и попыхивая чубуком, стал рассказывать:

— Вот что, дорогая кера[1] Маргиола... Как я уже тебе говорил, зовут меня кир Януля... Родом я из-под Святой горы с Афона. Родители мои — люди простые, кормились небольшим садом, где росли оливковые деревья. Когда мне пошел восьмой годок, родителям захотелось посетить святые места. Раздобыв деньжонок, взяли они меня с собой; верхом на мулах мы отправились в порт Салоники, а там сели на большой корабль,— он как раз отплывал на юг, в Яффу. Вскоре подул долгожданный ветер, наполнил паруса, и мы двинулись в путь. Три солнечных дня и три лунные ночи плыли мы спокойно. Питались мы, как заведено, одной постной пищей. Примерно на третий день пути были у нас на обед фасоль и редька. И что бы ты подумала?.. Часам к четырем схватились мои родители за живот и стали страшно причитать: «Умираю... умираю!..» Капитан, увидев, как они корчатся в предсмертных судорогах, тотчас же позвал ехавшего на нашем корабле монаха-католика. Монах был человек ученый и в болезнях разбирался. Пока он пришел, больные уже посинели и лишь с трудом смогли поведать ему, что ели фасоль и редьку. Монах промолвил:

— Понимаю, дети. Но скажите мне, вы ели фасоль и редьку или редьку и фасоль?

Мать прошептала:

— Редьку и фасоль.

— Тогда дело плохо! — заметил монах и приказал натереть им животы жесткой паклей...

Но напрасно их терли, чуть кожу не содрали. Когда взошла луна, сперва отец, а затем и мать отдали богу душу... Я, несчастный ребенок, все плакал и ходил вслед то за капитаном, то за монахом; услышал я их разговор.

— Святой отец, коли это холера,— сказал капитан,— я пропал: сорок дней не разрешат мне входить в порт, товар испортится, и я разорюсь.

Но ученый человек ответил:

— Это такая же холера, как я монашка. Эта болезнь часто свирепствует во время поста, перед пасхой, среди восточных христиан. Ошибаются люди, что поделаешь,— едят раньше редьку, а потом фасоль... Видишь ли, редька направляет свою силу вверх, а фасоль обрушивается всей своей мощью в обратную сторону:

---

[1] Госпожа *(греч.)*.

одна толкает, а другая не уступает. Во внутренностях разгорается борьба с быстротой невероятной, начинаются беспрерывные судороги, пока не спутаются все кишки и не лопнет желудок. Так и погибает человек от *хурдухарисмоса*, как называют греки эту странную болезнь.

— А она незаразная?

— Нисколько. Будьте покойны.

Завернули моих несчастных родителей в чистые простыни. Поставили им у изголовья по восковой свече, а греческий монах прочел заупокойную молитву. Утром, когда над волнами показалось солнце, пропели им «вечную память» и — раз! два! три! — бросили в пучину морскую... Увидел капитан, что я плачу, сжалился надо мной и взял на выучку: сначала я был у него слугой, потом помощником, затем стал его компаньоном... Я уж не говорю, дорогая кера Маргиола, сколько горя пришлось мне хлебнуть, сколько обид, ругани и побоев выпало на мою долю. Много раз я тонул, и много раз обманывали меня обстоятельства и люди,— особенно с тех пор, как я снарядил корабль и стал торговать сам, а хозяином и компаньоном мне были только счастье да удача... Не стану рассказывать, как однажды остался я в чем мать родила, спасаясь с горящего корабля, после того как проплавал семь месяцев подряд и только собрался войти в Царьград. Сгоревший корабль был гружен оловом и янтарем на две с лишним тысячи лир — этот товар я выменял за перец и финики, а они обошлись мне меньше трехсот! Да и не расскажешь всего, что я пережил в дальних краях и морях; досталось мне и от диких зверей, но больше от людей!.. В конце концов стал я мало-помалу богатеть и нажил приличное состояние... Пока я бродил по свету, сумел научиться тонкому обхождению, изъясняюсь на иностранных языках, а о румынском языке могу сказать, не хвалясь, что знаю его отлично. Хоть родом я албанец и не очень-то обучался грамоте, но заткну за пояс любого румына, будь он даже ученый. Мне особенно нравится здешний язык и здешние люди, а кроме того, опостылели мне все опасности, которые предостерегают путешественника, все треволнения, что связаны с торговлей. И вот я решил поселиться здесь, в Валахии, в Бухаресте. Хочу в тишине и спокойствии пожинать плоды своего долгого, тяжелого труда...

— Боже мой, кир Януля,— вздохнула Маргиола,— чего только не пришлось тебе вытерпеть!.. Но не надо огорчаться, страдал ты не напрасно, как бывает со многими! Человек ты видный, статный, богатый! Жить умеешь!.. Все прекрасно!..

Кир Януля добавил:

— Да, чуть не забыл... Имей в виду, дорогая кера Маргиола: не смей никому говорить о том, что ты сейчас от меня услышала.

Я человек кроткий, но если узнаю, что ты проболталась соседу какому, или кому другому, или даже отцу моему, ежели он вернется со дна морского,— не посмотрю, что ты старая, что честно и преданно служишь мне... Изувечу, сломаю чубук о твою спину и выгоню вон с позором. Поняла?

— Упаси боже! — молвила старуха.— Неужто я себе позволю такое? В жизни этим не занималась! Эх, кир Януля, кир Януля, я служила во многих богатых помещичьих домах!.. Сколько мне там приходилось видеть и слышать!.. Некогда сейчас рассказывать... Не беспокойся...

— Одно тебе говорю... Погублю, если скажешь!.. Все...

— Убей, ежели вымолвлю хоть словечко! — согласилась старуха, не стала больше задерживаться, поднялась с коврика и, позвякивая ключами, поспешила по своим делам.

К вечеру все домашние, через два дня вся улица, а через неделю весь город знали историю кира Янули лучше, чем он сам. Корабль горел три раза. Сгоревший янтарь расценивался в двадцать тысяч лир. С тех пор во время поста никто не ест редьку затем фасоль, а все едят сначала фасоль, а уж потом редьку.

День шел за днем, и кир Януля познакомился со многими купцами и даже с боярами; стал он ходить к ним в гости и к себе звал на пирушки. Всем он нравился, потому что был он человек умный, ласковый, обходительный, знающий, щедрый, сердечный. Вел он себя отменно и был добрым христианином,— одним словом, достойный человек. Если у кого из купцов или даже бояр было больше дочерей, чем денег, они из кожи лезли — как бы заполучить его в зятья. Тем временем он приметил молодую соседку Акривицу, дочь бывшего оптовика Хаджи Кэнуцэ. Хаджи был вдовцом, пользовался уважением у всех, но с трудом сводил концы с концами, обремененный тремя дочерьми на выданье. Имел он еще двух сыновей — хорошие, правда, парни, но оба неудачники,— поэтому на приданое Акривицы надежд было мало. Но Януля не нуждался в приданом. Девушка славилась красотою, был у нее один только изъян: иногда, правда не всегда, она чуть-чуть косила, но именно это особенно нравилось Януле. Девушке он тоже нравился... Кир Януля попросил у отца ее руки, и тот без всяких колебаний отдал ему дочь.

Как и всем смертным, киру Януле были свойственны человеческие слабости, и в особенности тщеславие. Он любил жить богато, пировать по-царски, раздавать направо и налево дорогие подарки. Закатил он, стало быть, блестящую свадьбу, какой еще на Торговой слободе никто не видывал. Мужчины говорили: «У этого албанца, видать, денег куры не клюют!.. Ну и повезло чертову

Хаджи!» А женщины судачили: «Вот счастье привалило косоглазой дочери Кэнуцэ!»

Как только кир Януля привел с музыкантами жену в дом, будто подменили ее. До самого конца свадьбы, в воскресенье вечером, была она кротка и покорна, словно овечка, но в понедельник встала с постели львица львицей... Созвала всех слуг, женщин и мужчин, взглянула на них искоса, на всех страху нагнала и заявила им при муже:

— Запомните, отныне я здесь хозяйка. И знайте, с Янулихой дело у вас не пойдет так легко, как с дураком Янулей. Имейте в виду, на меня иногда находит: если меня кто рассердит хоть каплю, тресну его и сейчас же отправлю в полицию, там он тоже сполна получит! Все!.. Поняли? А сейчас пошли вон!

С тех пор день ото дня барыня становилась все суровей и спесивей. Но чем она становилась суровей и спесивей, тем больше любил ее кир Януля; а по мере того как росла его любовь, росли ее злость и чванливость. День-деньской мечтал бедный человек услышать от нее доброе слово или увидеть улыбку... А она все сидит насупившись, угрюмая и хмурая. Бывало, подойдет он к ней, приласкать пытается, хоть чуть задобрить:

— Акривица, дорогая, почему ты сердишься?

А она его только злобно отталкивает:

— Да отстань ты, Януля, от меня... Не видишь, что опостылел?

Другой мужчина давно потерял бы терпение, задал бы ей встрепку либо отослал обратно к папаше, Хаджи Кэнуцэ. Но куда там! Она гонит Янулю, а он падает на колени:

— Дорогая Акривица, прости меня! — и давай целовать ей руки.

А она:

— Ух! Януля, встань, не докучай мне!

— Не встану, пока не простишь!

— Тогда оставайся так до послезавтра, если угодно,— кричала она, поднималась и уходила, показывая ему нос.

Что оставалось делать киру Януле? Долго смотрел он ей вслед, как она надменно выходила, не удостоив его даже взглядом, хотя он плакал и молил ее не покидать его так... Вздыхал, утирал слезы и... еще больше любил.

Так они и жили, пока не взбрело барыне в голову по-иному его помучить: прикинулась, будто безумно ревнует. Притворялась день, притворялась другой, пока сама себе не поверила. Поскольку кир Януля давал деньги взаймы, к нему приходили по делам господа, знатные дамы, купцы, чиновники,— в общем, самый разный народ. Акривица сперва все подслушивала у дверей, затем даже просверлила в двери дырочку и стала подглядывать. И ду-

маете, она молчала? Куда там — без стыда выкладывала ему все, что слышала и видела: тот сказал так, а ты, мол, ответил эдак; той ты пожал ручку и поцеловал три раза, а потом, когда она собралась уйти, обнял за талию, посмотрел на нее нежно, проводил до дверей и еще раз поцеловал ручку... И чего только она ему не наговаривала!

Кир Януля клялся жене, что зря она его подозревает, разъяснял, что каждый торговец обязан быть со всеми вежливым, особенно с дамами. Она же заладила лишь одно — отчитывала его, обзывая бесстыдником и обманщиком. Совсем извелся кир Януля, хоть удавиться впору, как той синице. А барыня все не унималась. Мало того что сама подслушивала и подглядывала да к тому же многое от себя прибавляла, так она еще платила слугам, чтобы те шпионили за мужем. Приказала даже своему братишке ходить за ним по пятам, следить за всеми «проделками этого распутника». Разумеется, ни слуги, ни братишка ничего не узнали: ведь кир Януля был человеком вполне порядочным и верным мужем. Стала тогда барыня ругать слуг, кричать, что они «негодные, подлые изменщики», что зря едят ее хлеб. Братишке заявила, что, если он переступит порог ее дома, она ему ноги переломает. Всю прислугу она в присутствии хозяина наградила оплеухами и прогнала.

Как только она сменила слуг, начались новые подозрения и новые ссоры... Правда, ссорой это назвать нельзя: во время ссоры один говорит одно, другой — другое, либо по очереди, либо оба вместе,— в общем каждый что-то говорит. Но тут кричала, ругалась и проклинала только она, а кир Януля слушал и молча все терпел. Почуяли слуги, что в этом доме хозяин ничего не значит, и стали подлизываться к хозяйке: рассказывали ей про кира Янулю всякие небылицы, одна другой хлеще. Такими слугами барыня была довольна, а они делали все, что им заблагорассудится, и безбожно обкрадывали хозяев.

Тогда же Акривица пристрастилась к картам: во всех комнатах стоят столы, дом полон гостей, играют и в «тридцать одно», и в «штосс», и в «фараон»... Угощают гостей вареньем, всякими сладостями, кофе, винами и наливками, подают без конца чубуки — и так с утра до вечера и с ночи до утра. Акривица была к тому же очень самоуверенна, считала, что никто не играет лучше ее, и, конечно, помногу проигрывала. Все эти расходы и проигрыши доставляли киру Януле уйму хлопот, доходов ему стало не хватать. Он ничего об этом не говорил жене, но иногда, будто в шутку, у него все-таки вырывалось:

— Как бы у нас не пошло все с молотка, с этими картами! Барыне только того и надо было...

— Что? Такое невинное развлечение и то я не могу позволить себе в своем доме!.. Дочь Хаджи Кэнуцэ не привыкла в родительском доме считать каждый грош!.. Если ты знал, что нищий, нечего было жениться на мне! Женился бы на какой-нибудь нищей девке, держал бы взаперти, кормил маслинами да мамалыгой, а она сама стирала бы тебе белье и от жадности не зажигала бы даже огарка в доме! Или женился бы на другой, и она наставила бы тебе такие рога, что ты их и нести бы не мог!.. Мало тебе, что я порядочная женщина, что терплю, несчастная, все твои грязные, подлые выходки?.. Я жить хочу, поэтому и замуж пошла; иначе отправилась бы в монастырь!.. А вообще-то, Януля, если тебе не нравится, убирайся на все четыре стороны, увидимся, когда увижу я собственный затылок без зеркала!

Однажды, когда за столом было множество гостей, стала Януля ни с того ни с сего рассказывать об одной своей замужней подруге, которая в тот день не пришла к ним:

—...будто она связалась с таким-то князьком — он еще ребенок! — и рассвирепевший господарь чуть было не приказал остричь ей косы и заточить в скит, далеко в горы;

...будто однажды днем муж застал ее у Цурлоайе: она пировала на лугу с чужестранным консулом и другими повесами. Цыгане с жаром играли «казачка», а она, закинув руки на затылок, точно запорожский гуляка, плясала в одних туфельках;

...будто однажды она поехала исповедоваться в Кэлдэрушань к его преосвященству отцу Иоаникию и пробыла там со среды на страстной до самой красной горки. Все ночи напролет она, мол, каталась по озеру при луне с духовником и пела так, что на всю округу раздавались отнюдь не церковные песни. А святой старец сидел на веслах и вторил ей басом.

И всякие такие страсти...

Гости, особенно гостьи, весело смеялись, а кир Януля, бедняжка, благочестивый человек, не находил себе места от стыда. Он терпел и молчал, но наконец сказал, сперва очень ласково:

— Акривица, душа моя! Как ты можешь так? Ты же знаешь, мы с ее мужем хорошие друзья... Ты ведь сама всего этого не видела и без всякого основания так порочишь приятельницу, которую мы почти каждый день принимаем у себя. Нехорошо!

— Ну, разумеется, ты будешь ее защищать!.. Все время друг на друга глаза пялите!

Затем она заявила всем, что теперь подруга уж не исповедуется в Кэлдэрушань: она заглядывается на Янулю. «Задумала разбить мою семью!» Но пусть только она, Акривица, застанет ее на

месте преступления! Не простит ее, как простил господарь: велит остричь, как солдата в казарме, эту... И иначе как монашьей и казачьей девкой ее не называла.

У кира Янули лопнуло наконец терпение. Он вскочил в бешенстве и, весь дрожа от гнева, закричал:

— Послушай-ка, Акривица! Я не позволю тебе, понимаешь, не позволю тебе говорить ни одного слова больше о женщине, которая порядочнее тебя, хоть ты и болтаешь о ней всякие мерзости, все, что приходит тебе на ум. Сама ты хуже ведьмы, самого кроткого человека из себя вывести можешь! Замолчи, гадюка, безумная, не то я прикажу связать тебя и отправить в сумасшедший дом! Понятно?

Акривица тут же метнулась к мужу — хотела дать затрещину. Он увернулся, а она с досады схватила со стола суповую миску и швырнула ему в лицо — ошпарила с головы до ног. Кир Януля рассвирепел и, сжав кулаки, бросился на жену, чтобы проучить ее, но гости встали между ними и удержали его:

— Да что вы, кир Януля! Успокойтесь! Негоже так!

Стали они и Акривицу унимать:

— Успокойтесь и вы, госпожа Акривица, бога ради! Не выводите его из себя!

Да не тут-то было!.. Принялась госпожа голосить, чуть не подняла на ноги всю слободу:

— Помогите! Помогите, люди добрые! Изувечит меня язычник, албанец!.. Ты еще бьешь меня, а? Мало тебе того, что ты надругался над семьей, над моей честью, вор, прохвост ты эдакий!.. Если ты напился и драться разохотился, поди бей своих любовниц с задворок; их ты засыпаешь деньгами, а дома скупишься на медный грош, свинья!.. Но бить меня, меня! Гнусный мужлан, оборванец, бродяга!.. На меня, дочь Хаджи Кэнуцэ, ты осмелился поднять руку, жалкий, грязный паршивец?.. Ну, погоди же, я тебя проучу, турецкое отродье!

И она не унялась, пока не сорвала голос... Пирушка расстроилась, и все гости стали их утихомиривать: «кир Януля!», «госпожа Акривица!», «чего только не наговорит человек сгоряча», «пальцы на одной руке и то все разные», «внутренности в человеке и то ссорятся», «как бы там ни было, нехорошо, если узнают, что такие случаи бывают в уважаемом доме»,— и всякое такое. С грехом пополам их помирили. Но, конечно, на всей окраине сразу же стало известно, что «дожила бедная Акривица, дочь Кэнуцэ, до того, что бьет ее албанец за столом, в присутствии гостей — хоть сам ей изменяет с первой встречной!..»А подруги вторили: «Бедняжка, как она была воспитана — и в чьи руки попала!.. В гроб ее загонит язычник!»

Кир Януля был отходчив, и вскоре началось снова: «Моя дорогая! Моя милая! Моя крошка, душенька!» И что бы она ни приказывала, он отвечал:

— Как пожелаешь, дорогая, *фосму, паригориа ту косму!* — и другие нежные слова, обозначающие по-гречески: свет очей моих, утеха жизни моей!

А госпожа Акривица размышляла тем временем: «С этим дураком, с этим ослом упрямым, Янулей я жить больше не намерена... Подумаю я лучше о своем будущем...»

День за днем она уносила и прятала в доме Хаджи Кэнуцэ драгоценности и столовое серебро; потом стала продавать ценные вещи из дому. Кир Януля не догадался заблаговременно составить на них опись, как сделал бы всякий разумный торговец. Заодно стала она ласкаться к мужу и всячески его улещивать! Наконец окрутила и заворожила его как только могла, и вот однажды вечером, когда они были в спальне наедине, кинулась Акривица обнимать и целовать Янулю.

— Ты меня любишь, Акривица дорогая? — спросил он.

А она, глядя на него своими косыми глазами:

— Ты еще спрашиваешь, свет очей моих!

Всю ночь Януля не мог уснуть: радовался, что Акривица за ум взялась. Вот сейчас, братец ты мой, жизнь пойдет! Под утро, только он задремал, жена снова сжала его в объятиях и сказала:

— Януликэ милый, у меня к тебе просьба... Только... ты мне уж не откажи.

— Разве я когда тебе в чем отказывал, душенька моя?

— Вот что... Отец хотел бы выдать замуж моих сестренок, чтобы старыми девами не остались. Бабы наши слободские — язычок-то у них знаешь какой — стали уж их называть «кобылами Кэнуцэ». Но он не может дать за ними приличного приданого. Не будь он таким честным и щедрым, имел бы сейчас состояние... Много денег ему должны знатные господа, но что толку, он их пока получить не может. Но когда он умрет, ты будешь, само собой разумеется, его первым наследником и тогда, как купец, приберешь этих господ к рукам и получишь с них долги... Так вот... мне кажется, что нам сейчас надо помочь ему. Дадим девушкам на приданое хоть самую малость. Ведь кто теперь выходит замуж без приданого, по любви? Только мне посчастливилось — тебя встретила, красивого, богатого, обходительного, и ты меня полюбил!

И ну его обнимать и целовать.

— Ладно, крошка, дадим им... По скольку им дать?

— Ах! да разве я знаю?.. Да по тысяче, по две золотых.

— С радостью, душенька!.. Напомни мне завтра. Сходим к Хаджи и отсчитаем ему денежки... А сейчас, дорогая, давай спать.

Но она его снова обнимает и говорит:

—... Да вот еще что... Мои братья... Не годится сидеть им без дела. Я подумала, хорошо бы тебе их снабдить капитальцем, пусть тоже займутся какой-нибудь торговлей, а то вот какие верзилы вымахали, а все сидят на шее у старика!.. Правильно я говорю?

— Милая моя, ты же знаешь, что я всегда согласен с тобой. Напомни мне завтра утром. А теперь давай на боковую.

— Поцелуй меня еще разок, Януликэ, утеха жизни моей!

Он поцеловал ее, и они заснули, как младенцы после купания.

На второй день все и наладили: сестренкам выдали приданое, братьев пристроили к делу. Через несколько дней, получив наставление по торговым делам от старшего зятя, человека опытного, братья захватили с собой полную мошну и отправились за товарами: один из Галаца на восток — в Смирну на корабле, а другой через Брашов на запад— в Лейпциг, в крытой повозке, как в те времена ездили купцы.

Кир Януля не находил себе места от счастья... Днем и ночью одни кутежи с изысканными блюдами и деликатесами; выпивка, веселье, гости, музыканты. Все, чего желала Акривица, все исполнялось. Потребовала бы она поставить на стол башню Колця, Януля поставил бы.

День шел за днем; кир Януля все запускал и запускал руку в сундук с деньгами, все брал и брал оттуда, а обратно не клал ничего. И вот однажды он нащупал дно. До сих пор ему недосуг было считать, что находилось в сундуке. Теперь ему пришло в голову этим делом заняться; но на подсчеты понадобилось весьма мало времени: оставалось немногим больше трехсот лир — только и хватило бы на еду да на мелкие расходы недели на две, на три... Но кир Януля, человек твердый, подумал: «Ну и что ж?.. Пугаться нечего!.. Не сегодня-завтра вернутся ребята с товарами. Начнем торговать, приложим все старания, и если счастье нам хоть чуть улыбнется, снова наполним сундук... А пока будь покоен! Кредит у нас есть!»

Стал он занимать деньги. Бегали маклеры высунув язык, доставали деньги любой ценой. Сам он раньше брал немалые проценты, а теперь приходилось платить ростовщикам еще большие. Сначала этого не замечали, но через некоторое время все узнали, что дела кира Янули сильно пошатнулись. А в городе как раз тогда был большой застой в делах, и вот ему начали отказывать в кредите. Даже под ростовщический процент свыше ста на сто он с трудом получал ссуды, и то не крупные суммы, а так, по мелочам. Все надежды возлагал сейчас кир Януля на молодых людей и не мог

понять, почему они не возвращаются,— ведь купцы, уехавшие в то же самое время, что и они, и даже позже, вернулись уже с товарами, каждый в положенный срок.

Оказалось, что братья опаздывали не без причины... Когда кир Януля уже было потерял терпенье, вдруг одна за другой посыпались плохие новости... У старшего шурина по дороге из Смирны затонул груженый корабль, который он, по неопытности, забыл застраховать. Другому, помоложе, выпало на ярмарке в Лейпциге другое «счастье»: связался с греками, которыми всегда кишат большие ярмарки, весь день шатался с ними по немецким пивным, а вечером они отправились в кофейню одного их соотечественника, на улочке за городской управой, сыграть в картишки. Начали с вечера, а к утру остался он нищим, не на что было парню домой вернуться.

Как только слухи об этом дошли до кредиторов кира Янули, они испугались, что он обанкротится, и собрались в кофейне постоялого двора «Липовый цвет». Стали они совещаться, как быть дальше, как держать его днем и ночью под неусыпным надзором,— не сбежал бы он до истечения срока платежей, как поступают обычно банкроты.

А кир Януля, почувствовав, что разорен, пришел в ужас... Как ему дальше жить в бедности, бесчестии и позоре?.. Посадят его сперва в тюрьму, а когда выпустят, придется просить подаяние у тех, кого он закармливал и задаривал!.. Это еще куда ни шло!.. Но как быть с дочерью Хаджи Кэнуцэ?..

Размышлял он недолго, сразу понял, что остается лишь один выход — скрыться, бежать куда глаза глядят. На рассвете он тихонько встал, выскреб все, что оставалось на дне сундука, прошел к конюшне, приказал оседлать татарского иноходца, сел в седло, сказал конюху, что едет к озеру Снагов за свежей рыбой — ведь он на вечер пригласил гостей,— выехал за ворота шагом и... не оглядываясь пришпорил коня...

Когда он заворачивал налево у кафедрального собора к пустырю Филарета, уже рассвело. Поднявшись на гору, он оглянулся и увидел большую группу всадников, мчавшихся как будто за ним. И в самом деле, купцы, узнав о его побеге, пустились в погоню, захватив с собой людей из полиции. Кир Януля собрался съехать с дороги и взять под гору вправо, но наткнулся на какие-то рвы. Иноходец оступился, и Януля вылетел из седла... Он поднялся и, бросив коня, побежал изо всех сил... Перемахнул через один плетень, через другой, перебрался через одну канаву, другую, пока, совершенно выбившись из сил, не остановился на вершине холма

у небольшого виноградника, где возле винного погребка коренастый хозяин умывался после сна.

Кир Януля бросился к хозяину, с трудом переводя дыхание:

— Доброе утро, почтенный. Как тебя звать?

— Доброе утро, боярин. Звать меня Негоицэ, а тебя?

— Януля...

И, еле волоча ноги, он перебрался через изгородь и сказал:

— Брат Негоицэ, сжалься надо мной, спаси! Враги хотят схватить меня, погубить!.. Спрячь меня где-нибудь у себя, и я тебя сделаю богатым... А если увидишь, что я сказал тебе неправду, сам отдашь меня в руки врагов... Прошу тебя, брат Негоицэ, не оставляй меня в беде! Умоляю!

Почесал Негоицэ затылок, подумал немного и ответил:

— Послушай, кир Януля, а кто твои враги?.. Не бояре ли? А то, по правде сказать, с боярами я не стану связываться.

— Какие они бояре! Это купцы...

— Тогда спасу...

Едва успел он спрятать Янулю под кучей подпорок для виноградной лозы и набросить еще сверху кукурузных початков, как и враги тут как тут...

— Эй, мил человек,— спросил один из них,— не проходил здесь недавно купец? — выглядел он, мол, так и эдак...

— Нет, не видал.

— Получишь хороший бакшиш [1], если скажешь, куда он подался...

— Да я его не видел...

— Говори ты! — прикрикнул один из полицейских, замахиваясь плетью.

— Можешь хоть убить меня!.. Только я его не видел...

— Не видел так не видел,— вмешался другой.— Пойдем дальше поскорей, только время зря теряем.

И отправились они — кто верхом, кто пешком, один в одну сторону, другие в другую,— помчались как одержимые... После их ухода Негоицэ взобрался на высокий тутовник, посмотрел вокруг, достаточно ли далеко ушли, потом не торопясь слез с дерева и выпустил беглеца из укрытия.

— Вот и спас я тебя! Теперь посмотрим, кир Януля... сдержишь ли ты свое слово.

— Ты и не знаешь, дорогой Негоицэ, как я тебе обязан и как мне хочется сдержать слово!.. Чтобы ты понял, что я могу отплатить тебе добром, сядь, пожалуйста, рядом со мной, и ты узнаешь, кто я такой и какие мытарства выпали на мою долю.

---

[1] Чаевые *(тур.)*.

И выложил начистоту Януля все: как он ушел из преисподней по царскому велению и что делал до сего времени — все подробнейшим образом. Негоицэ слушал с превеликим удовольствием и с большим вниманием.

— А теперь, дорогой Негоицэ, я тебе объясню, как ты сможешь легко разбогатеть... Как только ты узнаешь, что бес вселился в какую-нибудь женщину или девушку, откуда и какого рода она бы ни была,— знай, что это я вселился; сейчас же отправляйся туда, а я не уйду, пока ты самолично меня не прогонишь... Конечно, вылечишь ты ее не задаром... Тебя хорошо отблагодарят либо родители, либо муж... Что скажешь? Подходит тебе это?

— Еще бы! — ответил, улыбаясь, Негоицэ.

А господин Януля, еще раз поблагодарив его, пошел своей дорогой.

Прошло около месяца. Однажды Негоицэ, спустившись в город с отборной вишней для продажи, узнал от купцов, что в одну из дочерей Замфираке Ульерул из Колентины — в ту, что помолвлена с Илие Богасьерул из Бэрэции,— вот уже дней десять как вселился бес... Чего только с ней не делали! Лекарства, заклинания, молитвы... все впустую! Глядя, как она мучается, родители и жених только слезы льют... Болтает девушка на всех языках, хоть им и не обучалась, и тараторит, тараторит, ни на минуту не смолкает. Рассказывает о каких-то тайных делах и сплетни разводит — и откуда она их берет? А народ только диву дается, слушая ее бред.

Будто... «пропавший бесследно кошель с деньгами боярина-чашника Иордаке из Дудешть, украденный писарем, которого поймали по дороге на Олтеницу и который сбежал ночью из подвала полиции, находится сейчас в надежном месте, завернутый в ярко-зеленый платок, на дне нижнего ящика комода, возле печи в спальне Тарсицы, жены ключника, тетушки по матери начальника полиции, которая, кстати, моложе его — бывает и такое! Кто не знает секрета, может рыться в ящике сколько угодно, но не найдет настоящего дна»;

...будто «завещание, оставленное Агопом, табачником с улицы Святых, в пользу племянницы, не было написано покойным: его состряпал за одну ночь ее муж Такор, владелец кофейни в Аймате, который продает также румяна и краску для волос. Такор состряпал завещание с Аветиком, пономарем армянской церкви»;

...будто «молодой чернобровый монашек, у которого только пробиваются усы,— тот, что живет у его преосвещенства архиман-

дрита Хрисанфа, якобы для изучения псалмов,— не кто иной, как младшая дочь Ристаке Мускаладжиул из Плоешти...».

И всякие другие глупости, разве можно все упомнить?

Как только Негоицэ узнал об этом, он быстро распродал, не торгуясь, перекупщикам свой товар и направился посмотреть на одержимую. Протиснулся он сквозь собравшуюся толпу и сказал родителям и жениху, что берется вылечить девушку, если получит за это сто золотых. Несчастные, разумеется, сразу согласились: сто так сто! А Негоицэ подошел к больной и, будто для заговора, стал ей тихо и робко шептать на ухо:

— Я пришел, кир Януля, согласно нашему уговору...

— Я понял,— прошептал нечистый дух,— но, по правде сказать, не думал я, что ты такой простофиля и станешь довольствоваться сотней золотых... На сколько тебе этого хватит? Нужно было просить побольше! Но что поделаешь, прощаю на сей раз... Теперь я отправлюсь в Крайову и вселюсь в жену наместника. На следующей неделе явись туда... Не заставляй меня долго ждать... У меня своих дел куча, не все только о тебе заботиться... Наместник любит свою жену больше жизни, человек он богатый и щедрый. Смотри не просчитайся,— это в последний раз, после этого я буду свободен от данного тебе слова и нам делить больше нечего!

Сказав это, дьявол исчез... Девушка тут же выздоровела. Народ только крестился от изумления, родители и жених не помнили себя от счастья. Негоицэ же, получив свои сто золотых, вернулся на виноградник и стал собираться в дальнюю дорогу.

Продал он на второй день урожай одному олтенцу, на третий день купил лошаденку со всем, что нужно для верховой езды,— от попоны и седла да епанчи, а на четвертый день с утра уехал. Это было в среду... Днем ехал, ночью отдыхал; так, потихоньку, в следующий вторник, к заходу солнца, добрался он до заставы Крайовы. Там он спросил встречных, где можно остановиться купцу. Ему указали на постоялый двор, что против большой церкви.

Сошел Негоицэ с седла, оставил коня на попеченье слуг и вошел в трактир, где находились разные мастеровые, чтобы перед сном заморить червячка стопкой цуйки и какой-нибудь закуской. Уже стемнело. Ожидая, пока поджарят мясо, он сидел за столом задумавшись. Вдруг послышался колокольный звон. Негоицэ спросил солдата, сидевшего за другим столом и покуривавшего трубку, какой завтра праздник, почему бьют в колокола.

От солдата и трактирщицы он узнал, что никакого праздника нет, что служба идет днем и ночью во всех церквах для облегчения мук жены наместника, которую терзает нечистая сила. Никакие лекарства ей не помогают; знахарки, ученые лекари из Сибиу —

большие знатоки по таким болезням, молебны и молитвы, совершенные митрополитом и архиереями с сорока попами,— все напрасно. С женщиной творится что-то ужасное: все скачет и пляшет — да так, что вязать ее приходится; пока она связана, дрожит как в лихорадке и скрежещет зубами, будто ее жгут огнем; стоит развязать, как она снова пускается в пляс, и скачет, и пляшет, пока ее снова не свяжут. Так она мучится с неделю, без минуты передышки, маковой росинки у нее во рту не было. Люди в ужас приходят, а муж совсем извелся. Поэтому-то и служат службу за службой в церквах,— может, смилостивится матерь божья и сотворит чудо.

Негоицэ опрокинул стопку, наспех проглотил кусок мяса — так делают слуги, чтобы не заставлять хозяина долго ждать,— дал солдату монету и попросил проводить его к дому наместника. Когда они пришли туда, в доме все кипело, потому что с наступлением ночи больной становилось хуже... Множество знатных дам и служанок крепко держали молодую женщину, завернутую в мокрые простыни и дрожавшую всем телом. Священники в праздничных одеяниях молились и чадили кадильницами, а муж бил земные поклоны. Вдруг вошел какой-то солдат и во весь голос гаркнул:

— Не гневайтесь, ваша светлость!.. Есть тут один простолюдин, который нарочно из Бухареста прибыл. Он говорит, будто умеет заговаривать такие болезни, как у ее светлости, и ручается головой, что сразу ее вылечит.

Безысходное горе несчастного мужа озарил последний луч надежды. Он поднялся и крикнул:

— Пусть войдет!

Не успел Негоицэ переступить порог, как дрожь с больной как рукой сняло. Молодая женщина приказала убрать простыни, как сделала бы это, находясь в ванной. Она взглянула на Негоицэ, весело засмеялась, будто увидела старого долгожданного друга, и подала ему знак подойти поближе, называя его даже по имени.

— Добро пожаловать, дорогой Негоицэ! Как дела? Жив, здоров? Подойди ко мне поближе, я хочу тебе кое-что сказать, чтобы нас не услышали!

Никто не верил глазам и ушам своим... Негоицэ, отстранив всех, подошел к больной и дружески прошептал:

— Прости, душа моя, что заставил тебя ждать, но очень уж труден был путь, да и кляча моя еле плелась...

— Ладно уж,— ответил очень тихо черт,— я ухожу отсюда... Теперь я тебя сделал богатым, рассчитался с тобой сполна. Запомни, Негоицэ, это в последний раз... Не смей больше ходить за мной по пятам — ты не только ничего не добьешься, но я еще и рассержусь; а если уж рассержусь, берегись! Как бы пожалеть не пришлось... Больше я тебе ничего не скажу...

Исчез нечистый... и, конечно, больная пришла в себя, стала бодрой, здоровой, как прежде, даже веселее... Не стану вам рассказывать, какими подарками и почестями наделил Негоицэ наместник,— вы сами себе можете представить... Отписал он ему грамоту на вечное владение имением, да и боярское звание пожаловал.

Жил теперь Негоицэ в таком достатке, о котором три месяца тому назад и мечтать не смел. Но однажды, когда он отдыхал после обеда в своей усадьбе, покуривая чубук на веранде, как водится у бояр,— вдруг видит на дороге, что ведет с юга, приближается облако пыли... Что бы это значило?.. Оказывается, это слуги наместника спешили с высочайшим повелением привести его во что бы то ни стало в Крайову.

Не очень-то понравилось Негоицэ, что нарушили его покой, но что поделаешь?.. Приехал он во дворец и приложился к руке хозяина, тот обнял его, поцеловал в лоб и сказал:

— Любимый брат мой Негоицэ, если ты хоть немного меня любишь, поезжай, не мешкая, в Бухарест. Коляска готова. В дороге тебя на каждой почтовой станции ждут сменные лошади... Дочь его величества господаря, княжна, одержима так же, как была моя жена: ей, пожалуй, хуже, если судить по вестям, которые я получил. Только ты ее можешь спасти... Торопись!

«Пропал!» — подумал Негоицэ, но возражать не посмел.

Наместник снова обнял его, посадил в коляску и — гэй, пошел! Ямщики огрели кнутом коней, закричали, загикали... На второй день к вечерне доставили Негоицэ в Бухарест, прямо ко двору.

Господарь и господарыня, ломая руки, встретили его на лестнице, и господарь приветствовал его по-гречески, как тогда водилось у знати.

— Бог тебя послал, боярин! Прошу!

А Негоицэ — откуда ему знать греческий язык? — ответил наугад:

— Кто не ищет его, тот с ним встречается, ваше величество, а кто ищет — и подавно! Поглядим!.. Поищем! Коли удастся, я тоже буду очень рад. Поглядим...

— Пойдем!

И господарь подтолкнул Негоицэ к застекленному балкону в конце зала... Там княжна сидела на ковре и все качала головой, как кукла, у которой голова на пружинке. Стиснув зубы, не закрывая глаз ни на минуту, она так мучилась уже пять дней.

Как только показался Негоицэ, княжна перестала качать головой и закричала, охваченная безумным гневом:

— Вон! Выгоните его! Чтобы мои глаза не видели этого мужлана Негоицэ! Вон!.. Пусть отец придет!

Негоицэ не заставил себя долго упрашивать, и вместо того чтобы обидеться, что его выгоняют с позором, пожал плечами, будто говоря: «Что ж! Коли не угодно!..» — повернулся и собрался уходить. Но господарыня схватила его за руку, а господарь подошел к дочери:

— Я здесь! Я твоей отец!

— Нет, не ты! — завопила девушка.— Я не тебя звала! Пусть придет мой отец!

— Я твой отец! — повторил несчастный старик, обливаясь горькими слезами.

А княжна закричала еще пуще:

— Нет! Это не ты! Ты некрасивый! Уходи вместе с Негоицэ! Пусть придет капитан Маноли Гайдури, он мой настоящий отец!

Услыхав такие речи, господарыня лишилась чувств. Не будь рядом Негоицэ, подхватившего ее, она растянулась бы на полу. Придворные дамы бросились к ней, стали натирать виски розовым уксусом и подносить к носу паленые перья. А господарь, бедняга, колотил себя кулаками по феске, в то время как дочка все громче кричала:

— Приведите ко мне моего отца! Капитана Маноли! Его я хочу видеть!

Наконец Негоицэ отвел господаря в сторону и сказал:

— Ваше величество, желанья таких больных нужно выполнять,— если им перечить, они еще больше расходятся.

Привели ей, стало быть, капитана Маноли... Редко встретишь такого богатыря: высокий, плечистый, усатый — вояка хоть куда! Весь в галунах с ног до головы,— такой может быть гордостью любого царского двора.

Верный слуга, капитан Маноли, пышные усы которого были залиты слезами, подошел к господарской дочери. А малышка, только его увидела, просияла, нежно улыбнулась ему и, как всякий послушный ребенок, который просит отца исполнить какой-нибудь каприз, ласково защебетала:

— Папочка! Прошу тебя, папочка, если ты меня любишь, отрежь Негоицэ нос и уши и выгони этого нахала... потому что он наглый, жадный и неблагодарный!.. Чтоб глаза мои его не видели, терпеть его не могу.

Капитан Маноли от всей души любил княжну, но такое желание он не мог выполнить без разрешения господаря. А Негоицэ подумал: «Вот ты как?.. Ладно!» Потом повернулся к господарю и говорит:

— Ваше величество, пусть все посторонятся, чтобы я мог поближе посмотреть на больную.

Все расступились, и Негоицэ прямо подошел к княжне, которая металась и кричала изо всех сил:

— Вон, Негоицэ! Пошел вон, грубиян!

Но он, не обращая внимания на нее, тихо сказал:

— Душа моя, я так думаю, что тебе лучше уйти по-хорошему.

Не тут-то было! Княжна еще пуще закричала:

— Вон, Негоицэ!

— Вот как?.. Не хочешь?

Собрался было Негоицэ схватить ее за руку. Но княжна плюнула ему в лицо и дала такую затрещину, что у бедняги искры из глаз посыпались.

Он вытер лицо рукавом, повернулся к господарю и сказал:

— Ваше величество, с такой болезнью мне еще не приходилось встречаться... Я не говорю, что не вылечу, но сам пока ничего не могу сделать... Мне нужна помощь... Есть у меня здесь в Бухаресте, на Торговой слободе, приятельница, искусная знахарка. Она вдова человека, который спустил свое имущество в расточительстве и распутстве; он разорился и сбежал, оставив бедную, невинную женщину умирать от голода... Звать ее Акривица Янулиха, дочь Хаджи Кэнуцэ...

Услышала княжна эти слова, перестала кричать, задрожала и застучала зубами, как в лихорадке.

— Ваше величество, прикажите заложить быстро коней, и я сейчас же привезу Янулиху.

Не успел он и шагу ступить, как княжна схватила его за полу и стала неистово кричать:

— Постой, Негоицэ!

И... что же тут сказку затягивать? Ведь сказка, как бы она ни была хороша, уже ничего не стоит, коли она слишком длинная. Выздоровела девушка, будто просто приснилось всем, что она болела. Нарядилась она и поехала на прогулку с матерью в открытой коляске... четверка лошадей с форейторами, двенадцать конных солдат впереди и столько же позади; а Маноли на козлах, одной рукой придерживает ножны кинжала, а другой подкручивает ус... И радовалась душа господаря, когда глядел он, как летит коляска вдаль...

Негоицэ остался погостить при дворе. Дня через два он вспомнил, что у него еще есть дела в Бухаресте, и направился прямо на Торговую слободу разыскивать Янулиху. Богатый дом кредиторы продали... Бедняжка! Брошенная мужем, она жила теперь у отца,

у Хаджи... Негоицэ нашел ее там и был поражен ее красотой. Она была в трауре, вся в черном с ног до головы, как и подобает несчастной вдове... Он поцеловал ей руку и сказал:

— Вот что, сударыня, я должен господину Януле сто золотых; вчера я узнал о вашем несчастье и принес долг. Пожалуйста!

Акривица стала плакать и спрашивать, не знает ли он, что случилось с ее супругом. Она измучилась — сгорает от тоски. Негоицэ ответил, что ничего ему не известно, но в благодарность за оказанную ему Янулей услугу, когда он, Негоицэ, был в стесненных обстоятельствах, он теперь просит ее принять в вечное владение его виноградник. С этими словами Негоицэ вручил ей дарственную, скрепленную господарской печатью. А потом, чтобы не приходилось ему больше заниматься врачеванием, добавил, подумав немного:

— Госпожа, много добра мне сделал ваш супруг; в память о нем я хотел бы научить вас кое-чему, что поможет вам избавиться от нужды... Слушайте внимательно. Как только вы узнаете, что бес вселился в какую-нибудь женщину или девушку, откуда и какого рода она бы ни была... отправляйтесь сейчас же к ней, потому что бес будет в ней сидеть, пока вы его не прогоните... Скажите больной, что сказали бы мужу, если бы вдруг встретили его: «Вот ты где, Януликэ!.. А я искала тебя как полоумная... *фосму, паригориа ту косму!*»

— Где вы слышали эти слова? — спросила Акривица, поглядев на него искоса.

— Я их выучил давно, у одного приятеля,— ответил Негоицэ, улыбаясь.— Итак, больше ничего не говорите больной... Все думая о господине Януле, обнимите больную и взгляните на нее так же ласково, как глядите сейчас на меня, и крепко поцелуйте,— обнимайте ее и целуйте, пока она не выздоровеет... С пустыми руками вы не уйдете — вас отблагодарят за труды кто как сможет. Поняли?

— Поняла.

— А теперь, сударыня, пожелаю вам доброго здоровья. Всего наилучшего!

Вернулся Негоицэ во дворец, где прожил еще несколько дней в большом почете. Потчевали его всякими яствами, и сидел он за столом с их величествами, боярской знатью и наиболее именитыми дворянами, а под окнами играла музыка, и скоморохи веселили простой люд и мастеровых.На восьмой день Негоицэ решил уехать в свое поместье, что у реки Жиу... Пожаловали ему господарь и господарыня более высокий боярский чин и подарили по три ко-

шеля из тонкого шелка с тысячей золотых в каждом. Княжна подарила ему кольцо с драгоценным камнем величиной с турецкий орех. Все с большими почестями проводили его до лестницы.

Капитан Маноли попросил разрешения отвезти Негоицэ домой. Всю дорогу, днем и ночью, окружал его капитан братской заботой. Он пел и наигрывал на тамбуре турецкие мелодии и молодецкие песни, что поют в его далеких горах. Голос у него был красивый, проникновенный. Негоицэ пришлась по душе дружба с Маноли, и он счел себя обязанным пригласить к себе погостить капитана, столь милого и доброго, сколь сильного и храброго... Вечером они поужинали вдвоем, запивая старым вином из Дрэгэшань, потом допоздна пили кофе и покуривали чубуки. После ужина, за которым они, усталые с дороги, хватили немного лишнего, капитан, хотя он и был настоящим богатырем, загоревал и расплакался, как женщина. Упал на колени и сказал хозяину:

— Я беден, мой принц, не могу подарить тебе ничего ценного. Один только бог и мое сердце знают, как я тебе благодарен! Видишь этот кинжал? Если погибла бы девчурка, я бы вонзил себе его в грудь по самую рукоять!.. Если бы ее не спасли, что стало бы с бедным Маноли, с несчастным Маноли?

Кинулся он целовать руки Негоицэ и попросил его принять в дар четки из Иерусалима.

В то время как капитан Маноли проливал здесь слезы благодарности, там далеко, в Бухаресте, лил горькие слезы митрополит: в одну из племянниц его преосвященства словно нечистый вселился. Но судьба сжалилась над рабом божьим и не заставила его слишком долго горевать... Стоило появиться Акривице в галерее у звонницы, как болезнь девушки словно рукой сняло... Янулиха ушла очень довольная, получив благословение и приличную награду...

В ту же ночь в преисподней заседал собор чертей во главе с Дардаротом. Выслушали рассказ Агиуцэ, который вернулся домой с поджатым хвостом, разбитый от усталости.

Рассказал он обо всем, что пришлось ему пережить на земле, рассказал подробнее и интереснее, чем я вам рассказывал. Очень позабавился царь и спросил Агиуцэ со смехом:

— Теперь я понял, что к чему... Молодец, Агиуцэ милый! Отлично поработал, ничего не скажешь... Как тебя отблагодарить за твои труды?

— Твоя темность, я осмелюсь просить выполнить две мои просьбы.

— Говори, малыш.

— Во-первых, чтобы я здесь никогда не видел Акривицу и Негоицэ!.. Пусть идут в рай, и пусть святой Петр сам с ними управляется, по своему разумению.

— Хорошо... А во-вторых?

— Во-вторых, разреши мне отдохнуть немного дома, а то я выбился из сил от всех этих земных делишек.

— И это ладно!.. С сегодняшнего дня можешь спать триста лет, и никто тебя ничем не побеспокоит!

Сказав это, Дардарот, по привычке, пнул его ногой и послал спать.

Таким образом госпожа Акривица и Негоицэ попали в рай,— каждый, когда настал его черед. Агиуцэ завалился спать... и спит! и все спит!.. Может, Агиуцэ и теперь еще спит, если не проснулся, чтобы снова взяться за свои дьявольские проделки.

1908

ИОАН СЛАВИЧ

СЧАСТЛИВАЯ МЕЛЬНИЦА

I

— Человек и в бедности должен быть доволен своей судьбой, и уж коли зашел об этом разговор — то я вам так скажу: мир в хижине, а не богатство делает человека счастливым. А вы поступайте так, как подсказывает вам сердце, да поможет вам бог и укроет вас под крылом своих милостей. Теперь я уже состарилась, но потому, как у меня в жизни было, да и еще осталось немало радости, я не понимаю недовольства молодых, боюсь, как бы на старости лет не потерять и то, что выпало на мою долю до сих пор, и не изведать горестей, о которых и подумать-то страшно. Вы делайте, как хотите, не слушайте меня. Тяжело мне будет покинуть хижину, где прошла вся моя жизнь, где я вырастила моих детей; но как подумаю, что придется остаться в ней одной, прямо страшно становится. К тому же Ана, думается мне, еще слишком молода, да уж и слишком она смирная. Какая из нее будет трактирщица?

— Ну, раз так, то не о чем больше и говорить,— сказал Гицэ,— останемся здесь, будем и дальше латать сапоги людям, которые всю неделю ходят в постолах или босиком, а по воскресеньям, если на улице грязь, берут сапоги в руки и шагают так до самой церкви. А мы будем посиживать на солнышке, на завалинке, да посматривать друг на друга: я — на Ану, Ана — на меня, оба вместе — на ребенка, а ты — на нас троих. Вот это и называется: «мир в хижине».

— Я этого не говорю,— неторопливо ответила теща,— а если и сказала, то просто хотела поделиться своими мыслями. Поступайте по собственному разумению. Вы хорошо знаете, что если решите ехать на мельницу, то и речи не может быть о том, чтобы я осталась здесь или ушла куда-то в другое место. Поедете вы — поеду и я, и сделаю это охотно, от души, как любящая мать. Ведь я желаю счастья своим детям, которые еще только начинают жить. Но не требуйте, чтобы я решала за вас.

— Ну что же, коли так, не будем терять времени даром. Пойду поговорю с арендатором и со дня святого Георгия корчма на Счастливой мельнице — наша.

— Будь твое слово сказано в добрый час! — проговорила старуха.— Да вразумит нас бог!

II

Начиная с Инеу, проселочная дорога тянулась среди лесов и пашен, оставляя по левую и правую сторону деревни, расположенные в зеленых долинах.

Около часа с лишним дорога хорошая, потом начинался подъем на крутой откос, а перед тем как снова спускаться в долину — приходилось делать привал, чтобы дать отдохнуть коням или скотине.

Путь-то был, пожалуй, не из легких, да и дальше места не пользовались доброй славой.

В глубине этой долины и стояла Счастливая мельница. С какой бы стороны ни приближался к ней путник, он всегда радовался, увидев ее с вершины плешивого холма. Ведь это значило, что глухие, опасные места остались позади и ему удалось выбраться из них благополучно. Путник же, направляющийся к этим местам, мог надеяться найти или дождаться на мельнице попутчиков, чтобы не идти дальше одному.

Так как у мельницы останавливались все проезжие, то мало-помалу перед ней образовалась площадка, и мельница как-то незаметно перестала молоть зерно, а превратилась в корчму, в приют для всех утомленных путников, главным образом для тех, кого застигла в дороге ночь. Позднее арендатор построил корчму на более подходящем месте, в какой-нибудь сотне шагов от речки, а мельница осталась стоять заброшенной, со сломанными крыльями, с крышей, изрешеченной пролетевшими годами.

Перед мельницей стояло пять крестов — два каменных и три дубовых,— украшенных цветными изображениями святых. Это говорило путнику о том, что место здесь благословенное, ибо там, где стоят такие кресты, кто-то испытал радость или избег опасности.

Особенно прославилось это место с тех пор, как на Счастливой мельнице поселился новый корчмарь с молодой женой и старухой тещей. Эти хозяева встречали путников не как чужих прохожих, а как долгожданных гостей. Не прошло со дня святого Георгия и нескольких месяцев, как проезжие, вместо того чтобы сказать: «Сделаем привал на Счастливой мельнице», — стали говорить: «Остановимся у Гицэ». Все в округе знали теперь, кто такой Гицэ, и знали, что он живет там, в долине, между крутым обрывом

и непроезжими местами. «Счастливая мельница» стала «Корчма Гицэ».

Что касается самого Гицэ, то для него эта корчма действительно оказалась счастливой.

Четыре дня в неделю, с вечера вторника и до субботы, она была полна народа. Все здесь останавливались, закусывали и честно расплачивались.

В субботний вечер корчма наконец пустела, и Гицэ, пользуясь передышкой, садился вместе с Аной и тещей подсчитывать выручку. Вот тогда-то он и смотрел на Ану, Ана на него, и оба вместе — на своих детей,— теперь их было двое. А старуха не сводила глаз со всех четверых и чувствовала себя помолодевшей. Как же! У нее был трудолюбивый зять, счастливая дочь и два бойких внука. Удачу же бог посылает тому, кто честно трудится.

В воскресенье, с утра, Гицэ запрягал лошадь в тележку, и теща отправлялась в церковь. Ведь ее старик — да простит ему бог его прегрешения!— был в свое время не только скорняком, но еще и пел на клиросе, и теперь она ездила как бы повидаться с ним.

К моменту отъезда старухи в доме должен был царить образцовый порядок, иначе она ни за что не тронулась бы с места. Еще в субботу после обеда слуга был обязан убрать конюшню, двор и площадку перед домом, в то время как теща с Аной наводили чистоту в корчме. Рано утром, в воскресенье, нарядив детей, старуха надевала праздничное платье, обходила еще раз весь дом, чтобы убедиться, действительно ли все сделано так, как нужно, и только тогда взбиралась на тележку.

Ана и Гицэ целовали ей руку, она еще раз целовала детей, потом говорила: «Да вразумит вас бог»,— крестилась и давала вознице знак трогаться.

Но уезжала она всегда с тяжелым сердцем,— уезжала-то ведь только она, а дети оставались одни, в опустевшей корчме.

Глянешь кругом — направо и налево вьется проселочная дорога, а в долине, вдоль речки, насколько хватает глаз, вплоть до бесконечных полей, не видно ничего, кроме трав, колючего кустарника да кучки ольховых деревьев, приютившихся пониже каменного моста. Чем ближе к холму, тем долина уже, но вид ее становится разнообразнее. Вдоль речки в два ряда тянутся ивы и ракиты, разрастающиеся постепенно все гуще и теряющиеся в роще, что в глубине долины. На левом склоне холма, том, что обращен к Инеу, то там, то здесь нет-нет да и мелькнет опушка дубовой рощи; на правом же склоне виднеются остатки какого-то другого леса, пни и еще не выкорчеванные корни. На самой вершине холма стоит высокое полуобгорелое дерево с сухими ветками — излюбленное место отдыха воронья, с карканьем слетаю-

щего с холмов на поля; наконец, в глубине долины, из-за отдаленной рощи показывается остроконечная башенка церкви Фундурени, крытая белой жестью. Она все еще теряется в тени холмов, поросших сумрачными лесами. Эти леса поднимаются и громоздятся друг на друга, доходя до самой горы Бихор, снежные вершины которой отражают лучи утреннего солнца.

Оставшись наедине с женой и детьми, Гицэ смотрел вокруг, наслаждаясь красотой природы, и сердце его радовалось, когда Ана, обычно такая благоразумная и спокойная, начинала шалить, как избалованный ребенок, и бросалась ему в объятья. Да и как не радоваться — ведь Ана такая молодая, красивая, нежная и стройная, резвая и гибкая, а он, Гицэ, высокий и широкоплечий, мог носить ее на руках, как легкое перышко.

Лишь иногда, в ночные часы, когда ветер сотрясал заброшенную мельницу, все вокруг начинало казаться Гицэ чужим и пустынным, и тогда он принимался шарить вокруг себя, тревожась, не раскрылась ли во сне Ана, безмятежно спавшая рядом, как младенец после купанья. И если она сбрасывала одеяло — он снова укутывал ее.

III

Вокруг — куда ни взглянешь — луга; и повсюду на лугах пасутся стада свиней, а где стада — там и свинопасы. Но ведь и свинопасы — люди. Среди них можно встретить всяких: и честных и нечистых на руку и простых работников и вожаков.

Стадо не должно быть слишком большим. Если в нем тысяча с лишним голов — его делят на несколько мелких стад, примерно по сотне свиней в каждом. В стаде — один пастух и два или три паренька-подпаска, в зависимости от величины стада. Вот так и живет в лугах целое племя свинопасов. Они родились в лесу, возле стад; свинопасами были их отцы, деды и прадеды. У них свои обычаи и свой, от предков идущий, им одним понятный язык.

Но торговли без убытка не бывает, а пастухи почти всегда люди бедные. Значит, должен быть среди них человек, который отвечает за потери в стаде.

Таков Сэмэдэу, надсмотрщик. Он зажиточнее других и может заплатить за потерянных или украденных свиней.

Сэмэдэу не только человек денежный, но прежде всего человек жестокий, беспощадный. Он постоянно разъезжает верхом от стада к стаду, знает все глухие места и закоулочки, знает всех хороших, а еще лучше плохих людей, приводит в трепет всех обитателей лугов и умеет отыскать ухо украденного у него поросенка даже в горшке с капустой.

Люди говорят, что места близ Счастливой мельницы пользуются дурной славой. Может быть, надсмотрщики могли бы рассказать, откуда пошла эта дурная слава. Однако надсмотрщики — народ молчаливый. Попробуй спроси какого-нибудь из них — и наверное услышишь в ответ:

— Не знаю, не видел. Я отвечаю за такие-то и такие-то стада. Мне не с руки ссориться с людьми.

Он знает, что знает, но только для самого себя.

Случилось, к Гицэ заезжали и свинопасы. Это были люди крепкого сложения, рослые, в черных рубашках. Их обильно смазанные салом, блестящие волосы падали на обнаженную шею завивающимися в кольца прядями. Они тоже были люди, честные люди, которые едят, пьют и за все платят.

Как-то раз, в понедельник, подъехала к Счастливой мельнице легкая тележка на рессорах, запряженная парой красивых лошадей: одна — покрупнее, другая — поменьше. В тележке не было ни лавочек, ни сена; один из засаленных свинопасов стоя правил лошадьми, а два других сидели на бортах, выкрашенных в зеленый цвет. Казалось, они приехали неиздалека.

«Что-то не нравятся мне эти люди»,— подумал Гицэ, глядя на приезжих, которые, выпрыгнув из тележки, оглядывались вокруг с таким видом, точно они бывали здесь и раньше и теперь не узнают ни привычного места, ни людей.

Путники спросили, не останавливался ли здесь Сэмэдэу, приказали слуге распрячь коней, напоить и задать им овса. Войдя в корчму, свинопасы изрядно выпили, каждый за троих, и снова тронулись дальше, выслушав от хозяев пожелание доброго пути.

— Хорошо, но они же не заплатили,— растерянно проговорила старуха.

— Оставьте, я с ними договорился,— ответил корчмарь, отходя в сторону, чтобы скрыть выражение своего лица. Он боялся, как бы жена не спросила его: «Что с тобой, Гицэ?»

Немного позднее на Счастливую мельницу явился сам Сэмэдэу — известный Ликэ Сэмэдэу.

Это был человек лет тридцати шести, высокий и худощавый, с длинными усами на впалых щеках, с небольшими, зеленого цвета, глазами и густыми, сросшимися на переносице бровями. Ликэ был свинопас, но из тех, что носят тонкую и белоснежную рубашку, безрукавку с серебряными пуговицами и всегда держат в руках темно-красный хлыстик с костяной рукояткой, украшенной вырезанными цветами и золотыми бляшками.

Ликэ остановил коня перед корчмой, посмотрел сначала на Ану, потом на старуху,— обе сидели под тенью навеса на ска-

мейке, у большого стола,— обвел взглядом все кругом и спросил, где корчмарь.

— Мы и есть корчмари,— ответила, вставая, старуха.

— Знаю,— проговорил Ликэ,— но думаю, что здесь должен быть и мужчина. Мне нужен корчмарь, я хочу поговорить с ним.— Это было сказано тоном, который ясно давал понять, что приезжий спешит и не намерен болтать попусту.

Старуха не медля направилась на поиски Гицэ. Ана же осталась стоять на месте и изумленно, как ребенок, рассматривала гостя, который возвышался перед ней, словно каменный столб.

Будь Ликэ другим человеком — он не сидел бы так неподвижно на коне, бесцельно устремив взгляд в пространство, а полюбовался бы на красивую женщину, которая растерянно смотрела на него, словно испуганная его суровым видом.

— Что, венгр умер? — спросил Ликэ, увидав Гицэ.

— Да.

— И ты пришел на его место?

— Да.

— Со дня святого Георгия?

— Да,— ответил Гицэ и бросил украдкой взгляд на женщин — не волнуются ли они?

— Это Гицэ, мой зять,— вставила старуха.— Слава богу, с тех пор как мы здесь, все у нас идет хорошо.

Ликэ с усмешкой прикусил усы.

— Человеку с головой тут неплохо. Только и дела что ладить с людьми да здороваться со всеми приходящими и уходящими, тогда и бога возблагодаришь. А что, не проезжали здесь несколько мужчин? — тут же спросил он.

— Как не проезжали,— ответил Гицэ в раздумье.— Мы как раз на самой дороге. Много людей здесь проезжает.

— Я спрашиваю о троих...

— Трое, четверо, десятеро...— шутливо проговорил Гицэ.— Все время кто-нибудь да едет. Не мое дело следить за тем, кто приехал да уехал, и я не слишком-то их примечаю. Люди так тебе примелькаются, что и в лицо им не смотришь. А может, иному и не нравится, чтобы о нем говорили. Никогда не расспрашивай корчмаря: сколько народа проходит у него перед глазами, что разве всех упомнишь? Забудешь, да и не вспомнишь больше.

— Но все-таки ты мне ответь, ведь это были мои люди; они отправились посмотреть лес, который я собираюсь осенью арендовать для стад. Я хочу знать: проехали они, или мне придется их дожидаться?

— Так-то оно так...— твердо ответил Гицэ.— Но я не берусь сказать, были ли сегодня такие люди или нет.

— Как это не были?..— нетерпеливо вмешалась старуха.— А трое свинопасов, которые столько выпили и ничего не заплатили?

У Гицэ так и дрогнуло сердце. И хотя он очень любил свою тещу, но сейчас готов был заткнуть ей рот.

— Женщины примечают лучше, да у них и дела поменьше,— сказал он, овладев собой.

— А не заплатили они потому,— заявил Ликэ, снова прикусив усы,— что знали: я приеду и расплачусь за них.

С этими словами он слез с коня и сделал знак Гицэ следовать за ним, чтобы рассчитаться.

«А старая-то поумнее меня»,— подумал корчмарь и охотно пошел за приезжим.

— Старуха могла бы и попридержать язык,— заметил Ликэ, оставшись с Гицэ один на один.— Скажи, ты меня знаешь?

— Нет,— ответил Гицэ, весь похолодев.

— Так вот. Меня зовут Ликэ Сэмэдэу. Многое про меня болтают, и кое-что правда, а кое-что вздор. Как видишь, разъезжаю я среди бела дня по дорогам, и никто мне не мешает. Бываю я и в городе, беседую там с господами. Что я сделал, то сделал. Нечего об этом и говорить; но сделал так, что все равно никто ничего не узнает, сколько бы ни ломал голову. Поэтому-то я и отвечаю за двадцать три свиных стада. Понял? И не в том дело, что я могу оплатить все убытки, понесенные за год. Главное, никто не посмеет у меня ничего украсть, и помилуй бог того, кого я вздумаю заподозрить. Ты меня хорошо понял?.. Мне важно знать, кто ходит здесь по дорогам, кто останавливается, что говорит и что делает. И никому, кроме меня, это не должно быть известно. Ну, думаю, теперь мы поняли друг друга?

Гицэ многое хотелось бы ответить на это, но Ликэ резко повернулся на каблуках, и пока корчмарь собирался с мыслями — он уже давал коню шпоры.

— Очень порядочный человек...— проговорила старуха, глядя ему вслед.— Кто это такой?

— Ликэ Сэмэдэу,— ответил Гицэ.

— Ликэ Сэмэдэу?..— воскликнула Ана.— Чего только не говорят про него!

— Таковы уж люди,— проговорил Гицэ.— Никому не верь, пока не убедишься собственными глазами.

Гицэ и сам не знал: сказал ли он это с досады или только из желания скрыть от жены овладевшие им мрачные мысли.

— Может, оно и так...— прибавила Ана.— А все-таки лицо у него какое-то страшное...

— Э-э... Это тебе так кажется,— проговорил Гицэ.— Ведь и у него бывают свои неприятности.

IV

— Людей на свете много, и все они разные,— говорил на следующий день корчмарь, поглядывая то на жену, то на тещу.— Вот, например, человек задумал что-то купить. Ну хотя бы этот самый Ликэ Сэмэдэу, который отправился посмотреть лес. Дело это касается его одного; и кто знает, не причиним ли мы ему убытки, не рассердим ли его, если проболтаемся, что он был здесь. Он поехал торговать лес, а вдруг вслед за ним появится другой, желающий купить тот же лес, и я ему скажу, что проезжал Ликэ... Тогда второй покупатель поспешит, приедет на место раньше и, может быть, испортит всю куплю-продажу. Поняли?

— Что верно, то верно,— согласилась старуха.

— Или приедет человек, у которого тоже есть продажный лес, и он ищет Ликэ, чтобы договориться. Если я ему скажу, что проезжал Ликэ, то это, может, принесет пользу им обоим, но зато повредит человеку, к которому поехал Сэмэдэу. А я не хочу никому приносить ни вреда, ни пользы.

— Правда твоя,— снова подтвердила старуха.— Ведь мы здесь вовсе не затем, чтобы сообщать путникам о всех приезжающих и отъезжающих.

— Мы здесь ничего не знаем и занимаемся только своими делами,— коротко и решительно заключил Гицэ.

С тех пор корчмарь, жена и теща не вспоминали о проезжих, и все шло обычным порядком.

Но, не откладывая на другой день, Гицэ отправился в Арад, купил там себе два пистолета и нанял второго слугу, Марца, высокого, как ель, венгра. Еще через несколько дней он съездил в Фундурени и привез оттуда двух лохматых щенят. В доме уже была одна собака, но она обленилась, легко привыкала к людям и ни на кого не лаяла.

Гицэ посадил щенят на цепь и спускал их только тогда, когда в корчме не было посторонних; потом он выпускал свиней и натравливал на них щенят. Сердце играло в нем, когда он смотрел, как щенята набрасываются на свиней и раздирают им в кровь уши. Стараясь приучить собак к травле, он так увлекся этой забавой, что даже с каким-то нетерпением ждал тех дней, когда корчма пустовала и можно было целыми часами возиться со щенятами.

Ана же, напротив, не переносила этих собак и особенно сердилась, когда старуха заявляла, что хорошо держать их при доме: человеку спокойнее спится, если его сон охраняют добрые псы. Это было так. Но все же Ана чувствовала, что с некоторого времени муж ее изменился, и ей даже казалось, что с тех пор как он завел щенят, стал меньше обращать внимания на нее и детей.

Человек трудолюбивый и старательный, Гицэ всегда был спокоен и задумчив, но радовался, когда Ана была весела. Теперь же он ходил угрюмый, сердился из-за пустяков, не улыбался, как бывало, а разражался пугающе громким хохотом. Если же ему случалось подурачиться с Аной, то он легко выходил из себя и, забавляясь с ней, оставлял у нее на руках синяки.

Не раз хотелось Ане спросить у него: «Гицэ, что с тобой?» — но она уже не решалась, как прежде, откровенно обращаться к нему, боясь, что он может прийти в ярость, чего с ним раньше никогда не бывало.

Так подошла осень.

Однажды, в четверг, когда площадка перед корчмой была полна народу, прибыло стадо больших, красивых, как на подбор, свиней. Один из погонщиков, паренек лет семнадцати, вошел в корчму и спросил Гицэ.

— Привет от Ликэ Сэмэдэу! — сказал он смело.— Наказывал, чтобы ты нас напоил и накормил. Вслед за нашими стадами пригонят другие, так он велел тебе выбрать и оставить себе пять свиней по твоему вкусу.

— Хорошо платит Ликэ! — заметил один из путников.

— Есть из чего!..— добавил другой.

— Еще бы!..— вмешался третий.— Стад у него много, свинопасам на еду и питье хватит.

Гицэ нахмурился. Слова погонщика и проезжих как будто нарочно были сказаны для того, чтобы вывести его из терпения. Он понимал, что не принять свиней — значит, испортить отношения с Ликэ, а взять их — у всех на глазах — он не мог.

— Ладно,— сказал он,— стараясь казаться спокойным.— Я договорюсь с Ликэ. Ешьте и пейте, а деньги — моя забота.

Когда парень вышел, Гицэ, обратившись к проезжим, добавил:

— Откуда я знаю, на сколько съедят его люди? Я хочу, чтобы расчет у меня был точный.

— Правильно,— согласились они.

— Послушай, Гицэ, почему ты не взял свиней? — спросила его вечером теща.

— А что мне с ними делать? — ответил он почти сердито.

— Резать... продавать, откармливать... Бери их, Гицэ, иначе совсем ничего не получишь. Были бы у Ликэ деньги — не платил бы он свиньями. Надо брать, что дают, ведь никто не может дать того, чего у него нет. Человек он честный и платит тебе по-честному. Зачем же сердить его без толку? Бери, пока дает, неизвестно, что будет завтра.

— Ничего, пригонят и другие стада,— пробормотал сквозь зубы Гицэ.— Подумаю, посмотрю, сколько потрачу на его людей.

— Пусть вразумит тебя бог!

Гицэ и сам был не прочь, чтобы бог вразумил его хорошей мыслью... Он был в полной нерешительности, не зная, на чем остановиться.

Мимо корчмы одно за другим проходили стада. Не успеет пройти одно, как на его место появляется другое. Так и двигались они сплошным потоком, и Гицэ всех спрашивал: сколько же их еще осталось? По мере того как стада проходили, им все сильнее овладевало желание задержать для себя обещанные ему пять штук свиней.

— Ликэ сказал, чтобы я оставил себе пять свиней,— сказал он наконец одному из погонщиков.

— Мы ничего не знаем,— ответил тот.

А другой прибавил как бы в шутку:

— Мы платим вперед или уж совсем не платим.

Немного позже приехал и Ликэ. Не слезая с коня, он спросил себе стакан вина, осведомился о стадах, распрощался и поехал дальше. А Гицэ остался стоять как потерянный, чувствуя, что прогадал. Человек он был неглупый и понимал, что происходит. Никто не смог бы жить здесь, на Счастливой мельнице, против воли Ликэ. Кроме арендатора и властей, существовал еще и Сэмэдэу, который держал в руках все дороги. Что толку в том, что у тебя договор с арендатором и что ты ладишь с властями? Для того чтобы удержаться на Счастливой мельнице, нужно еще подчиняться Ликэ.

А Гицэ во что бы то ни стало хотелось остаться! Дела у него шли хорошо.

«Три года... Только бы продержаться здесь три года,— говорил он себе,— и я твердо стану на ноги. Тогда можно будет сапожничать с десятью подмастерьями, а мелкую починку отдавать на сторону».

Но эти три года всецело зависели от Ликэ.

Будешь его слушаться — все пойдет прекрасно. Такие люди, как Ликэ, щедры. Вопрос только в том, чего именно потребует Ликэ за свои щедроты.

Первый раз в жизни захотелось Гицэ не иметь ни жены, ни детей, чтобы сказать: «А мне-то что?» Он непрестанно думал о барыше, который мог бы получить, будучи заодно с Ликэ. Он ясно видел перед собой целую кучу денег, и от этих мыслей у него темнело в глазах. Ради наживы Гицэ готов был подвергаться опасности и год и два, но из-за жены и детей не мог поступать так, как ему хотелось.

— Посмотрим!..— сказал он себе наконец, стараясь отогнать дурные мысли.— А пока пусть Ликэ остается моим должником.

Тем не менее, пересчитывая вечером деньги, чтобы убрать их в сундук, он чувствовал, что не прав.

Гицэ был не из тех людей, которые охотно берут в долг, но еще менее охотно он давал в долг сам. Теперь он думал лишь об одном: подойду к Ликэ по-хорошему и попрошу его расплатиться. Однако он чувствовал себя связанным, а в таком состоянии человек всегда делается раздражительным. Именно в этот вечер Гицэ ни за что ни про что поколотил своего слугу—венгра, а когда Ана невольно упрекнула его, резко ответил:

— Оставь меня в покое! Как будто не ради вас я порчу себе жизнь!

Ана смолчала, но глаза ее наполнились слезами,— слова Гицэ показались ей грубыми.

— Ну вот, ты сразу и опечалилась...— сказал он с горечью.

Ему хотелось подойти к Ане, попросить прощения, помириться, но он не мог заставить себя это сделать: было в нем что-то такое, что мешало ему, и он отошел прочь, спеша остаться наедине со своими мыслями.

Если бы Ана знала, что думает и чувствует Гицэ, когда стоит такой мрачный и одинокий, она, наверно, подошла бы и приласкала его. Но он молчал, и она, не решаясь сама сделать первый шаг из боязни рассердить его, только неустанно спрашивала себя: что же произошло с ее мужем?

В воскресенье, после отъезда старухи в церковь, Гицэ сорвал свою злобу на Лае, после чего заметно повеселел. Он забавлялся в тени ольшаника с Аной и детьми и, притянув за ошейник самую большую и ленивую собаку, Кулу, сажал на нее сынишку, обучая его верховой езде. Ана боялась, что ребенок упадет или собака укусит его, но Гицэ ни за что не хотел прекратить свою забаву.

Вдруг издали послышался лай остальных двух собак, бегавших на свободе; им начала вторить и Кула, ринувшаяся было по направлению к тому холму, откуда доносился лай.

Ребенок чуть не упал, и Ана вскрикнула от страха, но Гицэ не обратил на это никакого внимания. Он только выпрямился и озабоченно посмотрел кругом, сжимая рукой ошейник.

Никто не появлялся.

— Должно быть, наскочили на суслика или почуяли лисицу,— проговорил он, не обращая больше внимания на собачий лай.

— Гицэ!..— жалобно сказала Ана.— Не знаю, что с тобой с некоторых пор сделалось! Ты же видишь, что мне худо становится, когда ты сажаешь ребенка верхом на собаку, и все-таки, как назло, продолжаешь это делать.

— Бедная моя головушка! — резко воскликнул Гицэ, словно приходя в себя.— Только захочешь доставить себе удовольствие — все равно, плохое или хорошее,— не тут-то было!.. Жена начинает сердиться. Ну, хватит...— прибавил он, беря ребенка на руки, и оттолкнул собаку пинком ноги.

— Нет, Гицэ, не надо!..— воскликнула испуганно Ана.

Она побежала вслед за собакой, привела ее, держа за ошейник, и стала настойчиво просить Гицэ снова посадить на нее ребенка.

— Все это глупости,— проговорил Гицэ, смягчившись, и опустился на траву.

Тогда Ана сама посадила мальчика на Кулу и стала боязливо водить собаку взад и вперед, то и дело поглядывая на мужа, в надежде, что он улыбнется. Но Гицэ не улыбался.

Он смотрел на весело визжащего ребенка, на жену, и все более глубокое чувство умиления охватывало его: ему казалось, что он не видел жену очень давно или что им предстоит разлука.

— Ана,— проговорил он медленно.— Подойди, сядь рядом.

После того как она села рядом, он посмотрел на нее долгим, печальным взглядом. Потом пригладил ей волосы и тихо сказал:

— Не кажется ли тебе, что хорошо бы нам уехать отсюда ко дню святого Димитрия?

— Почему? — спросила жена с изумлением.

— А разве тебе не скучно здесь, всегда одной?

— Мне? Нет.

— И ты не боишься?

— Чего?

— Чего? Да всего. Слышишь, как лают собаки? Быть может, они напали на след, нашли жука или червяка, вот и лают от нечего делать... А у меня просто кровь стынет в жилах, когда я слышу этот лай. Страшно здесь, Ана, страшно. Живешь в глуши, боишься всего и портишь себе жизнь из-за пустых вымыслов.

— Что с тобой? — воскликнула Ана озабоченно.

— Со мной?..— с горечью переспросил он.— Несчастье... Я теряю «сегодня» в ожидании «завтра»... Я никогда еще тебе не говорил об этом, но ты, Ана, должна стать взрослым человеком, задуматься над жизнью, потому что нельзя всегда надеяться на готовое. Вот я живу здесь, и никто меня не тревожит. Это моя вина, что мне приходят в голову дурные мысли о завтрашнем дне и не дают мне наслаждаться сегодняшним. Может быть, они пустые, эти мысли, и завтрашний день тоже будет хорошим, но и он пропадет для меня, так как вслед за ним я буду бояться послезавтрашнего. И пока мы будем жить здесь, мне от этого не избавиться.

— Тогда уедем, Гицэ!

— Да, уедем; но спроси, могу ли я на это решиться? Разве ты не видишь, каким я стал и как мне трудно теперь уехать!

— В таком случае останемся. Ты лучше меня знаешь, как нам поступить.

— Может быть, и знаю, Ана, но не могу решиться,— с горечью ответил Гицэ.— Нужно, чтобы меня заставил кто-то, подтолкнул; с тещей говорить об этом мне тяжело и стыдно: ведь она советовала мне не ехать сюда. А ты, Ана,— ты хорошая, кроткая, но у тебя еще ветер в голове, ты ничего не понимаешь. Что с тобой, что без тебя — одно и то же. Вместо того чтобы отогнать от меня дурные мысли, ты позволяешь мне в них копаться. А когда я не знаю, на что решиться, смотришь на меня с жалостью — и все.

— Что же мне делать? — грустно сказала она.— Уж такой сотворил меня бог.

Гицэ продолжал лежать на земле, опираясь на локти и рассеянно глядя вдаль.

Немного погодя Ана подняла голову и смело взглянула ему в лицо.

— Потому что ты все переживаешь один, а со мной не делишься,— сказала она.— Моя ли вина, что я не знаю, о чем ты думаешь?

V

Пока они так разговаривали в тени ольшаника, из-за холма показались три ехавших рядом всадника. Они все время держались близко к берегу реки, укрываясь за рядами ив и ракит.

Собаки, почуяв путников на расстоянии ружейного выстрела, кинулись им навстречу. Их лай становился все тревожней.

— Черт бы побрал этих псов,— проговорил Ликэ, останавливая лошадь.— В корчме как будто никого нет, да и на дороге ни души не видно, но если не приручим его собак, он нас бояться не будет.

Ликэ спрыгнул с коня и прошел несколько шагов вперед. Как только обе собаки уже настолько приблизились, что готовы были броситься на него,— он присел на корточки и начал ласково подзывать их.

Сбитые с толку псы остановились, а когда сошли и другие два всадника, они окончательно успокоились, по-видимому решив, что имеют дело с мирными людьми, которые расположились на отдых далеко от порученного их охране двора. Не спеша повернули они назад к корчме, изредка останавливаясь, чтобы тявкнуть еще разок.

Ликэ встал и опять начал подзывать их; однако при каждой его попытке подойти ближе собаки снова начинали лаять.

Больше получаса провозился Ликэ со щенками, приученными рвать в кровь свиные уши. Наконец ему удалось их погладить, что он сделал с довольным видом человека, лишний раз доказавшего свою ловкость.

— Славные щенята. Да только я их крестный,— сказал он, снова погладив собак... Так шаг за шагом он приблизился к опустевшей корчме.

Гицэ уже и думать забыл о собаках, когда Ликэ вошел в корчму. Разбудив несколькими пинками Лае, спавшего на скамье под навесом, он послал его за хозяином.

— Может, лучше мне сходить? — спросил один из людей Ликэ.

— Ничего, сам придет!

Узнав, что приехал Ликэ, Гицэ изменился в лице. Он вскочил на ноги и, не долго думая, весь подобравшись, решительным шагом направился в корчму.

Мгновение Ана стояла в смущении, потом бросилась за мужем.

— Постой, Гицэ! — воскликнула она.— Прежде всего надо послать Лае вверх по долине — туда, к ракитам.

Ана посмотрела в глаза мужу долгим, суровым взглядом.

— Что же, теперь, когда я начинаю понимать тебя, ты меня не понимаешь? — медленно спросила она.— Мы же говорили, что пошлем Лае вперед, и пусть он нас дожидается. Иди, Лае,— продолжала она.— Поднимись вверх по долине, к роще, и если встретишь священника, передай ему, что мы придем позже. Приехал Ликэ Сэмэдэу с двумя своими людьми, и нам придется задержаться. Пусть батюшка подождет нас, да и ты подожди вместе с ним. Понял? Иди все время позади ракит, чтобы тебя не было видно.

— Понял,— ответил Лае, направляясь через ольшаник к речке.

Теперь и Гицэ понял мысль жены. Ему хотелось остановиться и сказать ей: «Ты ошибаешься, Ана, Ликэ нечего бояться». Его так и тянуло подойти к ней, поблагодарить за хорошую мысль, но он не мог ничего этого сделать, так как боялся взволновать жену, и потому с тяжелым сердцем пошел прямо к корчме, оставив Ану одну под ольшаником.

Подходя к корчме, Гицэ заметил, что Лае бежит по направлению к речке, торопясь добраться до ракит.

— Этот дурак непременно меня выдаст,— озабоченно пробормотал Гицэ и громко прибавил, глядя на Ликэ: — Недаром он получил от меня сегодня хорошую взбучку. Я послал его принести

мне вершу с рыбой. Полюбуйтесь, как летит!.. Ну, добро пожаловать!

— Замечательные у тебя собаки,— заметил Ликэ, гладя одну из собак и не спуская глаз с Аны, которая шла от ольшаника, держа одного ребенка на руках, а другого ведя за руку.— Они почуяли нас на расстоянии получаса пути, и я потратил пропасть времени, чтобы их приручить.

Гицэ понял, куда метит Ликэ. С наслаждением дал бы он хорошего пинка ласкавшейся к нему собаке.

— Я слышал, как они лаяли,— ответил он,— но я знаю, что сюда никто не может прийти, кроме тех, кого я жду обычно.

— Запомни как следует,— продолжал Ликэ,— на разных людей псы лают по-разному. Частенько, когда, казалось бы, им надо наброситься, они лишь тявкнут раз-другой. А вообще место здесь чудесное: на расстоянии часа пути никто не может показаться на дороге незамеченным. Однако войдем,— прибавил он лениво.— У нас с тобой есть о чем поговорить.

— И даже о многом,— согласился Гицэ, следуя за ним твердыми шагами.

Несколько минут они сидели молча, полные решимости.

— Вот,— проговорил наконец Ликэ, вынимая из-за широкого пояса связку нанизанных на проволоку кусочков кожи.— Это метки моих стад. Я их ставлю свиньям на правое ухо, для каждого стада разные; такие самые, как и вырезанные на кусочках, которые я тебе оставляю. Если по дороге гонят свиней — взгляни на их клейма, хорошенько запомни свинопаса, который их гонит, и помалкивай.

Гицэ посмотрел на него долгим взглядом, но ничего не ответил.

— Думаю, мы договорились? — добавил Ликэ.

— Я этого не думаю.

— То есть как это?

— А так,— сурово отчеканил Гицэ.— Посмотрю я кругом... Нет никого. В этой глуши я один. У меня, как ты говоришь, две замечательных собаки, но вот пришли вы трое, и никто об этом даже и не знает. Вы можете убить всех, сколько нас здесь есть, и никто не узнает, что это сделали вы; можете взять, что вам понравится, а мы, если у нас ума хватит, даже не станем никому жаловаться, потому что вас всегда много и вы сильные, а нас всегда мало и мы слабые. Ты вот требуешь, чтобы я поступил именно так, как тебе хочется; и разве могу я ответить: «Нет!»

— Значит, мы договорились.

— Насильно договариваться нельзя. Если ты в самом деле хотел договориться со мной, ты должен был идти прямой дорогой,

а не закоулками. Обещать, что сделаю по-твоему, я могу, но поступлю все-таки по-своему.

— Это уж мое дело,— сказал Ликэ решительно.— Или поступай, как мне нравится, или я устрою в корчме другого человека.

— Ликэ,— проговорил корчмарь.— Не думай, что тебе удастся запугать меня. Если ты человек умный, попробуй столковаться со мной по-хорошему.

— Лучшего договора я не знаю. Мало ли что таит человек у себя в сердце; но пусть он знает одно: плохо ему придется, если он сделает не по-моему.

Гицэ шагнул вперед.

— Если бы дело было только в этом, Ликэ,— сказал он спокойно,— я не стал бы противиться. В конце концов ты просишь у меня помощи, и я охотно мог бы ее тебе оказать, если бы знал, что ты за человек и не следует ли мне бояться, что завтра ты потребуешь от меня еще большего. Кроме того, Ликэ, ведь ты не один, как я; и если я буду поступать по-твоему, то мне придется сводить счеты с другими.

— Дело твое!..— злобно воскликнул Ликэ.— Подай мне ключи!

— Какие ключи?

— Все ключи. От ящика стола, от шкафа, от всех сундуков,— холодно ответил Ликэ.— Кто устраивается здесь, тот хочет нажить побольше денег. И ты уже нажил, с тех пор как тут живешь. Я возьму их у тебя в долг.

Несколько минут Гицэ стоял в оцепенении, неподвижно глядя на говорившего.

— Я тебя не ограблю,— добавил Ликэ.— Возьму в долг и возвращу честно, с процентами. Даже с большими. Но, разумеется, когда мне самому это будет удобно. Давать тебе расписку нет нужды, она не принесет никакой пользы: если я останусь жив и дела мои пойдут хорошо — я заплачу тебе с излишком, а уж коли вдруг помру или дела пойдут плохо — взять их тебе все равно будет неоткуда.

— Что же прикажешь выдать тебе деньги по счету?

— Стоит ли терять время?

— Тогда бери, сколько возьмешь, но будь благоразумен, оставь что-нибудь и мне, а то заметят жена и теща,— сказал Гицэ, указывая на ящик, где хранились деньги и ключи.

— Вот мы и поладили! — воскликнул Ликэ.

Гицэ хотелось кинуться на Ликэ, растерзать его на клочки, но его удерживало присутствие поблизости двух его людей: нужно было бы слишком быстро с ним разделаться. Гицэ казалось, что кровь вытекает у него из жил, когда он смотрел, как

Ликэ монету за монетой забирает его деньги, скопленные по грошам, но теперь он был бессилен и должен был сдерживаться.

— Да, мы поладили,— сказал он, подходя к Ликэ,— и если я причиню тебе хоть малейшее беспокойство — мне этих денег не видать.

Ликэ повернулся к нему и злобно ухмыльнулся.

— Ишь ты какой стал кроткий! Настоящий телок...— сказал он немного погодя.

Гицэ вздрогнул. Многое он мог стерпеть, но последнее издевательство вывело его из себя. Невольно шагнув к Ликэ, он схватил его за руки и, стиснув их, вымолвил приглушенным голосом:

— Не двигайся, не то убью!

Чувствуя, что Гицэ сильнее его, Ликэ бросил беспокойный взгляд на дверь и быстро спросил:

— Что тебе нужно?

— Ничего,— ответил Гицэ.— Ничего не нужно. Тебе слишком хорошо известно, что у меня есть жена и дети и потому ничего не могу тебе сделать. Ты отбираешь у меня деньги,— что же, на здоровье! Отнял душевный покой и испортил мне жизнь,— на здоровье; но не думай, что тебе удастся издеваться надо мной! Ты можешь меня убить, Ликэ. Ты и твои люди. А я могу отправить тебя на виселицу. Не играй со мной. Подумай, ведь теперь, после того что ты со мной сделал, мне уже почти нечего терять. Смотри, как бы я не потерял и то, что еще осталось. Бойся меня.

Ликэ сделал шаг назад.

— Ты боишься,— продолжал Гицэ, проводя обеими руками по волосам.— Боишься и не постыдишься позвать людей на помощь.

— Конечно, не постыжусь,— ответил Ликэ, улыбаясь.— Мне было бы стыдно, если бы я пришел к тебе без этих людей.

Гицэ терял самообладание и потому чувствовал себя слабее Ликэ, которого ничто не могло вывести из равновесия.

— Пусть они войдут, пусть увидят, что ты боишься. Эй, люди, сюда!..— крикнул он и неподвижно остановился посреди комнаты.

Один из свинопасов быстро вошел в комнату, а другой остановился на пороге, глядя в глаза Ликэ.

— Он вздумал повздорить с нами,— сказал Ликэ.

— Избави бог,— отозвался Гицэ.— Я человек разумный. Хочу только показать, что не боюсь вас.

— Зато мы тебя боимся,— сказал Ликэ.— Ты же сам сказал, что я должен тебя бояться. Так оно и есть: да, боюсь. Только вот не знаю, удастся ли мне еще хоть раз поставить тебя в такое безвыходное положение, в котором я тебя держу сейчас. Ты меня

понимаешь? Еще не было случая, чтобы я не убрал человека, который попытался стать мне поперек дороги.

— Да я и не собираюсь становиться тебе поперек дороги.

— Но мог стать. Мог сделать что-нибудь такое, чего не сделал до сих пор, потому что не знал, кто я такой. Свяжи слугу и приведи сюда жену и детей,— обратился Ликэ к Рэуцу, все еще стоявшему на пороге.

Тут Гицэ кинулся вперед, схватил Рэуца за грудь и отбросил его на середину комнаты. Потом запер дверь и проговорил, задыхаясь от страха:

— Не вмешивайте в наши дела жену! Не трогайте меня! Худо будет. Ликэ, ты человек рассудительный, не рискуй головой, не позорь себя. Будь разбойником, Ликэ, но не глупым воришкой, который сам выдает себя. Спроси меня, где мой слуга, а потом уже разговаривай.

Ликэ в замешательстве посмотрел на своих товарищей.

— Вы же видели, как он бежал вверх по долине. Знайте, что он не вернется до тех пор, пока не узнает, что вы отсюда уехали. Я послал его к священнику в Фундурени сообщить, что я здесь разговариваю с вами.

— Так оно и есть! — воскликнул Рэуц, словно очнувшись от сна.— В самом деле с тех пор я его больше не видел.

Ликэ почувствовал, что почва уходит у него из-под ног.

— Этого я тебе всю жизнь не забуду,— пробормотал он, смотря на Гицэ ненавидящим взглядом.

— Нам не за чем быть врагами,— сказал Гицэ, подходя к нему,— но знай, если тебе не удалось поймать меня сегодня, то не удастся поймать и после, сколько бы ты ни прожил на свете. Пойми, Ликэ, что такие люди, как я, опасные слуги, но неоценимые друзья.

— Разве я говорил, что хочу сделать тебя своим слугой? — спросил Ликэ, сразу понижая тон.

— Если ты этого не говорил и не хотел говорить, то давай побеседуем по-дружески,— успокоившись, предложил Гицэ.— Я принесу вина, и мы выпьем, как порядочные люди, хорошо понимающие друг друга. На столько-то у меня ума хватит, чтобы понять, что, не договорившись с тобой, нельзя оставаться на Счастливой мельнице. Я не желаю служить тебе только из страха, но хочу войти с тобой в соглашение. Я готов делать, как тебе нравится, только будь благоразумен, пойми: чтобы я мог быть тебе полезным, люди должны считать меня честным человеком и вашим врагом.

— Положим так,— проговорил Ликэ.— Ну а мы что должны о тебе думать?

— Каков я есть, сами видите,— ответил корчмарь, протяги-

вая руку.— Ликэ пожал ее.— Деньги ты мне оставь,— добавил Гицэ вполголоса.

— Деньги я возьму с собой,— возразил Ликэ.— Что в руке, то мое.

— Но знай, я ими не связан,— проговорил Гицэ и пошел в погреб за холодным вином.

— Глупо я сделал,— заметил Ликэ, оставшись наедине с товарищами и обращаясь к Рэуцу.— Пожалуй, надо было послушать тебя, Рэуц, и держать своего слугу в корчме.

— Брось! Может, так даже лучше,— ответил Рэуц.

— Посмотрим! — пробормотал другой.— Боюсь, что он нас обманывает.

— Ну, это уж мое дело! — ответил Ликэ, подняв голову.

VI

Как человек, всю жизнь проводящий в дороге, Ликэ довольно часто заезжал на Счастливую мельницу, случалось раз и два в неделю, а то и чаще. Он слезал с коня, выпивал стакан вина, закусывал и снова уезжал, лишь изредка задерживаясь дольше. Случалось это по воскресеньям, когда он приезжал в сопровождении двух-трех товарищей и находился в хорошем настроении духа.

Гицэ нравились эти неожиданные посещения, зато Ану мучили тяжелые мысли, всегда приходившие ей в голову при виде Ликэ и как-то сразу старившие ее.

В тот раз после отъезда Ликэ она спросила мужа, что случилось, и услышала в ответ: «Ровно ничего, да и что может случиться? Ликэ — свой человек». Ана тогда прекратила разговор, но раз от разу становилась все молчаливее. Лишь по временам украдкой смотрела на Ликэ, повторяя про себя: «Человек этот, должно быть, злой и опасный».

Время шло, и она чувствовала себя все более одинокой. Подружившись с Ликэ, Гицэ словно отдалился от нее. Казалось, он что-то скрывал и избегал оставаться наедине с женой.

— Гицэ, что у тебя с этим человеком? — спросила однажды Ана, дождавшись отъезда Ликэ.

— У меня? — пробормотал он почти испуганно.— Что может у меня с ним быть? Ничего. То же, что и со всеми. Приезжает, разговаривает, ест, пьет и платит.

Ана долгим взглядом посмотрела в лицо мужа.

— Но обычно он платит больше, чем полагается,— заметила она сухо.

— Таковы уж богатые люди.

— Гицэ! — проговорила Ана спокойно.— Я не ребенок. Ты — мужчина и сам знаешь что делаешь. Я только спрашиваю, а вовсе не хочу допытываться. Тебе лучше знать: есть у тебя что мне сказать или нет; но, говорю тебе, сердце не позволяет мне умолчать об этом: Ликэ — человек злой и опасный. Я вижу это по его глазам, по усмешке, а чаще всего по взгляду, который появляется у него в те минуты, когда он кусает усы. Гицэ, человек этот не знает удержу, и с ним не следует сближаться.

— Я вовсе и не делаю этого,— вздохнул Гицэ.

— Ну, ладно,— согласилась она.— Дело твое, но не говори потом, что я тебя не предупреждала.

Гицэ очень хотелось быть откровенным с Аной, но ему трудно было это сделать, так как он сам утверждал, что у него с Ликэ нет никаких особых дел. Тем не менее он решил обязательно потолковать с женой в другой раз.

Да и что, по совести, он мог сказать ей теперь? Все происшедшее как будто окончательно забылось. Может, для Аны даже лучше ничего не знать об этом. Правда, Гицэ постоянно осматривал уши свиней, которых гнали мимо, и нередко находил на них клейма Ликэ, но тот приезжал и уезжал, ни о чем не спрашивая. Гицэ оставалось лишь запоминать и помалкивать. Ликэ тоже молчал и ничего от него не требовал. Вместе с тем от Сэмэдэу, казалось, ничего не ускользало из того, что происходило на Счастливой мельнице, и это иной раз поражало корчмаря.

Особенно велико было удивление Гицэ, когда Ликэ прислал ему шесть свиней, на четырех из которых не оказалось ни одной из нанизанных на проволоку меток. Гицэ боролся с собой, но в конце концов взял свиней, не желая портить отношений с Ликэ. Ане же он не сказал об этом ни слова, опасаясь протестов с ее стороны. С этого дня Гицэ по-настоящему стал избегать жены, а она старалась не раздражать его.

Наступила осень, иней покрыл землю, а ветер срывал листья с деревьев и опустошал леса.

С приходом осени дорога на Счастливую мельницу была постоянно полна проезжими. Корчма не пустовала даже по воскресным дням. Осенью самые лучшие ярмарки, осенью человеку есть что продать. Да и у торговцев дела идут хорошо. У Гицэ они тоже шли лучше, чем летом, и едва ли выдавался хоть часок в неделю, когда он оставался в корчме без посетителей. И чем ближе подходил день святого Димитрия, тем больше сновало народа по дороге к Счастливой мельнице.

Как-то раз, в понедельник, когда у корчмы стояло пять телег, а под навесом сидело человек семь, заехал сюда и Ликэ

вместе с Бузэ Руптэ[1], Сэилэ Боарул и Рэуцем. С последним он расставался только в редких случаях.

Ликэ никогда не останавливался ни под навесом, ни в корчме. Он облюбовал для себя боковую комнату, где стояло несколько соломенных стульев, большой стол и две кровати, предназначенные для публики почище, которой случалось заночевать на Счастливой мельнице. Днем в этой комнате обычно находился сам корчмарь с женой и детьми, спал же он в другой комнате, вход в которую был через кухню и окна смотрели в сторону холмов. В комнате, где он коротал время днем, окна выходили на дорогу, и, сидя за столом, можно было видеть и корчму, и дорогу, и площадку перед корчмой.

Однако на этот раз Ликэ не сразу отправился в эту комнату. Он задержался под навесом и завязал разговор с приезжими, расспрашивая каждого, откуда он, куда и по какому делу едет.

Поговорив с ними, он отвел Гицэ в сторону и негромко спросил:

— Когда приедет за платой арендатор?

— Арендатор? — так же тихо переспросил Гицэ.— Я сам думал к нему поехать.

— Ну да, арендатор,— повторил Ликэ.— Незачем тебе к нему ездить. Пусть он заявится сюда. Мне надо потолковать с ним.

— Ну что же. Известить тебя о дне его приезда?

— Не надо. Моя забота. Узнаю без тебя.

Хотя они говорили достаточно тихо и Ликэ, казалось, особенно был озабочен тем, чтобы их разговор сохранился в тайне, все же слова «арендатор» и «моя забота» он произнес настолько громко, что их могли слышать сидевшие под навесом люди. Он оглянулся с испуганным видом и прибавил:

— Пойдем-ка в дом.

Войдя в комнату, Ликэ швырнул кнут на стол в знак того, что хочет повеселиться как следует.

У него раньше произошла ссора с Бузэ Руптэ и Сэилэ Боарул, и теперь, когда Рэуц помирил их, он хотел выпить вместе с ними. Об арендаторе Ликэ не проронил больше ни слова.

Немного погодя в корчму пришли трое цыган со скрипкой, кларнетом и цимбалами. Ликэ усадил их на скамью и приказал играть и петь.

Не успели раздаться первые звуки, как у дверей начали собираться люди. Пришла послушать и Ана со старухой и детьми. Не частый ведь случай, что на Счастливой мельнице сразу собралось трое цыган-музыкантов.

Вскоре Ликэ захотелось плясать. Подхватив Бузэ Руптэ,

---

[1] Бузэ Руптэ — рваная губа *(рум.)*.

он выскочил из корчмы и с таким неистовством закружился с ним, что длинные пряди его волос взлетали кверху.

Но, что тут говорить, танец без женщины теряет всякий смысл. С тех пор как Ликэ стал бывать на Счастливой мельнице, он не обменялся с Аной и десятью словами. Теперь, подойдя к ней, он схватил ее за руку и проговорил:

— Пойдем спляшем разок. Хоть сможешь потом сказать, что танцевала по-настоящему.

Ана отпрянула в сторону, но он обхватил ее обеими руками.

— Мне совсем не хочется танцевать,— решительно сказала она, осторожно освобождаясь из его объятий.

— Захочется!

— И не только этого! — добавил Бузэ Руптэ, подмигивая.

— Нет, не хочу я!..— холодно упорствовала Ана, отступая назад.

Ликэ, раздосадованный, отошел.

— Ну и везет же мне,— вмешался Гицэ, стараясь обратить все в шутку.— До чего пугливой стала моя жена. Иди, иди потанцуй, твоей красоты от этого не убудет!

Ане не хотелось танцевать, но она все же уступила. Сначала было видно, что она делает это по принуждению, но в конце концов почему же не потанцевать?.. Мало-помалу ею овладело веселое настроение. Близость Ликэ взволновала ее, и, когда он обнял ее за талию, чтобы покружить, щеки ее ярко вспыхнули. Но раз уже так случилось — значит, по-другому быть не могло; Ана, капризное дитя, все больше и больше начинала входить во вкус. Гицэ смотрел на оживленное танцем лицо жены, и кровь в нем кипела.

— Ну, на здоровье! — немного погодя устало проговорил Ликэ.— Признаться, ты выносливей меня.

Он сжал Ану в объятиях, приподнял над землей, покружил еще раз вокруг себя, поцеловал и опустил на скамейку.

Ана провела ладонью по щекам и оглянулась, словно в дурмане, в то время как Ликэ шагал взад и вперед, вытирая лоб рукавом рубашки. Наконец он остановился и в сердцах сказал:

— И что это к черту за корчма? Почему ты не держишь служанку?

Стоявшие в дверях мужчины усмехнулись в усы. Ана вздрогнула, покраснела, как пион, и поднялась с места. Старуха отвернулась в сторону, сделав вид, что не поняла слов Ликэ.

«Ничего не поделаешь,— подумала она.— Таков уж человек. Будь он хороший-расхороший, а уж какой-нибудь грешок за ним да водится».

Гицэ ничего не сказал, но подумал, что и это ему следует намотать на ус.

К вечеру Сэилэ Боарул и Бузэ Руптэ отправились в Инеу, а Рэуц, пошептавшись с Сэмэдэу, отправился к лесу Фундурени. Сам же Ликэ, остановившись рядом с другими путниками, поглядел на запад, откуда ползли, поднимаясь к небу, тяжелые облака, и проговорил:

— Погода-то, пожалуй, переменится. Да мне все равно придется заночевать, я-то ведь при деньгах, а места тут нехорошие, особенно осенью.

И он остался ночевать на Счастливой мельнице.

VII

С тех пор как дороги стали проезжими, в народе постоянно шли толки о каких-то грабежах, случавшихся неподалеку от Счастливой мельницы. Но в этом году овраг, находившийся поблизости от нее и пользовавшийся до сих пор дурной славой, перестал считаться плохим местом, и путники поговаривали, что с приходом Гицэ места эти уже не опасны. Однако, несмотря на это, здесь постоянно толклись жандармы из Инеу, и не проходило божьего дня, чтобы они не заходили в корчму.

Гицэ был очень доволен этим и делал все возможное, чтобы поддерживать с ними хорошие отношения: выставлял им закуску и выпивку, отказываясь при этом от платы, и старался во всем угождать.

Среди жандармов был капрал, по имени Пинтя, плотный низенький человек с большими глазами, выдающимися скулами и широкими челюстями; на лбу у него виднелся шрам, усы были коротко подстрижены. Был он человек спокойный и молчаливый от природы, и Гицэ с ним особенно подружился.

Правда, ему еще не случалось поговорить с Пинтей с глазу на глаз, но бывают такие люди, к которым чувствуешь расположение с первого раза, не отдавая себе отчета почему. Таков был и Пинтя. Появляясь на Счастливой мельнице, он чувствовал себя как дома и уходил из корчмы как-то неохотно. Он любил проводить время с Аной и детьми, приласкать собак корчмаря и готов был наброситься на всякого, кто осмелился бы сказать хоть одно дурное слово о Гицэ. Это был единственный человек, с которым корчмарь мог бы говорить более откровенно, чем с другими, и сейчас, когда Ликэ остался на ночь под его крышей, Гицэ очень хотелось, чтобы Пинтя находился где-нибудь поблизости.

Тучи мрачных мыслей поднялись вдруг в голове Гицэ. Им овладело такое беспокойство, какого раньше он никогда не испытывал.

Слова Ликэ, что он должен поговорить с арендатором, привели Гицэ в смятение. Это смятение усилилось после того, как Ликэ поцеловал его жену и намекнул насчет служанки. Вдобавок, хорошо зная Ликэ, он понимал, что ему не страшны ни плохие люди, ни плохие места, и ломал себе голову, для чего это Сэмэдэу остался на ночь в корчме. Зачем ему понадобилось сообщить проезжим, что у него при себе деньги? Что он задумал?.. Зачем сказал об этом, зачем?..

«Зачем? Зачем?..— повторял он в отчаянии.— Кто знает? Может, он сказал это случайно, без всякой задней мысли, а я вот волнуюсь и мучаюсь».

Мало-помалу Гицэ стал забывать о сделке, заключенной с Ликэ, и лишь изредка вспоминал о деньгах, которые Ликэ у него взял. Но сейчас он уже думал обо всем: о деньгах, о сделке, о свиньях с чужими метками, принятых им от Ликэ, о возможных последствиях. Казалось, какой-то таинственный голос не переставая нашептывал ему: «Час расплаты наступил».

Не прошло еще и полугода, как Гицэ водворился на Счастливой мельнице, а дела его шли все лучше и лучше. Есть у него и свиньи на откорме, и две дойных коровы, и тележка на рессорах с двумя добрыми конями, и деньги в сундуке — правда, не слишком много, но достаточно, чтобы прожить на них год-другой. И вот именно теперь, когда Гицэ становился на ноги, Ликэ надумал встретиться с арендатором; уж конечно для того, чтобы столковаться о каком-то другом человеке для корчмы на Счастливой мельнице.

Однако Гицэ вовсе не собирался уходить. Ему ни за что не хотелось покинуть место, где в короткий срок можно было сделаться богатым человеком.

И снова корчмарь принимался думать о сделке, в которую вынужден был вступить с Ликэ, думать о своих деньгах, об окружающих опасностях, о приближении зимы и о тех хороших днях, когда у него не было ни свиней для откорма, ни дойных коров, ни тележки на рессорах, ни быстрых коней, ни тщательно пересчитанных денег в сундуке. Размышляя об этом, он даже как будто радовался, что Ликэ может выгнать его со Счастливой мельницы и тем самым избавить от всех напастей. Но, как человек разумный, он чувствовал, что будет всю жизнь жалеть, если уйдет отсюда. Поэтому стоило ему вспомнить, что Ликэ находится под одной кровлей с ним, как его охватывало мучительное беспокойство. Ему хотелось пойти к Ликэ и прямо спросить его: «Что ты собираешься делать? Что тебе от меня надо? Скажи без утайки, чтобы нам понять друг друга».

И в то же время он говорил себе: «Разве мне не все равно? Я ничего не теряю и сумею за себя постоять. А если и потеряю,

то черт с ним!» Гицэ твердо решил бороться с Ликэ, не отступая ни на пядь. Однако, приняв это решение, он почувствовал себя еще более одиноким и покинутым. Ана, к которой он всегда относился с такой любовью, постепенно отдалялась от него; оставаясь с ним наедине, она уже не бывала веселой, как прежде. И сам Гицэ сторонился ее. С тех пор как она так открыто высказала свои подозрения, в душе его угасло всякое влечение к ней. Нередко он готов был жизнь отдать, лишь бы хоть на один миг ощутить ту радость, какую, бывало, испытывал, глядя на жену. Напрасно; для него она не была уже прежней Аной. Ее красивое лицо, хрупкий стан, все ее нежное существо не трогали изболевшегося сердца Гицэ. Любовь к Ане и детям привела его на Счастливую мельницу. Из любви к ней и детям попал он теперь в трудное положение.

И вот как раз теперь она была в рядах тех, кто не понимает затруднений, с которыми он борется, и, не понимая, считает его дурным человеком. Ему очень нужен был друг, который мог бы его поддержать, и Гицэ думал сейчас не о мирно спавшей рядом Ане, а о Пинте, который своим полным участия взглядом нередко успокаивал его. Корчмарь готов был немедленно запрячь в тележку коней и теперь же, ночью, отправиться в Инеу, чтобы отыскать Пинтю. Но мало-помалу мысли его прояснились, и он несколько успокоился.

Стемнело совсем недавно, но в корчме все уже спали; задремал и Гицэ. Вдруг залаяли собаки; лай их становился все громче и тревожнее, и они кинулись вверх по долине.

Гицэ проснулся, испуганно вскочил с кровати и, подойдя к окну, стал всматриваться в черную бездну ночи. Он ничего не увидел, но почувствовал, что кто-то идет. Вероятно, это был свой человек, так как обе собаки с ворчанием возвратились обратно.

Через какие-нибудь четверть часа Гицэ разглядел приближавшегося к корчме мужчину и рядом с ним высокую, широкоплечую женщину. Они прошли под окном и направились к дверям корчмы.

Так вот оно что!.. Теперь Гицэ понял, почему Ликэ остался ночевать на Счастливой мельнице, и ему стало стыдно за свои недавние подозрения.

«Ишь какая — совсем как лесной разбойник...» — подумал он, отходя от окна.

— Кто там? — крикнул один из слуг, мадьяр Марц.

— Добрые люди! — ответил мужчина.

Гицэ снова встревожился. Ему показалось, насколько он мог разглядеть в темноте, что тот, кто сопровождал женщину, был не Рэуц. Услыхав голос, он больше не сомневался: посетитель был

человек совершенно неизвестный. Почему же признали его собаки? Как пропустил в дом слуга? И почему не пришел сам Рэуц?..

— Почему? Почему? — взволнованно повторял он.

Ужасно, когда человек пугается любого пустяка.

Все же ему захотелось пойти самому взглянуть, кто пришел.

— Что случилось, Гицэ? — спросила, приподнимаясь на постели, Ана.

— Чему случиться? — ответил муж.— Ничего не случилось. Просто вернулся Рэуц. Может, что забыл, а может, хочет поговорить с Ликэ.

— Это вовсе не его голос,— проговорила жена.— Прошу тебя, посмотри сам. И что только за люди шляются по ночам?

Теперь уж и речи не могло быть о том, чтобы Гицэ пошел, так как Ана встревожилась бы еще больше.

— Да не волнуйся,— успокоил ее корчмарь.— Я видел его собственными глазами. Разве Марц пропустил бы незнакомых людей?

— Марц?..—воскликнула жена.—Он мне совсем не нравится.

— Ну, ты всех подозреваешь,— возразил Гицэ.— Будь же умницей, успокойся.

Ана стихла, хотя по-прежнему дрожала всем телом.

Не успели они задремать, как собаки снова подняли шум.

— Что такое? — воскликнул корчмарь.

Внезапно его охватил ужас. Гицэ уже сомневался, действительно ли он видел эту высокую, широкоплечую женщину, похожую на лесного разбойника. Он снова вскочил с кровати и подошел к окну.

Мужчина и женщина торопливо удалялись.

Теперь Гицэ показалось, что женщину сопровождает кто-то другой, возможно даже сам Ликэ; будь Гицэ вполне уверен в том, что жена спит, он непременно вышел бы, чтобы выяснить, в чем дело.

— Уходят,— прошептал он.

— Ладно, Гицэ,— отозвалась Ана.— Давай спать.

— Давай спать.

Но сон уже не приходил. Ана дрожала как в лихорадке и никак не могла успокоиться. Через некоторое время Гицэ крепко уснул. За окном поднялся ветер. Ану же все продолжали мучить волнения бессонных ночей, проведенных на опостылевшем ложе.

Было далеко за полночь, когда собаки всполошились в третий раз.

Ана, затаив дыхание, тихонько спустилась с постели и подошла к окну.

Со стороны Фундурени в корчму возвращался Ликэ.

Ана поняла все: он куда-то уходил и что-то сделал с ведома Гицэ.

— Боже! — прошептала Ана в страхе.— Что за беда свалилась на мою голову!

Ведь Гицэ был ее муж. Пусть бы лучше ослепли ее глаза, когда она подошла к окну,— только бы ничего не видеть и не слышать.

При мысли, что все это станет известно и другим, кровь застывала у нее в жилах.

Во вторник Ликэ вышел из комнаты поздно. По его лицу видно было, что он провел бессонную ночь.

Шел дождь. Ликэ напомнил людям, что еще вчера предупреждал о плохой погоде, и высказал сожаление, что не успел уехать накануне, а теперь ему волей-неволей придется мокнуть.

Гицэ решил сразу же после отъезда Ликэ заложить тележку и отправиться в Инеу, к Пинте. Однако, выспавшись за ночь и увидав Ликэ, он изменил свое намерение. Ведь в конце концов он даже как следует не знал, о чем ему говорить с Пинтей.

Одолевавшие его вечером мысли рассеялись, как тяжелый сон. К тому же с того момента, как он узнал, что у Ликэ тоже имеются кое-какие слабости, он подумал, что Ликэ не такой уж плохой человек, и ему стало стыдно за свои сомнения.

Что касается Аны, то она впервые почувствовала какую-то симпатию к Ликэ и, провожая его, от всего сердца пожелала ему счастливого пути, зная, что отныне судьба ее мужа связана с этим человеком.

После отъезда Ликэ Ана отвела Гицэ в сторону и сказала:

— Мне нужно с тобой поговорить, но не сейчас, а когда у тебя будет время.

— Ну что же...— ответил он задумчиво.— Скажи теперь.

— Нет, нет, Гицэ. Потом, на досуге. Пойди пока к людям. Видишь, они собираются уезжать.

Рассчитываясь с проезжими, Гицэ все время спрашивал себя, о чем хочет поговорить с ним жена, и как-то необычно торопился.

Когда все путники уже рассчитались, в корчму вошел Пинтя в сопровождении двух жандармов.

Он, видимо, спешил и был молчаливее, чем обычно.

— Что за люди, не похожие на остальных, проезжали здесь вчера? — спросил он, входя со своими спутниками в боковую комнату и прикрывая за собой дверь.

— Не помню,— холодно ответил корчмарь.

— Я должен это знать,—коротко и решительно заявил Пинтя.

Гицэ пристально посмотрел на жандармов и твердо сказал:

— Если бы вы находились здесь постоянно, я бы мог говорить с вами по душе. Но вы заходите к нам лишь изредка и должны

сами все понять, а не требовать от меня, чтобы я или лгал вам, или рисковал своей головой. Не знаю, почему вы меня спрашиваете, но могу сказать одно: на такие вопросы я никогда не отвечу. Если вам этого мало — можете связать меня и увести с собой.

— Если понадобится, так и сделаем! — ответил Пинтя.— Хотя ты тоже прав.

И они стали разговаривать о другом, в то время как Пинтя сделал знак своим товарищам удалиться.

Оставшись наедине с Гицэ, Пинтя некоторое время пристально смотрел себе под ноги.

— Ты говоришь Ликэ все, а мне ничего.

— До сих пор я Ликэ еще ничего не сказал. Если он что и узнал, то не от меня.

Пинтя долгим и острым взглядом впился в лицо корчмаря, как будто хотел угадать правду по его глазам.

— В таком случае,— сказал он, помолчав,— может быть, это сделал кто-нибудь из твоих слуг?

Гицэ пожал плечами.

— Не думаю, но буду смотреть в оба.

Вдруг он вздрогнул, словно пораженный осенившей его мыслью.

— Ты знаешь Ликэ? — спросил он Пинтю.

— Знаю.

— Хорошо?

— Хорошо. Мы вместе были схвачены и вместе сидели в тюрьме.

— Ты сидел в тюрьме? — смущенно переспросил Гицэ.

— Да, мы с Ликэ украли несколько коней, на наш след напали, и Ликэ ранили в ногу. Не случись этого, мы не дали бы себя поймать.

— Так это верно, что и ты сидел когда-то? — повторил Гицэ еще раз.

— Что за черт? — воскликнул Пинтя, смеясь.— Я был бы не я, если бы не доказал, что знаю все тайные тропки и повадки моих бывших товарищей. А что тебе хочется узнать про Ликэ?

Гицэ растерялся. Он начал бояться человека, к которому его так тянуло раньше.

— Я хочу тебя спросить одно,— сказал он вполголоса.— Как этот Ликэ? Не бабник?

— Бабник? — переспросил Пинтя.— Нет, у него такой слабости нет... Правда, изредка случается, но слабости к ним у него нет. У него только одна слабость, кичиться, хвалиться, держать людей в страхе и в то же время издеваться и над чертом, и над его матушкой. Над нами, Гицэ, над нами издеваться!..— продол-

жал он, возбуждаясь все сильнее.— Слушай, Гицэ, мне тридцать восемь лет, и я повешусь, если, когда мне стукнет сорок, я все еще не сумею доказать ему, что есть люди и поумнее его. Он сделал мне такое, чего я ему во всю жизнь не забуду.

— Теперь понимаю! — воскликнул корчмарь, снова приходя в возбуждение.— Вчера он сказал, чтобы я завел в корчме служанку, видимо, для того, чтобы было кому заниматься слежкой в моем доме.

Говоря это, Гицэ подбирал слова, чтобы рассказать Пинте о том, что произошло между ним и Ликэ, и в то же время боролся с собой: может быть, ему лучше промолчать?

— Ты должен знать,— добавил он вполголоса,— что Ликэ долго охаживал меня.

— Погоди! — воскликнул Пинтя, обрывая его на полуслове.— Найми служанку, но выберу ее я, а дальше — мое дело.

— Ладно,— ответил Гицэ.— Если ты так считаешь...

— А теперь не будем терять времени: кто был здесь вчера?

— Пинтя, не спрашивай меня, все равно я тебе не могу ответить.

— Постой, давай договоримся,— хмуро проговорил Пинтя.— Одно из двух: или говори со мной откровенно, или пошли меня к черту. Я понимаю, что ты это не говоришь другим, но мне?

— Да я бы тебе сказал,— ответил Гицэ,— но ведь это все равно что поведать всему свету. Ты ведь обязан рассказать и остальным. Послушай: спроси-ка лучше у проезжих, у слуги и заставь его ответить; только не удивляйся, если я после этого прогоню его из дома.

— Понимаю,— проговорил удовлетворенно Пинтя.— Ну, будь по-твоему. А ты знаешь, о чьей шкуре идет речь? Нынче двое неизвестных напали на арендатора, избили его до полусмерти и, как он говорит, отняли у него уйму денег.

Гицэ, казалось, не совсем понял, в чем дело.

— Как арендатора?

— Да, арендатора. И это мог сделать не кто иной, как Ликэ. У него есть обыкновение действовать с немногими сообщниками, чтобы не попасть в беду из-за чужой глупости.

Гицэ больше не сомневался: двое неизвестных могли быть только Сэилэ и Бузэ Руптэ, которые ушли вчера вечером в Инеу. Но он не решался назвать их.

— Это не мог быть сам Ликэ,— произнес он решительно.— Ведь арендатор его знает.

— А может быть, и он,— возразил Пинтя.— Лица у них были прикрыты, но арендатор говорит, ему показалось, что он узнал Ликэ.

— Не может быть! — твердил свое Гицэ.— Сегодня ночью Ликэ ночевал здесь, в моем доме, и только недавно уехал.

Некоторое время Пинтя стоял в раздумье, потом спросил:

— Когда он приехал?

— Вчера, около полудня.

— С кем?

— Спроси у слуг. Должно быть, он-то и подготовил все дело; у меня есть основания так думать.

— Упаси бог! — проговорил Пинтя, поднимаясь.— Знай и навсегда запомни одно, Ликэ никогда не полагается на других. А сейчас запряги лошадей да возьми слуг — поедете со мной. Другие два жандарма останутся здесь.

VIII

Сердце Аны сжалось, когда Гицэ сообщил ей, что должен вместе со слугами сопровождать Пинтю в Инеу; правда, мысль о том, что Пинтя свой человек, немного успокаивала ее, но она ясно видела по лицу мужа, что происходит что-то необычайное.

Ей казалось, что только теперь она поняла, почему Гицэ старался поддерживать хорошие отношения с Пинтей, и ей было приятно, что муж едет именно с ним.

Тем не менее сердце у нее билось сильнее, чем обычно, и пробудившиеся в душе за ночь страхи не ослабевали.

— Мама,— обратилась она немного погодя к старухе.— Что ты думаешь о том, что творится у нас в корчме?

— Что думаю? — ответила старая.— Да ведь и ты видишь то же, что я. Дела идут хорошо.

— Да, в корчме дела идут хорошо,— продолжала Ана.— Ну а у нас в доме? Разве ты не видишь, что Гицэ постоянно занят своими мыслями, даже не разговаривает с нами, как прежде; или ты не видишь, что с некоторых пор мы с ним будто не муж с женой?

— Уж такие времена пошли,— промолвила старуха.— Гицэ человек трудолюбивый, старательный, он только и думает, как бы принести что-нибудь в дом. Есть и у него, как и у всех, свои слабости. Сердце у него так и радуется при всякой наживе. Но это — слабость хорошая, и тебе нечего из-за нее огорчаться. Терпи. Ты ведь терпишь ради собственной пользы, да и недолго уж осталось тебе терпеть.

— Так-то оно так...— сказала Ана.— Ну а вдруг он погонится за нечестной наживой? Не мешало бы ему и нам сказать, что он делает...

Старуха постояла некоторое время в раздумье, потом печально проговорила:

— Этого я не знаю, дочка, да и стараюсь не думать об этом. На свете много несчастья, и люди делят его между собой. Сколько бы ни выпало на твою долю богатства, громкой славы, мирских успехов — все это одна суета.

Ана задумалась. Вдруг послышался шум колес, и к корчме подкатила помещичья карета, запряженная тройкой лошадей. На козлах сидел слуга.

Так как Гицэ не было дома, встречать приезжих вышли Ана и ее мать.

На улице моросил мелкий, как из сита, дождь.

Слуга соскочил с козел и открыл застекленные дверцы. Из кареты вышла дама, на вид лет двадцати восьми, высокая, с золотистыми волосами, с полным лицом и большими голубыми глазами. Она была одета во все черное и держала за руку болезненного и худенького ребенка лет пяти.

Приезжая сделала знак слуге и быстро прошла под навес. Потом взглянула на Ану, как будто спрашивая, где ей найти более уединенное убежище.

— Ну и красавица! — проговорила старуха, следуя за Аной, которая пошла проводить даму в боковую комнату.

В тот самый момент, когда женщины переступили порог комнаты, раздался оглушительный удар грома, от которого вздрогнула вся долина.

— Боже мой! — вскрикнула дама, в испуге останавливаясь на пороге.— Закройте скорее окна, нас может всех убить здесь в корчме.

— Экое чудо господне! Ведь на дворе-то осень! — сказала старуха, крестясь и спеша закрыть окна.— А вы не бойтесь, барышня, господь поражает только тех, кого хочет наказать.

— Господь...— тихо произнесла дама.— Всегда господь, и только он.

— Вам что-нибудь угодно? — спросила Ана, когда приезжая села.

— Только чтобы перестал лить дождь и можно было ехать дальше,— довольно резко ответила та.

Ана вышла и прикрыла за собой дверь. Между тем кучер успел распрячь лошадей и отвести их в конюшню, в то время как слуга приезжей дамы зашел под навес и остался стоять там, прислонившись к столбу. Изредка он кидал взгляды на сидевших в корчме жандармов.

— Она очень печальная,— сказала Ана, подходя к слуге.

— Да, печальная.

— Куда вы едете? — спросила хозяйка.

— Не знаю,— отозвался слуга, пристально глядя в лицо Аны, как будто стараясь понять, следует ли ей отвечать.— Кажется, в Инеу, я в этих местах не бывал. Это здесь пасутся большие свиные стада?

— Да,— ответила Ана.— Они здесь повсюду, насколько можно взглядом окинуть. А что, разве у нее тоже есть стада?

— Говорят,— проронил слуга, пожимая плечами.

— О ком же она так горюет?

— О муже; вот уже три недели как он застрелился.

— Застрелился!..— испуганно воскликнула Ана.— Почему?

— Не знаю,— ответил слуга, снова пожимая плечами.— Сама понимаешь,— прибавил он, помолчав и отходя в сторону,— смерть страшная, и что-то за ней кроется.

— Несчастная женщина!..— растроганно вздохнула Ана.

Пока она рассказывала матери о том, что узнала о красивой путешественнице, кучер вернулся из конюшни и присел на скамейку под навесом.

— Пошлю к черту всех, и лошадей, и карету, и госпожу вместе с ними,— сказал он с досадой.— Так и хочется бросить все здесь, в глуши, а самому бежать куда глаза глядят.

— Замолчи! Услышит...— ответил слуга, подмигивая. Он сказал это достаточно громко для того, чтобы госпожа могла услыхать его, так же как слыхала и кучера.

— Опомнись,— продолжал он тише, усаживаясь напротив.— Или ты забыл, что когда мы ездим в Инеу, то всегда возвращаемся с набитыми карманами?

— А с хозяйкой корчмы ты говорил? — спросил кучер.

— Где там... Не таковская...— ответил слуга.— Эта счета не раздует... Да ладно, в Инеу, где мы остановимся вместе с госпожой, у меня есть свой человек.

— Только бы вразумил господь бог Сэмэдэу отодвинуть срок хотя бы до воскресенья,— проговорил кучер.

Слуга снова подмигнул в знак того, что он теперь займется этим. Несколько минут оба сидели молча, пристально глядя друг на друга, словно каждый хотел что-то сообщить другому, но колебался: то ли не находил подходящих слов, то ли не решался говорить откровенно.

— О чем ты сейчас думаешь? — спросил наконец кучер.

— Гм...— ответил слуга, улыбаясь в усы.— Сдается, о том же, о чем и ты. Нам что? — продолжал он, помолчав, уже с большей откровенностью.— Правда ведь?.. Что тебе за дело?.. Что мне за дело?.. Я знаю одно, сколько бы раз мы ни ездили в Инеу — всегда возвращались оттуда с деньгами, с большими деньгами.

— А все-таки хотелось бы мне знать, откуда наша госпожа их берет,— возразил кучер.— По правде сказать, не думаю, чтобы на свиньях можно было так наживаться.

— Не знаю этого и я,— проговорил слуга, озабоченно оглядываясь по сторонам.— Не знаю и я,— повторил он совсем тихо и перегнулся через стол.— Только с тех пор, как умер господин, кое-что мне кажется подозрительным. Видишь, я только теперь начинаю разбираться в этом. Ты знаешь, что о Сэмэдэу много болтают?.. Так вот... Всякий раз, через несколько дней после того как мы возвращаемся из Инеу, она отправляется вверх по долине, в немецкую землю. А золотую цепочку, за которую должен был бы сесть в тюрьму наш господин, если бы не застрелился, я видел еще в прошлый раз, когда мы были в Инеу.

— Так ты думаешь, Сэмэдэу крадет, а она продает?..— усомнился кучер.

— Ничего я не думаю. Говорю только о своих подозрениях. Ну, посмотрим, что дальше будет. Пока положись на меня: если что случится — это будет на руку нам обоим.

— Как же это так?

— Положись на меня! — повторил слуга, вскакивая с места, чтобы выслушать приказание госпожи, которая вышла под навес взглянуть, не утих ли дождь. На хорошую погоду, видимо, не оставалось никакой надежды.

Нетерпеливая путешественница приказала немедленно запрягать лошадей; у нее не было охоты маяться ночью в корчме, и она спешила ехать, боясь, как бы темнота не застала ее в дороге.

Слуга и кучер начали громко возражать, уверяя, что ехать в такую погоду немыслимо, что можно заморить лошадей — дорога плохая, и они выбьются из сил. Госпожа, однако, не изменила своего решения.

Тщетно Ана со своей стороны советовала ей переночевать в корчме, уверяя, что нечего бояться, так как вот-вот вернется Гицэ; к тому же в корчме как раз находятся жандармы.

— Мы не знаем, сколько времени еще здесь пробудем,— вмешался один из жандармов,— но все же вам лучше остаться. Теперь около двух часов, по такой дороге вы едва ли засветло доберетесь до Инеу! Опять же и места, по которым вы поедете, пользуются дурной славой.

— Сколько вы возьмете за то, чтобы сопровождать меня? — спросила дама.

— Мы не можем,— ответил жандарм.— Мы должны оставаться здесь, пока не получим другого приказания.

— Закладывайте лошадей! — упрямо воскликнула путница.— Вы отлично знаете, что мне ничего от вас не надо даром,—

прибавила она немного погодя и, швырнув на стол бумажку, потребовала счет.

Ана взяла бумажку, растерянно взглянула на нее и, слегка робея, спросила:

— Не можете ли вы дать мне другую? У этой оторван уголок, а я не очень-то хорошо разбираюсь в деньгах.

Путница улыбнулась, вынула большой кошелек, полный новеньких бумажек, и подала одну из них Ане. Затем пошла готовиться к отъезду. Ана растроганно поглядела ей вслед. Вид чужого несчастья вернул ей утерянное спокойствие и уверенность, свойственные человеку, который сознает, что он счастливее других. После отъезда Гицэ Ана все время волновалась, думая о том, что произошло в доме арендатора. Она ничего не знала: Гицэ не успел сообщить ей об этом, а жандармы не имели права пускаться в откровенности. Однако ночное происшествие в корчме и спешный отъезд мужа внушали Ане подозрения, что во всем этом кроется что-то явно опасное для Гицэ. Она терялась в догадках. Ей казалось невозможным, чтобы Гицэ был замешан в дурном деле.

«Нет, этого не может быть...— повторяла она себе.— Гицэ человек правдивый, смирный, рассудительный. Он ничего не хочет ни видеть, ни слышать, ни знать; не хочет разжигать злобу в дурных людях». С тех пор как Ана узнала о судьбе путницы, эта добрая мысль не покидала ее, и она с нетерпением ждала возвращения Гицэ, чтобы утешить его ласковым словом.

Спустя некоторое время после отъезда кареты дождь стих, и поднялся ветер. В стороне Бихора туман мало-помалу рассеялся, и небо начало проясняться.

— Бог даст, прояснится,— проговорила Ана, которая стояла перед корчмой, то смотря на дорогу, по которой должен был приехать муж, то на облака, быстро бежавшие над долиной, к западу.

Но время шло, а тележка Гицэ все не показывалась на вершине холма, дорога была пустынна, и Аной овладевали мрачные предчувствия.

IX

Дорога в Инеу, по которой отправился Гицэ вместе с Пинтей и своими слугами, была довольно длинной, так что у него было достаточно времени, чтобы подумать о своих затруднениях.

Во всяком случае, Гицэ уже не сомневался, что напавшие на арендатора люди с закрытыми лицами были именно Бузэ Руптэ и Сэилэ Боарул. Раньше он не имел с ними никаких дел и никогда

в жизни их не видел, а вышло так, что в первый же приезд они долго пробыли в его корчме и прямо оттуда отправились грабить арендатора. Вот это-то обстоятельство и могло навести на подозрения. Однако еще больше заботило Гицэ другое: он боялся, как бы Ликэ не стал показывать против него. В присутствии судьи, перед крестом и зажженными свечами он будет не в силах отрицать, что имел дело с Ликэ, и почувствует себя вынужденным рассказать все, что было между ними. Значит, одно из двух: или будет уличен и осужден Ликэ, и в таком случае Гицэ, как сообщнику злоумышленника, не выйти сухим из воды; или же Ликэ сумеет вывернуться, и тогда Гицэ придется опасаться его мести. Чем ближе подъезжали они к Инеу, тем меньше думал Гицэ о событиях минувшей ночи. Теперь уже речь шла о нем самом.

По слабости ли или под давлением обстоятельств но он совершил поступки, которые могли навлечь на него тяжелые подозрения. Гицэ не мог чувствовать себя ни в чем не повинным и боялся, как бы на этот раз не выплыла наружу и его вина. Будь Гицэ человек откровенный, он без колебания поговорил бы с Пинтей и попросил бы его уладить дело так, чтобы не обнаружились его сделки с Ликэ. Но он ясно понимал, что поссорится с Пинтей, который всем сердцем ненавидел Ликэ, если сейчас заговорит с ним об этом. Ему оставалось только бранить себя за то, что не переговорил с Пинтей раньше, с глазу на глаз: ведь тогда он мог бы высказаться откровенно, сообщить Пинте все без утайки, чтобы не оставлять его в недоумении по поводу своих связей с Ликэ.

Въезжая в Инеу, Гицэ изменился в лице. Ему было тяжело, что именно теперь, после всего случившегося ночью в доме арендатора, люди видят его в повозке рядом с жандармом. Если бы хоть можно было бы утешить себя мыслью, что рано или поздно он сумеет доказать свою невиновность и осрамит всех, кто сейчас осуждает его, кто выходит за ворота и злорадствует, видя, что он попал в тяжелое положение. Но такое утешение было для него давно потеряно.

Они въехали во двор жандармской казармы.

Пока слуги распрягали лошадей, кругом начал собираться народ. Всем хотелось знать, что случилось. Толпа все увеличивалась, и Гицэ чувствовал, что у него на глаза навертываются слезы.

— Я хотел бы поговорить с тобой,— сказал он Пинте.

Пинтя, едва проронивший за всю дорогу от Счастливой мельницы до казармы несколько слов, пристально взглянул на него.

— Этого еще недоставало! — проворчал он, когда слуги отошли в сторону.— Только и не хватает, чтобы кто-нибудь видел, как мы шепчемся. Не падай духом и положись на меня.

Тяжело, очень тяжело, когда хочешь сказать слово, идущее от самого сердца, и не можешь этого сделать. Но еще тяжелее сознавать, что только это слово и может прогнать темные мысли, таящиеся в душе человека, к которому тебя влечет. Таково было состояние Гицэ, когда он смотрел вслед удаляющемуся Пинте. Стремясь избавиться от взглядов собравшихся у ворот людей, он, скорее инстинктивно, чем умышленно, отошел в сторону и остановился возле казармы — длинного старого здания с высокой крышей, стоявшего на правой стороне двора, окруженного неоштукатуренными стенами.

«Да,— подумал он немного погодя.— Бездушный я человек; не следовало мне ехать, не сказав ей, по какому делу я еду, и не узнав, что она хочет мне сказать».

Пока Гицэ стоял у стены казармы, Пинтя начал действовать: прежде всего он отвел к комиссару Лае. Комиссар был высокий сухопарый мужчина с длинными закрученными усами, нервный и резкий в обращении.

Бедный Лае не понимал, что происходит, но ему стоило только раз посмотреть в лицо хозяина, чтобы почувствовать какую-то опасность. Когда он предстал перед комиссаром, на него напала дрожь, и он стал уверять, что ничего не знает, так как работает на конюшне и с вечера всегда рано ложится спать. Его замешательство только подкрепило подозрения комиссара, который решил взяться за него построже. Слуга, у которого замирало сердце от страха, показал, что однажды в воскресенье Ликэ Сэмэдэу приехал на Счастливую мельницу с двумя товарищами и пинком разбудили его; что хозяйка вскоре после этого послала его к попу в Фундурени, но он туда не пошел, а спрятался в роще. Кроме того, несколько дней спустя, идя вверх по долине, чтобы пригнать коров с поля, он встретился с Ликэ и Рэуцем, которые принялись колотить его, грозя переломать все кости, если он осмелится их подстерегать. С тех пор он стал избегать Ликэ и его людей, которые, впрочем, никогда ни о чем его не спрашивали и которым он никогда ничего не говорил.

Услыхав все это, Пинтя нахмурился. Он хорошо знал Ликэ и понимал, что тот недаром приезжал в то воскресенье на Счастливую мельницу.

Комиссар же, как человек горячего нрава, был совершенно убежден, что напал на следы фактов, до сих пор неизвестных. Он вызвал к себе Марца и в первую очередь начал спрашивать его мнение об этом. Марц вошел в комнату спокойно — он ничего не слышал о том, что произошло в воскресенье. Однако из его показаний комиссар узнал, что у Гицэ есть проволочное кольцо с нанизанными на нем метками, которыми Ликэ отмечает свои

стада, и что Гицэ часто принимает от Ликэ свиней. Узнал он также, что в этот понедельник Ликэ, Рэуц, Бузэ Руптэ, Сэилэ Боарул и Гицэ сидели в корчме и шепотом разговаривали об арендаторе; что в сумерках Бузэ Руптэ и Сэилэ отправились в Инеу, Рэуц пошел по долине в лес, а Ликэ остался до утра в корчме.

Позднее, около полуночи, подняли лай собаки, и он, Марц, выйдя во двор, увидел там мужчину и женщину. На его оклик: «Кто идет?» — Рэуц ответил: «Добрые люди». А на заре Марц снова проснулся, так как опять залаяли собаки. Он вышел во двор во второй раз и увидел, как Рэуц уходил с женщиной.

Теперь Пинтя знал достаточно. Сначала он смутился: выходит, что Гицэ в какой-то степени был сообщником Ликэ — хранил у себя клейма его стад, принимал от него подарки, был в сговоре с Сэилэ и Бузэ Руптэ, которые, как видно, отправились в Инеу с целью ограбить арендатора. Комиссару хотелось, чтобы при допросе присутствовал хоть кто-нибудь посторонний, чтобы похвалиться: вот, мол, не прошло и двадцати четырех часов, а я уже успел напасть на следы злоумышленников! Но Пинтя был человек медлительный и никогда не торопился; тем более он не спешил делать выводы именно теперь, когда речь шла о таких вещах, поверить которым он не мог. Он считал Гицэ человеком честным, враждебно настроенным к Ликэ, и даже теперь, после того что узнал, готов был поручиться за Гицэ головой.

В самом деле, не может же он, Пинтя, так быстро изменить свое мнение. Было бы слишком стыдно признаться в том, что он так сильно заблуждался. Ведь он чувствовал искреннюю симпатию к Гицэ, и утрата этого хорошего чувства причинила бы ему просто боль. Но Пинтя был осторожнее, чем всегда, именно потому, что ему не пришлось допросить Марца с глазу на глаз, и внутренний голос все время нашептывал ему: «А что, если ты все-таки ошибаешься? Что, если ты попадешь впросак?» И все же Пинтя не торопился и только попросил задержать Марца.

— Я что-то не слишком верю всем его показаниям,— сказал он,— Ликэ никогда ни на кого не полагается, не так-то легко проговаривается, не вступает в сделки с такими всем известными людьми, как корчмарь со Счастливой мельницы. Без сомнения, здесь что-то кроется, но предоставьте это мне; уж я-то сумею вырвать у него признание.

Он вышел, чтобы позвать Гицэ, который ждал все это время в страшном беспокойстве, и тихо сказал ему:

— Послушай, дело так обернулось, что тебя не отпустят домой иначе как на поруки.

Гицэ так и застыл на месте, как пораженный громом с ясного неба.

— Успокойся! — возразил капрал.— Ты же видишь, что у меня нет другого выхода.

«Нет другого выхода!..» Вот слова, которые обычно понятны лишь тому, кто их говорит; ведь нечасто случается, что человек может понять затруднительное положение другого.

— Ну, ладно,— сказал Гицэ, упрямо подняв голову, как человек, который собрал все силы, чувствует себя достаточно крепким и не нуждается в посторонней помощи.

— Ликэ Сэмэдэу ваш приятель? — резко спросил корчмаря комиссар, после того как Гицэ подтвердил, что накануне Ликэ веселился в корчме вместе с Сэилэ и другими своими друзьями.

Гицэ ожидал этого вопроса; и все же, услыхав слова комиссара, он почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Но медлить было нельзя, приходилось отвечать.

— Приятель? — повторил он.— Как раз этого-то я и не могу сказать; вернее даже, вовсе он мне не приятель; но у этого человека много всяких дел в разных местах, он часто заезжает в корчму, и мне не хотелось бы портить с ним отношения.

— Так! Человек, с которым вы не хотели бы портить отношения? — насмешливо повторил комиссар, моментально почувствовав, что этим вопросом может вывести Гицэ из терпения.— А какая вам польза от того, что вы не будете портить с ним отношения?

— Особенно большой пользы нет,—ответил Гицэ,—но вы, конечно, понимаете, что я понес бы убыток, если бы поссорился с ним. Да кроме того,— прибавил он вполголоса,— человек заходит ко мне в корчму, выпивает, закусывает, и он и его товарищи; а ведь как раз для таких людей я и стал корчмарем на проезжей дороге.

— Понятно,— продолжал комиссар, делая ударение на каждом слове,— он хорошо платит.

— Да,— ответил Гицэ, снова начиная волноваться.— Если у него нет денег, он платит мне свиньями.

— Так вы говорите, он платит вам свиньями? — переспросил комиссар, подходя ближе к Гицэ.— А вам известно, что Ликэ Сэмэдэу — человек подозрительный? Почем знать, может быть, свиньи, которых он вам дает,— краденые.

Холодный пот струился по лицу Гицэ. Ему было мучительно признаваться во всем человеку, которого он раньше никогда в жизни не видел, да еще в присутствии своего приятеля Пинти, с которым у него отношения испортились именно потому, что он скрыл от капрала свою связь с Ликэ. Но и на этот раз надо было отвечать правду, так как оставалось неизвестным, что будет показывать Ликэ, когда придет его очередь.

— У меня есть все метки стад Ликэ; это нарезанные кусочки

кожи, нанизанные на проволочное кольцо. Он сам дал их мне,— сказал Гицэ уже более спокойным голосом.

— Ах, так! — воскликнул комиссар.— Он дал вам метки своих стад! А не приходилось ли вам получать от него свиней, на которых не было ни одной из этих меток?

— Случалось! — ответил Гицэ решительным тоном человека, сжигающего свои корабли. При этом он бросил взгляд на Пинтю, как будто хотел сказать: «Я для тебя это говорю».

Спокойствие Гицэ начинало выводить комиссара из терпения.

— А разве вы не знаете,— бросил он раздраженно,— что воры только с ворами знаются, а закон наказывает и того, кто принимает краденое.

Гицэ снова бросил взгляд на Пинтю и, поймав выражение гнева в его глазах и нахмуренных бровях, поднял голову и поправил на себе одежду, чувствуя, как на его висках медленно набухают вены.

— Господин комиссар,— сказал он спокойно,— не угрожайте мне, потому — не за что. Верно, я взял метки у Ликэ, чтобы при случае сообщить ему, не гнали ли мимо корчмы свиней, украденных из его стада. Верно и то, что, когда он давал мне свиней, которые казались мне подозрительными, я не пришел сюда доложить вам об этом. Не попрекайте меня! — продолжал он с жаром.— А не то я сам попрекну вас! Если вы не умеете очистить дороги от злых людей, к каким вы причисляете Ликэ, то будьте, по крайней мере, справедливы и не нападайте на тех, кого вы все равно оставляете в беде.

Гицэ жалел, что высказал это комиссару, и, произнося эти слова, в душе бранил себя, зная, что они рассердят комиссара. Он был, однако, не в силах совладать с собой. Ведь когда-нибудь ему нужно было высказать мысли, которые он так долго вынашивал в сердце, и лучше было сделать это теперь, перед лицом Пинти, который должен наконец все узнать.

Но Пинтя продолжал недоумевать, ведь он так и не узнал того, что ему было нужно. А кое-что другое он узнал только теперь, потому что Гицэ оказался припертым к стене, а не раньше, когда они оставались вдвоем.

Комиссар покраснел как рак и едва не бросился с кулаками на Гицэ; однако он чувствовал, что теперь корчмарь попался и с ним можно поиграть, как кошка с мышью.

— Понимаю,— сказал он, сдерживаясь.— Вы подружились с Ликэ лишь потому, что находились в трудном положении. Впрочем, меня мало интересует, почему вы с ним подружились; достаточно знать, что вы одного поля ягоды. А что, Ликэ всю ночь оставался один?

— Нет,— отвечал корчмарь, вновь собираясь с силами.— Вскоре после того как свечерело, к нему пришли мужчина и женщина.

— Вскоре после того как свечерело? Припомните-ка лучше: не ближе ли это было к полуночи?

— Я только что лег,— растерянно отвечал Гицэ.

— Вы только что легли?..— повторил комиссар.— Почем я знаю, когда вы привыкли ложиться. Но пусть будет так. Кто был этот мужчина?

— Не знаю.

— Может быть, это был Рэуц, уехавший с вечера?

— Нет,— твердо ответил Гицэ.

— Ладно! — продолжал нетерпеливо комиссар.— Что же, мужчина и женщина оставались у Ликэ до утра?

— Нет. Они вскоре ушли.

— Вскоре?.. Припомните-ка хорошенько. А не случилось ли это на рассвете?

— Я только что задремал,— как-то испуганно пробормотал Гицэ.

Несколько минут все трое стояли в недоумении; казалось, они что-то где-то услышали и пытались дать себе отчет, что именно и где. Гицэ, ничего не зная о показаниях Марца, не понял, куда метит своими вопросами комиссар.

Пинтя же и комиссар после показаний этих двух лиц старались разобраться в словах Гицэ.

Комиссар из показаний Марца сделал вывод, что Бузэ Руптэ и Сэилэ Боарул напали на арендатора вечером, а Рэуц пришел в полночь сообщить Ликэ о происшедшем и, быть может, принес часть похищенных вещей; он считал, что Гицэ умышленно говорит неправду. Подойдя ближе и сурово посмотрев ему в глаза, он спросил:

— Значит, человек, который пришел с женщиной, был не Рэуц? Он пришел вечером как раз в то время, когда арендатора грабили, и вскоре ушел из корчмы?

Услыхав этот вопрос, Пинтя шагнул вперед, чтобы Гицэ мог видеть его прямо перед собой, провел рукой по лбу и нахмурил брови. «Если все это так,— сказал он себе,— то, значит, Ликэ ушел, напал на арендатора и снова вернулся в корчму. А Гицэ оклеветали». С этой мыслью он посмотрел прямо в лицо Гицэ и сделал ему знак ответить: «да».

— Я не могу в этом поклясться,—сказал Гицэ, хотя и понял знак Пинти.— Я стоял у окна и, может быть, плохо расслышал и не все разглядел. Возможно, что это был и Рэуц. Я уснул, прежде чем они ушли, и не могу точно сказать, когда именно это было.

— Разговаривали ли вы с Ликэ и его товарищами об арендаторе? — настойчиво спросил комиссар.

— Да,— ответил Гицэ, сбитый с толку этими неожиданными вопросами,— но только с одним Ликэ. Он спросил меня, когда приедет арендатор, и сказал, что собирается с ним потолковать.

— Только и всего?

— Только.

— А еще кто-нибудь это слышал?

— Не думаю,— отвечал Гицэ, запинаясь.— Он отвел меня в сторону.

— Но если вы больше ни о чем не говорили,— произнес с улыбкой комиссар,— зачем было вам секретничать?

Гицэ смущенно пожал плечами.

Пинтя не мог больше сдерживаться. Он понял, почему Ликэ, говоря с Гицэ по секрету, делал это так громко, что его могли слышать другие.

— А может быть,— сказал он, подчеркивая каждое слово,— Сэмэдэу говорил так громко для того, чтобы подозрение пало на тебя, в случае если его обвинят в нападении на арендатора?

У Гицэ мороз пробежал по коже.

— Этого не может быть! — проговорил он, задыхаясь от прилива крови.— Не может быть! — прошептал он немного спустя, как человек, защищающий свою жизнь.— Я не могу вам доказать, что говорил с Ликэ только об этом и ни о чем другом, но могу поклясться хлебом и солью, крестом и святым Евангелием, что больше ничего ему не говорил. Могу поклясться,— прибавил он в отчаянии,— что Ликэ всю ночь оставался в корчме.

— Ладно, выясним и это, чтобы доказать вам, что мы умеем очищать дороги от злых людей,— сказал комиссар, довольный полученными сведениями.

Между тем Пинтя то кусал себе губы, то грыз ногти на пальцах, а Гицэ стоял как в воду опущенный.

Вышло так, как предупреждал Пинтя: Гицэ согласились отпустить домой только на поруки.

Отправившись искать людей, готовых за него поручиться, Гицэ чувствовал, что силы его покидают. Взгляды встречных обжигали его; он шел вперед, не смея поднять глаз от земли или посмотреть по сторонам.

Первым, к кому он обратился, был его шурин Андрей, брат Аны. Как человек неопытный в такого рода делах, Андрей заколебался, узнав, что от него требуется. У Гицэ так и упало сердце. Тогда он пошел к своему двоюродному брату, священнику. По дороге он не раз останавливался, и если бы не тревога за Ану и заботы о хозяйстве, он, пожалуй, дал бы себя тут же аресто-

вать, лишь бы не докучать людям. Священник охотно согласился поручиться за него, да и подбадривал Гицэ, уверяя, что ему нечего бояться, если он не чувствует за собой вины. Однако, давая добрые советы, двоюродный брат не переставал укорять Гицэ за то, что он перебрался на Счастливую мельницу.

Священник приготовил письменное поручительство, которое надо было перед отъездом передать комиссару. Время шло. Было уже четыре часа пополудни, когда Гицэ запряг лошадей в тележку, чтобы ехать домой.

Когда они с Лае уже совсем приготовились к отъезду, к Гицэ подошла высокая смуглая женщина с тонкими губами и маленькими беспокойными глазами и попросила Гицэ немного подождать, пока придет Пинтя, капрал. Эта женщина в полукрестьянской одежде была Уца — служанка, которую разыскал Пинтя после утреннего разговора.

— Хорошо,— сказал ей Гицэ.— Мне очень нужна служанка, но не теперь. Я приеду за тобой на днях. А сейчас,— прибавил он, немного помолчав,— подожди, пока придет капрал, и тогда видно будет, на чем вы договоритесь.

Гицэ, сам не зная почему, твердо решил сейчас не связываться с Уцей. Но когда явился Пинтя и коротко сказал: «Вот тебе служанка»,— он не осмелился ему возразить и подчинился скрепя сердце, словно чувствовал, что Пинтя вводит эту женщину в дом для слежки.

Всю дорогу Гицэ правил лошадьми сам; Пинтя сидел рядом, а Лае съежился в глубине повозки, возле Уцы, которая захватила с собой узелок с платьем и положила его на кукурузные листья, стараясь усесться поудобней.

Пинтя был, как всегда, молчалив, а Гицэ сидел рядом с ним как на иголках.

— Не удивляйся,— сказал немного погодя Пинтя,— у меня имеется приказ обыскать твой дом, посмотреть, не припрятано ли там чего. Я знаю, что ничего не найду, но должен подчиниться приказу.

Гицэ был так утомлен, что не сразу понял, о чем идет речь.

— Как? Еще и это?..— проговорил он почти безразлично.— Мало того, что уже было... Ладно, Пинтя,— более оживленно прибавил он немного спустя,— скажи мне, не кривя душой: считаешь ты меня виноватым или нет?

— Не спрашивай, я все равно не могу тебе ответить,— многозначительно проговорил капрал.

Гицэ вздрогнул, глаза его вспыхнули.

— Понимаю,— сказал он.— Это те самые слова, которые ты слышал от меня сегодня утром. Ты хочешь мне их напомнить.



Иоан Славич

Но знай одно: нет большей несправедливости, чем бранить человека за ошибку, из-за которой он сам себя мучает. Тебе должно быть стыдно, если ты до сих пор не узнал, что я за человек.

— Мы подозреваем всех на свете,— отозвался капрал.— Таково наше ремесло.

— Ну и подозревай на здоровье! — пробормотал Гицэ, покосившись на него через плечо.— Думай обо мне что хочешь, мне все равно, а я каким был, таким и остался.

Пинтя был не из тех людей, которые отвечают на подобные речи, и они продолжали путь молча, каждый думая о своем. Пинтя сказал правду, утверждая, что подозревает всех на свете. Как ни взвешивал он мысленно все обстоятельства, он все же не мог отказаться от предположения, что только один Ликэ мог ограбить арендатора. При мысли, что Ликэ и на этот раз выкрутится из беды, его охватывало какое-то бешенство. Ему казалось, что он уже видит, как Ликэ посмеивается себе в усы и хвастается за стаканчиком вина. Что касается Гицэ, то, умышленно или по неразумению (что, впрочем, было для Пинти все равно), он сделался защитником Ликэ, стал с ним рядом и протянул ему руку помощи.

Гицэ сказал вполне искренне, что ему все безразлично. Теперь, когда даже Пинтя не скрывал, что его подозревают, он начинал чувствовать себя лучшим, чем о нем думали, даже слишком хорошим для окружающих людей; и если до сих пор его угнетала мысль, что он может жить на свете лишь под защитой чужой чести и, возможно, ему скоро придется сесть в тюрьму, то теперь он снова поднял голову. Он чувствовал, что другие — все, кто осуждал его,— очутившись в подобном тупике, оказались бы еще более слабыми и безрассудными или еще более ничтожными, чем он. «Да,— говорил себе Гицэ,— я принимал от Ликэ краденых свиней, но вы, будучи на моем месте, завязли бы еще больше или потеряли бы голову и попали бы в еще худшую беду». Горькое разочарование таилось в этих словах. Мысленно произнося их, Гицэ чувствовал себя еще несчастнее. Он лишился той радости, того удовлетворения, которое испытывают люди, когда смотрят на человека, к которому их влечет, когда могут говорить с ним, доставлять ему удовольствие, слышать от него доброе слово, думать о нем. Гицэ потерял утешение, переполняющее человеческую душу при виде сокровищ мира; а разве есть в мире более великолепное сокровище, чем человек, о котором мы можем хорошо думать? Ради Пинти, бывшего сообщника Ликэ, вышедшего из мрака тюрьмы, чтобы преследовать своих прежних товарищей, человека, по долгу службы подозревающего всех на свете,— ради него он отдалился от Аны, своей жены. Ему он поверил больше, чем той, с которой был связан на всю

жизнь. Но Гицэ не упрекал себя за это. Он радовался новой мысли, которая мало-помалу пересилила все остальные и успокоила его. В конце концов все, что он делал, было вызвано любовью к жене, желанием видеть ее веселой и довольной, уберечь от волнения и горя, от всяких дурных мыслей. Какое ему теперь дело до Пинти, до суда, до нападения на арендатора, до того, что подумают о нем люди?! Права была старуха, когда говорила о мире в своей хижине... Здесь, только здесь можно было обрести спасение, когда люди, как это водится, покинут тебя в беде.

Гицэ принялся нахлестывать лошадей. Дорога казалась ему прямо бесконечной! Он чувствовал, как беспокоится Ана, ожидая его возвращения. Вечностью казалось ему время, остающееся до встречи с женой, пока он не увидит ее, не скажет ей только одного слова... Нет!.. Несколько слов: «Ана, не сомневайся, не допытывайся, о чем я думаю, когда видишь меня молчаливым, потому что все, что я делаю,— я делаю из любви к тебе, к тебе, осветившей всю мою жизнь; не мучай себя дурными мыслями, не ломай голову, почему я не хочу делить с тобой жизненные невзгоды, а несу их один. Ана! Если бы ты знала, как болит мое сердце, когда я вижу, что ты печальна или озабочена. Чем бы ты ни была опечалена или озабочена, мне всегда кажется, что виноват в этом один я. Ана! Сейчас я под подозрением, меня отпустили на поруки, и я вот-вот могу угодить в тюрьму; но ты не огорчайся, когда увидишь, что жандармы обыскивают наш дом. Верь только мне! Все это через день-другой минует, а до тех пор, пока любовь к тебе будет освещать мой путь, я сберегу тебя от всех тревог и огорчений. Слушай! Через три дня мы уедем отсюда навсегда и заживем, как жили когда-то... Теперь, когда я понял, что так будет лучше для тебя,—я больше не сомневаюсь и уеду с радостью».

— Что это! — воскликнул вдруг Пинтя, вскакивая на ноги.

Гицэ вздрогнул, словно очнувшись от сна, и стал озираться по сторонам, стараясь понять, что напугало Пинтю.

Они находились неподалеку от Счастливой мельницы, их отделял от нее только холм. Дождь прекратился, облака поредели, и лучи заходящего солнца как бы украдкой касались обнаженных вершин Бихора, видневшихся из-за холма. Густой лес, покрывавший холм, тянулся с левой стороны дороги, на которой стояла барская карета без лошадей.

— Погоняй!..— крикнул Пинтя.— Тут дело неладно!..

Гицэ вскочил на ноги и хлестнул лошадей; от хороших мыслей не осталось и следа, точно кто смахнул их рукой; теперь он ни о чем не думал.

Подъехав к карете, они никого не нашли здесь, кроме трупа ребенка, видимо убитого ударом ружейного приклада в затылок.

Ребенок лежал в нескольких шагах от коляски, на траве. Одежда его прилипла к телу, глаза наполовину выкатились из орбит, и все лицо было залито кровью.

По другую сторону кареты тоже стояла лужа застывшей крови. Кровью были забрызганы и козлы, но дождь кое-где успел смыть ее. Следы на дороге стерлись, а на траве их и вовсе не было видно; только подальше, в долине, еще можно было различить следы копыт, но на расстоянии каких-нибудь ста шагов исчезали и они.

Все это заметил Пинтя, обойдя со всех сторон место преступления; потом он снова вернулся к Гицэ, который неподвижно стоял на дороге вместе с Лае, между тем как охваченная ужасом Уца продолжала сидеть в повозке.

— Что здесь случилось? — взволнованно спрашивал себя Пинтя.— Можно поклясться, что это слуги убили своего господина, но мне как-то не хочется верить этому. Никак не пойму. Судя по следам, они поехали сначала в долину, потом обвязали тряпками копыта лошадей и вернулись в лес.

Гицэ пожал плечами.

— Уж не станешь ли ты клясться, что Ликэ не приложил к этому руки? — проговорил Пинтя. Вены на его лбу вздулись, а глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит.

— Что с тобой, ты голову потерял? — спросил Гицэ, смотря на него, как во сне.

— Нет,— ответил капрал.— Но чудо будет, если не потеряю. Тут дело не так просто,— продолжал он возбужденно.— Не будем терять времени; Уца останется здесь, а мы втроем пойдем в лес искать следы. Искать надо на более ровных местах, потому что умный вор никогда не ходит по склонам, где конь скользит и оставляет следы, или по болотам, где следы остаются около пней, возле которых скопилась гниль, и земля крошится под лошадиными копытами... Ну, пошли!

Несколько мгновений Гицэ стоял в нерешительности.

— Я не пойду,— заявил он.— Утром я уехал из дома, можно сказать, совсем неожиданно, и кто знает, что с тех пор могло случиться в корчме. Поеду узнаю, кто проезжал здесь в этой карете.

— Без меня ты не можешь ехать! — резко возразил Пинтя.

— Вот оно как...— протянул как бы равнодушно корчмарь и, помолчав, прибавил: — Хотел бы я знать, кто может запретить мне, человеку, выпущенному на поруки, поехать к жене и детям?

— Я запрещаю. У меня есть приказ обыскать твой дом, и ты можешь войти в него только при мне. Ты должен понять почему.

Гицэ резко повернулся на каблуках, вскочил в повозку и схватил в одну руку вожжи и в другую — кнут.

— Посторонись! — сказал он спокойно, увидев, что Пинтя пытается схватить за узду одного из коней.

Пинтя не двигался.

— Пинтя! — воскликнул Гицэ.— Не вводи меня в грех! Что ты от меня хочешь! Я вижу мертвого ребенка неподалеку от своего дома. Ты думаешь, я могу теперь оставить своих детей одних в этой глуши хотя бы на час? Если хочешь, поезжай со мной, а не хочешь — оставь меня в покое, у меня нет времени дожидаться. Посторонись! — крикнул он решительно, видя, что Пинтя упирается.— Посторонись,— крикнул он опять, поднимая бич,— не то я хлестну лошадей и перееду через тебя! Такой болван, как ты, не может стать мне поперек дороги.

— Как ты сказал? Болван?..— повторил ошеломленный Пинтя, выпуская из рук уздечку.— Ну, коли так, поезжай.

Гицэ ударил по лошадям и умчался, оставив Пинтю и Лае посреди дороги.

Уже смеркалось, когда Ана заметила тележку Гицэ на дороге, ведущей из Инеу. Тележка спускалась с вершины холма в долину и неслась так, что казалось, вот-вот разлетится на куски.

У Аны захватило дух и заколотилось сердце. Вдруг она вздрогнула, и кровь бросилась ей в лицо: рядом с Гицэ сидела женщина. Без сомнения, это была та служанка, которой добивался Ликэ. Молодая трактирщица сразу забыла все то беспокойство и нетерпение, с которым ожидала мужа. Сейчас ею владело одно страстное желание: подбежать к женщине и вцепиться ногтями ей в лицо. У нее закружилась голова, ее стала бить дрожь, и она не могла двинуться с места. Гицэ соскочил с тележки и подошел к ней.

— Что с тобой? — спросил он, вглядываясь в ее белое, как полотно, лицо.

— Чему со мной быть? Ничего,— ответила она, сдерживая гнев.

Тогда он взял ее за руку и повел в дом.

— Что случилось? — спросил он.— Кто сегодня здесь проезжал?

— Разные люди,— ответила она, запинаясь.

— Ана!..— проговорил муж взволнованно.— Не говори со мной так сейчас, именно сейчас. Ты вправе огорчаться. Я уехал внезапно и не рассказал толком тебе о том, что случилось. Знай же: сегодня ночью ограбили арендатора. Его избили до полусмерти, отобрали деньги, золото, серебро — все, что нашли и могли унести. Знай, что меня взяли под подозрение и отпустили домой только на поруки. Сейчас, по пути из Инеу, мы наткнулись в лесу на барскую карету, а рядом с ней, на обочине дороги, лежит

убитый ребенок. Кто еще был в этой карете?.. Скажи, чтобы я мог сообщить об этом Пинте.

Ана стояла перед ним как окаменелая, и хотя она с напряженным вниманием слушала все, что он говорил,— слова его звучали для нее впустую и не могли дойти до ее сердца, терзаемого другими мыслями.

— Была женщина,— сказала она.— Барыня, молодая вдова. Откуда мне знать, кто там был еще? Может быть, ее увели с собой? Она была молодая, красивая, видная,— продолжала Ана,— а ведь только это одно и нужно вам, мужчинам.

Гицэ стоял перед ней неподвижно.

— Ана, что с тобой? — спросил он озабоченно, подходя ближе, чтобы обнять ее и получше вглядеться ей в лицо.

— Оставь меня,— прошептала Ана, задыхаясь и отталкивая его локтем.— Оставь, мне становится худо, когда ты дотрагиваешься до меня.

— Не оставлю!..— крикнул Гицэ в отчаянии и обхватил жену обеими руками.— Я должен знать, что с тобой. Такой я еще никогда тебя не видел. Ты хотела поговорить со мной сегодня утром. Говори! Ты совсем не в себе!.. Беда!.. Святой боже!.. Беда в моем доме!.. Скажи, тебя чем-нибудь опоили?.. Тебя околдовали?.. Что с тобой?..

Ана тяжело задышала, захлебываясь слезами, и подняла вверх сжатые кулаки.

— Что здесь надо этой женщине? — выговорила она, истерически захохотав.— Что ей надо, Гицэ? Чего она здесь ищет? Во что ты хочешь превратить мой дом?

Гицэ выпустил жену из объятий и замер на месте. Он смотрел на нее взволнованно, но в то же время чувствовал, что сердце его застывает, как льдина.

— Что такое?..— проговорил он медленно.— Никак не возьму в толк. Я говорю тебе о мертвецах, о людях, убитых на дороге, об исчезнувшей барыне, ребенке, которого убили. Говорю о самых ужасных вещах; а у тебя нет другого горя на свете, как то, что я привез в дом служанку.

— Какое мне дело до других? — закричала Ана.— За всю свою жизнь они не видали столько горя, сколько я ношу сейчас в своем сердце. Жить, как я живу, куда хуже, чем быть убитой на дороге. Ты не убиваешь меня, Гицэ, ты мучаешь меня, отнимаешь у меня жизнь, дыханье и словно не видишь, что я гибну.

— Черт возьми, не терзай меня еще и ты! — крикнул муж, отталкивая стул.— Хватит и того, что свалилось мне на голову.

— А если и свалилось, в этом ты сам виноват,— озлобленно крикнула Ана.— Эх, Гицэ, не пришлось бы тебе отвечать за мои

вздохи! Ты считаешь меня уж больно глупой, но я не глупа, а просто люблю тебя! Сегодня ночью я уже думала забрать детей, уехать отсюда и оставить тебя одного с твоими темными делами. Так и надо было сделать, я это знаю, но у меня не хватило сил, не могу, сердце не позволяет. Что бы ты ни сделал, меня все будет тянуть к тебе, пока не увижу, что я стала для тебя обузой. Не скрывай больше ничего от меня. Ты говоришь, что ограбили арендатора?.. Думаешь, я не слыхала, что вы вчера о нем говорили? Думаешь, не поняла, что случилось этой ночью? Думаешь, не видела Ликэ, когда он возвращался на рассвете из Инеу?

За день в сердце Гицэ накопилось много злобы и горечи, теперь все это соединилось воедино; он тяжело вздохнул, сделал шаг назад и тихо спросил:

— Что ты хочешь этим сказать, Ана?

— Ты отлично знаешь, что я хочу сказать,— ответила жена, смеясь ему в лицо.— Ты заодно с Ликэ, и вы вместе ограбили арендатора. Но не бойся, я слишком подлая и не стану тебя выдавать.

— Значит, и ты!..— проговорил Гицэ, захлебываясь от ярости. Потом медленно, шаг за шагом, приблизился к ней, как паук приближается к попавшей в паутину мухе, смерил ее глазами и занес руки над ее головой, готовый кинуться на нее.

— Да! — рассмеялась она ему в лицо.— Убей меня; ведь ты сильнее!.. Раз уж начал, продолжай, иди до конца!

Он вцепился в хрупкие плечи Аны и, стиснув их, спросил:

— Ты сказала, что я договорился с Ликэ, чтобы он напал на арендатора?

— Да,— ответила она решительно.

— Ты говоришь, что нынешней ночью я видел, как Ликэ уходил, а ты видела, как он возвращался?

— Да,— снова подтвердила Ана.

Он плюнул ей в лицо и снял руки с ее плеч.

— Мне противно думать, что моя жена может жить с таким человеком, за какого ты меня считаешь,— сказал он и вышел из дома, обхватив голову руками.

Ана же опустилась на постель и принялась плакать негромким, облегчающим душу плачем.

X

Пинтя недаром сделался жандармом.

Как только надо было напасть на след злоумышленников, он весь сразу преображался и настораживался, совсем как гончая собака, почуявшая запах пороха. Тем большее беспокойство ис-

пытывал он сейчас, когда ему казалось, что преступление было совершено где-то совсем близко. Он чувствовал себя так, точно уже схватил злодеев в темноте и теперь боится лишь одного: вдруг они убегут, прежде чем наступит рассвет, и он не сумеет разглядеть их.

Особенно ошеломил Пинтю внезапный отъезд Гицэ. Если б он обнаружил на Счастливой мельнице или даже в сундуке корчмаря какие-нибудь вещи, похищенные у арендатора, это еще не убедило бы его в бесчестности Гицэ. Он уверял бы себя, что все это, может быть, подстроено нарочно, Гицэ же здесь ни при чем. Но сейчас, когда он увидал удаляющуюся тележку корчмаря, в сердце его вспыхнула злоба, а злоба ослепляет человека. Правда, даже и теперь эта злоба была направлена не против Гицэ, а против Ликэ; по мнению Пинти, один Ликэ был виноват во всем случившемся.

Ослепленный гневом, Пинтя, взглянув на убитого ребенка, сказал себе: «Я докажу, что ты убил его, если даже это неправда». Не теряя времени, он оставил Лае у кареты на дороге, проверил, хорошо ли заряжена винтовка, и, чувствуя, что каждый нерв у него натянут до предела, отправился в лес.

Тучи поредели, и полная луна, показываясь то здесь, то там на прояснившемся небе, разбрасывала по лицу земли переплетенные тени обнаженных деревьев. Но даже и тогда, когда луна пряталась за облака, ночь оставалась достаточно светлой, и зоркий Пинтя мог хорошо видеть на сотню шагов кругом. Однако он лишь с трудом различал следы, так как земля была покрыта недавно опавшими листьями, шелестевшими под ногами в ночной тишине.

Долго бродил он; его то и дело вводила в заблуждение то поблескивающая при лунном свете лужица, то светившаяся в темном уголке гнилушка.

По привычке он отпускал по временам крепкое словцо. Напав наконец на след лошади, Пинтя взвел курок, углубился в лес и, достигнув вершины холма, начал спускаться в долину. Была уже полночь, когда он неожиданно наткнулся на окоченевший труп. Это была молодая женщина, одетая во все черное. Убийцы не зарезали, не удушили и не застрелили ее. Она просто задохнулась от тряпки, засунутой ей в рот. Пинтя был человек не робкого десятка, но есть что-то таинственное в мертвом теле. Когда он опустился на колени, чтобы рассмотреть труп поближе, его охватила жалость; однако он не мог долго предаваться этому чувству, и оно сменилось удовлетворением, которое испытывает всякий человек, когда после долгих поисков находит наконец то, что искал. Пинтя ощупал труп и тщательно обшарил все

кругом, чтобы убедиться, не забыли ли что-нибудь убийцы на месте преступления. Потом он надвинул кивер на лоб, перекинул винтовку через плечо и торопливо поднял с земли мертвое тело, словно опасаясь, что может его потерять, если задержится.

Но едва он сделал шаг вперед, как почувствовал, будто кто-то держит его на месте. Он снова рванулся. Мурашки пробежали у него по спине, а волосы на голове зашевелились; силы оставили его, мертвое тело выскользнуло из рук, и сам он, растянувшись во всю длину, грохнулся на труп.

Оказалось, что он наступил на конец кнута, которым разбойники связали женщине руки за спиной и второпях забыли убрать.

Один, среди глухой ночи, неожиданно брошенный на труп, Пинтя иначе не мог объяснить себе происшедшее, как вмешательство нечистой силы, и ему хотелось встать и убежать куда глаза глядят. Однако, приподнявшись и с ужасом оглядываясь, он понял, что не может оставить здесь мертвое тело. Он снова взвалил его на плечи и поспешно зашагал, точно спасаясь от погони.

И в самом деле за ним гнались.

Лае был не из тех людей, которые способны в ночную пору стеречь мертвеца. После ухода Пинти на него напал страх. Брошенная на краю дороги карета, лужи крови, мертвый ребенок рядом — все это не могло не напугать Лае. Ему мерещилось, что на опушке леса показываются замаскированные люди, что ребенок начинает шевелиться. И чем непрогляднее становилась ночная тьма, тем больший ужас внушало ему мертвое лицо ребенка; по правде сказать, Лае его не видал, но живо представлял, а место происшествия и обстоятельства усугубляли его страх. Еще немного — и Лае направился в сторону Счастливой мельницы, а пройдя какую-нибудь сотню шагов, пустился бежать. Он бежал, и ему мерещилось, что ребенок поднимается за его спиной, вытягивается, простирает руки, чтобы схватить его, огромными шагами преследует его по пятам, и чем быстрее мчался Лае, тем скорее, казалось, настигал его мертвец.

Когда, едва переведя дух, Лае добрался до корчмы, он увидел там двух жандармов, совещавшихся, идти ли им на помощь к Пинте или оставаться в корчме.

— Что? Что случилось?..— спросил один из них, увидев бегущего стремглав Лае.

Гицэ, который стоял, прислонившись к столбу террасы, тоже повернулся к нему.

— Нехорошо!..— простонал Лае, в изнеможении опускаясь на скамью.— Капрал ушел в лес искать следы, а меня оставил одного. Одного с мертвецом!

— Почему же ты ушел? — спросил Гицэ.

Лае понял, что, если он скажет правду, ему не избежать взбучки.

— А зачем мне было там оставаться? — ответил он не совсем уверенно.— Чтобы меня убили эти замаскированные люди? Ведь они пришли,— прибавил он уже смелее,— пришли вдвоем, чтобы убить меня.

Жандармам некогда было доискиваться, правду говорит Лае или лжет. Надо было сейчас же ехать на место преступления, где находились брошенная на дороге карета и мертвый ребенок. Забрав у корчмаря коней, они поскакали, а он остался стоять на террасе, в той же позе, в какой застал его Лае.

Пока Пинтя углублялся в лес, идя по обнаруженным следам, жандармы добрались до кареты. А когда он взобрался на вершину холма, один из жандармов — огромного роста немец Ганцл — разыскивал его на опушке.

В то же самое время с другого конца долины на холм поднимались двое людей, которые вели на поводу оседланных коней. Они продвигались вперед осторожно, бесшумно ступая по следам, которые казались им знакомыми. Когда Пинтя нечаянно упал и его ружье выстрелило, незнакомцы на мгновение застыли на месте; потом прыгнули в седла, закутали лица темными тряпками и стремительно поскакали по направлению к холму. Жандарм, который остался возле кареты, двинулся к опушке, а Ганцл пустился бежать в глубину леса, откуда послышался выстрел.

Пинтя уже миновал горный перевал и находился примерно в тысяче шагов от того места, где нашел труп женщины, когда вдруг услышал сначала два выстрела, потом третий, а немного спустя прогремел и четвертый: это выстрелил оставшийся возле кареты жандарм, который тоже направлялся к холму.

— Где ты? Эй, Пинтя, эй! — кричал он на весь лес.

— Эгей! Сюда-а!..— отозвался Пинтя и, положив на землю мертвое тело, побежал в сторону выстрелов. Он зарядил ружье и, теряя самообладание, беспрерывно кричал во все горло: — Э-ге-гей! За мной!

Очутившись снова возле перевала, он услыхал стук копыт, ударявшихся о корни, потом звонкие, резкие, высекающие искры удары по камням. Но звуки доносились уже издалека, из глубины долины, куда уже не могла долететь пуля. О погоне нечего было и думать. К тому же всадники добрались до ручья, направили коней в воду, и след их потерялся.

Вскоре капрал наткнулся на распростертого на земле Ганцла, истекающего кровью, но еще живого. Пуля попала ему в правое плечо, а в шею, по направлению к сердцу, был воткнут нож.

Пинтя был очень привязан к своим товарищам, но первым делом он схватил нож, нарочно или нечаянно оставленный грабителями, и лишь потом он разорвал на куски свою рубашку, чтобы обтереть кровь и перевязать раны Ганцлу.

Раненый, ослабевший от боли и потери крови, только и смог вымолвить: «Ищите хлыст, они его здесь забыли...» Потом приподнял руку, в которой держал темную тряпку, сорванную с лица напавшего на него человека, и потерял сознание.

Все это произошло так быстро, что Пинтя даже не успел опомниться. Было уже за полночь, когда он снова оказался на дороге, испытывая такое чувство, как будто только что очнулся от сна. Капрал и не пытался собраться с мыслями и как следует обдумать создавшееся положение. Он сознавал одно: Ликэ попался, и он, Пинтя, крепко держит его в руках. Хлыст, этот хлыст с костяной рукояткой, украшенной серебряными колечками и золотыми бляшками, принадлежал Ликэ!.. Пинтя сам не раз видел его у Сэмэдэу. А нож!.. Да ведь и Ганцл еще жив, он может назвать человека, с которого сорвал тряпку.

Однако, вернувшись в сумерки в Инеу, Пинтя понял, что все это не так просто. Ганцл умер и не мог уже больше ничего сказать. Жандармы, отправленные для поимки Сэилэ и Бузэ Руптэ, ни одного из них не нашли, они только обнаружили под крышей дома Бузэ Руптэ часть серебра, похищенного у арендатора; к тому же некоторые из присутствующих готовы были поклясться, что точь-в-точь такой же нож, какой принес Пинтя, они видели в руках Сэилэ. Никто уже больше не сомневался: одни и те же люди, скрываясь под маской, смертельно ранили Ганцла и ограбили накануне вечером арендатора. Что касается хлыста, то комиссар особенно настаивал на том, что вряд ли такой человек, как Ликэ, способен его где-то позабыть и что такой же хлыст мог иметь и кто-нибудь другой.

Пинтя схватился руками за голову. Он был из тех людей, которые не выносят ни малейшего противодействия; тем более теперь, после всех этих событий, ему хотелось одного: схватить ружье, как дубину, и крушить направо и налево, уничтожая всех защитников Ликэ.

— Корчмарь со Счастливой мельницы сбежал,— заявил он комиссару.— Теперь незачем идти к нему с обыском.

Услыхав об этом, комиссар немедленно распорядился послать двух жандармов и привезти Гицэ связанным в казарму; только отдав это приказание, он продолжал слушать капрала.

Пока Пинтя рассказывал, как обстояло дело, прибыли и жандармы, преследовавшие Сэмэдэу, и сообщили, что Ликэ должен находиться в Инеу. Как говорят, он прибыл туда еще во

вторник утром, чтобы дождаться госпожи из Арада для оплаты ее стада, проданного на базаре в Зэранде, где он встретился с Сэилэ и Бузэ Руптэ.

Усталый, но возбужденный, еле держась на ногах, Пинтя взял ружье и отправился на поиски Ликэ, не желая давать ему никакой передышки. Действительно, через какой-нибудь час он нашел его как раз на окраине Инеу, в доме его приятеля, Акришора. Подняв Ликэ с кровати, на которой тот лежал в приступе лихорадки, Пинтя повел его в казарму.

Не первый раз случалось Ликэ быть пойманным, и в таких случаях он всегда придерживался одной и той же тактики: давал себя арестовать, не спрашивая о причине; впрочем, всем было известно, что он не будет отвечать ни на один вопрос, пока не предстанет перед самим судьей.

На этот раз он поступил против своего обыкновения.

Желтый, как воск, Ликэ сначала только бессвязно бормотал что-то, но, когда Пинтя повел его в казарму по залитым солнцем людным улицам, он быстро овладел собой. Даже лежа на смертном одре, Ликэ не обнаружил бы своей слабости при людях.

Так и теперь: немного спустя он уже смеялся, покусывая усы.

Чем больше старался Ликэ показать свое безразличие, тем сильнее распалялся шагавший сзади с ружьем на плече Пинтя.

— Я слышал, вы нашли карету и мертвого ребенка на краю дороги? — сказал немного погодя Ликэ.— Не думаешь ли ты, что и это тебе удастся отнести на мой счет?

— Не знаю! — ответил Пинтя, сдерживаясь.

Впереди, шагах в пятидесяти от них, разговаривали, стоя у ворот, три человека; взглянув на них, Ликэ сказал вполголоса:

— Только когда я увижу собственный затылок — я поверю в вашу ловкость и начну вас бояться. Будь я на твоем месте, я сумел бы доказать твою вину, даже если бы ты не был виноват.

Пинтя остановился, тяжело перевел дух, злобно взглянул на Ликэ, но не произнес ни слова.

— Знаю, что тебе надо! Думаешь вывести меня из терпения, чтобы я выдал себя в присутствии людей, но я не из тех, кого ты можешь заставить плясать под свою дудку.

— Если захочу — заставлю,— ответил Ликэ.— Да уже и заставил. Взглянул бы ты на себя: можно испугаться! Кажется, вот-вот съешь меня живьем!..

Так говорил Ликэ Сэмэдэу, всем известный Сэмэдэу, шагая под конвоем по улицам Инеу, где прошлой ночью произошло ограбление и горожане были перепуганы. Ликэ прекрасно знал, что со всех сторон на него смотрят и что всякое его движение подмечается множеством людей.

— Ну, что же? — останавливаясь, произнес он достаточно громко, чтобы шедшие позади могли слышать его.— Если признают виновным — пойду на виселицу!.. Но хоть сейчас-то оставь меня в покое и не каркай!.. Видишь, ведь сам иду, без сопротивления.

Пинтя невольно схватился за ружье, но тотчас же опустил руку. Однако его движение не укрылось от тех, кто стоял у ворот, и не прошло и нескольких минут, как вокруг них начали собираться любопытные.

— Вот видишь, я добился своего,— снова понизив голос, проговорил Ликэ.— Посмейся же и ты вместе со мной!.. А кроме того, знай, что сегодня же вечером я буду прогуливаться с сигареткой в зубах среди этих самых людей и смеяться над вашей глупостью.

— Эй, Ликэ, не забывай, что ружье заряжено, и если я потеряю терпение — тебе не поздоровится,— заметил Пинтя.

Хотя Пинтя шел со спокойным видом, все же несколько человек увязалось за ними; а где в подобных случаях сойдутся двое или трое — там соберется и целая толпа. Когда они подходили к казарме, весь Инеу уже знал, что капрал Пинтя поймал Ликэ Сэмэдэу и даже чуть не пристрелил его на улице. Позади них собралось не менее полусотни зевак, старавшихся разузнать, в чем дело; и все же Пинтя продолжал идти, делая вид, что ничего не слышит и не замечает.

— Что вам здесь надо? — обратился к зевакам один из жандармов, стоявших у ворот.— Разойдитесь по домам!

— Нечего удивляться,— проговорил Ликэ,— ведь все хотят посмотреть, как злится Пинтя. Чуть не застрелил меня по дороге. Говорит, что докажет мою вину, даже если я ни в чем не виноват.

— Этого я не говорил,— возразил Пинтя.— Но теперь утверждаю, что если ты и на этот раз не попадешь на виселицу, то, значит, нет правды на свете.

— Пусть будет так,— согласился Ликэ и повернулся к собравшейся толпе.— Эй! — крикнул он.— Не сбегает ли кто из вас передать господину Вермеши, что вчера ночью из его стада пропало штук семьдесят свиней, а меня вот схватили, и я не могу заняться поисками.

Ликэ прекрасно изучил людей: не один человек, а целый десяток откликнулся на его зов, и, наверное, только для того, чтобы потом сказать, что они тоже как-то участвовали в случившемся.

— Смотри, сколько нашлось охотников! — удовлетворенно проговорил Ликэ и вошел в ворота.

Комиссару Ликэ заявил, что видел нож у Сэилэ Боарул, а когда ему показали хлыст, хладнокровно заявил:

— Это мой хлыст. Наверное, вы нашли его на Счастливой мельнице; да и нож взяли оттуда же.

На дальнейшие вопросы Ликэ отказался отвечать, требуя, чтобы его отпустили: ведь у него имеются дела, и ему недосуг тратить время по пустякам. Стоило Ликэ перечислить имена своих хозяев, как комиссар понял, что не сможет его задержать. Уж кто-кто, а Ликэ знал, кого выбирать себе в хозяева, да и выбор он мог делать по собственному вкусу: ведь никто не умел так хорошо охранять и продавать стада, как он. Все хозяева Ликэ, вроде господина Вермеши, были люди влиятельные и в случае надобности могли за него постоять.

Господин Вермеши Арпад владел тремя стадами свиней и не сомневался, что потеряет их все в каких-нибудь несколько дней, если весть об аресте Ликэ распространится широко. Стоило Вермеши узнать, что из его стада пропало семьдесят свиней, как он явился к комиссару и потребовал освобождения Ликэ. «Я хочу взять его на поруки, —сказал он, —пусть разыскивает моих свиней».

Ручательство господина Вермеши имело большой вес еще и потому, что он был в приятельских отношениях с судьями, у одного из которых стадо тоже находилось под охраной Ликэ. Господин Вермеши имел также большое влияние на губернатора, а губернатор мог шутя разделаться с комиссаром.

Виновен Ликэ или нет — речь шла вовсе не об этом; в конце концов не все же убийцы несут наказание, особенно те, в которых нуждаются влиятельные люди...

Когда жандармы, арестовавшие корчмаря, возвращались с ним в Инеу, Ликэ как раз выходил вместе с господином Вермеши из ворот казармы. Он столкнулся с Гицэ лицом к лицу на глазах у всех собравшихся.

— Не горюй, —бросил он мимоходом Гицэ. —Положись на меня.

Корчмарь ничего не ответил и только посмотрел на Ликэ с видом человека, которому теперь все стало безразлично. Он ушел из дома, не сказав ни слова ни Ане, ни старухе, не отдав никаких распоряжений по хозяйству и даже не взглянув на своих детей: ничего его больше не интересовало, ни о чем он не хотел знать.

Что же касается Пинти, то он устал и пошел спать, предоставив другим преследовать злоумышленников.

XI

Суд был назначен на пятницу, после дня святого Димитрия. В тот же день, когда Гицэ доставили в Инеу, были схвачены Акришор и Рэуц: Акришор был взят у себя дома, а Рэуц — в лесу,

в Шикуле, где он находился со стадами. Одновременно жандармы задержали еще человек шесть, показавшихся подозрительными; а на опушке леса Фундурени были пойманы три брошенных коня. Однако следы обоих слуг — лакея и кучера — потерялись окончательно, и так и осталось невыясненным, убежали они или были убиты и закопаны в потайном месте, что казалось наиболее вероятным, судя по кровавым пятнам на козлах кареты и лужам крови вокруг. Бузэ Руптэ и Сэилэ Боарул были схвачены только через полтора суток в Салонте, по дороге к Орадя-Маре. Их не повезли в Инеу, а отправили прямиком в Орадя-Маре, где должен был состояться суд и где уже находились остальные.

Еще во время следствия Ана в сопровождении двоюродного брата Гицэ, священника, приехала в Орадя-Маре, захватив с собой, по совету матери, деньги. «Деньги,— говорила старуха,— всякому делу приправа». Однако свидания с мужем Ана так и не добилась. Приехав в Орадя-Маре вторично, на суд, Ана была еще более подавлена, чем в первый раз: ее мучило, что она ничего не сделала для того, чтобы облегчить участь своего мужа, в невинность которого после всего случившегося она начала верить.

— Не убивайся раньше времени, дочка,— уговаривала ее мать, сохранявшая обычное спокойствие.— Если даже, боже упаси, что и случится, еще неизвестно, будет ли это так ужасно, как тебе думается. Поживем — увидим. А если и впрямь стрясется беда — поплачь денька три, потом скажи: «Господи, да будет твоя воля», вытри слезы и ищи себе в жизни другой источник утешения да иди себе дальше своим путем; ведь жизнь коротка, и задерживаться нет времени.

Так говорила старая, потому что была стара; но Ана была молода и не осмеливалась заглядывать в будущее — до того оно казалось ей смутным и бесконечно далеким; при первой же попытке это сделать глаза ее наполнялись слезами.

И все же Ана была не из тех, кто может долго предаваться мрачным мыслям. Мало-помалу она пришла к убеждению, что Гицэ не может быть виновен, и только увидав себя среди людей, приехавших на суд, она снова почувствовала тяжесть на сердце.

И на этот раз первым перед судом предстал Ликэ, этот высокий сухощавый человек, всегда умевший обращать на себя внимание других.

Увидев его входящим в зал, Ана стала белее мела. Ее большие глаза, как и прежде, были прикованы к его суровому, неподвижному лицу. От этого человека зависела судьба Гицэ. Ведь если Ликэ выпутается из беды, будет спасен и корчмарь. Поэтому Ана с напряженным вниманием следила за ним, и сердце ее согревалось от каждого сказанного им слова.

Ликэ прекрасно знал, что найдет поддержку у своих хозяев. Одни из них были убеждены в его невиновности, другие, как люди влиятельные, могли негласно защитить его, даже если и не верили ему. Зная, что многие судьи подозревают его, Ликэ, стоя сейчас перед ними, давал короткие, ясные ответы, не отступая от показаний, сделанных на первом допросе; рассчитывать-то Ликэ рассчитывал на поддержку своих хозяев, но все же еще больше полагался на свою изворотливость.

Первым делом он заявил, что не помнит, говорил ли на Счастливой мельнице об арендаторе и служанке; не помнит и того, что Сэилэ и Бузэ Руптэ поехали прямо в Инеу; когда же ему зачитали показания других, он коротко ответил: «Может быть... но я не помню». Позднее Ликэ отрицал, что в ту ночь Рэуц приводил в корчму женщину; по его словам, Рэуц приходил только затем, чтобы сообщить, что исчезло много свиней из стада, пасшегося в лесах, и, вероятно, корчмарю и слуге лишь показалось, что они видели какую-то женщину.

Ана вздохнула свободнее: значит, Ликэ уходил в ту ночь на поиски стада.

Однако судьи были иного мнения. То, что отрицал Ликэ, подтверждалось многими другими показаниями; судьи считали, что Ликэ умышленно не желает говорить ничего такого, что могло бы укрепить подозрение, падающее на Бузэ Руптэ и Сэилэ, так как он был с ними заодно. Он отрицал появление женщины, чтобы не быть вынужденным назвать ее имя, и многие из присутствующих тайком хвалили его за это.

Все-таки судей не удалось разубедить. Они задали Ликэ вопрос: как он думает, не был ли корчмарь со Счастливой мельницы сообщником Сэилэ и Бузэ Руптэ? Сэмэдэу ответил, что, по всей вероятности, это не они — те люди с закрытыми лицами, напавшие на арендатора и совершившие на следующий день преступление на лесной дороге. Найденное же в доме Бузэ Руптэ серебро арендатора мог туда подбросить какой-нибудь доверенный Пинти, который относится к Бузэ Руптэ враждебно.

Когда, наконец, Ликэ показали нож и хлыст — он только пожал плечами, как будто это его совсем не касалось, и заявил, что ничего не может сказать об этих вещах и подождет, пока все выяснится из показаний других лиц.

Рэуц, Акришор и остальные свидетели, вызванные на допрос после Ликэ, частично подтвердили сказанное им и кое-что из прежних показаний Марца, данных комиссару. К тому времени, когда пришла очередь Пинти давать показания, судьи и все присутствующие были уже вполне убеждены, что преступление

совершено Бузэ Руптэ и Сэилэ, а на Ликэ и Гицэ падает сильное подозрение как на соучастников.

Когда вошел Пинтя, защитник Ликэ поднялся и заявил, что не может принять показаний капрала; в нескольких словах он сообщил о том, что произошло, когда Пинтя вел Ликэ в казарму, и потребовал, чтобы выслушали лиц, бывших свидетелями этого происшествия.

— Я принимаю Пинтю в качестве свидетеля,— спокойно проговорил Ликэ.

Пинтя давно и хорошо подготовился к своим показаниям на суде, но вмешательство защитника, хладнокровие самого Ликэ и явное недоверие на лицах некоторых судей сбили его с толку. Он уже не знал, что ему говорить, и, к великому изумлению всех присутствующих, повторил слово в слово показания Ликэ. Он заявил, что не считает виновными Бузэ Руптэ и Сэилэ, что серебро арендатора действительно было кем-то спрятано в доме Бузэ Руптэ; что нож Сэилэ умышленно оставлен в теле Ганцла; что той ночью Рэуц приходил на Счастливую мельницу не с женщиной, а один или с кем-то из товарищей.

Слушая эти показания, Ликэ смеялся Пинте в лицо, и от этого смеха капрал окончательно растерялся; он говорил все более возбужденно и в конце концов стал посмешищем для всех собравшихся. Тогда он умолк, вытирая со лба холодный пот.

Однако показания Пинти заставили присутствующих призадуматься, а самые серьезные из судей приняли его слова во внимание.

Но вот перед судом появились сначала Бузэ Руптэ, а за ним и Сэилэ Боарул, показания которых придали делу совсем другой оборот.

Оба были известны как злоумышленники, много раз находившиеся под подозрением и неоднократно отбывавшие наказание; на этот раз защищаться им было особенно трудно, так как они не могли подтвердить свои слова никакими доказательствами, к тому же против них выступали все те, кто хотел вызволить из беды Ликэ.

Бузэ Руптэ, высокий толстый человек, вызывающий отвращение своим уродством, отрицал, что ездил в тот вечер в Инеу, и уверял, что все время до вечера вторника провел с Рэуцем и Сэилэ около стад, а позже отправился с Сэилэ в Салонту.

— Кто-нибудь видел вас за все это время? — спросил один из судей.

— Никто,— ответил обвиняемый.

— Как же вы могли пройти никем не замеченные? Значит, вы прятались?

— Нет, мы не прятались. Просто случайно никто не попался навстречу.

— Хорошо,— продолжал судья.— Я только одного никак не могу понять: ведь Рэуц направился в Фундурени, а не в Инеу.

— Мы договорились встретиться за холмом и дальше идти вместе.

— Зачем?

Некоторое время Бузэ Руптэ в замешательстве молчал.

— Чтобы Ликэ Сэмэдэу не знал, что мы идем вместе. Ведь он нам враг и вышел бы из себя, если бы узнал, что Рэуц с нами заодно.

Однако Рэуцу с помощью четырех свидетелей удалось доказать, что ночь с понедельника на вторник он провел на Счастливой мельнице, а во вторник, в обед, был в Шикуле и что Бузэ Руптэ лжет, пытаясь его оклеветать. Как только судьи вызвали Сэилэ, он, увидав, что Бузэ Руптэ окончательно пал духом, сразу понял, что дело плохо, и от волнения тут же изменил прежние показания, заявив, что договорился с Рэуцем украсть часть пасшегося в лесах Фундурени стада и отправился тайком в Салонту подыскивать покупателя. Однако это заявление, которое, может быть, раньше и повлияло бы на мнение судей, теперь у большинства из них вызвало только смех.

Таким образом, из показаний Бузэ Руптэ и Сэилэ вытекало, что они, так же как и Пинтя, враги Ликэ, и поэтому не могли действовать с ним заодно. Защитник Ликэ умело использовал это обстоятельство, указав, что Ликэ выступил в защиту этих молодцов только для того, чтобы не создавать впечатления, будто он мстит им теперь, когда они попали в беду, в то же время отлично понимая, что лишь они могли оставить хлыст на теле его любимой госпожи.

Действительно, одно из двух, или нож Сэилэ, или хлыст Ликэ были умышленно оставлены на месте преступления, чтобы направить следствие по ложному пути, так как о соглашении между Бузэ Руптэ, Сэилэ и Ликэ теперь не могло быть и речи; что касается самого Ликэ, то он, конечно, мог совершить преступление на проселочной дороге, в лесу, но никак не мог быть одним из людей с закрытыми лицами, напавших на арендатора, поскольку в то время, когда произошло это нападение, Ликэ, согласно многим показаниям, находился на Счастливой мельнице.

Пинтя сомневался в том, что Ликэ оставался там всю ночь, да и показания свидетелей тоже внушали некоторые сомнения, ведь они исходили от лиц, подозреваемых в соучастии с Ликэ. Только показания корчмаря давали основания подозревать Ликэ; но он не точно указывал время, и оставалось неясным, когда же появился

и ушел приводивший женщину человек; поэтому допрос Гицэ отложили напоследок и теперь ждали его показаний, решающих для приговора.

Высокий, широкоплечий, с ясными глазами и неподвижным лицом стоял Гицэ перед судьями.

Он знал, что перед ним находятся двое ни в чем не повинных людей, которых ждет суровый приговор; Гицэ был убежден в их невиновности, но доказать ее уже не мог, хотя и готов был защищать их, рискуя взять на себя часть их вины. Он взглянул на Бузэ Руптэ и Сэилэ с таким выражением, как будто хотел сказать: «Не бойтесь, мне известно кое-что, что может спасти вас хоть на время».

При появлении Гицэ Ана тяжело вздохнула и снова застыла в оцепенении. Перед ней был уже не прежний, мощный, полный жизни человек — за несколько дней от Гицэ осталась лишь тень; на лице появились морщины, в волосах проглянула седина.

Жестоко страдавший Гицэ бессознательно повернул голову в ту сторону, откуда послышался вздох, и встретился глазами с Аной... Он поднял руку... тихо провел ею по сухому лбу и снова повернулся к Ликэ, никогда не терявшему самообладания.

В одно мгновение в его душе все точно перевернулось. Он давно не видел Ану, и теперь, когда заметил, как она измучена, сердце его вновь наполнилось любовью, которую он почувствовал к ней с первого дня их встречи; снова воскресло желание ограждать ее от всякой напасти, воскресла вся привязанность к жизни, свойственная любящему человеку. Планы, которые Гицэ строил в долгие дни заточения, рухнули, как только Ана появилась перед его глазами.

Нет, он не имеет права подвергать себя опасности ради других — ведь у него есть жена и дети. А Ликэ если и можно припугнуть, то все равно нельзя уничтожить, потому что он не один; здесь целая цепь людей, где один мстит за другого.

Слово за словом давал свои показания Гицэ, и они были все те же, какие он давал в первый день комиссару; только теперь он заявил, что считает Бузэ Руптэ и Сэилэ виновными, и настаивал на том, чтобы его слова были записаны в протокол. Когда же ему задали последний, решающий вопрос: может ли он поклясться, что Ликэ действительно оставался всю ночь на Счастливой мельнице, — Гицэ ответил:

— Не могу дать клятву, что в ту ночь он не уходил, потому что я не был с ним все время, но, клянусь, я был уверен, что он всю ночь провел в корчме.

Допрос был окончен, и через некоторое время судьи вынесли приговор: Ликэ признать невиновным, Гицэ, поведение которого

вызывало подозрение, освободить за недостатком улик, а Бузэ Руптэ и Сэилэ приговорить к пожизненному заключению.

Один за другим судьи, осужденные, подозреваемые, свидетели и любопытные, пришедшие на суд, стали расходиться. Только Гицэ все еще продолжал стоять на месте, устремив глаза в землю, борясь с собой, охваченный желанием сказать Ане хотя бы одно слово, и терзаясь при виде ее огромной скорби. Наконец, когда почти все разошлись, он повернулся к жене, глаза его вспыхнули, и слезы залили все лицо.

— Прости меня, Ана,— сказал он.— Прости меня хоть потому, что сам я себе не прощу, пока живу на этой земле. Отец твой был всеми уважаемый человек, вся твоя родня — порядочные люди, а ты дожила до того, что увидела своего мужа на скамье подсудимых. Я ничем не согрешил, Ана, но небо поразило меня слепотой; я не хотел верить, не хотел понимать, когда ты мне указывала правильный путь.

— Ничего, Гицэ, все образуется,— проговорила жена, примиренная сама с собой.

XII

— Не печалься, мой дорогой,— сказала глубоко взволнованная старуха.— Вот я смотрю на твое лицо, на твои волосы и не спрашиваю, что случилось. Вижу — ты пережил большое несчастье, но не говори мне ничего. Боюсь, как бы твое несчастье не показалось мне слишком маленьким, не оказаться бы мне несправедливой, если я сочту его не таким большим, как думаешь ты. Не печалься! Счастлив человек, который пережил большое несчастье, потому что он избавился от многих малых огорчений, которые порой терзают душу хуже глубокого горя.

Гицэ поднял на руки одного из детей и поцеловал его.

— Бедные мои детки! — пробормотал он.— Ваш отец нечестный человек, а этого в нашем роду еще никогда не водилось.

— Будет тебе, Гицэ,— остановила его Ана.— И мы, и все порядочные люди, которые с тобой знакомы, знают, каков ты, и упрекают себя за то, что могли думать о тебе плохо.

— Честность не в этом,— возразил муж.— Честен только тот, кто заткнул глотку любым клеветникам, о котором никто не сможет сказать ничего плохого, не опозорив самого себя. Честность — это сила, которая заставляет даже тех, кто сам плох, считать тебя человеком среди людей. Я же не могу никому помешать заявить моим детям: «Ваш отец — негодяй».

— Пусть так,— согласилась старая.— Многое приходится делать из любви к людям, потому что поссориться с ними — боль-

шое несчастье. Но ничего не поделаешь. Такова жизнь. Если уж повздорил с людьми, то не наряжайся к празднику, а сиди дома за прялкой да тки себе чистую рубаху.

— Так бабы поступают!

— Мужик или баба — все равно, лишь бы голова была на плечах.

— Голова... Да!.. Немало накопил я в сердце желчи, считая, что у меня есть голова на плечах, да вот всю эту желчь в себя же и вылил.

— Слава богу за то, что ты ее вылил,— проговорила старуха.

И она была права. Гицэ действительно как бы преобразился. Несчастье сделало его более снисходительным, менее требовательным к окружающим. Когда-то он думал, что в жизни человека все зависит от него самого, теперь же он почувствовал, что все в жизни случайно, и удовлетворялся тем небольшим благополучием, какое выпало на его долю. Ему было приятно видеть, что Ана весела и довольна исходом дела,— ведь оно могло кончиться куда хуже.

Кроме того, когда находишься в беде, то всегда стараешься найти себе утешение. Мало-помалу Гицэ пришел к твердому решению, что он останется на Счастливой мельнице только до весны, а потом соберет свое добро, возьмет жену и детей и уедет подальше, туда, где его никто не знает,— в глубь Баната или даже в Румынию.

«Не может быть,— рассуждал он сам с собой,— чтобы со временем все не убедились в моей честности». Он старался забыть прошлое, пройти мимо него, внушал себе, что ничего не произошло, и мечтал о лучшем будущем, уже представляя его себе как наяву.

В тюрьме, где он просидел несколько дней, ему сотни раз приходила в голову мысль убить погубившего его человека, и он досадовал, что недостаточно силен, чтобы поступить так, как хотелось: сделать это с полным самообладанием, не убивать сразу, а медленно мучить и полуживым довести до виселицы. А теперь он спрашивал себя: «Зачем мне это? Все равно не поправишь того, что совершилось».

— А ну его, грешного...— сказал Гицэ, когда через некоторое время Ликэ Сэмэдэу снова появился в корчме.

Ана же радушно встретила человека, который так хорошо говорил на суде и своей рассудительностью спас ее мужа от опасности.

Поговорив с Гицэ около часа, Ликэ снял свой широкий кушак, набитый деньгами, и высыпал их на стол.

Охваченный неудержимой яростью, Гицэ сурово посмотрел ему в лицо.

— Чьи они? — спросил он, подчеркивая каждое слово.— Арендатора или барыни?

Он думал, что Ликэ вздрогнет при этих словах, но, к своему стыду, увидел, что тот лишь засмеялся ему в лицо и спокойно ответил:

— И те и другие. Как вор я взял у тебя деньги, как вор и возвращаю.

— А что, если кто-нибудь поймает меня с ними?

— Кто тебя поймает? Деньги всегда останутся деньгами, а ты — корчмарем, у тебя бывают разные люди,— что тебе дали, то ты и берешь.

— А что, если я тебя выдам?

— Этого я не боюсь,— ответил Ликэ.

Гицэ встал, выдвинул ящик стола и, положив в него деньги, снова запер.

— Вот теперь ты поступаешь как разумный человек,— проговорил Ликэ.— Какая бы польза тебе была, если бы ты сказал судье то, чего он и слышать от тебя не хотел. По моему суждению, ни одному человеку не прожить только своим умом, ни тебе, ни кому другому. А глупцы пусть себе отсиживаются в тюрьмах. Те дурни думали, что я доверюсь людям, которых еще не вполне прибрал к рукам, что они смогут повредить мне, если вместе с Рэуцем утащат штук сто свиней из моего стада. Ну, уж теперь-то они ничего не утащат!

Гицэ вздохнул. Этот человек поражал его своей проницательностью в злых делах, и корчмарь почувствовал облегчение, убедившись, что несправедливость законов является все-таки отражением сурового гнева господня.

— А что у тебя было с той женщиной? — спросил Гицэ.

—То же, что с тобой,— холодно ответил Ликэ.— Я поймал ее на том, что она оказалась падкой на золото и драгоценные камни, и дал ей их продать. Она могла это сделать, не вызывая подозрений, но женщина всегда останется женщиной, и она чуть не выдала меня: ей стало жалко продавать цепочку, которая, как видно, особенно пришлась ей по вкусу.

— И только поэтому ты загубил четыре души? — в ужасе спросил Гицэ.— Ты прямо дьявол, Ликэ, дьявол, а не человек!

— Ты это наконец почувствовал? — самодовольно спросил Сэмэдэу.— Тебе бы следовало это давно сделать и понять, что я очень боюсь строгости законов, и поэтому страх проясняет мой разум и освещает путь, по которому я иду. Лишь сумасшедший вроде тебя может грозить спровадить меня на виселицу; этим он только заставляет меня быть еще осторожнее. Понял ли ты наконец, что людям, которые со мной заодно, бояться нечего? А те,

что хотят меня уничтожить, должны все время дрожать, потому что, будь они даже невиннее трехдневного младенца, я все равно сверну им шею. Вот ты, Гицэ, человек честный, а я сделал тебя виноватым, и что мне мешает пойти теперь дальше и спровадить тебя на ту самую виселицу, которой ты меня пугаешь?

— За что же, Ликэ, за что? — в ужасе воскликнул корчмарь.

— Я не говорю, что поступлю именно так,— мягко ответил Сэмэдэу.— Сейчас мне нет расчета это делать. Такой, как ты, мне нужен. Говорю только, что я могу это сделать, если ты станешь мне поперек дороги.

— Завтра я уеду отсюда, и оставь меня в покое.

— Сейчас я тебе не позволю уехать: до сих пор ты здесь оставался из упрямства, теперь должен остаться из страха. Не зря же я трудился: теперь ты дрожишь передо мной как осиновый лист, теперь я хочу, чтобы ты остался здесь!

— Что тебе от меня надо?

— Что надо? — повторил Ликэ со смехом.— Эх, Гицэ! Много людей погибло в этой корчме, а следы их нашлись далеко отсюда. А с тех пор как ты здесь, не погиб еще ни один человек. Понял?

Гицэ встал и посмотрел на него с презрением.

— И пока я буду здесь, никто не погибнет, кроме, может быть, меня самого,— твердо сказал он.

Злобная усмешка снова обнажила зубы Ликэ.

— Ты говоришь, как девица, которая еще не отведала сладости греха,— заметил он спокойно,— может быть, и я когда-то говорил так же, не помню. Знаю только, что я был в трудном положении, когда впервые убил человека: в моем стаде пропало несколько свиней, и мне было стыдно сознаться в этом, а денег на покупку других не было. А потом я убил второго, чтобы заглушить упреки совести за первого. Теперь жажда горячей крови стала для меня прямо-таки болезнью, которая нападает на меня время от времени. Ну, да тебе этого не понять! — продолжал Сэмэдэу, все более оживляясь.— Вся кровь во мне кипит и клокочет, стоит только решиться на это дело. Если бы ты знал, что за наслаждение ударить человека, который тебя раздражает, ударить с такой силой, чтобы стереть его с лица земли, если он заденет тебя хоть словом, хоть взглядом, расплатиться с ним в сто, в тысячу раз сильнее. Ведь желчь, ненависть, слепая ярость накапливаются в сердце... И вот, когда накопилось достаточно, изливаешь все сразу — и все равно на кого, лишь бы подвернулся человек. Ты — мужчина, Гицэ, у тебя в душе накопилось много ненависти, к тому же ты человек умный; будь ты моим товарищем, я смеялся бы и над чертом, и над его бабушкой. Я чувствую себя сильнее, когда знаю, что ты рядом.

— Я тебе товарищ! — проговорил Гицэ решительно и холодно.

— А я тебя не принимаю в товарищи,— ответил Ликэ столь же решительно и холодно.— Человека можно подчинить себе, только зная, чем он грешен. Понятное дело, у всякого имеются свои грехи, только некоторые умеют их ловко скрывать. Чтобы получше узнать человека, доберись до его слабостей, заставь обнаружить их — и тогда делай с ним что хочешь, потому что один сердится, другой смущается, третий приходит в замешательство, но нет ни одного, кто бы хоть раз не потерял самообладания и разума. Однако есть такая слабость, которой я лично боюсь, потому что не знаю, как с ней справиться. Сегодня она сильней, завтра — слабей, иной раз думаешь, что уже победил ее,— но ошибаешься. Я сторонюсь людей, страдающих такой слабостью, потому что они могут выдать тебя как раз тогда, когда ты думаешь, что тебе нечего бояться. Однажды такая история приключилась у меня с Пинтей, и я не хочу испытать это второй раз с тобой.

— Что же это за слабость? — спросил Гицэ вполголоса.

— К женщинам. Да нет, еще хуже того, к одной женщине.

Корчмарь ничего не ответил, но, когда Ликэ ушел, поднял кулаки над головой и произнес, поглощенный одной мыслью:

— Ты думаешь, что ты хуже меня? Посмотрим! Я-то спроважу тебя на виселицу, даже если мне самому придется висеть с тобой на одной веревке!

XIII

Полученные от Ликэ деньги лежали на столе. Дверь комнаты была заперта, и Гицэ был один. Он с напряженным вниманием рассматривал каждую монету и ассигнацию, пытаясь найти хоть на одной из них какую-нибудь метку.

Здесь были и бумажные деньги, и медь, и серебро. Бумажки, кроме двух крупных и одной мелкой, были совсем новенькие, видимо еще ни разу не сложенные, только слегка помятые. На одной из них Гицэ заметил большое чернильное пятно, а та, что была помельче, была с оторванным уголком; но ни то, ни другое никак нельзя было назвать меткой.

Некоторое время Гицэ разочарованно смотрел на деньги, и в то же время он радовался: ведь в конце концов он имеет право на часть этих денег. Ради них он трудился, копил копейку за копейкой, и было бы жалко отдать их судье, как он решил сделать, в случае если на них обнаружатся какие-нибудь метки.

Гицэ убрал деньги в стол и несколько минут шагал взад и вперед по комнате. У него было такое чувство, словно он их украл.

Охваченный беспокойством, он задавал себе вопрос: не попадет ли он в беду, приняв их от Ликэ? С какой радостью он вышвырнул бы их за окно! Но разве можно было на это решиться? Подумать только, как долго пришлось бы работать такому человеку, как он, чтобы накопить такую сумму! И вот сердце не позволяет ему выпустить деньги из рук.

Прошло двое суток, и наступила суббота, день подсчета выручки, когда должны были собраться вместе все члены семьи,— добрый, сохранившийся от хороших времен обычай, от которого Гицэ никак не мог отказаться.

Едва приступили к подсчету выручки, как на лице Аны отразилось недоумение. Ей показалось, что денег что-то слишком много, и к тому же она никак не могла отделаться от мысли, что все эти новенькие бумажки получены из одних рук.

Зато старуха радовалась, что истекшая неделя принесла такую прибыль.

— А эта хорошая? — спросила она, заметив ассигнацию с оторванным уголком.

— Дай бог побольше таких!—ответил Гицэ, продолжая считать.

Ана внимательно поглядела на ассигнацию, и румянец сбежал с ее лица. Однако в присутствии матери она не проронила ни слова.

Ей хотелось поговорить с мужем с глазу на глаз, но она чувствовала, что не может решиться на это: ведь еще недавно она подозревала его в нехороших делах и теперь боялась новых подозрений. Засевшая у нее в голове мысль не давала ей покоя, и ей становилось страшно, она сама не знала почему. С особенной силой страх охватил ее вечером, когда Гицэ и мать уснули. Голова ее пылала.

«Я должна узнать правду!.. Хотя бы ради моих детей»,— решительно сказала себе Ана. Быстро встав с постели, она разыскала ключи, крадучись, как воровка, подошла к сундуку и отперла его; потом, вынув оттуда кипу ассигнаций, прошла в боковую комнату, зажгла свет, дрожащей рукой заперла дверь и, развернув бумажки, стала разглядывать каждую ассигнацию.

— Так оно и есть! — воскликнула она, откладывая в сторону ту, на которой недоставало уголка.— Клянусь святым крестом, я видела эту бумажку у нее в руках!

Потом она принялась разглядывать новые ассигнации, с самого начала показавшиеся ей подозрительными.

На одной из них, посредине, виднелась еле заметная дырочка, словно проколотая иголкой. Перебирая остальные ассигнации, Ана насчитала пятьдесят три штуки с точно такими же крохотными отверстиями посредине. Было похоже, что они все вместе были нанизаны на тоненькую проволочку.

Ана сложила ассигнации одну поверх другой, решительно подошла к спящему мужу и разбудила его.

— Что такое? Что случилось? — испуганно спросил он.

— Идем со мной! — позвала она.

Он торопливо поднялся и, еще не совсем очнувшись от сна, последовал за ней.

— От кого ты получил эти деньги? — спросила Ана, показывая на лежащие на столе ассигнации.

Гицэ вздрогнул от ужаса, как убийца, застигнутый на месте преступления.

— Почем я знаю? — ответил он.— От проезжающих.

— Гицэ! — воскликнула Ана.— Не играй с огнем! Все эти деньги получены от одного и того же человека. Вот эта бумажка с оторванным уголком уже побывала один раз в моих руках. Мне давала ее барыня в тот самый день, когда ее убили. Эти пятьдесят три бумажки имеют одинаковую метку. Они тоже, должно быть, получены от нее! Ведь как раз у нее я видела точь-в-точь такие же новые бумажки! Что-нибудь одно: или ты замешан в этих темных делах и тогда не жди добра! Или ты ни в чем не замешан, но не умеешь остерегаться дурных людей,— и это тоже плохо. Если все обстоит так, как я говорю,— сейчас же закладывай лошадей, я уезжаю отсюда с моими детьми.

Ана в замешательстве остановилась, видя, что Гицэ не сердится, а, наоборот, смотрит на нее с любовью и с радостью.

— Ведь твои дети — также и мои,— промолвил он наконец.— Не тревожься из-за них, я сам о них позабочусь. Так, значит, бумажки помечены? А я ничего не заметил, хоть и искал на них метку. Что же это за метка?

— Вот,— проговорила Ана, смягчившись, и подняла ассигнации против света.— Ты видишь прокол?

— Теперь вижу! Прекрасно вижу! Даже помню, от кого получил эти бумажки. Этого человека,— проговорил он, слегка запнувшись,— ты не знаешь, но когда-нибудь узнаешь.— И, подойдя к Ане, он взял ее голову обеими руками и несколько раз поцеловал в лоб.

— Не мучай себя дурными мыслями,— продолжал он.— Не удивляйся, если увидишь, что я как будто изменился. Мне нужно довести до конца одно трудное дело. Теперь я уеду, уеду сейчас же, а завтра утром вернусь; пусть только никто не узнает, что я ночью уезжал. Поняла? Иди ложись. И веди себя так, будто ты ничего не знаешь.

— А куда ты уедешь? — спросила тревожно Ана.

— Я скажу тебе это потом,— ответил он и, собрав ассигнации, ушел.

Вскоре Гицэ уже ехал крупной рысью по дороге в Инеу, а в полночь в одной из уединенных комнат казармы поджидал возвращения Пинти, который понес деньги арендатору.

— Пустое дело! Тебе нужны свидетели, которые могли бы подтвердить, что ты получил их именно от него. Но Ликэ хитер. Если он и даст тебе что-нибудь, то лишь с глазу на глаз.

— Что же тогда нам делать? — спросил Гицэ.

— Многое можно бы сделать, будь ты похитрее, а не так прост. Ты хочешь с ним рассчитаться, а на деле защищаешь его. Тебе известно, что твой слуга Марц с Ликэ заодно?

— Марц? — воскликнул Гицэ.

— Не горячись,— остановил его капрал.— Нам следует остерегаться его, иначе он испортит все дело. Я раскусил, что за птица Марц. Скажу тебе только одно — мне многое удалось узнать, но еще недостаточно для того, чтобы подступиться к Ликэ. Если бог поможет, через несколько дней я разыщу и остальные два трупа. Я напал уже на след. Суд еще не кончился, он будет продолжаться, хоть до самого императора! Насчет же денег я тебе вот что скажу: ассигнации, проткнутые иглой, из банка. Там их держат в пачках, в каждой по сто штук, и все они нанизаны на проволочку, чтобы никто не мог их украсть, не повредив проволочки или пломбы; мне известно, что молодая барыня взяла эти деньги из банка перед отъездом из Инеу. Серебро же принадлежит арендатору. Но у него были похищены также и крупные ассигнации, помеченные на уголке круглой буквой и крестиком, и золото — все империалы, на которых каждый третий зубчик спилен. Будешь ты в силах отдать мне в руки Ликэ, когда у него найдутся в кармане золотые или бумажные деньги с такими метками?

— Да,— твердо ответил Гицэ.

— Не торопись,— сказал Пинтя.— Дело это нелегкое, боюсь, как бы ты его не испортил. Запомни одно: Ликэ сейчас нужны деньги, потому что ему придется еще судиться. Должно быть, он хочет заставить тебя менять, а может, даже и продавать свои драгоценности. Соглашайся! Придешь ко мне, и я устрою тебе обмен, вернее — это сделает арендатор. Конечно, я не скажу ему, что ты в этом участвуешь, но все-таки тебе придется съездить в Арад или Орадя и сделать вид, что ты менял там деньги.

— А вдруг выйдет какая-нибудь путаница?

— Ну, уж это мое дело! Позаботься только о том, чтобы у тебя с Ликэ все шло гладко.

На рассвете Гицэ уже снова спал в своей постели. Ему снилось, что удалось поймать Ликэ и Пинтя вынимает у него из пояса надпиленные золотые. Лежа рядом, Ана удерживала дыхание, чтобы не разбудить мужа от сладкого сна.

XIV

Проснувшись на другой день, Гицэ ощутил беспокойство. Он хорошо понял, что произошло ночью, но теперь это казалось сном, и ему не хотелось верить, что все так и было в действительности. Осознав свой поступок до конца, он начал его стыдиться. Страх, овладевший им, подсказывал ему, что рано или поздно он все равно себя выдаст и тогда не только испортит все дело, но и подвергнется опасности.

«Мне никак с этим не справиться,— размышлял он.— Нет у меня смелости, нет, как Пинтя говорит, нужной для этого ловкости». Поэтому на вопрос Аны, удалось ли ему ночью все устроить, ответил, что все в порядке. Отвечая так, Гицэ говорил вполне искренне, но Ана обиделась: ей хотелось услышать больше, она считала, что имеет право знать все подробности, и не могла простить Гицэ его недоверия.

— Так разговаривают только с чужим человеком, с ребенком или со слугой, которому платят жалованье,— сказала она с укором. И она была права.

На другой день Ликэ снова появился в корчме, и Гицэ растерялся, не зная, как себя держать с ним. Первый раз в жизни ему было стыдно смотреть Ликэ в глаза: ему казалось, что сам он хуже, подлее Ликэ, и он боялся его мести в десять раз больше, чем прежде. Ликэ же был весел, как никогда,— душа-человек.

Уж так господь бог устроил, что дети хотят во всем походить на взрослых. И сын Гицэ, маленький Петришор, во что бы то ни стало хотел иметь такой же хлыст, как у дяди Ликэ, раз уж нельзя завладеть тем, который принадлежит дяде. Чтобы исполнить желание сына, Ана взяла кудель и начала плести кнут.

— Что это будет? — спросил Ликэ.— Кнут для богатыря Петришора? Нет, уж лучше поручи-ка это дело мне. Ну, дай бог удачи! Держи за конец, уж я-то сплету хлыст на славу.

Ана осталась сидеть на скамейке, придерживая кончик кудели, а Ликэ стал перед ней и, разделив кудель на восемь прядей, принялся их плести. Он делал это так, как Ане никогда еще не доводилось видеть; она следила за его пальцами, сжимавшими кудель, как ловко они перекручивали пряди, как искусно переплетали их одну с другой. Ана не отрывала глаз от этих белых рук с тонкими длинными пальцами, никогда не прикасавшихся к лопате или к рукоятке плуга и знавших только легкий хлыст да конскую уздечку.

Она смотрела на белую, как лепесток цветка, рубашку Ликэ, на чисто выбритое лицо, длинные усы и зеленоватые, сейчас такие оживленные глаза; слушала веселые слова, сыпавшиеся из его уст. Слушая и наблюдая, она вспоминала того холодного, сурового

с виду человека, на которого с детским изумлением глядела, когда он впервые появился на Счастливой мельнице. Вспоминала молчаливого гостя, которого считала когда-то таким злым и опасным и который теперь развлекает ее и вместе с ней радуется восторгу Петришора.

Пока Ана смотрела, слушала и думала, даже как-то против воли, думала о том, что было и что стало,— хлыст, сплетенный теперь из четырех прядей, становился все длиннее.

— Хорошо получится! — сказала Ана.

— Может ли быть иначе,— ответил Ликэ вполголоса,—когда такая красивая женщина держит кудель? Я был бы не прочь,— прибавил он немного погодя,— если бы кудель растянулась длиной с великий пост.

Ана смутилась и хотела передать кудель стоявшей в нескольких шагах Уце, но та сделала вид, что не поняла ее движения, заговорила с ребенком.

После этого Ликэ сразу стал молчаливее, делал пряди тоньше, заплетал их быстрее, и вскоре Ана опять увидела перед собой прежнего человека с холодным, суровым лицом.

— Осталось немного,— сказал он.— Сейчас кончу. А рукоятку сделаю потом сам.

Слова эти рассердили Ану. Она была веселого нрава, любила видеть вокруг себя оживленные лица, и ей было особенно досадно, что она сама его огорчила.

И вот теперь Ана старалась вернуть Ликэ прежнее настроение и чуть не плакала, видя, что ей это не удается. Она улыбалась ему, заглядывала в глаза, на все лады старалась показать, что радуется его словам, а когда он, окончив свою работу, отправился искать подходящую ветку орешника, чтобы сделать рукоятку, Ана взяла ребенка за руку и весело сказала:

— Пойдем и мы помогать дяде Ликэ.

Гицэ в это время не было дома, он уходил по своим делам. Когда он вернулся, Сэмэдэу сидел за столом под навесом и кончиком ножа вырезал узоры на уже готовой рукоятке; Ана же стояла за его спиной и смотрела, как он работает, при этом правой рукой она опиралась на стол, а левую положила на плечо Ликэ.

Гицэ на мгновение оцепенел, потом поспешно отошел прочь, чувствуя, что не в силах на это смотреть.

— Нет,— твердил он себе,— уж этого-то я никогда не боялся, не буду бояться и теперь.

И в самом деле, у него не было оснований для опасений, хотя внутри у него все кипело. Гицэ вдруг вспомнил слова Ликэ о его слабости к одной женщине, понял его намерения и глубоко взволновался при мысли, что Ликэ считает это возможным. И как раз

именно Ана своей детской наивностью подкрепляла уверенность Ликэ. Поэтому у Гицэ вовсе не было желания вдумываться в это, и через полчаса, оставшись наедине с Ликэ, он был с ним более радушен, чем обычно.

Предчувствие не обмануло Пинтю. На этот раз Ликэ принес Гицэ четыре крупных ассигнации и, положив их на стол, сказал:

— Пополам! Сколько тебе, столько и мне. Но будь с ними особенно осторожен, на них есть метки.

Некоторое время Гицэ смотрел на бумажки и на метки, которые уже были ему знакомы.

— Понятно, Ликэ,— сказал он.— Ты просишь всего пятьдесят процентов, остальные пятьдесят пойдут мне на расходы. Но все-таки я советую тебе поручить это кому-нибудь другому. Разве ты не боишься, что я могу взять деньги, пойти с ними в суд и заявить, что получил их от тебя? Право, лучше бы ты поостерегся и оставил меня в покое.

— Собираясь так сделать, ты не стал бы меня об этом предупреждать,— возразил Ликэ.— Может быть, тебе это и приходило в голову, но я считаю, что ты достаточно умен для того, чтобы понять, какие от этого могут быть последствия. Знаю я и то, что ты любишь деньги.

Гицэ сам знал, что любит деньги, но именно поэтому ему не хотелось слышать это от других. Он взял ассигнации, спрятал их в ящик, потом выбрал пачку бумажек помельче и отдал Ликэ его долю. Пересчитывая деньги, Гицэ не переставал повторять про себя: «Докажу тебе, что я вовсе не так падок на деньги, как ты думаешь».

И действительно, Гицэ поджидал лишь ночи, чтобы отправиться в Инеу.

Однако вечером Сэмэдэу снова вернулся на Счастливую мельницу и, не желая давать корчмарю передышки, вручил ему еще десять бумажек.

— Если у тебя дома нет мелких денег,— сказал он,— поезжай завтра в Арад и разменяй.

— Как будто еще осталось,— ответил Гицэ, отдавая почти все имевшиеся у него мелкие деньги.

И только возвращаясь из Инеу, Гицэ понял, что Ликэ прав. Он отдал Пинте четырнадцать крупных ассигнаций, но так и не сказал, что половина денег принадлежит ему. Наоборот, он настаивал: пусть жандарм обменяет всю сумму полностью, чтобы Ликэ не мог ни в чем усомниться. Много раз слова-признания вертелись у него на языке, но он твердил про себя: «Что толку, если Пинтя узнает еще и это?» Возвращаясь на Счастливую мельницу, он решил, что скажет об этом в следующий раз.

В следующий раз? Ну разумеется! Но вскоре Гицэ убедился, что никогда не сможет сказать Пинте всю правду. И чем больше он в этом убеждался, тем больше старался избегать Пинти.

Человек легко мирится со своими проступками.

«Ну что я могу с собой поделать? — в конце концов сказал себе корчмарь.— Таким уж меня создал бог! Как быть, если во мне сидит что-то сильнее меня самого? Ведь горбун не виноват, что у него на спине горб; никто так не хотел бы избавиться от горба».

Зная за собой грех, с которым он был не в силах совладать, Гицэ даже перестал бороться с собой, предоставив все на волю случая. К тому же он больше не был прежним честным человеком; все равно люди считали его дурным. Порой им овладевал страх наказания или мести Ликэ, и тогда он принимал твердое решение уехать, да так, чтобы и следов его не нашли; потом снова успокаивался и ждал, что Ликэ опять привезет ему денег.

Так миновала осень, а за ней наступила зима; прошла и зима, и снова вернулась весна. Пинтя становился все нетерпеливее, тем более что ему удалось отыскать зарытые в землю трупы. Что касается арендатора, то его начинала бить лихорадка, когда приходилось выкладывать мелкие деньги, получая взамен свои же ассигнации, доставшиеся ему таким тяжелым трудом. А Гицэ твердил Пинте лишь одно: «Я отдам его тебе в руки связанным, но, пойми, надо быть осторожным, чтобы не испортить все дело».

После этого корчмарь или смеялся про себя, или дрожал от страха.

Много денег скопил Гицэ. Так много, что каждый день повторял себе: «И уйма же их было у арендатора!» И чем внушительнее становилась сумма, тем меньше у него было желания признаться во всем.

Ликэ тем временем переживал радостные дни. Он часто приезжал на Счастливую мельницу, всегда был весел, приветлив и щедр. За щедрость и веселье цыгане из Инеу полюбили его и частенько заходили в корчму узнать, нет ли здесь Ликэ и скоро ли он приедет сюда повеселиться с товарищами.

Застав его в корчме, цыгане начинали играть, и тогда приходил черед Уцы, высокой, смуглой, бойкой на язычок женщины.

Сам Ликэ танцевал очень редко, больше с Аной или с детьми, а порой, ради шутки, и со старухой. Ему нравилось стоять, смотреть и слушать. Да и было на что посмотреть: ведь Уца плясала так, как умеют плясать только в корчме. И разговаривала она так, как разговаривают тоже только в корчме — без всяких церемоний, называя вещи своими именами. Если в своем веселье она заходила слишком далеко, Ликэ бросал ей:

— А ну перестань! Больно разошлась! — Уца же, как будто назло, становилась еще развязнее.

Старуха только снисходительно пожимала плечами и думала: «Что поделаешь? Такой уж сотворил ее бог. Ее грех».

Вначале Ана смущалась и относилась брезгливо к бесстыдным выходкам Уцы, но с течением времени она к ним привыкла, и порой, когда Уца говорила какую-нибудь непристойность, у Аны так и чесался язык ввернуть слово покрепче. Ликэ при этом смеялся от всего сердца и приговаривал:

— А ну, кто кого? Давно я так не хохотал!

Один Гицэ не смеялся. Он делал вид, что не понимает шуток, а если замечал, что Ликэ увивается около Аны, а та так и льнет к нему, торопливо уходил, чтобы ничего не видеть: ему было тяжело на это смотреть, и у него ныло сердце, когда он чувствовал, что Ана постепенно падает в его глазах.

Однако иной раз ему казалось, что Ана старается держать Ликэ подальше от себя, и тогда он упрекал себя и еще острее ощущал собственную подлость. Он чуть ли не радовался, замечая, что она ищет глазами Ликэ или заигрывает с ним,— ведь они таким образом опять оказывались на равной ноге.

В начале страстной недели на Счастливую мельницу приехал Пинтя и снова стал донимать Гицэ.

— Что я могу сделать? — оправдывался Гицэ.— Он человек хитрый, и мне его никак не поймать. Если бы знать заранее, когда он привезет деньги, можно было бы сообщить тебе или уличить его при ком-нибудь. Но я боюсь выдать себя: ты же знаешь, что я рискую головой, а он ничем. По правде сказать, больше всего на свете хочется мне забрать свои пожитки и бежать отсюда!

— Ладно, ладно...— сказал Пинтя.— Но помни, тебе не поздоровится, если ты задумал провести меня!

Гицэ ничего не ответил.

Между тем старуха уже давно подумывала, как управиться с домашними делами, чтобы провести пасху всей семьей в Инеу, у одной из своих дочерей. Ее всегда очень огорчало, что всякий раз, когда она об этом заговаривала, Гицэ твердил:

— Если удастся...

После отъезда Пинти корчмарь подошел к теще и объявил, что согласен ехать в Инеу. Он попросил ее сообщить об этом родным через кого-нибудь из проезжих, чтобы они заранее могли приготовиться.

— Ах, как хорошо, зятек дорогой! — воскликнула обрадованная старуха.— Благослови тебя бог за твое решение! Ведь ты видишь, как я состарилась. Кто знает, придется ли нам еще раз провести праздник вместе?

Старуха действительно была очень растрогана: всю свою жизнь она проводила праздник со своими близкими. Только в прошлом году как раз на праздник пришелся их переезд на Счастливую мельницу, и в тот раз пасхи словно и не было; старухе казалось, что весь год будет незадачливым, если и теперь она проведет праздник так же плохо.

Радовалась поездке и Ана, давно не видавшая своих родных и подруг детства и юности. Дети тоже с нетерпением ждали праздников. Они любили бывать в Инеу, где получали подарки от тетушек и играли со своими сверстниками.

Ана держала совет с матерью: нельзя же ехать с пустыми руками, да и хотелось ей показать, что она уже не живет в нужде, как бывало. Казалось, она была готова растратить сразу все заработанное за год.

Пока женщины толковали, Гицэ сидел в боковой комнате и считал деньги. Он пересчитывал их один, стараясь не шуметь, то и дело прислушиваясь и готовый спрятать их, как только заслышит чьи-нибудь шаги.

Заметив, что Пинтя теряет терпение, он тут же принял решение: отправить на праздник в Инеу жену и детей, а самому незаметно для окружающих поехать на поиски укромного местечка. Впоследствии можно было бы перевезти туда всю семью и провести там жизнь, затерявшись среди людей и не боясь ничьих преследований; ведь Ликэ не мог его предать, а Пинтя ничего не знал. Однако, предприняв еще только первые шаги для осуществления своего намерения, Гицэ начал колебаться.

Принимая близко к сердцу радость тещи, он был не в силах сказать, что не поедет в Инеу. Ему было тем больнее, что он хорошо понимал, какое страдание причинит всем близким своим исчезновением. Правда, он готов был бежать от страха перед Пинтей, но ничуть не меньше боялся он и Ликэ, который все же мог напасть на его следы.

Теперь же, когда он смотрел на такие крупные деньги, им неожиданно со страшной силой овладела мысль, что Ликэ, знающий про эти деньги, в один прекрасный день непременно явится и отберет их. Положив деньги обратно в сундук и погасив свет, он в ужасе остановился посреди темной комнаты. Ему представилось, что он вновь видит там, далеко за холмом, на пути к Инеу, в молчаливой, пустынной долине брошенную на краю дороги карету и убитого ребенка, лежащего на залитой кровью траве.

Нет, просто уехать — этого еще мало. Надо уехать так, чтобы никто, в особенности Ликэ, не мог найти его следов.

А жена Гицэ, Ана, ничего не подозревала. Она думала о калачах, о красных яичках да о пирогах и больше всего мечтала



Николае Григореску (1838—1907)
«Постоялый двор в Орэции»

сейчас о том, чтобы покрасоваться среди своих родных и подружек.

Во вторник вечером в корчму явился Сэмэдэу, которому Гицэ передал, что хочет с ним поговорить. Ана и на этот раз не узнала, ни когда он приехал, ни когда уехал.

Впрочем, Ликэ оставался на Счастливой мельнице недолго. Гицэ хотелось только спросить его по секрету, нет ли у него денег для размена, потому что он, Гицэ, задумал съездить тайком во время праздников в Будапешт и разменять скопившиеся у него деньги, особенно золотые, которые он не решался менять где-нибудь поблизости. Корчмарь думал, что это его предложение заставит Ликэ позабыть о подозрениях и он не скоро хватится, куда, собственно, уехал он, Гицэ.

— Деньги есть,— ответил Ликэ.— А когда уезжает в Инеу твоя жена?

— В субботу вечером.

— В таком случае ты меня подожди. Я обязательно приеду либо в субботу вечером, либо в воскресенье утром и привезу тебе всякого добра.

Гицэ пробрала дрожь. Теперь уже речь шла не только о бегстве, но и о том, как обворовать Ликэ.

«Делать, так уж делать как следует»,— бормотал про себя корчмарь, ошеломленный этой новой мыслью, и тревожно считал остававшиеся в его распоряжении часы.

Наконец в субботу, после полудня, когда все было прибрано и семья приготовилась к отъезду. Гицэ заявил, что ехать со всеми вместе не может, потому что должен прибыть Ликэ и он дал слово его дождаться.

— Тогда не поеду и я,— сказала Ана, для которой новое решение Гицэ прозвучало как гром с ясного неба.

— Ты с ума сошла? — возразил он.— Известили родных, что приедем, собрались, и вдруг — не поедешь? Отправляйтесь в дорогу и проведите праздник, как будто меня и на свете нет,— тем приятнее вам будет, когда я приеду позже.

— Я не могу проводить пасху без тебя,— упорствовала жена.— Подумай, что скажут люди, если я оставлю тебя здесь одного.

— Э! Пустая болтовня. Я хочу, чтобы ты уехала!

— Что ты кричишь на меня?— огорченно спросила Ана.— Гицэ, скажи, что с тобой? Почему ты не говоришь мне правду?

Гицэ прошелся несколько раз по комнате, потом остановился перед окном и посмотрел наружу.

— Ты стоишь мне поперек дороги,— сказал он немного погодя.

Ана почувствовала неудержимое желание немедленно уехать и никогда больше не возвращаться. Ей казалось немыслимым продолжать жить с человеком, который мог сказать ей такие слова. Но в душе поднималось что-то большее, чем это желание.

— Вот поэтому-то я и хочу остаться,— ответила она.— И я останусь, сердце не позволяет мне уехать. С некоторых пор ты страшно изменился, я уже забыла то время, когда ты ласкал меня и говорил нежные слова. Но не думай, что тебе удастся оттолкнуть меня! Я люблю тебя, Гицэ! — воскликнула она упрямо.— Люблю от всего сердца. И чем суровее ты будешь со мной, тем больше я буду любить тебя. Я говорю это тебе как раз потому, что ты не хочешь меня слушать.

Действительно, Гицэ больше всего боялся таких слов. Услыхав их, он почувствовал себя как бы опутанным паутиной, из которой был не в силах выпутаться.

— Очень я тебе нужен! — огрызнулся он.— Лучше скажи прямо, положа руку на сердце,— ты хочешь остаться потому, что Ликэ будет здесь.

— Какой же ты подлец! Каким же ты стал негодяем, если говоришь мне то, во что и сам не веришь,— вздохнула она и тихонько отошла прочь. Только у самого порога она бросила: — Это ты гнешься перед ним, как слуга, а не я! Упаси бог, если ты взял какой-нибудь грех на душу, потому что тогда наша жизнь станет хуже каторги!

Гицэ дал ей уйти и даже обрадовался ее уходу. Он не верил, что после такой ссоры Ана останется, и его решение уехать самому никогда еще не было так крепко, как теперь. Действительно, жизнь для Аны становилась каторгой, избавиться от этой каторги можно было лишь в том случае, если он отсюда исчезнет. Тогда она, Ана, пожалуй, еще сможет быть счастливой, а он, Гицэ, уж никогда.

Однако Гицэ ошибался.

Старуха уехала вечером одна, забрав с собой только детей и огорченная до глубины души. Прощаясь, она долго целовала дочь, точно расставалась с ней навсегда или выдавала замуж; казалось, она только сейчас поняла, что дочь должна делить радость и горе со своим мужем.

На сердце у старой было тяжело, и ей надо было облегчить его.

— Я говорю редко,— сказала она.— Но уж если заговорю, то не скоро кончу. Такой у меня характер. У меня нет привычки вмешиваться в чужие дела. Хоть вы мне и дети, я всегда говорю себе: «Пускай они поступают так, как подсказывает им сердце». Очень мне жалко, что из-за Ликэ вы не проведете светлый праздник с родными. И не удивляйтесь, если мне захотелось, чтобы вы и меня разок выслушали: не водите слишком большой дружбы с та-

кими людьми, как Ликэ. Конечно, отрадно думать обо всех людях, что они хорошие, тогда самому легче жить на свете, но знайте: Ликэ — дурной человек. Я не говорила вам этого до сих пор потому, что не было случая. А теперь говорю вам: держитесь подальше от него.

Высказав то, что было у нее на душе, старуха уехала, а Гицэ, Ана, Марц и Уца остались на Счастливой мельнице, которая после отъезда старухи казалась пустынной и мрачной, как никогда.

«Что же мне делать? — думал Гицэ, видя, что план его рухнул.— Таково, видно, мое счастье. А если несчастье? От судьбы не уйдешь. Кто знает, может, так даже и лучше».

Гицэ почувствовал себя совсем ничтожным и обессиленным... Он даже сам как следует не знал, что он сможет сделать и что ему не по силам, и мало-помалу отдался на волю случая, с ленивым безразличием ожидая приезда Ликэ.

Ликэ прибыл в корчму к завтраку, в светлое воскресенье, вместе с Рэуцем и Пэуном, другим товарищем. Все трое приехали верхом. Увидев, что Гицэ не один, как они договорились, он не сказал ни слова и только в сердцах швырнул в угол комнаты привезенную с собой торбу с драгоценностями.

— Я не сумел от нее отделаться,— сказал Гицэ.

— Не сумел! Ты должен был это сделать! — жестко ответил Ликэ.— Это что же, выходит, я у тебя на побегушках? Привез деньги, золото, серебро. А теперь что? Не могу же я таскать их с собой? Убери ее отсюда.

— А как?

— Это меня не касается. Убери и все. А как, это уж дело твое.

Гицэ снова представилась брошенная на краю дороги карета и мертвый ребенок, лежащий неподалеку от нее.

— Спаси меня бог от людей, питающих слабость к одной женщине! — возбужденно воскликнул Ликэ.

— У меня этого нет,— проговорил корчмарь.

— У тебя нет? — повторил Ликэ.— Ладно! Да пойми ты, что этому надо положить конец. Ладно, я это сделаю. Хорошо, что она осталась здесь. Нынче во мне так все и кипит! — прибавил он про себя и пихнул ногой торбу за стоящий поблизости сундук. Потом, выйдя через корчму и ущипнув мимоходом стоящую у притолоки Уцу так, что та вскрикнула, он прошел к Ане, которая стояла под навесом, раздумывая обо всем, что происходило в ее доме.

— Бьюсь об заклад,— сказал Ликэ,— что через полчаса здесь появятся и цыгане. Чутье у них лучше, чем у борзой... Ну уж и закатим мы праздник, каких не бывало! Сегодня у меня хорошее настроение, и знай, что, когда я начинаю пировать, мне что ни подай — все мало!

— Я тоже такая,— проговорила нехотя Ана.

Ликэ подошел к ней ближе и шепнул на ухо, как бы в шутку:

— Я устрою, чтобы Гицэ уехал и оставил нас одних.

Ана затаила дыхание. Конечно, Ликэ шутил, но его шутка была слишком дерзкой и притом задела ее за самое больное место.

— Если только тебе это удастся! — отозвалась она, подняв голову и поглядев на него через плечо, словно хотела прибавить: «Ты очень ошибаешься, если думаешь, что мой муж так мало любит меня».

— Ишь ты, как рассердилась,— сказал он с улыбкой.— Видно, задело за самое сердце? Да если бы я не знал, как сильно любит Гицэ свою жену, я бы уж давно похитил ее.

Это тоже была шутка, но она уже больше пришлась Ане по вкусу.

Ликэ оказался прав. Прошло немного времени — приехали цыгане, и в тот самый момент, когда люди в Инеу входили в церковь, на Счастливой мельнице началось безудержное и разнузданное веселье.

Ана не хотела плясать, пока шли часы святой литургии, и ее оскорблял вид Уцы, еще более распущенной, чем всегда. Но Ликэ, до крайности возбужденный, сжал Ану в объятьях и насильно увлек ее танцевать. Ана бросила взгляд на мужа, но, вместо того чтобы рассердиться, Гицэ вырвал служанку из рук Рэуца и сам принялся плясать с ней, но так, что казалось — он веселится назло другим.

Однако и распущенность имеет свою прелесть: Ана мало-помалу вошла во вкус.

Чтобы еще больше подзадорить всех, Ликэ вынул немного погодя из своего пояса, набитого деньгами, четыре ассигнации, поплевал на них и прилепил одну за другой на лоб каждому цыгану.

— Играйте, пока струны не лопнут! — крикнул он и закружил Ану, которая, по мере того как Гицэ казался все безразличнее, уступала всем желаниям Ликэ и становилась все безрассуднее.

Внутри у Гицэ все кипело. Он сдерживался только потому, что сознавал, до чего жалок и несчастен муж, вынужденный охранять свою жену. И Гицэ делал вид, что веселится, чтобы показать, насколько безразлично ему поведение жены.

Веселье было в разгаре. Дом, казалось, готов был взлететь на воздух вместе с танцующими. Ликэ отплясывал с Аной так, что ноги ее едва касались земли. Гицэ и Рэуц обхватили с двух сторон Уцу за талию, а Пэун и Марц хлопали в ладоши и орали во всю глотку.

Цыгане что есть силы водили смычками по струнам, довольно улыбались и время от времени кидали жадные взгляды на ассиг-

нации, прилепленные у них на лбу. Только одни собаки корчмаря неподвижно лежали на пороге, положив голову на лапы и сонно наблюдая за происходящим.

Устав от пляски, Ликэ опустился наконец на скамью, посадил Ану к себе на колени и принялся шутливо целовать ее, прижимая к своей груди.

Не в состоянии дольше владеть собой, Гицэ сделал вид, что ничего не замечает, и вышел на свежий воздух, под навес.

— Теперь оставь меня,— задыхаясь, сказала Ана.— Гицэ начинает сердиться.

— А разве ты не видишь, что мне только этого и хочется? — ответил Ликэ.— Давай позлим его немного. Эй, Гицэ! — крикнул он.— Так ты, значит, оставляешь мне жену на пасхальное воскресенье?

— Делай с ней что хочешь! — бросил тот, скрывая под шуткой вспыхнувшую в нем слепую, ненасытную злобу.

Ана освободилась от объятий Ликэ, и на некоторое время оживление покинуло их, хотя именно теперь Ана пришла в хорошее настроение и жаждала повеселиться от всей души.

Гицэ между тем обдумывал, под каким бы предлогом, не вызывая подозрений, поехать в Инеу, найти там Пинтю и незаметно вернуться с ним обратно, чтобы захватить Ликэ врасплох.

Был уже час дня, когда Ликэ отвел Гицэ в сторону и сказал:

— Ну, значит, договорились. Ты уходи куда-нибудь и оставь ее здесь, со мной. Ей ничего не надо говорить. Уходи, и она увидит, что осталась наедине со мной. Людям я скажу,что ты пошел спать в конюшню; никто, кроме нас двоих, не должен ничего знать.

Гицэ ожидал этого, но, услыхав слова Ликэ теперь, когда размышлять было уже некогда, словно окаменел.

— Сейчас тебе тяжело приходится,— сказал Ликэ,— но зато с нынешнего дня ты излечишься раз и навсегда. Видишь, твоя жена отдается мне по доброй воле. Уж таковы все бабы.

Глаза Гицэ застлал туман. За два часа он успеет окольной дорогой добраться верхом до Инеу и, как только стемнеет, вернется с Пинтей на Счастливую мельницу.

«Божья воля! — сказал он себе.— Видно, так мне суждено». Но и произнося эти слова, он все еще надеялся на свои силы: ведь несмотря на все то, что видел, он не верил, что Ана... его Ана может отдаться в руки такого человека, как Ликэ.

«Ну а случись так — тем лучше,— мысленно заключил корчмарь.— Надо же ведь наконец положить предел всему этому. Знаю одно: если не выгорит и теперь, то жизнь моя пропала...»

— Хорошо,— ответил он Ликэ.— Когда я должен вернуться?

— Завтра утром.

— Только одно,— прибавил Гицэ.— Делай что хочешь, но не срами меня перед людьми; старайся, чтобы никто ничего не заметил.

— Ну, ясное дело. Да разве Ана на людях позволит мне подойти к ней? — сказал Ликэ, отходя прочь.

Гицэ долгим взглядом посмотрел ему вслед, потом он вернулся в конюшню, поглощенный и ослепленный одной мыслью; он ставил на карту всю свою жизнь с единственной целью — показать, что не боится ее потерять.

Пока Гицэ на конюшне седлал и взнуздывал коня, Ликэ что-то приказал Рэуцу.

— Ладно,— сказал Рэуц, заканчивая разговор,— как только стемнеет, мы их оставляем там, возвращаемся назад и где-нибудь спрячемся. Появимся только по твоему знаку.

— Крикну филином! — подтвердил Ликэ и снова присоединился к общему веселью.

Через некоторое время Рэуц спросил присутствующих, не хочет ли кто из них ехать вместе с ним в Шикулу.

— Заложим лошадей в тележку Гицэ,— предложил он,— посадим в нее цыган и отправимся на свадьбу. Уца! Давай и ты с нами! Пасха-то бывает один раз в году. Прихватим и Марца.

— Я бы тоже не прочь поехать,— заявил Ликэ,— но никак не смогу. К тому же мне давно следует быть в Фундурени и нельзя больше терять время здесь или в Шикуле.

— Прихватим Марца? — с хитрой улыбкой переспросила Уца.— А кто его знает, где он сейчас? Наверно, перепрыгнул через забор где-нибудь в Фундурени, да и посиживает у своей милой. Но я-то поеду с вами, если возьмете.

Ане хотелось теперь лишь одного: остаться вдвоем с Гицэ.

Вскоре, однако, заметив, что Гицэ не было при отъезде всей компании и что он все не возвращается, она начала беспокоиться.

— Что-то Гицэ заспался,— сказала она, поднимаясь.

— Он тоже уехал,— спокойно проговорил Ликэ.

— Кто?

— Гицэ. Разве я тебе не говорил, что устрою так, чтобы он уехал?

Щеки Аны вспыхнули, она отвернулась от Ликэ и пошла искать мужа, но увидала, что он уже направляется вверх по долине. Он ехал верхом в сторону Фундурени. Ана остановилась. По всему телу ее пробежал холод. Потом она снова вернулась к Ликэ и сказала с улыбкой.

— Да, он уехал. Что ж, тем лучше!

Ликэ встал с места, делая вид, что тоже собирается уходить.

— Ты что это? — спросила Ана.

— Разве я не говорил тебе, что мне тоже надо ехать?

— Зачем переливать из пустого в порожнее? Оставайся! Ты мужчина, Ликэ, а Гицэ всего только баба, наряженная в мужское платье, и даже хуже.

Говоря это, Ана приложила к щекам ладони, чтобы остудить их жар, кончиками пальцев откинула волосы со лба и сказала, оглядываясь вокруг, как человек, потерявший всякое самообладание:

— Плохо ты поступил, отослав всех отсюда. Мне бы сейчас хотелось видеть вокруг себя много, много людей и так веселиться, чтобы волосы поднялись дыбом! Веселиться, пока не свалюсь на землю без сил. Но теперь и так хорошо: только ты обещай одну вещь.

Ликэ не сводил удовлетворенного взгляда с ее пламенеющих щек, дико горящих глаз и полуоткрытого рта, похожего на перезрелый абрикос, любовался всей ее высокой, гибкой и хрупкой фигурой. Он чувствовал, что теперь находится в ее власти, и, казалось, намеренно старался продлить это ощущение.

— Я сделаю все, что ты захочешь,— сказал он и притянул ее к себе.

XV

Смеркалось.

Днем стояла совсем летняя жара, и еще теперь, на заходе солнца, в воздухе чувствовалась какая-то тяжесть. Вдруг сразу посвежело, поднявшийся ветер пригнал с востока облака, затянув ими небо и непрерывно гоня их вперед, на запад.

По временам издалека слышались, словно из-под земли, глухие раскаты грома, медленно растворяющиеся в молчании сумерек.

Ликэ сидел за столом, держа перед собой стакан, и разговаривал с Аной. Он был неспокоен и то и дело прислушивался к отдаленному лаю собак. Должно быть, к корчме подходил кто-то чужой.

Полный золотых монет пояс Ликэ, который он снял вскоре после ухода Гицэ, лежал в ногах постели.

— Так, значит, таковы теперь твои мысли,— промолвила Ана, сидевшая по другую сторону стола, напротив Ликэ.

— О таких вещах думать нечего,— ответил он почти с досадой,— их чувствуешь. Ведь я сказал, что мне будет тяжело, если я вздумаю уехать, расстаться с тобой. Хватит и этого; другого доказательства не надо; люди, вроде меня, да еще в мои годы, не слишком часто делают такие признания. Но,— прибавил он,— меня считают злым именно потому, что я умею владеть собой, что бы со мной ни случилось, даже и теперь я не теряю голову.

С этими словами он поднялся и с досадой посмотрел на Ану. Встала и Ана.

— Что такое? Что ты задумал?..— спросила она испуганно.

— Я ухожу,— ответил Ликэ и вытащил из-за сундука спрятанную торбу с драгоценностями.

— Ты не можешь оставить меня здесь одну, в таком положении!

— Я должен идти и не хочу оставаться,— отрезал Ликэ, надевая шляпу.

У Аны захватило дыхание: ей казалось, что не он уезжает, а ее с позором выгоняют на улицу, на середину дороги, где все прохожие с презрением отворачиваются от нее. Убедившись, что он и в самом деле собирается покинуть ее, Ана обеими руками вцепилась в его рукав и, с трудом сдерживая волнение, воскликнула:

— Если ты и вправду уходишь — возьми меня с собой! Я больше не хочу его видеть, не могу с ним встретиться!

— Вот еще!.. А что мне с тобой делать? — ответил Ликэ и, как бы нехотя, оттолкнул ее локтем в сторону.

Ана сделала шаг назад и остановилась посреди комнаты, неподвижно устремив глаза в землю. Потом снова взглянула на Ликэ, будто говоря: «Ну, что ты стоишь? Ведь сам сказал, что уходишь?»

Высокий, с длинными усами на гладко выбритом, белом, как мел, лице, в круглой шляпе на волнистых волосах, Ликэ стоял перед ней как вкопанный, держа в руках торбу, полную драгоценностей.

— Я словно вижу, как ты миришься с ним, изливаешь ему всю злобу, накопившуюся в твоем сердце против меня,— сказал Сэмэдэу.

Потом он повернулся и ушел прочь быстрыми, частыми шагами.

Скоро он мчался во весь дух на своем гнедом по направлению к Фундурени и погонял его так, как будто за ним по пятам гналась сама смерть.

Упали первые крупные капли дождя, загрохотал гром. Его раскаты, нарастая, разносились по всей долине, длинные молнии то и дело пронзали густой мрак быстро спустившейся ночи. Ликэ мчался, опустив поводья и припав к шее коня; он летел, как злой дух, сквозь сплошные дождевые потоки, сквозь гром и молнии. Когда он добрался до села, мокрый до костей, усталый и обессиленный от пьяного разгула и пережитого возбуждения,— он дрожал всем телом и едва держался в стременах.

И все же ему хотелось повернуть назад и снова очутиться на Счастливой мельнице.

«Всегда я остерегался женщины и вот теперь, на старости лет, все-таки попался!» — подумал Ликэ.

Он поехал вправо от Фундурени, по направлению к лесу, ища себе пристанища, и скоро очутился около церкви, от которой веяло одиночеством и заброшенностью и которая находилась на расстоянии нескольких ружейных выстрелов от села. Ликэ радостно посмотрел на церковную дверь и придержал коня.

Не теряя времени, он соскочил на землю, вцепился в дверь обеими руками и налег на нее всем телом. Потом рванул ее несколько раз, стараясь сбить запор, снять с петель или, наконец, просто взломать ее.

Дверь затряслась с такой силой, что гул прокатился по пустой церкви, но все же не поддалась. Прошло довольно много времени, пока Сэмэдэу удалось проникнуть внутрь церкви.

Теперь у него было убежище. Дождь лил потоками, грохоча по церковной крыше; в ответ на громовые удары стекла больших окон непрерывно дребезжали, а частые вспышки молнии освещали изображения святых, устремивших неподвижные глаза на человека, который сбился с пути и пришел нарушить покой святой обители.

Ликэ ничего не видел и ничего не слышал.

Он взял лошадь под уздцы и повел к алтарю, здесь он привязал ее у правой двери, а сам вошел в алтарь посмотреть, не найдется ли там что-нибудь из церковных одежд — стихаря или покрывала, чем можно было бы прикрыть себя и лошадь. Бедное животное дрожало от холода.

Ликэ выждал новой вспышки молнии и огляделся.

На вешалке справа висели какие-то ризы, на престоле он заметил покров и большую завесу на царских вратах.

Прежде всего он взял покров и накинул его на взмыленного коня. Теперь Ликэ стал спокойней и снова вернулся в алтарь, намереваясь сорвать завесу с царских врат, но тут он почувствовал запах ладана и недавно потушенных восковых свечей, и ему стало как-то не по себе. В нем с новой силой пробудились мысли, покинувшие его с момента входа в церковь. Словно сквозь дремоту видел Ликэ Ану, Гицэ, Пинтю, деревенских жителей... когда же гнедой ударял копытом о каменный пол, его охватывала беспокойная дрожь. Много всяких грехов водилось за ним, но никогда еще он не касался святыни!

Ухватив конец завесы, Ликэ с силой дернул ее к себе, пытаясь сорвать. Но завеса не поддалась — она была плотная, на шелковой подкладке.

Ликэ дернул сильнее.

Ткань начала разрываться с тонким, пронзительным скрипом,

и этот звук был таким острым и душераздирающим, что проникал, точно острие кинжала, до самого мозга костей. Ликэ выпустил из рук полуразорванную завесу и в ужасе неподвижно застыл у входа в алтарь.

Испуганный, сам не зная чем, он сделал шаг назад и, втянув голову в плечи, оглянулся по сторонам.

В храме не было ни души, никого, кто мог бы его видеть. Не слышно было ни одного голоса, некому было обличить нечестивца. Никого и ничего. Только тишина, запах свечей и ладана, образа на стене да изредка постукивание лошадиных копыт о каменный церковный пол... Любому человеку, каков бы он ни был, должна была прийти здесь в голову мысль, что существует некая таинственная сила, управляющая людьми, озаряющая их разум. Она — источник всего, ничто не может превзойти ее, от нее исходят все испытания, через которые должен пройти человек. Это бог спасал Ликэ от многих опасностей и просветил его разум, затмив его у других, и поэтому Ликэ вовсе не хотел портить отношений с богом.

Но как бы то ни было, а заполучить завесу обязательно надо! Ликэ решил срезать ее ножом, только бы не слышать этого шелестящего скрипа!

Да, но ведь нож остался там, на поясе...

— Мой пояс! — вскрикнул Ликэ так пронзительно и громко, что конь испуганно шарахнулся в сторону...— Пояс!.. Мой пояс!..— продолжал он кричать, торопливо шаря по телу руками, словно на нем загорелась рубашка, и шаг за шагом отступая от алтаря, пока не дошел до середины церкви.

Ужас овладел Ликэ... Он готов был сейчас же вскочить на коня и мчаться, мчаться, пока не избавится от этого страха. Но ведь бог — повсюду. Всегда и везде человеческая судьба зависит от случайностей, тайную связь которых не в силах постигнуть ограниченный человеческий разум.

Гроза не прекращалась, каждый удар грома заставлял Ликэ вздрагивать, от каждой молнии трепетало сердце; со стен церкви смотрели на него лики святых, а он стоял перед ними как окаменелый, потому что некуда было спрятаться от них; Ликэ схватился обеими руками за волосы, рванул тесемки на вороте рубашки... Ему хотелось вырвать сердце из груди, хотелось разбить голову о стену, чтобы рухнуть мертвым на ступеньки алтаря.

Но он не мог умереть. Ничего он так не боялся, как смерти... Ликэ жаждал жить долго, долго, пока стоит мир; жить, чтобы избавиться от загробного мира. И жестокое решение созрело в нем.

— Один за другим!..— воскликнул он, поднимая правую руку.— Человек за человеком должны умереть все те, кто может

меня предать! Надо уничтожить жизнь за жизнью, потому что, если я их не уничтожу, они уничтожат меня.

С этими словами Ликэ вскочил на коня, выехал наружу через сломанную дверь, вернулся к лесу, сделал круг, въехал в деревню с противоположного конца и, проскакав вдоль улицы к дому священника, постучал в калитку.

Было около девяти часов вечера, и священник еще сидел за столом, когда услышал стук в дверь. Он вышел.

— Простите, батюшка,— сказал Ликэ.— Я заехал сюда на минутку. Как раз сегодня, в самый день пасхи, у меня пропала часть стада.

— Много злых людей на свете,— печально отозвался священник.

— Я хотел вас спросить,— прервал его Ликэ,— не видали ли вы случайно Рэуца? Не проезжал ли он мимо?..

— Нет.

— Тогда закушу чем-нибудь, да и поскачу через лес, чтобы к утру быть в Инеу... Рэуц, наверное, тоже отправился туда. Но если я ошибся и он все-таки будет здесь — передайте ему, пусть ищет меня в Инеу. Прощайте, батюшка, извините за беспокойство.

С этими словами Ликэ поскакал по направлению к лесу, потом выбрался на дорогу и только тогда помчался по долине к Счастливой мельнице.

XVI

Прежде чем отправиться из дому, Гицэ попытался найти Марца, чтобы отдать ему кое-какие распоряжения по хозяйству, но второпях не мог его отыскать.

У него не хватило терпения на более тщательные поиски, и он спешно уехал, не желая терять времени даром.

Немного отъехав, он оглянулся и заметил сзади, на проселочной дороге, повозку; однако ему и в голову не пришло, что в ней сидят люди, оставшиеся в корчме, так как они прискакали верхом.

И все-таки появление повозки удивило его.

Недалеко от Инеу он нагнал Марца. Венгр ехал известить Пинтю о том, что происходит на Счастливой мельнице.

Несколько мгновений Гицэ стоял ошеломленный, словно ничего не чувствуя.

«Что же, если бог не вразумил меня вовремя...— подумал он немного погодя.— Пусть я делаю плохо, но поступить иначе я не могу».

С этой минуты он понял, что Ана погибла, и стал думать только о мести.

Но надежда никогда не покидает окончательно человеческую душу, и Гицэ говорил себе: «А может быть, я все-таки успею вернуться обратно?»

И он спешил.

Гицэ, Марц, Пинтя и два жандарма очутились в окрестностях Счастливой мельницы вовремя; однако из опасения, что Ликэ может их обнаружить и сбежать из корчмы, всадники сошли с коней на вершине холма и решили подождать темноты, чтобы подойти незамеченными.

Гицэ, желтый, словно обескровленный, лежал, вытянувшись на земле, и пристально вглядывался в долину.

— Сильный ты человек, Гицэ,— сказал Пинтя задумчиво.— Я тоже ненавижу Ликэ, но у меня не хватило бы духу отдать ему такую женщину, как твоя жена, в качестве приманки, чтобы заманить его в западню.

— Жену я давно потерял,— отозвался Гицэ. «Не следовало брать в дом Уцу... Это она, и только она испортила ее»,— подумал он немного спустя. И снова молча, с напряжением стал ждать наступления темноты.

Вдруг он вскочил как сумасшедший и закричал:

— Они нас заметили! Вон он скачет верхом! Уезжает!.. Он оставался с ней один, один!.. Скорее на коней, в погоню! Боже мой!.. Собаки, которых я завел в доме, чтобы защищаться от него, собаки и те на моих глазах выпускают его, и он ускользнет из моих рук!

Гицэ выкрикивал последние слова, когда все четверо уже мчались верхами, вниз по склону холма, по следам Ликэ. Однако под гору они скакали медленнее, чем Ликэ в гору, да и кони их не могли сравниться с гнедым Ликэ, и расстояние между преследователями и Сэмэдэу все увеличивалось.

Когда они наконец добрались до села, Ликэ исчез из виду. Всадники в замешательстве остановились.

— Вы поезжайте направо,— сказал Пинтя,— а мы — налево; объедем вокруг, а потом вернемся посмотреть, не задержался ли он где-нибудь здесь. В такую погоду ему некуда деться.

— Эх, да что уж тут говорить! Упустили его, значит, конец,— ответил Гицэ со смехом.— Вы поезжайте дальше, а я вернусь свести счеты с ней.

И, дернув коня за узду, он повернул в долину и поскакал по направлению к Счастливой мельнице.

Услыхав цоканье копыт на каменной площадке перед корчмой, Ана, заливавшаяся все это время слезами, встала и вытерла глаза. Сердце у нее сильно забилось.

Гицэ вошел в комнату не сразу.

Сойдя с коня, он подумал, что надо дать ему сена, стереть с него пот и накрыть попоной; когда со всем этим было покончено, он еще немного задержался в дверях конюшни, чтобы собраться с мыслями, потом снял шляпу, трижды перекрестился и направился к корчме.

Войдя, он запер за собой дверь, а ключ швырнул в угол.

Ана вздрогнула всем телом, выпрямилась, сделала шаг назад и, задыхаясь, проговорила:

— Я не хочу умирать, Гицэ!.. Не хочу умирать! — повторила она громко и упала на колени к его ногам.— Делай со мной что хочешь, только не убивай!..

Гицэ отшатнулся от нее, потом, наклонившись, взял голову жены обеими руками и поглядел ей в глаза отсутствующим взглядом.

— Не бойся,— сказал он, растроганный.— Ты знаешь, что дорога мне, как свет очей моих. Я не стану тебя мучить, убью, как убил бы своего ребенка, чтобы избавить его от палача. Испустишь дух и не почувствуешь!

— За что ты хочешь убить меня? — воскликнула она, цепляясь за его рукав.— В чем я провинилась перед тобой?

— Не знаю,— ответил он.— Чувствую одно: что-то оборвалось у меня в душе, и я не могу больше жить, не могу и тебя оставить в живых без меня. Сейчас,— продолжал он, помолчав,— даже не глядя на твое лицо, я вижу, до чего я худо поступил, когда, как последний подлец, бросил тебя в его объятия, чтобы только отомстить ему. Если бы он был сию минуту здесь, я, может быть, и не убил бы тебя!

Ана поднялась с колен и посмотрела на Гицэ так, словно только что очнулась от сна.

— Куда ты уезжал? — спросила она.

— Я ездил за Пинтей, чтобы вместе с ним захватить Ликэ с его поясом, который набит золотом, что похищено у арендатора. Это от него я получал банковые билеты с метками, которые ты узнала.

— Гицэ, Гицэ, почему ты вовремя не сказал мне об этом? — воскликнула она глухим от рыданий голосом, обнимая мужа обеими руками.

Снаружи послышался крик филина, и снова наступила тишина.

Зарыдал и Гицэ. Потом он прижал Ану к груди и поцеловал ее в лоб.

— Бог не вразумил меня вовремя,— сказал он и внезапно повернулся к двери.

Снаружи послышались шаги, и немного погодя кто-то попробовал открыть дверь.

— Пинтя с жандармами! — прошептал Гицэ, вытаскивая из-за голенища нож.— Перекрестись, Ана, перекрестись!.. Времени не остается!..

— Сюда! Убивают!.. На помощь!..— крикнула Ана, борясь с мужем.— Ко мне, ко мне!..

Когда сорванная с петель дверь упала и на пороге появился Ликэ с Рэуцем и Пэуном — Ана лежала распростертая на полу, грудь ее была залита теплой кровью; а Гицэ, надавливая на нее коленом, все глубже вонзал нож, добираясь до самого сердца.

— Стреляй! — крикнул Ликэ.

Загремел выстрел. Рэуц попал Гицэ в затылок, и корчмарь рухнул ничком, так и не узнав перед смертью своего убийцу.

Не чувствуя больше тяжести мужнина колена, Ана попыталась приподняться.

— Ликэ, это ты, Ликэ?..— простонала она, устремив на него глаза.— Подойди, подними меня.

Но не успел Ликэ нагнуться над Аной, как она дико вскрикнула, схватила его зубами за руку, вонзила ногти в лицо и тотчас же упала мертвая рядом со своим мужем.

Ликэ вскочил на ноги и яростно принялся вытирать кровь с разодранного лица. Он тер себе щеку не переставая, словно пальцы Аны были пропитаны ядом. Потом он схватил и быстро надел лежащий в ногах кровати кожаный пояс.

— Ищите! В доме должно быть много денег! — приказал Сэмэдэу.— Когда, по вашим расчетам, я буду подъезжать к селу, подожгите корчму, да так, чтобы я видел пожар вместе с крестьянами из Фундурени. Потом ты, Рэуц, отправишься другой дорогой в Инеу, а ты, Пэун, возвращайся в Шикулу.

Все это он проговорил торопливо, не переставая вытирать лицо рукавом. Казалось, он боялся оставаться под этой крышей еще хоть мгновение. Отдав приказание, Ликэ отошел к ракитам, где он оставил своего коня.

Усталый гнедой, проделавший по дождю путь до Фундурени и обратно, выбился из сил и лег.

Это было дурным предзнаменованием для Ликэ, которому предстояло ехать в ту же ночь на изнемогшем коне через Фундурени до Инеу плохими окольными дорогами.

Ссадины Ликэ горели, и мозг сверлила назойливая мысль: что скажут люди, когда увидят меня с расцарапанным лицом и прокушенной рукой?..

Гнедой долго не хотел подниматься, а встав на ноги, весь дрожал и не мог тронуться с места. Казалось, конь никогда больше

не побежит, как вдруг, собрав последние силы, он отчаянно рванулся вперед; но, проскакав немного, он снова рухнул на землю, отбросив хозяина в сторону.

— Вот когда меня постигла божья кара! — воскликнул Ликэ, с трудом поднимаясь.— Что теперь делать? Как быть с конем? Завтра же люди найдут его здесь... А тут еще лицо у меня расцарапано и корчма горит...

Как только Ликэ покинул Счастливую мельницу, его начала бить лихорадка; он обливался потом, дрожал и еле держался на ногах.

Он было подумал, не поднять ли павшую лошадь и не дотащить ли ее до вышедшей из берегов реки. Авось волны унесут ее дальше по долине. Но он был слишком слаб для этого. Сняв седло и уздечку, Ликэ направился к берегу, намереваясь добраться до Инеу пешком.

Река сильно вздулась.

— Будь что будет!..— решительно сказал он и, швырнув в реку седло и уздечку, вошел в воду. Но не сделал Ликэ и двух шагов, как стремительный поток подхватил его с такой силой, что он в ужасе выскочил на берег.

Тогда он стал искать другое место для переправы, поближе к холму, потом третье, четвертое. Так блуждал он по берегу, беспрестанно оглядываясь на пламя, охватившее Счастливую мельницу, и то и дело вытирая с лица кровь.

Вдруг в голове его мелькнула новая мысль, и он остановился, обрадованный.

Ведь Гицэ ездил в Инеу верхом, значит, его второй конь должен находиться на Счастливой мельнице, а на отдохнувшей лошади, взятой прямо из стойла, Ликэ, конечно, несмотря на окольный путь, приедет в Инеу вовремя.

Эта мысль заставила Ликэ снова вернуться в долину, хотя силы его окончательно иссякли и он сознавал, что не в состоянии дотащиться до объятой пламенем корчмы.

В это время Рэуц был уже на пути к Инеу, а Пэун направлялся в Шикулу; Пинтя же, увидев, что Счастливая мельница горит, не противоречил жителям Фундурени, решившим, что она загорелась от молнии, а сам, вспомнив последние слова Гицэ, помчался прямо на зарево, стараясь, если только возможно, прибыть вовремя.

Вдруг лошадь его испуганно метнулась в сторону.

— Что это? Гнедой?.. Гнедой Ликэ!..— воскликнул Пинтя, соскакивая на землю.— Святой боже, где же он сам? Неужели ушел от меня?.. Но куда? В гору он подняться не мог, я бы его увидел...

Капрал остановился, выжидая вспышки молнии, чтобы осмотреться. Вспышки не было, но он заметил Ликэ Сэмэдэу, как тот бежал, освещенный заревом пожара зажженной им Счастливой мельницы, в надежде взвалить свой грех на бога и убедить людей в том, что она сгорела от молнии.

— Стой!..— крикнул Пинтя так громко, что крик его эхом прокатился по всей долине.— О, проклятье!.. Я упустил его!

Но Ликэ на этот раз был уже не в состоянии бежать. Даже если бы он и попытался это сделать, все равно попал бы в руки Пинти; попал бы со всеми уликами.

Поняв это, Сэмэдэу резко выпрямился, стал словно вдвое выше, оглянулся... и взгляд его упал на сухой дуб, стоявший на расстоянии каких-нибудь пятидесяти шагов от него. Ликэ напряг последние силы, заскрежетал зубами и ринулся вперед.

Пинтя нашел его под дубом с раздробленной головой и в ужасе замер на месте.

— Ушел от меня...— вымолвил он с трудом.— Но пусть никто на свете не узнает об этом.— Капрал схватил мертвеца за ноги и, подтащив к реке, столкнул его в воду.

XVII

Пожар кончился только к полудню, в понедельник. На месте корчмы высились лишь закоптелые стены, печально смотревшие на ясный, радостный день.

От всех построек остался только прах и пепел. Балки, крыша, половицы, бочки в погребе — все превратилось в золу, среди которой лишь кое-где виднелся тлеющий уголек, а на дне ямы, которая была когда-то погребом, белели кости, то там, то здесь выступающие из груды пепла.

На камне возле пяти крестов сидела старуха и тихо плакала.

— Верно, окна оставили открытыми! — сказала она.— Знала я, что не будет добра, но, видно, так уж им было суждено.

Потом взяла детей и ушла.

1881

ПРИМЕЧАНИЯ

ВАСИЛЕ АЛЕКСАНДРИ

Стр. 26. *Клоанца* — баба-яга в румынских и молдавских народных сказках.

Стр. 27. *Фэт-Фрумос*—Прекрасный Молодец, герой многих румынских и молдавских народных сказок.

Стр. 35. *Гайдуцкая песня.*— Гайдук — народный мститель, борец за свободу против национального и социального гнета в Дунайских княжествах и Трансильвании.

Стр. 45. *Бэлческу* Николае (1819—1852) — один из вдохновителей, идеологов и руководителей революции 1848 года в Мунтении и Трансильвании, выдающийся историк и публицист. После подавления революции турками и силами внутренней реакции был вынужден эмигрировать и умер в нищете в Италии.

Стр. 54. *Пепеля* — комический персонаж многих румынских и молдавских народных сказок.

Иляна-Косынзяна — Дева-Краса, героиня румынских и молдавских народных сказок.

Бабьи дни — народное название первых дней марта, обычно сопровождаемых ветрами, вьюгами, метелями.

Стр. 63. *Стату-Палмэ* — один из персонажей румынских и молдавских народных сказок — мужичок-с-ноготок, борода с локоток.

Стрымбэ-Лемне — один из персонажей румынских и молдавских народных сказок, великан, гнущий до земли и ломающий самые большие деревья.

Сфармэ-Пьятрэ — один из персонажей румынских и молдавских народных сказок, великан, размалывающий руками в прах камни, скалы и горы.

Стр. 65. *Путь рабов* — народное название Млечного Пути. В годы татарских набегов на Дунайские княжества рабы, которым удавалось бежать, пытаясь вернуться на родину, путеводствовались этим небесным созвездием.

Стр. 76. *Васлуй* — город в Румынии.

Стр. 77. *Доробанец* — пехотинец в старой румынской армии.

Стр. 84. *«Проклятый плуг».*— Стихотворение было написано Александри как непосредственный отклик на крестьянские восстания в Румынии в марте — июне 1888 года.

МИХАЙ ЭМИНЕСКУ

Стр. 90. *Хория.* — Василе Урсу Никола, прозванный Хория (1730—1785), руководитель крестьянского восстания в Трансильвании в 1784 году, направленного против национального и социального угнетения крепостных крестьян австро-венгерскими властями.

Над Трансильванией многострадальной...—До 1918 года Трансильвания, населенная в основном румынами, входила в состав Австро-Венгерской империи.

Стр. 92. *...Воскресший Рим идет.* — Поэт имел в виду успехи, одержанные итальянским народом под руководством Гарибальди и Мадзини, в борьбе за национальное возрождение и создание единого, независимого итальянского государства.

Стр. 95. *Цикиндял* Димитрие (1775—1818) — румынский просветитель и баснописец.

Мумуляну Барбу Парис (1794—1837) — румынский поэт.

Прале Иоан (1769—1847) — румынский писатель.

Даниил.— Даниил Москополянул — малоизвестный румынский просветитель, проживавший в XVIII веке в Албании. Хотя Даниил, как и Цикиндял, Мумуляну и Прале, сыграл незначительную роль в культурной жизни своей страны, Эминеску упоминает о нем с восхищением, стремясь еще больше принизить своих современников, которым он его противопоставляет.

Вэкэреску Иенэкицэ (1740—1797) — румынский поэт, историк и филолог, автор первых светских стихов, написанных в анакреонтической манере, и первой грамматики румынского языка.

Стр. 96. *Кантемир* Димитрие (1673—1723) — князь, правитель Молдовы, известный ученый и писатель.

Бельдиман Алеку (1760—1826) — молдавский ученый и просветитель.

Сихляну Александру (1834—1857) — румынский поэт-романтик.

Донич Александру (1806—1866)— молдавский и румынский баснописец.

Панн Антон (1794—1854) — румынский писатель, фольклорист, композитор и музыковед.

Элиад.— Ион Элиаде-Рэдулеску (1802—1872) — румынский просветитель, писатель и общественный деятель.

Боллиак Чезар (1813—1881) — румынский поэт, публицист и передовой общественный деятель.

Кырлова Василе (1809—1831) — первый румынский современный поэт, воспевший, под влиянием французского преромантизма, прошлое своего народа.

Александреску Григоре (1810—1885) — румынский поэт-сатирик и баснописец.

Болинтиняну Димитрие (1819—1872) — румынский романтический поэт и прозаик.

Мурешану Андрей (1816—1863) — румынский поэт, автор широко распространенного в Дунайских княжествах и Трансильвании стихотворения «Отклик», ставшим гимном революционеров 1848 года, под названием «Проснись, румын!».

Негруцци Константин (1808—1868) — основоположник молдавской и румынской новеллистики, завоевавший большую популярность своими историческими новеллами, в частности новеллой «Александру Лэпушняну».

Стр. 97. *Штефан Великий* (годы княжения 1457—1504) — князь, правитель Молдовы, успешно защищавший ее рубежи против иноземных захватчиков, в первую очередь турок.

Стр. 102. *Лэутар* — народный музыкант.

Стр. 115. Император и пролетарий.— Над этой поэмой, вдохновленной Парижской коммуной, Эминеску работал четыре года, начав ее в 1870 году в Вене и закончив в 1874 в Бухаресте. Первые варианты поэмы, озаглавленные «Пролетарий» и «Тени на полотне времени», вошли составными частями в окончательный текст.

Стр. 139. *Збурэтор* — крылатый дух любви в румынских поверьях.

Стр. 140. *Нарцисс* — в древнегреческой мифологии — прекрасный юноша, влюбившийся в свое отражение в воде.

Стр. 148. *Сучава.*— Город Сучава был в течение почти двух столетий, с 1375 по 1566 год, столицей Молдовы и пользовался большой славой главным образом в годы княжения Штефана Великого.

Стр. 151. *Бассарабы, Мушатины* — княжеские роды, правившие неоднократно в Молдове и Мунтении. Выходцем из этих родов был и Штефан Великий.

Стр. 181. Послание Третье.— События, отображенные в первой части этого Послания, повествуют о победе, одержанной в 1394 году под Ровине войсками князя, правителя Мунтении Мирчи Старого (годы княжения 1386—1418) над войском турецкого султана Баязета.

Стр. 183. *Никополь* — крепость на Дунае, под стенами которой турки одержали в 1396 году победу над объединенными силами французских, немецких, английских и других крестоносцев, руководимых королем Венгрии Сигизмундом. Упоминая о Никополе как о победе одержанной в прошлом, поэт допустил явный анахронизм, так как описываемая им битва под Ровине произошла на два года ранее битвы под Никополем.

Ордам Дария Гистаспа...— Согласно преданиям, скифские племена в древности нанесли тяжелое поражение войскам персидского царя Дария.

Стр. 186. *Сибарис* — древнегреческий город. Купцы Сибариса славились своим роскошным образом жизни.

Фанар — район Константинополя, в прошлом населенный в основном греками, находившимися на службе у турецких властей. Из числа этих греков в течение более ста лет (1711—1821) турецкие султаны назначали господарей в Дунайские княжества.

Илоты — крепостное население древней Спарты. Здесь: прислужники турок.

Траян (53 — 117) — римский император, завоеватель Дакии, располагавшейся на территории современной Румынии.

Стр. 187. *Бал-Мабиль*— увеселительное заведение в Париже прошлого века.

Цепеш (Влад-Колосажатель) — князь, правитель Мунтении (княжил с 1456 по 1462 год и в 1476 году), известный своей жестокостью по отношению к боярам, предававшим родину туркам.

Стр. 192. *Анадиомена* — одно из прозвищ богини красоты Венеры, указывающее на ее происхождение из морских волн.

Стр. 193. *Адоней* — одна из сложных форм античного стиха.

Стр. 228. *Камадева* — бог любви в индийской мифологии.

ДЖЕОРДЖЕ КОШБУК

Стр. 231. Atque nos.— Поэма должна была послужить вступлением к задуманному еще совсем молодым поэтом национальному эпосу румынского народа. В этой так и не осуществленной эпопее Кошбук намеревался отобразить все основные события, сопутствующие жизни румынского крестьянина. В «Atque nos» поэт задался целью доказать непосредственную преемственность и нерасторжимую связь между античной мифологией и румынским фольклором.

Стр. 232. *Пипэруш-храбрец* — один из героев румынских народных сказок.

Красный Император, Зеленый Император — персонажи многих румынских и молдавских народных сказок.

Стр. 233. *Иляна-Косынзяна* — см. прим. к с. 54.

Стр. 234. *Ченушоткэ, Стату-Палмэ-Барбэ-Кот, Сургэ-Мургэ, Сфармэ-Пьятрэ, Стрымбэ-Лемне, Лягэнэ-Мунци, Ушор-ка-Вынтул, Наудэ-Наведе, Нагреу-ка-Пэмынтул* — персонажи многих румынских и молдавских народных сказок.

Аэды — народные певцы и сказители в античности.

Стр. 236. Свадьба Замфиры — наиболее известное стихотворение из задуманного Кошбуком национального эпоса, воссоздает красочный обряд свадьбы.

Стр. 254. *Дионисий* I Старший—тиран Сиракуз (432—367гг. до н. э.).

Стр. 269. С м е р т ь Ф у л д ж е р а—третья, наиболее значительная поэма из задуманного Кошбуком национального эпоса, воссоздает трагический обряд похорон.

Стр. 276. *Истр* — древнее название Дуная.

Стр. 277. *Замолкс* — верховное божество дакских племен. В данном случае имеется в виду Юпитер — верховное божество римлян.

Стр. 306. *Груя*, *Новак* — герои многих румынских и молдавских народных легенд и баллад, посвященных борьбе за свержение турецкого ига и за социальное раскрепощение.

Стр. 320. К р е п о с т ь Н я м ц у.—В этом стихотворении Кошбук отобразил в юмористическом духе один из эпизодов хроники известного молдавского летописца Иона Некулчи (1672—1745), в котором летописец поведал, как в 1691 году польские войска, под командованием короля Яна Собеского (1624—1696), осадили и завоевали у молдован крепость Нямцу.

Стр. 321. *...Мы иль он спасали Вену*?..— Ян Собеский победил в 1683 году турок, осаждавших Вену, и принудил их снять осаду города.

Стр. 326. *Тиртей* — древнегреческий поэт (VII век до н. э.), прославлявший в своих песнях мужество спартанских воинов и вдохновлявший их на ратные подвиги.

Стр. 330. П о з а б ы т а я з е м л я.— Стихотворение было написано Кошбуком как непосредственный отклик на крестьянское восстание 1907 года.

Стр. 331. П р и т ч а с е я т е л я — см. прим. к с. 330.

Стр. 333. З а ч т о п о г и б л и?—Стихотворение было написано Дж. Кошбуком в начале первой мировой войны, когда трансильванских румын насильно отправляли на фронт воевать ради интересов правителей Австро-Венгерской империи, владевшей Трансильванией.

Стр. 334. *Митрас* — древнеиндийское божество.

ИОН ЛУКА КАРАДЖАЛЕ

Стр. 342. *...на площади Одиннадцатого февраля*.— Одиннадцатого февраля 1866 года участники реакционного заговора свергли с престола господаря А.-И. Кузу, приверженца социальных реформ.

Примэрия — городская или сельская управа в Румынии.

Стр. 356. *Дома-то ведь отошли ей...*— В описанные Караджале годы в буржуазной Румынии на выборах имели право голоса только домовладельцы и обладатели крупного недвижимого имущества.

Стр. 357. *Воевода Мирча*, *Влад-Цепеш*—князья, правители Мунтении. См. прим. к с. 181 и 187.

Стр. 369. *Примарь* — мэр или сельский голова в Румынии.

Стр. 377. *...в одна ты-ся-ча во-семь-сот двад-цать первом году*...—В 1821 году на территории Мунтении вспыхнуло антитурецкое восстание, возглавляемое Тудором Владимиреску.

Стр. 377. *...к шестьдесят четвертому!* — В 1864 году, во время княжения А.-И. Кузы, в Объединенных княжествах состоялся плебисцит, в результате которого была проведена первая частичная земельная реформа.

Стр. 380. *...дать пример нашим сестрам латинского происхождения.*— Подразумевается Италия, Франция, Испания, Португалия.

Стр. 419. *К.-А. Росети* — один из лидеров партии либералов.

Мадзини Джузеппе (1805—1872) — итальянский революционер, публицист и критик.

Брусса — город в Анатолии (Азиатская Турция).

Стр. 420. *Икусар, нисифья, сфанц, фирфирик* — всевозможные монеты, в большинстве своем мелкого достоинства, имевшие хождение в Объединенных княжествах.

Стр. 421. *...когда под Гривицей егерский полк омыл своей кровью...*—Автор имеет в виду отвагу, проявленную егерскими частями во время войны 1877 года за национальную независимость Румынии. Проявленным тогда героизмом они смыли с себя позор за участие в свержение А.-И. Кузы.

Конверсия — изменение условий государственного займа.

Брэтиану Ион (1821—1891) — руководитель партии либералов, один из основных вдохновителей и организаторов заговора против А.-И. Кузы.

Стр. 422. *Цуйка* — фруктовая водка.

Стр. 423. *Око* — старинная мера веса или жидкости.

Стр. 425. *Pommery extra* — марка французского шампанского.

Стр. 443. *Синая* — румынский горный курорт; в буржуазной Румынии там находилась летняя резиденция короля.

Стр. 479. *...у статуи героя битвы под Кэлугэрени...*— В битве под Кэлугэрени (1595 г.) князь, правитель Мунтении Михай Храбрый (правил с 1593 по 1601 год) победил турецкое войско. Статуя Михая Храброго находится в центре Бухареста, напротив здания университета.

Стр. 482. *...на празднование 10 мая.*— День 10 мая отмечался в буржуазной Румынии как день провозглашения независимости страны.

Стр. 488. *Погон* — мера поверхности, 5012 кв. м.

А купон, который надо оплатить в июле?— Речь идет о государственных платежах по иностранным займам.

Дисконт — учет векселей.

Стр.489.*Фанариоты*—греки, проживавшие в Константинополе в квартале Фанар. В течение более ста лет (1711—1821) турки назначали из их числа правителей в Дунайские княжества.

...что натворили в Китае эти боксеры.— Боксеры — участники народного антиимпериалистического восстания 1899—1901 годов в Китае.

Стр. 491. *Трамкар* — вид омнибуса, запряженного лошадьми. Предшествовал в Бухаресте конке.

Стр. 492. *Таке Ионеску, Петре Карп* — видные деятели партии консерваторов.

Стр. 493. *Делавранча Барбу* (1858—1918) — известный писатель (прозаик и драматург), оратор и политический деятель.

Никулае *Филипеску, Арион, Александру Маргиломан* — видные деятели партии консерваторов.

Константин *Олэнеску* — видный деятель партии консерваторов.

Стр. 494. Титу *Майореску* (1840—1917)—выдающийся литературный критик, теоретик литературной группировки «Жунимя» и журнала «Конворбирь литерарэ» и видный деятель партии консерваторов.

Набаб — прозвище князя Кантакузино, одного из крупнейших румынских помещиков и известных реакционных политических деятелей.

Стр. 495. ...*общий балл девять целых, девяносто семь сотых и три четверти*.— В румынских школах принята десятибалльная система оценок. Наивысший балл — 10. В конце учебного года выводится общая среднеарифметическая оценка.

Стр. 505. ...*все ушли к Святой Анне*...— Святая Анна — живописная местность под Синаей.

Стр. 506. ...*компания возвращалась из Урлэтоаря*...— Урлэтоаря — излюбленное место прогулок в окрестностях Синаи.

...*менуэт Педерасского*... (искаж).— Падеревский Игнацы Ян (1860—1941) — известный польский пианист и композитор.

Стр. 510. *Канун святого Димитрия*.— День святого Димитрия один из двух традиционных дней переезда нанимателей квартир в старой Румынии. Договоры по найму жилищ обычно заключались до дня святого Димитрия или дня святого Георгия.

Стр. 537. ...*хору и бэтуту, брыул и киндию*...— румынские народные танцы.

Стр. 557. ...*одному олтенцу*...— Олтенец — житель Олтении, одной из румынских провинций.

ИОАН СЛАВИЧ

Стр. 567. Счастливая мельница.—Повесть И. Славича «Счастливая мельница» является первым произведением румынской литературы, переведенным и изданным в другой стране. На румынском языке повесть была опубликована в 1881 году в сборнике «Новеллы из жизни народа» и в то же время параллельно вышла на немецком языке в журнале «Дойтче ревю» («Немецкий журнал»). Повесть, над которой Славич работал долгие годы, частично воспроизводит обстановку, с которой он ознакомился в 1869 году, когда служил помощником нотариуса в трансильванском селе Кумлэуш.

А. Садецкий

В том включены репродукции картин крупнейших румынских художников второй половины XIX — начала XX века.

СОДЕРЖАНИЕ

МИХАЙ ЭМИНЕСКУ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ДЖЕОРДЖЕ КОШБУК

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИОН ЛУКА КАРАДЖАЛЕ

РАССКАЗЫ

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ ВТОРАЯ

Том 126

Василе Александри

СТИХОТВОРЕНИЯ

Михай Эминеску

СТИХОТВОРЕНИЯ

Джеордже Кошбук

СТИХОТВОРЕНИЯ

Ион Лука Караджале

ПОТЕРЯННОЕ ПИСЬМО. РАССКАЗЫ

Иоан Славич

СЧАСТЛИВАЯ МЕЛЬНИЦА

*

Редактор Т. Блантер

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Платонова

Корректоры
З. Тихонова и И. Тереховская

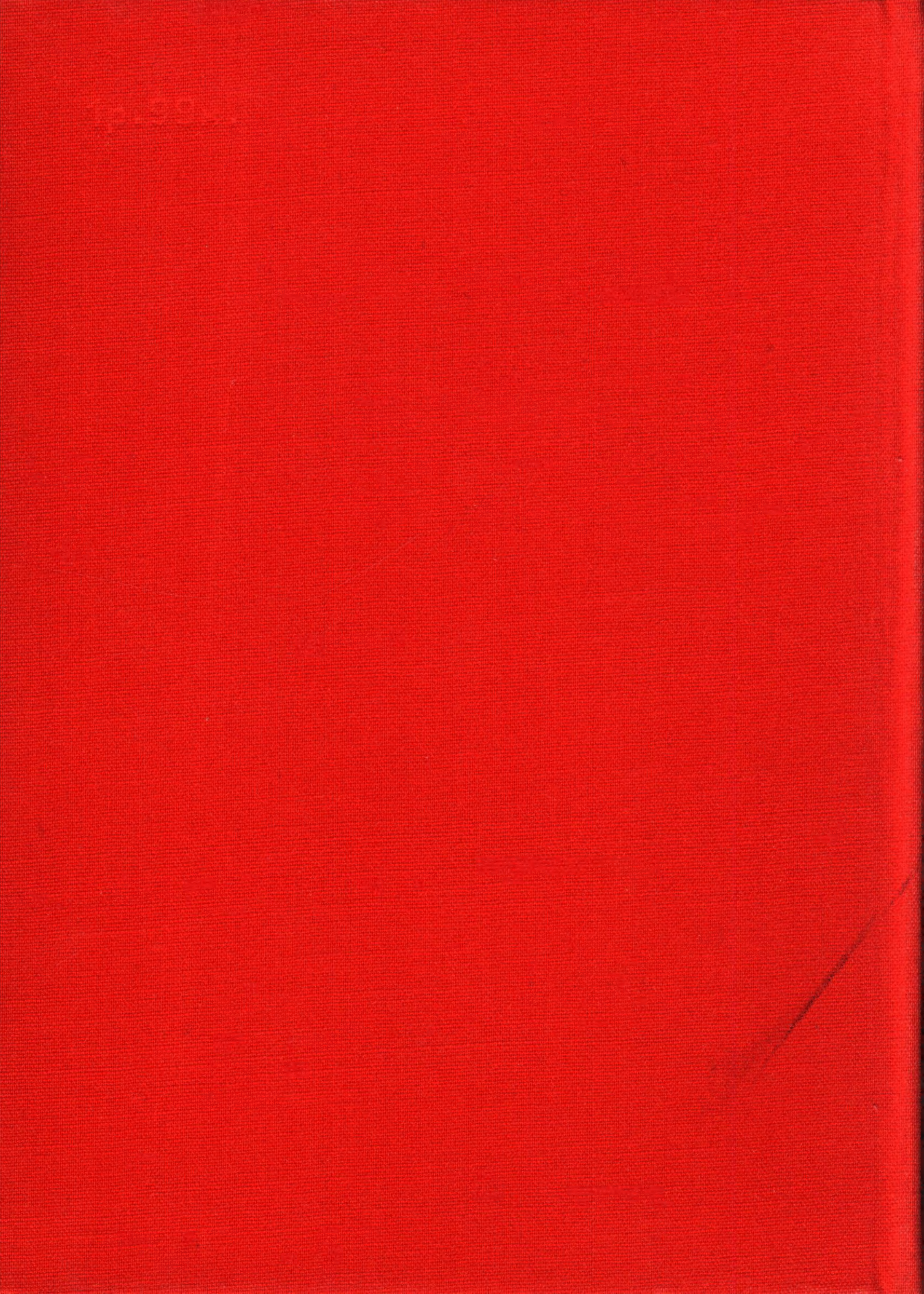
*

Сдано в набор 12/IX 1974 г. Подписано к печати 6/II 1975 г. Бумага типографская № 1. Формат $60 \times 84^1/_{16}$. 42 печ. л. 39,19 усл. печ. л. 39,16+7 нак. = 39,79 уч.-изд. л. Тираж 303 000 экз. Зак. 1792. Цена 1 р. 99 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28



ВАСИЛЕ
АЛЕКСАНДРИ
•
МИХАИЛ
ЭМИНЕСКУ
•
ДЖЕОРДЖЕ
КОШБУК
•
ИОН ЛУКА
КАРАДЖАЛЕ
•
ИОАН
СЛАВИЧ

